

Михаил Семёнович Бубеннов

Белая берёза

*Во поле березонька стояла,
Во поле кудрявая стояла...*

(Из народной песни)

*Острою секирой ранена береза,
По коре серебристой покатались слезы.
Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй,
Рана не смертельна — вылечится к лету.*

Ал. К. Толстой.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Шумел листопад. Леса покорно и печально, почти не стихая, порошили багряной листвой. Горестный, все заглушающий шорох властно заполнял лесную глухомань. Опавшими листьями осень щедро выстилала все дороги и поляны. Когда налетал ветер, тучи мертвой листвы поднимало от лесов, легко кружило в просторной вышине и несло на восток, — и тогда казалось, что над унылой осенней землей бушует багряная метель.

Шум листопада наполнял душу Андрея тоской и тревогой. В полинявшей гимнастерке, со скаткой шинели и винтовкой, он шел усталым шагом, часто обтирая запыленное лицо пилоткой, и — случалось — сам удивлялся, что идет: так иногда плохо чувствовал под ногой землю. Эта осень ворвалась в родные места хотя и в положенное время, но все же, как думал Андрей, особенно внезапно и дерзко. Андрей не мог смотреть спокойно на сверкающие холодной позолотой леса, на голые, обнищавшие поля, смотреть и видеть, как всюду торжествует жестокая сила осени.

В полдень, остановившись на вершине высокого холма, Андрей выпрямился во весь свой рост и с усилием огляделся вокруг. На дорогах, в пыльной мгле, гудели машины, грохотали обозы, двигались колонны солдат. В осеннем поднебесье, сверкая на солнце,

тянулись на восток немецкие самолеты; они с воем бросались на дороги, и земля тяжело ахала, и над ней взлетали черные кудлатые султаны дыма. Тяжело вздохнув, Андрей разгоряченно воскликнул:

— Какая осень! Какая осень!

Отделенный командир сержант Матвей Юргин, высокий, смуглый и угрюмый сибиряк, спросил тревожно:

— Что с тобой, а? Почему ты... такой?

— Ты видишь, какая осень?

— Осень шумная...

— Страшная, — возразил Андрей.

— Ты захворал, — убежденно заметил Юргин.

Дивизия отступала глухими проселками, а то и бездорожьем, по темному и болотистому ржевскому полесью.

На склоне небольшого пригорка, у самой дороги, одиноко стояла молоденькая береза. У нее была нежная и светлая атласная кожица. Береза по-детски радостно взмахивала ветвями, точно восторженно приветствуя солнце. Играя, ветер весело пересчитывал на ней звонкое червонное золото листвы. Казалось, что от нее, как от сказочного светильника, струился тихий свет. Было что-то задорное, даже дерзкое в ее одиночестве среди неприглядного осеннего поля.

Увидев березу, Андрей сразу понял, что самой природой она одарена чем-то таким, что на века утверждало ее в этом поле. И Андрей внезапно свернул с дороги. Он подошел к березе, и ему вдруг показалось, словно что-то рвется в груди...

С детских лет Андрей любил березы. Он любил смотреть, как они, пробуждаясь весной, ощупывают воздух голыми ветвями, любил всей грудью вдыхать запах их листвы, густо брызнувшей на заре, любил смотреть, как они шумно водят хороводы вокруг полян, как протягивают к окнам ветви, густо опушенные инеем, и качают на них снегирей...

Матвей Юргин с дороги окликнул Андрея. Тот не обернулся, не ответил, — торопясь, сбрасывал скатку шинели. Тогда Юргин вернулся к Андрею и, схватив его за руку, спросил с еще большей тревогой:

— Да ты что, Андрей? Что с тобой?

Андрей взглянул на сержанта, как не смотрел никогда, и сказал, подаваясь грудью вперед:

— До каких же пор? До каких?

Юргин никогда не видел Андрея таким. Это был солдат

кроткого, доброго нрава; на его красивом задумчивом лице всегда ровным светом светились родниковые глаза. Что с ним стало? Лицо Андрея горело темным сухим румянцем, глаза были полны глухой тоски и слез, а губы, потрескавшиеся на солнце, схватывала дрожь. И шептал он запальчиво:

— До каких мест?

— Ну, ну, — поняв наконец, Юргин попытался урезонить Андрея. — На это командиры есть. Они знают. Дадут приказ — встанем. Что ты, в самом деле, весь горишь?

Андрей вдруг опустился на землю у березы и с минуту не трогался с места, прикрыв руками глаза. Потом взглянул на запад. Там стояла, занимая весь край неба, багрово-дымная темь. В ней вспыхивали зарницы. А по унылым осенним полям все мела и мела лиственная метель. И Андрей с тяжелой болью в голосе спросил:

— И зачем они пришли к нам? Зачем?

Юргин промолчал, понимая, что Андрей не ждет ответа, и поднял его скатку с земли. Тогда Андрей, не оборачиваясь на восток, где стояло темное еловое урочище, доверчиво сообщил:

— За лесом — Ольховка.

— Твоя? — удивился Юргин.

— Моя...

И Андрей еще с минуту сидел у березы, не трогаясь, прикрыв руками глаза...

II

Батальон долго шел сквозь дремучее урочище. Здесь было душно от запахов сырости и застойной тишины. По сторонам от вязкой дороги вздымались могучие замшелые ели. Под ними стояли, немощно сгибаясь, худосочные заржавленные ольхи, от рождения не видевшие солнца. На полянах и проредах виднелись гнилые болота с вонючей рыжей водой.

Под вечер батальон вышел из урочища, и все увидели впереди открытое просторное взгорье и на нем — большую деревню. Это и была Ольховка. Повсюду над ней высоко держались ветвистые березы. Мягкий и радостный свет, исходящий от их атласной бересты, весело освещал все взгорье. Солдаты прибавили шаг. Поднявшись к деревне, многие из них сразу же свалились передохнуть у крайних домов, у огородных плетней. Большая группа

солдат с флягами столпилась вокруг колодца у околицы.

Сюда завернул и Андрей. Лицо его было густо покрыто пылью, а в глазах — чудилось — мелькали отблески тех зарниц, что обжигали темный запад. Матвей Юргин вне очереди наполнил его флягу водой. Сделав несколько шумных глотков, Андрей опустил флягу к груди, взглянул на деревню. Его словно бы оживила родная вода. Теперь, когда он был уже в Ольховке, сами собой, как ненужные, отлетели думы, что мучили по пути к ней. Оставалось довольствоваться тем, что дарила скупая жизнь, — не всем она дарила даже это...

Опираясь на изгородь, завинчивая свою флягу, Матвей Юргин с привычной сдержанностью похвалил:

— Однако хороша у вас вода!

— Вода у нас особая, такой не найти, — отозвался Андрей. — Вот сейчас выпил — и не знаю, что стало со мной: и освежило и обожгло!

— Брось, — угрюмо сказал Юргин. — Береги душу.

Он прицепил к поясу флягу и посоветовал:

— Вон комбат едет. Отпросись — и зайди домой. Только, гляди, ненадолго...

Андрей разом оторвался от изгороди.

— Где он?

К, околице выехало несколько верховых. Впереди, на высоком гнедом коне, в распахнутом сером плаще, командир батальона, старший лейтенант Лозневой. У него было узкое и сухое лицо с острым, слегка висячим носом, а под большим козырьком фуражки с малиновым околышем — в тени — холодноватым железным блеском отсвечивали осторожные серые глаза. Редко менялось застывшее, невеселое выражение его лица; если случалось, он улыбался криво, одной левой щекой.

Андрей побаивался комбата. Но теперь, забывая обо всем, он с необычайной решимостью, широким шагом пошел прямо на него. Остановив коня, Лозневой обернулся в седле и о чем-то заговорил со своими спутниками, указывая рукой на запад, — на запястье висела казачья плетка с резной рукояткой. Андрей подошел к Лозневому и, в отчаянии перебивая его, воскликнул:

— Товарищ комбат! Товарищ комбат!

Лозневой круто повернулся в седле.

— В чем дело? Что за крик?

— Это моя деревня! Здесь мой дом, товарищ комбат! — доложил Андрей растерянно. — Разрешите зайти? Я догоню!

— Где дом? — сурово и подозрительно спросил Лозневой.

— Да вон там, в том краю!

Приставив ладонь к козырьку фуражки, Лозневой посмотрел в ту сторону, куда указывал Андрей. Солнце ярко осветило часть его лица и птичий висячий нос. Криво усмехаясь, он спросил:

— Закуска будет?

— Что вы, товарищ комбат, да вволю!

— Тогда веди! — вдруг приказал Лозневой. — Тебе повезло: здесь ночевка. — Подбирая поводья, он обернулся к остальным верховым. Размещай, Хмелько, людей. Костя, за мной!

— Есть! — и вестовой тронул коня.

В деревне было беспокойно. У многих домов хозяева заколачивали досками ставни. Около телег метались женщины. Они кидали на телеги мешки и узлы из пестрого рядна, усаживали на них ревущих ребят. Над улицами неслись крикливые голоса:

— Бабы, грузи! Вон она, армия, все идет!

— Господи, хоть бы к ночи выехать!

— Торопись, бабы, чего встали?

Под сильным загаром на щеках Андрея проступил румянец. Ему вдруг стало так душно, что он не выдержал и расстегнул ворот гимнастерки. «Уходит народ», — понял Андрей.

Отступая с частью, Андрей прошел уже много больших и малых селений и всюду видел одно: бросая родные места и жилища, бросая все, что дорого сердцу, на родные беспокойными толпами, проклиная фашистов, в безутешной горе уходил на восток. По всем дорогам, по всему бездорожью, где пришлось проходить, Андрей видел встревоженный люд, искавший спасения от врага. Но только вот сейчас, увидев, что делается в родной Ольховке, он почувствовал всю тяжесть беды; будто вот отсюда, с высокого Ольховского взгорья, он вдруг — на мгновение — увидел широкие просторы родной страны. «Наши-то как же? Может, тоже уже собрались? — неожиданно подумал Андрей. — Застану ли?» Эта мысль подстегнула его. Он пошел быстро, как только мог, размахивая пилоткой, оглядываясь по сторонам и с детской взволнованностью охватывая взглядом привычные приметы своей деревни.

Комбат Лозневой, ехавший шагом немного позади, долго не спускал взгляда с Андрея. За неделю отступления было уже

несколько случаев, когда солдаты отпрашивались у него «забежать домой». Он не видел других людей, которые бы с такой тревогой, тоской и мольбой говорили о доме. Это всегда вызывало у Лозневого невеселые мысли. Обернувшись к вестовому, он спросил:

— Видишь, как несет его?

— Как ветром! — певуче ответил вестовой.

— Забыл и о войне, а?

Тронув коня, Костя поравнялся с комбатом. Вестовой был светленький, совсем молодой паренек. Он не успел еще по-мужски окрепнуть в плече, и пухловатые губы его еще хранили веселое юношеское тепло. Улыбаясь во все лицо радостно-простецкой улыбкой, он ответил весело и простодушно:

— Какая тут война! До нее ли?

— А в деревне... видишь, какая паника?

— Как не видать? Бежит народ!

— И армия и народ, — мрачно уточнил Лозневой.

...Двор Лопуховых стоял на восточной окраине деревни, над крутым склоном взгорья. Отсюда Лопуховы раньше всех односельчан могли видеть, как поднимается над дремучим ржевским полесьем отдохнувшее за ночь солнце. Почти все на дворе было поставлено в недавние годы. Просторный пятистенный дом под тесовой крышей только слегка посерел от времени, ветров и дождей. На его карнизах безмятежно сидели, охорашиваясь и поглядывая в небо, белые голуби.

Еще издали Андрей понял, что дом не брошен, как другие в деревне, и с пригорка, оборачиваясь к Лозневому, тяжело передохнув, крикнул:

— Дома! Захватили!

И тут же бросился вперед, распахнул ворота...

— Марийка!

Из глубины двора донесся исступленный женский крик. Придержав коня у изгороди, Лозневой глянул на двор. На высоком крыльце стояла молоденькая женщина — легкая в стане, черноглазая, в простеньком вишневом платье. Несколько мгновений она растерянно, порывисто прижимала руки к высокой груди, затем опять крикнула и бросилась с крыльца — и не обняла, а обессиленно повисла на широких плечах шагнувшего к ней Андрея. «Жена! понял Лозневой. — Черт возьми, какая красавица! И как любит, а? Как любит!» Он замер в седле и еще несколько секунд не мог оторвать от

нее изумленного взгляда.

На крыльце показалась дородная пожилая женщина в серой шерстяной кофте. Торопко, но боязливо спускаясь по ступенькам, она заголосила:

— Господи, Андрюша, сынок!

Из-за угла сарая выскочил белокурый мальчуган, сразу видно — крупной лопуховской породы. Он глянул на Андрея, который все еще обнимал жену, и закричал на весь двор:

— Бра-атка!

Все обступили Андрея. Встреча с семьей враз преобразила его: с обветренного и загорелого лица не сходила улыбка, а в тихих родниковых глазах было полным-полно весеннего солнечного света. Все родные обнимали его, шумели вокруг, плакали, не замечая чужих людей у ворот. Даже черный дворовый кобель, злой на вид, позабыв о своем долге, с визгом носился около столпившейся семьи.

— Ну, будет, будет! — уговаривал Андрей родных. — Чего ж вы ревете-то?

Спешившись, Лозневой передал Косте поводья и плетъ, снял фуражку, обтер платком сухое лицо и слегка поправил пальцами над лбом помятые пепельно-ржавые, словно бы линялые волосы. Взглянув еще раз на Марийку, шепотом сказал Косте:

— Не зря он бежал!

— Молния! — поняв его, восхищенно ответил Костя.

Первым спохватился пес Черня. Почувяв чужих, он оглянулся на ворота, коротко взлаял. Поняв, что комбат наблюдает за встречей, Андрей начал смущенно и ласково отстранять родных:

— Ну, будет же, будет! Отец-то где?

— А-а, отец! — И Марийка свела брови.

— Что такое? Где он?

— Вон, на огороде...

— Что у вас тут? — с тревогой спросил Андрей.

— Да ничего, ничего, — заспешила Мать и тронула за плечо младшего сына. — Сбегай, Васятка, скажи... Оглох он там, что ли?

Андрей догадался, что в доме произошла какая-то ссора, и остановил брата:

— погоди, Васятка, я сам схожу... — обернулся к воротам. — Товарищ комбат, что ж вы стоите? Идите сюда. Мама, Марийка, это наш товарищ комбат! Принимайте, а я схожу на огород...

Увидев Марийку совсем близко перед собой, Лозневой

неожиданно подумал, что все в ней ему знакомо: и черные тугие косы, уложенные венком на гордой голове, и освещенное живостью красивое, мягкое лицо, с легким заревым румянцем под загаром, всегда готовое к улыбке, и по-детски припухлые губы, и темные, поблескивающие от счастья глаза. Где-то и когда-то он видел ее, и видел очень часто. Но где? Когда? Может быть, только мечтал видеть такую, как она? Лозневого даже смутило это внезапное впечатление от встречи с Марийкой. Опуская перед ней глаза, он приветливо тронул козырек фуражки.

— Мир вашему дому, хозяйки!

— Милости просим, — поклонилась Алевтина Васильевна.

А Марийка окинула гостя быстрым взглядом и, сама не зная отчего, ответила ему насмешливо и дерзко:

— Какой же мир? Война вон глядит в ворота! — Она резко отвернулась и пошла в дом. — Воевали бы лучше!

— Господи, Марийка! — заволновалась Алевтина Васильевна.

— Остра на язычок! — смущенно заметил Лозневой.

— Не дай бог!

Лозневой проследил, как Марийка, не оглядываясь, медленно поднялась на крыльцо, плавно пружиня мускулы высоких смугловатых ног, обутых в легкие домашние башмачки, и перед дверью в сени, словно отбиваясь от навязчивой мысли, встряхнула правым плечом и гордой головой. И, когда она, так и не оглянувшись, скрылась в сенях, Лозневой сказал еще раз, но уже с ноткой озадаченности в голосе:

— Да, остра!...

...За сараем, в углу огорода, под раскидистой рябиной, сплошь покрытой зловещей краснотой увядания, виднелась яма, а рядом с ней желтела куча земли. Из ямы летели влажные глинистые комья. Андрей сразу догадался, что отец не в духе. «Эх, и что ж они поругались-то?» — подумал он, шагая через посохшие огуречные гряды. Заслышав поблизости шаги, отец Андрея, Ерофей Кузьмич, прервал работу, разогнулся в яме и, понимая, что идет кто-то из своих, спросил ворчливо:

— Там кто? Что там такое, на дворе?

— Это я тут, — отозвался Андрей, подходя к яме.

— Никак Андрей, а? Ты, что ли?

Как и все в доме, Ерофей Кузьмич был и удивлен и обрадован

неожиданным приходом сына, но все же, разгоряченный какой-то мыслью, не выпустил из рук лопаты и не вылез из ямы. «Дорою, — подумал, — тогда и вылезу». Плечистый и дюжий, в запотелой на спине синей просторной рубаше, без пояса, он стоял в яме, вскинув русую широкую бороду, какие мало носят нынче, и хмуро щурил быстрые серые глаза. Осмотрев сына в непривычной военной одежде и, должно быть, втайне сделав о нем какие-то заключения, он вздохнул коротко и тяжело:

— Ну, отвоевался, что ли?

Андрей присел у края ямы.

— Отходим пока.

— А потом?

Андрей подержал на ладони комок прохладной земли и, медленно сжав пальцы, раздавил его. Ответил неторопливо и глуховато:

— Потом должны обратно...

— Обратно? А скоро ли?

Не ответив, Андрей некоторое время задумчиво смотрел на рябину; солнечный свет трепетал на ее красноватой листве и гроздьях ягод.

— Яму-то зачем?

— Для добра, — неохотно ответил отец.

— А сами?

— Что ж сами?

— Уходить-то... когда?

На этот раз некоторое время молчал Ерофей Кузьмич, и Андрею показалось, что он, опираясь о черень лопаты, поглядывает из ямы, с трудом сдерживая раздражение. Дышал он всей грудью, и у него широко раздувались подвижные ноздри.

— А куда идти? — заговорил он вдруг, как всегда, шумливо, хотя и не хотел так разговаривать с сыном при этой встрече. — А ну, скажи-ка сам: куда? На кудыкино болото? От дому-то?

На лице Андрея блеснули бисеринки пота. Обтирая лицо платочком, Андрей оглянулся по сторонам, словно ища кого-либо, кто смог бы вместо него продолжать разговор с отцом. Мимо огорода, вниз по склону взгорья затарахтели телеги, а вплотную около изгороди, крикливо разговаривая, прошли цепочкой женщины.

— Все одно, — промолвил Андрей тихо, — уйти бы надо. Все вон колхозники уходят.

— Учи! Все вы учены! — И отец, не выдержав, дал полную волю своему раздражению: — Твоя вон благоверная тоже все кричит, хоть уши затыкай! А куда нам трогать? Это она соображает своей мозгой? По белу свету шататься? Знаю я, какой в этом толк. Свет велик, а теплых углов в нем мало. И опять же, бросишь здесь все нажитое — растащат: народ, он всегда охоч до чужого добра. А чего с собой возьмешь, по дорогам растеряешь, да и вернешься потом нищ-гол! Нет, нам с домашностью некуда подыматься. Это умом понимать надо. Господь милостив, ничего с нами не будет тут. Разве ж могут они, скажем, мирный люд трогать? Ты воюй там с войском, а наше дело — сторона. Всегда так было.

— Все одно надо уйти, — упрямо повторил Андрей.

Метнув на сына недобрый взгляд, Ерофей Кузьмич поднял лопату и одной рукой яростно вонзил ее в землю.

— Вот и все! — сказал он. — И весь разговор!

Ш

Все свои молодые годы Ерофей Кузьмич батрачил у богачей по ближней округе, а больше всего — у сурового, с медвежьей хваткой, удачливого в любом деле Поликарпа Михайловича Дрягина. У Дрягина было большое для ржевских нещедрых мест хозяйство: пять лошадей, полный сарай мелкого скота, мельница-водянка. Поликарп Михайлович был недобрый, прижимистый хозяин: он платил меньше, чем другие кулаки. Несмотря на это, Ерофей Лопухов каждой весной появлялся у его крыльца.

— Что ты привязался к этой жиле? — спрашивали у Ерофея на деревне. Он ведь каждый грош выжимает!

— Он такой! — весело соглашался Ерофей.

— Что ж ты идешь к нему?

— Уж такая моя планида!

Трудно было батрачить у Дрягина, но Ерофей шел именно к нему и шел не без хитрости: втайне учился у него «пробиваться в жизни». Именно он, Дрягин, всей своей широкой и привольной жизнью зажег в незрелом уме бедного парня мечту о богатстве. Ерофей был умный, красивый и сильный парень — на зависть всей деревне. Он рано узнал это и гордился собой. Смотря на сухого, по-волчьи поджарого Поликарпа Михайловича, Ерофей заносчиво думал: «Чем же я хуже его, что мне жить так выпало? Нет, не из тех

мы! Не буду так жить — вот и весь сказ мой!» Мысль о богатстве не давала покоя. Работая у Поликарпа Михайловича, Ерофей все время наблюдал, как тот быстро поднимал свое хозяйство, точно раздувал костер, ловко и весело подбрасывая в него хворост. Ерофей всей душой завидовал хозяину, искренне восхищался каждой его удачей.

— Дрягин-то! — почти с гордостью говорил он на деревне. — Вот ловкач! Лишнюю полосу нынче прихватил! Видали, а? Все богатеет Дрягин-то наш, богатеет!

Поздней осенью, получив расчет, он с досадой, но и с завистливым восхищением рассказывал соседям:

— Вот сучья жила, Дрягин-то! Весной срядились: так и так! А подошел расчет — обжулил. Как ни бился я, ни крутился, смотрю — обжулил! И слова не скажешь! Вокруг пальца обвел! Да так ловко — удивленье одно! О-о, этот умеет жить, Дрягин-то наш! Эх, умеет!

За долгие годы батрачества Ерофей Лопухов кое-как завел лошаденку, коровенку и основал свой двор. Потом женился — и встал на хозяйство, встал с мечтой о богатстве, такой властной, что кружилась голова.

Но тяжелое учение у Дрягина не дало пользы. Ерофей Лопухов работал не покладая рук, пускался на все уловки и хитрости, стараясь раздуть хозяйство. Но нет — ничего не выходило! Казалось, по чьей-то злой воле все ополчилось против него: то волк зарезал стригуна, то градом побило хлеб, то корова погибла, затонув в болоте, то погорел дотла. А тут еще жена родила подряд трех дочерей. А какой от них был толк мужику? На них не давали земли. Их надо было только растить да готовить им приданое. Горько тоскуя о богатой жизни, Ерофей Кузьмич иногда напивался и бушевал в доме.

— Пропади она пропадом, эта распроклятая жизнь! Никакого тебе ходу! Никакой утехи. Да долго ль будет это, а?

Так Ерофей Кузьмич и дожил до революции бедняком. В первый год советской власти ему прирезали земли, дали лошадь, отпустили лесу на постройки. И тогда вновь, да еще с большей силой, поднялась у Ерофея Кузьмича мечта о богатстве.

— Вот это власть! — гремел он на всю Ольховку. — Наша! Одно слово: наша! При этой власти, мужики, жить нам да поживать!

Вскоре у Лопуховых родился Андрей. Ерофей Кузьмич совсем воспрянул духом. Андрей рос тихим и добродушным, но сильным и прилежным к любой работе. Еще мальчуганом он начал

браться, и очень ловко, за все хозяйские дела. У Ерофея Кузьмича трепетала от счастья душа: хозяйство быстро крепло, и можно было надеяться, что скоро сбудется заветная мечта.

Но тут начали создаваться колхозы. К удивлению многих, Ерофей Кузьмич, всегдашний бедняк, поднявшийся на ноги только в последнее время, наотрез отказался вступить в колхоз. Он всячески отстаивал, как островок в половодье, любимый мирок своего двора. Прошел год, второй, а он продолжал упорствовать. Наконец Ерофей Кузьмич неожиданно скрылся из деревни — пошел искать счастья на стороне.

Года три он метался по верховьям Волги. Ходили слухи, что он занимался то извозом во Ржеве, то заготовкой корья, то работал на сплаве леса... Ольховцы уже решили было, что своевольный Ерофей Кузьмич совсем отбилсЯ от дома и земли. Но вдруг он вернулся в деревню — угрюмый и постаревший от скитаний: его узнали только по светлой нарядной бороде.

Семья давно уже состояла в колхозе, но Ерофей Кузьмич не стал упрекать ее в нарушении его наказа. За время его скитаний Андрей вытянулся, окреп, стал крупным и красивым парнем, какими всегда славился лопуховский род. Его уважали в колхозе за прямой ум, добрый нрав и трудолюбие. Он всегда с большим усердием выполнял любое дело. Все ольховцы уже привыкли считать его хозяином двора. Ерофей Кузьмич подумал, что выросший без него Андрей, пожалуй, не потерпит больше суровой отцовской власти. Но оказалось, что сын, как и прежде, тих, застенчив и добр, многое ему досталось от характера матери.

— Ну как, хозяин? — спросил Ерофей Кузьмич, осматривая в первый раз сына; стесняясь отца, тот стоял у порога с опущенной русой чубатой головой. — Как хозяйствуешь? Как работаешь? Что молчишь?

— Работаю, — несмело ответил Андрей.

Алевтина Васильевна, поглядывая на сына с гордостью, вытащила из шкафчика небольшую серенькую книжицу, в которую записывались трудодни Андрея, и положила перед мужем:

— Вот, гляди! Вот она, его работа!

Пришлось Ерофею Кузьмичу покориться жизни. Вступив в колхоз, он начал работать в нем, всем на удивление, много и старательно: надо было снискать себе у колхозников милость, заслужить их доверие и, пока не сломила старость, наверстать

упущенное за годы бесцельных скитаний. И Лопуховы вскоре зажили хорошо, выравнялись со всеми, кто вступил в колхоз раньше.

Началась война. Немецко-фашистские полчища двинулись в глубь страны. Для Ерофея Кузьмича наступила пора тяжелых раздумий. Он стал молчалив и угрюм, особенно после проводов Андрея в армию. Трудно было понять, что он думает о войне. Иногда он, выслушав сводку с фронта, досадливо морщился и махал рукой:

— А-а, дурные головы! Да они что — белены объелись?

Но на другой день, прослушав новую сводку, хмурил лохматые брови и говорил вздыхая:

— Да, всё идут. Уму непостижимо! И что будет?

В начале октября немецко-фашистские войска прорвали Западный фронт на большом участке и быстро двинулись к Москве. К этому времени из Ольховки был угнан на восток весь колхозный скот. Но колхозники не спешили трогаться от родных очагов: надеялись, что враг вот-вот будет остановлен. И вдруг по всем дорогам хлынули наши отступающие войска. Тогда большинство ольховцев бросилось бежать из родной деревни.

Ерофей Кузьмич тоже засобирался было в путь, но когда взялся укладывать добро, от тяжелой боли сжалось его сердце. Разве можно было увезти все добро на одной телеге? За что ни схватись, на что ни взгляни все бросать надо: и разный столярный инструмент, и совсем новые кадки, приготовленные для солений, и улья, и выводки гусей... А наживешь ли вновь все это? Нет, Ерофей Кузьмич знал, как трудно дается в руки это добро. И он внезапно и твердо решил остаться в деревне.

— Нет, не могу! — сказал семье, хватаясь за сердце.

Сколько ни уговаривали его родные, он остался неумолим. Разругавшись со всей семьей, особенно с Марийкой, он кинулся на огород рыть яму, чтобы спрятать в ней свое добро...

IV

Женился Андрей последней весной — незадолго до войны. Для многих его женитьба на Марийке была неожиданной. Да и сам Андрей не сразу поверил в свое счастье.

Все сверстники Андрея росли отчаянными, дерзкими и шумными — от них беспокойно и радостно было в деревне. Тем более приметен был среди них тихий и застенчивый Андрей.

Как и все в Ольховке, девушки уважали Андрея. Но они, как водится, любят шутить над тихими парнями. Шутили они и над Андреем. И чаще всего подбивала их на озорство Марийка Логова — дочь вдовы Макарихи, чернявая красавица, шустрая и голосистая, как зорянка. Она была самой приметной девушкой в Ольховке; казалось, что все ее подружки сговорились полюбовно, да и отдали ей одной большую часть своей красоты да бойкости, и она, одаренная так щедро, жила на удивление всей деревне.

Однажды поручили Андрею сделать будку для сторожа на колхозном огороде. Стояла знойная пора. Под вечер, закончив поливку гряд, к нему завернули девушки из огородной бригады. Первой к будке, в которой стучал топором Андрей, подошла Марийка; на концах ее коромысла качались полные ведра воды.

— Андрей Ерофеич! — позвала она певуче и лукаво.

Андрей выглянул из будки.

— Водицы не желаете?

— Пожалуй, отопью. Духота!

Пока Андрей, свесив чуб, пил из ведра через край, Марийка не спускала озорного взгляда с его запотевшей спины, а только разогнулся он — плеснула на него рукой из другого ведра.

— Опять за баловство! — только и успел сказать Андрей.

По знаку Марийки девушки бросились к нему со всех сторон и, прыгая и визжа, начали обливать его водой. Андрей стоял, не трогаясь с места. Мокрые волосы залепили весь его высокий лоб. Мокрая рубаха обтянула его крутые плечи и широкую грудь. В эти секунды стало особенно заметно, как много держит он в себе спокойной и, должно быть, ласковой силы. Он не обижался на девушек. Он только защищался руками, когда плескали на него водой, и смущенно просил:

— Ну, будет, будет баловать!

— Лей! — командовала Марийка.

— Девки, да будет вам!

Так и пошло с той поры: что ни день, то новые шутки.

Ерофей Кузьмич давно решил женить сына. Все его ровесники уже отгуляли свадьбы. Весь расчет был а Андрею завести семью. В армии ему служить не пришлось: перед призывом заболел, простыв на сплаве леса, получил отсрочку, да так и остался в колхозе. Но Андрей почему-то не торопился с женитьбой. Это раздражало Ерофея Кузьмича. Жизнь в колхозе шла на лад, и он по-хозяйски

рассуждал: лишние руки в доме — лишнее богатство.

Но прошло лето, настала зима — пора свадеб, а сын так и не заводил разговора о женитьбе. На провесне Андрею исполнилось двадцать три года, и тут Ерофее Кузьмич потерял терпение. Через неделю после именин он строго и решительно заявил сыну:

— Ну, Андрей, будет канитель вести! Слышишь?

— О чем это, тять?

— Еще спрашивает? Хэ! — возмутился Ерофей Кузьмич. — Женись! И весь разговор тебе!

Андрей набивал патроны — готовился к охоте на глухарей. Ответил не скоро и угрюмо:

— Погожу.

— Чего ж годить? — зашумел отец. — Ну, скажи: чего? Мать вон с ног сбилась одна! По всему дому — неуправка!

— Погожу еще.

— Тьфу! Вот наказанье мое, господи!

Сколько ни бился Ерофей Кузьмич, сын не давал согласия на женитьбу. Наконец старик понял, что тратит время зря, и решил действовать по законам старины. Как раз той порой мимо двора шел дед Силантий. Ерофей Кузьмич зазвал его в дом, озабоченно сказал:

— Важнее дело, дед! Нетерпящее! Девку надо высватать. Сможешь, дед? Не отвык?

Дед Силантий попридержал трясучую голову, с трудом устоял на Ерофея Кузьмича поблекшие от старости глаза.

— Девку? Сватать? Что ты, Ерофей! Засмеет же весь колхоз!

— Какой тут смех, дед? До смеху ли? Чего тут такого — сходить, к примеру, потолковать с людьми? Ты же можешь это?

— Хо, сватать! — Дед дрожал от смеха. — А сам он что ж?

— Ой, дед! — досадливо поморщился Ерофей Кузьмич. — Где ему самому жениться, что ты, господь с тобой!

— Это верно, по нынешним временам смирный у тебя парень, — согласился дед. — Такой зря не замутит воды. Да оно ведь правду сказывают: кто силен, тот драчлив не бывает. Добрый парень!

Ерофей Кузьмич только с досадой махнул на это рукой — и опять к сыну:

— Ну, сказывай, куда идти?

— Не смехи ты народ, — загремев гильзами, отозвался Андрей.

— Смех — не дым: глаза не ест! Сказывай, ну?

— Ничего не скажу...

— Ты не упрямствуй, Андрейка! — пригрозил дед Силантий, внезапно решив еще раз показать себя в забытой профессии. — А то пойду да сосватаю Феню-дурочку! Вот будешь знать!

Андрей и сам давно уже подумывал о женитьбе. Но его сердцу была мила только одна девушка — Марийка Логова. После случая на огороде она всегда стояла перед глазами, как живая, и Андрей втайне немало страдал от своей любви к ней... Но пока он побаивался и думать о женитьбе на Марийке.

— Вот привязались! — сказал Андрей, когда и дед Силантий вдруг решил поддерживать отца. — То один чудил, а теперь двое... Ну, будет, будет! — И внезапно добавил: — Сам женюсь!

— Сам? — переспросил отец. — А на ком?

— Найду получше Фени-дурочки...

— А все же, к примеру?

— На Марийке Логовой.

Несколько секунд Ерофей Кузьмич недоверчиво осматривал сына, потом с раздражением спросил:

— Ты что же... не спятил ли?

— А что?

— Дурак! Чистый дурак! — на весь дом зашумел Ерофей Кузьмич. Первеющая девка в колхозе! Что умом, что красой — всем взяла! И роду хорошего... Да чего там, первый сорт девка!

— Таковую и надо.

— Да разве ж она за тебя пойдет? Ты подумал умом? Хэ! Вот удумал! Гляди на него! Ей-бо, очумел! Да мало ли она над тобой насмехалась? Еще мало?

— Нет, не пойдет, — подтвердил и дед Силантий.

Но Андрей, всегда сговорчивый, на этот раз решительно заявил, что женится только на Марийке Логовой, и пообещал как можно скорее поговорить с ней. Поругиваясь, отец согласился обождать со своей затеей.

Вечером Андрей увидел Марийку на гулянке. «Ну, будь что будет, подумал он, весь пылая. — Сегодня же поговорю!» Но Марийка, заметив, что он присел в сторонке, сразу повела черными глазами — заговорила с подругами, и Андрей, поняв, что она вновь затевает над ним озорство, смутился и тут же отказался от своей дерзкой мысли.

Свесив над гармонью чуб, гармонист рванул ее для запевок.

Марийка выскочила вперед, встала подбоченясь и, пока гармонист пересчитывал белые клавиши, медленным и хитреньким взглядом осмотрела подруг, а потом, тряхнув косой, запела:

Ой ты, сердце ретивое,
Ой да тише, тише ты!
Мой миленочек пришел,
Он в рубашке вышитой!

По другую сторону гармониста стала Софья Веселова. Приложив руку к груди, она взглянула на Марийку и с притворной озабоченностью выговорила грудным голосом:

Раскудрявая береза,
Ветру нет — она шумит.
Ой, подружка дорогая,
На тебя он не глядит!

Андрей понял, что девушки затевают о нем шуточный разговор, и, улучив момент, скрылся с гулянки.

Отец встретил его вопросом на пороге:

— Ну как?

— Сказала, что подумает, — хмуро ответил Андрей.

Андрей надеялся, что отец, занятый подготовкой колхозной сбри к весне, скоро забудет о его женитьбе. Но отец твердо решил довести дело до конца. Почти каждое утро он спрашивал Андрея о том, как подвигается сватовство. Через неделю Андрей не мог придумать новой отговорки и заявил отцу:

— Отказала. Наотрез.

— Как отказала?! — взъерошился Ерофей Кузьмич: за неделю, часто думая о Марийке, он как-то незаметно и невольно привык к мысли, что она должна быть и будет в доме снохой.

— Бот так и отказала...

— Э-э, чадо горькое!

Перед вечером Ерофей Кузьмич встретил Марийку на колхозном дворе и, не выдержав, заговорил шумливо:

— Значит, нашим родом брезгуешь? Кого же тебе надо еще? Из районного начальства, да? С портфелем? Нет, девка, гляди, не прогадай! Мы тоже не лыком шиты, вот что я тебе скажу! О нем вон в газете писано. Ишь ты, как возомнила!

— Ерофей Кузьмич! — опешила Марийка. — Да что с вами? О чем это вы?

— Опять тебе толкуй! Целую неделю толковали! А только я

напрямик скажу: кинешься за тем, кто с портфелем, да потом сама век каяться будешь! Вот как выйдет, запомни мое слово! Ишь ты, возомнила!

Сразу после разговора с Ерофеем Кузьмичом Марийка будто случайно зашла в клуб, где Андрей ремонтировал сцену. Увидев ее, Андрей едва удержал в руках рубанок, — всем сердцем почувствовал, что сейчас должно случиться что-то очень важное в его жизни.

А через несколько минут они сидели на свежих досках, пахнущих серой, и Андрей, держа Марийку за руку, сказал ей:

— Ну, раз ты согласна, до гробовой доски я буду верный тебе... — Он покачал головой, словно ему было тошно и тяжело от счастья, и Марийка с удивлением заметила, как влажно заблестели его глаза. — Вся жизнь моя будет только с тобой...

Вскоре состоялась их свадьба.

V

Не скрывая своего счастья, Марийка суматошно и весело хлопотала в доме. Радость встречи с Андреем на время заглушила все ее тревоги. Она всегда жила только так: если радовалась, то шумно, всем на зависть; если горевала — всем за нее было страшно. С первой же минуты, только увидев Андрея, она всей душой почувствовала, как ей легко и приятно быть около него. Теперь ей особенно стало ясно, как недоставало ей Андрея и как без него все лето в ее душе было пусто и неудобно, словно в покинутом птицами гнезде.

...Лозневого, как знатного гостя, угощали в горнице. Все остальные ужинали на кухне. Марийке несколько раз приходилось отрываться, чтобы угощать комбата. Это раздражало ее. Ни одной секунды она не хотела быть без Андрея, ни одной! При нем она была так счастлива, что не думала ни о чем — даже о том, что завтра утром кончится это счастье.

После ужина Марийка отозвала Андрея в сторонку, спросила, кивая на дверь горницы:

— Зачем ты этого-то привел?

— Комбата? А что?

— Не нравится он мне.

— Ну что ты, он хороший комбат!

— Хорош! Смотрит на меня, как кот на масло! — гневно сказала Марийка. — Ух, эти мужики! Выколоть бы всем гляделки! —

И резко оборвала разговор, подчеркнув этим, как он неприятен ей. — Баньку истопить тебе?

— О, хорошо бы! — обрадовался Андрей.

— Я сейчас!

Марийка бросилась было в сени, но задержалась у порога и, поманив Андрея к себе, зашептала, касаясь рукой его груди:

— Пойдешь помогать, а? Пойдем!

Баня стояла за огородом, в овраге, заросшем орешником, березнячком и крушиной. Здесь, в затишке, прячась от осени, еще держалась зелень.

Вечерело. Во многих местах на темно-багровом западе поднимались, завиваясь в спирали, черные дымы. Дальние урочища, как крепости с тысячами древних башен без огней, с куполами, тускло отливающими золотом, тонули в вечерних сумерках. А в Ольховке, на взгорье, было еще совсем светло и нарядно: и березы, и кустарники на склонах, и крыши домов, и стекла окон все было в багрянце. И на светлом небе без дела висела большая луна из латуни, — так и хотелось, глядя на нее, взять палку и попробовать — хорошо ли звенит?

Готовя баню. Марийка заставляла Андрея быть около себя неотлучно. Здесь она тоже делала все необычайно хлопотливо, с какой-то немного нервной быстротой. И разговаривала она быстро, то спрашивая Андрея о службе, то рассказывая ему, как скучала о нем, то сообщая деревенские новости. Когда под каменкой, потрескивая, запылала дрова, она слегка прижалась плечом к Андрею, сказала:

— Вот так и у меня сейчас в душе: весело горит, потрескивает... Слышишь, что говорю? Иным людям, пожалуй, на всю жизнь не дается столько счастья, сколько у меня сейчас. А у тебя?

— А у меня... — Андрей помедлил, — то светло, а то вот так, как в бане, — дымновато.

— Дымновато? Ты не рад?

Он видел, как она счастлива, и не хотел напоминать ей, что неурочный его приход — невелика радость.

— Из-за отца? — попытала Марийка.

— Из-за него... — промолвил Андрей.

— Ну и шут с ним! — сказала Марийка. — Не думай, Андрюшенька, о нем. Я не хочу, чтобы ты думал сейчас об этом...

— Оно само думается, — сказал Андрей вздохнув. — Останетесь, а что тут с вами будет? Его жизнь прожита, а твоя? Мне подумать страшно. Ты вот что... мать твоя уехала?

— К ночи уедет.

— Вот и ты отправляйся с ней!

Марийка вновь прижалась к плечу Андрея.

— Нет, Андрюша, — ответила тихо, — так нехорошо. Раз я пришла жить в вашу семью, я должна быть с нею всегда. Что поделаешь? Если они остаются, то и мне оставаться надо. Нет, нет, так нельзя!

Клюшкой пошевелила пылающие дрова.

— Ну, разгорелись хорошо. Пойдем, за водой.

— Смотри, чтоб не каяться после!

— Не думай, не буду. Пошли!

У родника она присела, подобрав платье, схватила Андрея за руку.

— Ты знаешь, за что я тебя люблю?

— Кто ж тебя знает, — усмехнулся Андрей.

— Ты весь, как вот этот родник, — сказала Марийка, сильно прижимая к себе руку Андрея. — Ну, что ты улыбаешься? Глаза у тебя такие: тихие, вроде темные, а в них светло, все видно... Ну, что ты смеешься? И сколько вот ни черпай из родника, он живет и живет... Он вечный. И ты мне кажешься таким.

Андрей погладил ее волосы.

— Родники не все, Марийка, вечные. Бьет, бьет, и вдруг — нет его! И вдруг пропал!

— А вот и неправда! — живо возразила Марийка. — Если здесь пропал, то выбьется в другом месте. В другом, а все-таки живет! Не спорь, он вечный. И ты такой же... Давай понесем!

— Дай я. — Андрей потянулся к ведрам.

— Нет, вместе, Андрюша! Вот, на палке.

Наполнив кадку водой, Марийка осмотрелась, протирая от дыма глаза.

— Теперь подмести надо. Сорно здесь. Я схожу, наломаю веник. — И тут же спохватилась: — Нет, нет, пойдем вместе?

Они пошли в березнячок. Андрей выбирал ветки не спеша, а Марийка хватала и ломала их как попало, в спешке обдирая с них пожухлые листья.

— Не торопись, — усмехнулся Андрей. — Торопыга!

Марийка разогнулась и встала перед ним, держа в опущенной руке пучок ветвей. Взглянув на Андрея, она приподняла лицо. При вечернем свете глаза ее блестели особенно сильно, а губы были приоткрыты, как от жары.

— Андрюша! — сказала она негромко, словно испугалась чего-то. Андрюшенька! — повторила она погромче и внезапно бросилась к Андрею, роняя ветки, прижалась к его груди...

— Ну, люди ж увидят, — весь запыхав, ответил Андрей.

...Потом они сидели на склоне оврага.

Марийка сказала не своим, далеким голосом:

— Засохну я, Андрей, без тебя. — Она пошарила рукой по земле. — Как ветка вот эта... Оторвали ее — и вся ее жизнь кончена. Сразу же и начнет сохнуть.

Андрей помолчал, развертывая кисет. Потом прижал большой рукой Марийку к себе.

— Не горюй, ласточка ты моя! Ты же сказала, что я вечный. Сказала? Ну вот, я вернусь...

— А когда?

— Кто же знает!

— Ты вот что, — сказала она очень серьезно, — ты возвращайся скорее. Слышишь?

...Так и кончилась радость Марийки.

Они легли спать в горнице. Марийка была готова проговорить с Андреем всю ночь. Но он, после трудного пути и жаркой бани, быстро уснул, захрапев тяжело, с надсадой. Марийка впервые слышала, что он храпит во сне. Она попыталась перевернуть его на бок, но не хватило сил: он был тяжел, как камень, что лежал у крыльца. И в эти минуты Марийка подумала, что Андрей уже изменился за лето. А что будет, если он провоюет долго? Он станет совсем другим человеком. Вот он уйдет завтра, и она уже никогда, никогда не увидит его таким, каким он был и еще есть, каким она полюбила и любит его. Да и вернется ли он? Дрожь скользила по спине Марийки. «Андрюшенька! — едва не закричала она. — Кровушка моя! Не жить мне без тебя! Слышишь? Не жить!» Она дотронулась рукой до его головы. Ей всегда нравилось играть его легкими волнистыми волосами. Теперь, ощутив колючую щетину на голове Андрея, она еще раз подумала, что война уже отобрала у него то, что было любимо ею, что эта война завтра навсегда унесет его от дома и закружит в своей бездонной пучине...

Марийке стало жутко. Чувствуя, что не выдержит и закричит на весь дом, она осторожно слезла с кровати и на цыпочках, боясь разбудить гостей или своих, вышла на крыльцо.

Весь западный край неба обжигало легким и дрожащим багрянцем невидимых за лесом пожаров. В текучем воздухе внятно слышался пригорьковатый запах дыма. Восточный же край неба надежно крыла темная октябрьская ночь. От ближних урочищ отдавало холодной сыростью: надвигалось осеннее ненастье.

Чувствуя под ногой опавший березовый лист, Марийка думала о том, что и Андрей теперь, как этот лист: подхватит его ветер и унесет невесть куда...

VI

На рассвете туманами затопило землю. Беззвучные мутные волны тихо качались вокруг ольховского взгорья. Кое-где смутно проступали в розовеющем свете очертания вершин холмов; заброшенными маяками стояли над ними черные зубчатые ели. Только в Ольховке — на взгорье — было светло.

Раньше всех в лопуховском доме поднялась Алевтина Васильевна, за ней — почти не смыкавшая за ночь глаз, побледневшая Марийка. Стараясь делать все бесшумно, они начали хлопотать у печи. Жили они дружно, а заботы об Андрее сделали их дружбу особенно теплой и светлой. Для Алевтины Васильевны хотя и привычна, но тяжка была суровая власть Ерофея Кузьмича, и она, от природы тихая и добрая, находила отдых от этой власти в дружбе с единственной снохой. Теперь, готовя подорожники Андрею, Алевтина Васильевна и Марийка то и дело шепотком разговаривали у печи.

Слыша храп Ерофея Кузьмича, Алевтина Васильевна без опаски смахнула с полных щек слезы, озабоченно спросила:

— Не сказывал, далеко ли пойдут?

— Где ему знать, мама! — У Марийки тронуло горьковатой улыбкой слегка призадохшие губы. — Ну, надо думать, не дальше Москвы, Дальше Москвы никогда, кажись, войны не было.

— А потом? Обратно?

— А как же, мама!

— О господи! Собьет ведь Андрюша ноги-то!

— Я ему портянки запасные положила.

— А чулки? Положи еще чулки, смотри! — приказала Алевтина Васильевна. — Погоди, доченька! А не сказывал, отчего у них неустойка выходит, а? Или уж эти... немцы-то... дюжей наших? Или, сказать бы, ловчее?

— Не знаю, мама. Не видала ж я их...

— Ну нет! — неожиданно твердо сказала Алевтина Васильевна и даже выпрямилась. — Убей меня бог, а не поверю я, что кто-то одолеть может русских! Вот выберут получше место... Господи, доченька, а шарф? Положила? Ведь зима скоро!

— Ой, мама, тяжело ему будет, — возразила Марийка. — Начнется бой, бегать же надо!

— Да чего ж ему бегать? Положи мешок — и воюй!

Со двора донесся яростный лай Черни. К Лозневому пришли какие-то военные люди. Они разбудили комбата и вызвали его из дома.

Накинув шинель на плечи, откидывая со лба слинявшие измятые пряди волос, Лозневой, с унылым, заспанным лицом, вышел на крыльцо. Тихонько кошачьей лапкой — царапнула душу тревога. На крыльце его поджидал начальник штаба батальона — молоденький, с нежным, почти мальчишеским лицом лейтенант Хмелько. Глянув на восток, где за туманом разгоралась заря, Лозневой тревожно спросил:

— Что случилось?

— Я не хотел в дом... — заговорил Хмелько.

— Что случилось, ну?

— Вот приказ, — заторопился Хмелько. — Уходить немедленно.

Лозневой взял бумажку, спросил:

— Где штаб полка? На старом месте?

— Уже снялся. Уходит дальше.

— Маршрут прежний?

— Да.

Лозневой свернул приказ, сунул в карман брюк. Сдерживая волнение, передохнул, сказал глуховато:

— Ну что ж, Хмелько, действуй!

— Есть!

— Людей покормим в пути?

— В пути. Кухни уже дымят.

Можно было и уходить, но лейтенант Хмелько, быстро

оглянувшись на вестового, придвинулся к Лозневому,дохнул ему в ухо:

— Немцы близко!

— Слухи?

— Точно, — ответил Хмелько. — Ночью здесь проезжали беженцы. Гнали, как очумелые. Ну, говорили, что немцы прорвались на большаках. Катят сплошной грохот. Того и гляди, мы окажемся в мышеловке. Бойцы узнали об этом — не спят, волнуются, бродят по деревне.

— Довольно, Хмелько, действуй!

Пока Лозневой разговаривал с Хмелько, поднялись все остальные в доме. Ерофей Кузьмич сидел у стола, задумчиво почесывая белую, пухлую грудь. Андрей, ворочая дюжими плечами, натягивал близ порога сапоги. Костя был уже одет, но протирал маленькие глазки, щурясь на огонь. Хозяйки шептались у печи. Все были встревожены тем, что комбата подняли в неурочный час да еще вызвали из дома.

Лозневой прошел в горницу, а через минуту, сбросив там шинель, с ремнем в руке опять появился на пороге, спросил Костю:

— Кони сыты?

— Кони в порядке, — ответил вестовой.

— Куда ж вы в такую рань? — спросил Ерофей Кузьмич.

— Служба, отец! — Сверкнув глазами, Лозневой одним рывком затянул ремень. — Служба!

— Дальше, значит, пойдете?

— Приказ, отец!

— А завтракать?

— Вот провожу людей, зайду.

Андрей разогнулся у порога. В просторной нижней рубаше, заправленной в брюки, он казался при слабом свете особенно загорелым и дюжим. Он посвежел после бани и крепкого сна, но смотрел задумчиво и сумрачно.

— Сейчас выходить, товарищ комбат?

— Да, сейчас поднимут людей, — ответил Лозневой и, проходя к двери, заметил: — А вы, Лопухов, из счастливых!

— Почему же, товарищ старший лейтенант?

— Дома побывали!

— Какое тут счастье! — повысив голос, с горечью ответил на это Андрей. — От такого счастья всю душу палит! Будто крапивой ее

исстегали. Думаете, легко отступить, через свой двор?

— Все же своих повидали...

— Это вчера я был во хмелю, — тише ответил Андрей. — А вот сегодня похмелье.

Когда Лозневой и Костя ушли, на кухне несколько минут стояла тягостная тишина. Все знали, что утром Андрей уйдет дальше, и все же уходил он неожиданно. Ерофей Кузьмич сидел за столом, положив на него левую руку и обессиленно свесив кулак. Алевтина Васильевна и Марийка, прижавшись друг к другу, стояли в темном углу, слабо освещаемом огнем из печи. Все молча поглядывали на Андрея. Он начал собирать свои немудрящие солдатские пожитки. Наконец Ерофей Кузьмич сказал с натугой в груди:

— Ну, гляди, Андрей! Гляди!

— Ничего, тятя, все будет хорошо... — ответил Андрей.

— Гляди, с умом воюй!

У печи слышались всхлипывания.

— Ну, вы! — загремел Ерофей Кузьмич на женщин. — Заревели! Нечего тут реветь! Что он — малое дите! У него теперь свой ум! Нажил! — Он вдруг не выдержал и неожиданно укорил сына за вчерашний разговор на огороде. — Он даже отца учит!

Андрей оторвался от вещевого мешка.

— Нет, тятя, еще не нажил, — сказал он неожиданно жестким голосом, только начинаю наживать. А ты, тятя, гляди, остаешься тут — не проживи его!

Ерофей Кузьмич даже опешил.

— Это ты... погоди, ты чего так?

— Проживешь, — закончил Андрей, — второй раз поздно будет наживать. А прожить ум-то в такое время легко.

— А-а, вон что! — Ерофей Кузьмич поднялся, прижал широкую бороду к груди. — Ну, теперь вижу: вырос!

Как хотелось Андрею мирно посидеть среди родных в этот час! Но мир в семье был нарушен. Тяжко, нехорошо стало в лопуховском доме. «Вроде бы угарно, — подумал Андрей. — Так и давит сердце!» Накинув на плечи шинель, он с тяжелым чувством вышел на двор. Первый раз он так жестоко разговаривал с отцом, и ему было больно оттого, что это случилось против его воли и случилось, как назло, в час разлуки.

Над двором уже шумели, роняя листья, любимые березы. Под сараем, похлопав крыльями, закричал петух. Завидев молодого

хозяина, Черня поднялся от предамбарья, выгнув спину, звонко позевнул, прищелкнув зубами. Из-под сарая, чирикнув, будто подав команду своей братии, резко выпорхнул воробей. На дворе было все обычно и привычно с детства.

Обласкав Черню, Андрей прошел через весь двор, мягко ступая по холодной земле, открыл влажные от измороси воротца на огород. Хотелось побыть в одиночестве. Пройдя за сарай, он прислонился плечом и пылающей щекой к его стене.

Три месяца назад Андрей впервые пережил тяжесть разлуки с домом и семьей. Но тогда он уходил на запад, навстречу войне, оставляя родных в безопасности, далеко позади. Теперь уходил на восток, оставляя их на произвол врага. Что будет с ними? Что будет с Марийкой? Страшно и больно было Андрею второй раз уходить из дому...

VII

И вновь Андрей шел на восток...

За ночь, сильно дохнув холодом, осень побила все, что еще жило, хоронясь от нее на полях, похитила с них последние краски лета. Куда ни глянь — всюду мертвая пустота. Только один раз Андрей заметил, как на склоне пригорка, в поредевшем бурьяне, метнулась лиса. Среди пустых и бесцветных полей, как зарева, стояли багряные леса. На восходе солнца поднялся ветер. Вновь зашумел листопад. Тучи листвы несло на восток. И вновь Андрей с тяжелой болью ощущал горькое чувство утраты всего родного, что было прочно связано с его жизнью.

Марийка провожала Андрея далеко за деревню.

Приотстав от батальона, они шли одни. Им не хотелось говорить б разлуке, да они и боялись говорить о ней. Шли молча. Лишь изредка, чтобы оторваться от дум, они перекидывались отдельными словами, пустыми и ненужными в этот час. Следом за ними плелся Черня.

У мостика через речку, за которой густо поднимался молодой березняк, они остановились. Андрей взял Марийку за руки. Лицо у нее было спокойное и строгое, как все это утро, но теперь на нем выступал румянец. Она долго смотрела на Андрея, не отрывая взгляда, — в ее темных глазах мелькали отблески солнца, неба и пролетающей мимо багряной листвы. Опустив глаза, сказала тихо и

просто:

— Ну, все, Андрюша, все, родной!

Андрей разом притянул ее к себе.

— Марийка, ласточка моя!

— Теперь иди! — У нее едва пошевелились губы.

— Щебетунья моя!

— Да помни: я ждать буду! — вдруг сказала она громче и, не в силах бороться со своим горем, быстро прижалась к груди мужа.

Андрей почувствовал, как на руку упала ее слеза, — и точно палящим ветром ударило ему в лицо. Прижимая Марийку к груди, он сказал тихо:

— Я вернусь, Марийка! Слышишь?

Вдруг Андрей отстранил Марийку, и здесь она впервые увидела, как ему тяжело уходить от нее... Она крикнула испуганно, сквозь слезы:

— Андрюша, иди!

Андрей быстрой, порывистой походкой пошел за речку. Марийка стояла, смотрела ему вслед, не трогаясь, не в силах махнуть ему на прощанье рукой...

В глубине леса, за речкой, остановившись поправить за плечами вещевой мешок, Андрей услышал, что его догоняет кто-то. Оглянулся. По дороге, поблескивая розовым языком, бежал Черня.

— Ты куда? — крикнул на него Андрей.

Подскочив, Черня начал ласкаться у ног хозяина.

— Ой, дурной! — мягче сказал Андрей. — Я же далеко иду. Далекое! Понял? И когда вернусь — не знаю. Понял? Марш домой!

Но Черня не уходил. Он крутился вокруг Андрея, поглядывая на него с лаской и тоской. И Андрею вдруг стало жутко от мысли, что он вот так просто — надолго, а то и навсегда — покидает родной дом.

— Черня, — прошептал Андрей. — Ты иди к Марийке, иди! Эх, Черня! Эх, ты! — Он вдруг упал на колени, прижал к себе пса, крикнул со всей силой: Черня, дорогой! Черня!

Но через секунду, опомнившись, оттолкнул собаку.

— Назад! Домой!

Черня удивленно и обиженно взглянул на хозяина.

— Назад!

Черня молча отскочил в кусты. Не оглядываясь, Андрей быстро зашагал проселком на восток...

VIII

Слухи о том, что немцы быстро двинулись по большакам, сильно встревожили Лозневого. Опасность шла по пятам. Было ясно: не сегодня, так завтра — бой. Первый бой. Что готовит судьба?

Полк майора Волошина, в составе которого находился батальон, был сформирован только в конце лета. Он обучался у Опочки, на реке Великой, и далеко не успел закончить боевую подготовку. Третьего октября немецко-фашистские войска прорвали наш Западный фронт и двинулись к Москве. Полк Волошина (в составе дивизии Бородина) был подчинен штабу Н-ской армии, отступавшей в район Ржева. За неделю отступления до Ольховки полку Волошина не приходилось вести бои: противник пытался охватить Н-скую армию с флангов, взять ее в клещи, и она, по приказу штаба фронта, торопливо отходила на восток.

Но теперь Лозневой всем сердцем чуял, что схватка с врагом неизбежна.

В это утро он внимательнее, чем обычно, присматривался к своим солдатам. Провожая батальон из Ольховки, он стоял на пригорке, заложив руки за спину, не трогаясь; из-под козырька фуражки осторожно следили за рядами солдат его острые серые глаза. Он видел: солдат уже утомили тяжелые переходы, ночи без сна, постоянные тревоги и беспокойные думы. Обмундирование у них выгорело, от него сильно пахло терпким потом. Солдаты исхудали, у них были обветренные лица. Поглядывали они тревожно и недобро.

Вздыхнув, Лозневой направился к дому Лопуховых.

Костя седлал коней. В доме слышался сильный и гневный голос Ерофея Кузьмича. Лозневой остановился у крыльца, вопросительно взглянул на вестового.

— Бушует! — насмешливо сказал Костя. — Хозяйке характер показывает.

Услышав шаги на крыльце, Ерофей Кузьмич притих. Когда Лозневой и Костя вошли в дом, он шагал по горнице, скрипя сапогами, — лицо у него было темное, борода взлохмачена. Хозяйка лежала на кровати, беспомощно раскинув руки. Около нее сидел, нахохлясь, Васятка и приглаживал ее реденькие распутившиеся волосы.

Усадив гостей за стол, Ерофей Кузьмич кивнул на кровать:

— Мать-то вон — проводила и слегла. Вот как сынов провожать! От сердца отрываешь кусок!

Он пошел в кухню, заглянул в печь.

— В жаровне, — не шевелясь, слабо сказала хозяйка.

— Знаю! Лежи!

Хозяин принес жаровню с бараниной, начал собирать на стол. Лозневой осмотрелся, спросил:

— Что ж сами? А сноха?

— Провожать ушла...

— Что-то не видел их.

— Особо ушли. За деревню.

— Да, любит она его, — сказал Лозневой, думая о Марийке.

— Кто ее знает, — уклончиво ответил Ерофей Кузьмич, приставив к широкой груди каравай и отрезая от него большие ломти. — Теперешних баб не поймешь. Сейчас любит, отвернулся за угол — разлюбила. Ветряные мельницы, а не бабы!

— Чего мелешь? — простонала хозяйка. — Не грехи!

— Ну, ты! Больше всех знаешь! Нагляделся я на ваше сословие! Вам дали волю, а вы взяли две. Не любовь — пыль в глаза!

Ерофей Кузьмич достал из шкафчика неполную поллитровку водки. Примеряясь глазом, разлил ее в чайные чашки. Пододвигая одну к себе на угол, сказал:

— Все остатки. Сыну хотел выпить — в рот не берет: и так, должно, горько.

С минуту закусывали молча. А затем, точно продолжая уже начатый разговор, Лозневой спросил, прищуривая на хозяина глаза, — на открытом лице, при свете, они теряли свой резкий, железный блеск:

— Значит, решили не ехать?

— Куда мне ехать! — в полный голос ответил Ерофей Кузьмич. — Вон у меня старуха-то! Около дома еще копошится, а отвези за версту — и ноги вытянет. Куда ее? Случись в дороге какая паника — и мне с ней хоть ложись да помирай. Совсем трухлявая баба! Раньше была — да! Из одной две можно было сделать!

— Не боитесь?

— Остаться-то? Хэ! Нам один конец! Чем в дороге помирать, так лучше дома. Все веселей на родном месте. Да и куда, скажи на милость, ехать? Не успеешь оглянуться, они уж вон где будут, на танках-то! Одна маята только. Да-а, как ведь поспешно

отступают наши, а?

— Что же сделаешь? — угрюмо ответил Лозневой.

Костю удивило, что комбат не торопился уезжать. Позавтракав, он подошел к зеркалу и, потрогав подбородок, сказал кратко:

— Ого!

— Да, не мешало бы, — согласился Костя.

— Доставай бритву!

Но тут же Лозневой схватил свою полевую сумку, быстро вытащил машинку для стрижки волос и положил ее перед Костей.

— Обожди, начнем с головы!

— Стричь? — удивился Костя.

— Давай заодно! — Лозневой потрогал над лбом жидкие пряди рыжеватого-пепельных волос. — Видишь, какие кудри? Для смеху только...

— Зря! — попытался было отговорить его Ерофей Кузьмич. — Какой ни волос, он все видней делает человека.

— Ничего! Стриги, Костя!

Около часа пробыл Лозневой в лопуховском доме. Выйдя затем на крыльцо, поднял к глазам бинокль. После бритья у него заметно посвежело лицо, но осталось, как и прежде, холодноватым, скованным тяжелой думой. Оно не теплело даже от щедро светившего солнца. С минуту Лозневой смотрел на проселок, уходящий на восток. Батальон уже скрылся в березовой роще за речкой. И вдруг Лозневой улыбнулся — чуть приметно, одной левой щекой.

— Далеко небось ушли? — спросил Костя.

— Коня! — сказал Лозневой, быстро сходя с крыльца.

Не доезжая до речки, они повстречались с Марийкой. Она возвращалась домой, шагая тихонько, опустив голову; следом за ней понуро плелся Черня. Ветер бросал им под ноги сухие листья. Лозневой кивнул Косте, приказывая ехать дальше, а сам остановился на дороге.

Марийка издали узнала комбата, но, делая вид, что не узнала, сошла с дороги. Натянув поводья, Лозневой повернул коня боком. Лозневой ловко, слегка подбоченьясь, сидел в седле, раскинув полы плаща. Он приподнял козырек фуражки, и глаза его, освещенные солнцем, сразу сделались мягче и добрее.

— Проводили?

Марийка помедлила с ответом дольше, чем нужно. Она смотрела на комбата так, будто все еще не узнавала его.

— А что? — спросила она наконец.

— Пошел?

Зардевшись, Марийка сказала недружелюбно:

— А как же ему не идти?

— Конечно, как не идти? — примиряюще согласился Лозневой. — Но другой бы, пожалуй, и не ушел... от такой жены.

Метнув на Лозневого недобрый взгляд, Марийка шагнула, намереваясь обойти его коня, но он вновь загородил ей дорогу.

— Одно слово! — сказал он быстро. — Пожелайте мне счастливого пути и всяких удач. Я — не суеверный, но мне кажется, что ваше слово многое значит...

Марийка на лету схватила широкий зубчатый лист клена. Несколько секунд, держа лист на ладони, разглядывала шитье жилок под его прозрачной багряной кожицей. Затем, не глядя на Лозневого, небрежным жестом кинула его через плечо и так же небрежно сказала:

— Что ж, счастливого пути!

— И всяких удач?

— Да.

— Вот и все. Благодарю, — ответил Лозневой. — Теперь я знаю, что свое счастье везу в кармане.

Кивнув Марийке, Лозневой тронул коня. За речкой он обернулся, поглядел Марийке вслед, улыбаясь одной левой щекой, и поскакал дальше...

IX

Путь от Ольховки стал еще труднее. Не успело солнце пригреть землю загудело все небо: с запада потянулись большие косяки «юнкерсов». Иногда их трудно было поймать глазом в ослепительной вышине осеннего небосвода, но унылый, надрывный вой их моторов судорогой схватывал душу. Начались бомбежки. Как и вчера, опять тяжело ахала и содрогалась земля и над ней там и сям взлетали, будто вырываясь из ее огненного чрева, кудлатые, тяжелые и угарные дымы, — ветер нес их на восток вместе с опавшей листвой. Над дорогами внезапно с высоким диким свистом проносились сухие хищные «мессершмитты», и люди в ужасе бросались в стороны,

спасаясь от злобного птичьего щелканья разрывных пуль.

В полдень батальон Лозневого остановился на привал в небольшом леске. Тотчас же на бивак прискакал на крупном сером жеребце командир полка майор Волошин. Командира полка сопровождали его заместитель капитан Озеров и группа автоматчиков — все молодые загорелые ребята. Встречные солдаты указали приехавшим, где стоянка Лозневого, и они, растянувшись цепочкой, двинулись, похрустывая валежником, к западной опушке леса.

Лозневой в это время лежал в своей легкой походной палаточке, раскинутой под молодым дубом, — ветер трепал на его корявых ветвях грязно-желтые лохмотья листвы. За этот ветреный октябрьский день у Лозневого особенно усилилась тревога. С часу на час он ждал внезапных и больших событий. И когда Костя, торопясь, доложил, что приехал командир полка, Лозневой разом поднялся, понимая, что эти события наступают, и быстро выскочил из палатки.

Майору Волошину было под пятьдесят. Все в его большой фигуре было крупным и грубым. Служил он в армии с весны восемнадцатого года. Рядовым бойцом-пулеметчиком дрался с белогвардейцами на Волге, освобождал Казань, потом участвовал в героическом походе на Колчака — в глубь Сибири. За храбрость, проявленную в те годы, получил орден Красного Знамени. Бойцу Волошину крепко полюбилась военная служба, и он решил пожизненно остаться в армии. Несколько последних лет он уже командовал стрелковым полком и был горд своей службой.

Еще издали, взглянув на командира полка, Лозневой сразу определил: Волошин сильно встревожен. «Плохи, видно, наши дела, — подумал Лозневой, совсем плохи».

Тяжело соскочив на землю, майор Волошин не стал выслушивать рапорт, только махнул досадливо рукой. Бросив поводья, отдуваясь, он пошел усталой походкой к палатке Лозневого, на ходу расстегивая и раскидывая полы плаща.

— Фу, черт возьми! — проворчал он. — Разбило всего.

— Сюда, сюда! — пригласил Лозневой.

Устроившись на снаряжном ящике под дубом, майор Волошин, не снимая каски, обтер платком лоб и виски.

С минуту он молчал, жадно дымя папиросой. Лесок полнился шумом ветра. Раздавались голоса солдат, похрапывание лошадей, стук топора о дерево и крик сорок — они всюду разносили вести об

осени. В светлом просторном небе гудели невидимые моторы. Где-то далеко шла бомбежка; в земле глуховато стучало, словно с перебоями билось ее сердце. Закашляв, Волошин бросил папироску под ноги, позвал:

— Озеров, сюда!

Передав коня автоматчикам, к палатке твердым шагом подошел капитан Озеров. Это был человек тоже крупный, в расстегнутой ватной куртке, с простым, слегка рябоватым лицом сибирского старожилы.

— Комиссара не видел? — спросил его Волошин.

— Нет, не видел, товарищ майор.

— Хорошо, что тебя хоть встретил. Очень нужен.

— Новости?

— Да. Давай карту.

Капитан Озеров раскрыл планшет. Взяв карту, майор Волошин пригласил заместителя и комбата присесть рядом. Они быстро устроились: Озеров — на ящике, Лозневой — на своем седле. Майор Волошин тем временем надел на широкий угрястый нос очки, оглянулся по сторонам.

— Не беспокойтесь, — догадался Лозневой, — поблизости никого нет.

Майор Волошин повел глазами по карте.

— Ага, вот где! — Он остановил карандаш на маленьком зеленом пятнышке. — Мы здесь, да? Сколько осталось до Вазузы?

— Около двадцати, — ответил Озеров.

— Да, точно, — Волошин оторвался от карты. — Так вот, обстановка следующая. К переправе на Вазузе, как видите, углом сходятся две большие дороги. — Он кинул руку в одну сторону, затем в другую. — Одна — здесь, другая — здесь. По этим дорогам движутся две большие колонны немцев. Они спешат к переправе.

— Далеко они? — осторожно спросил Лозневой.

— К сожалению, мы плохо это знаем, — ответил Волошин. — У штаба дивизии точных данных, как видно, нет. — Он притих, помял мясистые губы. Так вот, вся наша дивизия, вслед за другими частями, идет проселками между этими двумя дорогами и к ночи должна, опередив немцев, вырваться к Вазузе. Если вырвется — будет очень хорошо. Но это не все. Для нашего полка как раз не в этом состоит главная задача.

Он опять с опаской оглянулся по сторонам и затем сообщил

совсем тихо:

— Мы не дойдем до Вазузы... — Вздрагивающей рукой он провел по карте. — Наш полк остановится вот здесь, — сказал он и, заметив, что рука вздрагивает, убрал ее с карты. — На переправе большой затор. Говорят, что там собралось столько частей и беженцев, что не окинешь глазом! Так вот, наша главная задача — стать и задержать немецкие колонны до тех пор, пока все части, в том числе и два полка нашей дивизии, не окажутся за переправой. Мы можем уйти только последними. Вы понимаете, что на нас возложено? — Он строго осмотрел Озерова и Лозневого. — Мы должны стоять насмерть. До последнего. Должны умереть, но спасти других. Ясно?

Всю неделю отступления Лозневой ждал внезапных и грозных событий, но никак не ожидал того, что случилось: их полк, ради спасения других частей, был обречен на верную гибель. И Лозневой с ужасом почувствовал, что в груди его все заледенело, будто ворвалась в нее, как в распахнутую настежь дверь, лютая сибирская стужа.

— Да, это ясно, — ответил он, не слыша своего голоса.

— Что ж, будем стоять, — ответил и Озеров, щелкнув кнопкой на планшете, и быстро поднял отчего-то засиневшие глаза.

Майор Волошин хотел указать Лозневому рубеж, который должен занять его батальон для обороны, но в этот момент донесся высокий, хватающий за сердце вой мотора.

— Ложись! — крикнул Озеров.

Все рухнули на землю. Немецкий истребитель прошел над леском, почти задевая плоскостями вершины деревьев, а через несколько секунд с опушки донеслись голоса:

— Упал! Упал!

Вокруг поднялся гомон. С опушки леска, перекликаясь, понеслись солдаты в поле. Послышались выстрелы.

Х

Вскоре на стоянку Лозневого привели захваченного в плен немецкого летчика. Он был высок и сух, как хвощ, но с энергичным лицом. На нем был изорванный комбинезон с блестящей застежкой-«молнией» на груди. Заложив руки за спину, он остановился близ дуба и осмотрелся неторопливо, спокойно и даже

нагло, высоко подняв растрепанный белокурый чуб. Казалось, его нисколько не смутило, что он попал в плен. Он так презирал всех, кого видел у дуба, что не испытывал перед ними страха.

Майор Волошин впервые увидел фашиста в лицо. Его поразили наглость и самоуверенность врага. Содрогаясь всей грузной фигурой, Волошин закричал:

— Ты что же, сволочь, а? Что смотришь так?

Пленный летчик слегка приподнял голову. Губы его тронула едва приметная презрительная улыбка. Волошин сорвал с носа очки, и глаза его, большие, как у филина, глянули на немца, наливаясь кровью и злобой. Бешено стиснув огромные кулаки, он закричал:

— Как фамилия? Говори! Ну?

Пленный посмотрел на командира полка с еще большей дерзостью.

— Молчишь, тварь? Молчишь?

Еще с минуту майор Волошин подступал к немцу, потрясая кулаками, но тот в ответ на все его вопросы лишь трогал губы презрительной улыбкой или — изредка — легонько покачивал растрепанным чубом. Он не испытывал никакого страха. По щекам Волошина потекли струйки пота. Вытащив из кармана платок, он обернулся назад.

— Ничего, сволочь, не понимает!

— Разрешите мне? — спросил Озеров.

— Ах да, — спохватился Волошин. — Ведь ты, кажется, можешь по-немецки? А ну, валяй!

В эту минуту пленный успел вытащить из кармана небольшую ярко поблескивающую гармонику. Он легонько — для пробы — провел ею по губам: раздались мягкие, певучие звуки. Не глядя на окружающих, немец начал осматривать и пробовать лады... Озеров бросил на пленного взгляд и мгновенно потемнел лицом — на нем обозначились рябинки. Озеров сделал шаг вперед, и от его сильного голоса дрогнул воздух:

— Stillgestanden!¹

Гитлеровец на секунду приподнял глаза, но тут же вновь принялся за свое дело. Тогда Озеров, сделав еще один шаг вперед, без взмаха, но с бешеной силой ударил его кулаком под ребра. Вскинув руки, гитлеровец со стоном отлетел под ближний куст орешника, а

¹ Смирно!

его гармоника — еще дальше.

— Aufstehen!² — крикнул Озеров.

Фашист быстро вскочил, вытянулся у куста орешника, испуганно вытаращив глаза.

— О, и дылда! — долетело из ближних кустов.

— Имя? — неожиданно спросил Озеров по-русски. —
Фамилия?

— Курт Краузе, — крикнул пленный.

— Ага, вы и по-русски понимаете, — заметил Озеров. — Видите? — сказал он, обращаясь к майору Волошину, но, судя по всему, желая, чтобы его слышали и солдаты, выглядывавшие из кустов. — Когда фашистов начинаешь бить, спесь и наглость слетают с них, как шелуха, и они становятся тем, что они есть. — Он повторил, рубанув воздух рукой: — Бить их надо! Бить! Тогда они поймут, с кем имеют дело!

— Немецкая армия непобедима! — сказал Курт Краузе. — Вы не можете нас бить!

— Вот как! — Теперь уже Озеров, посветлев лицом, презрительно смотрел на гитлеровца. — А разрешите спросить: почему вы оказались на земле? Вас сбил наш летчик?

Курт Краузе молча опустил чуб.

— Вы прикрывали колонны, которые идут по большим дорогам к переправе, — сказал Озеров. — Это мы знаем. Может быть, скажете, что это неправда?

— Нет, это правда, — ответил Краузе.

— Когда они должны быть у переправы?

— Завтра утром.

— Не врать! — крикнул Озеров.

Майор Волошин давно стоял позади. Он торопился дать последние указания Лозневому и скакать дальше — к реке Вазузе. Решив побыстрее закончить допрос, он выступил вперед, переспросил:

— Значит, завтра?

— Завтра утром, — повторил Краузе. — Так мне известно.

— Ну, все! — властно распорядился Волошин. — Конеч!

Курт Краузе дрогнул.

— Вы меня убьете? — спросил он тихо.

² Встать!

— Убивать? Зачем? — презрительно сказал Озеров. — Нет, вы еще поживете. Вам будет предоставлена возможность дожить до поражения вашей фашистской Германии. Вы еще...

— Озеров, все! — крикнул Волошин. — Довольно!

Подозвав Лозневого, который все время стоял под дубом, пряча под козырьком глаза, Волошин спросил:

— Где они... твои бойцы эти?

— Здесь, товарищ майор!

— Сюда!

Из кустов орешника вышел сержант с винтовкой, а за ним — четыре бойца. Сержант был высокого роста, немного сутулый, угрюмого лесного вида, — такому только бродить за зверем по тайге. Не по годам, а скорее по выправке да по смелости взгляда, какой поднял сержант на командира полка, можно было безошибочно определить, что он давно в армии и привык к суровой солдатской службе.

— Фамилия? — спросил его Волошин.

Выждав секунду, не отрывая от командира смелых карих глаз, сержант ответил не спеша, не повышая голоса:

— Юргин, товарищ майор.

— Сибиряк, что ли?

— Угадали. С Енисея.

— Он отстреливался?

— Да, немного, — нехотя ответил Юргин.

— Вот что, орлы! — заговорил Волошин, обращаясь уже не только к Юргину, но и ко всем бойцам. — От лица службы за смелость благодарю! Солдаты ответили на благодарность, и Волошин тут же добавил: — А теперь отведите его вон туда... Подальше отведите! И покараульте. Ясно?

— Есть! — не спеша козырнул Юргин.

Курта Краузе увели.

— Отправить в штадив, — распорядился Волошин.

После этого майор Волошин пробыл на стоянке совсем недолго. Расправив на ящике измятую карту, он показал наконец Лозневому, где должен остановиться его батальон для занятия обороны.

— Батальоны Верховского и Болотина, — пояснил он Лозневому, оседлают большаки и будут сдерживать немецкие колонны, а ты будешь стоять в центре между большаками, по этим

вот высоткам, по опушкам лесков...

Сдерживая волнение, Лозневой начал делать пометки на своей карте. Перед глазами пестрило: казалось, что значки, цифры, зеленые пятна и названия селений ползают по карте, как живые, убегая от ядовитого синего карандаша.

— Стой! Где метишь? — остановил его Волошин.

— Ах, вот где! Извините, товарищ майор.

— Так вот, комбат, — продолжал Волошин, — надо занять рубеж, окопаться и стоять! Без приказа — ни шагу! — Голос его зазвучал твердо. Умереть, но не сходить с места! Стоять до последнего!

Указав на карте, где намечено устроить его командный пункт, майор Волошин быстро собрался и ускакал с автоматчиками из леса.

Встреча с майором Волошиным была самым важным событием в жизни Лозневого за последние дни. Проводив командира полка, Лозневой крикнул своего начальника штаба, лейтенанта Хмелько. Тот давно и с нетерпением ожидал этого вызова, чтобы узнать новости. Легкой мальчишеской походкой, позвякивая шпорами, он подбежал к комбату, вскинул ладонь под козырек фуражки. Не глядя на Хмелько, пересыпая на ладони литые бронзовые желуди, Лозневой спросил шепотом:

— Знаешь, кто мы?

— Мы? А кто?

Кинув горсть желудей по земле, посыпанной опавшей золотистой листвой, Лозневой прошел мимо Хмелько, на ходу бросив тому в ухо одно слово:

— Смертники!

XI

Откинув ветку орешника, капитан Озеров увидел Матвея Юргина. Присев на корточки среди еловых и березовых пеньков у небольшой лужицы, посыпанной опавшими листьями, смуглый угрюмый сержант обтирал задымленный бок своего котелка мокрым пучком лесной осоки.

— А, земляк! — приветливо окликнул его Озеров.

Юргин поднялся, оставив котелок у лужицы; задерживая на подходившем Озерове смелый взгляд, спросил:

— А вы, товарищ капитан, тоже из Сибири?

— Тоже из Сибири. Только с Оби.

— О, тогда верно: земляки! — улыбнулся Юргин.

— Да ты делай свое дело, делай! — Озеров подошел к лужице, присел на пень и, когда Юргин опять взялся за пучок осоки, спросил: — Давно из дому?

— Давно! Я на сверхсрочной.

— А в полк как попал?

— Из госпиталя. После лечения.

— Ранен?

— В самом начале поцарапало немного...

Подняв прутик, Озеров разогнал несколько листьев со середины лужицы, на чистом месте выпрямились торчавшие со дна зеленые шильца осоки. Просыпавшись сквозь листву ближней березы, на гладкое темное дно лужицы упали солнечные блески мелкой и тонкой чеканки.

— Коммунист?

— Да, с весны.

— В Сибири-то чем занимался?

— Известно, в колхозе... промышлял в тайге.

— За белкой?

— Больше за белкой.

— Ее у вас там, на Енисее, много!

— Тьма!

Немного еще помолчали. Юргин старательно оттирал гарь на дне котелка. В леске подзатихли солдатские голоса — все, должно быть, отдыхали после обеда. Издалека, с обоих флангов, доплескивало гул орудий. Иногда легонько встряхивало землю — над лужицей трепетали зеленые жала осоки.

— Ну как, не надоело еще? — спросил Озеров.

— Что «не надоело»? — насторожился Юргин.

— Отступить-то?

— Эх, товарищ капитан! — Юргин с досадой бросил в лужицу истертый пучок осоки. — Так обидно, что душу рвет!

— Ты вот что, земляк, скажи мне... — Озеров оглянулся назад, затем спросил потише: — Отчего это у нас немцев так боятся, а? Что такое? В чем дело?

— А кто боится?

— Да многие.

— Ну нет, — спокойно возразил Юргин. — Таких, товарищ

капитан, совсем мало. Нет, против немцев особого страху не видать. У кого заячья душа, тот, понятно, и свою тень увидит — без памяти шуганет в кусты.

— Отчего же... чуть что — паника?

— А это, товарищ капитан, из-за танков и самолетов, — ответил Юргин. — Немцев наши ребята не боятся, говорить не приходится, а вот их танков да самолетов побаиваются, это верно. Многие ведь и в бою еще не были, не нюхали пороху, а машины — они... От одного их воя, черт возьми, оторопь берет! А ведь у нас... Можно сказать?

— Конечно, говори все, — разрешил Озеров.

— Техники у нас маловато, товарищ капитан, вот что! — Юргин кивнул на свою винтовку, что стояла на сухом месте под елкой. — Что с ней сделаешь против танка? Не по этой дичи. Ну, а бутылки эти... Тоже можно?

— Говори все, не бойсь!

— Я не боюсь. — Матвей Юргин улыбнулся одними губами. — Когда речь пойдет среди бойцов, я эти бутылки сам хвалю. Зажечь танк этой горючкой можно, она вон как полыхает! Ну, а все же эти бутылки — от большой нужды. Плохая от них утеха.

Озеров слушал, наблюдая, как листья, разогнанные им, вновь сходятся к середине лужицы. Потом хлестнул по лужице прутиком.

— Обожди, земляк! Все, что надо, будет!

— Я верю, что будет.

— И танки и самолеты! Все! Обожди только.

— Да мы ничего, потерпим, — пообещал Юргин.

— А пока и бутылками надо жечь!

— Что ж сделаешь! Будем жечь! — Юргин помедлил, взглянул на Озерова и продолжал горячее: — Оно, товарищ капитан, и с таким оружием, какое есть, можно бы воевать лучше, да тут одна заковыка... Диву я даюсь! Сколько мы отходим, сколько земель и добра бросаем, сколько нужды терпим, а нет, многим еще не дошла эта война до печенок! Не дошла! Помаленьку начинает доходить, а еще не совсем. Вот когда дойдет — тогда все! Это как на пасеке... Залезет медведь лапой в улей — и вот поднимутся пчелы! И сначала, пока, видно, не поймут толком, что случилось, — вот выются, вот гудят! А как поймут, что медведь начисто зорит улей, — и пошло! Облепят медведя, и тому только дай бог ноги! Извиняюсь, товарищ капитан, может, я не так соображаю?

Озеров поднялся, сказал:

— Ну, земляк, порадовал ты меня! Соображаешь ты правильно, очень правильно! — Опустил глаза. — Ненависть — самое сильное оружие. Но это оружие, Юргин, нам не привезут из тыла. Мы сами, на ходу, должны его ковать. Понял?

— Я это понимаю, — сказал Юргин.

— А теперь, земляк, вот что: бери винтовку — и пошли. Он где, немец-то? Надо отправлять его в штадив. Сейчас я крикну людей. Далеко он?

— А вот тут, недалеко.

Курт Краузе сидел под маленькой темнокожей липкой. Перед ним стоял новенький зеленый котелок с густой мясной лапшой. Вокруг на поляне сидели солдаты. Они с любопытством наблюдали, как пленный, не скрывая своей природной жадности, орудовал в котелке ложкой.

— Ешь, ешь! — сказал Андрей, увидев, что пленный заглядывает в котелок. — Мало будет, еще принесу. Ешь!

— Здоров жрать, — удивился боец Дегтярев.

— Жрет что надо! — подтвердил и Умрихин. — На удивленье.

— А сух — в чем душа.

Раздвинув кусты, на поляну вышел Матвей Юргин, а за ним — капитан Озеров. Раздалась команда:

— Встать!

Через минуту автоматчики увели Краузе. Поглядывая на котелок, оставшийся под липкой, Озеров спросил солдат:

— Кто принес?

Андрей вытянулся перед командиром:

— Я, товарищ капитан!

— Тебе, что же... приказали накормить его?

Андрей молчал.

— Его... что же... уже зачислили на довольствие?

— Он сам попросил, — сдержав вздох, ответил Андрей.

— Ага, понятно, — тихо сказал капитан Озеров. — И тебе стало жалко его? У тебя добрая душа? Да? — Озеров повысил голос, сказал с издевкой: Ну как же! Он устал! Он с утра летал по дорогам и убивал наших людей! — У Озерова вдруг потемнело лицо, и на нем резко обозначились рябинки. Отчего ты так добр с этим убийцей? Отчего?

У Андрея быстро багровело лицо. Он смотрел прямо на капитана Озерова, но от волнения не слышал, что говорил тот, подступая все ближе, гневно сводя под опущенными бровями жарко засиневшие глаза.

ХII

На голом, открытом для ветров пригорке — по обе стороны проселка зияли небольшие свежие воронки; вокруг, по запыленной и помятой целине, были раскиданы сухие, опаленные огнем комья земли. Похоже было, кто-то пытался здесь, да безуспешно, во многих местах сверлить пригорок огромным буравом. У обочин проселка и подальше, между воронок, валялись убитые лошади, обломки крестьянских телег, изорванная сбруя. Подзатихший с полдня ветерок легонько обдувал это скорбное место.

— Сыпанул он! — покачав головой, сказал Андрей.

— Да нет, однако, не один, — осмотревшись, сказал Матвей Юргин. — Эх, поганые души, что наделали, а?

— Не знаю, что и творится.

— Почему не знаешь? Гляди.

— Какая же это война?

— Да, на войну не похоже. Один разбой.

Их взвод шел первым в походной колонне полка — вслед за головным дозором. Молча, поглядывая по сторонам, солдаты прошли голый пригорок, изрытый бомбами. Легко повиливая, проселок начал спускаться в низину — в темноватый еловый лесок. Так и лежал их путь от леска до леска: богато, густо расшиты причудливым лесным узором ржевские земли. Солнце уже скатилось с зенита. От горизонта, издалека пригнанные ветром, круто шли в поблекшую высь светлые, с сизоватым подбоем облака. Натрудившись с раннего утра, ветер без особого усердия заканчивал свои дневные дела. Деревья в лесу теперь шумели не все сразу, а поочередно: отыграет листвою береза, за ней — по соседству — сухо прошуршит липа, дойдет очередь — и дуб потрясет рыжими космами.

На опушке леска, по обе стороны дороги, чернели бугорки могил. Над ними стояли свежие, наспех сколоченные кресты. Над одним бугорком крестик был совсем маленький, чуть повыше березового пня, что торчал около, выбросив за лето от себя молодь. Андрей понял: здесь похоронены те, что погибли на пригорке. У

нового случайного погостика никого не было, но дальше, в рыжем кустарнике, мелькали бабьи платки, слышались голоса и лай собачонки.

— Эти, видать, отъездили, — сказал Юргин угрюмо.

Обернувшись к солдатам, он хотел что-то крикнуть, но тут же, сжав губы, пошел дальше. Хмуро поглядывая на могилы, солдаты шли мимо них молча, стуча котелками и касками.

Войдя поглубже в лесок, Андрей увидел недалеко от дороги, за кустами крушины, задок телеги, — в нем лежала опутанная веревками молодая черная ярка. Она вытягивала шею, пытаясь достать ветку, реденько обвешанную зеленовато-золотистыми листочками.

— Наши! — ахнул Андрей. — Я найду!

— Из Ольховки? — спросил Юргин.

— Да, наши колхозники, товарищ сержант!

— Ну, ступай повидайся...

С горечью и тоской наблюдал вчера Андрей, как ольховцы-колхозники, напуганные внезапным и быстрым отходом армии, покидали родную деревню. За вечер он успел повидать некоторых соседей, собравшихся в невольный путь на восток, и среди них — председателя колхоза Степана Бояркина. Он отправлялся во главе последнего колхозного обоза. В задке его телеги, загруженной разной поклажей, лежала черная ярка.

Андрей бросился за куст крушины. У телеги были широко раскинуты оглобли, в траве валялись хомут, седелка, вожжи. Подальше, на лужайке, на жестковатом ковре брусничника, лежала на боку светло-рыжая лошаденка. У ее неловко откинутой головы сидел на корточках Степан Бояркин, высокий и костлявый человек, лет сорока, с гладко выбритым болезненным лицом. Услышав, что кто-то подходит к телеге, он поднялся и, узнав Андрея, сокрушенно махнул рукой:

— Нет уж, подохла!

Степан Бояркин был в распахнутом рабочем пиджаке, с непокрытой светлой головой и в одном сапоге. На левой ноге штанина была разорвана и закручена выше колена, а вокруг худой икры торопливо обмотана холщовая тряпица, испятнанная кровью. Высокий и бледный, Степан Бояркин пошел, прихрамывая, к телеге и на ходу крикнул:

— Видал, что с нами сделали?

— Неужто, дядя Степан, все наши были?

— Да нет, из разных мест, — ответил Бояркин. — наших совсем мало. Ну, были все же...

— И давно?

— Утром еще.

Андрея поразило, как изменился Степан Бояркин за одни сутки. Он давно страдал язвой желудка. Пуще прежнего, как с голодухи, у него запали бледные щеки, а скулы и губы выдались, и светлые ореховые глаза смотрели из больших затененных впадин с жадной силой. Эти сутки обошлись Степану Бояркину дорого. Вчера он обессилел от хлопот по эвакуации колхозников, от неполадок, неизбежных в таком деле, и разных неприятностей. Он злился, что пришлось уезжать в спешке, не сделав перед отъездом необходимых дел в Ольховке. С большой душевной болью он оставлял в деревне семью: старушка мать, разбитая параличом, лежала при смерти, и жена должна была облегчить ее последние дни. А вот сегодня — новая беда, новые хлопоты... Но как Степан Бояркин ни был измучен, во всем его облике чувствовалось большое обновление: то ли он узнал за эти сутки такое, что давно и тщетно хотел узнать, то ли он внезапно достиг в себе какой-то радостной, освежающей и обнадеживающей победы.

— Видишь ли, как дело вышло... — начал рассказывать он, сматывая вожжи. — Как я ни метался вчера, а с разными делами едва управился к полночи. Доехали утром досюда, а тут нас и попутал дьявол — так валом и повалили на чистень! Все же торопятся, бегут! И только это бабий базар вылез на пригорок, они и настигли. И скажи, как метлой — за один раз смахнули с пригорка! Кто мог, тот дальше ускакал сломя голову, а другие со страху ударились в стороны — в леса. Ну, а мы дотащились вот сюда... Сгоряча-то конь мой проскакал до леса, а тут гляжу — он как во хмелю, бедный. В бок ему попало. Теперь сиди вот тут и кукуй. Да еще ногу вот, как на грех, пулей оцарапало. Теперь куда на одной костылять? И хоть бы, скажем, не видно было, какой обоз идет. Видно же: одно бабье да ребятня! Ведь пролетел один — чуть дугу у меня не сшиб! Это как называется — баб да детишек бить?

— Убило-то кого? — весь горя, спросил Андрей.

— Да все баб. И девочку одну убило, — ответил Бояркин. — Девочка-то из нашей деревни.

— Чья же?

— Ульяны Шутяевой дочка.
— Валюшка? Это такая... беленькая-то?
— Вот она и есть.
— Да что ты, дядя Степан! Что ты!
— Она. Сам собирал ее воедино.

Андрей отвернулся к телеге, попросил:

— Не рассказывай, не надо!

Схватив Андрея за рукав, Бояркин приблизил к нему свое худое лицо и сказал сквозь зубы, но с едва сдерживаемой, разгоряченной силой:

— Знаешь что? Меня теперь всего огнем налило! Вот как! — Передохнув, он вдруг заговорил в полный, немного крикливый голос: — А дальше мне не уйти! Куда я на одной ноге? Да и уходить, пожалуй, не надо! Обязательно, что ли, бить по их морде? А если по затылку? Чем хуже? Не пойду я никуда, Андрей! Подберу вот ребят — и мы тут такое им огненное пекло устроим, что они взвоят смертным воем! Плакать будут! Горючими слезами плакать, что пришли сюда! Кровью умываться будут!

Бояркин говорил это с такой силой и лютой злобой, что на его щеках даже выступил румянец, а в расширенных горячих глазах засверкали слезы. И в эту минуту Андрей опять подумал, что перед ним совсем не тот Степан Бояркин, каким он знал его не только давно, но даже и вчера. Все в нем изменилось: и лицо и Душа...

ХШ

— Вот здесь и рой! — сказал Юргин.
— Тверда здесь земля, — заметил Андрей.
— Оно и лучше. Земля — защита наша...

Вытащив из чехла лопату, Андрей поглядел вперед. Перед ним расстилался клин целины, густо покрытый травами. На их серовато-ржавом фоне выделялись кусты почерневшего от заморозков чертополоха, круговинка помятой осыпающейся липучки, в которой задержалось с десятков янтарных листьев лип и берез. За целиной катилась на запад крупная зыбь осеннего поля, и вдали над ней стояли, как острова, еловые леса, а позади них, как всегда в эти дни, чернили небо большие дымы.

Андрей потрогал пальцем острие лопаты и оглянулся назад — на восток. По отлогому склону, изрытому овражками, золотисто

рябил мелкий березнячок, впервые за лето прикрывший собой травы, за ним — полоса белесоватого жнивья, а еще дальше — гряда нарядного осеннего леса, пронизанного косыми лучами солнца.

День угасал в безветрии.

В лесах затих листопад.

Сегодня отступал Андрей с более тяжелым чувством, чем вчера. Позади остались дом и семья. Позади остался с детства любимый край. Всею душой Андрей познал горечь утраты родного и, познав ее, особенно хорошо понял, как тяжела она, эта горечь, для других, уходящих сейчас на восток.

Взглянув на места, где остановился батальон, полные диковатой и торжественной северной красоты, Андрей вдруг подумал, что он вновь, как и вчера с ольховского взгорья, видит не только то, что близко, но и широкие просторы родной страны. И Андрей понял, что он не может идти отсюда дальше на восток, никак не может!... «До каких же пор отступать? — возбужденно подумал он. — До каких мест? Вот встать тут и стоять!» И он начал часто и сильно бить лопатой в землю.

Андрей работал с большим усердием, и с каждой минутой работы крепла его надежда, что враг будет остановлен на занятом рубеже. Изредка он оглядывался по сторонам. Торопливо и молча работал весь батальон, растянувшись по полям, с которых были убраны хлеба, по склонам пригорков с хохолками кустов. Позади стрелковой линии, в двух местах, артиллеристы оборудовали огневые позиции для своих орудий. Всюду звякали лопаты о камни. В лесах тюкали топоры. Из окопов и щелей, как из отдушин, растекались прохладные запахи земных глубин. «Сколько ведь народу! подумал Андрей. — Да неужели опять отступим?» На этот раз ему особенно не хотелось отступать дальше, и его надежда, что полк здесь задержит немцев, в этот вечер стала такой сильной, как никогда...

Он первым из роты по грудь зарылся в землю. С хозяйской заботливостью он оборудовал свой окоп, устроил перед ним крутой бруствер, замаскировал его березовыми веточками. Дно окопа забросал сухой травой. Затем вновь, опустив лопату, смотрел с минуту на запад, багровый от зари и дымный от пожарищ.

— Закончил, а? — окликнул его со стороны Юргин.

— Готов!

За пять лет службы в армии Матвей Юргин хорошо понял, что значит быть воином. Он давно приучил себя к мысли: служить

так служить! Всегда и во всем он старался показать бойцам образец мужественного несения тяжелой воинской службы. Ему никогда не нужно было понукать себя быть во всем примерным, — это стремление было у него естественным и жило само собой. В обычной жизни Матвей Юргин был нетороплив, угрюм и суров, хотя никогда не чурался людей. Он был одним из тех командиров, которых бойцы недолюбливают в мирной жизни, но очень любят в бою.

С первой встречи сурового и угрюмого сержанта потянуло к Андрею. Юргин и сам, пожалуй, не смог бы объяснить, почему так произошло. Он всегда присматривал за Андреем с особой, дружеской заботой. Андрей не служил раньше в армии и плохо знал военное дело, но Юргин, наблюдая за ним, лучше других видел, что этот задумчивый, добродушный парень со временем может, как настоящий солдат, тряхнуть своей, пока спокойной силой. Может быть, сержанта Юргина больше всего и влекло к нему это предчувствие.

Обтерев травой лопату, Юргин направился к Андрею.

— Обогнал ты нынче меня.

Глазом командира осмотрел окоп.

— О, у тебя хорошо!

С другой стороны неслышно подошел приземистый Семен Дегтярев — боец из запаса, хорошо знавший военную службу, в свое время неплохо пообтертый ею, выносливый, надежно приученный к постоянной бодрости и веселью. Тоже осмотрев окоп Андрея, Дегтярев прикрыл левый глаз и повел вверх коротеньким вздернутым носом.

— И-и, как устроил! Ты вроде зимовать тут собрался?

— А что, можно и зимовать, — ответил Андрей.

— Хе! — Дегтярев блеснул заячьими зубками. — Сказал тоже! Ночь переночуем, а утром — дальше. Сколько разов так было?

— А если не пойдём дальше?

— Как не пойдешь? Что ты сделаешь?

— Что сделаю? — все так же тихо, задумчиво ответил Андрей, и его высокий светлый лоб внезапно заблестел от пота. — А если вцеплюсь вот в землю и прирасту к ней? И не пойду дальше, а?

Дегтярев взглянул на Андрея удивленно, округлив глаза.

— И-и, какой ты! — И покачал головой.

— А как раз такой, какой надо, — сказал Юргин, вылезая из окопа Андрея; он примерялся, ловко ли будет вести из окопа огонь.

— Нам всем к одной мысли дойти пора: встать и стоять, как сказано! Ничего, Андрей, отсюда хорошо будет бить.

Позади Юргина выросла непомерно долговязая, худощавая фигура Ивана Умрихина. Он был призван из запаса совсем недавно, по годам — старше всех во взводе. На длинной, жилистой и загорелой шее у него всегда высоко держалась вытянутая голова с широким утиным носом, — он будто постоянно соображал: откуда поддувает? Подбородок и щеки у него обрастали так быстро и таким жестким медным волосом, что его брили всем отделением и уже попортили все бритвы.

— Встать и стоять! — раздумчиво, простуженным голосом повторил Умрихин слова отделенного и, когда все обернулись к нему, еще раз повторил: — Встать и стоять! Ну, это как придется! Сказывают, сила силу берет. Что ты сделаешь, если у них силы больше? Вот завтра, глядишь, двинет он танки...

— Ну и что? — сердито оборвал его Юргин. — Опять пугаешь? Ты мне брось, каланча пожарная, пугать людей! Что за привычка?

— Где мне, товарищ сержант, людей пугать! — мирно и грустно возразил Умрихин. — Я сам боюсь!

— Какого же ты черта боишься? Отчего?

— Опять же через свой рост, — степенно поведал Умрихин. — Я же самый приметный в полку. В три погибели согнусь на перебежке — все одно хребет мелькает выше кустов. Меня, товарищ сержант, очень уж на большую дистанцию видно!

— Да, нерасчетлив был твой папаня! — весело подхватил Дегтярев. Экую детину породил! Вместо одного вполне бы два бойца вышло!

— Во! — охотно согласился Умрихин. — И было бы лучше!

— Главное, у каждого поменьше бы придури было, — сказал Юргин, — а то у тебя одного чересчур много.

Умрихин вздохнул, шумно очистил в сторону вместительный утиный нос и ответил без обиды, сумрачно:

— Нет, не понимаете вы моей участи! — Он высоко поднял палец. — А фамилию мою вы в счет кладете? Умри-хин! Попробуй-ка с такой фамилией на войне! С ней, бывало, и дома-то жить страшновато. Нет, дружки-товарищи, мне не миновать смерти!

— Конечно! — захохотал Дегтярев. — Лет через сто!

— Тебе, Семен, смешки все! Придется тебе туго в бою, ты в

любую мышиную нору юркнешь — и был таков!

— Мне не будет туго! — дерзко ответил Дегтярев. — Уж если зачнется как следует бой, не полезу в нору, я не твоей породы!

— Ты что — мою породу?

— Ну, будет! — прикрикнул Юргин. — Сцепились дружки.

Все время молчавший Андрей, не вытерпев, тоже вмешался, — не любил он споров:

— Будет, будет, ребята! Вот охота! Давайте-ка лучше доедим, что у меня осталось. А ну, садись!

Все присели у окопа. Андрей развязал свой мешок и начал угощать товарищей домашней снедью: жареной говядиной, пирогами с морковью и калиной. «Как у нас дома там? — вздохнул он про себя, как вздыхал уже много раз за день. — Может, там уже немцы?» Подошли еще бойцы отделения Мартынов, Вольных, Глухань. Все они давно скучали о домашней стряпне и с удовольствием — второй раз за день — налегли на подорожники Андрея.

Солнце уже стояло низко над дальними урочищами. По всему рубежу продолжались работы. На ближнем пригорке, что был справа, злобно простучал пулемет: началась пристрелка.

— Вот и опять остановились, — невесело отметил Умрихин.

— Эх, много уж за неделю-то отшагали!

— И все отходим, все отходим!...

— А что сделаешь? — сказал Умрихин. — Сила!

— Да откуда у них больше сил-то! — вступил в разговор и Андрей. — У нас же больше народу! А машины...

— Машина дура, да немец на ней хитер!

— Хитрее его нет нации.

— Вот он и идет! И катит!

Дегтярев с досадой ударил костью в землю.

— Эх, да какой уж кусок отхватил!

Разламывая пирог с калиной, Матвей Юргин заметил на это угрюмо и резковато:

— Большим куском скорее подавится!

— Теперь он, этот Гитлер, — с видом старшего, больше всех пожившего, заговорил Умрихин, издали кидая в рот крохи, — теперь он прямо на Москву метит!...

— Метит? — воскликнул молоденький белобрысый боец Мартьянов. — Голов у них не хватит, чтобы дойти до Москвы!

— Москвы им не взять, пусть и не думают!

— Оно и пусть думают, да не взять!

— Нет уж! — закипел Дегтярев. — Чего-чего, а Москвы им не видать, как своих ушей! Не для немцев она создана. Весь народ наш встанет, а Москвы не отдаст. Не бывать этому никогда!

— Да, Москва... — задумчиво сказал Андрей, выбрав минутку, когда бойцы немного подзатихли. — Хороша же, говорят! Отдать ее — это вроде свою душу отдать. Я так понимаю.

И опять зашумели все солдаты.

Один Юргин, слушая их, молча трудился над пирогом с калиной. А когда солдаты начали, как бывало часто, толковать о том, что надо бы, дескать, сделать для спасения Москвы, для разгрома фашистских полчищ, идущих к ней, он заметил:

— А вот теперь чепуху начали городить. Да мы сами, если разобраться, во всем виноваты! — Он встряхнул на ладони маленький серый кремь: Видите? Иной подумает: на что он годен? Пустой камешек.

Юргин вытащил из кармана обломок рашпиля, подобранный на кресало, и ударил им по кремню. Во все стороны посыпались крупные искры. Коротко взглянув на бойцов, Юргин начал бить по кремню размеренно и часто...

— Видали?

— Это к чему же? — спросил Глухань.

— Каждому бы из нас, — сказал Юргин, — вот таким быть, как этот камешек! Каждому иметь в себе вот столько огня, силы да крепости! Да злости побольше! Черной, как деготь. Чтоб всю душу от нее мутило! И война сразу повернет туда! — Он махнул рукой на запад. — Повернет и огнем спалит всех этих фашистов, будь они трижды прокляты! Голову даю на отрез!

Он отодвинул мешок к Андрею, показывая этим, что пора кончать с едой, и мрачновато добавил:

— Их не лапшой кормить надо...

У Андрея запылало все лицо.

— Опять ты...

В это время со стороны долетел голос:

— Во-оздух!

И сразу, вскинув головы, все услышали тягучее шмелиное нытье моторов в далекой небесной вышине. Выйдя из-под серой, дымчатой тучи, немецкие бомбардировщики, черные на фоне неба, направились напрямик к рубежу обороны полка. По всему рубежу

послышались привычные протяжные команды:

— Во-оздух!

— По ще-елям!

— Во-оздух!

Вскочив, Юргин сказал тихонько:

— В окопы!

Не доходя до рубежа, где остановился полк Волошина, ведущий «юнкерс» начал вырываться вперед. Во всех окопах скрылись каски. Но «юнкерс» дошел до обороны, не сбавив высоты, и, только пройдя еще немного над лесом, что был позади, круто пошел в пике, — и над округой пронесся дикий вой его сирены. Должно быть, летчик хорошо знал цель, на которую шел: он не тратил времени для осмотра ее с высоты. Только начали все остальные самолеты вытягиваться цепочкой, он уже сбросил свой смертный груз: далеко за лесом что-то рухнуло, как в пропасть, и еще раз, и еще, и окрест прокатилось гулко осеннее эхо...

XIV

Проводив самолеты глазами обратно до тучи, все бойцы отделения Юргина, взволнованно поругиваясь, опять потянулись к окопу Андрея.

— Переправу бомбили, — сообщил Андрей. — На Вазузе.

— Далеко ли до этой Вазузы? — спросил Матвей Юргин.

— Километров семь будет.

— Глубока?

— Где перейдешь, а где и плыть надо, — ответил Андрей. — Сейчас она, под осень, и глубока и быстра. Пехоте еще ничего, а с машинами да орудиями плохо.

Солдаты вновь заговорили было наперебой, но Матвей Юргин, взглянув на запад, начал подниматься со своего места.

— И верно, ребята, — сказал Умрихин. — Поговорим в другой раз. А теперь и отдохнуть надо. Сегодня отмахали вон сколь да тут наработались вволю — руки и ноги гудят. Как чужие. Пора и на покой.

— Отдохнешь немного после, — сказал Юргин.

— Это когда же?

— После войны.

— Фью-ю!... — протяжно свистнул Умрихин. — А сейчас?

Юргин сверкнул зрачками:

— Встать!

Солнце село. Багрово-дымные потоки зари затопили все урочища на западе. Отовсюду потянуло сумеречью. Унялась дрожь земли. Затихло и в небе. Метров за двести позади стрелковой линии отделение Юргина, растянувшись цепочкой, вновь начало рыть окопы.

— Вот двужильный, дьявол! — ворчал Умрихин.

— Не гунди! — просил Дегтярев, копавший рядом. — Надоел. Даже в ушах ломит от твоих разговоров!... Что ты на него злишься? Ты лучше на немцев вон злился!

— Да никакого ж покою от него!

— И-и, покою захотел! На войне-то?

Позади показалась небольшая группа.

— Командиры, — предупредил Андрей.

Подошли командиры. Первым среди них — высокий, грузноватый капитан Озеров, как всегда, в удобном для ходьбы, работы и боя стеганом солдатском ватнике защитного цвета. Немного позади — комбат Лозневой; плащ-палатка, надетая им поверх шинели, раздувалась и тащила по траве, как риза.

Узнав Юргина, Озеров спросил:

— Ложные, да?

— Так точно, товарищ капитан!

— Отлично! — Озеров обернулся к Лозневому. — Отрыть как можно больше! Передать артиллеристам — пусть тоже делают ложные позиции. А основные замаскировать так, чтобы в упор не видно было! До начала боя вся огневая система должна быть скрыта от врага. Внезапный удар — самый сильный удар. Пора знать это!

— Есть! — козырнув, ответил Лозневой.

Озеров оглядел бойцов, незаметно собравшихся вокруг, и неожиданно спросил:

— Гранаты не боитесь бросать?

Бойцы, не торопясь, ответили:

— Вроде нет...

— Бросали на учении, но мало...

— Вот ты, — Озеров кивнул на Умрихина, — не боишься? Можешь?

— Показывали...

— А ну, теперь ты покажи!

Волнуясь, Умрихин снял гранату с пояса. Но пока он вставлял в нее запал, стало ясно: обращаться с гранатой — не совсем привычное для него дело. Солдаты подумали, что Озеров даст ему сейчас такой нагоняй, что всем будет тошно, но он, только вздохнув, взял из рук Умрихина гранату и сам показал, как надо готовить ее к броску. Потом спросил окружавших его солдат:

— Теперь понятно? А бросают вот так...

Все думали, что капитан Озеров только покажет, как нужно взмахивать рукой, но он, шагнув, неожиданно сильно швырнул гранату и крикнул:

— Ложи-и-ись!

Все бросились на землю. Раздался взрыв, впереди — показалось — вырос черный куст. Над людьми тихонько пропели осколки.

Озеров вскочил первым.

— Никого не задело?

Зашумев, все начали подниматься с земли.

— Плохо! — заключил Озеров. — Вижу, кое-кто еще боится огня. Очень плохо. Не бояться! — крикнул он. — Кто боится, тому погибать.

— Неожиданно ведь, — путаясь в плащ-палатке, сказал Лозневой.

— В бою все неожиданно! — Озеров обратился к бойцам: — Боевой приказ все знаете? — Выслушав ответы, продолжал: — Правильно, товарищи бойцы! Приказ один: стоять, пока не будет разрешено отойти. Пойдут танки стоять! Пойдет пехота — стоять! Пусть немцы своими головами, своей черной кровью платят за каждую пядь нашей земли! Ни шагу назад!

Проводив Озерова, отделение Юргина вновь принялось за работу. Часто застучали лопаты, — в земле попадалось много камней. Немного спустя Умрихин, оглядевшись, спросил Дегтярева негромко и хриповато:

— Видал, что вышло?

— С гранатой? Видал: ничего у тебя не вышло.

— Плохо видал! — мирно, со вздохом возразил Умрихин. — Моей же гранатой и меня же чуть не убило! Так и секнул было осколок по темю! Нет уж, видать, не наживешь долго с такой, как у меня, фамилией. Ну, как буду помирать, прихватчу с собой одну гранату. Кидать теперь умею. Научили. Отыщу на том свете того, кто

придумал нашему роду такую фамилию, да так грохну, чтоб ему вовек не собрать свою требуху! И весь разговор с ним!

Сумерки быстро текли над землей.

XV

Весь вечер полк закреплялся на рубеже для обороны. Больше двух тысяч солдат, растянувшись извилистой цепью на несколько километров, зарывались в землю с пулеметами, винтовками и гранатами. Для защиты рубежа, особенно большаков, по которым двигались немецкие колонны, артиллеристы устанавливали все полковые орудия и пушки из противотанкового дивизиона.

Всеми работами по созданию обороны непосредственно руководил капитан Озеров. Он носился по рубежу то на коне, то пешком, редко присаживаясь покурить. Он лично проверил, где были выбраны ротные районы обороны и их главные опорные пункты, как были открыты основные и запасные позиции, где устанавливались орудия для стрельбы прямой наводкой. Капитан Озеров отлично понимал, что у немцев большое превосходство в мощности огня, с каким они обрушиваются при атаках, и поэтому особенное внимание обращал на то, как распределяются и маскируются на рубеже все огневые средства полка и какое взаимодействие устанавливается между ними. Всем командирам он давал строгий наказ, чтобы огневые точки были тщательно скрыты от врага до начала боя и только в нужные, решительные минуты и по возможности внезапно вступали в действие. По замыслу капитана Озерова, предстоящий бой должен был таить для немцев множество самых неприятных неожиданностей. Это в значительной мере могло восполнить недостаток в огневой мощи полка и, следовательно, хотя бы в некоторой степени уравновесить две силы, которым предстояло столкнуться на поле боя.

К наступлению темноты все основные работы были закончены. Не без суеты и ошибок, но все же, в конечном счете, каждая рота, а в ней и каждый боец заняли свои места на рубеже.

Озеров очень обрадовался, случайно встретив в третьем батальоне комиссара полка Яхно. Он видел Яхно первый раз за день. Комиссара полка вообще можно было встретить только случайно. Худенький, легкий, большой любитель пешей ходьбы, он от зари до зари бродил по разным подразделениям полка, всюду находя для себя

дело.

В этот вечер комиссар Яхно, так же как и Озеров, не уходил с рубежа обороны. Он заставил работать всех своих политработников. Используя короткие перерывы на перекур, его политруки во всех ротах провели коротенькие собрания коммунистов и беседы с солдатами. Солдатам объяснялось одно: до тех пор, пока не поступит приказ об отходе, всеми силами задерживать врага.

Комиссар Яхно тоже обрадовался встрече с капитаном Озеровым и сразу потащил его в сторону от людей:

— Пойдем, капитан, отойдем дальше.

Сгущалась темнота. Трудно было разглядеть выражение лица комиссара Яхно, но чувствовалось, что настроен он бодро и даже немного восторженно. Задержав Озерова в лощинке, метров за сто от командного пункта третьего батальона, он встал перед ним, невысокий, легкий, в распахнутой шинели, сделал какой-то неопределенный жест рукой и заговорил, как всегда, быстро:

— Бой, да? Настоящий бой?

— Я думаю, что здесь будет настоящий бой, — ответил Озеров. — И у нас, кстати говоря, нелегкая задача.

— Но победа будет наша! — резко заявил Яхно, словно Озеров доказывал ему обратное. — Наша! — Он наклонился, сорвал какой-то бледный осенний цветок, едва приметный в темноте. — Я чувствую ее на расстоянии, как запах вот этого цветка!

Даже в полутьме было видно, как на светлом, еще моложавом лице комиссара блеснула улыбка. Озеров взял из его рук цветок, понюхал, ответил невесело:

— К сожалению, такой запах не все чувствуют, особенно на расстоянии.

Яхно схватил Озерова за пуговицу на ватнике.

— Не все? Ты это видишь?

— Вижу.

— Стой, пойдем вон туда! — неожиданно предложил Яхно и быстро, раскидывая полы шинели, пошел из лощинки на пригорок, где виднелся одинокий куст шиповника.

— В ватнике удобнее, да? — спросил он, поджидая тяжеловатого на шаг Озерова на гребне пригорка. — Надену и я. Ты знаешь, мне надо что-то простое и легкое.

Встав рядом с Озеровым, Яхно продолжал:

— Да, когда армия отступает четвертый месяц, не каждый

способен сохранить хорошее обоняние. Иным кажется, что все теперь пахнет только кровью да мертвечиной. — Он неожиданно передернул плечами. — Но большинство бойцов верит в победу. И я тебе скажу: сегодня они верят даже сильнее, чем в первый день войны! Я это очень хорошо чувствую. Ты посуди: сколько сегодня прошли, сколько земли перекопали, а у всех такое настроение, что хоть сейчас в бой. Все или почти все уверены в успехе. А самое важное, по-моему, на войне — с каким чувством солдат идет в бой. Вот увидишь: завтра наши солдаты, а особенно коммунисты, будут драться, как львы! И победа будет за нами! Надо задержать немецкие колонны, и полк это сделает!

Слушая Яхно, Озеров впервые понял, почему его любят солдаты: в его чудесной вере, которую он рассеивал щедро, было необычайно много юношеского задора и светлого поэтического чувства, — такая вера действует на людей, как первый день весны.

— Драться будут, конечно, — согласился он с Яхно, — но в бою ведь действуют не только моральные силы!

— Я не очень-то опытный военный, — ответил Яхно. — Но я знаю, каким должен быть командир. Он должен думать, думать и думать, особенно до боя! — Он схватил Озерова за пуговицу на ватнике. — Думай! Мы должны сделать все, чтобы ликвидировать материальное преимущество врага! Смотри, — сказал он тише, — нам оказано огромное доверие...

— Я подумаю еще, — пообещал Озеров.

Спускалась ночь. Вдали, на флангах, небо багровело, там часто трепетали, как птицы, сигнальные ракеты, а перед рубежом обороны полка все погасло во тьме. У стрелковой линии слышался говор, позвякивание котелков — начинался запоздалый солдатский ужин.

Собираясь попрощаться с Озеровым, комиссар Яхно молча схватил его руку в темноте и сразу понял, что Озеров все еще держит в твердо сжатом кулаке сорванный цветок.

— Слышишь запах, да? — тихонько спросил Яхно.

— Слышу, — ответил Озеров шепотом.

— Ну, дорогой, желаю удачи!

XVI

Майор Волошин все время находился на командном пункте.

Место для КП было выбрано позади батальона Лозневого, на опушке большого смешанного леса. Цветистой шторой он закрывал восток. Всю ночь саперы рыли здесь щели и делали блиндажи.

Вечером у майора Волошина еще теплилась надежда, что все части, подошедшие к переправе, за ночь успеют отступить за Вазузу, и тогда его полк, хотя бы на рассвете, тоже отойдет с рубежа без боя. Но через час после бомбежки от командира дивизии генерала Бородина прискакал гонец с плохой вестью — немецкие самолеты разбили переправу на Вазузе. По рассказам гонца, генерал Бородин принял все меры, чтобы восстановить переправу за ночь. После этого майору Волошину стало ясно, что боя не миновать: утром, когда только возобновится движение на Вазузе, немцы, несомненно, подойдут к рубежу обороны.

На рассвете майор Волошин вызвал к себе Озерова, который всю ночь провел в батальонах, и приказал отправиться к Вазузе.

— Узнайте, как там идет дело, — сказал Волошин. — Переправу восстанавливают, но когда начнется движение — неизвестно. Всеми работами там руководит сам комдив. Наши тылы, по его приказу, должны уйти за Вазузу вместе с дивизией. Лично проверьте, все ли наши тылы собрались у Вазузы, и точно узнайте, когда дивизия начнет переправляться. И возвращайтесь как можно скорее.

— Есть, товарищ майор!

— Можете идти.

Через несколько минут капитан Озеров уже скакал к Вазузе.

Из леса, в котором находился командный пункт полка, дорога вышла на высокое открытое поле, — с него были убраны яровые хлеба. Будь мирное время, это поле должно бы теперь сплошь чернеть свежей пахотой, но сейчас на нем не виднелось ни одной борозды, а кое-где даже еще лежали покинутые копешки овса и гречихи. С поля дорога быстро стекала — через пригорки под большой уклон: почти всю ее видно было до прибрежного черного леса у Вазузы.

На самом гребне поля Озеров, опустив поводья, посмотрел вперед, и странное дело — ему показалось, что он никогда еще не охватывал одним взглядом такого большого и чудесного пространства. В низине, расталкивая крутые берега, легко дымясь, шла розовая на заре красавица Вазуза. В южной стороне — вверх по реке — до самого горизонта толпились леса, кое-где сверкавшие при

тихом утреннем свете яркой медью и осенней парчой. В северной стороне — вниз по реке — тоже до самого горизонта лежали увалистые поля, по которым были часто разбросаны небольшие деревеньки, а на холмах задумчиво стояли одинокие столетние дубы. Прямо за Вазузой, в той стороне, где Москва, поднималась и буйно золотилась заря. Много утренних зорь видел Озеров в это лето, но ему подумалось, что он еще никогда не любовался такой спокойной, но властной зарей, вставшей над огромным миром лесов, полей и селений.

Это чудесное видение необъятной родной страны на утренней заре внезапно и быстро успокоило Озерова. «Нет, никому и никогда не победить такой страны! — сказал он себе твердо. — Все вытерпим, все вынесем!»

Весь прибрежный лес на Вазузе был искорежен немецкой авиацией, будто прошел над ним ураган неслыханно свирепой силы. У многих деревьев были сбиты вершины. Иные деревья замятво лежали на земле, как богатыри на поле брани. Два могучих вяза, точно санитары, под руки выносили к опушке тяжело раненный молодой дубок. Несколько домиков, стоявших у леса, были раскиданы бомбами до последних венцов; могучие русские печи рухнули, засыпав кирпичной крошкой ограды. Рядом, у самой вершины искалеченной березы, висел неизвестно каким чудом занесенный туда измятый и ржавый лист жести с какой-то крыши. Всюду по лесу и вокруг него зияли воронки, виднелись остовы сгоревших машин, валялись вздутые трупы лошадей, тележные оси да колеса.

Казалось бы, все живое должно бежать, не оглядываясь, подальше от такого страшного места. Но весь избитый лес, все овражки поблизости от него, весь берег Вазузы были густо заселены людьми, заставлены орудиями, машинами, повозками, полевыми кухнями, санитарными двуколками. Повсюду здесь курились костры, гремела людская разноголосица, разносились свистки и гудки, ржанье лошадей и мычанье коров, удары топора, скрип телег, плач детей... И весь этот табор был полон непонятного, сложного движения, но чувствовалось, что все это движение подчинено одной цели, одной мысли, которая беспредельно властвует здесь над людьми. Чем ближе к Вазузе, тем больше в таборе было движения и шума. Все гремевшее здесь скопище людей, машин и повозок, словно найдя только один выход из леса, неудержимо двигалось к переправе.

Капитан Озеров понял, что переправа восстановлена, и облегченно вздохнул всей грудью.

Но когда он пробился ближе к реке, то увидел, что у переправы точно шла битва и над ней стоял сплошной стон. Поток машин, орудий и повозок с грохотом катился по узкому мосту на восточный берег Вазузы и только там, почуяв волю, растекался на мелкие ручьи. Выше моста на пароме, плотам, лодках и вплавь переправлялась пехота. Ниже моста переправлялись беженцы; среди людей, пересекавших реку на чем попало, плыли лошади и коровы, фыркая, задирая головы, из последних сил борясь со стремниной. Тысячи людей торопились до восхода солнца быть за Вазузой.

То, что происходило здесь, встревожило Озерова. Но вскоре, отыскав генерала Бородин на обрывистом берегу Вазузы, он понял, что его тревога напрасна: на переправе дело шло не только нормально, но, видимо, даже хорошо.

Генерал сидел у небольшого костра на плащ-палатке, разостланной на земле, привалясь спиной к широкому пню вяза с выгнившей сердцевинной. Ноги генерала были прикрыты шинелью, а его сапоги висели на колышках у огня. Генерал высоко держал обнаженную седоватую голову, но лицо его, со стрелчатými усами, было равнодушно к грохоту и разноголосице, долетавшим от реки, а глаза, обращенные к заре, плотно закрыты. Генерал Бородин спал. Молоденький боец, присев на корточки у огня, часто перевертывая в руках, сушил его портянки.

Генерал Бородин спал крепко, но проснулся быстро, как только почуял постороннего человека у костра. Он принял Озерова, как показалось тому, необычайно спокойно и ласково. Заматывая ногу в портянку, он сказал:

— И не докладывай, дорогой, сам знаю, зачем ты приехал. — Приняв сапог из рук бойца, он кивнул на реку: — Видишь? Ночь потрудились — и дело пошло. Думаю, что к двенадцати ноль-ноль очистится весь берег. А может быть, и раньше. Все тылы вашего полка здесь и уйдут вместе с дивизией. Вам приказ об отходе будет дан по радио. Если условия при отходе будут тяжелыми... — он подвигал бровями и взялся за второй сапог, — очень тяжелыми, то я советую отходить... Одну минуту!

Он быстро надел сапог, молодо вскочил, подзавил усы.

— Дайте карту.

Разворачивая карту, он несколько раз вскидывал глаза на

Озерова, а затем нахмурился и с недовольством подернул усами. Озеров сразу догадался, почему генерал так смотрит на него, смутился и, тронув пальцами подбородок, сказал:

— Виноват, товарищ генерал!

— Это очень дурная привычка — являться для доклада в таком виде, сказал Бородин строго. — Очень плохая, товарищ капитан! Имейте в виду, что в следующий раз я не потерплю этого.

И в эти минуты, казалось бы, вне всякой зависимости от замечания генерала и неожиданно даже для себя, капитан Озеров второй раз за это утро и с той радостью, от которой загорается ярким светом душа, подумал о том, что в недалеком будущем наступит перелом в войне, что никакая вражеская сила никогда не сломит спокойного, величавого и бессмертного духа русских людей.

XVII

Над землей поднялось просторное, звонкое утро.

Возвратясь на командный пункт полка, капитан Озеров удивился стоявшей здесь тишине. После бессонной ночи многие бойцы и командиры дремали в палатках и блиндажах. Отчетливо слышалось, как листья скользили меж сучьев на землю. Остро пахло свежей глиной, золой от затухших костров и смолой.

Доложив командиру полка о встрече с генералом Бородиным, капитан Озеров направился к своей палатке. Рядом с палаткой его связной Петя Уралец, крутолобый, глазастый боец, обтирал потного коня пучком лесной травы.

— Что у нас нового, Петя?

— О, что было, товарищ капитан! — Приблизясь, Петя Уралец заговорил быстрым шепотком. — Немецкий самолет прилетал! Уродище-е, как ворота! А вертится, окаянный, здорово!

— И что же?

— Он тут начал летать, а один боец из комендантского взвода возьми да и бахни в него! Что было!

— Подбил, что ли?

— Да нет, какое там! — Петя Уралец кивнул на блиндаж Волошина и продолжал, помахивая пучком травы: — Выскочил тогда майор да как рывкнет: «Кто стрелял? Кто?»

Озеров свел брови.

— Прекратить! Кто тебе разрешил рассуждать о действиях

командира? Если он запретил, значит, так надо. Понял?

Петя Уралец смущенно выпрямился.

— Понял, товарищ капитан!

— Дай бритву.

Но только капитан Озеров побрил правую щеку, на командном пункте раздались тревожные голоса:

— Воздух! Воздух!

Около двадцати «юнкерсов», описывая в небе большую дугу, заходили от солнца на рубеж полка. На их плоскостях вспыхивало солнце. Ведущий «юнкерс», зайдя с тыла на батальон Лозневого, стремительно пошел в пике, и по всей округе пронесся его дикий, хватающий за сердце вой.

Землю рвануло так, что в лесу густо запорошило опавшей листвой. Над участком Лозневого взметнуло клубы черного дыма.

...За несколько минут до бомбежки комбат Лозневой, взяв с собой лейтенанта Хмелько и вестового Костю, отправился на командный пункт третьей роты; все утро он, еще более помрачневший за последнюю ночь, без особой нужды бродил по рубежу обороны, нигде не находя себе покоя и места. Когда уже было пройдено полпути, Лозневой услышал гул моторов в небе. Вскинув глаза, он сразу увидел большой косяк «юнкерсов». Самолеты шли стороной, тихо и грузно, и Лозневой подумал вначале, что они пройдут мимо, — может быть, к Вазузе. Но был строгий приказ — не демаскировать занятых позиций, и Лозневой, оглянувшись назад, крикнул своим спутникам:

— Ложи-ись!

Все бросились в помятую траву и затихли, провожая глазами самолеты. Все думали: вот сейчас пройдут они до леса — и можно идти дальше. Но самолеты, дойдя до леса, начали заворачивать — заходить на рубеж от солнца.

— Товарищ комбат! — крикнул Хмелько. — Сюда!

— Заходят! Заходят! — закричал и Костя, прячась в траве.

Вокруг было голое, открытое место — нигде ни канавки, ни ямы. И Лозневой подумал: «Ну, дождался я, кажется, своего часа!» Лоб его стал влажным. Он знал одно — надо спасаться. Вскочив, он крикнул:

— Назад, за мной!

Пригибаясь, все трое стремглав бросились по целине, затем выскочил на большое поле, покрытое густой, но примятой щеткой

ржаного жнивья. Позвякивая шпорами, Лозневой пробежал с сотню шагов и тут почувствовал, что грудь вот-вот начнет рвать кашель, и понял — ему не добежать до командного пункта, где за ночь для него саперы сделали хороший блиндаж. Поздно. В эту минуту он заметил наспех отрытый, неглубокий стрелковый окоп. Махнув спутникам рукой, он с разбегу плюхнулся в него — и закашлял надрывно, всей грудью. Хмелько и Костя, поняв сигнал, бросились в разные стороны, ища глазами укрытия.

Затихнув, Лозневой выглянул из окопчика. В левой стороне — шагов за тридцать — матово блеснула над жнивьем каска. «Хмелько! — догадался Лозневой. — А где же Костя?» Он взглянул вправо и увидел, что совсем недалеко — ложная огневая позиция для противотанковой пушки, каких немало наделали за ночь артиллеристы по приказу Озерова: над бруствером земляного дворика торчало вершинкой на запад небольшое бревно, а над ним клонились почти голые березки. Лозневой понял, что и он попал в один из ложных окопчиков, заодно отрытых старательными артиллеристами для обмана врага. Лозневой до боли стиснул зубы.

С передней линии едва внятно донеслись голоса: кто-то из командиров кричал на солдат. Лозневой посмотрел вперед. Невдалеке, в бороздке, проделанной рожком сеялки, в аллейке срезанных ржаных стеблей копалась пепельно-серая полевая мышь. Глаза у нее блестели весело, как росинки. Испугавшись Лозневого, она юркнула и пропала, но через секунду в бороздке вновь блестели ее светленькие глазки: рядом была ее норка. «Вот у нее блиндаж, это да! — подумал Лозневой. — Ее не возьмешь!» И тут он, взглянув на свой ложный окопчик, опять почувствовал, что в жаркой груди скопился кашель.

Но искать другое место было поздно. Ведущий «юнкерс», дико воя, с большой высоты перешел в пике. Пролетев несколько сот метров, он выравнялся, чтобы опять взмыть в небо, и в этот миг Лозневой увидел, что от его фюзеляжа оторвались четыре бомбы. Тяжелыми черными каплями они пошли вниз, но через несколько мгновений потерялись из виду, и в душу Лозневого ворвался острый, режущий, быстро нарастающий свист. Закрыв в страхе глаза, Лозневой сунул лицо в угол окопа и тут же всем телом ощутил, как четыре раза кряду, почти одновременно, рвануло землю и как по всей ближней округе пронесся, плещась по урочищам, обвальный горный грохот.

Бомбы упали в левой стороне. Оттуда понесло над рубежом клубы дыма. Поправив каску, Лозневой выглянул из окопа. Ведущий «юнкерс» вышел из пике, а второй в цепочке, приотстав, только еще заходил на рубеж обороны. Выдалась коротенькая минутка тишины. И Лозневой, не веря глазам своим, вдруг опять увидел невдалеке перед собой знакомую мышь. Как ни в чем не бывало, она выскочила из своей норки и собирала колоски. Она работала весело, хлопотливо, и у Лозневого мелькнула мысль: эта веселая мышь наверняка переживет бой, сделает в своей норе большие запасы зерна, тепло перезимует, встретит новую весну...

И Лозневому стало жутко.

Он уже не видел, как пикировал второй самолет и сколько сбросил бомб. Когда вновь раздался леденящий кровь вой сирены, он застонал, как ребенок, и в беспомощности сжался в своем окопчике. И тут же, чувствуя, что его едва не выбросило из окопчика, он закричал и вцепился пальцами в землю: бомбы рванули вокруг ложной огневой позиции, сверху посыпалась, застучав по спине и каске, жесткая земляная крошка, пахнувшая гарью, и кругом стало темно от дыма.

С этой минуты, обезумев от страха, Лозневой уже плохо соображал, что происходило вокруг на поле. Вероятно, немцы и в самом деле большую часть своего груза сбрасывали на ложные артиллерийские позиции и стрелковые окопы, — бомбы рвались позади настоящего огневого рубежа — как раз на том участке, где были Лозневой и его спутники. Бомбили немцы спокойно, деловито, делая по несколько заходов, неторопливо выбирая цели. Вокруг грохотало и грохотало. От мест взрывов хлестали в стороны тугие, горячие волны воздуха. Ветер не успевал разносить взлетающие там и сям над полем клубы черного, одуряющего дыма и пыли.

...Обивая головой рыхлый край окопчика, Лозневой долго кашлял, отплевывая землю. Когда же медленно, как заря в тумане, стало пробуждаться сознание, он затих и, царапая пальцами землю, вытащил себя из окопчика, тяжело повел вокруг помутневшими, одичавшими глазами. В ушах верещало, будто в них возились сверчки, — от этого ломило виски. По сторонам виднелись воронки — свежие рваные язвы. Перед глазами трепетала на ветру кисейная занавесь дыма. Недалеко от окопа, там, где бегала мышь, Лозневой увидел хромовый сапог; на его заднике сверкала шпора.

— Мой! — беззвучно сказал комбат.

Лозневой хорошо знал свои шпоры. Как же сапог оказался за

окопом? Зачем он там? Лозневой помедлил немного и, изогнувшись, взглянул на свои ноги. Нет, он был обут. И только тут он наконец вспомнил, что вчера — на привале — поменялся шпорами с лейтенантом Хмелько. «Где же он? — Лозневой поискал глазами каску Хмелько над жнивьем, но в той стороне, где видел его перед бомбежкой, лежала груда комьев земли. — Зачем он сапог-то бросил?» Лозневой вылез из окопа и хотел взять сапог, но тут же отпрянул назад: из оборванного голенища торчала белая кость. Лозневой лег, прижался щекой к земле, обтер губы и сказал вслух, чтобы лучше почувствовать, что теперь он понял все:

— Бомбили...

Все тело было налито тяжестью. Но к Лозневому быстро вернулось трезвое, спокойное сознание. Никогда он не хотел так жить, как в эти секунды! И вдруг у него сверкнула простая и ясная мысль, — в ней было спасение, она даровала жизнь. Он не успел порадоваться этой мысли, как услышал топот ног и голос Кости:

— Вот он, вот где!

Костя подбежал, упал на колени, схватил Лозневого за плечо. Будто испугавшись, Лозневой начал быстро приподниматься, упираясь в землю ладонями, поглядел на вестового тупо, непонимающе. Лицо Кости, в брызгах грязи, сморщилось и постарело от внутренней боли. Из левой ноздри текла кровь. Он закричал плачущим голосом:

— Это я, я! Товарищ комбат, вас ранило?

— А? — выждав секунду, крикнул в ответ Лозневой.

— Ушибло, а? Где больно? Где?

— Вон, ушли, да! — Лозневой кивнул на запад.

Над ним внезапно выросла высокая грузная фигура капитана Озерова. Он дышал порывисто, всей грудью. Ворот гимнастерки у него был расстегнут, рыжеватые волосы всклокочены. В левой руке он держал за ремешок каску, а правой, спеша, передвигал с живота на бок кобуру пистолета. Не поднимаясь, Костя сказал ему, зажимая левую ноздрю:

— А этого, видать, контузило.

Капитан Озеров быстро опустил на колено.

— Плохо, да? Больно? Где?

— Да нет, совсем оглох, — сказал Костя.

— Фу, скверно! — с досадой бросил Озеров в сторону и вскочил. — Ну, в тыл! Живо! Да не хныкать, ну! Где комиссар

батальона? Не знаешь?

— В ротах где-то...

— Веди комбата в тыл, понял? — сказал Озеров. — Забеги на капе и скажи там, чтобы позвонили комиссару — пусть командует. Понял? Ну, все!

Он обернулся назад, крикнул:

— Эй, Петро! За мной!

XVIII

В самый ответственный момент, когда начинался бой, третий батальон, занимавший центр обороны, остался без главного командира. Но горевать некогда было. Всей душой Озеров чувствовал, что теперь надо дорожить каждой минутой. Охваченный одной мыслью, он изо всех сил, держа каску у груди, бежал к передней линии.

Выскочив на пригорок, заросший низеньким березнячком, он остановился перевести дух и сразу сквозь дрожащий, дымчатый воздух увидел, что по полю с участка третьей роты, пригибаясь и часто падая, вразброд бегут солдаты. Вначале Озеров подумал, что это все еще мечутся в панике те, кто напуган бомбежкой. Но все солдаты бежали навстречу ему, и Озерову стало ясно, что они почему-то бросают рубеж обороны.

На пригорок, запалась от бега, выскочил Петя Уралец, все время бежавший позади своего командира. Озеров молча выхватил у него автомат. Подняв его над головой, Озеров закричал на все поле, кривя лицо, как от дикой боли:

— Сто-о-ой! Стой!

Один солдат, не видя Озерова и не слыша его крика, бежал прямо на него, бежал, согнувшись, едва не хватаясь руками за землю. На подъеме, выбившись из сил, он упал, прополз несколько метров, иступленно работая руками и ногами, затем вскочил и, все еще не видя перед собой Озерова, бросился прямо на него.

Озеров дал вверх очередь из автомата.

— Стой!

Солдат остановился, раскинув руки, очумело взглянул на Озерова. Лицо у него было измазано глиной, гимнастерка на груди разорвана, лоб в крови, а расширенные глаза побелели и ничего не видели от ужаса. Услышав очередь из автомата и увидев, что

передний остановился, начали останавливаться и сбавлять шаг также и те солдаты, что бежали далеко позади и по сторонам. Весь дрожа, Озеров шагнул вперед и закричал хрипло:

— Куда, гад, а? Бежишь?

Взмахнув руками, солдат еще более расширил свои одичалые, белые глаза.

— Танки! — закричал он. — Вон, танки!

— Назад! — подался на него Озеров.

— А-а-а! — отступая, застонал солдат. — Гонишь?

Озеров вскинул автомат и дал вторую очередь над головой солдата. Солдат рухнул на землю, но тут же вскочил и, опасливо оглядываясь на Озерова, стремглав бросился обратно. Его товарищи, бежавшие позади, тоже завернули, как по команде, и кинулись к своим окопам.

Озеров крупно зашагал с пригорка.

— Вперед!

Только теперь, быстро шагая вслед за солдатами, Озеров посмотрел вдаль. Из елового леса, стеной закрывшего горизонт, выходили один за другим и развертывались в строй, покачиваясь на ухабах и рытвинах, темно-серые немецкие танки. Они были еще далеко, рокот их моторов долетал еще слабо, будто где-то прокатывался спокойный гром.

Солдаты бежали к окопам, а Озеров быстро шел вслед за ними и изредка вскидывал автомат над головой:

— Вперед! Бить гранатами! Жечь!

XIX

Как только самолеты потянулись на запад, Матвей Юргин бросился к соседнему окопу. Из окопа показалась голова Андрея в тускло-зеленой каске.

— Кончилось? Ушли?

— Все кончено! — Юргин присел у края окопа. — Ну, как ты?

— А что? Сидел! — ответил Андрей, и мягкое, задумчивое лицо его на секунду осветилось улыбкой. — Ух, как они воют! Как воют! До нутра прохватывает! Да ты лезь сюда, лезь!

Он разговаривал несколько оживленнее, чем обычно. Бомбежка лишь возбудила, но не напугала его. Андрей пережил

бомбежку впервые. За дни отступления он еще ни разу не подумал всерьез о том, что его могут убить. И теперь, увидев самолеты, он не подумал о смерти. Он еще не знал, что бомбежка — страшное дело, и поэтому — только поэтому — не испытал никакого страха. Он наблюдал, как самолеты бросались с высоты, как от них отрывались бомбы. Оглушенный их железным свистом, он быстро прижимался в угол окопа, а потом, выглядывая, дивился: «Эх, дыму-то! Как из прорыва какой!» На счастье Андрея, все бомбы падали довольно далеко позади, на ложные позиции, он не видел своими глазами, что делает их адская сила, и поэтому не испытал никакого страха, а только возбуждение.

Это порадовало Юргина.

Устроившись на дне окопа, друг против друга, Андрей и Юргин, оживленно разговаривая о бомбежке, не заметили, как на опушке дальнего леса появились танки и как некоторые бойцы третьей роты бросились бежать с рубежа. Только когда в левой стороне раздалась автоматная очередь, они обеспокоенно выглянули из окопа. Бойцы третьей роты вразброд бежали по полю обратно к линии обороны.

— Это... что ж они? — удивился Юргин.

— Гляди сюда! — дернул его Андрей.

Услышав гул моторов, Матвей Юргин посмотрел вперед, словно прицеливаясь, и быстрым шепотком сказал:

— Танки! Это танки!

— Много их?

— А черт их знает! — Юргин поднялся над окопом. — Ну, Андрюха, я пойду! Ты как? Гранаты связал? А где бутылки с горючкой?

— Вон, все есть...

Юргин торопливо и сильно схватил Андрея за плечо, заглянул ему в лицо:

— Держись, Андрюха, держись!

Он выскочил из окопа и закричал так, чтобы слышало все отделение:

— Приготовить гранаты! Бутылки! Не трусить! — Голос его крепчал с каждой фразой. — Подпускай ближе! Бей верно!

Андрей не встречался еще с танками и не знал, как трудно и страшно бороться с ними слабыми ручными средствами, какие носил солдат на своем поясе. (Командиры же все время уверяли, что

подбивать и поджигать танки совсем легкое дело.) И поэтому Андрей, увидев танки, и теперь не испытал страха. Отодвинув вещевой мешок к задней стенке окопа, чтобы случайно не помять харчи, он вновь, более пристально, посмотрел вперед. Танки выползали из леса один за другим, черные и гудящие, как огромные жуки, и, покачиваясь на выбоинах, медленно расползались по желтому полю. Андрей попытался сосчитать танки, но потому, что они, выравниваясь в строй для атаки, то появлялись на пригорках, то скрывались в низинках, сбился со счета. «Какие же это? — подумал Андрей. — Средние или легкие?» Он вдруг решил, что перед боем надо выпить воды. Глотая воду из фляги, он не спускал взгляда с поля, на котором появились танки, и тут подумал было о том, что ему грозит смерть. Но даже и при этом он не испытал страха и быстро отвлекся от своей мысли: над страхом брало верх любопытство. Он даже выдернул из бруствера несколько веточек, чтобы лучше было видно танки. Ему захотелось закурить, но тут он с сожалением понял, что не успеет сделать этого.

— После, — вслух решил Андрей.

Пригнувшись в окопе, он начал осматривать связку гранат. В это время моторы танков взвыли так, что их вой отдался во всех ближних лесах, видимо, танки пошли в атаку на большой скорости. Андрей приподнялся. Так и есть — один танк — головной — летел по проселку, поднимая пыль, а все остальные, растянувшись большой цепью, неслись позади, ныряя в ложбинах, подпрыгивая на буграх. Рев моторов и лязг гусениц, быстро нарастая, катились теперь по полю громовой волной. Земля загудела, как чугунная. За полсотни метров впереди окопа Андрея что-то хлопнуло два раза подряд, блеснув огнем и взметнув дымки, а затем что-то начало шикать вокруг, ударяясь о землю.

— Пригни-и-ись! — услышал Андрей голос Юргина. — Дурак! Стреляют!

— Танки, да?

На секунду блеснула каска Юргина.

— Пригнись!

Только Андрей прижался щекой к прохладной стенке окопа, левее — от леска — начали бить наши пушки. Головной танк, темный, с белыми крестами на бортах, взметая пыль, все летел по проселку, срезая его изгибы. Наводчики наших пушек, волнуясь, ловили его на перекрестия панорам, били часто, но все мимо и

мимо... Наконец один снаряд чиркнул по покато́й башне, а другой тут же ударил в борт, и танк вдруг на полном ходу с лязгом круто развернулся, расстилая по траве широкий и тяжелый пласт гусеницы. Дергаясь всем своим неуклюжим туловищем, он повернулся задом к пушкам. В этот момент в него, вероятно, попал еще снаряд, — раздался треск, и над полем высоко взлетело пламя.

Андрей вновь глянул из окопа, но его тут же стегануло по щеке и каске земляной крошкой. «Тьфу, гады!» — Андрей присел на корточки. Слева били пушки. По всей обороне наперебой строчили пулеметы. В гуле моторов, который все более грозно катился над полем, в грохоте пальбы и взрывов изредка взлетали человеческие голоса: «А-о-о-о!» На поле уже пылали три танка. В ноздри били душные запахи пороха, горелого мяса и железа. А новые танки все ползли и ползли, поднимаясь к рубежу обороны.

Со стен окопа посыпалась земля. Андрей понял, что танки совсем близко. Не выглядывая, он схватил бутылку с желтоватой жидкостью. На бутылку была натянута резинка, она держала запал — длинную щепочку, обляпанную какой-то янтарной смесью. Андрей выхватил из кармана спички. Одной спичкой он чиркнул по коробке три раза и только после этого заметил, что на ней нет серы. «Тьфу, пропасть! — сказал он про себя с досадой. Вот делают!» С другой спички вся сера враз обкрошилась, и Андрей, ободрив коробок, заволновался. Земля дрожала и гудела все сильнее, а над окопом тивкали пули...

Только третьей спичкой удалось Андрею зажечь запал, но теперь он уже не чувствовал в себе того спокойствия, какое было в первые минуты боя. По его щекам уже текли струи пота. Танк был в сотне метров от окопа. Он стоял, отвернув дуло орудия вправо, и бил по опушке леса, где грохотала наша батарея. Но вот он дернулся, и его мотор взвыл так, что у Андрея заложило уши, как от сильного ветра. Танк дернулся еще сильнее, будто проглатывая что-то, и из-под его загремевших и замелькавших гусениц полетели в воздух комья.

Увидев, что уже сгорела половина запала, Андрей заторопился и сильно бросил вперед потеплевшую бутылку. Блеснув на солнце радужными цветами стекла и жидкости, начертив в воздухе дымчатую дугу, бутылка упала на целине, не долетев до танка. «Не добросил?» — опешил Андрей. Минуя бутылку, у которой едва заметно дымил запал, танк двинулся прямо на его окоп. От гула и

лязга у Андрея, казалось, разбухла голова. Теперь он уже не слышал ничего, что происходило вокруг. И видел он перед собой только танк. Приближаясь, танк становился все больше и больше. Огромный, грохочущий, бьющий из стволов, как из отдушин, струйками огня, он двигался теперь на фоне неба и облаков, и Андрею подумалось, что позади танка — не облака, а клубы белого газа. Гусеницы танка, блестя и скрежеща, с бешеной силой тянули под себя все поле, окоп Андрея, кустарник...

Андрей враз стал мокрым. Дико крикнув, он схватил связку гранат, поднялся и, не целясь, бросил ее под налетевший танк. Спасаясь от взрыва, он тут же упал на дно окопа. Танк встряхнуло и окутало дымом, но он, взвывая еще сильнее, рванулся вперед и со скрежетом проложил левую гусеницу над окопом Андрея, а потом круто повернул вправо, заваливая окоп землей и ветками.

Но в тот момент, когда он рванулся дальше, из соседнего окопа, блеснув на солнце, вылетела бутылка. Она лопнула на моторной части, и смесь, вспыхнув, жидким огнем потекла в щели и по броне. Выскочив из окопа, Юргин отмахнул три больших прыжка и бросил вторую бутылку. На моторной части танка еще сильнее заиграл огонь, а над полем пронесся крик Юргина:

— А-а-а-эй!...

Танк заметался, делая крутые развороты, бросился назад, воя на все поле, — с неистовой силой живого существа он спасал свою жизнь, стряхивая огонь. Но огонь, смертной хваткой вцепившись в щели, держался крепко. Танк бросался из стороны в сторону, с бешеной скоростью выскакивал на пригорки и падал в ложбины, а огонь хищной птицей впивался когтями в его туловище, душил его, одолевал, не отпуская на волю...

XX

Теперь Матвей Юргин был неузнаваем. Все движения его стали резки, судорожны. Задыхаясь, Юргин часто открывал рот, щерил крупные белые зубы. Из-под каски по его смуглым щекам, опаленным внутренним зноем, стекали грязные струи пота.

Наблюдая за горящим танком, пытавшимся сбить пламя, Матвей Юргин некоторое время не замечал, что делается на поле боя, — солдат всегда видит в бою только то, что происходит в непосредственной близости от него, да и то лишь разрозненные

картины, которые чаще всего случайно ловит воспаленный взгляд. И только когда танк, завалившись в канаву, остановился и широко развернул над собой, как знамя смерти, огромное багровое пламя с бахромой дыма, Матвей Юргин осмотрелся и, увидев, что вокруг рвутся снаряды, вспомнил об Андрее.

Впереди из-за пригорка показался еще один танк. Он двигался медленно. Из ближних окопов стрелки и пулеметчики били по его смотровой щели, — на всей лобовой части и башне искрило сухим блеском, заметным даже при солнце. Танк отвечал из пулемета; похоже было — он чихал огнем и дымом, с трудом пробираясь по грохочущему полю.

Пригибаясь, Юргин бросился в свой окоп, где у него — он помнил лежала связка гранат.

Танк был совсем близко. Он медленно двигался правее окопа: видно, расплавленным свинцом все же залепило смотровую щель механика-водителя, а может быть, и поранило ему глаза.

И вдруг на пути танка поднялась фигура бойца. На мгновение его задернуло легонькой шторкой дыма, но тотчас же осветило солнцем, и Юргин увидел, что боец, что-то безумно крича, пошел навстречу танку. В левой руке он держал связку гранат. Правая рука у него была оторвана по локоть, из-под лохмотьев рукава летели брызги крови. «Мартьянов!» — узнал бойца Юргин и выскочил из окопа. Выскочив, он увидел, что Мартьянов, сбитый пулей, стоит в траве на одном колене и, крича, обессиленно поднимает в левой руке связку гранат. Наскочив, танк опрокинул его навзничь, и в ту же секунду волной взрыва Матвея Юргина бросило в сторону, точно тяжелым кулаком тряхнуло в ухо.

Цепляясь за траву, Юргин вскочил, страшный от пережитого ужаса и подступившей ярости, бросился вперед. Раздавлив Мартьянова, темно-серый танк с драконом на борту круто завернул вправо, — в ходовой части у него, вероятно, были немалые раны. Пробежав несколько метров, Юргин разогнулся и со всей силой бросил связку гранат под гусеницу танка, а сам обессиленно ткнулся в сухие травы.

Его сильно встряхнуло. Через секунду он поднял голову и увидел, что танк, погрязнув правой гусеницей в окопе, косо уткнувшись в куст шиповника, дергался, храпел мотором, ворочал башней и хоботом орудия, словно обнюхивал путь, и не мог тронуться с места. По другую сторону танка раздался новый взрыв.

Юргина опажнуло дымом. Он вскочил и бросился к танку.

— Сюда-а! Дава-а-ай!...

С разбегу, уцепившись за скобу, он вскочил на танк и, оглядываясь, махая руками, снова закричал:

— Сюда-а-а!

Первым подбежал тот боец, что бросил гранату в подбитый танк с другой стороны. Это был Дегтярев.

— Песком! — закричал ему Юргин. — В жалюзи!

С развороченного танком бруствера окопа Дегтярев схватил в пригоршни земли.

— Каской! — приказал Юргин. — Каской!

Дегтярев зачерпнул каской землю и высыпал ее на горячую решетку жалюзи, под которой нет-нет да всхрапывал, пытаясь взвить, мотор танка. В это время к танку подбежал Умрихин, весь вымазанный в глине, а вслед за ним — с разных сторон — другие бойцы.

— Бей! — торжествующе закричал Юргин.

Вокруг раздалась крики. Разгоряченные боем и удачей, ничего не видя вокруг и не слыша, солдаты чем попало добивали танк. Они стреляли в разные отверстия, забивали жалюзи землей, били камнями по стволам орудия и пулемета, по теплой броне...

XXI

Вблизи раздался треск. Капитана Озерова ослепило. Через несколько секунд, пораженный тем, что лежит на земле, он начал подниматься, хватаясь за колесо пушки. Волосы у него были спутаны и забиты землей, все лицо измазано пороховой гарью, а по левой небритой щеке текла кровь. Глаза метались, что-то ища на поле боя.

— Ранило? — со стоном подскочил Петя Уралец.

— Меня не ранит! Не убьет! — закричал Озеров, как буйный пьяный, в бешенстве кривя страшное лицо. — Меня? Нет! — Он встал на колени. — Там... что?

— Третье орудие...

— Разбило?

— Вас ранило, ранило! — закричал Петя Уралец. — Надо перевязать, вот кровь, товарищ капитан!

— Меня ранило?

— В голову! Вот!

— А-а, ну, перевяжи, Петя! Ну, быстро!

Капитан Озеров стоял на коленях, держась за колесо пушки, и покорно разрешал Уральцу так и сяк повертывать голову, обматывать ее бинтом. Когда перевязка была закончена, он оттолкнул вестового от себя и разом встал у пушки — высокий, грузноватый, с черным лицом, с обмотанной бинтом головой, как в чалме.

— Снаряды! — закричал он хрипло, оглядываясь.

На батарее осталась только одна пушка. Остальные три, стоявшие цепочкой влево, были разбиты. На развороченных снарядами земляных двориках валялись колеса, измятые, разбитые лафеты и стволы, расщепленные ящики, убитые бойцы, кровавые лохмотья, изуродованные винтовки и каски. Два бойца, подхватив раненого, неумело тащили его в лес. Один раненый сам полз туда, волоча перебитую ногу. В ближней щели мелькали каски.

— Эй, вы! Эй! — опять закричал Озеров, держась за щит орудия. — Разве мы не русские? Снарядов!

Петя Уралец бросился за снарядами. Вслед за ним, выскочив из щели, бросились еще три бойца в касках и грязной одежде.

У одинокой пушки вновь закипела работа. Артиллеристы, случайно не задетые смертью, были из разных расчетов, но понимали друг друга с одного взгляда и делали каждый свое дело проворно и быстро. И капитан Озеров, то подавая снаряды, то наблюдая за полем боя, вновь начал кричать:

— Огонь! Огонь!

Никому не нужна была эта его команда, и никто не слушал его. Но капитану Озерову почему-то приятно, радостно было повторять это самое ходовое слово войны. Он выкрикивал его с наслаждением, словно впервые выучил, он готов был повторять его без конца:

— Огонь! Огонь!

Озеров был так захвачен боем, что не мог ни о чем думать. Он был в состоянии бессознательного, но полного отречения от всех мыслей о себе. Он не слышал взрывов снарядов и свиста пуль. Ему некогда было думать об опасности, о смерти, которая грозила ему каждое мгновение. Ему также некогда было думать и о том, чтобы на виду у подчиненных показать свое бесстрашие и презрение к смерти. Каждая минута боя заставляла делать множество разных дел, и все дела, которые требовали немедленного выполнения, поглощали без остатка напряженное внимание капитана Озерова, все силы его души.

На поле горело одиннадцать танков, течением воздуха несло от них огромные шлейфы дыма. Близ стрелковых окопов, где в спешке было зря разбито много бутылок с горючей смесью, выгорали травы и жнивье. Над полем боя было чадно и душно.

Первый эшелон танков, наносивших таранный удар, был разбит. Но теперь двигался второй эшелон, более мощный. Обходя костры из металла, танки все шли и шли по дымному полю, и рокот их моторов теперь заглушал все другие звуки боя.

В центре рубежа танки утюжили и заваливали землей стрелковые окопы. Снаряды рвались всюду. Земляная крошка, словно подбрасываемая для просева, падала над полем, а от нее, как пыльный и сорный отход, относил дым. Иногда среди воя, грохота и лязга доносились слабые крики раненых.

Но капитан Озеров и все бойцы-артиллеристы не видели поля боя. Весь бой для них сосредоточился на небольшом клочке земли вокруг их одинокой пушки.

...Один танк вырвался к пушке совсем близко. Капитан Озеров увидел его, когда он поднимался на пригорок, и яростно крикнул:

— Огонь!

Маленький и весь черный, как трубочист, наводчик, с двумя треугольничками в петлицах, повернул дуло пушки вправо, прикинул поверх его глазом, — и пушка сильно дернулась, будто хотела выскочить из своей позиции, обнесенной валом, и броситься на танк. Снарядом разбило у танка колесо-ленивец. Скрежеща ослабевшей, спадающей гусеницей, танк круто повернулся и полез в лощину, где были кусты орешника и крушины.

— Огонь! — закричал Озеров, толкая наводчика.

Позади разорвался снаряд. Черномазый наводчик дернулся, судорожно схватился за замок, еще раз дернулся и, взмахнув руками, откинулся назад. Другой боец, выронив снаряд, закричал и кинулся в сторону, хватаясь за бок.

Пока Озеров и Уралец оттаскивали в сторону убитого черномазого наводчика, третий артиллерист, тоже молодой парень, но крупной породы, орудуя с замком, обнаружил, что осколок снаряда разбил крышку ударного механизма, — боевая пружина и боек отлетели неизвестно куда. Еще издали, почуяв неладное с пушкой, Озеров кинулся к ней, присел у станины.

— Ну что? Что тут?

— Вот, видите? — показал артиллерист и, поднимаясь, махнул на пушку обеими руками, жестом этим хороня ее и прощаясь с ней. — Все! Бросай!

Озеров вдруг вспомнил, что где-то около пушки видел топор, случайно оставленный с ночи, когда готовили огневую позицию, и закричал, оглядываясь по сторонам:

— Петя, топор!

Заскочив в дворик, Уралец подал топор.

— Да гвоздь еще, гвоздь найди!

— Вот напильник, — предложил артиллерист, поняв, что задумал неутомимый капитан.

— Заряжай! — скомандовал Озеров.

Подбитый танк, дергаясь, прополз кустарник и уходил дальше в лощину. Вставив в пустое отверстие клина затвора напильник, Озеров, торопясь, ударил по нему обухом топора. Пушка дернулась, и снаряд угодил в моторную часть уходящего танка, — его захлестнуло зубатой волной огня.

Но Озеров даже не успел порадоваться удаче. Сзади его схватил и, что-то крича, потащил от пушки Петя Уралец. Переступая вспять через станину, Озеров упал, а когда вскочил, влево от себя, совсем близко, метрах в двадцати, увидел танк, вылезший из-за кустарника. Озеров хотел что-то сделать, за что-то схватиться, но было поздно. Оглушив воем мотора и скрежетом, танк уже лез на бруствер дворика, задирая вверх гусеницы. Все дальнейшее произошло в течение нескольких секунд. Не успев ничего сделать, капитан Озеров, пятась, опрокинулся навзничь. Он уже не видел, как танк левой гусеницей накрыл пушку и артиллериста...

XXII

Андрей быстро и тревожно открыл глаза. У самой головы — на сером камне — стояла ворона; на правом крыле ее вкось торчало, сверкая белой изнанкой, вывернутое перо. Приподняв клюв, со старческой прищуркой, точно сквозь очки, смотрела она на Андрея, и глаза ее вдруг показались ему большими и мертвенно-лунными, как у совы. Зябко поддернув приспущенные крылья, она шагнула вперед, и Андрей замер в ужасе, услышав, как скрежетнули о камни ее когти. Не трогаясь, он застонал, и ворона, прыгнув, заслонила крыльями небо.

Тяжело опираясь о землю, Андрей приподнялся и повел вокруг опухшими от прилившей крови глазами. Он лежал в помятом, обтрепанном кустарнике. Вокруг истекали свежей ржавью ободранные ольхи. На обломанных кустах крушины светились литые картечины ягод. Старая ворона качалась на согнутой вершине березки, и клюв ее железом сверкал на солнце. Она не собиралась отлетать далеко. У нее был настороженный, выжидательный взгляд. Андрей начал судорожно хвататься за сухие, пахнущие гарью травы.

— Отошло? — слышался из кустов голос Юргина.

— В голове шумно... — не сразу ответил Андрей.

— Лежи еще! — приказал Юргин.

И опять они затихли. Каждый с усилием напрягал слух, то слегка приподнимая голову, то прикладывая ухо к земле. Далеко на флангах, у большаков, все еще гремели пушки, а поблизости вокруг — на рубеже батальона — все более и более крепла тишина, особая тишина, которой славятся глухие ржевские места. Изредка, не нарушая ее, пролетали, похлопывая крыльями, вороны.

Прорвав оборону в центре рубежа, немецкие танки пошли через лес прямо к Вазузе. Вслед за ними пошли автоматчики. В последние минуты, когда немецкие автоматчики были совсем близко, Андрей выбрался при помощи Юргина из своего полузаваленного танком окопа, и они, прячась в бурьяне, ползком пробрались в ложину, заросшую кустарником. Немцы не заметили их и прошли мимо. Андрей и Юргин долго лежали в кустарнике, не шевелясь, придерживая дыхание. Около часа по всему полю раздавался топот ног, резкие свистки, автоматные очереди, истошные выкрики. Потом на ближнем проселке долго стучали мотоциклы и грохотали грузовые машины, проходящие к Вазузе. Наконец на рубеже батальона установилась тишина. Ветерок разогнал запахи горелого железа, масел и пороха, и на поле боя вновь начали торжествовать внятные запахи осени.

Несколько часов они пролежали в кустарнике. Давно можно было пробираться дальше, в лес, но с Андреем творилось что-то неладное: бывали минуты, когда он, казалось, впадал в забытие.

Пролежав еще с полчаса, Матвей Юргин приподнял от земли занывшую грудь, спросил:

— Ну, отдохнул?

— Погодим еще, — шепотом попросил Андрей.

— Что же это — лежать тут до ночи? Кругом вон тихо

совсем, ни души. Проскочим сейчас до леса, а там...

— А в лесу нет их?

— Немцев? Да прошли давно, чего ты!

— Товарищ сержант, погодим еще!

— Слушай, Андрюха, — сказал Юргин, — пересиль ты себя, уйми! Ведь я же видел, как ты встречал танк! Что ж ты теперь-то?

Хотя на поле боя и установилась тишина, у Андрея все еще сжималось и немело от страха все тело. Он боялся не того, что ожидает его теперь. Об этом он не успел еще подумать. Ему было страшно от мысли, что он пережил на поле боя, и ему еще не верилось, что все это кончено. В голове гудело, в ушах не стихал свист и грохот, и он не верил, что вокруг установилась тишина.

Пролежав еще немного, Матвей Юргин опять зашуршал травой и ветками шиповника, стал подниматься на колени.

— Нет, Андрей, — сказал он решительно, — надо идти!

— Куда же подадимся? — глуховато спросил Андрей.

— В лес. Куда же больше?

— Может, ползком?

— Пропади оно пропадом! — сердито ответил Юргин. — Вставай!

Матвей Юргин встал на ноги и, не оглядываясь, начал отряхивать гимнастерку и брюки. Сказал негромко:

— Да, дела!...

Выждав еще несколько секунд, поднялся и Андрей. Лицо у него было серое, щеки опали, а из-под козырька каски неподвижно глядели расширенные глаза, — не было в них привычного родникового блеска и тишины... Но расправив плечи, он глянул по сторонам, совсем глуховатым голосом спросил:

— С оружием пойдем?

— А как же? С чем воевать будешь? — ответил Юргин. — Ты что, думаешь, на этом и кончилась война? Нет, она, брат, только начинается! Мы с тобой еще повоюем! Битый двух небитых стоит.

Они пошли лощинкой к лесу. Все поле было исполосовано гусеницами танков, избито снарядами и минами, словно его изрыло стадо свиней. Во многих местах поле было обожжено и запорошено черной гарью. Реденький лес, куда они вскоре вошли, тоже заметно пострадал от боя: комли многих деревьев были ободраны пулями, вершинки и сучья обломаны осколками, а кусты помяты, растоптаны машинами и людьми. На всем пути — и в поле и в лесу — Андрей

там и сям видел убитых. Он боялся смотреть на них, но не мог не смотреть; впервые он видел, как могуча и беспощадна смерть. Шагая за Юргиним, он бросал взгляды на убитых, и все откладывалось в его памяти: и как они лежали, распластав руки и скорчившись в предсмертных муках, и какие у них были лица, и как их осыпало опавшим листом...

В лесу было уже сумеречно. Нога легко ступала по рыхловатой почве, по кочкам, заросшим мхом и брусникой. В низинках, где густо голубел осинник, еще крепко, по-летнему, держалась свежая щетина осоки. Среди сыроватых кочек круговинами стоял темный хвощ, а прыщинец еще пытался освещать лесные сумерки желтыми цветами.

Пройдя метров двести в глубину леса, Андрей увидел еще одного убитого. Он лежал под елкой, спрятав лицо в густой брусничник.

— Товарищ сержант, стой, — заговорил Андрей. — Гляди, это же...

— Кто?

— Комбат наш! — Андрей сбросил с плеча винтовку. — Эх, товарищ старший лейтенант! Да куда же его? Господи, теплый еще! Куда же его ударило?

Андрей взял Лозневого за плечо, намереваясь повернуть вверх грудью, но в лесу прогремел винтовочный выстрел. Срываясь с места, Юргин крикнул:

— Давай за мной!

...Когда Юргин и Андрей скрылись в лесной глуши, Лозневой приподнял голову и осторожно, одним правым глазом, поглядел из-за комля сосенки. «Тьфу, дьявол! — сказал про себя. — И нанесло же их!» Он вскочил и, пригибаясь, пошел к опушке. Увидев убитого бойца, лежавшего навзничь меж мшистых кочек, он остановился и, встав на колени, начал стаскивать с него ботинки. Один снялся легко, но второй — на правой ноге — почему-то держался туго. Торопясь окончить дело, Лозневой так дернул ботинок, подхватив его за задник, что сорвал бойца с места. И вдруг боец приоткрыл глаза и сказал слабым голосом:

— Пи-ить!

Лозневой выронил его ногу, а в следующее мгновение уже бежал в сторону, виляя между деревьями. Через сотню метров он остановился у другого бойца, лежавшего так неловко, как может

лежать только мертвый. На голове его виднелись сгустки крови. Лозневой осторожно ощупал бойца: да, этот был, несомненно, мертв, у него уже остыло тело. Лозневой с необычайной поспешностью стащил с него ремень, гимнастерку, брюки и ботинки. Подхватив все это солдатское обмундирование, выгоревшее на солнце, грязное, пахнущее потом и кровью, он бросился в низинку — в темный чащобник.

Здесь Лозневой торопливо переделался в солдатское обмундирование. Оно было мало для его роста; он стал казаться в нем долговязым и длинноруким. «Ах ты дьявол! — выругался он. — Попался же такой недоросль!» Вытащив из кармана гимнастерки красноармейскую книжку, Лозневой посмотрел на первый ее листок и про себя повторил фамилию, которую предстояло теперь ему носить: «Зарубин... Зарубин». Спрятав книжку, он оттащил свою одежду подальше в чащобник, где было сыро, и почему-то старательно затоптал ее в грязь.

XXIII

В то время, когда немецкие танки, смяв батальон Лозневого, подошли к Вазузе, все наши части были уже за переправой. Через мост валом валили одни беженцы. Саперы до последней минуты выжидали, когда прекратится их неуправляемый поток, и по этой причине не успели взорвать мост. Разогнав толпы беженцев, немецкие танки перешли на восточный берег Вазузы.

Батальоны Журавского и Болотина держались у большаков стойко. Даже поняв, что оборона полка прорвана в центре и немецкие танки вышли к Вазузе, эти батальоны продолжали бой. И только перед вечером, когда наконец из штаба полка поступил приказ об отходе, они оставили свои рубежи и отошли в леса. Большаки оказались свободными, и по ним немедленно двинулись вражеские колонны.

С наступлением вечера движение немцев на большаках прекратилось, и тогда по лесам начали собираться люди со всего полка. В одиночку и группами, минуя переправу, они потянулись вверх по Вазузе, где были сплошные темные урочища.

...Пробираясь лесной глухоманью, Матвей Юргин и Андрей повстречали еще нескольких бойцов, а ночью они прибились к довольно большой группе однополчан во главе со штабом полка.

Растянувшись цепочкой, все время пополняясь в пути, эта группа бесшумно двигалась извилистой дорожкой сквозь непроглядную темень урочища. Позади нее, поскрипывая, тарахтя на оголенных корнях деревьев, тащилось несколько повозок.

Впереди шел капитан Озеров.

Он был в солдатском ватнике, но без фуражки. Бинт на голове почернел от пыли и гари. Он шел слабой, разбитой походкой. Иногда, хватаясь за поясницу, он стоял несколько секунд, морщась и мертво стискивая зубы. Он сильно ушибся, когда, спасаясь от немецкого танка, опрокинулся навзничь...

Петя Уралец предлагал:

— Да сядьте вы, товарищ капитан, на повозку!

— Молчи, Петя! — Озеров крепко сжимал его плечо. — Мне надо идти. Разомну тело — и все пройдет.

Он шел и слушал, как шли за ним люди. Он чувствовал, что они подчиняются его воле, и понимал, что, Для того чтобы сплотить вокруг себя этих людей, напуганных разгромом, неизвестностью, заставить их идти дальше за ним, преодолевая все преграды, он должен сейчас, вот этой ночью, идти впереди всех. Иногда он останавливался, и безмолвно останавливалась вся группа, прислушиваясь к шорохам ночи. Стоило от него по цепочке пролететь какой-нибудь команде, и все, торопясь, выполняли ее. Большинство людей не знало, кто шел впереди, но все чувствовали над собой его власть и охотно и молчаливо подчинялись ей. Он шел и шел, незаметно и прочно завоевывая то великое право, какое имеет человек, идущий впереди...

В урочище, где они шли, и днем-то всегда было сумеречно — хоть свечи зажигай. Теперь же, пасмурной ночью, здесь стояла такая темь, как в подземелье. Под ногой люди редко слышали прочную земную твердь: нога ступала во что-то мягкое и влажное, скользила по слякоти, и многим казалось, что они пробираются по какой-то мертвой трущобе, толкаясь о корявые стены, задевая головой за разный хлам, свисающий с потолка.

Это тяжелое впечатление вновь и вновь возвращало Андрея к непривычным, сегодня впервые появившимся у него думам о смерти. Вчера вечером и сегодня утром у него была необычайно большая надежда, что враг будет задержан на последнем рубеже. Но этого не произошло. Сознание Андрея содрогалось теперь от страшной картины боя и торжества смерти, и он, ошеломленный, в эту ночь с

душевной болью думал лишь о том, что теперь все пропало, все, все!...

Он шепотом спросил Юргина:

— Кто ж там ведет?

— Иди, не задерживай, — угрюмо поторопил его Юргин. — Раз ведет человек, куда надо, — чего тебе? Ведет — и хорошо!

— А куда? Вокруг же нас немцы!

— Кто сказал? Это вокруг немцев — наши. Чем дальше они заходят в нашу землю, тем хуже для них. А нам что? Мы на своей земле! Иди, иди знай!

После полуночи группа вышла из лесной труппы на проредь. Все вздохнули облегченно. Здесь все увидели деревья и над ними — небо. Оно было пасмурное, на нем светились редкие мелкие звездочки, но все же это было небо, и под ним просторнее было душе, и легче вздымалась грудь, и лучше чувствовалась земная твердь. Где-то далеко впереди, куда двигалась группа, немецкие самолеты развесили над дорогами фонари, — ночь бежала от их страшного, мертвого света.

За проредью был обрыв к Вазузе. Вода в реке поблескивала, как смола. Восточный берег ее терялся во тьме, от этого река казалась широкой и могучей.

Капитан Озеров сел на землю, оперся о большой шершавый камень и неторопливо, почти шепотом начал отдавать приказания. Только здесь многие узнали, что майор Волошин застрелился во время танковой атаки, а их ведет капитан Озеров. Его приказы исполнялись быстро и точно. Теперь он пользовался не столько властью, данной ему законом, сколько той властью, более сильной, какую получил над людьми в эту ночь, пока шел впереди.

XXIV

Добровольцы-разведчики пошли искать на Вазузе брод. Остальные люди, сбиваясь в кучки, расположились на отдых вдоль берега.

Недалеко от обрыва лежала вывороченная бурей толстая ель, припахивающая гнильцой и плесенью. Падая, она вырвала вместе с корнями и поставила торчмя большой пласт дерна. Андрей сел у комля ели, откинув голову на засохший дерн, перевитый жгутами корней, и почему-то, прикрыв глаза, попытался вообразить бурю, что

прошла над здешним лесом. «Какое ведь дерево вырвало из земли!» — подумал он, и ему еще больше, чем в пути, стало жутко от своих дум о смерти.

— Ты посиди здесь, — наклоняясь над ним, сказал Юргин. — Я пройду по берегу, поищу наших ребят.

— Я посижу, — безучастно согласился Андрей.

Сколько он просидел у поверженной ели, Андрей не помнил: вновь он был в том странном состоянии полузабытья, в каком находился, когда прятался с Юргиним в кустарнике. Перед ним мелькали, точно при вспышках молнии, то немецкие танки, то убитые, то белые голуби над родной Ольховкой, ярко озаренной неугасимым светом белых берез... И один раз он даже отчетливо услышал вопрос отца: «Обратно? А скоро ли?»

Рядом раздались голоса, хруст веток и сухой травы.

— Сидишь? — спросил Юргин. — А я вот наших ребят встретил. Дружков закадычных! Следом за нами плелись, только сейчас подошли.

— Да какая с ним, дылдой, ходьба? — возмущенно заговорил Семен Дегтярев, ощупывая в темноте ель, чтобы присесть на нее. — Одна маята! Под каждым кустом, дьявол, садится! А ты жди его!

— С такого страху небось и любого прохватить может! — без обиды возразил Умрихин. — Не дай и не приведи господи видать больше такое!

Умрихин устроился рядом с Андреем у комля ели. Присел и Юргин. Все закурили. В эту минуту Андрею показалось, что в их жизни не произошло никаких перемен, что они сейчас — на обычном привале. Но тут же он вспомнил о Мартьянове, Вольных, Глухане и спросил тихонько и задумчиво:

— Что же, это и все наше отделение теперь?

— Выходит, так, — вздохнул Умрихин. — Всех, кажись, побило. Ладно, что мы еще вырвались оттуда...

— Как выбрались-то? — спросил Юргин.

— А лучше и не спрашивайте, товарищ сержант! — ответил Умрихин. — Как выбрались из этого пекла — и теперь не вспомню. Нечего сказать, приняла страстей! И как только уберег меня господь от смерти, а? Кругом ведь так и косило! Просто чудо, что унес ноги!

— А в бою ты ничего действовал, подходяще, — сказал Юргин. — Вроде бы не боялся. Вот когда, скажем, танк бил...

— Танк? Это какой?

— Ну, что с Семеном мы подшибли.
— А я... что же... был там?
— Да ты что? А танкиста кто сшиб?
— Я? Хм!... — Умрихин заворочался в темноте. — Ты гляди, как я действовал, а? — подивился он искренне, а затем добавил: — Понятно, я действовал! Ну, не упомнишь же все! Такая буча!

Внизу, на реке, закричали негромко:

— Пошел, не бойсь!

Началась переправа.

— Пошли и мы, — поднимаясь, сказал Юргин.

У берега трещали кусты ветельника, хрустела галька, — двигались повозки, наугад спускались с обрыва солдаты. На перекате слышался сдержанный говор, плескалась черная, как смоль, вода.

Перейдя на восточный берег Вазузы, Озеров сам начал руководить переправой. Он все время торопил людей. Изредка на мгновение вспыхивал его фонарь, и свет его, падая на речку, мелкими блестками растекался по встревоженной, беспокойной стремнине.

Когда речку перешла последняя группа солдат, капитан Озеров справился:

— Теперь все?

Бойцы начали оглядываться.

— Все!

— Пошли!

Но тут выступил вперед Матвей Юргин:

— Погодите, один отстал!

— Кто это?

— Боец один. Где же он? Куда он делся? Он же шел за нами!
— Юргин присел, чтобы лучше присмотреться к реке, волнуясь позвал: — Андрей, где ты? Андрей!

XXV

На всю жизнь Андрей запомнил эту ночь.

Когда товарищи начали переходить реку, он приотстал и задержался у берега. Снимая сапоги, он присмотрелся к реке, и тут будто скребницей шаркнули по его спине. Быстрая стремнина проходила мимо в кромешной мгле, разделяя мир надвое: один — на этой, другой — на той стороне. Мир на этой стороне теперь был страшен для Андрея, но все же давно знаком и пройден насквозь; мир

на той стороне загадочен, наполнен таинственной тьмой, какую редко встретишь на земле, и в ней дрожат совсем неземные огни. Река Вазуза была теперь рубежом, разделявшим надвое не только мир, но вместе с ним и его жизнь. Что ждет его за этой рекой? Андрею показалось, что позади опять очень внятно раздался голос отца: «Обратно? А скоро ли?»

Андрей не думал отставать здесь от своих однополчан — в душе своей он был уже солдат. Он лишь боялся того, что случится с ним впереди, и потому невольно задержался на берегу. Услышав голос Матвея Юргина, он встрепенулся, схватил сапоги, разом вскочил и бросился в смолевые воды Вазузы. Он торопился, шумно дышал, двигая ногами, а у самого стержня запнулся о камень на дне и упал, оглушив себя плеском воды. Поднявшись на ноги, он еще более заторопился и второпях забрал сильно влево, где был большой омут...

Услышав сильные всплески на реке, Матвей Юргин вновь крикнул:

— Андрей, это ты?

Андрей кое-как выбрался на берег. Не отвечая, он полез на обрыв, раздирая кусты ивняка. Он вылез, с хрипом двигая широкой грудью. С его одежды стекала вода. Только передохнув, он сказал устало и сумрачно:

— Чего ж ты... кричишь тут?

— Как — чего? А что ты отстал?

Андрей отряхнул руки и, сдерживая дрожь, ответил:

— Мало ли отчего... Сапог вот потерял!

Солдаты подступили к нему ближе.

— Сапог? Тьфу, вот угораздило!

— Это как же помогло тебе?

— В омут попал, — все так же сумрачно пояснил Андрей. — Глыбь — во! Едва вылез.

Подошел Озеров. Осветив лицо Андрея фонариком, он сразу узнал его, переспросил:

— Ты что, сапог потерял?

— Я так пойду, — сказал Андрей смущенно.

— Зря все же потерял, — пожалел Озеров. — Теперь у нас ничего нет, беречь все надо. Как же быть? Застудишь ведь ногу, а?

— Застудит, — сказал Юргин. — Да он еще весь мокрый... Вон какой!

— Тогда стой, брат, раздевайся! — приказал Озеров и обратился к солдатам: — У кого, товарищи, есть что-нибудь лишнее?

Солдаты быстро надавали Андрею необходимой одежды. Но свободной обуви, конечно, не оказалось, пришлось обвязать левую ногу портянками да куском плащ-палатки. Надев все сухое, Андрей быстро согрелся, и ему стало так хорошо, так приятно среди однополчан, как еще не было никогда. «Свои все, — подумал он растроганно. — Как семья одна...» И он пошел от Вазузы, все больше и больше радуясь теплу в себе и тому ощущению, что вокруг него близкие, почти родные люди.

И тут Андрей подумал, что их полк, хотя и понес большие потери, все же продолжает жить. Андрей был так обрадован этой мыслью, что в его душе быстро стало гаснуть чувство обездоленности, какое мучило его до реки. Шагая в толпе однополчан, он теперь уже не вспоминал картины разгрома и смерти и не думал о том, что ждет его впереди, за бескрайней ночью, кое-где освещаемой мертвыми огнями.

Он шел на восток, думая о жизни.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Птицы покидали родные места гнездовий. Проходя по лесам, полям и болотам, осень безжалостно гнала их на чужбину, не давая отдыха в пути. В просторной вышине слышались печальные клики журавлей. Утки табунились на озерах. Черные тучки скворцов, подхваченные ветром, высоко мельтешили над осенней землей.

В Ольховке хорошо было слышно, как шла бомбежка близ Вазузы, а затем временами стало доносить приглушенный гул оружейной пальбы. Ерофей Кузьмич знал, что немцы миновали деревню стороной, по большакам, и сразу понял: у реки начался бой. Много раз выходил Ерофей Кузьмич на крыльцо и напряженным темным взглядом всматривался в даль востока. Лицо его каменело от тяжелых раздумий.

В доме установилась кладбищенская тишина. У всех валилась из рук работа. Все сидели по углам или бродили молча. Украдкой друг от друга, с тоской смотрели на восток.

Марийка крепилась больше всех в доме и больше всех страдала. Весь этот день, наполненный шумом листопада, она жила, со страхом прислушиваясь к тому, что говорило ей сердце.

Под вечер Ерофей Кузьмич спохватился: надо было надежно прикрыть от чужого глаза яму под рябиной, где утром еще спрятали зерно и лишнее добро.

— Горе-то горюй, а дело делай, — заговорил он с семьей. — Того и гляди, немцы нагрянут. Надо яму получше прикрыть.

Алевтина Васильевна, ослабевшая всем телом после проводов Андрея, сидела на лавке, привалившись к косяку окна. Не отрывая усталого, тоскующего взгляда от неясной лесной дали, прошептала:

— Чего же, сходили бы...

— Пошли-ка! — сказал Ерофей Кузьмич, оборачиваясь к Марийке и Васятке. — Прикроем — и душе покойнее.

Вышли на огород. За сараем недавно наспех были свалены три воза ржаной соломы, полученной на трудодни с колхозного гумна. Этой соломой и решено было прикрыть яму. Ерофей Кузьмич и Марийка носили солому, поддевая ее большими охалками на вилы, а Васятка, на лету подхватывая граблями навильники, ловко укладывал их в омет и утапывал ногами. Через полчаса работы, поднимаясь все выше и выше, он начал доставать багряные гроздья ягод с верхних ветвей рябины.

Сметливый Васятка видел, как мучилась Марийка, и все время старался, чем мог, утешить ее. Нарвав пучок веток с большими гроздьями ягод, он сказал ей:

— Гляди, какие ягоды! Тебе дать?

— Кинь, Васятка!

— Я тебе самых лучших! — обрадованно закричал мальчуган. — Вот, гляди!

— Эй, ты, там! — прикрикнул на Васятку от сарая Ерофей Кузьмич. Чего там кричишь? Чтобы народ видел? Да и рябину зачем портишь зря? Куда рвешь?

— Скрипи, скрипун! — прошептал Васятка, косясь на отца. — Держи, Марийка! Эх, и ягодки!

Марийка поймала большую, тяжелую ветку, густо обвешанную гроздьями ягод, взглянула на нее — и сразу вспомнила один лучистый день последней весны. Вскоре после свадьбы, придя поработать на огород, они вместе с Андреем стояли под этой рябиной, — вся она была осыпана нежным белым цветом. Кажется,

это было совсем, совсем недавно... Но рябина не только отцвела, — на ней успели вырасти эти богатые и нарядные гроздья.

Подошел Ерофей Кузьмич.

— Манька, ты чего же стоишь? Надо бы после эти забавы!

Не отвечая, Марийка воткнула вилы в охапку соломы, попыталась поднять — и не смогла. Ее мягкие, теплые губы раскрылись и запылали. Она тряхнула головой, сбрасывая на плечи полушалок. Изгибая тонкий девичий стан, еще раз попыталась поднять солому, и опять не хватило сил. Сказала чуть слышно:

— Не могу! — Бросив вилы, отошла к рябине. — Погодите, сейчас пройдет...

— Вешует? — хмуро спросил Ерофей Кузьмич.

— Кто? — оглянулась Марийка.

— Сердце, кто же?

— Не тревожьте меня сейчас, папаша, — держась за ствол рябины, ответила Марийка.

Васятка вдруг тряхнул суком рябины.

— Тятя, глянь-ка, едут!

У Ерофея Кузьмича дрогнули в руках вилы.

— Немцы?

— Да нет, бабы! Никак нашенски? Да вон, вон!

— Тьфу, поганое дите! — закипел Ерофей Кузьмич. — Ты чего, вихрастый дьявол, пугаешь? Нет, чтобы сказать как следует! Вот как возьму да раза два достану вилами — будешь знать! Фу, даже в груди захолонуло!

С востока по склону взгорья в деревню поднимался небольшой обозик. За возами, нагруженными разным скарбом, шагали измученные, унылые женщины, брели похудевшие и повзрослевшие за двое суток ребятишки. Поглядывая на родную деревню, затихшую под березами, колхозницы глуховато перекидывались словами:

— Хлебнешь теперь тут горького!

— Ой, кума, не приведи господи!

— Загодя готовь петельку!

Когда обозик поравнялся с лопуховским огородом, одна женщина в поношенном мужском пиджаке, туго затянутом на талии цветной опояской, в сапогах, с кнутом в руке, завернула к изгороди, крикнула:

— Эй, сват, немцев нет еще у нас?

— Мама! — Марийка бросилась к изгороди. — Мама!

Немного подождав, Ерофей Кузьмич тоже подошел к изгороди. Марийка все еще обнималась у телеги с младшей сестренкой Фаей — смугленькой и тоже черноглазой, только вступавшей в девичество.

Сватья Анфиса Марковна, прозванная по имени покойного мужа Макарихой, высокая, статная женщина лет пятидесяти, с живым лицом и темными, все еще молодыми глазами, прикрикнув на шумевших дочерей, подала команду бабам:

— Погоняй, бабы, чего встали?

Объезжая телегу Макарихи, бабы двинулись в деревню. Макариха обернулась к изгороди, поздоровалась со сватом, переспросила:

— Значит, не бывали еще, сват?

— Слава богу, нет еще...

— А то мы едем да только и думаем: сунемся в деревню, а там уже немцы. Только клочья, думаем, полетят от нас.

— Не должно бы, сватья. С баб какой спрос?

— Ой, сват! Они спросят!

Закуривая, Ерофей Кузьмич поинтересовался:

— Возвернулись-то откуда?

— От Черного Ключа.

— Значит, дальше ходу нет?

— Не пришлось, сват, дальше.

— Да, пробегли наши быстро! — Ерофей Кузьмич пустил дым из ноздрей. Без всякой войны покинули деревню.

— Это, сват, разве бегут? — смотря мимо свата, сказала Макариха. Вот погоди, как немцы побегут, — вот те побегут! Куда прятче наших! Диву дашься, сват. Знаешь, придешь незванным, уйдешь драным!

— Конечно, если наши соберут силу...

— Соберут! — Макариха так ударила черенком кнута по верхней жерди изгороди, что Ерофей Кузьмич вздрогнул. — В своем гнезде, сват, и ворона любому глаз выклюет. Слыхал? — От гнева Макариха даже помолодела в лице. Нет, не приглянется им наш хлебушко!

О бое у Вазузы Макариха ничего не знала. Потолковав об Андрее, она засобиралась ехать домой. Прощаясь со сватьей, Ерофей Кузьмич сказал:

— Заглядывай, сватья, когда будет время!

— Захаживайте и вы, сват, — в свою очередь, пригласила Макариха.

Не отходя от прясла, Ерофей Кузьмич еще с минуту наблюдал за Макарихой. По-мужски взяв в руки вожжи, она стегнула отощавшего коня кнутом поперек спины и, когда он тронул воз на взгорье, крупно зашагала рядом с телегой. Ерофей Кузьмич легонько качнул головой и сказал о сватье с завистью:

— Крепка! Такую как ни кинет жизнь, она все вроде кошки, опять на ногах. И видит, пожалуй, как кошка: днем хорошо, а ночью — того лучше.

— Плохо? — спросила Марийка, влезая на изгородь.

— Такая порода! — уклончиво ответил свекор.

Марийка, увидев мать, сначала испугалась, что ей не удалось бежать от немцев, но теперь была рада, что она не уехала. Теперь Марийка знала, что в деревне есть человек, который всегда поможет ей в любой беде. Ей стало легче, и она, опять взявшись за вилы, даже на время забылась от своих дум. Ерофей Кузьмич, наоборот, почему-то заметно помрачнел после встречи со сватьей и работал все время молча. Только когда омет был готов и обставлен вокруг жердями, угрюмо сказал:

— Добро-то спрятано надежно. А вот душу на это время куда бы спрятать?

Беженцы возвращались в деревню весь вечер. В деревне становилось многолюднее, но она все так же казалась опустевшей: затаясь, ольховцы со страхом ждали чужеземцев.

Когда спустилась ночь, Ерофей Кузьмич три раза, не отдыхая, обошел вокруг своего двора. Придерживаясь за изгородь, оступаясь в темноте в ямки, пробираясь сквозь повядшие, но еще крепкие лопухи, он то про себя, то вслух шептал, горячо дыша:

— ...от ворога, конного и пешого... а також от мора и глада... от огня и порухи... и черного глаза...

Отчитав заговор, он с лампешкой отыскал в кладовке припасенный с лета бледный, мясистый, выросший в земле стебель с редкой чешуйкой недоразвитых листочков — петров крест. Завязав его в тряпицу, повесил над наружной входной дверью: на счастье всего дома.

Из густого березняка дорога вышла к маленькой речушке. Телега загрохотала на дощатом мостике. Отсюда до Ольховки оставалось три километра: будь дневное время, она так и встала бы перед глазами на просторном и веселом взгорье. Но землю окутывала непроглядная ночная тьма. Ни одного огонька не виднелось в Ольховке. Когда телега, съезжая с мостика, мягко стукнулась в выбоине, Степан Бояркин тронул за плечо Серьгу Хахая, продавца Ольховской лавки, который правил лошадьёю, и сказал со вздохом:

— Стой. Довольно.

На мостике загрохотала еще одна телега. И тоже остановилась. Четыре человека, почти враз спрыгнув с нее, с обеих сторон подошли к Степану Бояркину. Согнувшись у заднего колеса, он хватался за ногу. Его спросили:

— Больно?

— Да нет, — прошептал Бояркин. — Отсидел. Онемела.

— Врешь ведь, Степан!

Бояркин выпрямился, сказал:

— Так вот, в Ольховку ехать незачем. Кто знает, может, там уже немцы. А нам нечего зря терять головы. Поезжайте отсюда вот этой дорожкой, — он махнул рукой вправо, — а там кромкой урочища. Знаешь, Серьга?

— Знаю, — отозвался из темноты Хахай.

— И дождетесь у Лосинового. Я прибуду к свету.

— Домой убежишь?

— Меня дома не ждут. Степан Бояркин уехал к Москве. Дела, какие надо, сделаю.

Бояркин пошарил рукой в телеге.

— Винтовку? — спросил Серьга.

— На что она мне сейчас? Палка где?

— Вот, держи.

— Гляди, мой сапог не потеряй! Не жди тогда добра.

— Ха-ха! — невесело хохотнул Серьга. — Ты ноги только приноси. О сапогах какая забота?

Кто-то из спутников посоветовал:

— И верно, ты осторожнее там, Степан.

Собираясь в путь, Бояркин огляделся по сторонам.

— Экая ночь! — вздохнул он. — Над всей жизнью нашей теперь опустилась она...

Было холодно, но Бояркин раскинул полы пиджака. Щупал палкой в темноте дорогу, прихрамывая на левую ногу, обутую в ботинок, пошел к Ольховке.

На склоне взгорья, у самой Ольховки, он присел передохнуть на знакомый с детства придорожный камень. Отсюда, со взгорья, было видно, как далеко по сторонам, вдоль большаков, и на востоке, куда откатилась война, мерцали за лесами гребешки пожаров. А над родными местами в пасмурном небе едва теплились редкие звезды, и все было объято зловещей тишиной.

Степану Бояркину нужно было повидать колхозного завхоза Осипа Михайловича. Но он жил в центре деревни, пробираться к нему опасно. «К кому же зайти сначала?» — подумал Бояркин. Всем колхозницам, которые были с ним во время бомбежки, а затем возвращались домой, он сказал, что при любых условиях будет пробиваться на восток. О таком его решении уже знала вся Ольховка. Бояркин хотел, чтобы до поры до времени все ольховцы были убеждены в том, что он пробрался к Москве. «А-а, чего гадать! Зайду-ка к Лопуховым, — решил Бояркин. — Разузнаю все, а потом видно будет».

Он поднялся с камня, пересек дорогу и осторожным шагом, ощупывая землю палкой, направился к лопуховскому огороду. В темноте наткнулся на изгородь. И только когда уже взобрался на нее, вспомнил, что у Лопуховых самый злой на деревне кобель. Он поднимет такой лай, что взбулгачит всех ольховских собак. Бояркин бесшумно спустился с изгороди. И тут, перебирая в уме колхозников, невольно вспомнил о лопуховской родне — вдове Макарихе. На нее можно было положиться в любом деле: и честна и тверда. Да и легко было пройти на ее двор, стоявший близ южной окраины деревни.

Через полчаса Степан Бояркин был у Макарихи. Она даже не удивилась его возвращению в деревню. Занавесив в темноте окна, зажгла лампу и, оглядев Бояркина, заметила:

— Что ж ты ходишь так? Надел бы оба ботинка, что ли?

Не успел Бояркин закончить наскоро поданный ему ужин, Макариха привела Осипа Михайловича. Это был человек пожилой, седоусый, сурового солдатского вида. В гражданскую войну ему изувечило осколком ногу, и с тех пор он ходил с тяжелой березовой палкой. Здороваясь с Бояркиным, завхоз кивнул на его ногу:

— Тебя, сказывают, задело? Хромаешь?

— Не одному тебе хромать, — отшутился Бояркин.

Вскоре сам собой завязался нужный разговор. Аккуратно собрав со стола крошки, Бояркин бросил их в рот и взялся за очередной ломоть пахучего ржаного хлеба.

— Новый?

— Вместе мололи, — отозвалась Макариха.

— Хорош хлеб!

— Теперь не знаю, поешь ли такого, — сказал Осип Михайлович, укладывая березовую палку вдоль вытянутой несгибающейся правой ноги. Слух есть, что мельница попорчена. Будешь в ступе толочь, — какой хлеб?

Бояркин указал на перегородку ложкой:

— Фая-то спит?

— О, хоть в барабан бей! — успокоила Макариха.

Бояркин наклонился над чашкой.

— Сколько у нас намолочено?

— Это ж надо по документам, — ответил завхоз. — В старом амбаре для сдачи государству осталось немного, а в новом — семенной.

— Государственного много?

— Тонны полторы.

— Так. Значит, сдашь его государству.

Осип Михайлович поднял суровое, в складках, лицо с густыми серыми усами.

— Государству? Это как же... куда?

— Куда говорю. Что у нас, государства нет? Отвезешь в ближайший день... вернее, ночь. И сдашь Сергею Хахаю. А в какое место везти, после укажу. Да я пришлю людей, тебе помогут. Это надо сделать тайно.

— Хорошо, Степан, — все поняв, согласился завхоз.

Бояркин молча закончил ужин, свернул сигарку, прикурил от лампы. При слабом свете он казался особенно худым и бледным. Но в его больших светлых ореховых глазах больше, чем всегда, было горячей жизни и силы.

— А семенной? — спросил Осип Михайлович.

Бояркин долго думал, дымя махоркой. Для семян было оставлено лучшее, отборное зерно. Нагрянут немцы — оно пропало. Но раздавать его не хотелось. С этим зерном у колхозников связаны все думы о весне. Раздай его, и многие подумают: значит, сами руководители не верят, что войска возвратятся скоро, что весной

дове­дет­ся сеять колхозом.

— Спрячь! — сказал он на­ко­нец ре­ши­тель­но.

— А как спрячешь?

— Об­моз­гуй. Не ма­лый. Но что­бы все колхоз­ни­ки зна­ли, что зерно цело и на­деж­но спря­та­но до весны.

Где-то в деревне залаяла собака. Степан Бояркин быстро обернулся к окну, просунул голову за шерстяное одеяло, несколько секунд присматривался к ночной тьме. Еще раз донесся собачий лай. Бояркин прикрыл окно, улыбнулся легкой и светлой улыбкой.

— Наша! Жучка!

— Что там она? — встревожилась Макариха. — На кого?

— Так она брешет...

Тяжеловато облокотясь на стол, Бояркин продолжал:

— Ну, а скирды молотить некому и некогда. Так?

— Где уж тут! — ответил завхоз. — Пусть стоят.

— Не испортились бы, — сказала Макариха. — Второпях складывали-то. Прольет дождем — погниют!

— Перестоят! — заверил завхоз.

Бояркин откинулся к стене, сказал твердо:

— Зря толкуете... Сжечь!

— Скирды?

— Сжечь! И как можно скорее, — повторил Бояркин. — Растащить не успеете, а нагрянут немцы — заставят обмолотить и зерно заберут или потравят лошадям. А мы не должны давать им ни одного зерна! Сжечь!

Макариха отошла к печи, прислонилась к ней головой, сказала сквозь слезы, прикрывая глаза:

— Такое добро! Сколько трудов положено!

— Знаю! Чуть ли не по колоску собирали!

— Да так и есть: по колоску. Ребята вон ходили по полям с корзинками...

— Знаю. Все одно — сжечь!

У Осипа Михайловича затряслись усы.

— Нет, Степан! Заставь ты меня мою избу зажечь — сейчас запалю. А на колхозный хлеб у меня, Степан, не поднимутся руки!

— Забыл, что приказано?

— Все сознаю, — помедлив, ответил Осип Михайлович. — Все как есть. Ну, сил нету, Степан. Сердце у меня попорченное, вот что! Я зажгу его — и сам в огонь брошусь. Нет, убей ты меня,

Степан, — не поднимутся у меня руки на колхозный хлеб! Такое добро, а?

— Слаб ты! — сказал Бояркин завхозу и взглянул на Макариху. — А ты, Анфиса Марковна?

— Сожгу, — чуть слышно ответила Макариха.

Степану Бояркину и самому было тяжело: так и давило грудь удушье. Он поднялся со скамьи, постоял, трогая длинными худыми пальцами одеяло, каким было занавешено окно. Затем резко обернулся, заговорил, меняясь в лице, сверкая глазами:

— Я тоже думал, что у меня не поднимутся руки... Поднялись! Теперь не то время, не то! Теперь для наших рук — другое дело. И мы должны еще показать, какая сила в наших руках!

Осип Михайлович и Макариха с удивлением смотрели на председателя. Нет, это был другой Степан Бояркин, совсем другой, — таким его не знала раньше Ольховка...

Ш

Мужчин в Ольховке осталось наперечет. Те, что были в крепких годах и подлежали мобилизации, давно ушли в армию. Некоторым белобилетникам, кто эвакуировался из деревни заранее, удалось пробраться к Москве. Остальные пропали без вести. Почти на каждом дворе, где не были заколочены ставни, начали хозяйничать женщины. О мужиках, что остались в деревне, они горько шутили:

— Какие же это мужики? Одно гнилье!

— Ой, да что и говорить!

...На следующий день Марийка пришла к матери. В ее избе было людно. Здесь были Лукерья Бояркина, жена председателя колхоза, с ребенком, Ульяна Шутяева, проплакавшая все глаза после гибели дочки, молодая солдатка Паня Горюнова и еще несколько женщин со всего южного края деревни.

В самый разгар беседы какой-то мальчуган застучал в окно.

— Пленных ведут! — крикнул он. — наших!

— Каких наших? — спросила Макариха.

— Ну, наших, русских!

— Немцы?!

— А то кто же! Вон идут!

В избе поднялся шум.

— Батюшки, что же делать?

- Греха бы не было!
— Прятаться, бабы, надо! Бечь надо!
Но Макариха скомандовала:
— Пошли, бабы! Живо!

Колонна пленных пылила большой улицей. Остановилась она только на западной окраине деревни — у колодца под ветлами. Гитлеровец, шагавший впереди колонны в непривычной для глаз серо-голубой с прозеленью шинели, что-то резко, по-птичьему, крикнул и снял с груди вороненый, поблескивающий автомат. Двое первых пленных подошли к колодцу. Загремела бадья. У крайних домов, где столпились испуганные женщины-и ребятишки, прошел шепоток:

- Поить будут!
— Господи, сколько пленных-то!
— Наших нет ли?
— Немцы-то, немцы, гляди, какие!
— Так и стригут глазами!
— Долговязы-то они... батюшки!
— Тише ты!

Солнце клонилось к западу. Над темным урочищем едва заметно бежал, клубясь, дымок: далеко лесной глухоманью, из Вязьмы на Ржев, шел поезд. Пленных, вероятно, гнали на ближайший полустанок, за Лосиное урочище.

Один пленный, высокий остроглазый боец с темной щетиной на острых скулах, вытащив бадью, поставил ее на сруб и жадно припал к ней губами. Он пил, захлебываясь, исступленно тараща глаза. От холодной воды у него начались судороги в горле. Задыхаясь, он оторвался от бадьи. Но не отошел от колодца. Когда напился его товарищ по строю, молодой белокурый паренек с большими ссадинами и синяками на лице, он вновь взялся за бадью и присел на корточки. Гитлеровец-конвойный, заметив это, крикнул пискляво, как беркут, и ударил пленного автоматом в плечо. Остроглазый Опрокинулся у колодца, но, боясь, что его ударят и за то, что упал, поспешно поднялся на ноги. Конвойный указал ему автоматом правее колодца...

- Weiter!³
— Бьют-то, зверюги, как! — сказала Лукерья Бояркина.
На нее зашикали?

³ Дальше!

— Тише ты! Вот дурная!

— Бабы! — скомандовала Макариха, бросая по сторонам суровый взгляд. Тащи хлеба! Тащи еды! Скорее, бабы!

Колхозницы кинулись по дворам.

Поскрипывал журавель, гремела бадья. Колонна пленных продвигалась мимо колодца, у которого, вытянув гусиную шею и по-старчески поджав губы, стоял с автоматом головной конвойный. Шестеро высоких, как на подбор, нескладных в кости гитлеровцев в длиннополых шинелях нездешнего цвета, выстроившись по обе стороны колонны, все время торопили пленных, крича и толкая их автоматами.

— Vorwärts!⁴

Первой вернулась Марийка с буханкой хлеба.

— Дай сюда, — потребовала Макариха.

— Мама, я сама...

— Дай!

В конце колонны в это время поднялся шум. Один пленный, всю дорогу едва тащившийся позади, на остановке совсем потерял способность держаться на ногах и рухнул на землю. Зашумев, товарищи кинулись к нему на помощь. Три гитлеровца, крича, бросились к группе пленных, нарушивших строй, и с остервенением начали расталкивать их автоматами. Пленные разошлись на свои места. Гитлеровцы окружили упавшего и начали пинать его со всех сторон.

— Мама, погоди, — испуганно попросила Марийка.

— Ничего, доченька, ничего...

Макариха смело направилась в конец колонны.

— Эй, вы! — крикнула она конвойным.

Гитлеровцы бросили пленного, оглянулись. Один из них, не поняв, зачем подходит женщина, закричал ей угрожающе. Макариха невольно остановилась.

— Хлеб вот, хлеб! — заговорила она, показывая каравай, и жестами пояснила, что хочет передать его пленным. — Дай им, дай! Они же голодные! Вон они какие!

Многие пленные обернулись на голос Макарихи; по колонне зашелестели какие-то слова. Оглянулись даже те, кто стоял в голове колонны, за ветлами.

⁴ Вперед!

Гитлеровец подошел к Макарихе, с недовольным видом взял каравай и, оглядев его, сунул пленным. Взглянув на Макариху, крикнул:

— Mach? dass du forkommst!⁵

Тут как раз начали подходить другие женщины с хлебом и разной случайной, наскоро схваченной снедью. Осмелев, они с обеих сторон подступили к колонне. Обер-ефрейтор (тот, что принял хлеб от Макарихи) что-то крикнул, и все конвойные загалдели, угрожающе вскидывая автоматы. Женщины бросились врассыпную.

У Марийки нечего было передавать, но она тоже приблизилась к колонне, торопливым, вопрошающим взглядом осматривая пленных. Когда женщины разбежались, она осталась на месте. Колонна уже продвинулась так, что середина ее находилась против колодца, а пленный, что упал, все еще не мог подняться. Он сидел, раскинув босые ноги, откинув грязную голову назад. Пальцы его рук были растопырены в дорожной пыли. Немецкий обер-ефрейтор стоял около него, раздумывая, что с ним делать. Взглянув на пленного, Марийка дрогнула: это был Лозневой! Но тут же Марийку озарило внезапное, как молния, решение. С порывистой силой она бросилась к обер-ефрейтору, подскочила к нему совсем близко и, вся зардевшись, не попросила, а скорее потребовала с горячей и бесстрашной женской решимостью:

— Оставь его! Оставь! Отпусти!

Обер-ефрейтор только что пришел к мысли, что пленный не сможет дальше идти. Оставалось пристрелить его, что не раз уже приходилось делать в пути. Подскочив, Марийка помешала обер-ефрейтору окончательно решить участь пленного. Обер-ефрейтор взглянул на Марийку — и оторопел от изумления: перед ним стояла молоденькая русская фрау, настоящая красавица... Она была в рыжеватой плюшевой одежке, расстегнутой на груди, с открытой, по-русски, гладко причесанной головой и в цветном полушалке, сброшенном на шею. Легкая и порывистая, она не просила, а требовала, будто знала, что ей, красавице, все будет прощено, и требовала с такой бесстрашной решимостью и страстью, что от нее нельзя было оторвать взгляда. Экое чудо уродилось в такой глуши! Безотчетно подчиняясь желанию тоже блеснуть перед Марийкой своим молодечеством, обер-ефрейтор выпрямился и

⁵ Пошла прочь!

поправил волнистый, но обвисший и запыленный чуб. Поняв наконец, чего требует от него русская красавица, он спросил, отчетливо разделяя слова:

— Кто есть он?

— Муж! Мой муж! — не думая, горячо выпалила Марийка.

Лозневой повернул грязную голову влево и несколько секунд держал на Марийке рассеянный, опустошенный взгляд. И вдруг, поняв, видно, что готовит ему судьба, начал судорожно дергаться в сторону Марийки, загребая рукой дорожную пыль.

— Муж! Муж! — продолжала кричать Марийка, по казывая то на пленного, то на себя. — Мой! Понял? Мой!

— Ага! — понял наконец немец.

— Мой он, мой!

— Есть это об-ман? — вспомнив о своем долге, подозрительно сказал обер-ефрейтор. — Найд?

— Мой он, мой!

Вокруг вновь собрались колхозницы. Они переглядывались, ничего не понимая. Марийка обернулась к ним, крикнула:

— Вот они скажут! Мой он, муж!

Все бабы заговорили наперебой:

— Муж! Ее муж!

— Правду сказала!

— Здешний он, ее!

Обер-ефрейтор почти не отрывал взгляда от Марийки. «Романтично! подумал он. — Ее муж — в моей власти. Вот убью его — и она несчастна, отпущу — и она счастлива на всю жизнь». С каждой секундой у обер-ефрейтора росло желание тоже казаться перед Марийкой красивым — не только внешностью, но и душой, и вдруг, охваченный этим желанием, он неожиданно для себя решил сделать приятное этой русской красавице. Улыбаясь, он указал на пленного, а затем махнул на центр деревни.

— На! — сказал он весело. — Твой! На!

Но тут же он увидел, что многие женщины, стоявшие вокруг красавицы, держат в руках узелки и свертки с разной снедью. И обер-ефрейтор, уже забывая о своих рыцарских чувствах и считая, что за пленного должна быть все же получена какая-то мзда, начал показывать на свертки и узелки, тыкать себе в грудь:

— Яйка! Масло! Дай! Шпек — дай!

— Отдай, бабы! — распорядилась Макариха.

Колхозницы начали отдавать обер-ефрейтору свою снедь. Как из-под земли вдруг выросли остальные конвойные. Перекидываясь словами, они начали рассматривать караваи и пироги, трогать пальцами масло, перебирать в кошелках яйца.

— Да хорошие, хорошие! — успокоила их Марийка.

— Совсем свежие! — подтвердила Лукерья Бояркина. — Хоть на солнце вон погляди!

Обер-ефрейтор, услышав о солнце, оторвался от кошелки с яйцами, взглянул на запад. Солнце опустилось совсем низко над дальним урочищем. Всюду начинали меркнуть светлые дневные краски. Выпрямляясь, он сказал быстро:

— Wir müssen gehen. Es ist Zeit!⁶

Конвойные похватали все, что принесли бабы, и пошли на свои места. Обер-ефрейтор махнул рукой на Лозневого, который все еще сидел на земле.

— На! На! — сказал он и шельмовато подмигнул Марийке. — Муж! На!

Грязно улыбнувшись, он пояснил своим друзьям:

— Oh, ich verstehe! Eine so reizende Frau braucht einen Mann, um ihre Schönheit zu erhalten.⁷

Колонна двинулась из деревни.

IV

Лозневой кое-как добрался до лопуховского дома и в изнеможении опустился на крыльцо. Марийка заскочила в дом, а спустя немного оттуда выбежала вся семья. Лозневой лежал на ступеньках, беспомощно поджимая грязные ноги.

— Неужто он? — с изумлением спросил Ерофей Кузьмич.

— Да он же, он! — зашептала Марийка.

— И верно ведь, а? Дай воды!

Лозневой с трудом поднялся на колени. Ловя струю воды в пригоршни, он медленно обмыл лицо, прополоскал рот и, в свою очередь, осмотрел лопуховскую семью.

— Зуб выбили, — пояснил он, — вот!

⁶ Надо идти. Пора!

⁷ О, я понимаю! Такой хорошенькой женщине нужен муж, чтобы красота не поблекла.

— Зубы — что! — дохнув всей грудью, заметил Ерофей Кузьмич и присел на крыльцо, считая, что пора начать и кое-какие расспросы. — Как это все... а?

Марийка подала Лозневому расшитое на концах полотенце. Он неторопливо вытер руки, лицо и согласился:

— Да, зубы — ничего! Вот как не погиб, а? Чудо! Всех командиров и комиссаров! Всех!

— Выдали?

— А что там выдавать? Как выстроили, так и видно всех. Кто с длинными волосами — выходи! Что делали, а? Тут же! А я, как на счастье, постригся у вас тогда...

— А одежда-то... чья же?

— Да это... — Лозневой смущенно осмотрел себя и вспомнил, в какой щегольской, ловко подогнанной форме три дня назад всходил на крыльцо лопуховского дома. — Ну, ничего, отец, не сделаешь! Хочешь жить — на все пойдешь...

— Это конечно...

— Ну вот... Да все короткое только!

— Как же это, а? — повторил Ерофей Кузьмич.

Вместо ответа Лозневой только взмахнул полотенцем. Не в силах больше сдерживать себя, Марийка присела на крыльцо и в большом возбуждении спросила:

— Господи, Андрей-то как же? Где он? Что же вы молчите?

Лозневой ждал этого вопроса и — пока умывался — вспомнил, как Андрей натолкнулся на него в лесу, а затем, вслед за Юргиним, убежал в лесную сумеречь. Но теперь у Лозневого мелькали мысли о том, что Андрей скорее всего никогда не вернется домой, а ему, вероятно, придется надолго поселиться в лопуховском доме.

— Что ж сказать тебе? — Лозневой взглянул на Марийку, а потом и на всех. — Что сказать вам? — Глаза его остановились, точно от тяжелых внутренних страданий. — Там многие погибли!

Марийка в отчаянии рухнула у крыльца...

V

Это был день без солнца. Весь мир был наполнен непогодной хмарью, будто зачался рассвет, но так за весь день и не смог подняться над землей. Холмы, особенно покрытые лесочками, были

очерчены еще различимо для глаза, а ложбинки терялись в сумраке. Все земное было однообразно и неприглядно. Тянуло холодной осенней стужей.

Марийка шла диковатым еловым лесом, распахнув полы своей плюшевой жакетки, сбив полushалок на плечи. Ее черные быстрые глаза металась, отыскивая что-то на пути. Лес рос на сыром месте. Земля здесь была кочковатой и кое-где зыбкой, под ногой шелестели мхи да ядреный брусничник. В одном месте Марийка остановилась и, сцепив руки у груди, затаила дыхание. Глаза ее замерли на одной точке. Постояв так несколько секунд, она пошла вперед осторожно, боясь шуршать брусничником и мхами. Под невысокой, но разлапистой елью лежал человек в военной форме. Марийка остановилась в пяти шагах от него, но вдруг крикнула и бросилась под ель.

Человек был мертв. Он лежал на земле грудью, уткнув лицо в брусничник, выкинув вперед согнутые в локтях руки. Он был широк в плечах, крепкого, дюжего роста. Его гимнастерка и голова в темной колючей щетине были заляпаны грязью.

Все было так, как говорил ей Лозневой: реденький лес, ель, под елью он... Марийка не помнила, как очутилась около мертвого на коленях, как металась, хватаясь за брусничник, не зная, что делать. «Господи, он! — все кричало в ней. — Родной мой, горький мой!» Она взяла мертвого за плечи и, напрягаясь, перевернула его на спину, — застывший, он был тяжел, как суковатая коряга. Лицо у него было серое, сухое, а под носом — маленькие усики. Марийка с ужасом отстранилась от мертвеца.

Оглядевшись, она только теперь заметила, что вокруг среди кочек, в брусничнике и золотистом папоротнике лежат трупы. Марийка вскочила на ноги и, дрожа от мысли, что закричит на весь лес, бросилась бежать.

Но в той стороне, куда она бежала, трупов было не меньше. Она бросилась в другую сторону, но и там всюду лежали трупы. Можно было повернуть назад, но там — тот чужой, с усиками; у него были открытые глаза... С замирающим сердцем она бросилась вперед из этого мертвого леса; она бежала, путаясь во мхах и брусничнике.

...Лозневой подробно рассказал, в каких местах шел бой. По его рассказам, он видел Андрея под елью, — истекая кровью, он доживал последние минуты. Это известие пришибло Марийку. Весь вечер она пластом лежала в горнице. А ночью поняла: нет, ей не

выжить, если она не увидит Андрея, хотя бы и мертвого. Она хотела посидеть около него под той елью, где его опрокинула вражья пуля, выплакать ему свое горе. Она хотела посмотреть на дорогое лицо, на его большие и ласковые руки. Она хотела сама похоронить его, а потом, в горьком одиночестве своем, ходить к его могиле. Ночью же созрело решение: побывать на поле боя и найти мертвого Андрея.

На рассвете она подняла свекра.

— Вставайте, папаша, поедем, — сказала она таким тоном, словно они накануне договорились о поездке и свекор знал, куда надо ехать. Вставайте, уже светает.

— Куда? — не понял Ерофей Кузьмич.

— Да за Андрюшей-то!

— Ох; Андрюшенька! — застонала свекровь, как стонала всю ночь. — Ох, дитенок мой! — Она хотела поддержать сноху, но не могла ничего сказать, а только охала и охала. — Ох, колосочек мой!

Ночью Ерофей Кузьмич сам решил ехать на розыски Андрея. Поднимаясь, он успокоил жену и сноху:

— Не войте, сейчас поедем!

Перед отъездом Ерофей Кузьмич еще раз выпросил у Лозневого, где — по его приметам — надо было искать сына. Лозневой пожалел, что не мог поехать с хозяином, и еще раз повторил, в каком лесочке видел умирающего Андрея.

— Только найдете ли? — усомнился он. — Места-то не знаете!

— Места знаю. Поищем. Сын ведь!

И вот Лопуховы приехали в те места, где недавно отгремел бой.

...Реденький еловый лес повсюду хранил следы битвы. Часто встречались воронки от снарядов, выжженные огнем круговины, наспех отрытые окопчики в них стояла черная вода. У окопчиков валялись целые и поломанные винтовки, густо покрытые ржавчиной, ручные гранаты в чехлах, подсумки с обоймами и — россыпью — ярко зазеленевшие гильзы. Встречались измятые, грязные вещевые мешки со скудными солдатскими пожитками, разорванные, в черных пятнах крови плащ-палатки, сумки с противогазами, измятые фляги, пробитые пулями каски...

Не помня себя, Марийка выскочила из леса.

Пройдя немного полем, она невольно оглянулась на лес, хранивший страшные картины смерти. И вдруг Марийке показалось,

что позади нее — по всему полю битвы — брели женщины. Они шли молча, поглядывая на воронки от снарядов и бомб, полуобвалившиеся окопы, всюду разбросанное снаряжение и оружие. Они останавливались около убитых и, наклоняясь, разглядывали их лица. Шли они молча. Лица у всех были темны и суровы. Злой ветер трепал их одежды.

Марийка вытерла глаза: она не замечала раньше, что плачет. Она вскинула руки и со всей силой крикнула женщинам, что шли за ней:

— Да что же это?! За что?! За что?!

Никто не ответил ей. Женщины шли молча.

Марийка пришла на поле боя, думая только о своем горе, а когда увидела, сколько погибло здесь людей, поняла, что такое горе не только у нее одной. Оно у многих. У всего народа. Мало ли теперь по стране таких вот мест, залитых кровью? Мало ли тех, что нашли без времени свой конец на просторах родной земли? От этих мыслей у Марийки не утихло ее горе, но вместе с ним все сердце вдруг наполнила злоба на тех, что шли с запада, всюду сея смерть. И в эти минуты Марийка почувствовала себя лучше, тверже: ненависть, как живая вода, укрепляет людей.

...Ерофей Кузьмич стоял у телеги, попыхивая сигаркой. Увидев Марийку, он скривил скулы, как от зубной боли, потряс головой, — на его щеках и светлой бороде засверкали слезы.

— Чужало мое сердце! — прошептал он дрожащим голосом. — Ох, чужало! — И еще раз потряс головой.

Марийка подошла к телеге.

— Поехали, папаша!

— Эх, Андрюха, Андрюха! — завздохнул Ерофей Кузьмич и, бросив сигарку, направился к лошади.

Увидев на телеге две аккуратно свернутые плащ-палатки, Марийка сразу изменилась в лице...

— Это я тут... по пути... — смущенно подал голос Ерофей Кузьмич. Добро-то хорошее, не пропадать же...

Оторвав от свекра темный взгляд, Марийка обошла телегу и порывисто направилась к дороге. Ерофей Кузьмич, подбирая вожжи, окликнул ее:

— Манька, ты куда? Ты чего?

Марийка остановилась, ответила негромко:

— Поезжайте одни. Я пешком пойду.

Двигая ноздрями, Ерофей Кузьмич долго смотрел ей вслед. Когда полушалок Марийки замелькал над кустами, плюнул под ноги.
— Тьфу! Вот норовистая баба!

VI

К вечеру совсем занепогодило. Низко над потемневшей землей и лесами бесконечной чередой потянулись сумеречные тучи. Иногда ветер размашисто заседал землю то мелким дождем, то снежной крупкой.

До Ольховки Марийку подвез случайный проезжий беженец. Смеркалось, когда она, простившись с попутчиком, свернула с дороги и стала подниматься к своему огороду оврагом. Усталая, продрогшая, она с трудом шла тропинкой, белой от снежной крупки. И только подошла к своей бане, из дверей ее показался человек.

Марийка вскрикнула и попятилась.

Человек был в военной форме, но босый, без пояса и пилотки. И хотя уже спускались сумерки, Марийка разглядела его с одного взгляда: он очень молоденький, веселой светленькой породы, а лицо у него опухшее, в подтеках и ссадинах, и правый глаз — узенькая щелка на большой засиневшей опухоли. Открыв губы, паренек улыбнулся простенькой, доброй улыбкой и, заикаясь, сказал онемевшей Марийке шепотом:

— Н-не бойсь! Чего б-боишься?

Он зябко отряхнулся, вышел к тропе.

— Немца нету в де-деревне?

— Нету, нет, — еще дальше отступая, ответила Марийка.

— Да ты что б-боишься? Или не узнала?

— Батюшки! — тихонько ахнула Марийка. — Никак ты, Костя?

— К-конечно, я самый...

— Ой, напугал-то как! Чего ж ты тут?

— З-зови домой! — Костя переступил босыми ногами по крупке. — Видишь? Там расскажу. Эх, и холодина завернул! Вроде з-зимой запахло...

— Господи, ноги-то! Пошли!

— Вот з-з-за это спасибо!

— Погоди, а зачем картавишь так?

— К-контузило, — пояснил Костя. — А к-комбат у вас?

— Командир-то? У нас.

— Я... я так и знал. Ну, п-пошли скорее! Окоченел я. — Шагая следом за Марийкой, он сознался: — Я давно п-порываюсь зайти, да хозяина боюсь.

Марийка обернулась.

— Отчего же?

— Иди, иди! Не скажешь? Т-темноват он.

Возвращаясь в Ольховку, Ерофей Кузьмич поймал в небольшом придорожном леске доброго строевого коня светлой серой масти, — много их, распуганных войной, бродило без догляда в те дни. Этого коня Ерофей Кузьмич счел за божий дар и до сумерек хлопотал в сарае, готовя ему стойло. Но и в работе он не смог забыть о ссоре с Марийкой. «Вот чертово семя! — ругался он, думая о дерзкой и непокорной снохе. — Какую ведь смуту заводит в доме! И все не так, все не так! Что ни день — новая канитель. То из деревни тащила к дьяволу на рога... Тут опять этого... командира привела. Привела, а умом не подумала — зачем? Какая с него теперь польза? Только хлеб жрать? А заботы с ним сколь? А тут вовсе зря сбесилась. Ну, скажем, взял я эти палатки... Так чего ж тут такого? Сейчас такое время, что все сгодится в хозяйстве...»

Только Ерофей Кузьмич вернулся со двора, пришла Марийка. Вслед за ней на пороге показался окоченевший от холода, избитый Костя. Ерофей Кузьмич так я остолбенел от нового лиха. Большого труда стоило ему сдерживать свой гнев. Не отвечая на приветствие, он проводил Костю взглядом до дверей горницы, где лежал Лозневой, а затем, дыша тяжело и гневно, бросил снохе через плечо:

— Все? Или еще будут?

В горнице раздался крик Лозневого. Увидев Костю, он начал подниматься, сбрасывать с себя одеяло.

— Костя, и ты? И ты здесь?

В раскрытых дверях горницы стояли Алевтина Васильевна, Марийка и Васятка, с любопытством наблюдая за встречей. Костя взглянул на них здоровым левым глазом и, виновато улыбаясь, показал на свои грязные ноги:

— Наслежу я вам...

— Иди, иди! — разрешила хозяйка.

— Костя, дорогой, да как ты?

Костя обтер ладонью мокрое, опухшее лицо. На левой, скуле у него была особенно большая ссадина — будто дернули по ней

теркой.

— Что вы, т-товарищ старший лейтенант! — сказал он, направляясь к кровати. — Да разве я м-могу оставить вас? Как я опознал вас в к-колонне, так и сказал: теперь вместе! От к-комбата я ни шагу!

Он присел на сундук у кровати, прикрытый цветистой дерюжкой. Улыбаясь привычной юношеской улыбочкой, сказал:

— Ну и дал, к-конечно, тягу... прошлой ночью...

Костя так был рад встрече с командиром, что теперь пережитое казалось ему только забавным. Обо всем он рассказывал со смехом, — так все плохое прошлое отступает перед настоящим, если это настоящее радостно, как весенний рассвет.

Не меньше радовался встрече и Лознезой. За одни сутки, пока лежал в лопуховском доме, он понял, что одному ему будет трудно жить среди чужих людей. И вот неожиданно пришел свой человек, его вестовой. Хотя он и знал Костю не больше недели, но все же знал, а это очень важно для теперешней совместной жизни. К тому же это был человек, который привык безответно подчиняться его воле и, по роду своей службы, относиться к нему особенно заботливо и почтительно. Теперь это имело значение не меньше, чем прежде. Поэтому Лозневой, выслушав рассказ вестового о побеге, похвалил его от всего сердца.

— Ах, молодец ты. Костя! Вот молодчина! Ну, теперь нам легче! Как говорят в народе? Одна головня и в печи тухнет, а две — и в поле курятся.

— А вы уже слышите? — вдруг спросил Костя. — Все прошло?

Лозневой смутился, ответил негромко:

— Все, Костя, все!

— Быстро отлегло! А я сначала вроде ничего, а потом уж на язык п-повлияло...

— Обожди, Костя, ведь ты дрожишь весь!

— П-промерз, холодина вон какой!

Марийка вошла в горницу, распорядилась.

— Лезь сюда! — показала за подтопку. — Грейся! Наговоритесь после. Задубели у тебя ноги-то! Грейся, сейчас самовар будет.

Костя скрылся за подтопкой, а Лозневой поблагодарил Марийку:

— А вам от меня большое спасибо за Костю. Очень хорошо, что вы его приняли!

...Костя был родом из-под Елабуги на Каме. В армии он служил около двух лет. Не начнись война, он этой осенью вернулся бы домой. Смекалистый, расторопный и ловкий, он был незаменимым вестовым. Все командиры в батальоне знали и любили его. И Костя в любое время готов был броситься в огонь и воду за эту любовь. Как и всем солдатам, Косте не нравился комбат. Но Костя заставил себя уважать Лозневого. Он привык верить командирам беззаветно, выполнять их приказы безоговорочно, заботиться о них везде и всюду и, если потребуется, не щадить себя для спасения их жизни. В этом он видел основу суровой и справедливой воинской дисциплины.

Тяжелые часы пережил Костя на поле боя близ Вазузы. После бомбежки, он, как было приказано капитаном Озеровым, повел Лозневого на пункт медицинской помощи. Но в ближнем леске Лозневой велел Косте вернуться в штаб батальона. «Сам дойду!» — сказал он. Когда же прорвались танки, Костя испугался за жизнь своего командира, бросился в лес, но найти его там уже не мог. Со слезами на глазах обшаривал он все кусты и ямы, заросшие травой. В это время его и захватили в плен немецкие автоматчики, — он не успел даже пустить в дело оружие.

Поздно вечером в опустевшую дереvушку, куда согнали пленных, привели и Лозневого. И хотя он был в солдатской форме. Костя сразу узнал его. За все время пути Косте ни разу не удалось поговорить с комбатом. Но когда выдался случай бежать, он бежал, не задумываясь, окрыленный мыслью, что найдет чудом спасшегося командира и, как положено ему солдатской службой, разделит с ним участь, какой бы она ни была...

...Вскипел самовар, и Костю разбудили пить чай. Он вылез из-за подтопки, сомлевший от тепла, и несколько секунд молча и удивленно смотрел на комбата. Лозневой сидел у стола, отражаясь на медном боку самовара, бьющего стружкой пара, в рубахе-косоворотке табачного цвета, просторных черных шароварах и добротных сапогах из яловой кожи. Голова и подбородок у Лозневого уже покрывались пепельно-ржавой щетиной. На открытом суховатом лице теперь гораздо мягче, чем раньше, светились серые глаза. Но улыбался он, как и прежде, криво, едва заметно, одной левой щекой.

— Не узнаешь?

— Не узнать, — растерянно сознался Костя.

— Это наш хозяин вон принес разной одежды. — Лозневой кивнул на Ерофея Кузьмича, который сидел по другую сторону стола. — Ну, отец, еще раз большое тебе спасибо! Здорово ты нас выручаешь. Всю жизнь благодарить будем.

— Носите! Куда вам в своей?

Ерофей Кузьмич поднялся и, обращаясь к Косте, указал на сундук, где лежали залатанные на коленях шаровары, синяя вылинявшая рубаша и старенькие ботинки.

— А это вот тебе, парень, — сказал он. — Надевай и носи с господом. Не обессудь, лишних сапогов нету, только вот ботинки...

Костя сел на сундук, взял в руки ботинки.

— Вот их я к-как раз и возьму только, — ответил он, недружелюбно кося на хозяина левый глаз. — А все остальное з-забери обратно!

— Не хошь? — сразу обиделся Ерофей Кузьмич. — Ну, лучшего нету! Не обессудь. Сам знаешь, какие времена.

— Ничего м-мне не надо! У меня вот она, форма-то. П-постираю и буду носить. Мне ее снимать не положено.

В разговор вмешался Лозневой:

— Послушай, Костя, что тебе здесь — армия?

— Это все одно, — впервые упрямо ответил Костя своему командиру. Снять не могу. Она у меня к душе приросла.

— Да куда ты теперь в форме? Как жить будешь?

— Как судьба п-покажет.

Забрав шаровары и рубашу, Ерофей Кузьмич ушел на кухню, хлопнув дверью. Костя начал надевать ботинки. С минуту в горнице стояла тишина. Тоненько, жалобно попискивал самовар.

— А зря ты, Костя, — заговорил опять Лозневой, и на мгновение вновь холодным, железным блеском сверкнули его глаза. — У нас теперь одна задача — спастись, выжить. Для этого нам не нужна военная форма. Теперь на нее нет моды в здешних местах. Чтобы спастись, надо снять ее. И хозяину надо говорить только спасибо, а не обижать его. Характер у него колючий, но сейчас он делает нам добро.

— Какое это добро! — не оборачиваясь, опять возразил Костя. — Это не от д-доброты. Он нам дает одежду для того, чтобы мы п-поскорее ушли от него. Вот, дескать, одеваю — и кройте на все четыре! А форма... на нее мода теперь везде.

— Только не здесь. Хочешь жить — надо снять ее.

Не домотав обмотку на правой ноге, Костя разогнулся, взглянул на бывшего комбата. Нельзя было понять выражения опухшего лица Кости, но мягкие губы, всегда хранившие веселое юношеское тепло, недобро дрогнули, и Костя сказал, слегка повысив ломкий голос:

— Т-товариш, старший лейтенант!

— Знаешь, Костя, — перебил его Лозневой, — я хотел тебя сразу предупредить: ты забудь мое звание. Понял? Забудь! И зови меня теперь просто по фамилии.

— Лозневым? — спросил Костя удивленно.

— Нет, теперь я — Зарубин.

— Это что же... и свое имя... не хотите?

— Не хочу. Не надо.

О многом надо было поговорить им в этот вечер, но они пили чай молча, слушая, как за окном шумит злой октябрьский ветер и тяжело поскрипывают березы.

VII

Ночью тучи плотно обложили небосвод. Ветер утих, и на землю посыпался густой сеянец-дождь. К утру испортило все дороги, затопило низины. Ольховка оказалась отрезанной от всего мира. Наступили самые глухие дни осени.

В эти дни ольховцы редко выходили со своих дворов, и какими жили думами — непонятно было. В правлении колхоза теперь обитал только дурачок Яша Кудрявый, носивший забавное прозвище — «заместитель председателя». К нему заходили редко и случайно, — в доме совсем перестало пахнуть дымком самосада.

...Деревня выкормила и любила Яшу Кудрявого. У Яши были большие ласковые глаза и красивые темные кудри. Ростом он был невелик и немного кривобок, — казалось, он привык не грудью, а боком-боком пробираться в трудной земной жизни. Но это уродство замечалось только при внимательном взгляде: так сильно я хорошо освещали его лицо ласковые глаза и украшали темные кудри.

Яша Кудрявый всегда вставал рано и, бывало, аккуратно, как врач, навещал соседей. Зайдет в дом, посидит с хозяином, порасскажет новости и отправляется дальше. Во многие дома его зывали сами хозяева. Добрые хозяйки приглашали его к столу,

угощали горячей стряпней. Яша ел мало, опрятно и никогда не брал подаваний. Посещение многих домов обычно заканчивалось разговорами о женитьбе Яши Кудрявого.

— Ну, Яшенька, — говорила от печи хозяйка, — жениться-то когда станешь? Уж я и не дождусь никак!

Яша радостно потряхивал кудрями.

— Жениться?

— Аль невесту еще не нашел? Девочек-то вон сколь!

— Ему ученую надо, — хитро подмигивал хозяин.

— А учительша-то? Вона! — сразу подхватывала хозяйка. — Пуская берет! Девка-то — загляденье одно!

Яше было приятно вести разговоры о женитьбе. Он щурился молодо.

— Нина Тмитриевна?

— Ну, чем плоха?

— Она меня любит, — заявлял Яша. — Она сказала: я кутрявый, хороший, во! Сама сказала!

— А любит, так чего же тут канитель вести? Женись! Она — учительша, ты тоже — «заместитель председателя», не кто-нибудь!

Когда Яшу называли «заместителем председателя», он срывался с места, хватал свой потрепанный портфель, подаренный Степаном Бояркиным, говорил озабоченно:

— Пойту!

И Яша являлся в правление колхоза. Он охотно, быстро и точно выполнял несложные поручения Степана Бояркина: пошлет куда — бежит бегом; требуется подмога в рабочем деле — всегда под рукой. В доме только и слышалось все утро:

— Яша! Яшенька!

Когда заканчивались утренние дела, Яша садился за свободный стол и начинал перебирать содержимое своего портфеля. В это время Степан Бояркин иногда даже покрикивал на тех, кто шумел.

— Эй вы, головы! — притворно сердился он. — Прекратите шум! Не видите — человек работает!

В полдень, когда колхозники возвращались с работы на обед и отдых, открывалась деревенская лавка. Вслед за продавцом Серьгой Хахаем появлялся в ней Яша. Для него и здесь находилось дело. Продавец Серьга Хахай играючи подсчитывал на счетах, получал деньги и больше всего шутил с девушками, а Яша тем временем

наливал в бутылки керосин и нагребал в посудины соль. Входя в лавку, многие женщины обращались не к продавцу, а прямо к Яше:

— Яша, кило три соли бы, а?

— Яша, милый, мазь машинная есть?

— Есть, есть, — отвечал Яша. — Сколько нато?

Женщины благодарили его:

— Вот спасибо, Яшенька! Заходи, милый, молочком угощу.

— А у нас квас свежий. Заходи!

— Приту, приту, — обещал Яша.

В правлении колхоза и в лавке Яша работал бескорыстно. От всей его работы веяло искренностью и чистотой. Это трогало людей.

— Умница! — говорили о нем. — Золото!

Теперь, когда уехали руководители деревни, Яша Кудрявый, всерьез называвший себя заместителем Степана Бояркина, считал своим долгом постоянно находиться в опустевшем доме правления колхоза. Рано утром, свешивая кудри с печи, он спрашивал сторожиху Агеевну:

— Погота как, а?

— Дождь, — отвечала сторожиха.

— Опять работать нельзя! — возмущался Яша. — Вот бета, а?

День-деньской он рассматривал и перелистывал разные старые колхозные книги, оставленные в шкафчике счетоводом, рылся в ящиках столов, перебирал свои блокноты, сосредоточенно чертил и составлял что-то похожее на ведомости. Иногда заходил, гремя палкой, прихварывающий завхоз Осип Михайлович. Он садился на лавку, вытягивал правую ногу, клал рядом с ней палку, начинал дымить самосадом. Грустно посматривая на Яшу, склонившегося за столом Степана Бояркина, он горько кривил губы, качал головой, спрашивал:

— Как дела, товарищ заместитель?

— А, Осип Михайлович! — Яша отрывался от бумаг. — Итут! — отвечал он радостно. — Ничего, итут!

— С молотью-то как? Задержка?

— Вон погота!

— Эх, Яша, Яша! — вздыхал Осип Михайлович. — Вот она какая, жизнь-то, а?

Поговорив с Яшей, завхоз уходил, гремя палкой пуще прежнего. А Яша, устав возиться с бумагами, обедал со сторожихой,

а затем начинал лепить из вара фигурки коров и лошадей. Как-то он отыскал в кладовой небольшой бочонок, до половины наполненный варом. Теперь он держал его в комнате и от безделья и тоски часто занимался лепкой. На одном подоконнике паслось стадо коров, на другом — играл косяк сытых коней. Но Яша хотел, чтобы в его «колхозе» было все больше и больше скота. Выпуская на пастбище новую корову или коня, он смотрел на них сияющими глазами и радостно потряхивал красивыми кудрями.

VIII

Среди ночи произошло событие, которое всполошило всю деревню. Вдруг поднялись и тоскливо, нудно завывали собаки. Ольховцы бросились к окнам. За южной окраиной деревни плескалось, брызгая искрами в осенней тьме, большое пламя. Все догадались: горят скирды.

Шлепая по густой грязи, со всех дворов бросились ольховцы за деревню. И верно: горел крытый ток, устроенный на отшибе, и сложенные вокруг него скирды ярового хлеба. К току нельзя было подойти близко; всю крышу обвивал огонь, скирды со всех сторон дышали жаром, и ветер крутил вокруг них густой белесый дым. Всем было ясно, что хлеб подожжен и что поджог — дело рук своих людей. Ольховцы долго толпились вокруг пожарища и горевали:

— Пропал хлебушко!

— Ему так и так пропадать!

— Там что было бы!

— Свои зажгли! Кому больше?

Побывал на пожарище и Яша Кудрявый. Но одет он был плохо, в худом пиджачишке, и сторожиха Агеевна, по совету сельчан, быстро увела его домой. Дома, отогреваясь у печи, они погоревали о хлебе.

— Ай, бета! — сказал Яша, потрянув кудрями.

— Сеяли, собирали, — всхлипнула Агеевна.

С чужих слов Яша объяснил ей:

— Свои зажгли. Кому боле?

И только они собрались было досыпать ночь, случилось совершенно неожиданное: в углу, где, бывало, сидел счетовод, раздался резкий звонок телефона. О телефоне уже забыли, он бездействовал несколько дней, и вот такая притча.

— Батюшки! — заметалась Агеевна. — Он чего это? Чего он звонит? В полночь-то?

— Из района! — догадался Яша и бросился к телефону.

Раньше, бывая в правлении колхоза, он всегда с нетерпением ожидал телефонного звонка, особенно, когда не сидел за столом счетовод. Когда раздавался звонок, Яша кидался к телефону, осторожно прикладывая к уху трубку и, дохнув в нее, отвечал с важностью:

— Та, та, Ольховка! Та, слушаю! Кого? Сейчас!

— Это ты, Яша? — спрашивали из Болотного.

— Я, я! — весь сияя, отзывался Яша.

— Ну, как живешь-можешь?

— Живу хорошо, товарищ претсетатель.

— Как дела у вас в Ольховке?

— Тела итут!

— Ну, ладно, Яшенька, бывай здоров, — говорил в заключение районный начальник. — Бояркин-то здесь?

— Зтесь, вот он!

— Дай-ка ему трубку!

Яша знал, что ночами всегда звонят из Болотного по особо важным делам. Волнуясь, он дал ответный звонок, приложил к уху трубку и сразу услышал твердый, сильно дребезжащий голос. Вначале Яша никак не мог разобрать ни одного слова и, перебивая долетавший издали голос, закричал, как всегда:

— Та, та, Ольховка! Та, слушаю!

— Ольхоффка, да? — раздалось наконец внятно.

— Та, та!

— Горит ваш дерефна, да?

— Зачем теревня? Скирты горят!

— Кто? Что такой есть кирты?

— Скирты, скирты!

Несколько секунд трубка молчала. Там, в Болотном, около телефона чуть внятно разговаривали два человека. Потом мембрана задрезжала с излишней силой:

— Клеб, да?

— Та, та, хлеб!

— Кто поджигал?

— Свои зажгли! — ответил Яша. — Кому боле?

— Кто свои? Ваш дерефна?

— Где узнать! А только все говорят — свои!

Трубка вновь затихла на несколько секунд. Волнуясь, Яша дунул в ее рожок, и опять, с прежней силой, раздался сухой дребезг мембраны:

— Ты кто есть?

Яша заулыбался во все лицо.

— Я? Заместитель претсетателя. Ага, заместитель. Претсетателя нету, а я зтесь...

Сторожиха Агеевна слушала разговор сначала от печи, затем подошла ближе к Яше, — каждая морщинка на ее старческом лице выражала крайнее напряжение и беспокойство. И вдруг она, шагнув к Яше, выхватила у него трубку, а самого молча оттолкнула прочь. Торопливо откинув с уха прядки волос, она приложила к нему трубку и закричала во весь голос, словно соседке через двор:

— Какой он заместитель! Какой заместитель! Господи, да он умом слаб, чего слушать его?

Передохнув, крикнула потише:

— А кто говорит? Чего надо, а?

И тут же, откинувшись спиной к стене, она бессильно опустила трубку и прошептала:

— Владычица пресвятая, они!

...Бросив трубку на рычаг, обер-лейтенант Гобельман, только что назначенный комендантом в районный центр Болотное, поднялся из-за стола, покрытого большой цветистой картой. Это был невысокий человек, одетый в новенький мундир, с жестким лицом, на котором держалось выражение озабоченности. Тряхнув темным клоком волос, спадавшим на широкий лоб, Гобельман легонько, сдерживая силу, пристукнул кулаком по карте:

— Шорт! Што будешь сказать?

Влево от стола — поодаль — стоял пожилой человек в помятом дешевеньком костюме, потасканного, захудалого вида, с яркой розовой плешинной. В руках у него подрагивал карандаш и старенький, пообтертый блокнот.

— Жгут! — поспешно ответил он, быстренько подернув угловатыми плечами. — Такое указание из Москвы. Что при отступлении не успели теперь жгут повсеместно. Всех нас обрекают на голод!

— Сколько километров Ольхоффк?

— О, это такая глушь, господин обер-лейгенант! — вздохнул

плешивый с блокнотом. — Около двадцати. Она на горе стоит, вот и видно хорошо пожар... А проехать туда сейчас, по всей вероятности, невозможно: мосты разрушены... Красной Армией, конечно. Грязь, топь! Это самая глушь. И народ там — темень.

— Хорошо, — сказал комендант, — можете идти.

Когда плешивый, осторожно ступая, скрылся за дверью, Гобельман сел в кресло, заговорил по-немецки:

— Противный тип, господин доктор, а?

По правую руку от Гобельмана, у стола, тоже в простеньком кресле, сплетенном из ивняка, сидел сухопарый человек в форме военного врача, с маленькой змеиной головкой на длинной шее. На его сухом носу, взбугрив кожу резинками позолоченного зажима, высоко держались прямоугольные стекла пенсне, тоненькая цепочка от правого стекла была протянута за ухо. Это был доктор Реде.

— О да! — ответил Реде, не меняя своей позы. — Я наблюдал... Это типичный представитель нации, самой судьбой обреченной на вырождение. Да, это раб, и создан для этого. — Ленивым жестом он вытащил из кармана ручку. — На каждом шагу мне приходится делать заметки для своей книги.

— У вас уже много материалов, доктор?

— О да! — сказал Реде и облизнул узенькие сухие губы. — Но нужны еще. С этой целью я и остановился здесь, герр обер-лейтенант. Ведь здешние места, как вам, вероятно, известно, заселены русскими племенами очень давно. Здесь настоящая Русь, как ее называли раньше. Вы обратили внимание, как здесь дико и тихо вокруг, а?

— Однако здесь тоже пожары, — осторожно возразил Гобельман. — Вот в этой Ольховке, глухой деревне... Вы знаете, что там? Там еще советская власть!

Реде вскинул голову.

— О!

— Да, да! Я сейчас разговаривал с этим... с заместителем председателя колхоза. Видите, что получается? Очень трудно, доктор, осваивать эти просторы! А вы ведь знаете, какие задачи возложены на нас в этой войне.

— Не сразу, не сразу, дорогой, освоите, — обнадежил Реде. — Кто у вас поедет в эту деревню, где пожар?

Гобельман подумал, потирая пальцами гладко выбритый подбородок.

— А все тот же лейтенант Квейс, — ответил он. — Больше пока никому. Кстати, вы не желаете, доктор, побывать с ним в этой русской глуши? Он выедет скоро. Надеюсь, там вы найдете совершенно исключительные материалы для своей книги.

— Да, я подумаю, — ответил Реде после паузы. — Вероятно, я поеду, но ненадолго. Ведь я тороплюсь в Москву, вы знаете. Я хочу своими глазами видеть парад нашей армии. Это должно быть исключительное историческое зрелище!

— Я вам завидую, — вздохнув, сказал Гобельман. — Говорят, что парад назначен на седьмое ноября?

— Да. Понимаете, как это символично?

Через минуту перед столом коменданта стоял лейтенант Квейс. Это был высокий, располневший человек, с широким, бабьим задом, распиравшим брюки и фалды мундира, обутый в желтые сапоги на подковах. На его голове, посаженной низко, на самые плечи, сильно облысевшей с висков, топорщился петушиный гребень волос. Трудно было понять, что выражало его расплывчатое лицо, почти безбровое, с едва заметными серенькими глазками.

— Квейс, — сказал Гобельман, — завтра вы получите полный инструктаж. Закончив дела в тех деревнях, которые вам указаны, вы доедете еще до Ольховки. Если невозможно проехать туда на машине, поедете на лошадях. Ольховка будет некоторое время, до особых указаний, вашей резиденцией.

Квейс вскинул к виску два пальца.

— Слушаюсь, герр обер-лейтенант!

— Эта деревня вот, смотрите... — И Гобельман склонился над картой.

IX

Когда ольховцы начали возвращаться с пожара, сторожиха Агеевна, выбежав на крыльцо, зазвала к себе нескольких женщин и рассказала им про необычный разговор с немцами. Эта весть, несмотря на ночное время, быстро облетела деревню. Тревожно перекликаясь во тьме, мешая грязь и разбрызгивая лужи, люди бросились в дом правления колхоза.

Все колхозницы, приходившие сюда, настойчиво приставали с расспросами к Яше Кудрявому. Он сидел за столом Степана Бояркина и, веря в то, что выполняет свой служебный долг, от

удовольствия часто щурил на огонь лампы свои ласковые глаза. По слабости ума и памяти Яша не мог поведать толком о своем разговоре с немцами. Зная этот его недостаток, перепуганные женщины сами задавали ему вопросы, а Яша только отвечал, причем, от доброты своей душевной, стараясь угодить, почти на все вопросы отвечал утвердительно.

— Яшенька, милый, что ж он, ругался?

— Ругался, — с улыбкой отвечал Яша.

— Кто, говорит, поджег, да?

— Ага, так говорит...

— Яшенька, грозил, да?

— У-у, грози-ил!

— Сказал, что приедут скоро? Так сказал?

— Та, та, так...

— Чего ж он... побью, говорит? Да?

— Ага, побью...

— Господи, пропали, бабы!

Сторожиха Агеевна, вначале наболтавшая лишнего, сама начала верить, что разговор происходил именно так, и охотно подтверждала:

— Так, бабоньки! Все истинно!

За несколько минут разговора с Яшей Кудрявым женщины перепугали себя до крайности и подняли гвалт:

— Теперь, бабы, налетят они!

— Побьют всех за этот хлеб!

— И что делать? Что делать?

В это время в доме появился Ерофей Кузьмич. Лицо его было озабоченное, взгляд пасмурный.

— Тут нечего ахать! — сказал он, присев на табурет у печи. — Чему быть, того не миновать. Не завтра, так послезавтра, а они припожалуют. И за скирды попадет, и начисто ограбят! Что же нам — этого ждать? Вон они, семена, лежат в амбаре. Подъедут — и выгружай. И лошади, инвентарь опять же на дворе...

Из бабьей толпы раздались голоса:

— Как же быть, Кузьмич?

— Как? Поделить бы все надо...

В доме стало тихо-тихо.

— Ну, а что поделаешь? — сказал Ерофей Кузьмич, хотя никто не возразил на предложение о разделе. — У них вся сила

теперь. Поделить — и квиты! Приедут, а у нас — хоть шаром покати! Так я толкую?

Опустив головы, женщины долго не отвечали.

— Что же молчите?

— А как же весной сеять будем? — спросила за всех Ульяна Шутяева. Неужто поврозь?

— Все может быть...

— Неужто не вернутся наши?

Не дожидаясь ответа Ерофея Кузьмича, тихонькая молодая солдатка Паня Горюнова звучно всхлипнула в тишине, а вслед за нею, прижимаясь друг к другу, заплакали и другие колхозницы.

— Тьфу, мокрое племя! — Ерофей Кузьмич поднялся. — Эка, развезло их! Ну, войте тут, раз охота, а завтра с утра надо решать дело. — И хлопнул дверью.

...Всю ночь ольховцы судили-рядили, как быть, вздыхая и охая, передумали о многом — о всех последних годах своей жизни.

Вспомнили они о тех днях, когда создавался колхоз, и как тяжело было им отступать от своих вековых укладов, и как страшно вступать в неведомое. Вспомнили, как в первые годы трудно было жить в колхозе, трудно и непривычно — и то не ладилось, и другое, и третье, и как мучились они, видя, что не ладится дело, часто вздыхали, вспоминая единоличную жизнь: легче, мол, при ней, вольготней! Но когда это все было? Все это было давным-давно!...

В последние годы дела в колхозе пошли на лад, колхозники научились работать сообща, не стесняя друг друга, вкладывая в дело все свое мастерство. Все стали получать такие доходы, при которых жилось безбедно. Правда, человек всегда хочет жить лучше, чем живет. Мечтали и ольховцы о лучшей жизни. Но теперь, мечтая, они знали, что она возможна в колхозе. Вот так дерево: пустило корни, укрепилось в земле — значит, год от года все шире и шире будет раскидывать ветви...

И вот все рушилось по чужой и злой воле. Об этом страшно было думать. Все, что было создано, к чему привыкли за десять лет, было уже дорого; все колхозное крепко приросло к сердцу, начини отрывать — кровь...

Х

Утро выдалось холодное и ветренное. Весь небосвод был

покрыт зловещей хмарью. В чердачных окнах, нахохлясь, сидели голуби. Они с удивлением осматривали, как изменилась за дни непогоды деревня: березы качали голыми ветвями устало и безнадежно, а высь была такая неуютная, что не хотелось и поднимать крыло.

Ольховцы начали собираться на колхозный двор на южной окраине деревни. Здесь была просторная конюшня на фундаменте из дикого серого камня, около нее — сеновал, каретник и шорная, в стороне — светлый коровник под тесовой крышей, овчарник из сборного леса, но тоже ладный на вид; в другой стороне — кузница и машинный сарай, поодаль — хлебные амбары. У входа на двор стояла низкая старая изба, в которой, бывало, бригадиры распределяли утрами людей на работы, а вечерами собирались погреться и поболтать те, кто работал здесь постоянно.

Раньше двор был шумным: так и кипела здесь работа. Теперь он опустел. Лошадей осталось мало. Весь колхозный скот был угнан на восток.

Народ собирался в сторожке. Негромко велись разговоры о погоде, о войне.

Ерофей Кузьмич нарочно запоздал: не хотел, чтобы, при случае, могли укорить, что он больше всех хлопотал о разделе. Выйдя из переулка ко двору, он увидел Ефима Чернявкина. В начале войны Чернявкин был призван в армию, а когда его часть отступала, бежал из нее и явился домой. До этого дня он жил тайно, хотя уже многие знали, что он дома.

Подождав Ефима, Ерофей Кузьмич крикнул:

— Ну, вылез?

Чернявкин поклонился, легонько сдвигая на затылок шапку. Он был в старом рабочем пиджаке и сильно разбитых сапогах. Лицо его обросло черной бородкой.

— Пора, Кузьмич, — ответил он дружелюбно. — Пожалуй, просидишь, а тут расхватают все.

— Жить думаешь?

— Да есть надежда.

— А что зарос так?

— Теперь соскоблю...

К ним подошли женщины.

— Эх, война! — громко, со вздохом сказал Ерофей Кузьмич. — Побежали кто куда — на свои огоньки, к бабам! Как тут не пойдет

немец? Вояки! Мой вон и тут проходил, — всем известно, — а небось не остался дома! Пошел! Он гордо вскинул голову. — Пошел воевать, раз нужно, да и погиб вот, сказывают люди...

Его лицо перекошилось от боли.

— Воевали бы все так! Где там!

— Какая тут война? — проворчал Чернявкин. — Как ударили, так и покатались вроссыпь! Что ж, по-твоему, дубинками махать перед танками?

Женщины, стоявшие рядом, брезгливо смотрели на Ефима Чернявкина.

— А ты уж скорее в кусты? — крикнула ему Лукерья Бояркина.

— Доблестный защитник! — с презрением воскликнула Ульяна Шутяева. — А на моего, по-твоему, не шли танки? Почему он не прибежал?

— Поглядим, еще прибежит, — буркнул в ответ Чернявкин, обводя женщин соловыми глазами: отправляясь на народ, он выпил для храбрости.

— Нет, не прибежит! — пуще того закричала Ульяна. — Он не такой! А если бы и прибежал — я не такая, как твоя краля: на порог не пущу! Чтобы с таким, как ты, прости господи, да я спать легла?

— Чего кудахчешь? — огрызнулся Чернявкин.

— У-у, червяк поганый! — крикнула Макариха. — Еще голос подает! — Она сплюнула. — Ей-бо, бабы, и смотреть-то на него стыдно! Пошли!

Ерофей Кузьмич протиснулся в сторожку и незаметно присел на лавку у самой двери.

В сторожке становилось все тише и тише: все уже было переговорено о погоде и о войне. Из-за печи вдруг раздался сильный женский голос:

— Кого же еще ждем? Начинать бы!

— Да все, кажись, тут!

— Ерофей-то Кузьмич где? Пришел?

— Вот тут он, у двери.

— Что ж ты, Ерофей Кузьмич? — сказал Чернявкин. — Кого еще ждать? Давай начинай разговор.

Ерофей Кузьмич поднялся у двери.

— Чудной вы народ! — Он тряхнул пышной бородой. — Да я

тут кто такой, чтобы начинать? Я тут никто, сами знаете. Можно сказать, рядовой.

Народ зашумел:

— Тут все рядовые!

— Кому-то надо же!

— Вот и будем кивать друг на друга.

— Начинай, чего ты!

Скрипнула и открылась входная дверь. На пороге показался Яша Кудрявый. Он держал под мышкой портфель. Его ласковые глаза сияли от удовольствия.

— Что ж мне начинать? — сказал Ерофей Кузьмич. — Сам вот «заместитель председателя» прибыл!

— Собрание? — радостно спросил Яша.

— В полном сборе, — с лукавой почтительностью ответил Ерофей Кузьмич. — Только вас, Яков Митрич, и поджидали. Доклад будете делать?

Чернявкин захохотал.

— Постыдились бы... над убогим-то, — строго сказала Макариха.

Народ притих. Раздался кашель деда Силантия. Расправив плечи над толпой, чуть не касаясь своей шапчонкой потолочины, он обернулся к двери, ища слабыми глазами Ерофея Кузьмича.

— Начинай, Ерофей, чего ты? Раз уж такое дело...

— Ох, и не знаю как! — Ерофей Кузьмич, крикнув, направился вперед, и люди начали расступаться перед ним. — Не знаю, не знаю! — твердил он, проходя, а когда встал у стола, снял шапку, помял ее у груди. — На груди муторно, вот как! Трудились, сколачивали, наживали, а теперь — вон что: все в распыл! Это как?

Многие опустили головы.

Кто-то промолвил тихо:

— Не тяни душу, Ерофей...

— Ну что ж! — вздохнул Ерофей Кузьмич. — Раз такая стихия напала, надо перекраивать жизнь. Значит, будем толковать о делах?

Но тут кто-то напомнил о завхозе:

— А Осип-то Михайлыч, бабы, где?

— Его и не было!

— Вот тебе раз! Как же забыли?

— Яша, милый, сбегай за Осипом Михайлычем!

— Яшенька, где ты?

Но и Яши, ко всеобщему удивлению, не оказалось в сторожке. Когда он скрылся, никто не заметил в толкучке. Несколько человек побежали разыскивать Осипа Михайловича. Вскоре кто-то сообщил от двери:

— В конюшне он!

— Чего он там? — спросил Ерофей Кузьмич.

— Сидит и плачет!

Не сговариваясь, ольховцы повалили на двор. Из конюшни, тяжело опираясь на палку, вышел Осип Михайлович, следом за ним — бледный, перепуганный Яша Кудрявый. Держа под рукой портфель, он остановился у ворот конюшни, а Осип Михайлович вышел вперед и взглянул на Ерофея Кузьмича, не стыдясь своих слез.

— Ну что? — спросил он хрипло. — К одиночной жизни потянуло? Не выдержала твоя кишка?

Ерофей Кузьмич выступил навстречу завхозу.

— Не в том разговор...

— А в чем? — Сквозь слезы Осип Михайлович смотрел непримиримо, дерзко.

— Аль не знаешь? Немцы-то вон что делают! Средь белого дня! Весь хлеб — под метлу, а на дворы — огонь! Этого ждать?

— Они заберут, они и будут в ответе! — захрипел завхоз. — А нам зачем растаскивать все? Да как у вас руки потянутся к этому добру? — Завхоз показал на конюшни, каретник и машинный сарай. — Где тут твое личное, Ерофей Кузьмич? Чего ты тут наживал, а? Вспомни-ка? Где твое, Чернявкин? Где твое... как тебя?... Где твое, Фетинья? Тут все общее! Обще-е! — Он разделил это слово, вытягивая шею и округляя глаза. — Как его рвать на куски? Разорвите лучше мне душу. Вот, рвите! — Он шагнул к толпе. — Рвите, а пока я жив, к имуществу не пушу и ключи от амбаров не дам!

Ольховцы не трогались с места и молчали. Ерофея Кузьмича так и кольнуло в сердце: нехорошее молчание.

— А-а, вон что! — вдруг побагровел Ерофей Кузьмич и, сделав крупный шаг к завхозу, крикнул сквозь зубы: — Для кого бережешь добро? Для немцев? Как приедут, — вот оно, бери! Так?

У Осипа Михайловича сильно дрогнула хромая нога. Он слегка качнулся и едва не выронил костыль. Бледный, растерянный, он гневно посмотрел из-под лохматых бровей в острые глаза Ерофея

Кузьмича и прохрипел, кривя губы:

— Вот ты какой, а? Нутро заговорило?

— Ты меня не трожь! — зашумел Ерофей Кузьмич.

Вытащив из кармана ключи. Осип Михайлович с остервенением бросил их под ноги Ерофея Кузьмича и, выкидывая вперед костыль, судорожно захромал к конюшне.

Подняв ключи подрагивающей рукой, Ерофей Кузьмич обернулся к толпе:

— Ну как, начнем дележ?

— Начинай, не тяни! — поторопил Чернявкин.

Из толпы мужским шагом выступила все время молча наблюдавшая за сватом Макариха. Энергичное лицо ее было спокойно и строго, а темные, все еще молодые глаза светились ровно и сильно. Ерофей Кузьмич знал, что сватья последнее время верховодит среди баб, и сердце его дрогнуло.

— Зря ты, сват, обидел Михайлыча! — сказала Макариха негромко, но твердо. — Никто не поверит, что он для немцев бережет наше добро. Что ни возьми на дворе — во всем есть его кровь. Как он отдаст? А ну, дай сюда ключи!

Ерофей Кузьмич растерянно подал ключи.

— Михайлыч! — крикнула Макариха завхозу. — А ну, вернись сюда! Возьми ключи!

Вонзая костыль в грязь, завхоз покорно пошел обратно, а Макариха, звякнув связкой ключей, резко заговорила:

— А дележа, сват, не будет! Ты забудь это слово! — Глаза ее засверкали совсем молодо. — Забудь! У нас у всех руки отсохнут, если начнем делить. Что на общем поту выросло, того не разорвешь на куски! Так говорю, бабы?

Ей ответили дружно:

— Так, Макаровна, так!

— Не желаем, и все!

— Чего вздумал, а? Дележ! Ишь ты!

Подошел Осип Михайлович.

— Держи ключи, — шагнула к нему Макариха.

Ерофей Кузьмич вскинул бороду на ветер.

— Выходит, сватья, погибать добру?

— Зачем погибать?

— А ты думаешь — уцелеет?

— Тут не уцелеет, — согласилась Макариха. — Останется на

дворе, — все пропало! Особо семена.

— Вот я и толкую!

— Толкуешь, да не то! — твердо возразила Макариха. — На дворе ничего оставлять нельзя. Надо сегодня же разобрать по домам на хранение. Вот как надо! Сохраним, спрячем, кто что может, а придут наши, опять снесем сюда. Только на хранение! И под расписки! Так говорю, бабы?

Толпа заколыхалась, и над двором пронеслись одобрительные голоса, а дед Силантий, расправив плечи над толпой, прогудел:

— Вот это резон!

— Какие вам расписки? — ощерился Чернявкин. — Кому их давать, Осипу? Разобрать — и все тут!

— Ты, дезертир поганый, не ори! — надвинулась на него Макариха. — Ишь ты, чирий, выскочил? Добро прибежал зорить? А много ли ты нажил тут?

— Что нажил, заберу! Дай мою долю — и вся недолга!

— Дулю вот тебе, а не долю!

— Ты мне что ее показываешь? — пьяно заорал Чернявкин.

— погоди, Ефим, — схватил его за рукав Ерофей Кузьмич. — Выпил, может, на копейку, а задору — на целый рубль. Чего ты шумишь?

Загородив плечом Чернявкина, Ерофей Кузьмич повернулся к женщинам. Он понял, что с дележом ничего не выйдет, и уже каялся, что погорячился. Раз ничего не вышло, надо было запутать свои следы.

— Я к чему, бабы, толковал о разделе? — заговорил он мирно, хотя едва сдерживал злобу против Макарихи. — А к тому, что на дворе все пойдет прахом. А раз на хранение, то оно даже лучше. Разберем, а там видно будет. Как возвратятся наши, долго ли стащить обратно? А я вот, видишь, не дошел до этого своей мозгой. — И польстил сватье: — Ума у тебя, сватья, палата! Давай, время не ждет, действуй сама. Пошумели — и за дело! Пошли, бабы!

И все, вслед за Ерофеем Кузьмичом, облегченно шумя, повалили обратно к сторожке. Осип Михайлович, хромая позади всех, звякал ключами и, думая о Макарихе, про себя шептал:

— Велика у нее сила! Ой, велика!

По-разному меняются деревья осенью. У иных листва налита крепкой зеленью. Слабеет солнце, бушуют ветры, прихватывают землю заморозки, а листва на них живет и держится стойко, не меняя могучего летнего цвета. С другими деревьями бывает иначе. Только осень обрушит ненастье, они вдруг и заметить не успеешь — пожелтеют, облетят.

Так случилось и с Марийкой.

Услышав о гибели Андрея, она быстро изменилась и внешне и внутренне. До самого последнего времени она всё казалась девушкой. Она хлопотала по дому шумно, работала всегда ловко, весело, с озорством. Теперь всего этого как не бывало. Она стала женщиной, еще очень молодой, но, как все женщины, — особенно в горе — тихой и сдержанной. Двигалась она неторопливо, говорила негромко. На побледневшем лице ее особенно выделялись припухлые теплые губы да черные глаза.

Она уже крепко сжилась с домом Андрея. Все здесь стало для нее своим и дорогим: и дом с голубыми ставнями, и обширный двор, над которым порхали голуби, и сверкающие белизной березы, и бледные астры в палисаднике...

Но теперь ко всему этому у Марийки быстро росло отчуждение, и не потому, что без Андрея она становилась как бы лишней в лопуховской семье. Все началось с поездки на поле боя с Ерофеем Кузьмичом. С той поры она не могла разговаривать со свекром и с каждым днем чувствовала себя все более и более чужой в его доме. Поэтому Марийку тянуло теперь к тем, кто были в нем тоже чужими, — к Лозневому и Косте. Она частенько засиживалась с ними в горнице, разговаривая, как многие люди в горе, о каких-нибудь мелочах жизни.

Но Лозневой по-своему расценивал это. «А жизнь идет, — думал он. Погорюет еще немного, и молодость возьмет свое...» Мысль эта обжигала его. Он с каждым днем становился разговорчивее с Марийкой и настойчиво искал случая побыть с ней наедине.

ХII

В полдень Ерофей Кузьмич привез несколько мешков семенного зерна. На дворе его встретила Алевтина Васильевна. Кутаясь в шаль, поджимая под грудью полы старого, заношенного

сака, она тихонько доплелась до телеги, спросила:

— Много ли, Кузьмич?

— Видишь, все тут, — грубовато ответил Ерофей Кузьмич, привязывая к столбу коня. — И то через силу вырвал. Эта сватья, черта ей в печенку, полную волю берет над бабами, а те за ней, как дуры. Тьфу, чертово семя! Так и не дала делить. А бабы эти... Бывало, кричат, что уши затыкай! А теперь словно белены объелись: вцепились в этот колхоз, как клещи, и не оторвешь! Вот она какая, ваша порода!

Алевтина Васильевна тихонько вздохнула.

— Ну, ладно! — Ерофей Кузьмич подошел к телеге, ощупал мешки. Теперь с семенами. Душа хоть на место встала. Надо только запрятать получше. Того и гляди, нагрянуть могут. Манька-то где?

— Дома, где ж ей быть?

— Опять небось там... с ними?

— С ними...

— Не выходит из горницы! — с ехидством воскликнул Ерофей Кузьмич. — И чего она, скажи на милость, прилипает к этим-то... лоботрясам, а?

— Опять зашумел! — Алевтина Васильевна слабо махнула на мужа рукой. И так, бедняга, совсем зачахла. На себя не похожа. Все разгонит тоску немного.

— Тут не тоску разгонять, а дело надо делать! Совсем отбилась от работы, а ты ей потакаешь!

— Чего ж ей делать-то особого?

— Ха, и тебе толкуй! Яму вот рыть надо!

Услышав, что Ерофей Кузьмич появился в доме, Марийка встала от стола, отошла к окну. Свекор распахнул двери горницы и, не переступая порога, сказал:

— Вышла бы, помогла! Или не видишь, что приехал? Тут работы — дыхнуть некогда. Яму вон надо рыть для семян, а мне еще на двор ехать. С ног сбился!

Не сказав свекру ни слова, Марийка взяла полушалок и вышла из горницы. В ту же минуту из-за стола поднялся и Лозневой. С хозяином он был особенно почтителен и во всем старался ему угодить.

— Послушай, Ерофей Кузьмич, — сказал он, приближаясь к дверям горницы. — Тебе в чем помочь-то надо? Яму вырыть?

— Яму, — буркнул хозяин.

— Еще что?

— Ну, досок там нарезать для нее...

— Сделаем, Ерофей Кузьмич, — пообещал Лозневой. — Собирайся, Костя! Теперь я чувствую себя хорошо, пора и размяться немного на воздухе. Ты только покажи, Ерофей Кузьмич, где рыть да какие доски брать.

— Значит, полегчало?

— Теперь хорошо.

— Ну, дай бог!

— Я готов, — сообщил Костя. — Нам это п-привычно, рыть-то землю. Порыли ее нынче! Да и отвыкать не стоит, может, еще придется...

Они вышли на двор и быстро снесли в амбар мешки с зерном. Потом Ерофей Кузьмич показал под сараем место, где копать, и горбыли, которые нужно было нарезать для обшивки ямы. И вновь, захватив с собой Васятку, отправился на колхозный двор получать на хранение инвентарь.

— Ну, хозяин! — и Костя покачал головой. — Все, что п-попадет, все хватает — и под себя! Такому дай волю — он в один момент распухнет, как п-паук!

— Брось ты трясти хозяина! — раздраженно сказал Лозневой.

— Я его не трясу, а надо бы.

— Оставь, надоело!

Помолчав, Костя обратился к Марийке:

— Иди-ка ты домой. Лопата одна, да тут одному только и рыть — места мало.

— Тогда вот что: ты копай, а мы пойдем с ней доски резать, распорядился Лозневой. — Где пила?

С утра подул ветер и разогнал хмарь, висевшую пологом над грязной неприглядной землей. Показалось неяркое солнце. Вновь, после нескольких дней непогоды, начали открываться дали — вершины холмов, гребни еловых урочищ, круговины чернолесья в полях, в пятнах тусклой позолоты. Край точно поднимался из небытия, измученный непогодью, с едва заметными отблесками былой красоты, без всяких примет обновления, — поднимался, чтобы немного погреться на солнце.

Лозневой очень обрадовался, что впервые мог подольше побыть наедине с Марийкой. Он натаскал горбылей в угол двора, где стояли козлы, и с большой охотой взялся за дело. Но пилил он плохо:

водил пилу рывками, косо. Работая, дышал порывисто, раздувая тонкие ноздри, и суховатое лицо его, обраставшее узенькой татарской бородкой, быстро потело.

— Отдохните! — вскоре предложила ему Марийка.

Опираясь о козлы, Лозневой посмотрел Марийке в лицо.

— Знаешь, Марийка, — вдруг заговорил он многозначительно, — в коране есть прекрасное изречение: «Все, что должно случиться с тобой, записано в Книге Жизни, и ветер вечности наугад перелистывает ее страницы». И вот ветер перелистывает страницы моей жизни... Быстро листает! — Он опустил голову. — Помнишь, ты пожелала мне счастливого пути и всяких удач?

— Пожелала, а их вам и нет, — ответила Марийка.

— Как сказать! — возразил Лозневой. — Ведь не погиб же я, а мог и погибнуть! Притом, что иногда кажется неудачей, то через некоторое время может оказаться большой удачей. — И продолжал свою мысль: — Когда мы разговаривали вон там, у речки... Помнишь? Я думаю, что это тоже было записано на какой-то странице моей Книги Жизни. Перелистнул ветер несколько страниц — и я оказался в Ольховке, и ты меня спасла...

Звякнув пилой, Марийка прервала его:

— Давайте пилить!

Но Лозневой все же продолжал:

— Если бы знать, что там еще — в этой книге — дальше? — Он усмехнулся левой щекой. — Ты не знаешь, Марийка?

— Пилите! Я о себе-то ничего не знаю!

Марийка еще не понимала, к чему Лозневой ведет речь, но что-то насторожило ее. Не глядя на Лозневого, она начала дергать пилу резко, с нажимом, забрызгивая подол юбки опилками. Лозневой видел, как под ее приспущенными ресницами при каждом повороте головы сухой чернотой сверкали зрачки.

Пришибленная горем. Марийка плохо наблюдала за Лозневым и не догадывалась о его чувствах к ней. Теперь эта догадка вызвала в Марийке и неприязнь к Лозневому, и смутное беспокойство.

Пару горбылей распилили молча. Уложив на козлы третий горбыль, Лозневой подумал, что скоро может вернуться хозяин, и опять заговорил почти шепотом:

— Послушай, Марийка... Зачем ты спасла меня?

— Сгинь! — вдруг крикнула Марийка.

Отбросив пилу, она скрылась на огороде.

Очень долго Марийка стояла у рябины и все пыталась понять, отчего разговор с Лозневым вызвал в ней это беспокойство, и все пыталась поймать какие-то тревожные мысли, но они пролетали неуловимо, как паутины на солнце...

ХШ

Вечером Марийка пошла к матери. На этот раз Макариха, присмотревшись к ней, втайне ахнула: как она изменилась за последние дни! Она под села к дочери, прижалась щекой к ее плечу.

— Доченька, милая, что ж ты как тень?

— А знаешь, мама... — заговорила Марийка, поправляя на плечах полушалок, — теперь она почему-то часто куталась в него, хотя и не боялась холода. — Знаешь, и этот Лозневой сказал, что видел Андрюшу, как он умирал под елкой, и сама я видела, сколько их там легло... — Она грустно устремила взгляд в сумрак избы. — А почему сердце не говорит, что он неживой, а? Как посижу спокойно да послушаю его, — нет, не говорит! Он сказывал, будто совсем отходил Андрюша... А умер ли? Ведь Андрюша — вон какой, сама знаешь, мог и пересилить смерть и уползти куда...

Макариха встала.

— Погадать надо, доченька!

— Верно ли будет?

— Ох, доченька, да все в точности! Фая, достань бобы!

Фая кинулась к шкафчику.

— Вот погоди, Марийка, сама увидишь!

— Я уж, по правде сказать, затем и пришла, — созналась Марийка. Раньше-то не верила, а теперь все думаю: может, и правду говорят?

Тяжело было жить в те дни. У многих война угнала мужей, братьев, сыновей. Все знали — каждый день они ходят под смертью, никто не получал от них весточек. Вот почему той осенью многие потянулись к гадалкам, о которых совсем позабыли в последние годы.

В Ольховке еще с лета начала гадать угрюмая старуха Зубачиха. Она гадала необычайно мрачно и предсказывала обычно плохое. Все уходило от нее в слезах. Но в последнее время, совершенно неожиданно для всех, начала гадать на бобах Макариха.

У нее, наоборот, всегда выходило только хорошее. Бабы быстро перекинулись от Зубачихи к ней и еще охотнее стали сбиваться вокруг нее. Макариха предсказывала скорое окончание войны, возвращение родных в полном здравии, хороший перемены в жизни — то, о чем мечтали женщины, и поэтому они беспредельно верили ее ворожбе.

Макариха уселась за стол, высыпала на скатерть горсть разноцветных бобов. Оправив темные волосы, поджав губы, сделалась сразу строгой и сосредоточенной. Дочери тихо сидели по сторонам. В маленькой лампешке без стекла подрагивал огонек. В избе стоял сумрак. Слышны были порывы ветра, скрип ставни.

— Загадывай! — Макариха подвинула дочери один боб.

Марийка зажала его в ладонь, вздохнула.

— Оно уж давно загадано.

— Клади сюда.

В дверь застучали. В избу вошла Лукерья Бояркина. Еще с порога, увидев, что Макариха гадает, заговорила:

— Ой, ко время пришла! Уложила ребят — и айда к тебе! Скажи, Марковна, все сердце изныло нынче. Так вот и щемит и щемит, шагу не сделаю — все о Степане думаю. Вроде случиться что-то-должно.

— Я же тебе позавчера гадала, — сказала Макариха, перемешивая на столе бобы.

— Ну и что ж? Два дня прошло!

— Тогда садись, посиди малость.

Лукерья присела рядом с Марийкой, зашептала ей на ухо:

— Все говорит! Чистую правду!

— Тихо, гадаю! — сказала Макариха.

Она разделила бобы сначала на три кучки, а потом каждую из них — еще на три: в каждой оказалось по два, по три или по четыре боба. Макариха смотрела на бобы строго, чуть сдвигая брови, словно с трудом соображая, что предсказывали они. И не успела она вымолвить слово, ее верная помощница в ворожбе — черноглазая Фая, вскочив, закричала:

— Жив он, Марийка, жив!

Марийка обвела всех горящим взглядом.

— Жив?

— Да жив, жив! — не унималась Фая.

— Или не видишь? — строго сказала мать. — Вот, гляди: вот

он! — Она ткнула пальцем в одну кучку бобов. — Жив. И находится в дороге. Вот она, его дорога... — Она показала на другую кучку. — Ну, греха нечего таить не сладко ему. В беспокойстве он, а беспокойство — о доме. Вот, гляди!

— Что там! — чуть слышно сказала Марийка. — Только бы живой был!

Прикрыв рукою лицо от света, она слушала, как сверчок под печью тоже твердил: «Жив, жив». «Андрюша! — думала она. — Родной мой! Свет ты мой!»

— Марковна, начинай и мне, — попросила Лукерья. — Нет моего терпения. Только узнай: жив ли? Вернется ли?

С печи вдруг раздался мужской голос:

— Чего там гадать! Вернется скоро!

Марийка и Лукерья так и замерли за столом от страха, а Макариха, обернувшись к печи, крикнула:

— Не утерпел, кочерыжка мерзлая? Отогрелся и ожил? Ну, слезай, все свои тут... — И пояснила Лукерье и Марийке: — Это же Серьга Хахай! Или не слышите?

Держа в руках синий шелковый кисет, с печи спустился Серьга Хахай, в помятых брюках, измазанных кирпичной пылью, в грязной нижней рубаше. Макариха подала ему валенки. Надевая их, он сказал:

— Я бы, может, и не подал голос, да курить захотелось. Давно уж кисет нюхаю.

— Серьга! Сережка! — кое-как опаматовалась Лукерья. — Да откуда ты? Сереженька, мой-то где?

— погоди, дай закурить.

— Да ты скажи, скажи!

— Гадала ведь? — сверкнув бельмом, усмехнулся Серьга.

— Ну, гадала! Ну, что там?

— Что ж они тебе сказали, бобы-то?

— Сказали, что живой, а где — они же не говорят!

— Сознательные бобы, — заметил Серьга Хахай, подходя к столу. Понимают военную тайну. Вот и я тебе скажу: жив! И поклон тебе низкий послал. А где он — не скажу, хоть ты и жена его.

Он озорно подмигнул женщинам и, свесив над столом ковыльный чуб, ткнул конец сигарки в огонек лампешки.

Положив на стол доску, Лозневой крошил на ней сухие стебли табака-самосада. Костя просеивал его на решете. Табак у Ерофея Кузьмича был отменный — славился по всей деревне. Невидимая едкая пыльца щекотала ноздри.

— Вот зол! — Костя помял нос. — В хозяина уродился, ей-бо! — Теперь он заикался реже. — Может, отведаем свеженького?

— Давай отпробуем.

Закурили. Было раннее утро. Хозяева хлопотали на дворе. В доме стояла тишина.

— Ой, мамушка родная! — Костя закашлял, хватаясь за грудь. — Скажи, как с-скребницей рвет душеньку! Ей-бо, в хозяина!

— И что ты. Костя, все трясешь и трясешь хозяина? — спросил Лозневой. — Все они такие, мужики!

— Вот я мужик. Из самой глухой д-деревни. Я такой?

— Не такой, так будешь таким.

— Ну, нет, не из той я породы!

Лозневой неторопливо дымил сигаркой.

— Чем же не нравится тебе хозяин? Кормит, поит... Ну, чем?

— А всем, товарищ старший лейтенант!

— Отбрось ты эти чины! Сколько раз говорил тебе? — озлобленно сказал Лозневой.

— Забываю, — смутился Костя, — п-привык же!

У Кости все время крепко держались военные привычки. Он рано вставал, аккуратно прибирал свою постель, следил за обмундированием, туго подпоясывал ремень, чистил ботинки и часто брился, хотя на его ребячьем лице появлялся только реденький пушок. Он будто считал, что все еще состоит на военной службе и должен точно выполнять ее законы. Отеки на его лице опали, и правый глаз открылся, хотя вся глазница была залита желтизной. С каждым днем, казалось, он вырослел, и все реже и реже его лицо освещалось простенькой Юношеской улыбкой.

— Чем же он тебе не нравится? — повторил Лозневой.

— Всем! — неожиданно резковато ответил Костя. — Есть такая на полях трава — осот. Видали? Когда хорошо пашешь да боронишь, ее не видать. А только ты оставь п-поле без присмотра — и полезла! И откуда у нее сила берется! Лезет, разрастается, все душит!

— Хозяин такой?

— Точно! Как этот осот.

Лозневой поднялся, одернул рубаху, взялся за нож. Начал было вновь крошить табак, но остановился, бросил косой взгляд на Костю.

— А ты видел других мужиков в последние дни? В тех местах, где советской власти не стало? Вот если бы видел, не стал бы говорить так о хозяине. Все они такие, мужики, все!

Костя усмехнулся почти дерзко.

— А вы их видели в последние дни? Откуда вам известно, что они такие? — Костя начинал возражать бывшему комбату все смелее и смелее. Откуда?

— Знаю я их! — Лозневой взмахнул ножом и невесело улыбнулся левой щекой. — Видел! Жили они в колхозах, а все, как волки, в лес глядели. И вот, видишь, что получается? Как не стало советской власти, так они и полезли! Все они, дорогой, как твой осот. Как ни возделывай землю, не выкорчуешь его корней. Нет! — Он шагнул к Косте. — И заметь, дорогой, заметь! — Он помахал ножом у лица Кости. — Заметь: таких, как наш Ерофей Кузьмич, очень много! Вот что страшно! Они не только здесь, где немцы, пошли в рост, они и там теперь, в тылу, на Волге и в Сибири, поднимаются. Вот что страшно!

Помаргивая реденькими светлыми ресницами, Костя с трудом вдумывался в то, что говорил Лозневой. Несколько раз он порывался заговорить, хотя и сам не знал, что скажет, но Лозневой перебивал его.

— Ну, что ты скажешь? — махал он ножом. — Что скажешь?

Не успел Костя ответить, в кухне послышались шаги. Отворилась дверь горницы, и вошла Марийка.

— А-а, Марийка! — Лозневой обрадовался и смутился, не зная, как разговаривать с Марийкой после вчерашней ссоры. — У матери была?

— У нее.

От ветра или еще от чего, но лицо Марийки в это утро было оживленнее, чем во все последние дни. На ее щеках горел живой румянец.

— Проходи, — ласково позвал ее Лозневой.

Марийка села на лавку, Лозневой и Костя — по обе стороны от нее. Усмехаясь, Марийка оглядела их и спросила с тем озорством в голосе, какое красило ее девичество:

— Или соскучились?

— Ну, ясно! — обрадованно подхватил Лозневой и сразу заметил: — А ты сегодня, Марийка, веселее!

— Не все же мне горевать!

— Конечно! Так страдать — засохнуть можно.

— Это вы не трогайте, — сказала Марийка.

— А тебе ли засыхать? — продолжал свое Лозневой.

— Бросьте! — строже сказала Марийка.

С кухни донесся недовольный, ворчливый голос Ерофея Кузьмича. Все сразу притихли, прислушиваясь. В кухне скрипнула половица.

— Сюда, — шепнула Марийка.

Ерофей Кузьмич вошел в горницу, растирая натруженные и только что обмытые руки. Подойдя к зеркалу, не взглянув на Марийку, но обращаясь к ней, спросил:

— Гребень-то где?

— За зеркалом.

Ерофей Кузьмич долго, старательно расчесывал бороду, то откидывая ее в сторону, то круто задирая вверх. Марийка сразу догадалась: свекор хочет о чем-то говорить. Пряча гребень за зеркало, Ерофей Кузьмич, словно между прочим, промолвил:

— Да, старею, старею!

— Садись, Ерофей Кузьмич, — угодливо предложил Лозневой. — Закури. Хорош табачок у тебя.

— Мне некогда сидеть! — не глядя ни на кого, ответил Ерофей Кузьмич. — И лясы точить тоже некогда!

У Ерофея Кузьмича все росла и росла озлобленность против Марийки. В последние дни старика до удушья раздражало ее сближение с Лозневым и Костей. Он молчал, сдерживал себя: слишком мало времени прошло после известия о гибели Андрея, и — он понимал — нехорошо было ругаться со снохой. Но теперь он не мог больше сдерживать свой гнев.

— Мы всю жизнь хребет гнем! — ворчал он, бросая по сторонам злой взгляд. — Нам не до гулянок!

Марийка поднялась у стола:

— Что же делать-то?

— Мало ли работы в доме!

— Да какой?

— Тебе все укажи! Сама видеть должна! — Он понизил

голос. — Рано своевольничать стала. Рано.

Марийка порывисто двинулась в сторону свекра.

— Это я-то?

— На! На! — Ерофей Кузьмич тоже подался к снохе. — Выдирай глаза! Вот она, ваша логовская порода. Вам только...

— Хозяин, будет тебе... — просяще перебил его Лозневой.

— Что будет? Я здесь кто?

— Нельзя же, нехорошо...

Марийка отошла к окну и, поправив полушалок на плечах, глянула поверх цветов на улицу. Подмораживало. Небо прояснилось, начинало светиться ровной морозной синевой. Над деревней кружились голуби.

Ерофей Кузьмич присел у стола.

— Ну, а вы как? Значит, полегчало?

— Живем! — уклончиво ответил Лозневой.

— А вот как вы, товарищи военные, думаете: мне, скажем, жить тоже хочется? — Ерофей Кузьмич оперся ладонями о колени. — Так, правильно. А с меня вскорости голову снимут! Оно и жизнь теперь такая, что ломаного гроша не стоит, а вот привык к ней и не хочется еще в могилу. Старею, а неохота. Все хотелось дожить до хороших времен, да не придется, видно...

— А что случилось? — спросил Лозневой.

— Вон подмораживает, — Ерофей Кузьмич кивнул на окно, у которого стояла Марийка. — Теперь жди немца! Особо после этого пожара. А придет мне первому голову снимет. Первому! Все деревне известно, что вы у меня живете, а народ у нас такой... Я вам слова, сами знаете, не говорил: держал, кормил, всем снабжал, пока можно. Свои ведь люди: крови не родной, а души одной. Ну, а теперь и не знаю, что делать. По совести скажу: боюсь! Если бы вы тайно заявили ко мне, пошел бы на риск, стал бы прятать. А тут — явное дело! Я уже хожу по деревне да все поглядываю, на какой березе висеть буду. Вот подумайте, как быть.

— Мы уйдем, хозяин, — неожиданно и решительно заявил Костя. — Живи себе спокойно.

— Не гоню, а подумать надо, — сказал Ерофей Кузьмич. — Меня вздернут на березе — ладно! А вас-то, думаете, помилуют? Об вас же думаю. Вам теперь один расчет — жить тайно. Как хотите, а выдадут вас тут, в деревне. Найдутся такие. Вот, подумайте!

Хозяин поднялся и, не дожидаясь окончательного решения

неугодных ему квартирантов, вышел из горницы.

Марийка тут же оторвалась от окна. Она быстро подошла к Лозневому и Косте, встала перед ними совсем близко и, оглянувшись на дверь, сказала горячим шепотом:

— Уходите! Уходите в партизаны!

— В п-партизаны? — Костя схватил Марийку за руку. — А где они? Где?

— Я не знаю где, — зашептала Марийка, боясь, что вновь откроется дверь горницы. — Этого я не знаю. Но я вас сведу к одному человеку, а он туда, к ним... — Она махнула рукой на окно. — Он оттуда.

XV

Повсюду вокруг Ольховки были испорчены мельницы. Пришлось делать ручные, шорох их небольших жерновов с утра до вечера слышался почти в каждом доме. У Лопуховых мельница находилась в кладовке. Здесь всегда держались легкие сумерки. У одной стены стоял ларь для муки, у другой разные кадки и решета с калиной, под потолком висели пучки мочала и льна, связки степной полынки и богородицыной травы. В углах кладовки, в спокойной темени, вольготно промышляли мыши, и, даже когда шумела мельница, часто раздавался их писк.

Увидев, что в желобке опять иссякает струйка муки, Костя с раздражением, чего не замечалось за ним раньше, сказал Лозневому:

— Досыпьте еще!

— погоди, Костя. Отдохни.

— Чертова работка! Подавился бы он этой мукой! — Костя сплюнул. Жила, сукин сын!

— А я тебе говорю: все они такие.

— С тридцатого года не видел таких. — Костя склонился на ларь. — Нет, не могу!

— Устал? Скоро ты. Ладно, я покручу.

— Жить я так не могу! — пояснил Костя.

— Слушай, дорогой, — Лозневой тоже склонился на ларь. — Ты никогда не был таким. Почему ты не можешь так жить?

— А какая тут жизнь?

За ларем послышалась возня и писк мышей. Когда они утихли. Костя досказал:

— Как у этих вот мышей. Чем лучше?

Лозновой схватил Костю за руку.

— Будет! Давай молоть!

Костя засыпал в мельницу зерно, Лозновой начал крутить, — зашумел жернов, из желобка потекла теплая струйка муки.

— Стойте! Не могу! — сказал Костя и, облокотясь о мельницу, спросил тихо: — Как вы надумали, а? Идти?

— В партизаны?

— Да.

— Слушай, Костя. — И Лозновой взял Костю за плечи, поставил прямо перед собой. — Ты мне скажи, дорогой: что мы вчера мололи?

— Пшеницу.

— А сегодня?

— Ну, рожь...

— А все получается мука! — Лозновой тряхнул Костю за плечи, заставляя улыбнуться. — Понял, дружище?

— Все п-перемелется? А скоро ли?

— Может, и не скоро. Кто знает. Надо пережить это время, пусть даже как мыши. Сейчас одно известно: немцы под самой Москвой. Вон где!

— Значит, не скоро, — определил Костя. — Пока наши соберутся с силой да дойдут сюда... Это долго будет молотиться, как вот на нашей мельнице.

— А может, и недолго! Вряд ли, Костя, наши соберутся с силой. Где она?

В небольшое окошечко, до половины завешенное пучками сухих трав, врывалась полоса неяркого осеннего света. Он освещал лицо Кости. Лозновой заметил, как на его светлом ребячьем лице вдруг обозначились твердые мужские черты.

— Что же будет? — спросил он тихо.

Лознового удивила такая резкая перемена в лице Кости. Теперь он совсем не был похож на того паренька-вестового, что выполнял его приказы с ребячьей готовностью и расторопностью.

— Что же будет? — повторил Костя еще тише.

— Что? Разобьют нас немцы — вот и все!

— Нас?

— Вот возьмут Москву — и дух из нас вон!

Костя крепко, по-мужски сжал похолодевшие губы.

Несколько секунд смотрел на Лозневого не отрываясь, даже ресницы не вздрагивали. Потом спросил:

— Вы всегда думали, когда отступали... об этом?

— Да, об этом, — сознался Лозневой.

Все так же недвижимо смотря на Лозневого, Костя вдруг с непривычной для себя бешеной силой ударил его кулаком под ребра. Не ожидая удара, вскрикнув, Лозневой опрокинулся на решета с калиной. Рыча, как волчонок, Костя бросился на бывшего комбата и вцепился ему в горло. Они долго и остервенело бились в кладовке, гремя кадками, пустыми ведрами, корытами и разной домашней рухлядью.

XVI

Взглянешь на иной спутанный моток ниток — и на первый взгляд покажется: распутать его — пустое дело. Но потянешь за одну нитку — моток запутывается еще больше, потянешь за другую — и вдруг становится ясно, что его уже не распутать никогда.

Вот такой же запутанной была и жизнь Лозневого.

Отец очень любил и баловал Владимира — единственного сына. Как и всем родителям, землемеру Михаилу Александровичу Лозневному всегда казалось, что его сын, во всех отношениях незаурядный малый, рожден для больших дел. Восторженное и даже поэтическое воображение Михаила Александровича всегда рисовало для него прекрасное будущее. Показывая гостям нелюдимого, худенького и большеногого мальчика с белесым чубиком, он всегда восклицал с гордостью:

— Видите, каков орел? Смею уверить, что его удел — не мой удел! — И ласково трогал сына за чуб. — Большой будет человек! Верно, Вовик, а?

— Да, папа, — четко отвечал Вовик.

А гости, конечно, не скупились на похвалы:

— Чудесный мальчик! Какой взгляд!

— Да, сразу видно — умен!

С детства привыкнув думать высокомерно о своем будущем, Владимир Лозневой боялся только одного — повредить своей карьере неудачным выбором профессии. За первый учебный год в Казанском университете он переменил три факультета и наконец понял, что его не прельщает перспектива жить всегда как бродяга и

разведывать недра в нелюдимых местах, всю жизнь рассказывать ребятам сказку о яблоке, которое привело Ньютона к великому открытию, или дни и ночи колдовать над кислотами в химической лаборатории. Все это слишком мелко для него. Занятый поисками своего призвания, Лозневой занимался, конечно, кое-как, и дело кончилось тем, что в конце года его исключили из университета.

Два года Лозневой колесил по стране в поисках «настоящего дела», занимаясь пока такими делами, которые бы не сильно обременяли и по возможности давали приличный заработок: то служил администратором в бродячей труппе иллюзионистов и акробатов, то вел курсы танцев в небольшом клубе... В стране совершались грандиозные дела, а он оторвался от них; весь народ жил напряженной и сплоченной жизнью, а он незаметно выключил себя из нее...

Таким его и призвали в армию.

Лозневой почему-то вдруг решил, что в армии он может с необычайным блеском проявить свои недюжинные способности и очень высоко взлететь на воинском поприще. Он проявил некоторое усердие по службе и довольно быстро, используя все возможности, добился офицерского звания. Его привлекла штабная работа. С тех пор его мечтой стало одно: изо всех сил карабкаться и карабкаться по военной лестнице, чтобы как можно быстрее добиться видной жизни и славы...

XVII

Молодой журавль стоял на кочке; правое крыло его свисало до земли. На востоке медленно поднималась слабая осенняя заря. Тоскующим взглядом журавль осматривал незнакомые, неприятные места. Вокруг простиралось кочковатое болото, поросшее одинокими чахлыми березками, камышом и кугой. Летом это место привольное: много воды, травы, разных земных гадов... Но теперь болото застыло, все на нем замерло от стужи. Ветер шумел сухими, мерзлыми травами. Жутко было одинокому журавлю в час рассвета на этом пустынном болоте. Он перепрыгнул на другую кочку, затем на третью, волоча подбитое крыло. Остановившись, он опять бросил по сторонам потерянный, тоскующий взгляд, вспомнил о своей стае, с которой летел в теплые места, и жалобно закричал на все болото.

— От своих отстал, что ли? — спросил Костя.

— Видно, подраненный, — сказал Серьга Хахай. — Пропадет здесь! У нас тут большие холода.

Они шли от Ольховки на запад. Оба были в полушубках, шапках и добрых сапогах. У каждого за плечами тяжелая котомка. Ветер обжигал их лица.

На восходе солнца они были в Лосином урочище. Пока шли лесом, у Кости росло какое-то новое чувство. Он не мог понять его, но оно было отрадно его душе. Лес был стар и дремуч. По обочинам дорожки, прикрывая ее темным густым лапником, стояли старые, замшелые ели. Их острые вершины, поднятые высоко на просторе, качались от ветра, а внизу, на земле, опущенной мхами и расшитой узорами орляка, было тихо и глухо. В стороне от дороги стоял сплошной частокол еловых стволов, и нигде не виднелось ни одного просвета. Лес был такой же, как на Каме. «Везде земля одна, — почему-то подумал Костя. — Везде наша».

В глубине урочища их встретил партизанский патруль. Затем они вышли к широкой поляне, и Костя увидел избу лесника с заросшей мхом крышей, с висящими вкривь и вкось ставнями. Серьга Хахай объяснил ему, что эту избу облюбовали партизаны. И здесь вдруг Костя понял, что для него начинается новая жизнь и что то приятное чувство, какое он испытывал в пути, родилось от ощущения близости и новизны этой жизни.

В избе было людно. Два человека в военной форме разбирали и чистили на столе станковый пулемет. «О, наш брат! — обрадовался Костя. — Видать, кадровики». Рядом с ними высокий сухощавый человек в очках, по виду учитель сельской школы, старательно укладывал свои вещички в охотничий рюкзак. Две девушки в простых городских костюмчиках шептались у окна, осматривая телефонный аппарат. Грузноватый парень в шоферском комбинезоне сидел у стола и громко рассказывал двум подросткам, как надо обращаться с ручной гранатой.

Из-за стола, в переднем углу, поднялся Степан Бояркин. Вся нижняя часть его сухого, болезненного лица была покрыта густой мыльной пеной.

— А-а, шатущий, явился? — сказал он строговато, но обрадованно. Шагай сюда! Что долго?

— Дела!... — ответил Хахай.

— Знаю твои дела! Небось Ксютка не отпускала?

Подойдя к столу, Хахай сообщил:

— Тут вот со мной один товарищ... — Оглянулся назад. — Иди сюда!

— Кто такой? — спросил Бояркин.

Смущаясь, Костя начал рассказывать о себе. Вокруг стола столпились партизаны. Степан Бояркин спросил:

— Документы имеешь какие?

— Э-э! — протянул Серьга. — Какие у него могут быть документы?

— Почему же? — обидчиво покосился Костя. — Документы имею при себе.

— Какие?

— Разные. Комсомольский билет имею.

— Покажи.

Костя смущенно оглянулся на партизан.

— Потерял? — усмехнулся Бояркин.

— А, ладно! — сказал Костя решительно.

Раскинув полы полушубка, он поднял подол гимнастерки и начал расстегивать брюки. Бояркин улыбнулся.

— Это в каком же ты месте документы держишь?

— Видишь где?

— Разбей тебя громом! — воскликнул Серьга и расхохотался, хватаясь за бока. — Вот упрятал!

Вокруг тоже захохотали.

— Чего ржете? — обиделся Костя. — Какой тут смех? У меня, может, никаких надежных мест больше не было! Тьфу, будь она проклята, эта пуговка!

— Ну ладно, ладно, — все еще улыбаясь, сказал Бояркин. — Иди вот к печке, отогрей руки. После достанешь. Я вот добреюсь, тогда и поговорим. Шагай к печке!

— Есть! — ответил Костя радостно и четко, как привык отвечать на службе.

Серьга и Костя примостились у печки. Вскоре подошел Бояркин. Выкинув из печки уголек, он закурил и придирчиво осмотрел документы Кости.

— Порядок! — сказал в заключение. — Давай обживайся. Скоро за работу. Тут у нас большое дело будет. По всем лесам собирается народ. Оружия нет?

— Не имею.

— Найдешь! — ободрил Бояркин и задумчиво добавил: —

Да, скоро за дело!

XVIII

В пустом сарае Ерофей Кузьмич ставил самогонный аппарат: гремел кадками, трубами, жостью. В доме уже три дня стоял крепкий хмельной запах барды. Алевтину Васильевну мутило от этого запаха, и она несколько раз послала Марийку узнавать, как у отца подвигается дело. Каждый раз Ерофей Кузьмич молча встречал и провожал сноху, а тут спросил:

— Этот... лоботряс-то... дома?

— Где же ему быть?

— Пошли сюда.

Лозневой явился к хозяину растерянный, бледный. Оставшись один, он весь день сидел в горнице за подтопкой, как барсук в норе. Сунув в приоткрытые ворота тонкий висячий нос и клинышек татарской бородки, он коротко спросил:

— Звали, Ерофей Кузьмич?

— Иди сюда!

Лозневой осторожно вошел в сарай. Ерофей Кузьмич поднял голову из-за кадки.

— Не ушел?

— Куда мне идти, Ерофей Кузьмич?

— А куда тот?

— В лес куда-то.

— И ты бы шел вместе! Чего сидеть?

— Не могу я, — сдерживая подрагивающие губы, ответил Лозневой. Здоровье у меня плохое. Да и какие тут могут быть партизаны? Вон какая армия была — и ту разбили! Что партизаны могут сделать? Скоро уж зима... А начнется она — и все разбредутся сами. Все одно уж! Или в лесу погибать, или здесь!

— Ха! Тебе все одно! — Опираясь рукой о кадку, Ерофей Кузьмич поднялся на ноги. — А мне? Ты это соображаешь своей мозгой? Мне какой риск тебя держать, понимаешь? Тебя убьют — ты большевик...

— Я не большевик, — торопливо перебил Лозневой.

— Ну, с ними был. Все одно. А меня за какую-такую?

Ерофей Кузьмич хорошо понимал, что если Лозневой не ушел с Костей, то теперь никуда не уйдет, а значит, он в полной его власти.

Теперь с ним можно было делать что угодно и разговаривать как угодно. Ерофей Кузьмич сказал резко, отрывисто:

— Уходи и ты! Вот и все!

У Лозневого затряслись плечи. Он упал на колени перед хозяином, начал хватать его за полы шубы.

— Ерофей Кузьмич! Дорогой! Не губи! Не гони! Куда мне?

— Стой ты! Чего ты... тут? Пусти!

— Не гони!... — шептал Лозневой, весь дрожа.

— Ну, встань, встань! — Ерофей Кузьмич присел на дрова. — Что же мне делать с тобой? Риск, ведь риск.

— Может быть...

— Все может быть! — резко перебил Ерофей Кузьмич. — Немец, он не будет тебе разбираться. Большевик — под пулю, прятал большевика — тоже...

Лозневой молчал, горбясь перед хозяином.

— Ну, вот что, — сказал наконец Ерофей Кузьмич более мягко. — Так и быть: похлопочу перед всем обществом. Так и скажу: сохраню человека военного командира. Может, не выдадут. Может, пронесет господь. А ты с сегодняшнего дня мой племяш. Понял? Будешь глух и нем. Сможешь?

— Смогу, — шевельнул губами Лозневой.

— Глух и нем! Сызмальства! Запомни! — твердо сказал Ерофей Кузьмич и поднялся с дров. — Чтобы я больше слова от тебя не слышал! Так, значит, будешь работать и будешь жить. Как племяш. — Он оглядел высокую, сухощавую фигуру Лозневого, точно оценивая, выйдет ли из него хороший работник. — А сейчас иди да барду начинай таскать с Манькой. Гнать пора. Выгоним выпьем малость. Хочешь выпить-то?

— Хорошо бы...

— Но-но! — прикрикнул Ерофей Кузьмич. — Забыл? Глух и нем! Ну, выпить-то, выпить хочешь? — закричал он, как кричат глухонемым, и, подняв бороду, два раза щелкнул по горлу.

Лозневой закивал головой.

— То-то! Да сапоги-то, сапогиними! — опять закричал Ерофей Кузьмич. — Сними их! Бардой замажешь! Старые ботинки надень! — Он покрутил руками вокруг ноги, будто завязывая обмотку. — Понял?

Лозневой растерянно покачал головой.

— Ладно, пойдет дело, — заключил Ерофей Кузьмич. — Иди!

...К вечеру аппарат был пущен на полный ход. Под железной бочкой, положенной на камни, полыхал огонь. Железной трубкой, изогнутой в два колена, эта бочка соединялась с кадкой ведер на двенадцать; весь верх у нее был заляпан тестом и заделан тряпицами. В кадке шумно бурлила барда, из-под теста выбивались струйки хмельного пара. От бардника шла прямая трубка в сухопарник — небольшой пустой бочонок, стоявший на чурбане, а затем в холодильник, сделанный из чана. У самого дна его торчала небольшая трубочка, из которой — по тряпичке — стекало в бутылку белесое, бьющее в ноздри зелье. Все в аппарате гудело, клокотало, вздрагивало. Около него было дымно и душно от запаха барды.

Лозневой молча сидел у паровика, шевелил палкой огонь. Марийка заделывала свежим тестом отдушины в барднике, где били струйки пара. Она была поражена отказом Лозневого идти с Костей к партизанам и не могла понять, что это означало. Весь день она хотела поговорить с ним об этом, но никак не удавалось. А теперь, у аппарата, она заговаривала не один раз, но Лозневой молчал и молчал, испуганно озираясь на ворота.

— Что же вы молчите? — спросила Марийка. — Онемели, что ли?

Лозневой повернул к ней ярко освещенное огнем лицо. Сказал тихонько:

— А что мне говорить теперь?

— Почему не пошли-то?

— Эх, Марийка! — Лозневой швырнул палку в огонь. — Не знаешь ты, как тяжело мне! Кончена моя жизнь. Я знаю, что все кончено. И мне страшно. Сижу вот у этого аппарата, и кажется мне, что я в аду кромешном...

— Ушли бы лучше, — посоветовала Марийка. — Мне и то не сладко жить в этом доме. А вы совсем чужой. Почему не пошли?

— Не мог я уйти...

— Да почему?

— Не мог. Я бессилён перед собой...

Скрипнули ворота. Вошел Ерофей Кузьмич в широкой рыжей зарубелой шубе и шапке-ушанке, отделанной серым собачьим мехом. Еще издали он заметил, что из трубочки, где стекал самогон, била сильная струйка пара.

— Эй, вы! — Ерофей Кузьмич кинулся к аппарату. — Что ж вы делаете? Эй ты, чучело! Выгребай огонь! Выгребай, живо!

Перепугавшись насмерть, Лозневой начал выхватывать из-под бочки пылающие головни и раскидывать их вокруг, — в сарае стало темно от дыма.

— Ах ты, только отойди! — метался хозяин. — Наделали было делов!

— Да что стряслось? — спросила Марийка.

— Не видишь — что? Куда это нагнали столько паров? Того и гляди, в бутылку могла пойти барда, а то и трубы сорвать к черту! Надо ж понимать!

Аппарат начал клокотать тише. Успокоившись, Ерофей Кузьмич поставил под трубочку с висячей тряпичкой порожнюю бутылку, а наполненную самогоном поднял на уровень глаз.

— Хорош ли?

Усевшись с бутылкой на дрова перед огнем, Ерофей Кузьмич вытащил из кармана шубы чайную чашку, украшенную цветочками, и луковицу. Наполнив чашку самогоном до краев, поднес к ней гребешок огня на конце лучинки. В чашке заиграл, заплескался голубой огонь.

— Ничего, подходящ!

Подняв чашку, он взглянул на Лозневого, который стоял рядом, молча обтирая полый истрепанного пиджака обожженные пальцы. На лице хозяина, освещенном огнем, сияло выражение полного довольства собой.

— Ну, — сказал он, — будем здоровы!

Не торопясь, он выпил чашку до дна и, крикнув, поставил ее на землю у ног. Укусив разок луковицу, спрятал ее в карман.

— Вот так-то в жизни, — заговорил он неопределенно. — Живешь и не знаешь: что впереди? Что будет завтра — вот вопрос, а? Ой, трудно человеку на земле! Ну, ты, выпей-ка!

Лозневой опьянел от одной чашки крепкого первача. Когда Ерофей Кузьмич опять ушел в дом, он сел на дрова, на место хозяина, пьяно осмотрелся и, осмелев от зелья, позвал Марийку:

— Брось там! Иди сюда.

Марийка присела рядом.

— Почему не ушел, говоришь? Скажу! Скажу все! Мне теперь все равно. Все! Все! — Он пьянел и пьянел. — Я не мог уйти из этого дома. Не мог! Я ничего не могу сделать с собой! Ты понимаешь?

— Да почему не мог?

Лозневой схватил руки Марийки, потянул их к себе, сказал передыхая:

— Я не мог... не мог уйти от тебя!

Марийка вырвала руки.

— Не мог! — выкрикнул Лозневой. — Я не могу жить без тебя!

Марийка встала.

— Вы пьяный.

Марийка вдруг почувствовала, что у нее горит все лицо. За несколько секунд перед ней промелькнуло много недавних картин. Она вспомнила тот день, когда Лозневой пришел с Андреем, как он наблюдал за ней в доме, разговаривал на дороге за деревней, как он лежал на крыльце и долго не отвечал, где Андрей. «Он обманул меня! — обожгла ее мысль. — Обманул, подлец!» В груди ее все затрепетало от страшного гнева и дикой радости. Она ударила комком теста по кадке.

— Не уйдешь? — крикнула она. — Не хочешь?

— Не хочу, — чуть слышно ответил Лозневой.

— Так я уйду! — всей грудью крикнула Марийка. — Ах, подлец ты какой! Какой ты подлец!

Под Лозневым рассыпались дрова.

— За что?

— Знаешь, за что, тля ты поганая!

— Марийка, сердце мое, не уходи!

В ответ Марийка хлопнула воротами сарая.

Несколько минут она стояла на крыльце. Над Ольховкой, над всем ближним миром текла глухая, без звезд, осенняя ночь. Непомерной тяжестью давила она землю. Нигде поблизости не слышно было признаков живой жизни, но у Марийки радостно, шумно, со всей силой билось сердце.

В полночь она ушла к матери.

XIX

Утром приехали гитлеровцы.

Ольховцы увидели их, когда они поднимались по склону взгорья к деревне. Крупные куцехвостые кони невеселой глинистой масти ступали тяжело, уныло волоча тяжелые военные повозки. С ночи опять занепогодило. Некоторые гитлеровцы, согнувшись,

сидели на повозках, другие шли, скользя по грязи, отворачиваясь от холодного промозглого ветра, изредка поглядывая на едва заметное пятно в темных небесах, совсем не похожее на солнце.

Все ольховцы попрятались в дома. Заехав в Ольховку, гитлеровцы удивились необычной тишине. Но вдруг над улицей пронесся звонкий собачий лай. К обозу выскочила из подворотни маленькая рыжая собачонка. Высокий немецкий солдат в захлестанной грязью шинели, обернувшись, пинком отбросил ее от своей повозки. Собачонка молча перевернулась в луже, но тут же вскочила и, не отряхиваясь, злобно тьякнув, бросилась на коней. В это время, словно по сговору, и с других дворов начали выскакивать собаки немало их было в Ольховке. Они подняли разноголосый истошный вой. Двигаясь улицей к середине деревни, немцы пинали их сапогами, отшвыривали от повозок и коней, хлестали кнутами, — нет, они, как бешеные, с визгом и лаем носились и носились вокруг обоза. Сдерживая дыхание, ольховцы украдкой поглядывали на улицу, где проезжали немцы, и с тревогой думали: это дурной знак, что так лютуют собаки...

Гитлеровцы остановились на площади и сразу попали в дом правления колхоза. Сторожиха Агеевна, вскоре убежавшая оттуда, рассказала, что они, продрогнув, сразу наташили бутылок с водкой да разных банок с консервами и, неумолчно лопоча, принялись прежде всего подкрепляться с дороги. Все начали волноваться за судьбу Яши Кудрявого — он один остался с гитлеровцами в доме.

Что там произошло дальше, навсегда осталось загадкой. Через час, крича, из дому выскочил в одной рубахе Яша Кудрявый. Его лицо и кудри были заляпаны варом. (Как раз перед приездом гитлеровцев Яша растопил вар для какой-то своей надобности.) Качаясь, звучно всхлипывая, Яша быстро пошел прочь от дома правления колхоза и скрылся в ближнем переулке. Бабы нашли его за огородами, в обтрепанных лопухах, и привели к Макарихе.

Здесь Яша и лишился кудрей.

Брила его сама Макариха. Брила плохо и долго. Прижимая голову Яши к своей груди, она часто тыкала помазком то в шею, то в ухо, а то излишне долго взбивала пену на затылке. Вокруг, горестно поддерживая подбородки, стояли бабы. Только когда Макариха делала порез, они шумели:

— Ой, тише ты!

— Изрежешь всего!

Бритый, Яша стал неузнаваем. Он сидел у стола и неуверенно, как после долгой и тяжелой болезни, поворачивал маленькой, желтенькой, уродливо помятой головой, — бывают вот такие тыквешки, которым пришлось расти где-нибудь между кольев изгороди. Очертания черепа Яши проступали очень ярко, точно он был покрыт не кожей, а тонким слоем лака. На лице резче обозначились печальные морщины. Все это сделало его старше, обнаружило его уродство.

— Он турак, немец, — сказал Яша. — Он балует.

Бабы, пораженные переменами в Яше, молча вздыхали, а Макариха обняла его и попыталась утешить.

— А ты не горюй, Яшенька, не горюй, — сказала она сквозь слезы. — Не горюй, дорогой. Все пройдет.

Вспомнив, как Яша раньше, при шутливом содействии сельчан, собирался жениться на учительнице Нине Дмитриевне и всем хвастался ее любовью к себе, она добавила почти серьезно:

— Гляди, еще и женишься скоро. Вот вернется Нина Дмитриевна, и женись. Не горюй, дорогой...

Яша вдруг побледнел.

— Зеркало! — сказал он тревожно. — Тай!

Подали зеркало. Яша только один раз, очень быстро, заглянул в него, а потом, жалобно морщась, долго смотрел на женщин, будто говоря им: «Зачем вы это сделали? Зачем обрили? Теперь я не кудрявый, и Нина Дмитриевна не будет меня любить». Многие женщины, не выдержав, заплакали, а Яша со стоном упал грудью на стол и начал царапать его ногтями.

— Господи! — вздохнула Макариха.

Яша вдруг затих, а немного погодя встал, и тут все увидели, что большие и прежде ласковые его глаза полны темной, злой силы. Он сжал кулаки и крикнул в бешенстве:

— Я пойду! Пойду! — и выскочил за дверь.

Немного погодя от площади раздались крики и выстрелы. Поборов страх, женщины вслед за Макарихой бросились туда.

В доме правления колхоза лязгали металлические голоса. У крыльца, слегка касаясь плечом выточенной стойки, стоял Ерофей Кузьмич в распахнутой дубленой потрепанной шубе и шапке-ушанке, сбитой набекрень. Он то опускал, то вскидывал глаза. Перед ним, скорчившись у крыльца, приложив правое ухо к земле, будто прислушиваясь, лежал маленький и худенький, как подросток. Яша

Кудрявый.левой рукой он царапал землю. С его раскрытых губ, пенясь, стекала кровь. Рядом с Яшей, в грязи, лежал тонкий плотничный топор.

Когда ольховцы начали сбегаться к крыльцу, еще не поняв, что случилось, из дома вышло несколько гитлеровцев. Один из них, худой и высокий, с маленькой змеиной головкой, поправив на носу пенсне, нагнулся над Яшей, взял его за левую руку, подержал в своей — проверил пульс. Потом зачем-то ощупал длинными пальцами голый череп Яши, забрызганный грязью, и отдал какое-то приказание.

Немцы подхватили Яшу и унесли в дом.

Ерофей Кузьмич оторвался от стойки.

— Ну, дела, бабы! — заговорил он, смущенно вздыхая. — Я как раз направился было к сватье, вон, Анфисе Марковне, а он мне навстречу — тут вот, из переулка... Я как взглянул на него, так и обомлел! Бежит сюда бешеный и бешеный, пена на губах так и кипит, а в руках топор... Ну, думаю, заскочит он к ним, натворит делов, а мы за него, дурака, прости господи, в ответе будем! Всю деревню, думаю, загубит! А это ведь могло выйти!

— Не тyani, сват, — угрюмо попросила Макариха.

— Ну, я ему наперерез было... — продолжал Ерофей Кузьмич. — Дай, думаю, задержу дурака, а он — на меня с топором... Фу, и сейчас оторопь берет! Как увернулся — сам не знаю. А только он кинулся к крыльцу — тут они... Да, истинно дурак — сам искал себе погибель... — Он кивнул на топор, валявшийся в грязи: — Чей это? У кого он схватил? Забрали бы.

Все промолчали, как молчали все время, слушая Ерофея Кузьмича. Топор остался в грязи.

На крыльце показался еще один гитлеровец: высокий, тучный, в желтых сапогах, гремящих железом. Он был во френче и с непокрытой головой, ветер легонько шевелил над широким лбом петушиный гребень волос. Заложив руки назад и расставив ноги, он высоко поднял одутловатое, красное от ветра и вина лицо. Около минуты он стоял, не трогаясь, и куда смотрел непонятно было: так безжизненны были его серенькие глаза.

— Я ест комен-дант! — внезапно гулко сказал Квейс, не трогаясь с места. — Вы слушат мой приказ! Не будет слушат мне — расстрел! Мой приказ — приказ германска армия. Понял, да?

Никто не ответил. Но Квейс, видимо, и не нуждался в ответе.

Звякнув подковами, он шагнул вперед, спустился на ступеньку ниже и, ткнув пальцем в Ерофея Кузьмича, обратился к толпе:

— Это ест ваш человек, да?

— Здешний... — переждав немного, отозвался дед Силантий.

— Хорош человек? Знаете, да?

— Знаем. Был хорош, а каким будет — кому известно? — осмелел дед.

— Разговор говорит дома! — сказал Квейс сердито, тряхнув гребнем волос. — Сейчас дело! Я предлагаю избрат... — Он опять ткнул пальцем в Ерофея Кузьмича. — Как твой фамилий?

Ерофей Кузьмич попятился к толпе.

— Не желаю я! Никуда не желаю!

— Как фамилий? — резко повторил Квейс.

— Лопухов.

— Предлагаю избрат господин Лопухофф ваш старост, — закончил комендант Квейс. — Кто протиф? Нет протиф? Все! Разой-дись! Шнель!

Толпа медленно разбрелась в стороны.

Один Ерофей Кузьмич остался у крыльца.

«Черт меня дернул останавливать этого дурака! — подумал он удрученно. — Выходит, усердие свое показал... Вот теперь и крутись!»

XX

Не торопясь, комендант Квейс поставил на край стола стопку из черной пластмассы, какие носят вместе с флягой, наполнил ее светлым вином из высокой бутылки с цветистой этикеткой. Коротко взглянул на Ерофея Кузьмича, приказал:

— Пей. Это шнапс.

Ерофей Кузьмич прижал шапку к груди.

— Благодарствую...

— Ты ест старост, — мягко пояснил Квейс. — Ты должен слушат немецкий комендант. Что говорю я — приказ немецка армия. Ты должен точно исполнят мой приказ.

«Занес меня сюда дьявол! — уныло подумал Ерофей Кузьмич. — Такое время в тени бы прожить!» Он осторожно поднял стопку, боясь сплеснуть вино через край, выпил, не спеша обтер усы.

— Ничего. Только послабее будет нашей.

— Ты ест старост, — вновь начал разъяснять Квейс. — Ты должен слушат немецкий комендант. Ты должен отечат все вопросы немецкий комендант. Ты понял, да?

— Все, как есть, понятно...

Квейс некоторое время трудился над консервной банкой, и Ерофей Кузьмич, внимательно наблюдая за ним, никак не мог понять, что он ест. «Не то фрукт какой ихний, — недоумевал он, — не то просто репа какая?» Отложив вилку, Квейс разогнулся в тяжелом деревянном кресле, остановил свой взгляд на старосте.

— Где ест ваш большевик?

Ерофей Кузьмич выпрямился перед столом.

— Большевиков у нас нету, — заявил он убежденно. — Их и было-то немного. Каких в армию забрали, какие уехали... Председатель сельского совета давно уехал, а колхозный — самым последним подался.

— Что ест — подался?

— Ну, уехал, стало быть.

— Куда уехал?

— А туда, к Москве.

— О, Москау! — Квейс запрокинул глаза. — Немецка армия будет скоро Москау! О, это ест большой город! — И опять к старосте: — Он уехал Москау? Ты должен говорит точно.

— Что вы, точно и говорю. Своими глазами видел, как уезжал. Бабы домой вернулись, а он дальше поехал. Без власти пока жили.

Сообщения старосты, видимо, не удовлетворили Квейса. Он поворочал туловище в кресле, подвигал скулами, начал набивать трубку табаком. Раскурив ее, подержал спичку над столом — над ней медленно угасал огонь.

— А кто поджигал хлеб?

— Где же знать! Это ночью было.

— Ну, ночью! — фыркнул Квейс, окутываясь дымом. — Надо знат! Ты старост! Ты должен сообщат немецкий комендант, кто сжигал хлеб. Понял, да?

— Оно так... Только где мне знать?

Квейс пристукнул рукой по столу.

— Надо знат! Мы будем знат!

Он поднялся, заговорил другим тоном:

— Мой первый приказ!

— Слушаю...

Выйдя из комендатуры, Ерофей Кузьмич прошел по всей деревне и объявил первый строжайший приказ Квейса: всех собак немедленно повесить на воротах. За невыполнение назначалась одна мера наказания — повешение хозяев, тоже на воротах, рядом с собаками. Все ольховцы были ошарашены этим приказом коменданта. Вскоре всюду поднялись крики, собачий визг и лай.

Сумрачным возвращался Ерофей Кузьмич на свой двор. Открыв ворота, он увидел, как из-под крыльца выскочил Черня. Верный страж взглянул на хозяина, не трогаясь с места, раза два вильнул хвостом — и вдруг, сгорбясь, оглядываясь, бросился под амбар. «Неужто чует смерть? поразился Ерофей Кузьмич. — Экая тварь, а? — И даже растрогался. — Тоже ведь хочется жить!» И лицо Ерофея Кузьмича точно покрыла тень.

В воротах сарая показался Лозневой, в армяке, подпоясанном ремешком, в ботинках и старой шапчонке. По приказу хозяина он с утра очищал сарай от навоза.

— Закончил? — крикнул ему Ерофей Кузьмич.

— Еще немного, Ерофей Кузьмич...

— Но-но! Заговорил? — прикрикнул хозяин. — Опять забыл? Ты у меня гляди! Голову за тебя подставляю! Кончай живо!

Алевтина Васильевна молча загремела посудой, но Ерофей Кузьмич отказался обедать. Не раздеваясь, не снимая шапки, присел у стола.

— Чего это ты? — спросила жена.

— Значит, душа не принимает, вот чего. Тебе объясняй все! Липнет всегда, прости господи, как репей.

— Только заступил в эти старосты, и от еды отбило.

— Не точи, точило!

Васятка сидел у окна с книжкой, изредка поглядывая из-за нее на отца.

— Брось книжки! — сказал Ерофей Кузьмич. — Дело есть.

— Куда, тять?

— Черню вешать.

— Черню? — вскочил Васятка. — За что?

— Иди, спроси у него...

— У кого, тять?

— У коменданта, у кого же!

Алевтина Васильевна не на шутку перепугалась.

— Кузьмич, да ты что? Хорошо ли с тобой? В уме ли?

Ерофей Кузьмич кивнул на окно.

— Иль не слышишь, как по всей деревне собаки взбесились? Пошли! Торопиться надо.

Васятка вскочил, заревел, бросился к двери:

— Не дам я Черню! Не дам!

— Василий! — Ерофей Кузьмич поднялся. — Или хочешь, чтобы я вместо Черни висел на воротах? Этого хочешь?

— Все одно не дам! — рыдая, еще сильнее закричал Васятка. — Я убегу с ним! Вот тебе! Пусть ищет... твой комендант... чертов немец!

— Василий! — Ерофей Кузьмич рванулся к двери. — Вожжей захотел? Ты что говоришь? — Он схватил сына за чуб. — Ты знаешь, сморчок поганый, что за это будет? Знаешь? Знаешь?

— Уйди! — вырвался Васятка. — Я Черню еще маленького... щенка еще... Черня! — крикнул он, падая у порога, — Чернюшка, родный!

Отбросив ногой Васятку, Ерофей Кузьмич хлопнул дверью так, что содрогнулся весь дом. Увидев опять хозяина, Черня с визгом бросился от крыльца и махнул через прясло на огород.

Пришлось звать на помощь Лозневого. Сделав из тонкой бечевы петлю, тот ушел на огород и, приласкав, поймал Черню. Неожиданно почувствовав петлю на шее, Черня коротко взлаял, рванулся в сторону, задыхаясь, стал на задние лапы. Но Лозневой, дернув за конец бечевы, разом свалил его на землю.

— Волоки сюда! — закричал от прясла Ерофей Кузьмич. — Не пушай! Не давай воздуху! Да тyani ты, косорукий черт!

Лозневой волоком потащил Черню с огорода. С вытаращенными глазами, блестя языком, брызгая пенистой слюной, Черня бросался в стороны, переворачивался в грязи, из последних сил упирался передними лапами, бороздил по земле брюхом...

— Бери рывком! — командовал Ерофей Кузьмич. — Рви от земли! Да не бойсь! Чего-дрожишь, как в лихоманке? Тyani сюда!

— Помоги! — не вытерпел Лозневой.

— Но-но! Опять? Дай сюда!

Бросив конец бечевы через перекладину ворот, Ерофей Кузьмич отвернулся, хватаясь за грудь, сказал:

— Вешай сам. Я не могу...

Через минуту, взглянув на ворота, Ерофей Кузьмич увидел,

что Черня уже висел в петле, слабо подергивая лапами. И тут же он заметил: на пригорке, против двора, возвышался, скрестив руки на широком заду, комендант Квейс. Должно быть, он вышел посмотреть, как выполняется деревней его первый приказ. По одну сторону от Квейса стоял немец-солдат с автоматом у груди, по другую — Ефим Чернявкин, уже без бородки и в новом пиджаке. Он что-то говорил коменданту, кивая на лопуховский двор, вероятно, указывал, где живет староста.

— К нам! — бросил назад Ерофей Кузьмич.

Но Лозневой, растерявшись, не мог тронуться с места. Пока он соображал, в какой угол двора бежать, комендант Квейс в сопровождении своего солдата уже подходил к раскрытой хозяином калитке, печатая на сырой земле следы своих сапог с подковами.

— Старост знает порядок! — сказал Квейс весело, довольный тем, что назначенный им староста точно выполнил его первый приказ, показав тем самым пример всей деревне. — О, мы будем, старост, работат хорошо! Ошен хорошо!

И будто в знак того, что между ним и старостой отныне установились самые приятельские отношения, он даже потрепал Ерофея Кузьмича по плечу:

— Гут, старост! Хорошо!

— Гут, гут, — растерянно поддакнул Ерофей Кузьмич, чувствуя, что Лозневой торчит позади, и стараясь скрыть его за своей спиной.

Но Квейс уже заметил Лозневого.

— Кто он?

Ерофей Кузьмич отступил в сторону от калитки. С радостью заметив, что Ефим Чернявкин скрылся за пригорком, он ответил, стараясь придать голосу как можно больше спокойствия и равнодушия:

— Это? Племяш будет. Немой.

— Не твой? — не понял Квейс. — Шей он ест?

— Он мой, — бледнея, заторопился пояснить Ерофей Кузьмич, — да только немой он.

— Как понимает? Твой ест не твой?

— Немой он! Немой! — Совсем падая духом, Ерофей Кузьмич попытался жестами пояснить, что его «племяш» не может говорить, и только окончательно сбил с толку коменданта.

Так и не поняв, в чем дело, Квейс посчитал, что староста

шутит с ним «по-русски», и, добрый от вина, захохотал весело:

— О, старост ест чудак! Гут старост!

— Гут, гут, — приходя в себя, старательно подтвердил Ерофей Кузьмич.

Глазом знатока Квейс осмотрел Черню — он медленно поворачивался животом на запад. Указав на Лозневого, спросил:

— Он вешал, да?

— Он, он, как же!

Лозневой стоял, с усилием сдерживая дрожь.

— Хорошо вешал! — похвалил Квейс. — Я видал. Быстро! Он может вешат ошен хорошо!

Ерофей Кузьмич понял, что беду пронесло, и предложил:

— Господин комендант, пожалуйста в дом! Чем богаты, тем и рады. Шнап этот... есть. Гут шнап!

— О, шнапс! — сказал Квейс и шагнул в калитку.

Поднимаясь на крыльцо, Ерофей Кузьмич увидел над дверью узелок, в котором был завязан стебель петрова креста. Он вздохнул, торопливо прочитал про себя случайный отрывок какой-то молитвы и переступил порог в сенцы.

XXI

К полудню все собаки были повешены.

Ольховцы считали, что если есть на дворе собака, — это настоящий двор, а без нее — нежилое, дикое место.

И вдруг собак не стало.

Замерли дворы. Страшно было коротать длинную осеннюю ночь: все казалось, что кто-то стучит в ворота, бродит по двору, лезет в хлев, скребется в сени... Все ольховцы испытывали одно тяжкое чувство: будто они, повесив собак, перестали быть хозяевами своих усадеб, своего двора и всей своей судьбы.

...Дом правления колхоза немцы заняли для комендатуры, а соседний дом уехавших Орешкиных — для жилья. Немцы срубили посреди деревни несколько молодых, тонкоствольных берез, — над деревней сразу поубавилось мягкого радостного света. Из берез немцы приготовили длинные слепы и, не очищая их от бересты, огородили оба дома. Из березовых вершинок был сделан проход до дверей комендатуры, — сразу около них, сгорбясь, защищая лицо от ветра, встал часовой с автоматом.

Что делалось в домах, где поселились немцы, никто из ольховцев не знал. Все беспокоились за судьбу Яши Кудрявого и гадали:

— Умер, должно, сердешный...

— Умер, так отдали бы хоронить.

— Может, лечат? Один-то у них никак доктор?

— Может, и лечат, раз доктор у них...

На второй день комендант Квейс не показывался и даже не вызывал Ерофея Кузьмича: был болен после русского самодельного шнапса. У дверей комендатуры менялись часовые. Немцы молча возились у повозок на занятых дворах, у колодцев, носили в дома дрова. Из труб все время, не стихая, валил дым. Ольховцы поглядывали на дома, занятые немцами, и ругались:

— У-у, черти немые!

— Хоть бы сказали что про Яшу-то...

Когда комендант Квейс начал немного оправляться от тяжелого похмелья, доктор Реде пригласил его в свою комнату. Был вечер. Окна комнаты были плотно закрыты черной маскировочной бумагой. На столе на разных банках теплились в маленьких круглых плошках, залитых вонючим жиром, хилые огоньки.

— Дорогой Квейс, — сказал доктор Реде, — завтра я уезжаю.

— Так скоро?

— Эту поездку с вами, — продолжал Реде, поправляя на носу пенсне, несмотря на разные трудности в пути, я считаю совершенно исключительной. Мне удалось достать здесь чрезвычайно интересный, очень важный материал для моей новой книги.

Квейс еще плохо соображал после похмелья. Водя бесцветными глазами по огням, он переспросил:

— Для книги?

— Да, — сказал Реде. — Вы ведь знаете, что я оставил свой прекрасный кабинет в Страсбурге и, выполняя поручение профессора Хирта, поехал вместе с армией, чтобы собрать как можно больше материалов для своей новой книги. В ней я очень убедительно доказываю превосходство немецкой расы над всеми остальными расами и, в частности, над славянами, которые самой природой обречены на то, чтобы частью вымереть в ближайшее время, а частью — стать нашими рабами...

— Да, я слышал, — ответил Квейс. — Это должна быть чудесная книга. И вам уже удалось получить для нее здесь важный

материал?

— Сейчас покажу, дорогой Квейс.

Доктор Редде молча открыл чемодан, и Квейс, взглянув, обомлел: чемодан доверху был наполнен человеческими черепами и костями, еще сверкающими белизной. Доктор Редде осторожно вытащил из чемодана небольшой череп, положил его на стол между двух огней.

— Я не понимаю, — тревожно сказал Квейс.

— Это череп Якова Кудрявого, — сообщил Редде, — заместителя председателя здешнего колхоза, большевика. Он будет в Страсбурге, в музее нашего общества по изучению явлений наследственности⁸.

— Он? — изумился Квейс.

— Это типичный представитель русской нации, обреченной на вырождение, — продолжал доктор Редде. — Обратите внимание! — Он дотронулся рукой до черепа. — Все строение черепа очень хорошо показывает, как было низко умственное развитие этого представителя русской нации. В результате смешения крови русские племена уже выродились, по сути дела, в идиотов, которых можно использовать лишь как рабочий скот, а большая часть их просто опасна для нового общества, которое создается нами в Европе. Вы понимаете?

— Я понимаю, — склонился Квейс.

В глазах коменданта все еще не просветлело. Он смотрел на стол, и ему виделось огромное пространство, по которому были раскиданы большие груды железа, множество черепов и всюду пылали, пылали огни...

XXII

На другой день в Ольховке произошло новое событие, какого не случалось в ней никогда, даже в худшие времена ее многовековой жизни.

Ерофей Кузьмич держался одного решения: жить тихо и незаметно, как живут, скажем, летучие мыши. «Они ведь как живут?

⁸ В Страсбурге, под руководством профессора университета Хирта, гауптштурмфюрера, директора одного из отделов «Института военно-исследовательской работы», в управлении по вопросам наследственности составлялась, по поручению Гимmlера, коллекция скелетов и черепов всех рас и народов. Об этой «научной работе» гитлеровцев стало известно на Нюрнбергском процессе.

— размышлял он про себя. — Наступило непогожее время — залегли, замерли; подошло лето ожили. Да и летом только по ночам вылетают на промысел. Вот как живут! До чего умные твари!» Поведение немцев в деревне не понравилось Ерофею Кузьмичу с первого дня: он всей душой почувствовал, что они в самом деле жестоки и беспощадны и, пока находятся здесь, от них можно ожидать любых злодеяний. И поэтому Ерофей Кузьмич хотя и стал под нажимом Квейса старостой, но втайне решил всеми мерами избегать этой службы. Пользы от нее никакой, а беду нажить легко. Узнав, что Костя ушел куда-то в леса, где есть партизаны, Ерофей Кузьмич понял, что надо быть особенно настороже: если они проведуют о его усердии на немецкой службе — не сносить ему головы. Вот почему Ерофей Кузьмич решил никогда не являться в комендатуру без вызова, а все дела по должности, пока не удастся избавиться от нее, справлять так, чтобы вся деревня знала, что лично он не желает ей никакого вреда.

Когда его вызвали в комендатуру, он высказал семье свое предположение:

— Может, отъезжать собрались?

— Да унесли б их черти! — ответила жена.

— Погоди, унесут! — уверенно заявил с печи Васятка.

— А чего им тут делать? — сказал Ерофей Кузьмич, накидывая на плечи полушубок. — Им тут нечего делать. Им же воевать надо. Да-а, должно, собрались... Где рукавицы-то? Ну, отъедут, так это и лучше, меньше беспокойства.

На площади, перед домом правления колхоза, стояло несколько старых берез с шершавой, потрескавшейся на комлях корой; длинные ветви, точно струи, стекали с их покатых вершин почти до самой земли. Под березами издавна было поставлено несколько скамеек и лежало два больших, временем точеных, камня-валуна. В свободные часы сюда часто собирались пожилые колхозники. Развертывая кисеты, дымя цигарками, они неторопливо обсуждали не только свои колхозные, но и всесоюзные и мировые дела. Иногда, в душное время, здесь устраивались колхозные собрания и митинги. Весной и летом, когда из клуба тянуло на волю, Ольховская молодежь любила проводить под этими березами свои вечерние гулянки. До полуночи не стихали здесь счастливый гомон, звуки гармоней, пляски и песни. Веселое, радостное было это место.

Пересекая площадь, Ерофей Кузьмич взглянул на эти березы

и даже приостановился в недоумении. Под березами толпились немцы. В руках у них поблескивали топоры. «Неужто и эти хотят свалить? — подумал он негодуя. — Отсохли бы у них руки, у немтырей этих, право слово! И чего выдумали? Значит, не собираются пока в отъезд!» Но тут же Ерофей Кузьмич понял, что немцы пришли сюда не затем, чтобы срубить березы. Между двух из них они укрепили перекладину из толстой следи. Ерофей Кузьмич еще не понял, для чего понадобилась эта перекладина, но у него внезапно заныло сердце. «Что ж они задумали, а?» Постояв в недоумении, он пошел дальше, поглядывая по сторонам с опаской.

Из комендатуры навстречу ему вышел Ефим Чернявкин. «Выдал!» — ахнул Ерофей Кузьмич и опять остановился, хватаясь за березовую жердь ограды, слыша, как болью сердца опалило всю грудь. Раскинув полы пиджака, сунув руки в карманы брюк, Ефим Чернявкин прошел мимо часовой независимо, даже не взглянув на него, а когда оказался рядом со старостой, шевельнул черной бровью:

— Идешь, Кузьмич? Иди, там уже поджидают тебя.

— Меня? — теряя голос, прошептал Ерофей Кузьмич. — А что там? Зачем?

— Или не знаешь? Иди, скажут!

Ерофей Кузьмич долго не мог попасть в дверь комендатуры. Давая ему дорогу, часовой отстранился сначала влево — и он почему-то толкнулся туда же, затем часовой, досадливо сморщась, отстранился вправо — и он вправо. Так повторялось несколько раз. Кончилось тем, что часовой, зарычав, схватил Ерофея Кузьмича за рукав и рванул в сени.

Квейс встретил Ерофея Кузьмича сурово.

Комендант стоял, расставив ноги, как для схватки, навалившись широким задом на край стола. Только успел Ерофей Кузьмич переступить порог и схватить с головы шапку, чтобы поклониться, Квейс оторвался от стола и, тряхнув петушиным гребнем волос, быстро ткнул указательным пальцем в направлении его груди.

— Ты ест старост! — закричал он, будто залаял. — Ты должен говорит, кто ваш дерефн поджигал хлеб? Ты все надо говорит! Отвечат!

У Ерофея Кузьмича разом опала боль в груди. «Ага, слава богу, не в лоботрясе дело! — подумал он. — Опять с этим хлебом!»

— Где же мне знать, господин комендант? — Ерофей Кузьмич жалобно скривил лицо. — Если бы пришлось видеть —

другое дело. Загорелось — я дома был, все люди знают...

— Ты должен знать! — еще раз пролаял Квейс.

— Нет, господин комендант, что хотите со мной делайте, — не знаю. Он покачал головой. — Не знаю, а указать зря не могу, не хочу брать греха на душу.

Квейс круто обернулся, ткнул пальцем в угол.

— Он поджигал?

И только теперь, оглянувшись на угол, Ерофей Кузьмич понял, что случилось в это утро. На полу, у печного шестка, сидел, слабо раскинув ноги, завхоз колхоза Осип Михайлович. Темная рубаха на нем была изодрана в клочья, а под ними виднелись на теле багровые рубцы. Лицо у завхоза исцарапано, седые усы в крови, а в глазах, выглядывающих из-под опущенных лохматых бровей, и беспредельная тоска, и жаркие, точно от кремня, искры едва сдерживаемой ярости. «Ефим выдал! — весь немея, понял Ерофей Кузьмич. — Ох, черная душа! На смерть привел человека!» И хотя Ерофей Кузьмич был зол на Осипа Михайловича за те слова, какие тот сказал ему при народе на колхозном дворе, но, поняв, что завхозу грозит гибель, ответил коменданту твердо:

— Не могу знать. Я не видал того, а раз не видал, как мне говорить? Мне жить недолго...

— Он большевик? — спросил Квейс.

— И в большевиках он, господин комендант, никогда не бывал, — еще более твердо ответил Ерофей Кузьмич. — Уж это я знаю точно. За колхоз он, верно, горой стоял, а чтобы записаться в большевики — этого не было. Грех на душу не возьму, как хотите...

Осип Михайлович поднял глаза на Ерофея Кузьмича, зашевелил окровавленными усами.

— Прости, Кузьмич, перед смертью, — сказал он, тяжело передыхая. Плохое о тебе думал... — И в глазах его на некоторое время погасли кремневые искры.

Квейс не понял завхоза, закричал:

— Что ты сказал? Что? Отвечат!

Осип Михайлович посмотрел на коменданта и с силой сказал сквозь зубы:

— Перестань ты лаять, собака! — Махнул рукой на Ерофея Кузьмича: Ничего он не знает! — И добавил спокойно: — Большевик я с давних времен.

— О! — торжествующе воскликнул Квейс, оглядываясь на

своих солдат, стоявших у окон. — Он сознавал! Он ест большевик! — На его одутловатом лице маленькие глазки поплыли куда-то вверх, как масляные пятна. — О! воскликнул он еще раз и, отвернувшись, заговорил о чем-то с солдатами по-немецки.

— Да ты что, Осип Михайлович? В уме ли ты? — сказал Ерофей Кузьмич, подступив тем временем к завхозу. — Что ты на себя поклеп-то возводишь? Или жить неохота? Ты же не состоял в большевиках, всей деревне известно!

— Открыто не состоял, — возразил Осип Михайлович. — Я тайный, Кузьмич, вот какое дело.

— Тайный?

— Да. С давних времен.

— Пропал ты, Осип! — поморщился Ерофей Кузьмич.

— Знаю...

Немцы приволокли Осипа Михайловича в комендатуру рано утром. Все утро он решительно отвергал обвинение в поджоге хлеба и стойко, стиснув зубы, переносил побои. Но за несколько минут до прихода Ерофея Кузьмича, смотря на рассвирепевшего Квейса, он понял, что судьбы не миновать: в Ольховке кто-то должен ответить и пострадать за поджог хлеба. Он знал, что никто в деревне, даже Ефим Чернявкин, не подумает обвинять в поджоге Макариху — не женское это дело. Скорее всего, если и дальше проявлять упорство, немцы схватят и погубят совсем неповинных людей и, может быть, погубят немало. И Осип Михайлович, с тем спокойствием, какое дается человеку только сознанием долга, решил принять всю вину на себя, тем более, что на него, как на поджигателя, и было указано Ефимом Чернявкиным. «Пропаду один, подумал он, — и концы в воду! А мне пропадать не страшно, видал я эту смерть!» Приняв такое решение, Осип Михайлович почувствовал, что на душе у него стало и легко и светло.

Отдав какие-то распоряжения солдатам, комендант Квейс опять подошел к завхозу и крикнул:

— Ты ест большевик! Ты поджигал хлеб!

— Да, и хлеб я поджег, — сказал Осип Михайлович, откидывая голову к стене, чтобы можно было смотреть прямо в глаза коменданту. — Натаскал керосину, облил и поджег! А теперь, поганые морды, делайте со мной что хотите!

Через час немцы согнали на площадь народ со всей деревни. День был пасмурный и тихий. На рассвете шел сильный дождь — с крыш и деревьев все еще капало. Все промокло и, казалось, под какой-то тяжестью приосело к земле. Даже из Ольховки, с высокого взгорья, при тусклом свете нельзя было разглядеть привычные для глаза дали.

Макариха пришла на площадь одной из последних. Как и все в деревне, она знала об аресте Осипа Михайловича, но за что его схватили, не могла понять. Зная, что она поджигала хлеб, она по простоте душевной и не допускала мысли, что кто-то заподозрит в этом другого человека, кроме нее. И Макариха решила: «Как активиста колхозного, должно...» Так она и говорила всем женщинам, приходившим к ней в это утро. Она успокаивала женщин, уверяя, что Осипу Михайловичу, как человеку старому и калеке, не должны немцы сделать зла, хотя он и колхозный активист, но втайне боялась, что гитлеровцы погубят его. И когда всему народу приказано было собираться на площадь, Макариха поняла: Осипа Михайловича выведут на казнь.

Пробираясь в тихой, понурой толпе ольховцев поближе к березам, Макариха увидела Ерофея Кузьмича. Тот стоял, надвинув шапку на брови.

— Сват, говори! — попросила Макариха.

— Погиб, сватья, Осип, — сипловато зашептал Ерофей Кузьмич у самого уха Макарихи. — Ефим, видать, указал. А тут он и сам признался. При мне было дело.

— В чем признался? Когда?

Но Ерофей Кузьмич не успел ответить Макарихе. От комендатуры донеслись голоса гитлеровцев, и вся толпа зашумела и хлынула на две стороны, как вода перед носом быстрого катера. По проходу, который образовался от комендатуры до берез, пробежал немецкий солдат, размахивая руками, потом тяжело, как битюг, стуча подковами сапог, прошел Квейс, сосредоточенно, будто на моление, а за ним два солдата вели под руки Осипа Михайловича. Он был босой, в изодранной рубахе, и все видели на его теле багровые, как ожоги, рубцы. Гитлеровцы зря вели его под руки. Он шел сам, хотя ему и неловко было шагать без палки, и смотрел только на березы, сеткой сучьев и редкой блеклой листвой заслонявшие перед ним весь восточный край хмурого неба. Позади него вновь стекалась воедино

толпа, но стекалась очень медленно: ольховцы со страхом смотрели на следы его босых ног, неровно проложенные по сырой и вязкой земле.

Макариха потеряла из виду Ерофея Кузьмича. Она опять оказалась сзади и не видела, что происходило под березами, куда повели Осипа Михайловича. Но вот, должно быть на каком-то помосте, высоко поднялась тучная, вся в ярких пряжках и пуговицах, фигура коменданта Квейса, и над толпой пронесся его гулкой лающий голос. У Макарихи так стучало сердце и так отчего-то заложило уши, что она не могла расслышать ни одного слова. Она стала хватать стоявших рядом колхозниц за плечи:

— Что он там, бабы? Что он?

— Об Осипе, — ответили ей. — За поджог хлеба.

— Хлеба? — крикнула Макариха.

— Будто он, сказывают хлеб поджег...

У Макарихи дрогнули и побелели губы.

— Пустите! — закричала она ослабшим голосом и, расталкивая ольховцев, полезла вперед. — Пустите, пустите меня! — все повторяла она. — Дайте мне!... Пустите.

Так и не пробившись до берез, Макариха услышала голос Осипа Михайловича. Он стоял, устремившись вперед, на том месте, где стоял до него Квейс, и в той позе, в какой его видели иногда при обсуждении спорных дел на колхозных собраниях. При каждом резком движении на нем трепетали лохмотья.

— Да, я сжег колхозный хлеб! Я! Один! — выкрикивал он, торопясь, пока немцы что-то возились с петлей. — Сжег, чтобы ни одного зерна не досталось вот этим... — он махнул рукой назад, — этим душегубам рода человеческого! Я сжег, да! .

— О-осип! — крикнула Макариха что было сил в ослабевшем голосе. Михайлыч! — и полезла было дальше.

Осип Михайлович поднял забрызганные кровью седые усы, поискал глазами в толпе Макариху, увидел ее в том месте, где колыхалась толпа, и вскинул руку так, что лохмотья сползли по ней до плеча.

— Стой, бабы! — крикнул он, стараясь отвлечь этим внимание от одной Макарихи. — Не мешать, не выть! — Увидев, что Макариха унялась в толпе, он сказал отдельно и строго, как ему не удавалось говорить никогда: — Дайте мне умереть, как надо, как умирали за нас в царское время наши товарищи большевики!...

Сзади на него накиннули петлю.

— Никогда не будет, чтобы русских людей!... — крикнул Осип Михайлович, растягивая на себе петлю обеими руками. — Никогда! — крикнул он еще раз и сорвался вниз.

Макариха не видела и не могла понять, что произошло дальше. У берез кричали гитлеровцы, а Осип Михайлович через несколько секунд вновь оказался на помосте. Растягивая на шее руками петлю, он закричал, но уже хрипло, задыхаясь, тяжело поводя грудью:

— Вот наши придут, они ловчее будут вас вешать, душегубы вы! Не сорветесь!... А наши придут!... — Толпа заколыхалась, в ней послышались стоны, и Осип Михайлович, еще больше заторопился, зная, что это его последние секунды. Перед смертью, бабы, далеко видно!... Никогда не будет, чтобы эти твари поганые... Никогда! У советской власти...

Не договорив, он опять рухнул вниз. Под тяжестью его тела выгнулась перекладина и дрогнули березы — тысячи крупных капель посыпались с их висячих ветвей на землю.

Макариха, как во сне, услышала голоса:

— О, душегубы!

— О, нечистая сила!

— Повесили? — чужим голосом спросила Макариха, оборачиваясь и не узнавая баб; она словно все еще не верила тому, что случилось. — Повесили, да? — повторила она, все еще оглядываясь, и вдруг крикнула с такой силой и болью, что помутилось в глазах: — Да его же повесили, повесили!

И будто все остальные ольховцы, только услышав ее, поняли, что случилось, — с криками и воем хлынули от берез в разные стороны.

XXIV

Сразу же после казни Осипа Михайловича комендант Квейс, позвав к себе Ерофея Кузьмича, объявил ему налог для всей Ольховки. В течение трех дней ольховцы должны были сдать для немецкой армии пять тысяч пудов хлеба и десятки голов крупного и мелкого скота.

Ерофей Кузьмич хорошо знал состояние хозяйств ольховцев и их запасы. Он сразу понял, что налог непосилен для деревни и что

собрать его совершенно невозможное дело. «Это что ж они вздумали? Это же грабеж! Внутри Ерофея Кузьмича точно надломилось что-то. — Если этот налог выполнить, вся деревня вымрет к весне! Да что они делают?» Ерофей Кузьмич тут же, стоя перед Квейсом, с привычной твердостью решил, что он ни в коем случае не будет собирать такой грабительский налог: он не хотел быть виновником неслыханного несчастья всей деревни. Он понимал, что народ будь любая власть — никогда не простит ему такого злодеяния. «Тут будет мне такая жизнь, как на муравьиной куче, — подумал он. — А скорей всего не сносить головы». Собравшись с духом, Ерофей Кузьмич спокойно и решительно заявил Квейсу, что налог он объявит деревне, но собирать его не сможет, — он, дескать, стар и болен, ходить ему по дворам трудно, а ходьбы при таком деле много.

— Э, старост! — погрозил Квейс. — Болен?

— Господин комендант, сами же видите! — взмолился Ерофей Кузьмич. Стар же я, в годах! Тут налог собирай, а тут другие дела. А у меня ноги не дюжат. Давно бы к хвершалу надо. Весь я в болезнях. Али не видите? Я — как гриб червивый, вот как! Не знаю, чем и держусь на земле.

И Ерофей Кузьмич весь сжался и стал таким маленьким и хилым на вид, что Квейс, стараясь ободрить его, сказал:

— Мой солдат будет помогать. Ты понял, да?

— Все одно! — Ерофей Кузьмич махнул шапкой. — Деревня вон какая! Ее обежать надо. Где мне?

Подумав, комендант Квейс предложил старосте взять себе двух помощников из жителей деревни.

— Это будет полицай, — пояснил Квейс.

— Вот это другое дело! — сразу согласился Ерофей Кузьмич.

Одного человека на должность полицая нашли быстро. Это был Ефим Чернявкин. Но другого, сколько ни ломал голову Ерофей Кузьмич, в Ольховке не находилось. Пообещав все же подыскать подходящего человека, Ерофей Кузьмич, охая, нетвердой, старческой походкой ушел из комендатуры.

Направляясь домой, он заглянул на минуту к Лукерье Бояркиной. Вызвав ее в сенцы, прежде всего справился о сватье Макарихе.

— Не знаешь, как она там? — спросил он. — Своя ведь, вот и тревожится сердце. И дойти сейчас некогда.

— Плохо, Кузьмич! — всхлипнула Лукерья. — Прямо на

руках унесли. Замертво лежит. И не знаю, отдышит ли.

— Чего она так, а? — поинтересовался Ерофей Кузьмич. — Мне, видишь ли, не с руки встревать в это дело... Чего она так, больше всех убивается об Осипе?

— Не знаю, Кузьмич, не придумаю.

— Да-а... — помялся Ерофей Кузьмич. — А я к тебе, Лукерья, по важнейшему секретному делу зашел. Анфиса Марковна, та сейчас не может, так ты сама, что ли, обеги баб сейчас же... Обеги и скажи: прячьте, бабы, хлеб, прячьте как можно лучше, пока не поздно. — Он нагнулся к Лукерье, пояснил: — Невиданный налог наложили! Всю деревню оберут догола! Завтра же, должно, пойдут рыскать по дворам. Кто не спрячет — пропащее дело.

— Да что ты, Кузьмич! — сказала Лукерья, клонясь на косяк двери.

— Гляди, меня не выдай! — сказал Ерофей Кузьмич, бросив на Лукерью быстрый взгляд. — О всем колхозе пекусь. Может, еще успеют попрятать, у кого лежит открыто. А обо мне кто пикнет — тогда мне, Лукерья, рядом с Осипом быть. Гляди!

У ворот его встретил Лозневой. Угожливо открыв перед хозяином калитку, он с живостью начал объяснять жестами и мимикой, что закончил все порученные ему дела по хозяйству. Ерофей Кузьмич остановился и, сам прикрывая калитку, внимательнее, чем обычно за последнее время, осмотрел Лозневого. Тот был в потертом армячишке, в разбитых, грязных ботинках, согбенный и худой, с хилой порослью на подбородке, — всем жалким видом своим он напоминал бедного татарина-старьевщика, какие в старое время бродили со своими мешками по свалкам и дворам, собирая разное барахло. Только в глазах у него в иные мгновения сквозил тот железный блеск, какой так крепко запомнился Ерофею Кузьмичу при первой их встрече. «До чего дожил! — брезгливо подумал Ерофей Кузьмич. — Теперь ему одна дорога».

— Чего показываешь? Что у тебя там? Что руками-то крутишь? заговорил Ерофей Кузьмич, как всегда, шумливо и властно, делая вид, что никак не может понять Лозневого. — Говори толком! Ну? — И неожиданно добавил: — Все одно уж теперь!

На секунду Лозневой замер, широко открыв глаза.

— Говорить? — прошептал он затем, и у него сами собой упали руки. Ерофей Кузьмич! — И быстро потянулся вперед татарской бородкой. — Что случилось?

— А то, что и быть должно, — сурово ответил Ерофей Кузьмич. — Выдали тебя, вот что!

— Меня? Выдали? Кто?

— А это не мне знать. Нашлись такие. Кто вон, скажем, нашего завхоза выдал? И на тебя нашлись. А я упреждал! Вспомни-ка!

— Ерофей Кузьмич!

— Не знаю, как и спас меня господь, — не слушая Лозневого, продолжал Ерофей Кузьмич и, будто вспомнив, что пережил недавно, прикрыл глаза и горько покачал головой. — Кинулся на меня, как зверь какой. Думал, так и растерзает на месте. А за тобой тем же моментом хотел послать да вон — на березы. Вот как вышло!

Лозневой стоял пошатываясь: у него дергались скулы и борода, а глаза помутнели, как у пьяного. Изредка он, морщась, шептал беззвучно:

— Ерофей Кузьмич!

— Ну, не хнычь! — прикрикнул на него хозяин. — Меня господь спас, а я — тебя. Из петли, можно сказать, вынул. Застоял. Не знаю, будешь, ли помнить мое добро? За что, думаю, погибать человеку? Нет, говорю, он не такой, он против большевиков и власти ихней.

В глазах Лозневого засверкали слезы.

— Да, да! Это так, — прошептал он, ошалело смотря на хозяина.

— А из армии ихней, говорю, сам сбежал.

— Да, да, правильно...

— Зачем, говорю, зря губить человека?

— Ерофей Кузьмич! — со стоном крикнул Лозневой, словно только теперь поняв, что он спасен, и хотел было броситься перед хозяином на колени.

— Стой ты! — остановил его Ерофей Кузьмич. — Слушай наперво до конца, а не будешь свиньей, после отблагодаришь, когда следует. Мне не эти поклоны нужны. — Он даже взял Лозневого за рукав армяка. — Он так сказал: «Заслужит — прощу, а нет — в петлю!»

— Чем же? Как?

— В эти... Как их?... В полицаи иди! — строго приказал Ерофей Кузьмич. — Мне же помогать будешь. Должность ничего, подходящая. Он ведь тогда так и не понял, что я тебя за него

выдавал, так что ты и не бойся с ним говорить. Да я сам поведу тебя. Что скажет, скорей соглашайся, твое такое теперь дело.

— Не хотел я этого, — упавшим голосом прошептал Лозневой. — Мне одно нужно — выжить до конца войны.

— Мало ли чего ты, к примеру, не хотел! — возразил Ерофей Кузьмич. А судьба тебе указывает. Нет, не такое теперь, видать, время, чтобы укрыться от него. Так вот, переоденешься получше, пойдём скоро.

Перед вечером Лозневой вместе с Ерофеем Кузьмичом побывал у Квейса. Вернулся он из комендатуры с полным комплектом немецкого обмундирования; особо ему выдали белый лоскут — сделать повязку на рукаве. В приоткрытую дверь горницы Ерофей Кузьмич некоторое время с интересом наблюдал за Лозневым. Сначала он стоял перед зеркалом, распялив у себя на груди немецкую куртку серого змеиного цвета, а потом, свалившись на сундук, где лежала вся его новая одежда, долго судорожно встряхивал плечами...

... Утром Ерофей Кузьмич не поднялся с постели.

Алевтина Васильевна долго выжидала, хлопоча у печи, потом спросила недружелюбно, как и вообще говорила со стариком в последние дни:

— Ты что вылеживаешь-то? Начальство, да?

— Не видишь — что? — ответил Ерофей Кузьмич со стоном. — Запаривай отрубей, что ли! Разломило всего. О господи, света белого не вижу. Ох, от непогоды, этой проклятой должно...

Пришлось Лозневому и Чернявкину одним раскладывать объявленный немцами налог на дворы. С этого дня два полица, в сопровождении немцев, с утра до вечера начали бродить по деревне. Они обшаривали все амбары и кладовки, дочиста выгребали у колхозников зерно, отбирали скот, птицу, овощи, припасенные на зиму. На дворах с утра до вечера не стихали ругань, крики и бабий вой...

А над всем миром двигалась непогода.

Все плакало и плакало небо.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

За рекой Вазузой, в темном еловом урочище, капитан Озеров устроил большой привал. Тот день был тихий и солнечный. Где-то далеко на востоке, куда прокатилась война, тяжело ухали фугасы, а в урочище держалось стойкое осеннее безмолвие. Весело трудились белки: обшаривали хвою, грызли шишки, готовили к зиме дупла. Непоседливые синицы неумолчно перекликались в подлеске. Березки неторопливо раскладывали вокруг себя желтенькие листья-карты, будто гадали о своей судьбе.

Весь день в это большое урочище, как и рассчитывал капитан Озеров, стекались люди из полка: пробирались на восток. Наблюдатели, выставленные во многих местах по реке, встречали их и вели на привал. Раньше всех здесь появились почти в полном составе роты с правого фланга рубежа, неторопливый, флегматичный капитан Журавский дольше всех вел бой и лучше других сохранил личный состав своего батальона. Затем начали выходить мелкие группы с далекого левого фланга; они принесли весть, что комбат Болотин погиб, а вместо него командование Первым батальоном взял на себя комиссар полка. Наконец в строгом порядке прибыла основная часть Первого батальона; ее привел сам Яхно. К вечеру в лесном лагере Озерова, всем на удивление и радость, собралось больше половины стрелков полка.

У всех подняла дух встреча Озерова с Яхно.

Как у большинства людей, побывавших в первом бою, у Яхно что-то неуловимо изменилось в лице: или добавились морщинки, или глаза, повидавшие смерть, теряли свой прежний цвет. Но выглядел он, как обычно, моложавым и бодрым. В зеленоватом солдатском ватнике, на который он сменил перед боем шинель, Яхно казался еще подбористей и легче в ходьбе. Там, где он проходил, солдаты охотно вскакивали со своих мест и отдавали ему честь, а затем сбивались в кучки, толковали:

— Вот и комиссар пришел!

— А с ним, ребята, как-то легче душеньке!

— Может, и на поправку пойдут наши дела?

Встретив Озерова, Яхно быстро схватил его за обе руки, сжал их, как мог, в своих руках и долго тряс, и на моложавом, светлом лице комиссара все это время играла улыбка. Заметив, что голова Озерова повязана бинтом, он быстро спросил:

— Легко?

— Так, царапнуло...

— Я знал, что мы встретимся! — заговорил Яхно, все еще не выпуская рук Озерова и вспоминая, как они прощались перед боем и капитан почему-то долго не бросал сорванный им какой-то осенний цветок. — Я верил в это! А ты?

— И я верил, — смущенно ответил Озеров, заметив, что к их разговору прислушиваются столпившиеся вокруг солдаты.

— Итак, поздравляю, капитан! — Яхно еще раз встряхнул руку Озерова. От всей души поздравляю! — Он тоже заметил, что вокруг стоят солдаты, и, выпустив наконец руки Озерова, заговорил громче, чем нужно было говорить для одного капитана: — Как бы то ни было, а полк выполнил свою задачу. Правда, нам это стоило дорого. Но первая удача, даже небольшая, всегда дорога! Теперь мы знаем, что можем задерживать немцев. А раз мы знаем это, мы остановим их!

Обойдя весь лагерь, поговорив на ходу с солдатами, Яхно и Озеров вышли на пустую поляну, сплошь покрытую узорчатым позолоченным листом папоротника. Они забрели до колен в золотую заводь и остановились.

— Я очень, очень рад, что вы пришли, товарищ комиссар, — сказал Озеров. — А Волошин... знаете?

— Да, знаю, — опустив голову, ответил Яхно.

Они грустно помолчали, затем Яхно сказал:

— Полком должен командовать ты — и никто больше!

— Но вы — комиссар. Значит, двое?

— Хорошо. Юридически двое, — согласился Яхно, — но фактически — один ты! У тебя есть на это право. А я буду помогать тебе. Видишь ли, я не из тех людей, которые гонятся за властью. — Он помолчал. — Я убежден, что в любой воинской части должен быть один командир. Полновластный и умный!

Озеров улыбнулся, глаза его вспыхнули чистой летней синевой. Он сказал:

— Ум хорошо, а два — лучше. Особенно в тяжелое время.

Яхно приподнял козырек фуражки — на лоб высыпались светлые завитки волос. Он взглянул на Озерова, спросил:

— Надо обсудить, что делать?

— Да.

Они пошли дальше, оставляя за собой широкий след, и листья папоротника затрепетали почти по всей поляне.

— Сейчас переходил Вазузу, — заговорил вдруг Яхно совсем другим тоном, — и знаешь, какие там камешки? Смотришь — в глазах пестрит! Я набрал их полный карман! — Он вытащил из кармана горсть разноцветных камней. — Видишь? Просто чудо! Это я для сына. Вот выйдем к своим, я их пошлю домой. Он у меня любит собирать такие камешки.

...За ночь все люди, собравшиеся в лесной лагерь полка, хорошо отдохнули. Утром приказом штаба вместо погибшего капитана Болотина командиром Первого батальона был назначен старший лейтенант Головко, командир взвода пешей разведки, а все бойцы и командиры из батальона Лозневого временно, до выхода с территории, занятой противником, распределены по мелким подразделениям. В полдень был проведен смотр полка. Два стрелковых батальона и мелкие подразделения выстроились на просторной лесной поляне. И когда пронеслась команда: «Под знамя, сми-и-ир-но-о-о!» и над поляной поплыло, играя золотом шитья, шелковое боевое знамя, все дрогнули, почувствовав, как по шеренгам, словно ток, прошла знакомая сила, всегда испытываемая на смотрах, и все поняли, что полк спасен и вновь начинает жить привычными законами воинской жизни.

Но в этот день началась осенняя непогода. Солнце не показывалось. Все небо затянуло хмарью. По шумному лесу неслась облетевшая с деревьев листва. А вскоре после смотра низко над урочищем поплыли темные тучи и затрусил, затрусил неторопливый осенний дождь.

И тогда вновь помрачнели солдаты. Собираясь кучками под разлапистыми елями, они толковали тихонько и озабоченно:

— Воедино-то собрались, а что толку?

— Да, осень, братцы! Даже муторно!

— Польют дожди — куда пойдешь?

— При такой погоде загниешь с одной тоски!

Комиссар Яхно сразу почувствовал, что непогода быстро портит настроение солдат, которое создалось у них на смотре. Переговорив с Озеровым, он вызвал парторга полка — политрука Вознякова. Преждевременно располневший, тот явился неторопливой гражданской походкой, придерживая у бедра до отказа набитую бумагами полевую сумку из желтой кожи.

— Коммунистов всех учел? — спросил его Яхно.

— До единого, — ответил Возняков и потянулся к сумке.

— Собери немедленно.

Коммунисты собрались в сторонке от лагеря, под старыми елями, в затишке. Поджидая Яхно и Озерова, хмуро толковали о непогоде. Положив на колени полевую сумку, политрук Возняков разворачивал на ней и рассматривал какие-то бумаги. С веток то и дело падали на них крупные капли.

— Тьфу, дьявол! — заволновался Возняков. — Как здесь протокол писать? — Он оглянулся. — Может, кто-нибудь ветки трогает?

— Никто их не трогает, — ответил Юргин, стоявший позади. — Насквозь течет.

— Да, занепогодило, — поежился Дегтярев. — Надолго ли?

— Теперь надолго, — ответил кто-то знающе.

И заговорили под каждой елью:

— Скажи на милость, даже темно стало!

— Теперь польют! А здесь гиблые места!

— В такую погоду и собакам тошно.

Показались Яхно и Озеров. Они шли рядом по мокрой траве, даже не пытаясь защищаться от дождя. Не дойдя немного до места, где было назначено собрание, они остановились, о чем-то поговорили и захохотали, как могут хохотать лишь уверенные в себе люди. Всех поразили этот смех, и все замолчали в недоумении.

— Занепогодило, а? — весело заговорил Яхно, первым проходя под ели.

Ему ответили неторопливо и грустно:

— Осень, товарищ комиссар!

— Теперь надолго!

— Погодка неважная, что и говорить!

Яхно переспросил с усмешкой:

— Неважная? А я вам скажу, товарищи, что это — самая чудесная погода! Вчера я весь день мечтал о такой. Эх, думаю, начались бы дожди! Ведь пора, пора! Зарядили бы на неделю, а то и на две! И вот, как говорится, полное исполнение моих желаний. — Он обернулся к Озерову, который стряхивал с фуражки брызги дождя. — Ведь это чудесно, товарищ командир полка, что наконец-то установилась такая погода?

— Очень хорошо, — серьезно ответил Озеров.

— Признаюсь, — продолжал Яхно с улыбкой, — вчера я даже немного приуныл, поглядывая на небо. Неужели, думаю, будет

продолжаться это бабье лето? А сегодня у меня, честное слово, отлегло от сердца. Поглядите, как обложило, а? Это надолго! На неделю, а то и больше. Нет, нам здорово повезло! Очень здорово!

Все молча, с недоумением слушали комиссара. Затем один коренастый сержант в мокрой помятой пилотке, высунувшись из-за комля ближней ели, недоверчиво спросил:

— Чем же она, эта мокреть, нравится вам, товарищ комиссар? При такой погоде сгнием на корню!

— Чем нравится? — переспросил Яхно, приглядываясь к сержанту, и улыбочное лицо комиссара сделалось строгим. — А тем, что она помогает нам в войне, товарищ сержант! Она помогает сейчас нашим войскам задерживать немцев! — Он быстро осмотрелся вокруг. — У наших войск, несмотря на потери, с каждым днем растет стойкость. Они всюду начинают бить и останавливать врага. Теперь немцам и при сухой-то погоде трудно идти, а как они пойдут в такую слякоть? Здесь везде бездорожье, леса, болота... Далеко ли они продвинутся в такую распутицу со своей тяжелой техникой? Половину танков и орудий они замертво засадят в болотах, на всех дорогах, у всех переправ создадут заторы. Вот и конец их наступлению!

Коммунисты, уже не обращая внимания на дождь, начали выходить из своих укрытий и осторожно сбиваться вокруг той ели, где стоял комиссар.

— Так вот, — продолжал Яхно, стараясь говорить таким тоном, каким говорят в частных беседах, а не на собраниях, — чем ни хуже погода, тем лучше для нас. Чем сильнее дождь, тем веселее должно быть у нас на сердце. Пока немцы будут сидеть в болотах, мы выйдем с территории, занятой ими, и соединимся с нашими войсками. И я уверен, что это будет скоро! Вот почему, товарищ сержант, мне нравится такая погодка! Она должна нравиться и всем людям полка.

Многие коммунисты виновато опустили головы.

— И нам трудно? — щурясь, спросил Яхно. — За ворот льет? Ноги мокрые? А неужели мы хуже отцов и дедов наших?

— Все ясно, товарищ комиссар, — угрюмо, но смело ответил Матвей Юргин. — Пойдем без лишнего слова. И нам не привыкать ходить в непогоду.

— Грязь, понятно, не страшна, — слышался голос из-за ели, — да вот беда — отрезаны.

— Это кто сказал, что мы отрезаны? — вдруг крикнул Озеров. — Кто там, за елью? А ну, выйди сюда!

Коммунисты расступились, и коренастый сержант в помятой мокрой пилотке вышел вперед. Озеров погрозил ему пальцем.

— Забудь это глупое слово! Навсегда! Слышишь?

— Слышу, товарищ капитан!

— Забудь! — крикнул Озеров и, обращаясь ко всем, заговорил, как всегда, резко, напористо: — Каждый, кто произнесет это глупое слово, будет расплачиваться за него своей головой. Так и знайте! Кто выдумал это слово? Труссы! — И, не отдавая себе отчета, что повторяет мысли, вычитанные из «Войны и мира», сказал: — Это слово не имеет никакого смысла. Отрезать можно кусок хлеба, но не армию. Отрезать армию, перегородить ей дорогу невозможно, ибо места кругом всегда много, всюду можно найти новую дорогу и есть ночь, когда ничего не видно. Ишь ты, отрезаны! — Озеров еще раз погрозил пальцем. — Чтобы я не слышал больше этого поганого слова! Вы, коммунисты, должны сделать так, чтобы его не произносил ни один солдат! А в походе вы обязаны показать всем пример мужества, выносливости и бодрости. Идти будет нелегко, нечего греха таить, но что на войне дается легко?

Политрук Возняков решил, что пора начинать собрание. Приблизясь к Яхно, он шепотом спросил:

— Может, откроем, товарищ комиссар? Все в сборе. Присутствует... одну минутку!

— Какое собрание? — перебил Яхно. — Собрание уже закончено.

Политрук Возняков оторопело опустил руки с бумагами.

— Закончено? А как же... А как протокол?

— Обойдемся без протокола.

Минут через пять, выслушав еще несколько наказов Яхно, коммунисты разошлись по всему лагерю, и всюду под елками начались оживленные солдатские разговоры...

II

Через два дня полк выступил в поход.

Вслед за войсками первой линии по большакам, ведущим к Москве, двигались самые различные немецкие штабы, тыловые части и резервы. На большаках не стихал гул немецких танков и тяжелых

машин, мотоциклов и грохот повозок. В селениях, стоявших на большаках, да и в тех, куда можно было проехать в распутицу, проходящие вражеские части останавливались на постой. В городках и районных центрах торопливо размещались комендатуры.

Полку Озерова оставалось одно: минуя все пункты, занятые немцами, не показываясь на большаках, пробиваться на восток пустыми проселками и бездорожьем, сквозь леса и болота. Это было почти безопасно — сюда не долетали даже отзвуки войны. Вначале, когда люди полка не обвыкли еще в новом своем положении и боялись похода, всем нравилось брести такими местами, но вскоре всем стало ясно, что идти здесь очень трудно.

С каждым днем ухудшалась погода. С небосвода, будто весь он проржавел за лето, нескончаемо лили дожди. Всюду разверзлись земные хляби, куда ни ступишь — по колено. Урочища залило, как в половодье, и в них теперь было сумеречно и душно от тяжелой, застойной мглы. Поневоле пришлось бросать в пути, в непролазных болотах, все повозки и двуколки.

Но и налегке, без обоза и ноши, двигались медленно. Бездорожье и непогода выматывали силы. Много времени отнимала разведка. Шли в самое различное неурочное время, смотря по обстановке: и на рассвете, и вечером, и ночью. Питались плохо. Своих продуктов не было, приходилось довольствоваться тем, что удавалось изредка раздобыть в опустевших лесных деревушках. Люди то и дело прокалывали на ремнях новые дырки. К тому же ночами уже начали лютовать стужи; засыпая от усталости мертвым сном, промокшие люди примерзали к земле вместе со своей немудрящей подстилкой еловым лапником или соломой. И обогреться не всегда удавалось: перед непогодой, покрывшей весь край, был бессилен даже огонь. За неделю похода многие так обессилели, что едва держались на ногах. Тяжко было видеть, как шли вслед за Озеровым и Яхно их бойцы — тощие, с воспаленными глазами, продрогшие, в прожженной у Костров и заляпанной грязью одежде. Но они шли и шли — угрюмо и молча.

Наконец полк вышел на подмосковные земли южнее Волоколамска. Поля здесь просторнее, с более твердой почвой, деревень больше, а в смешанных лесах и рощах уютно и светло. Идти здесь стало легче, но во много раз опаснее. Разведчики всюду натыкались на врага. Почти во всех деревнях стояли на постое, не передвигаясь, немецкие части. Во многих местах немцы устраивали

различные склады, временные гаражи, заправочные базы. У обочин дорог виднелись погрязшие в болотинах и разбитые немецкие танки, опрокинутые повозки и машины. И всюду, куда хватал глаз, медленно поднимались и таяли в ненастном небе большие и малые дымы.

Озеровцам стало ясно, что немецкое наступление задержано, что недалеко фронт. Однажды утром все услышали: с востока внятно доносило гул орудийной пальбы. У некоторых озеровцев показались на глазах слезы.

Вечером, пересекая большак, озеровцы встретились с немцами. Произошла первая схватка. Озеровцы сожгли несколько немецких машин, перебили множество немцев и сами удивились тому, как они дрались и что сделали. И все поняли, что их полк, несмотря на потери, на тяжелый поход, стал и сильнее, и храбрее, и дружнее в бою, чем был раньше.

Ш

Земля, скованная стужей, была тверда, точно камень. И все на ней, мертво околоченев, хрустело и шуршало под ногами: и побитые травы, и мох, и опавшая листва. Чуткое ухо издали могло определить, что лесным бездорожьем бредут сотни людей.

Они шли вблизи от опушки. Выходя на участки, где было редколесье, они видели в правой стороне куски поля с потемневшими от дождей стожками, с голыми деревьями на пригорках. Подальше, за косогорами, курились дымки. Вечерело. В глубине леса уже стояли густые сумерки, а на полянках, при хорошем свете, горели в багрянце одинокие ели. Иногда на проредях сквозило такой стужей, что пронизывало до костей. Озеровцы отворачивали от нее лица, натягивали на уши пилотки, горбились в своих грязных, обтрепанных шинелях, жались друг к другу и еще сильнее стучали сапогами по мерзлой земле. Большинство солдат шли молча, занятые только тем, чтобы спастись от холода. Многие кашляли — глухо, задыхаясь, надрывая простуженную грудь.

На двести метров впереди полка, во главе с комиссаром Яхно, двигался дозор, зорко осматривая незнакомые места. Стрелковые батальоны двигались плотными колоннами; за ними — одной группой — штаб и бойцы всех мелких подразделений. В середине этой группы три пары бойцов несли трое носилок: на передних лежал

адъютант погибшего командира полка Целуйко, на остальных — двое тяжело раненных в схватке на большаке. Здесь же тащились легко раненные и больные. Они частенько со стоном хватались то за деревья, то за идущих рядом товарищей.

Больного Целуйко несли Андрей и Умрихин. Впереди шел Андрей. Теперь он был похож на охотника-промысловика. Он был в ватнике и в сапогах. На его широком затылке лежала старенькая шапчонка, случайно подобранная в покинутой придорожной избе, а у пояса висели охотничий нож и две гранаты. Андрей шел, хрипло вздыхая, сутулясь, мертво сжимая в опущенных руках концы березовых жердей. Он часто запинался за кочки и корни деревьев, приводя этим Умрихина в недоумение. Не утерпев, тот спросил:

— Или сдаешь уже?

— Тащи! — прохрипел Андрей.

Но тут же он так покачнулся, что едва не выронил концы носилок. Подстраиваясь под его новый шаг, Умрихин озабоченно спросил:

— Да ты что, Андрюха? Ладно ли с тобой?

— Вижу плохо, — сознался Андрей.

— Не курья ли слепота?

— Нет, не она...

— А то сейчас для нее самое время — вечер. И захворать ею недолго! Жратвы-то почти никакой.

— Не она! — с раздражением повторил Андрей. — Заладил одно да одно! Неси!

— Ты гляди-ка, — еще более подивился Умрихин. — Неужто и ты себе нерву попортил? Но-но, дела!

Целуйко около часа лежал в забытьи, а тут опять начал бредить. Не в силах поднять горячей головы, он хватался правой рукой за жердь, слабо восклицал:

— Да, весна, весна!

— Путаешь малость, дорогой, — добродушно возразил Умрихин. — От такой весны загнуться можно. Кишки пустые смерзаются воедино. Да не хватайся ты, о, беда-то! Вот потеряешь варежку — зачоченеет рука. Чего ты мечешься? Захворал — и лежи тихо. Вон погляди, как Степан Дятлов лежит. Вон, сзади. Ну и ты лежи знай!

— И как чудесно все! — не унимался Целуйко.

— Где там, даже расчудесно! — съязвил Умрихин и, сморщив

обветренное лицо, покачал большой головой, кое-как прикрытой пилоткой. — По своей земле бредем, как зверюги. Отощали да оборвались до последнего. Погляди, какая шинель на мне! Только и держится тем, что грязью ее склеило, а потом заморозило. Да не махай ты рукой! Что тебе — митинг тут?

— Иван, замолчи! — попросил Андрей.

— А чего он мелет!

— Пусть! А ты молчи!

— Нет, я не знал... Я не знал такого счастья... — пробормотал Целуйко невнятно, но с чувством.

— Вот видишь! — поспешил продолжить разговор Умрихин. — Он все свое. Нашел счастье!

Андрей едва не вырвал из рук Умрихина концы носилок. Сбив шаг, Умрихин раза два быстро переступил и взглянул на Андрея, — не выпуская из рук носилок, тот прижимался плечом к толстой шершавой березе.

— Ты же уронишь его! — крикнул Умрихин.

— Дай отдохну, — попросил Андрей. — Палит всего.

— Палит? Ну-ка, опусти.

Они опустили Целуйко на землю. Он продолжал бредить — все толковал о весне и о какой-то девушке.

— Ну, говорун! — не утерпел Умрихин.

Андрей прислонился спиной к стволу березы, расстегнул ворот ватника. Умрихин заглянул в его лицо. Как и все, за эти дни похода Андрей сильно похудел, потемнел и начал обрастать бородкой. Сейчас по его вискам стекал пот.

— Неужто и ты? — прошептал Умрихин.

Их обступили солдаты.

— Что встали? Сменить?

— Андрей вон...

— Что такое?

— Я — нет... — прохрипел Андрей. — Я так...

— Захворал, — пояснил Умрихин. — Палит всего.

— Сменить его надо.

— Нет, я сам, — сказал Андрей, нагибаясь к носилкам. — Не надо. Я сам понесу. Меня обдуло, и теперь легко.

— Уронишь ты его!

— Иван, замолчи! — Андрей круто обернулся. — Тебе сказано?

— Видите? Слово не скажи — кипит, — пояснил Умрихин солдатам.

Пошли дальше. Андрей чувствовал, что с каждым шагом ему становится труднее нести носилки, но шел и шел, со всей силой, какая еще была в нем, борясь с хворью. Иногда в глазах так темнело, что он терял из виду идущих впереди и натыкался на деревья. Но он шел, — его не покидала мысль, что он должен идти на восток...

Андрей был человек прямого, ясного ума, простых и твердых решений. Поняв однажды, что он, как и все, должен уйти на восток, к своим, он сразу и накрепко подчинил себя этой мысли и неотступно следовал ей. За дни похода он сильно изменился. Проходя по местам, где хозяйничали гитлеровцы, он всем сердцем понял, какое неизмеримое горе нависло над родной страной. Он ужаснулся, увидев, как могут быть злы и беспощадны люди. Теперь он чувствовал, что из его души точно выветрилась та тишина, которая держалась в ней с раннего детства. Теперь он чувствовал, что в его душе так же шумно и тревожно, как и в родном краю. Эти перемены начали сказываться во всем: он стал менее сговорчив и добр, среди товарищей держался смелее, разговаривал настойчиво, а иногда даже дерзко, делал все быстро, напористо и беспокойно, — так и поднимала его та буря, что медленно копилась в его душе.

Сумерки быстро сгущались. Вправо от извилистой дорожки, по которой двигался полк, за молодым непролазным ельником совсем не стало видно полей. А в левой стороне открылось большое болото, заросшее камышом и кугой; кое-где на нем, примостившись на кочках, поднимались корявые березки да хлипкие ольхи. С болота тянуло лютой зимней стужей. Березки да ольхи метались, ища защиты от смертного лесного сквозняка, — издали казалось, что они бегут долой с болота. Не стихая, шумел стылый камыш да пересыпалась между кочками сухая куга.

Постукивая сапогами, озеровцы шли, горбясь, дуя на руки, хватаясь за уши. Многие старались бежать вприпрыжку, приплясывали на одном месте, с хрустом ломая в лужицах ледок, обдираясь в темноте о кусты подлеска. Изредка взлетали над бредущей колонной обрывки фраз и отдельные слова:

— Зима?

— Скоро зима.

— В комок сводит, до чего холодно!

— Люто! Ох, люто!

А неугомонный Целуйко продолжал восхищенно рассказывать о чем-то радостном. Умрихин уже не разговаривал с ним, — зорко следил за тем, как шагает Андрей, и все чаще и чаще просил его:

— Да тише ты, ну! Упадешь!

И ворчал про себя:

— Вот незадача, а? Случись же такое!

Умрихину уже давно оттянуло руки. У него заоченели пальцы. Ему хотелось бы смениться у носилок, и он не один раз уже заговаривал об этом, но Андрей, не слушая или не слыша его, все шел и шел, хрипя, гребя по кочковатой земле сапогами, — невиданное, бешеное упорство было в этом дюжем человеке, боровшемся с хворью.

«Ну, детина! — поражался Умрихин. — Вот в тихом омуте-то какой бес оказался, даже страшно с ним!»

Андрей шел, обливаясь потом, напрягая все силы. Все его внимание было занято тем, чтобы не ослабеть, не оступиться в темноте и не уронить больного, и поэтому он только изредка был в состоянии видеть, как идут товарищи, спасаясь от лютой стужи. Но в те секунды, когда он видел, как брели товарищи, он чувствовал, что в его душе свистит и воет такой же вот предзимний ветер...

Он не понимал, долго ли шел, неся Целуйко, и что еще случилось в пути. Очнулся он от гула в небе. Он лежал, уткнувшись головой в сено, должно быть, у стожка, — и никак не мог вначале сообразить, где и что гудело, хотя гул был знакомый. Или буря шла по лесу? Он привскочил и торопливо спросил, хотя еще не видел никого вокруг:

— Это что гудит?

— Самолеты, — ответил кто-то рядом.

— Бомбят?

— Идут низко, — ответил тот же голос. — Опять к Москве.

Андрей лег и, переждав несколько секунд, наконец-то понял, что с ним разговаривает Матвей Юргин. Тогда он, ткнувшись головой в сено, сказал сквозь зубы:

— Сволочи! — и, помолчав немного, спросил тихонько: — А до Москвы... далеко?

— Теперь недалеко, — ответил Юргин. — Плохо тебе?

— Ломит всего.

Гул в небе откатился далеко и затих. И вдруг у Андрея точно

вода из ушей вылилась, — он услышал, как шумит ветер, скрипят деревья во тьме, а поблизости от стожка потрескивает на огне сушняк и раздаются человеческие голоса. Андрей поднялся, сел и, будто только теперь узнав Юргина, спросил:

— Это ты, товарищ сержант?

— Видать, плохи твои дела, — заметил на это Юргин. — Ну, крепись, брат, крепись, что есть сил. Теперь немного осталось идти. Вот перейдем скоро фронт, попадем к своим, там отдохнем, в баню сходим...

— Я дойду, — сказал Андрей твердо.

В стороне от стожка — под елями — разгорались костры. Солдаты сбивались в кружки вокруг костров, через головы друг друга протягивали руки к ворохам валежника, где метался огонь, хватали его горстями и растирали в нем окоченевшие пальцы. Андрей понял, что лежал в забвении у стожка совсем недолго — полк только еще располагался на привале.

— А Целуйко где? — вдруг спросил он тревожно.

— С той стороны все.

Андрей услышал, что за стожком ворчит Умрихин, и понял, что он возится около раненых и больных. «Вот чепуха какая! — сказал Андрей про себя с удивлением и горечью. — Что ж это меня сморило так?» И опять свалился у стожка.

...В западной стороне раздался сильный взрыв, потом другой, третий... Озеровцы поднялись и замерли у костров. Андрей вскочил, сказал резко:

— Зря!

— Зачем зря? — возразил Юргин. — Есть случай — бей, жги! Война так война! Вот взорвали склад, а там, знаешь, сколько снарядов? Сколько людей наших погибло бы от них?

— Это все так, — ответил Андрей. — Только ведь здесь фронт близко, а значит, и немцев везде больше. А ну как погоню сделают? Что тогда? У нас должен быть один расчет — идти тихо, по-охотничьи. Нападут на наш след какая выгода?

Больше часа озеровцы сидели у костров, плотно окружив огни, и с тревогой прислушивались к шуму леса. Наконец вдали слышались окрики часовых, затем разные голоса и шаги по мерзлой земле. К одному из костров впереди небольшой группы солдат быстро вышел капитан Озеров — как всегда, в солдатском ватнике и в крестьянской шапке-ушанке. Негромко, но властно

приказал:

— Тушить!

— Похоже, что ты и прав, — заметил Юргин Андрею.

Раздались команды. Полк быстро поднялся в поход. Солдаты таскали котелками воду из ближнего болотца и торопливо заливали огни.

IV

За ночь полк Озерова совершил большой переход. Он двигался открытыми полями, по проселкам, где метался порывистый, вихревой ветер, обшаривая все закуты на земле, неприятные перелески, побитые и окоченевшие травы. Полк обходил стороной все деревушки, встречавшиеся на пути.

На рассвете полк вошел в лес и, пройдя с километр, вышел к поляне, на которой смутно маячила небольшая деревенька. От нее несло свежей гарью.

Остановив на опушке людей, Озеров послал в деревеньку разведчиков и, оставшись наедине с Яхно, заговорил шепотом:

— Что же делать, Вениамин Петрович?

— Нужен отдых, — ответил Яхно. — Люди падают.

— Согласен. А с ранеными и больными?

— Тащить трудно и опасно. Надо попытаться оставить в этой деревне.

— Что ж, согласен, — сказал Озеров. — Очень жаль, но выхода больше нет: пробиваться придется с боями.

Вернулись разведчики. Они доложили, что деревенька наполовину сожжена гитлеровцами и в ней осталось совсем немного жителей. Озеров и Яхно решили разместить в деревне только раненых, больных и ослабевших, а всех остальных на всякий случай расположить на отдых по обе стороны от нее, под покровом леса.

Светало медленно. За лесом, по восточному краю неба мертвенно-пепельного цвета пробегали дрожь и неясные блики. Предзимний ветер тряс голые деревья и изредка порошил снежной крупкой.

Для выбывших из строя отвели просторную избу на краю деревни. При дрожащем свете коптилки Андрей и Умрихин, исполнявшие обязанности санитаров, устлали весь свободный пол избы, за исключением кути, ржаной соломой, пропитанной злой

осенней стужей. В переднем углу уложили тяжелораненого Степана Дятлова и больного Целуйко. Ближе к дверям расположились легкораненые и те больные, которые могли еще обходиться без посторонней помощи.

Степан Дятлов, раненный в живот, сухой и желтый, дышал редко, беззвучно и все время молчал, закрыв провалившиеся в темные ямки глаза. Целуйко метался в жару, продолжая бредить, хотя и реже, и беспрестанно хватался за все, что попадало, правой рукой, — так ему, видно, хотелось ухватиться за что-нибудь крепкое в этом мире. Остальные стонали и тряслись, продрогнув за ночь, и кто-то один часто поскрипывал зубами. В просторной крестьянской избе сразу стало тесно и душно от запахов ружейной гари, солдатского пота, грязной одежды и тряпья, пропитанного кровью.

Вскоре в разных углах избы послышался храп. Андрей присел к Умрихину, — тот дремал, сидя на полу, прислонясь правым виском к стене.

- Слава богу, затихли немного, — сказал Андрей.
- Теперь отмаялись. Отдохнут.
- С хозяйкой-то кто говорить будет, а?
- Успеется, — сказал Умрихин. — Ты сам-то как?
- Ломота прошла, а в голове шумит.
- А в глазах?
- Сумрачно.
- Ты ложись, усни малость.
- Я потерплю...

Хозяйка оказалась неразговорчивой, угрюмой женщиной. Высокая, сухопарая, с проседью в волосах, она ходила по кути, раскидывая ногами длинный подол темной юбки. Дочь ее, некрасивая и тоже угрюмая, сидела у лохани и чистила картофель. Они молча справляли свои дела и редко обращали внимание на то, что делают пришлые люди. В окна, наполовину забитые досками, тряпьем и паклей, начинал вливаться слабый утренний свет. Иногда ветер хлестал снежной крупкой по стеклам.

Андрей решил все же заговорить с хозяйкой.

— Как она, ваша деревня-то зовется? — обратился он к ней.
— Занесло и не знаем куда.

— Сухая Поляна — наша деревня, — не сразу ответила хозяйка, поправляя дрова в печи.

— От вас до Москвы далеко?

— Не очень-то и далеко.

— Побывали у вас немцы-то?

— Или не видите, что были? — неохотно ответила хозяйка.
— Почитай, всю деревню сожгли.

Хозяйка сложила руки на черень ухвата и с минуту молча смотрела в огонь. И точно там, в отблесках огня, разглядев что-то, сообщила сама, не ожидая вопроса:

— И людей многих побили.

Дочь осторожно взглянула на мать, сказала умоляюще тихо:

— Мама, не надо.

— Не буду я плакать, — сердито ответила ей мать. — Нет у меня больше ни одной слезинки. Запеклось все.

Она обернулась к Андрею и Умрихину.

— Мужика моего, Петра Матвеича, тоже сгубили, — сказала она просто и сурово. — Он заикнись им что-то, а они его привязали к танке своей черной — да во всю мочь по кочкам.

Не ожидая вопросов, но скупно, избегая подробностей, она начала рассказывать о расправе немцев над деревней:

— За околицей у нас яма была вырыта для силоса. Так они согнали к ней стариков, баб да малолеток — и давай! Всю завалили! А кто ударился бечь тех с пулеметов побили да танками помяли.

Минуту назад, докуривая сигарку, Андрей думал прилечь и подремать, чтобы лучше осилить хворь. Но теперь его сон как рукой сняло. Сколько он слышал уже таких рассказов за дни похода! «Как у нас-то теперь в Ольховке? — подумал он о родной деревне и родном доме. — Может, так же вот?»

— Пропала наша Сухая Поляна, — заключила свой рассказ хозяйка. Которые живы остались, те бежали куда глаза глядят. А вот мы вернулись. Будем уж, видно, до скончания жить. Все одно!

— Фу, даже муторно! — поежился Умрихин.

— Да за что? — спросил Андрей. — За что такой разбой, а?

— А вот за таких, как вы, — ответила хозяйка и, выдернув ухват из печи, пояснила: — Забрели к нам ночью такие вот, как вы, наши красные армейцы, их и попрятали в деревне. У нас-то их, к слову сказать, не было. У соседей вон были... А все одно Петра моего Матвеича привязали к танке да по кочкам! — Голос ее задрезжал.
— И давай всех, кого попало! А тут и огонь пошел хлестать!

— Мама! — опять прошептала дочь.

— Отвяжись, не буду! — резко сказала хозяйка. — Теперь у

меня не выбьешь ее, слезу-то. Отплакалась. Чисти, знай! Теперь во мне все каменное да черное.

Хозяйка начала шевелить ухватом дрова в печи, а Умрихин и Андрей, поглядывая на нее, долго молчали. В избе становилось светлее. Все больные и раненые спали. Даже Целуйко умолк и перестал хватать солому рукой. Вновь вытащив кисет, Андрей сокрушенно прошептал:

— Плохо! Что же делать будем?

— До капитана надо дойти, — отозвался Умрихин.

— Сходи-ка и расскажи все.

— Да, тут теперь ничего не выйдет, — более самому себе, чем Андрею, прошептал Умрихин. — Такой случай, что ты! Надо искать другое место.

Он поднялся и пошел разыскивать капитана Озерова. Свернув сигарку, Андрей прикурил от коптилки и, окинув взглядом избу, спросил, считая, что его услышит хозяйка:

— Задуть огонь-то?

Но из переднего угла вдруг подал голос Степан Дятлов.

— Не надо, — сказал он слабо, — погоди...

— Не спишь? — удивился Андрей. — Тебе полегче стало?

— Легче, — ответил Дятлов. — Я хочу поглядеть на огонь.

Вон он какой... как трепещет! Я давно гляжу.

Он лежал на носилках между двумя березовыми жердями, закрытый до шеи ватником и шинелью. Он не проявлял даже признаков, что хочет пошевелиться, — и казалось странным, что он, такой высохший и желтый, еще может подавать голос. От него шел нехороший гнилостный запах.

Андрей встал около него на колени, сказал с горечью:

— В больницу бы тебя, Степа!

— Отойди, — сказал Дятлов и тут же тихонько спросил неизвестно кого: — И зачем меня убило?

Андрей поднялся и быстро вышел из избы. В одной гимнастерке, с неприкрытой головой, он встал на крыльце, где хлестал резкий ветер, и долго стоял, смотря вдаль и не видя ничего...

...Вернулся Умрихин. Вслед за ним пришел капитан Озеров. Его ватник и ушанка были запорошены снежной крупкой. Он расспросил военфельдшера о состоянии раненых и больных, присел у стола — тяжело, устало... К нему подошла косматая пестрая кошка. Хозяйка видела, как он взял ее на колени, начал гладить красной от

холода жилистой рукой. Обернувшись к печи, он спросил так, словно продолжал начатый разговор:

— Ну что, хозяйка? Что надумала? — Он кивнул на раненых и больных. А?

— Чего ж тут думать?

— А как же?

— Тут нечего думать, — сурово продолжала хозяйка. — Оставляйте у нас, вот и все! Куда их вам тащить с собой? Легкое ли дело? Бог милостив, сбережем, выходим. Какая нам жизнь, если вы не будете жить?

Андрей и Умрихин были поражены неожиданным решением угрюмой хозяйки, а капитан Озеров, приняв ее решение, как должное, коротко поблагодарил:

— Спасибо тебе, хозяйка! Не забудем.

— Сколько их оставите?

— Во-первых, вот этого. — Озеров повернулся в передний угол. — Он ранен тяжело. Его, дорогая хозяйюшка, надо бы...

Дятлов вдруг зашевелился.

— Меня? — прохрипел он. — Оставить?

Все бросились в передний угол.

— Не-ет! — Дятлов забился под одеждой. — Не-ет?

Он взглянул на всех с ужасом, и глаза его пошли под лоб, сверкнув белками. Потом он, будто выгибаясь, чтобы сползти с носилок, сильно поднял грудь.

— Отходит, — прошептала хозяйка.

Все раненые и больные, словно почуяв, что в избу пришла она, смерть, которая всюду шла за ними, начали просыпаться и вставать со своих мест...

V

У западной окраины деревушки, в небольшой, дочерна задымленной баньке, находились на карауле два бойца. Голодные, продрогшие и усталые, они с трудом коротали время в затишке. На лесной дороге, по которой пришел полк в Сухую Поляну, стоял еще один пост, и они, надеясь на него, редко выглядывали из баньки. Но как раз в те минуты, когда умирал Дятлов, один из бойцов, обросший, синий от холода, с чирьями на шее, докурив сигарку, глянул в окошечко на дорогу, что выходила из лесу, и сразу схватил товарища

за плечо.

— Глянь-ка! Это кто же?

— Чего паникуешь, там стоят же...

Из лесу, раскидываясь в цепь, к деревушке быстро бежали люди в шинелях. В руках у них мелькали автоматы.

— Мать святая, немцы!

— Бей! Дьявол!

По стрельбе капитан Озеров мгновенно догадался: у деревушки гитлеровцы. Отрываясь от Дятлова, крикнул назад:

— К бою!

Все, кто мог, похватали оружие.

— Спрячешь? — крикнул Озеров хозяйке.

Поняв, что речь идет о раненых, хозяйка кинулась открывать подпол, закричала дочери:

— Мотря, давай сюда! Давай соломы!

— За мной! — скомандовал Озеров, бросаясь из избы.

Выскочив на крыльцо, Андрей в несколько прыжков оказался у развалин какой-то каменной постройки, вероятно, кладовой. Пальба шла такая, что второпях нелегко было понять, откуда и кто стрелял. Приподнявшись над глыбами серых камней, хотя вокруг и не стихал посвист пуль, Андрей увидел, что все остальные бойцы, которые были в избе и могли биться, бросились в палисадник, к сарайчику и в огород. Впереди за раскиданными пряслами, за пепелищами, где возвышались голые печи, на двух крайних дворах деревни метались люди, стреляя куда-то из винтовок и что-то крича. Позади — по всей деревушке — поднималась, рвалась сквозь пальбу разноголосица.

Зарядив винтовку, Андрей вновь поднялся над грудой камней, соображая, куда надо стрелять. На крайнем дворе два высоких человека в шинелях сшибли с ног бойца в ватнике и, пробежав в направлении Андрея несколько метров, упали за изгородью, где были низенькие помятые кусты акации. В ту же минуту на дворе еще показались люди в шинелях — они тоже неслись к изгороди.

— Немцы! — допахнуло ветром чей-то голос.

Где-то позади, с другой стороны улицы, начал давать короткие злобные очереди ручной пулемет. Один из тех людей в шинелях, что бежали через крайний двор к изгороди, запнулся, затем выпрямился во весь свой огромный рост, и в его вскинутой руке на фоне неба блеснул автомат. И как только он опрокинулся навзничь,

Андрей наконец-то понял, что кричали со стороны ему и кричали не зря: прямо на него бежали гитлеровцы.

Глаза Андрея вдруг налились густой смолевой чернотой, и в ней остро сверкнули зрачки. В эту секунду — впервые за жизнь — Андрей почувствовал в себе такое ожесточение, что даже не мог крикнуть, а только страшно, судорожно скривил бескровные дрожащие губы:

— А-а, поганые души!

Один гитлеровец из той группы, что залегла на крайнем дворе под огнем озеровцев, бросился вперед — к изгороди, к кустам акации. Почти не целясь, Андрей выстрелил в этого гитлеровца. Схватившись за грудь, будто поймав пулю, немец кособоко шагнул еще три шага и рухнул на землю.

Но тут же из кустов акации выскочил другой гитлеровец. Одним махом он хотел перепрыгнуть изгородь, но Андрей успел выстрелить второй раз, и гитлеровец, оторвавшись от изгороди, круто обернулся и замертво свалился в кусты.

— А-а, змеиные души! — опять прохрипел Андрей.

С каждой секундой он чувствовал в себе все больше и больше непривычной для него властной злой силы. В нем все клокотало и горело. «Так уж и думаете — ваша взяла? — рвались в нем мысли. — А ну, змеиные души, где вы?»

Раз за разом он начал бить по кустам акации. Он действовал с лихорадочной, но расчетливой и зоркой быстротой. То и дело в сторону от него летели звонкие пустые гильзы.

В этот момент Андрей впервые услышал, что бой идет не только по всей окраине деревушки, но и за нею, по всей западной части лесной поляны. Что-то призывное, обнадеживающее и даже освежающее послышалось ему в грохоте боя. Андрей почувствовал себя уверенным и смелым. Он поднялся, чтобы броситься вперед, хотя и не подумал о том, для чего это нужно; в правой стороне — у сарайчика — раздались крики и выстрелы. Несколько гитлеровцев, незаметно пробравшись с правого фланга, неожиданно выскочили из-за сарайчика на двор. Не замечая Андрея в развалинах кладовки, они начали бить из автоматов по дверям избы.

Андрей рванул с пояса гранату и бросил ее в гитлеровцев с такой силой, что она засвистела в воздухе. Не успев разглядеть, что произошло после взрыва, он бросил в дым, поплывший над двором, вторую гранату и только после того, как услышал у сарайчика

смертные крики, подумал, что ему надо бы, бросая гранаты, падать в развалины. Но эта мысль мелькнула, не оставив следа. Андрей тут же выскочил из развалин и, захваченный порывом ярости, бросился вперед.

В несколько больших прыжков он оказался на соседнем дворе, где у изгороди торчали кустики акации. Он не отдавал себе точного отчета, зачем бежит именно на этот двор, но, оглянувшись, с удовольствием заметил, что вслед за ним бегут другие озеровцы, и закричал во весь голос:

— Сюда! За мно-о-ой!

Выскочив на пепелище, он обернулся и, махая рукой, еще раз закричал, защищая слова от ветра:

— Сюда-а! Дава-ай!

Среди пепелища, груды битого кирпича, покореженной огнем жести и головней могуче высилась русская печь с высокой задымленной трубой. Она стояла как символ бессмертия разоренного крестьянского двора. Кроша и разбрасывая сильными ногами хлам сгоревшей избы, Андрей подскочил к печи, прижался к ней, холодной и ободранной, плечом и, заметив на крайнем огороде гитлеровца, рванул затвор винтовки. Ее магазин оказался пустым. Андрей схватился за подсумок, — и там не было патронов.

— Тьфу, черт! — выругался Андрей.

Из-за печи выскочил гитлеровец в каске. Длинные полы шинели, чтобы не мешали бежать, были пристегнуты у него за ремень. Держа у живота автомат, он нажал спуск, — автомат дал мимо Андрея струю пуль. Андрей мгновенно понял, что гитлеровец не заметил его, а бьет, сам не зная куда, и в ту же секунду, изловчась, ударил его наотмашь прикладом винтовки.

— Э-эк! — крикнул гитлеровец, опрокидываясь у печи.

У винтовки сломалось ложе. Андрей бросил ее и кинулся на гитлеровца, который дергался, хватаясь за кирпичи, стараясь перевалиться на живот. Андрей схватил его за плечи и разом уложил на лопатки. Из ноздрей гитлеровца текла кровь. Он щерил большие желтые зубы, думая, видно, закричать. Андрей не знал, что делать с ним, не успел подумать об этом, как почувствовал, что рука сама собой схватилась за нож, который он стал носить у пояса в дни похода. Увидев в руке нож, он понял, что должен сделать, и закричал, навалясь на гитлеровца:

— На, собака! На! На!

Андрей не помнил, сколько раз бил ножом. Очнулся он, услышав, что кто-то рванул его сзади от гитлеровца. Он ударил последний раз ножом в золу и кирпичи.

— Стой! — крикнул Озеров, приседая около. — погоди!

Андрей не сразу узнал капитана Озерова. Обессиленный, он привалился спиной к печи и, тяжело поводя грудью, некоторое время смотрел на него, не разжимая занемевших зубов. Через двор, крича, бежали озеровцы. Стрельба продолжалась за околицей деревушки. Заметив, что вся правая рука в крови и золе, Андрей весь передернулся и начал обтирать руку о штаны.

— Вот! — сказал он неопределенно. — Видали, а?

Взглянув на гитлеровца, Озеров удивился: он был похож на Курта Краузе, пленного летчика, самолет которого сбили недалеко от Ольховки. И Озеров ярко вспомнил тот лесок, где допрашивали пленного, темнокожую липку, под которой стоял котелок с недоеденной лапшой, и Андрея с дрожащими у швов руками...

За деревней стихала стрельба.

VI

Почти вся рота обер-лейтенанта Рудольфа Митмана погибла у Сухой Поляны. Когда был снят передовой пост русских на лесной дороге и рота стремительно вырвалась к деревушке, Рудольф Митман решил, что небольшая «советская банда», захваченная врасплох, будет уничтожена за несколько минут. Командир немецкой роты не знал, что в Сухой Поляне только небольшая часть русских, а все остальные расположены по обе стороны от нее, под прикрытием леса. Он понял это, когда сотни русских солдат бросились в атаку с двух сторон, пустив в дело гранаты и штыки. Но в это время уже нельзя было ничего сделать, чтобы спасти роту от гибели. Две цепи русских ударили по ней, как две дуги капкана.

В этом бою озеровцы дали полную волю своему чувству мести. Из роты Рудольфа Митмана чудом осталось в живых пять человек. Озеровцы захватили их в плен и пригнали к избе, где размещался штаб полка.

Вскоре сюда же подошли крытые брезентами двенадцать тяжелых немецких повозок, захваченных на лесной дороге. На первой повозке, погоняя вожжами куцехвостых рыжих коней, сидел Семен Дегтярев — весь грязный, но веселый, разгоряченный, как от вина.

Проворно соскочив с повозки у крыльца штабной избы, он закричал, подбирая вожжи:

— Принимай, дружки, мой пай!

— О, Семка! — шагнул с крыльца Умрихин. — Жив, Сема?

— А ты помер? — съязвил Дегтярев. — Принимай!

— Чего принимать-то! Где?

— Ослеп? Вон, на повозке!

На повозке, связанный веревкой, лежал немецкий офицер в темном прорезиненном плаще и в каске.

— О, — подивился Умрихин. — Не их ли ротный?

— Точно! С крестом! — хвастливо объявил Дегтярев подбежавшим солдатам, по-хозяйски разнуздывая коней. — А вот, поди ты, очумел от страха, идти не может! Офицер, а жилка слаба! Не дюжит!

Капитан Озеров попросил комиссара Яхно заняться всей подготовкой к выступлению из Сухой Поляны, а сам отправился допрашивать захваченного в плен командира немецкой роты.

...Дней пять назад пехотный полк, в котором служил обер-лейтенант Митман, был снят с передовой линии, где он безуспешно вел наступательные бои, и отведен в тыл на отдых и пополнение. Но отдохнуть и здесь не удалось, хотя Рудольф Митман крайне нуждался в этом: в последнее время он ощущал большой упадок сил и тяжелое расстройство нервной системы. Вчера ночью близ пункта, где расположился полк, произошел взрыв большого артиллерийского склада. Через несколько минут после того, как расплескался в осенней ночи грохот взрывов, командир полка, старый полковник фон Гротт, вызвал к себе обер-лейтенанта Митмана. Полковник приказал немедленно выступить с ротой на поиски небольшой «банды», которая нанесла такой огромный ущерб немецкой армии.

— Vernichten!⁹ — кратко приказал фон Гротт.

По следу, найденному собаками, рота Митмана двинулась в путь. Темной ночью на мерзлой земле немцам не удалось заметить никаких признаков того, что они движутся не вслед за маленькой группой, а за колонной. Обер-лейтенант Митман, хотя и чувствовал себя больным, был уверен в успехе своей неожиданной и, как он думал, пустяковой экспедиции.

⁹ Уничтожить!

И вдруг — внезапный и полный разгром. И где? Не на передовой линии, а на территории, сплошь занятой немецкой армией, где, казалось бы, русский ветер должен был бояться шевельнуть волосы на его голове. Вокруг — тысячи немецких войск, а он, Рудольф Митман, в плену у русских. Не сон ли это?

Когда Рудольф Митман немного пришел в себя, в избе уже не было ни его солдат, ни того грузного русского офицера, который пытался говорить с ним на чистом немецком языке. Лишь у порога мирно стоял одинокий молчаливый часовой. Тяжело дыша, Митман поднялся с пола, глянул в окно. Молоденькая березка, стоявшая в палисаднике, точно на посту, замахала на него голыми ветками. За околицей деревеньки раздался винтовочный залп. Это был прощальный залп озеровцев над могилой товарищей, погибших в бою у Сухой Поляны, а Митман решил, что русские расстреляли остальных его солдат, попавших в плен, и что ему тоже осталось жить недолго, — и с Рудольфом Митманом случился припадок истерии.

Капитану Озерову, когда он вернулся с похорон, очень долго не удавалось заставить пленного отвечать спокойно, связно и толково. Обер-лейтенант Рудольф Митман то дергался всем телом на лавке, то вскакивал и, становясь перед столом, за которым сидел Озеров, начинал выкрикивать что-то бессвязное, тараща в потолок закровеневшие глаза, обдирая с мундира Пуговицы.

— Садитесь и успокойтесь, мне нужно разговаривать с вами, — сказал Озеров пленному по-немецки, выбрав минуту, когда тот мог слышать его. Очень плохо, господин офицер, иметь такие нервы на войне. Успокойтесь. Если угодно, выпейте воды.

— Я сражался в Бельгии! — для чего-то выкрикивал Митман. — Я был в Греции!

— А здесь Россия, — сказал Озеров. — Так?

— О-о, Россия! — застонал Митман, падая на лавку, дергаясь, стуча о подоконник взлохмаченной головой. — Будь проклята! Эта страна... Такая страна! Такой народ!

— Народ у нас такой, — подтвердил Озеров. — А вы не знали? Не думали, что он такой?

— Я ничего не знал! Ничего! — закричал Митман, вскидывая на Озерова одичалые, кровавые глаза. — Полковник фон Гротт сказал ночью, что это банда! Он обманул меня! — Он опять вскочил, заметался перед столом. — Будь все проклято! Все! Все! И поход и

армия! Зачем мне все? Я ничто! — Он начал хвататься за погоны, пытаясь их сорвать. — Вот! Нет больше обер-лейтенанта Рудольфа Митмана!

Озеров пристукнул по столу обоймой из пистолета.

— Не срывать! Вы — офицер, да?

— Да, я офицер германской армии!

— Садитесь! И выпейте воды! — резко приказал капитан Озеров. — Плохой вы офицер. Как же вы собрались воевать, если не уважаете свои погоны? Пейте!

Захлебываясь, Митман выпил стакан воды. Затем спросил тихо и удивленно:

— Вы не расстреляете меня?

— Нет, — ответил Озеров твердо.

— Да? Это верно?

— Это слово советского офицера.

— О-о! — застонал Митман и вдруг закричал облегченно, полной грудью, хватаясь руками за край стола. — Я верю! Верю! Ваше слово...

— Встать!

И когда Рудольф Митман успокоился окончательно, капитан Озеров заявил резко:

— Да, я обещаю: вы будете жить. Но при одном условии: вы должны правдиво, точно отвечать на все мои вопросы!

— Я скажу, — заторопился Митман. — Все скажу.

Начался допрос. Капитан Озеров развернул на столе карту, найденную в полевой сумке обер-лейтенанта Митмана. В центре ее были сделаны разноцветными карандашами различные пометки, — будто птички истоптали это место грязными лапками.

— Вы знаете, где ваши передовые части? — спросил Озеров. — Они стоят? Далеко до них?

— Да, они стоят, и я знаю, где они, — ответил Митман. — Пять дней назад наш полк сняли с передовой линии. Но там пока остались другие полки нашей дивизии. Это недалеко.

— Покажите, — приказал Озеров.

Рудольф Митман наклонился над тем местом карты, где были сделаны разные пометки. Он показал, с какого участка ушел на отдых его полк, какой район до сих пор занимает дивизия, и, поняв, зачем все эти сведения нужны Озерову, спросил задумчиво:

— Вы хотите пройти туда, к Москве?

— Да, — ответил Озеров.

— Не пройти, — сказал Рудольф Митман. — Я говорю честно. Я могу сказать, что перейти линию фронта сейчас нетрудно, но дойти до нее невозможно. Почти до самой линии фронта здесь, как видите, нет лесов. Открытое место. Укрыться негде. И весь этот район — я говорю честно сплошь занят нашими войсками. Они в каждой деревне, на любой дороге... Не пройти!

— Не пройти?

— Нет! Я говорю честно!

Озеров вдруг ударил кулаком по карте.

— Пройдем! — крикнул он в бешенстве, и суженные Глаза его блеснули жаркой синевой. — То, что кажется для вас невозможным, для нас возможно. Мы пройдем как раз по этим вот местам, где так много ваших войск! И сегодня же ночью мы будем у линии фронта!

VII

С полудня неожиданно ярко засветило солнце. Там и сям в низинах, невидимые в непогоду, обозначались под раскидистыми ветлами большие и малые селения; ветер тянул от них, низко и порывисто, серенькие дымы. Волнистые поля неожиданно заблестели, точно покрытые глазурью. Одинокие вороны, задумчиво сидевшие до этого на заброшенных токах, начали взлетать против ветра. Если с озими поднимался заяц, глаз уставал смотреть, пока он, мелькая, скрывался на посветлевшем поле.

В длиннополом черном плаще, похожий на монаха, обер-лейтенант Рудольф Митман крупно шагал пустой кочковатой дорогой. Следом за ним шли фельдфебель и два рядовых немецких солдата с автоматами, а немного позади них шумно двигалась большая колонна русских в грязных ватниках и обтрепанных шинелях. Они шли без оружия. За плечами у них болтались пустые вещевые мешки да задымленные котелки. Это были озеровцы. Двигались они в колонне поротно. За каждой ротой стучали по мерзлой земле две немецкие повозки, запряженные парами дюжих ломовых коней; из-под брезентов на многих повозках виднелись ломы и лопаты. По обе стороны колонны и позади нее шли немецкие солдаты с винтовками, автоматами и даже ручными пулеметами.

Обер-лейтенант Митман, борясь с ветром, поднялся на крутой

пригорок. Впереди, в большой котловине, залитой солнцем, показалась деревня. С пригорка хорошо было видно, как по деревне, по ее пепелищам бродили группы немецких солдат и передвигались темные немецкие танки.

От деревни навстречу колонне летела, встряхиваясь на кочках, приземистая легковая машина, раскрашенная в серо-желтые осенние тона. Когда она подошла совсем близко, Рудольф Митман, щелкнув каблуками сапог, повернулся к ней и вскинул к виску два пальца. У машины зашипели тормоза. Открылась дверца. Держась за ручку, пожилой седоватый немецкий офицер, в фуражке с необычайно высокой тульей и в накидке с куньим воротником, выглянул из машины, спросил с одышкой:

— Пленные?

— Так точно, господин полковник!

— Куда ведете?

— На позиции сорок седьмой пехотной дивизии, господин полковник! быстро, но четко отрапортовал Митман. — В район пункта Еловка.

— Для использования в атаке?

— На строительство укреплений, господин полковник!

— А-а! — разочарованно протянул полковник. — Можете идти. — И сильно лязгнул дверцей машины.

Пропуская машину мимо колонны, конвойные, стараясь показать проезжему начальству свое усердие в службе, начали помахивать оружием и торопить озеровцев:

— Vorwärts!

Шагая крупно, размашисто, обер-лейтенант Митман начал спускаться с пригорка к деревне. Грузный фельдфебель, идущий позади, спросил его, имея в виду проехавшего в машине полковника.

— Кто он такой? Не знаете?

— Это командир танкового полка, — живо обернувшись, ответил Митман. Его полк стоит вот в этой деревне. В последних боях он, как мне кажется, понес значительные потери...

— Отлично! — сказал фельдфебель. — Ведите дальше.

Это был капитан Озеров.

...Обер-лейтенант Рудольф Митман был ошарашен, когда капитан Озеров, твердо пообещав сохранить ему и его солдатам жизнь, потребовал, чтобы они провели полк до передовой линии под видом пленных, направляемых для строительства различных

укреплений. Рудольф Митман очень боялся смерти и поэтому хотя и с тревогой, но быстро принял это предложение капитана Озерова.

После этого пленным немецким солдатам выдали незаряженные винтовки и строго-настрого запретили разговаривать в пути со встречными: им разрешалось только одно — при встречах с немцами торопить людей в колонне. Около двадцати озеровцев были переодеты в немецкое обмундирование и получили различное немецкое оружие. Так Озеров создал «конвой» для своего полка. Все остальные озеровцы сложили оружие на трофейные немецкие повозки и закрыли его брезентом, на отдельные повозки, для виду, набросали собранные по деревне ломы и лопаты. На всякий случай Озеров решил пустить по две повозки с оружием вслед за каждой ротой. Если бы потребовалось, озеровцы могли в несколько секунд вооружиться и принять бой.

Тяжелораненых и больных уже нельзя было оставлять в Сухой Поляне. Но мрачная хозяйка дома, где умер Степан Дятлов, — ее звали Прасковьей Михеевной, как она сообщила на прощание, — все же попросила поручить их ее попечениям. Раненых и больных уложили в крестьянские телеги, и Прасковья Михеевна, показав кнутом на лес, куда направился ее обоз, твердо пообещала:

— Сохраним! Там везде свои люди.

— Долго жить тебе, Михеевна! — сказал ей Озеров.

— Спасибо. И вам так же.

И полк Озерова, не задерживаясь больше ни одной минуты, выступил из Сухой Поляны. Время было дорого, как никогда за дни похода. Оно было рассчитано строго. До наступления темноты, пока фон Гротт не знает о гибели своей роты, нужно было пройти зону открытых полей, где много немецких войск, и вступить в большой лес, за которым и находилась линия фронта.

Полк двигался быстро.

Полковник в машине был первым немцем, которого встретили озеровцы на пути от Сухой Поляны. Без страха, но все же с некоторым волнением готовились озеровцы к этой встрече, а когда она произошла так просто и благополучно, заметно повеселели. Иных потянуло даже к шутке.

— Вот одурачили!

— Известно, губошлепы!

Но тут же озеровцы увидели, что деревня, куда движется их колонна, занята большой немецкой частью, и вновь примолкли. Все

невольно потеснее сомкнулись в шеренгах и еще поспешнее застучали обувью по кочковатой дороге.

На одной из повозок правил лошаадьми Семен Дегтярев. В повозке лежал Андрей, прикрытый пестрой, под, цвет желтеющей листвы, немецкой плащ-палаткой. После боя Андрей почувствовал себя особенно плохо. Но когда узнал, что всех раненых и больных оставляют в лесу близ Сухой Поляны, собрал последние силы, стал в строй и вышел из деревни в колонне. Но сил хватило ненадолго. На пятом километре пути он упал, и его уложили в повозку Семена Дегтярева. Сознание вернулось к Андрею быстро, но слабость и теперь была так сильна, что он лишь изредка мог приподниматься, чтобы взглянуть на товарищей да на такие светлые в этот день подмосковные поля.

Сбоку к повозке подбежал непомерно высокий солдат в короткой, до колен, немецкой шинели. Шмыгая мясистым утиным носом, он нагнулся над повозкой, придерживая у груди автомат:

— Это ты, Иван? — спросил Андрей.

— Ха-ха, аль не узнал? — осклабился Умрихин.

— Эх, и рожа у тебя! Чистый немец! — сказал Андрей, почему-то раздражаясь. — Так бы и дал тебе по роже-то!

— Го-го! — захохотал Умрихин. — Похож?

— Вылитый. Отойти, смотреть противно.

— Вот и ладно, что похож, — как всегда, не обижаясь, продолжал Умрихин. — Мне это лучше, а вот вам-то похуже моего. Вон она, деревня-то...

— А что? — обернулся на разговор Дегтярев. — Опять пугать? Вот я тебя, дылда чертова, как достану сейчас вожжами по ноздрям, так ты умоешься! Слышишь?

— Или не боитесь? Нет, сурьезно?

Семен Дегтярев оглянулся назад, поискал кого-то глазами среди озеровцев, шагавших в колонне за повозкой.

— Вот беда! — сказал он. — И где это товарищ сержант наш?

— Юргин? Вон там, позади идет.

— Хотя бы он отругал тебя, Иван, как следует, а?

— Он уж меня ругал, — сознался Умрихин.

— Тогда подойди чуток поближе.

— Это зачем?

— Вожжи у меня коротковаты, не достать мне отсюда до твоих ноздрей, обозлился не на шутку Дегтярев. — Не твоей головой,

дурак, обдуманно, как пройти. Сам капитан наш, товарищ Озеров, обдумал! А раз он ведет — значит, шагай и не ной! И больного человека не трогай.

Слушая ругань Дегтярева, Умрихин молча шагал рядом с повозкой. Немецкий вороненый автомат, как игрушечный, болтался у него на груди.

— Ты не сердись только, — сказал в заключение Дегтярев добродушно. Тебя ведь, Иван, и следует ругать. Ты всем, кажись, ничего боец, а вдруг заладишь выть, как та, к примеру, выпь на болоте.

— Я не сержусь, — ответил Умрихин. — Если уж сказать по правде, то мне даже лучше, когда меня отругают. Как-то легче на душе. Я и на самом деле, боюсь немного, — признался он просто. — А когда меня отругают, страх-то и проходит. Видишь, мне даже и сейчас вот лучше стало. — Он взглянул вперед. — О, близко уж!

Отрываясь от повозки и входя в роль конвойного, он угрожающе вскинул автомат и, повеселев, озорно заорал диким простуженным голосом:

— Шнэхер... в-вашу мать!

— Чего орешь? — Дегтярев даже привстал на повозке. — Заткни глотку, чертова дылда, и шагай молчком! «Шнэлэр» надо кричать, вот как!

— Э, учи! — отмахнулся автоматом Умрихин. — Мы сами из Берлина!

Колонна вошла в деревню.

Андрей вдруг приподнялся на повозке.

— Лежи ты, — шепнул ему Дегтярев.

— Нет, я погляжу на них, — возразил Андрей.

Вслед за обер-лейтенантом Митманом и капитаном Озеровым колонна молча шла главной улицей деревни. Озеровцы ожидали, что колонна сразу привлечет внимание немцев, и они по крайней мере будут интересоваться, куда она движется. Но этого, как и рассчитывал Озеров, не произошло. В те дни русских пленных гнали не только на запад, но и на восток, к линии фронта на рытье окопов, строительство блиндажей, для прикрытия идущей в атаку немецкой пехоты. Не обращая внимания на колонну русских, какие приходилось видеть часто, немцы спокойно занимались своими делами: возились около зениток и танков, расставленных по всем дворам и огородам, растаскивали изгороди на дрова, волокли к

машинам разные вещи, найденные в ямах и домах, толковали о чем-то, собираясь группами, разжигали трубки... Редкий немец, случайно оказавшись поближе к дороге, окидывал колонну беглым взглядом и шел дальше.

Озеровцы быстро успокоились.

Андрей жадно всматривался в немцев. До этого он встречал их только в бою. Но видеть вражескую армию в бою — одно дело, и совсем другое увидеть ее в обыденной жизни. Здесь лучше видно, что она представляет собой, чем живет, насколько сильна и боеспособна. Андрей был очень рад, что увидел немцев в обычной, мирной обстановке.

На одном из разгороженных дворов стояло несколько искореженных немецких танков, с дырами в бортах, похожими на сусличьи норы, с разбитыми башнями, разорванными, затоптанными в грязь гусеницами. Один из танков, видимо, загорался в бою, — огонь во многих местах сорвал краску с брони, и желтый знак свастики, задетый им, как огромный тарантул, скорчился и обмер в агонии.

— Видишь? — Андрей начал дергать Дегтярева сзади. — Видишь, Сема, а? — И лицо и глаза его горели одной, все заслонившей думой. — Не терпит их железо, а? Скрючило!

— Тише ты! Гляди да молчи!

У многих немцев был затасканный, захудалый вид. Они начинали страдать от холода. Забывая о воинской выправке, обросшие, они бродили по деревне уныло, горбясь, волоча отвислые, измятые полы своих тонких шинелей. Иные уже начинали напяливать на себя не только мужскую, но и женскую одежку, отобранную у крестьян или брошенную в покинутых деревнях: старенькие дубленые шубенки со сборами позади, мерлушковые шапчонки, разноцветные шарфы и варежки ручной вязки.

— Видишь, Сема? Видишь? — все рвался на повозке Андрей, горячо шепча. — Вот они какие, а? Как из шайки какой! Видишь?

— Молчи, Андрей! Гляди и молчи!

На крайнем дворе у выезда из деревни Андрей увидел множество заготовленных березовых крестов, аккуратно, в наклон, составленных около сарая. Обессилев, Андрей лег на повозку, сказал:

— А хреновые у них дела, Семен!

— Довоевались! — ответил Дегтярев. — До ручки. Видать же их! Ну, Андрей, погоди... Вот как трахнут наши, — останется здесь

от них одно мокрое место! Эх, Андрюха, мы еще обратно пойдём по этим вот местам! Будет наше времечко! — Теперь он горел от своих слов. — Подойдет же тот наш час! Эх, и часок будет! Эх, и разгуляется наша силушка!

Колонна двигалась к другой деревне.

VIII

Обер-лейтенант Рудольф Митман вел полк Озерова не основной дорогой, идущей к передовой линии на участке 47-й пехотной немецкой дивизии, а небольшими проселками, где все же меньше стояло резервных войск. Перед закатом озеровцам лишь изредка попадались санитарные машины и одинокие двуколки, а с наступлением полной темноты полк вступил едва заметным, почти непроезжим проселком в большой смешанный лес, обтрепанный осенью. Здесь было уже совсем тихо и безлюдно.

— За лесом наши позиции, — сообщил Митман.

Озеров приказал остановить полк.

Повозки были оставлены на дороге, а все солдаты разошлись в стороны от нее, свалились под деревья и начали торопливо доедать хлеб и консервы, что добыли, как трофеи, в бою у Сухой Поляны. Прислушиваясь к лесной тишине, разговаривали осторожно, приглушенно. Огни сигарок прятали в рукава.

Ночь спустилась в безветрии. Потеплело. Золотой речкой струился в небе Млечный Путь. Низко над землей свисали гроздьи звезд. В лесу было глухо, как только бывает временами в прифронтовой полосе. Где-то далеко, словно желая ободрить себя в бездыханной тишине, простучал пулемет.

Забравшись на одну из повозок, капитан Озеров, сбросив все немецкое, переодевался в свое обмундирование. Он шепотом требовал у Пети Уральца, неразлучного вестового, то одно, то другое:

— Брюки! Сапоги!

Одеваясь, он тихонько разговаривал с Рудольфом Митманом, который стоял у задка повозки, торопливо дожевывая кусок хлеба.

— Ваш полк стоял на этом участке?

— Да, — ответил Митман. — Вот за этим лесом.

— Кому вы сдали свои позиции?

— Их занял отдельный саперный батальон, господин капитан, — сообщил Митман, покончив с куском хлеба и почувствовав себя

бодрее после утомительной дороги. — Дело в том, что этот участок командир дивизии определил как совершенно непригодный для наступления. Дороги, которые ведут к лесу, как вы видели, очень плохие, а в лесу еще хуже. Там много болот. Концентрация большой группы войск с тяжелой техникой, и особенно в период осенних дождей, на всем этом участке невозможна. А у ваших войск, с которыми имел дело наш полк, позиции гораздо выгоднее, а для обороны просто хороши. У ваших здесь проходит гряда высот. Так вот, когда стало ясно, что продолжать наступление на этом участке не имеет смысла, наш полк, как понесший потери, сняли и отвели в тыл, а здесь временно поставили саперный батальон. Исключительно для охраны участка. Концентрация же войск для новых боев, как я уже говорил вам дорогой, происходит гораздо севернее этого леса.

— Значит, здесь стык двух дивизий?

— Совершенно верно, господин капитан.

Озеров с трудом натягивал сапоги.

— Теперь вам должно быть ясно, господин капитан, — продолжал тем временем Митман, — что я не могу вести вас дальше? Пленных, направляемых для разных целей в передовые части, приводят обычно в расположения штабов. Только после этого они могут быть под особым конвоем пропущены дальше, к передовой линии. Я же, по вполне понятным причинам, не могу являться в штаб саперного батальона, да и вам, мне кажется, делать там нечего. Здесь вы должны пройти сами. И я сразу предупреждаю: хотя батальон и сильно рассредоточен, но вам, конечно, не избежать перестрелки.

Озеров слез с повозки.

— Мне все ясно, — сказал он. — Где ваши солдаты?

Подошли пленные гитлеровцы.

— Так вот, — заговорил Озеров, все еще что-то оправляя на себе и ощупывая свои карманы, — вы сделали свое дело и теперь должны...

— Господин капитан! — дернулся Митман.

— Не перебивать! Не люблю! — И Озеров продолжал тихонько: — И теперь должны убедиться, что у русского офицера — твердое слово. Когда мы пойдем отсюда дальше, вы останетесь на месте. Вы будете свободны. Только сейчас же сдайте оружие.

Один немецкий солдат, невысокого роста, выступил из темноты и, обращаясь к Озерову, быстро заговорил:

— Я не желаю идти обратно, господин капитан. Разрешите

мне следовать с вами и дальше?

— Дальше? В плен?

— Да, господин капитан! Я всегда относился сочувственно к вашей стране и был о ней другого мнения, чем наши наци. И я решительно против этой войны.

— Как ваше имя?

— Ганс Лангут, доменщик из Рура.

— Хорошо! — согласился Озеров. — Вы пойдете с нами.

В темноте раздались голоса других солдат:

— Я тоже хочу заявить о своем желании...

— Теперь нам лучше идти вперед, чем назад.

— По крайней мере, мы останемся живы.

Рудольф Митман некоторое время стоял молча.

— Да, все это очень странно, но они правы, — сказал он наконец. — Нам возвращаться нельзя. Нас завтра же, конечно, расстреляют. А ведь вы, господин капитан, даете слово, что нам будет сохранена жизнь?

— Да. Как всем пленным.

— О, я верю! — воскликнул Митман. — Мы идем с вами.

— Отлично! — Озеров незаметно усмехнулся в темноте. — Петя, прими и уложи оружие, а пленных сдай в распоряжение комбата Журавского.

Подошел комиссар Яхно. Всю дорогу он, по договоренности с Озеровым, шел замыкающим в колонне, а когда полк остановился на привал, расставил дозорных, лично роздал с одной повозки старшинам рот остатки хлеба, потом, переходя от дерева к дереву, беседовал с солдатами. Отыскав теперь Озерова, он крепко пожал ему руку — молча поздравил с успехом необычайного рейда и сразу же потащил от повозки.

— Отойдем немного.

— Ходок вы неутомимый, — сказал Озеров.

Узнав о всех новостях, Яхно загорелся.

— Теперь я пойду первым, да?

— Как хотите, Вениамин Петрович.

— Знаешь, дорогой, я не могу тащиться позади! — сказал комиссар горячо. — Я понимаю, что иногда это, как вот сегодня, тоже очень важно. И все же не могу. У меня изныла вся душа. Как это трудно — тащиться позади всех!

Неожиданно начали меркнуть звезды. Легкой хмарью

затягивало небо. С запада опять подступали дожди. Из далекой, непроглядной вышины донесло зауспокойный вой моторов: немецкие самолеты тянулись на бомбежку к Москве.

IX

Солдаты разобрали с повозок оружие.

Озябнув, Андрей пробудился за час до рассвета и сразу понял, что полк собирается в путь. Мимо сновали фигуры солдат, слышались приглушенные команды. У повозки шепотком, но возбужденно разговаривали Умрихин и Дегтярев:

— Пройдем, Иван, не тужи.

— Эх, Сема, пройти бы! Ты где пойдешь?

— В правой группе прорыва.

— Шел бы в колонне!

— Не могу. Мне с немцами попрощаться надо.

К повозке еще подошли люди. Один наклонился над Андреем, потрогал его рукой.

— Ну как, Лопухов? Не полегче тебе?

Андрей узнал голос капитана Озерова.

— Товарищ капитан! — с трудом выговорил Андрей, чувствуя, как что-то давит горло. — Не бросайте меня, ради бога!

— Нет, нет, что ты? Ты успокойся, дорогой. — Озеров лучше укрыл Андрея кем-то брошенной на него немецкой шинелью. — Ты лежи спокойно. Довезем, теперь недалеко. С тобой еще сержант Юргин поедет, у него нога болит. А повезет вас... — Он обернулся в сторону лошадей. — Кто их везет?

— Приказано мне, товарищ капитан, — ответил Умрихин. — Мне тоже идти несподручно. Мозоли заимел от этих проклятых германских сапогов. Позарился на них, а они как из железа.

— Смотри, чтоб довез!

— Что вы, товарищ капитан! Не такую кладь возил, бывало. Десять лет в колхозе конюхом. На моем иждивении даже племенной жеребец состоял.

— Смотри, отвечаешь головой!

Озеров опять наклонился над повозкой.

— Закурить не хочешь?

— Хочу, — признался Андрей.

— Погоди, я сейчас тебе скручу. — Озеров полез за

портсигаром. Немного осталось, ну да теперь хватит дойти...

Когда капитан Озеров, вручив Андрею зажженную сигарку, отошел от повозки, Умрихин тоже предложил своему другу:

— Давай, Сема, и мы завернем перед дорогой?

— Да тут всего на одну закрутку осталось.

— А вот и давай раскурим ее, — сказал Умрихин. — В дороге все одно курить не придется. А раз скоро выйдем к своим, чего ее беречь? Или там не найдется?

И они закурили.

Вскоре Дегтярев попрощался с друзьями.

— Ох, и отчаянный этот Семен! — одобрительно и почему-то с грустью проговорил Умрихин над повозкой, когда его друг скрылся среди солдат, столпившихся на дороге. — Такого человека, Андрей, только бы в песню! Хорошая бы песня вышла...

Обойдя колонну, Озеров повстречал Яхно.

— Ваше слово, Вениамин Петрович!

Яхно взглянул на пасмурное небо.

— Пора!

— Тогда в добрый час!

Передовая группа прорыва, во главе с Яхно, пошла вперед, а через несколько минут тронулась колонна.

Андрей лежал на спине и поглядывал в небо. Оно было мглисто, без звезд. В лесу еще трудно было заметить, что начинался рассвет. Колонна двигалась, должно быть, не дорогой, а просекой: повозку встряхивало на корнях и валежинах. Иногда окованные железом колеса повозки, прорезав подмерзший верхний слой почвы, глубоко врезались в болотины, и кони, толкаясь у дышла, с трудом вытаскивали ее на сухое. Иногда совсем низко над повозкой проплывали едва различимые во мгле широкие лапы елей; хвоя перед дождем пахла свежо и сильно, как весной. Иногда мелкие кусты подлеска, попадавшиеся на пути, скребли ветками о дно повозки.

Андрей невольно вспомнил ту ночь, когда капитан Озеров вел небольшую группу солдат к Вазузе. Сейчас было так же пасмурно, как и тогда. И лес был такой же глухой и неприятный, будто выросший в подземелье, не обжитый не только людьми, но и зверем и птицей. Но теперь Андрей не испытывал страха, как тогда. Он знал, что во главе передового отряда идет комиссар полка Яхно, а во главе колонны — капитан Озеров, и беспредельная вера в этих людей, в их отвагу и мужество наполняла покоем его сердце. Он знал, что эти два

человека выведут полк за линию фронта.

Но Андрею не терпелось... Как он досадовал, что не мог идти! Так и хотелось, собрав все силы, соскочить с повозки и шагать, шагать вместе с товарищами, чтобы скорее выйти туда, к своим... Он то откидывал голову, стараясь взглянуть на Умрихина, который все время трогал вожжами лошадей, то старался приподняться на локте, чтобы взглянуть на Матвея Юргина, и все шептал:

— Скоро ли, а? Ребята?

Друзья успокаивали его:

— Скоро, скоро, Андрей!

— Лежи ты, притихни...

Во всем теле Андрея быстро поднимался жар. Палило глаза. Обсыхали губы. Он начал сбрасывать с себя шинель.

— Скорее бы, — шептал он. — Чего они там встали? Зачем? Скорее бы надо... Иван, ты погоняй, погоняй! Зачем ты стоишь?

— Бредить начинает, — заметил Юргин.

Андрей не слышал, как вправо от колонны раздались выстрелы, и не видел, как в том месте, точно вспугнутая с гнезда птица, шумно взлетела в белесое небо зеленая ракета. Он почувствовал только, что повозка стронулась с места. Ее начало поминутно встряхивать. Умрихин крутил вожжами и раза два задел Андрея, но он не сказал на это ни слова: наконец-то они ехали! В какое-то мгновение Андрей услышал выстрелы, но не придал им никакого значения, не подумал даже о том, кто и где стреляет, он целиком отдался ощущению быстрой езды. Выбрав момент, он еще раз крикнул, но уже радостно:

— Скоро, а?

Но тут повозку сильно дернуло, затем она ударилась во что-то дышлом и встала. И Андрей, как во сне, услышал крикливые голоса:

— А-а, беда-то!

— Убило? Кого убило?

— Коня убило!

Х

Хватаясь за растрепанные космы травы, Дегтярев поднялся и сразу вспомнил, что он поднимается уже второй раз. Зачем это? Почему? Страшной болью обдало все тело, и Дегтярев понял, что с

ним произошло. «Прошли или нет наши-то? — подумал он. — Должны бы пройти». Но долго думать он не мог, — боль была такой сильной, что путала мысли. Руки были целы. Это хорошо. На правой ноге свободно шевелились в сапоге пальцы. Но левая была тяжелая и горячая, — она пылала, как головня.

Первое, что захотелось сделать Дегтяреву, это уйти с места, где его опрокинули немецкие пули. Он чувствовал, что вокруг никого нет и стрельба уже затихла, но ему почему-то было страшно оставаться именно на этом месте. Мысль о том, чтобы уйти отсюда поскорее, была так сильна, что он, почти перестав слышать боль, пополз в ту сторону, где, как ему казалось, была опушка леса.

Он полз, судорожно цепляясь за траву, волоча левую пылающую ногу. На пути попалась какая-то яма: он нащупал пальцами ее край. Дегтярев решил обогнуть ее справа. Когда он попытался это сделать, от раненой ноги, зацепившейся за обнаженный корень, ударил огонь в самое сердце. Семен вскрикнул и — почти без памяти — поддернул ногу ближе. Он не плакал и не хотел плакать, но по его щекам потекли крупные слезы. Держась за край ямы, смотря сквозь слезы в сумеречье утра, он собрал силы и прошептал:

— Вот и могила...

Он прошептал эти слова бездумно, но, когда услышал их, враз отшатнулся от ямы.

Новая мысль — мысль о жизни была еще сильнее той, первой, что толкнула со страшного места. Он почувствовал в себе сил больше, чем их было на самом деле. Тяжело дыша, торопясь, он полз вперед, уверенный в том, что ползет на восток, куда так стремился последние недели.

Содрогаясь всем телом, часто припадая к земле, чтобы перевести дух, он кое-как выполз к поляне. На поляне стоял маленький ветхий дом; все надворные постройки вокруг него были разрушены. Дегтярев приподнялся на дрожащих руках и, собравшись с силой, крикнул почти громко:

— Эй, люди!

Никто не откликнулся на его зов. Он крикнул еще раз, но теперь почему-то не откликнулась даже глухая лесная тишина.

Дегтярев понял, что на разбитом лесном хуторе нет ни одной живой души. Но, отдохнув, он все же пополз к дому, — с детства он привык думать, что где жилье — там жизнь. С большим трудом,

поминутно вскрикивая, он затащил себя на крыльцо и, помедлив, открыл дверь. Из темноты пахнуло в лицо запахом сырости, — Дегтярев даже испуганно отшатнулся от двери. Было ясно, что дом пуст, но Дегтярев, помедлив еще немного, перевалился через его порог. Тут снова обожгло болью сердце, и Дегтярев, сам того не желая и не сознавая, закричал страшным мужским криком.

А когда отступила боль, он вдруг услышал знакомые звуки. Их так странно было слышать здесь, среди тишины пустого дома, что Дегтярев прижался плечом к стене и затаил дыхание. Потом он сказал вслух, чтобы услышать свой голос:

— Часы!

Вероятно, только вечером война выгнала лесника из дому. Может быть, он покидал его в панике, хватая что попало. А о часах забыл. Но часы, заведенные хозяйской рукой, все еще шли, тикая певуче, звонко, как привыкли тикать среди привычной мирной жизни этого дома.

— Часы, — повторил Дегтярев.

Он подполз ближе к стене, на которой они висели, и, всем телом чувствуя ласковое тепло их звона, облегченно прижался к полу мокрой от слез и пота щекой. И тут, успокоясь, он затих и забылся в дремоте.

Спустя немного Дегтярев внезапно очнулся в тревоге, быстро приподнялся на локте. Часы тикали совсем тихо. Потом в их механизме что-то тинькнуло, они захрипели, словно задохнулись в нежилой глухоте дома, и замолкли. Семен еще долго напрягал слух: все ждал, что часы, откашлявшись, как живые, снова начнут тикать. Дышать стало трудно. Голова была горячая и тяжелая; казалось, только пошевели ее — она зазвенит, как бубен, обвешанный медяшками и звонками. И в груди хрипело, как только что хрипели часы. «Умру, — подумал Семен. — Кончился завод». И, поняв, что он должен умереть среди лесного безмолвия, Семен в страхе начал хвататься за грудь и тут заметил, как от бока его вкось ударила сильная струя света. Что такое? Это загорелся на его поясе фонарик, о котором он совсем забыл. Семен отстегнул его и тут же, в зеленоватом круглом пятне, увидел настенные часы с маятником и гирей.

У Дегтярева осталось очень мало сил. Он знал это. В груди хрипело, и все сильнее и сильнее обжигало сердце. И голова уже не звенела, а гудела колокольной медью. Но Дегтярев, задыхаясь, начал

подниматься. Пол под ним был сырой и липкий. «Кровь», — понял Дегтярев, но не отказался от своей мысли. Это стоило тяжелых, надрывающих душу мучений, но Семен, поборов их, залез на сундук, что стоял у стены. Прижавшись виском к косяку окна, он долго отдыхал здесь с закрытыми глазами. Фонарик, оставленный на полу, тихим светом обливал его бледное потное лицо.

Неожиданно Семен вздрогнул — испугался, что не успеет сделать задуманное. Опираясь на подоконник, он поднялся на одной ноге. В эту минуту он еще яснее понял, что его покидают силы, и торопливо, почти в отчаянии, схватился за цепь. Ударясь о стену, гиря взлетела вверх. Не надеясь удержаться еще несколько секунд, Семен прижался к стене и, уже не видя ничего, с лихорадочной быстротой стал искать рукой маятник. Толкнув его, он сразу рухнул на сундук.

Освещенный фонариком, зеленый от его света, закрыв веки, он лежал безмолвно, не чувствуя боли, и слушал, как певуче тикали часы.

XI

Пройдя с километр от леса, где произошла перестрелка с немцами, капитан Озеров ненадолго остановил колонну в глубокой низине, чтобы подтянулись и собрались сюда все люди полка. Все торопились: в полях быстро светало, немцы могли обнаружить колонну, укрывшуюся в низине, и открыть по ней артиллерийский огонь. Надо было поскорее уходить дальше.

С помощью Матвея Юргина Умрихин притащил сюда Андрея на брезенте волоком. Через минуту после того, как его уложили на другую повозку, он очнулся, приоткрыл глаза. Над низиной поднималось пасмурное утро. Вокруг слышались шаги и приглушенные голоса. Один солдат, склонившись над повозкой, вздрагивал, тяжело сопел и крутил головой. Андрей узнал в нем Умрихина, разжал засохшие губы.

— Мы где, Иван? Мы перешли?

Умрихин разогнулся у повозки, отвел лицо.

— Кто его знает! Кто рассказывает, что уже перешли...

— Перешли? А ты... зачем же плачешь?

— Семена жалко.

— Семена?

— Убили, сказывают, его...

Заметив, что Андрей вспотел, Умрихин нагнулся над ним, осторожно обтер его лоб и виски грязной тряпицей.

— Эх, Андрюха! — прошептал он, морщась и сдерживая дрожащие губы. Остался Семен-то наш! — Он опять отвернул лицо. — Такого человека! Ему и цены нет... За каждую его кровинку по бандитской голове надо уложить. И того мало будет! Ну, что ты хочешь! Партийный человек был! Молодой... он в жизнь-то шел, как против ветра... Первый раз в жизни такого молодого, а слушал я, как старшего, и мне не совестно было...

— Что мелешь? — слабо сказал Андрей. — Кто его убил?

— Лежи ты, не досаждай, раз сам ничего не помнишь. Самого-то, скажи спасибо, на себе выволок.

Прихрамывая, подошел Матвей Юргин.

— Ну как, узнал? — обратился к нему Умрихин. — Перешли?

— Пока неизвестно.

— Как же так? Теперь же наши должны быть?

— Ничего, Иван, пока неизвестно.

Никто в колонне не мог понять, перешли или нет линию фронта. В те дни немцы еще не хотели верить, что их октябрьское наступление на Москву сорвано. Поэтому они и не думали о создании строгой линии фронта и очень неохотно, в крайних случаях, когда наши войска особенно стойко преграждали им путь, зарывались в землю. У наших войск, наоборот, все резче и резче обозначалась линия фронта. На некоторых участках наши войска отступали, теряя отдельные пункты, на других — сами отходили, занимая более удобные позиции. Но у всех наших войск под Москвой было одно стремление задержать врага, закрепиться, создать прочную оборонительную линию.

На первых небольших высотках за низиной, в которой колонна укрылась от немцев, по показаниям Рудольфа Митмана, должны были находиться русские передовые посты. Пока стягивались в низину все люди полка, дозор во главе с комиссаром Яхно достиг этих высоток. Русских постов там не оказалось. Неглубокие траншейки, окопы и блиндажи были пусты, лишь всюду валялись груды заржавленных гильз.

Яхно быстро вернулся обратно. Он был сильно взволнован. О результатах своей разведки он доложил Озерову так, чтобы не слышали другие:

— Плохо, Сергей Михайлович! Там никого нет!

Подозвали Митмана. Он еще раз подтвердил, что пять дней назад на высотках стояли передовые русские посты. Тогда Озерову стало ясно, что за пять дней, пока не было Митмана, на этом участке произошли большие перемены. С заметным волнением он спросил Яхно:

— Что же случилось? Отошли наши?

— Не могу понять, Сергей Михайлович.

— Убитых в окопах не видели?

— Убитых не видно.

— Значит, наши сами отошли, — уверенно заключил Озеров.

— Но, в таком случае, где немцы? В лесу мы встретились с небольшой группой. Может быть, немцы, заметив, что наши отошли, тоже вслед за ними продвинулись вперед, а в лесу осталась какая-нибудь их тыловая часть? Может быть, мы только подходим к настоящей линии фронта?

Капитан Озеров окинул взглядом свою колонну. Даже в низине, где дольше держится сумрак, становилось светло. А на гребнях и склонах возвышенностей вокруг уже на большом расстоянии виднелись полосы озимей, заброшенные копны хлеба и одинокие кусты шиповника и акаций.

— Да, совсем светло, — нахмурился Яхно.

— Выступать! — глуховато приказал Озеров. — Если впереди немцы, то они теперь предупреждены о нашем приближении с тыла. Нам остается одно: пробиваться с атакой. Задерживаться здесь нам нельзя.

— Я пошел, — сказал Яхно.

Полк тронулся из низины.

Поднимаясь по отлогому склону высоты, многие бойцы и командиры с беспокойством оглядывались назад. Вскоре стала видна темная гряда леса, у опушки которого около часа назад произошла перестрелка. Теперь гитлеровцы, стоявшие в лесу, могли заметить движение большой колонны. Каждую минуту можно было ожидать, что от опушки леса по ней ударят немецкие батареи.

Но гитлеровцы молчали.

На склоне высоты показалась извилистая, кое-где разрушенная снарядами траншея; от нее, как отростки, тянулись на восток ходы сообщения. Первая рота, вслед за небольшой группой Яхно, пересекла траншею, перевалила гребень высоты и поспешно

начала спускаться по ее восточному склону, где тоже всюду были нарыты ходы сообщения, щели для укрытия от бомбежки и виднелись бугорки блиндажей. Здесь озеровцы первой роты, поняв, что их теперь не видно от леса, заметно оживились и повеселели, — они не знали, что главная опасность, может быть, ожидала их впереди. Капитан Озеров, волнуясь, расстегнул ворот ватника.

На востоке, за второй грядой высот, покрытых рошицами, глуховато стукнуло орудие, и через несколько секунд донесся свист снаряда. Только он успел рвануть землю за сотню метров правее колонны, засвистел второй снаряд. Он с треском врезался в склон высоты левее, — на месте взрыва черный дым поднялся, как огромная грибная шляпа. И тогда над высотой пронесся высокий радостный голос комиссара Яхно:

— Товарищи-и, на-аши бьют! Ура-а!

Комиссар Яхно не был кадровым военным. Поэтому Озеров не мог понять: то ли действительно комиссар догадался, что били наши орудия, или только хотел, чтобы люди полка меньше поддались панике в эти секунды. Но сам Озеров понял точно, что огонь открыла наша батарея: значит, на наблюдательном пункте их приняли за немцев, которые неожиданно, без артиллерийской подготовки, пошли в атаку в сумеречный час утра. И только отзвенел голос Яхно, капитан Озеров, обернувшись назад, крикнул что было мочи:

— Наши! Наши это! По ще-е-елям!

Никто не слышал свиста третьего снаряда. Он разорвался перед колонной. Из дыма, заслонившего вторую гряду высот с рошицами, остро резнули воздух над колонной невидимые осколки.

Комиссар Яхно упал навзничь. Не поняв, что случилось с ним в минуту такой радости, он приподнялся и, жарко смотря на восток, еще раз крикнул:

— Наши! — Его голос сорвался. — Наши! Дошли! — И он опять упал и, улыбаясь, прикрыл глаза.

Всюду раздались крики. Люди заметались, стремглав бросились в разные стороны. На счастье, вокруг были щели, траншеи и блиндажи. Снаряды начали рваться часто. Всю высотку заволокло дымом.

Значительно большая часть колонны еще не дошла до гребня высоты. Она оказалась, таким образом, защищенной от огня наших орудий. Как только начался обстрел, все люди, находившиеся на западном склоне высоты, тоже рассыпались по траншеям и окопам.

Повозка, на которой везли Андрея, за минуту до обстрела завязла в полуразбитой траншее, через которую шагала колонна. Кони не могли вырвать из траншеи передние колеса. Услышав взрывы, Юргин сразу загорелся тем огнем, каким всегда горел в бою. Он бросился к повозке, скомандовал:

— Андрея!

Умрихин выхватил Андрея с повозки и потащил в траншею. Кони, напуганные взрывами, вдруг вырвали повозку из траншеи и, не понимая, где опасность, бросились к гребню высоты, а затем завернули в сторону и понесли под уклон, гремя вальками.

Андрей никак не мог понять, что произошло. По всей высоте рвались снаряды, раздавались крики и стоны, а его друзья, прикрывая его собой, выбирая секунды между взрывами, кричали радостно:

— Наши бьют, наши!

— Андрюха, стоят наши!

Андрею показалось, что его друзья сошли с ума: вокруг рвались снаряды, а они обнимались, смеялись и плакали счастливыми слезами...

Капитан Озеров в это время, выскочив из траншеи, бросился вперед. Изредка пригибаясь, он тяжелыми, машистыми прыжками начал вырываться из зоны обстрела. По сторонам рвались снаряды, над головой свистели осколки, а он, не останавливаясь, бежал и бежал с вы соты. Почти достигнув ее подножия, он резко остановился, и над ним, словно подняв огненные крылья, взвилось расшитое золотом знамя полка.

ХII

Полк Озерова расположился в большом селе. Из части, которая стояла в обороне на этом участке, уже сообщили в штаб Н-ской армии о переходе полка через фронт, и когда Озеров появился в селе, его немедленно вызвали к рации.

Первым разговаривал с ним командующий армией генерал-лейтенант Рокоссовский, а затем, чего никак не ожидал Озеров, генерал-майор Бородин. Оказалось, что дивизия Бородина, в состав которой входил полк, занимала оборону на соседнем участке, немного севернее того места, где озеровцы перешли линию фронта. Это обрадовало Озерова: полк мог, таким образом, очень быстро присоединиться к своей дивизии. Коротко доложив командиру

дивизии о состоянии своего полка, капитан Озеров изъявил желание немедленно прибыть для обстоятельного доклада, но генерал Бородин сказал на это, что он сам приедет в полк, как только закончится совещание в штабе армии, и строго наказал не беспокоить солдат и не проводить никаких приготовлений для его встречи.

— Золото и в грязи блестит, — сказал он.

...Заморосил мелкий серенький дождь. Он не торопился обмыть землю знал, должно быть, что ему отведено много времени для его труда. Начали гаснуть дали. Стайка воробьев врассыпную бросилась с куста сирени, на котором держались все еще зеленые листья.

Капитан Озеров перебирал и осматривал документы Яхно. Осколок снаряда ударил в левую часть груди, задев край кармана гимнастерки; партийный билет и некоторые другие документы были пробиты осколком и пропитаны кровью. Пятна крови оказались и на фотографиях жены и сына. Озеров долго смотрел на эти фотографии. У жены Яхно были густые темные волосы, они завитками ложились вокруг шеи на плечи, а большие, широко открытые глаза смотрели так прямо и сильно, что Озеров поспешил отвести от них свой взгляд... Сынишка комиссара, лет пяти, вихрастый, видать, неугомонный, в отца, сидел у круглого стола и держал в руках светлые, налитые солнцем яблоки. Семья комиссара жила в Москве. «Как я напишу им? — с болью в душе подумал Озеров. — А написать надо сегодня же! Уму моему непостижимо, как это я смогу нанести им такой удар!» Сложив все документы в полевую сумку, Озеров передал ее Пете Уральцу, спросил:

— Гроб делают?

— Делают, товарищ капитан.

— А могилу... роют?

— Роют... — И Уралец отвернулся к стене.

— Камни где? Дай сюда.

Пряча от Озерова опухшие, влажные глаза, Петя Уралец высыпал из кармана на стол горсть мелких разноцветных камешков, которые комиссар Яхно нес от самой Вазузы.

Капитан Озеров пощупал камешки и, вздохнув, сказал:

— Сбереги. Будет случай — отправим.

— Сберегу, товарищ капитан.

Сгребая со стола камни, Петя Уралец сообщил:

— И сейчас лежит, как живой. И улыбается. Даже хоронить

такого страшно. Никогда я не думал, что люди могут умирать с улыбкой.

Озеров поднялся у стола. С минуту он стоял молча, опустив голову, будто перед самой могилой Яхно.

— Это был настоящий большевик, Петя, — сказал он затем, слегка приподняв голову. — Великой веры человек! С такой верой в наше дело, как у него, и жить, Петя, легко и умереть легко! Только вот расставаться с такими людьми трудно...

У дома остановилась легковая машина.

— Генерал! — сообщил связной.

Озеров вышел навстречу командиру дивизии.

Генерал Бородин, в светло-серой шинели и сам весь светлый от седины, с ловкостью молодого выскочил из машины и не дал Озерову вымолвить слова. Крепко притянув Озерова к себе, он три раза поцеловал его в обветренные, шершавые губы. Потом вытащил из кармана шинели платок и, заметив, что все люди, которые уже успели с разных сторон появиться у крыльца, смотрят на него с удивлением, закричал сердито, дергая седыми стрельчатыми усами:

— Ну, что смотрите на меня? Не смотреть! Думаете, раз генерал, так и... Не смотреть! — крикнул он еще раз и, обтерев глаза, указал на Озерова: — Вот на кого смотреть надо! Смотрите, удивляйтесь и завидуйте его счастью! Он показал, как надо служить Отечеству и быть верным своей армии! — И генерал, распахнув полы своей шинели, пошел в дом.

В горнице генерал сразу разделся и, молча отстранив Озерова, сам повесил шинель на гвоздь у двери, — он собирался пробыть в полку долго. Растирая руки, он некоторое время смотрел на Озерова, будто стараясь определить, какие произошли в нем перемены за месяц после их встречи на берегу Вазузы. Генералу очень понравилось, что во внешнем виде Озерова ничто не говорило о его долгих и трудных скитаниях: гимнастерка и брюки были на нем хорошо выглажены, сапоги начищены до блеска, а сам он чисто выбрит, и от него еще сильно пахло одеколоном. «А ведь не забыл о замечании, что сделал я ему у Вазузы!» — с большим удовольствием подумал генерал и, неожиданно поймав Озерова за руки, сказал наконец то, что хотел сказать прежде всего при этой встрече:

— Ну, спасибо, дорогой, за все, за все! Спасибо тебе, русская ты душа! Горжусь, что в моей дивизии такие офицеры!

Озеров выпрямился перед генералом.

— Служу Советскому Союзу, товарищ генерал!

— Хорошо служите! Хорошо, товарищ майор!

Озеров хотел что-то сказать, но Бородин, подняв ладонь, остановил его:

— Майор! Я лучше знаю, кто вы! — Он пошарил в кармане брюк, вытащил и показал четыре металлических прямоугольника, покрытых рубиновой эмалью. Примите новые знаки. Только вчера получен приказ о повышении вас в звании. Знаки наденьте сейчас же, а потом и разговаривать будем.

Около двух часов пробыл генерал Бородин наедине с Озеровым. Он подробно расспросил Озерова о том, как полк вел бой у переправы, а затем пробивался на восток, в каком состоянии сейчас находятся люди, в чем они нуждаются, что нужно предпринять, чтобы быстро и полностью восстановить боевые силы полка. Раненых и больных Бородин приказал немедленно отправить в полевые госпитали, а всем остальным предоставить полный трехдневный отдых. Он сообщил, что по приказу командующего армией к вечеру в село придут машины с полным зимним обмундированием и продуктами питания для полка. Сегодня же все люди должны быть вымыты в бане, одеты, обуты и хорошо накормлены. Только после отдыха полк перейдет на участок, который занимает дивизия, получит пополнение людьми и необходимое оружие.

— Кстати, все ваши тылы, — сообщил Бородин, — находятся при дивизии. Я уже сообщил им о прибытии полка.

— Как они там, товарищ генерал?

— А в полном порядке. Все время шли с нами.

Генерал Бородин поднялся от железной печки и пересел к столу. На столе шумел большой помятый медный самовар, — Петя Уралец знал, что генерал любит побаловаться чайком. Бородин сам налил себе чаю и спросил, взглянув на Озерова:

— Теперь ты ждешь, что я расскажу?

— Жду, товарищ генерал!

— Я вижу.

Отхлебывая небольшими глоточками горячий чай, генерал Бородин начал рассказывать о том, как дивизия, вырвавшись из немецких тисков, отступала от Вазузы, как, отходя, сражалась с врагом на каждом удобном рубеже, нанося ему тяжелый урон. Он, видимо, с трудом сдерживал волнение. Не допив чая, он встал из-за

стола.

— Наше отступление в октябре, — заговорил он, шагая по горнице, историки будут изучать с таким же интересом, как изучают победоносные наступательные операции. Как известно, считается более обычным, что при таком тяжелом отступлении в массе солдат развиваются самые худшие человеческие качества, которые, в конечном счете, превращают войско в стадо. У нас же этого не случилось: как ни тяжело было армии, но она жива. Она действует и крепнет! И никогда не был таким чистым наш человек, как в эти дни, совершая благородные подвиги во имя Отечества!

Генерал остановился у окна, и Озеров заметил, что он едва удерживает слезы: так переполнили его воспоминания, восхищение людьми и печаль о погибших.

— Да, я старый человек, — продолжал генерал, — но как взгляну я на солдат наших, так и повеет во мне весной и молодостью: какие люди народились в нашей стране! За годы советской власти у наших людей появились новые черты: необычайная верность великим идеям и великому делу своей страны, чувство коллективизма, чувство ответственности за судьбы всего мира. Весь мир должен любоваться, глядя на наших людей, и должен учиться у них выполнять человеческие обязанности!

Мимо дома прошла группа солдат. Они были в замызганных шинелях и разбитой обуви. Тащились они по грязи устало, но разговаривали оживленно, радостно. Генерал Бородин смотрел на них до тех пор, пока они не скрылись в переулке, затем перевел взгляд на куст сирени в палисаднике, — он был хорошо обмыт дождем.

— Странно, — сказал вдруг генерал задумчиво, — листья сирени состоят из того же вещества, что и листья других кустарников. Но вот на всех кустарниках листья пожелтели и осыпались, а на сирени они все еще держатся крепко. И, знаете, — обратился он к Озерову, который тоже подошел к окну, — листья сирени держатся так до самой зимы. И падают только зелеными! Это прекрасно!

Он отвернулся от окна и неожиданно приказал:

— Постройте ваш полк.

— Есть построить полк, товарищ генерал! — ответил Озеров.
— Разрешите спросить: вы будете говорить с солдатами?

— Я хочу поклониться вашим солдатам.

ХШ

Андрей сидел на низеньком чурбане перед железной печкой. В печке чадили, не загораясь, сырые еловые дрова. В небольшой палатке было прохладно и тихо. Сильно пахло лекарствами. В слюдяное окошечко, полузакрытое еловой лапой, пробивался сумеречный свет ноябрьского утра. Где-то далеко гроыхало, будто там перекачивали с места на место тяжелые пустые бочки.

Рано утром всех раненых и больных, находившихся в палатке, эвакуировали в полевые госпитали. Андрей остался один» и ему тошно было коротать минуты одиночества. «Эх, и муторно же здесь! — рассуждал он, ковыряя клюшкой дрова в печке. — Только попади к этим врачам — и пропал! Залечат! До чего любят, когда прихворнет человек!» Все три дня, проведенные в санбате, Андрей считал пропащими в жизни.

За время болезни Андрей изменился еще более, чем за дни похода. Лицо у него осунулось, побледнело и построжело, а глаза, должно быть, навсегда потеряли свою тихость и родниковый блеск. Поглядывал теперь Андрей на все торопливо, чуть колюче и разговаривал резко, а иногда и ворчливо. Всей внешностью и характером он вдруг стал напоминать своего отца.

Дрова не разгорались. Бросив клюшку, Андрей проворчал:

— Сбегу — и все! Чтоб я гнил тут?

Чья-то рука откинула полосу брезента, прикрывавшую вход в палатку, и раздался голос санитаря:

— Здесь он, вона! Проходите.

Пригибаясь, в палатку вошел Матвей Юргин. Он был в шапке-ушанке, отделанной голубоватым мехом, и в новой длинной шинели. Смуглое лицо Юргина свежо лоснилось после недавнего бритья, — он выглядел моложе и веселее, чем в дни похода. Направляясь в глубь палатки, он заговорил свежим, помягчевшим голосом.

— А-а, вот где ты! А мне сболтнули, что тебя увезли!

Не помня себя Андрей вскочил с чурбана.

— Товарищ сержант!

На петлицах шинели Юргина вместо привычных треугольников ярко сверкали красные кубики.

— Товарищ лейтенант! — сказал Андрей, задерживаясь, снизив голос, словно Юргину не повысили, а понизили звание, но тут

же еще с большим порывом бросился вперед: — Товарищ лейтенант, произвели?

— Так уж случилось, — смутился Юргин, обнимая друга. — Вчера только. Встречает майор Озеров и говорит: «Принимай взвод!»

— Наш?

— Наш.

— Товарищ лейтенант! — сказал Андрей с жаром, высвобождаясь от Юргина. — Я не могу! Я сейчас же ухожу во взвод!

— А это как врачи скажут.

— Ну, врачи! — зашумел Андрей. — Этих врачей! Что они мне? Пахнет здесь везде какой-то пакостью. Нанюхаешься — на самом деле надолго сляжешь. Уйду, и все! Что они мне, эти врачи?

— Не шуми! — Юргин огляделся.

— Да нет тут никого, с утра один гнию!

Друзья присели у печки. Будто обрадовавшись их встрече, дрова вдруг затрещали весело, и искры замелькали в прогоревшей трубе, вырываясь на вольную волю.

— Полежать еще надо тебе! — сказал Юргин, сбоку осматривая друга. Ослаб, видно же!

— И не уговаривай, товарищ лейтенант! Не обижай! — ответил Андрей. Лучше расскажи, как там, у нас в полку. Где он теперь? Ребята как? Знаешь, просто вся душа у меня за эти дни изныла, вроде от корня меня оторвали. Сны разные одолели. Расскажи!

Но сам тут же поднялся и направился к выходу, выглянул из палатки. С неба реденько падали звезды-снежинки. Недалеко от палатки, укрывшись под разлапистой елкой, солдат-санитар колот дрова.

— Эй ты, товарищ санитар! — окликнул его Андрей. — Где там мои манатки? Шинель там, сбруя разная... Тащи живо! Мне уходить надо. Гляди, не задерживай!

— Что ж с тобой делать? — сказал Юргин, когда Андрей вернулся к печке. — Ладно уж, собирайся, пойдем вместе...

— Я мигом! Сейчас вещи мои принесут.

— Значит, про полк спрашиваешь? — Юргин, загораясь, начал рассказывать новости. — Э, теперь ты, Андрей, не узнаешь наш полк! Три дня мылись, переодевались, ели, пили... Даже, понимаешь, водочки изрядно перепало! Теперь все веселые такие, ржут, как

жеребцы, честное слово! Удержу на них нет! Новое оружие получили. Пулеметов очень много, автоматы... А эти бутылки... Знаешь, теперь не такие, с какими мы тогда у Вазузы-то были, помнишь? Зажигать не надо, а только бросай — сама горит, как окаянная, ничем не затушишь! Я уж попробовал их: полыхают что надо! Ну и пополнение пришло...

— Много?

— Порядком. Наш батальон полностью восстановили, да и другие пополнили. И новый комбат назначен.

— Кто такой?

— Из бурятов, а по фамилии — Шаракшанэ. Быстрый такой и ловкий, как степной орлик, и, видать, горячей крови!

— А бойцы ничего?

— Бойцы разные, — ответил Юргин. — Есть кадровики, а больше — ваш брат, из запаса. Народ разный. У нас в пехоте больше всего, конечно, колхозники да рабочие, а в артиллерию да в минометчики больше интеллигенция попала: учителя, счетоводы, агрономы... Слух есть, что даже один писатель там оказался, вот как! Ну, сам знаешь, там и нужен грамотный народ.

— Где же полк-то теперь?

— А полк вчера вечером перешел на участок дивизии. Стоит недалеко от передовой. Как бы сегодня же не вышли на передовую. Вполне возможно.

За палаткой послышался стук топора.

— Тьфу, вот изверг-то! — Андрей вскочил и бросился из палатки. — Ты что тюкаешь? — закричал он на санитаря. — Что тюкаешь, зловредная твоя душа? Где вещи? Я сколько ждать буду? Тогда доложи врачу, да живо! Сегодня вон ребята, может, воевать пойдут, а я гнить тут буду у вас? Доложи живо!

Возвратясь к Юргину, спросил:

— А кто командиром нашего отделения?

— Сержант Олейник. Из новых.

— Хорош?

— На вид боек, смекалист, а какой будет в бою — поглядим. Все люди, Андрей, узнаются только в бою.

Через час Андрей при помощи Юргина добился выписки из санбата. Ему выдали новое обмундирование, и главный врач, с которым все же пришлось поспорить, неожиданно раздобылся и поднес друзьям на прощание по стакану водки.

XIV

Путь до временного расположения полка Озерова лежал то через поля, кое-где прикрытые полосами озимей, то через лесочки, заваленные опавшей загнивающей листвой и насквозь пропитанные густой осенней синью. До санбата Андрея везли в закрытой машине, и он не видел прифронтной полосы, а когда увидел ее — поразился, что на ней было сделано. Только что выйдя из лесу, где стоял санбат, он остановился в изумлении: через все поле — с севера на юг — тянулся огромный вал глинистой земли, каким обносили древние крепости.

— Противотанковый ров, — пояснил Матвей Юргин.

Через ров был перекинут шаткий дощатый мостик; по нему, и то не без риска, могли проходить только легкие санитарные машины и повозки. Андрей задержался на мостике, кинул взгляд на север, — конца рва не было видно за горбиной поля, кинул взгляд на юг, — конец его обрывался у опушки леса. В восхищении Андрей резким взмахом руки сдвинул шапку на затылок.

— Эх, черт возьми! — воскликнул он. — Вот это канавка! По шнуру сделана. И сколько тут земли вырыто! Товарищ лейтенант, как ты думаешь: на самом деле не перелезет, а?

— Танк? — переспросил Юргин. — Ни за что!

— Кто ж тут рыл? Не слышал?

— Как не слышал! Все, брат, они, москвички, — ответил Юргин, почему-то хмурясь. — Да ты погоди, ты еще не раз ахнешь, когда пойдем дальше. Всю осень, Андрей, трудились тут люди. Да кто? Столичные женщины, каким за всю жизнь, наверное, не приходилось держать в руках лопаты, да молодые девчурки, каким только бы бегать в кино... Вот, брат, кто! И вот гляди, что сделали! И такие рвы, сказывают, по всему фронту нарыты. Да и не только рвы. Куда ни погляди — везде разные преграды. Ой, великий труд они положили здесь! Я как насмотрелся — мне стыдно, Андрей, стало!

— Стыдно? Отчего же?

— Стыдно перед этими москвичками, так стыдно — не знаю куда глаза прятать, — хмуро ответил Юргин и, перейдя мостик, долго шел молча, скользя по грязи. — Задержи мы немцев подальше отсюда — зачем бы им долбить тут землю? И еще стыдно оттого, что они потверже нас, пожалуй, переживают эти разные тягости в войне.

Дальше шли молча. И действительно, много раз еще пришлось Андрею удивляться тому, что сделали москвички в прифронтовой полосе. Это была полоса почти сплошных, трудно преодолимых для врага оборонительных укреплений. Всюду по полям тянулись глубокие извилистые траншеи, на пригорках высились дзоты с темными щелями бойниц, между лесами виднелись могучие линии надолб и проволочных заграждений, а по лесам тянулись непролазные даже для зверья завалы.

«Да, если мы здесь не устоим, тогда нам, и верно, лучше не глядеть на белый свет. Нет, тут не будет немцу хода!» — подумал Андрей и неожиданно, впервые в жизни, почувствовал щемящую, посасывающую сердце жажду боя.

XV

Полк майора Озерова стоял в лесу, недалеко от передовой линии. В этом месте и раньше, проходя на фронт, стояли воинские части: повсюду виднелись свежие пни, валялись вершинки деревьев, не затраченные в дело, груды сырой щепы и лапника, часто встречались полузаваленные щели, наполненные водой, разломанные шалаши и стойла для коней, ямы с головешками и золой... Обтрепанный, помятый и вытоптаный лес был густо заселен людьми в серых шинелях. На стоянке повсюду маячили фигуры солдат. Кое-где в наскоро сделанных землянках и шалашах мелькали огни.

Отделение сержанта Якова Олейника размещалось в большом шалаше под двумя кудлатыми елями. Почти все отделение, за исключением Умрихина, состояло теперь из новых людей, прибывших для пополнения полка. Среди них было только три солдата кадровой службы. Самым приметным из них был комсомолец Терентий Жигалов, худой и остроносый, с открытыми, всегда настороженными глазами, словно ожидающими внезапной вспышки огня. Он отступал от самой границы, был ранен, с неделю находился в плену у немцев, чудом бежал из плена и с месяц пролежал в госпитале. При каждом упоминании о немцах его било, как в лихорадке, он срывался с места, говорил горячо, стучал кулаком. Два других кадровика — белорус Ковальчук и уралец Медведев — воевали меньше, оба были ранены и лечились в госпитале под Москвой. Там встретились с Жигаловым и вместе прибыли в полк.

Все остальные в отделении были призваны из запаса. По воле судьбы они собрались из разных мест. Сержант Олейник был родом из Мурома, где работал заготовщиком пушнины, солдат Осип Чернышев — знаменитый каменщик из Москвы, Федор Кочетов — садовод из подмосковного совхоза, Тихон Кудеяров колхозный агротехник из-под Владимира, Петро Семиглаз — бригадир колхоза с Киевщины, Нургалей Хасанов — помощник комбайнера из Татарии и Кузьма Ярцев — земляк отделенного, кустарь, мастер по гнутой мебели. Некоторые из них уже воевали, по разным причинам выбыли из своих частей и оказались в запасном полку армии; другие совсем недавно прибыли на фронт и еще не отведали войны. Но и эти, много или мало, служили раньше в армии и знали солдатское дело.

Все отделение встретило Андрея приветливо.

— Видали? — торжествовал Умрихин. — Сон-то мой сбылся?

Бойцы уступили Андрею место у костра, протянули на выбор несколько кисетов и, пока он курил с дороги, сообщили много различных полковых новостей. И Андрей, не успев осмотреться, почувствовал, что ему приятно быть среди новых товарищей в привычных условиях солдатской жизни.

Командир отделения сержант Олейник понравился Андрею с первого взгляда. Это был высокий, подбористый парень, быстрый и ловкий, как хорек. Лицо у него почти такое же смуглое, как у Юргина, а черные глаза с кошачьей косинкой ярко блестели. Подсев к Андрею, он сразу же объявил четко и кратко:

— Так вот, ты — пулеметчик. Так решено. Можешь?

— С ручным? Могу. Обучали.

— Все! Получишь пулемет.

Тронув за плечо сидевшего рядом молоденького коренастого татарина, улыбчивого, с темными, как дробинки, глазами, Олейник сообщил так же кратко:

— Твой помощник — Нургалей.

— Мы будем помогать! — весело пообещал Нургалей. — Показывать будешь, тогда пойдет-та дело! Мы разный машина понимать можем. Только мал-мал показать-та надо!

— Покажу, — пообещал Андрей.

— Тогда пойдет-та дело!

У костра крутился Петро Семиглаз — подвижной толстячок, по-девичьи белый и румяный. Самый веселый, разговорчивый и —

видно было — смекалистый и вездесущий, он все время хлопотал: ломал ногой валежник, подживлял огонь, возился с котелками на тагане. Вскоре он, расстилая у огня палатку, объявил:

— Хлопцы, вечерять!

— Что-то рановато, а? — поинтересовался Андрей.

— Да тут трошки! Пока кухня не подошла. Сидай, хлопцы!

— Он все подкармливает нас, — пояснил Умрихин. — Ой, знаток этого дела. С таким в пустыне не пропадешь. Утром куда-то отлучился ненадолго, а потом глядим — прет мешок картошки, даже хребет у него трещит. И где добыл — шут его знает!

— Як где? У поле. Брошена людьми.

Строго поровну, как водится у солдат, Петро Семиглаз начал делить картошку, раскладывая парами перед каждым. Заглянув в нетронутый котелок, Нургалей воскликнул с досадой:

— Эх, Петра, сюда бы добавлять курица цыпленка!

— Шо? — не понял Семиглаз.

— Курица цыпленка! — быстро повторил Нургалей.

— Тю! Вот гутарит — ничего не поймешь!

— Уй, не понимает! — даже обиделся Нургалей. — Ну, от курица ребенка, знаешь?

Раздался взрыв хохота.

С минуту бойцы катались вокруг костра.

— Ой, окаянный, замертво уморил!

— Ребенка, а? Мальчика? Или дочку?

Понимая, что товарищи смеются добродушно, Нургалей не обиделся, но весь заблестел от пота. А когда все отсмеялись и принялись за картофель, он выплюнул что-то на ладонь и ткнул в бок Семиглаза:

— У, шайтан! Погляди, чего даешь?

— Шо опять же?

— Зачем картошка с железом-то растет?

— Тю, ей-бо, осколок, — ахнул Семиглаз, — з мины! Это ж я сбирал ее там, а они меня, хрицы-то, минами!

— И здорово били? — спросил Олейник.

— Эге, я гребу, они и тут и тут!

— И все рвались?

— А то як же?

— Врешь, они не все рвутся.

— Ну, може, и не взорвалась яка, — охотно согласился Петро

Семиглаз. — Бывае, не спорю.

— Вот я и толкую, — мрачновато заключил Олейник. — Ты, дьявол, второпях-то, может, и мину, какая не взорвалась, вместе с картошкой сгреб да сварил? А ну, где котелки?

Бойцы опять захохотали, а Нургалей, дурачась, начал взвизгивать, хватаясь за живот, и кататься по лапнику у костра.

— Уй, однако, мне мина попала! Уй, сейчас рваться будет! Отойти сторона, пожалуйста!

И Нургалей так искусно изобразил, что он с ужасом ожидает взрыва мины в животе, что все солдаты, тоже дурачась, кинулись в углы шалаша и там долго гоготали, укрывая головы...

— Видал, какой тебе помощник попал? — сказал Умрихин Андрею, когда все, отсмеявшись, потянулись к центру шалаша. — Чистый артист!

— Хорош парень, — согласился Андрей. — Да и все хороши ребята. Веселые. Такие пойдут воевать. Только вот этот... что он? Не хворый?

В углу шалаша сидел Кузьма Ярцев — худой и костлявый, с испитым лицом и впалыми, утомленными глазами. Он один из отделения не смеялся и все время молчал. Положив на колени подбородок, обраставший черным волосом, он затаенно смотрел на огонь и изредка вздрагивал, будто во сне.

— Какой-то убогий, — шепнул в ответ Умрихин. — Да ты вот сам увидишь, какой он есть...

Сержанта Олейника вызвали к командиру взвода. Солдаты доели картофель и, толкуя о том о сем, начали вытаскивать кисеты. В это время Иван Умрихин, незаметно толкнув локтем Андрея, заорал хриплым голосом:

— Воздух!

Все сразу же примолкли, стали прислушиваться, стараясь поймать гул моторов, а Кузьма Ярцев, не слушая, сорвался со своего места и бросился вон из шалаша — спастись в щели. Но тут же Петро Семиглаз, подернув ноздрями, напал на Умрихина:

— А-а, щоб ты сказывсь! Щоб тоби, бису, заложило навеки!

— Я же предупредил, — возразил Умрихин.

И опять шалаш дрогнул от хохота.

Не глядя на товарищей, Кузьма Ярцев вернулся на свое место, и Петро Семиглаз, взглянув на него, сказал:

— Знов перелякав солдата!

— Ты, Иван, я вижу, опять за свое? — вдруг заговорил Андрей резко; все солдаты даже притихли. — Опять? Он, может, и на самом деле боится, а ты... Гляди, Иван, а то я с тобой так поговорю, что тебя проймет икота!

— Ого! — не обиделся, а удивился Умрихин и восхищенно поглядел на Андрея, подняв свой утиный нос. — Ты гляди-ка, а? Да ты, Андрюха, посурьезней покойничка Семена будешь, а? Ну, слава богу! Это мне даже очень по душе!

— Гляди, по душе ли будет!

У входа в шалаш показался Олейник.

— Тушить огонь! Строиться!

...Когда стемнело, озеровцы выступили на передний край. Для полка был отведен участок на правом фланге обороны дивизии. Здесь больше недели держали оборону несколько мелких подразделений, которые уже нуждались в отдыхе. Но прежде чем занять этот участок, надо было углубить траншеи, сделать дополнительные блиндажи и дзоты, оборудовать командные и наблюдательные пункты. Эту работу полк должен был закончить за две ночи и потом стать, преградив врагу путь к Москве.

XVI

Перед рассветом полк вернулся на прежнее место. За ночь была выполнена большая работа по улучшению оборонительных позиций.

Ночь прошла довольно спокойно. Только за несколько минут до возвращения на отдых одна немецкая батарея бросила несколько снарядов на наш передний край. Один солдат был убит, а трое — легко ранены. Но все в полку считали, что дело обошлось благополучно.

Утром Андрей получил пулемет, но оказалось, что он неисправен, пришлось тащить его в мастерскую, которая помещалась километра за два от стрелковых батальонов, в одинокой избушке лесника. Возвращаясь обратно в полк, Андрей решил сократить себе путь и направился заранее отмеченной тропинкой.

На полпути, у заболоченной речушки, заросшей кустарником, Андрей остановился закурить. И вдруг он заметил среди кустов, под обрывом, человека. Он присел за комлем ели, прислушался и через несколько секунд тихонько окликнул:

— Эй, кто там?

На-берегу речушки встряхнулись кусты ветельника и черной смородины, кто-то захлюпал в жидкой тине, и Андрей, не собираясь кричать, внезапно крикнул:

— Стой!

Над кустами взметнулись руки, измазанные в болотной тине, и человек, что был в кустах, тоже закричал — испуганно, дико:

— Свой! Что ты, свой!

Андрей прыгнул с обрыва.

Человек у речки оказался рядовым солдатом. Болезненное лицо его казалось восковым в бледном лесном свете. Он был очень испуган и то вскидывал грязные руки, то хватался за грудь.

— Не губи! Свой, что ты!

— Ярцев? — изумился Андрей. — Ты чего ж тут?

— Не спрашивай!

— А все же?

— Блужу, вот что, — ответил Ярцев, опускаясь у куста смородины.

Сухой и костлявый, Кузьма Ярцев сидел сутуло, пытаясь сжимать руками колени, но руки не слушались — все подрагивали и подрагивали. Чувствуя, что Андрей ждет обстоятельного ответа, он пояснил:

— Заваруха тут вышла. Ходил я в санроту с одним парнем из нашего батальона. Видишь, сохну я, а отчего — не пойму. Парня там оставили, а меня оглядели и обратно отослали. Дали вот порошков... Иду обратно, а тут вдруг самолеты, видимо-невидимо! Я кинулся от дороги, спрятался, а потом схватился — и не знаю, куда идти. Как черт попутал! Вот и блужу, а куда идти, не соображу головой.

Андрей стоял против Ярцева и смотрел на него пристально и недоверчиво. Его удивило, что у Ярцева все еще подрагивают руки необычной, болезненной дрожью.

— А что ж ты испугался-то?

— Я? Испугался? — Он задержался с ответом. — Да ведь тут места чужие, народ разный...

Он не знал, куда спрятать вздрагивающие руки. Его страх был так ошутим, что Андрея передернуло. У Андрея не появилось никакой определенной мысли, но он почувствовал что-то несообразное в том, что Ярцев сидит около этой речушки. Лесной мирок, зачем-то облюбованный им, был полон таинственности, и

Андрей понял, что он ни одной секунды не может оставлять здесь Ярцева и сам оставаться с ним — это противно его душе.

— Пойдем! — потребовал Андрей. — Пойдем отсюда, Кузьма! Слышишь?

Бледное лицо Ярцева перекопилось, как от боли.

— Идти? — спросил он шепотом. — В роту?

— А куда же?

Дрожь забила все тело Ярцева. И даже в бледном лесном свете видно было, как туманной пеленой застлало его глаза. Вздохнув тяжело, словно прощаясь с миром, он неожиданно повалился на бок, начал хватать и стягивать к груди ветки смородины, поникшие над землей.

— Кузьма! — закричал Андрей. — Ты что?

— Сил моих нет, — слабо прошептал Ярцев.

— Ты что задумал? Что?

После этих слов Ярцев, опомнясь, быстро поднялся и, стараясь быть спокойным, спросил:

— А что я? Я сейчас, сейчас!

Всю дорогу Андрей молчал, а Ярцев, шагая с ним рядом, почему-то все время говорил о своей семье.

XVII

Заслышав гул моторов, Кузьма Ярцев, как всегда, забился в свою щель. Самолеты прошли на восток, а он и после этого долго прислушивался, сторожко поглядывая в небо. Проходя мимо, сержант Олейник остановился у щели, строго позвал:

— Ярцев!

— Здесь, товарищ сержант!

— За мной! К командиру роты!

Кузьма Ярцев быстро поднял над глазами козырек каски. Худое лицо его обдало холодной бледностью. Он стоял несколько секунд, не шевелясь, не слыша больше ничего от хрипа, наполнившего грудь, и шума в голове. Сердито кося глаза, Олейник поманил его пальцем, я тогда он, навалившись грудью на край щели, стал хвататься за траву, чтобы выбраться, но в руках не было никаких сил.

— Дай руку! — Олейник нагнулся над Кузьмой. — Тоже, Аника-воин! — Но и он едва вытащил Ярцева из щели — так отяжелело отчего-то все его тело.

Не оглядываясь, сержант Олейник пошел в глубь леса. Подбористый, ловкий, он шел пружинистым звериным шагом, изредка поправляя на плече автомат. Ярцеву трудно было поспеть за ним: вся грудь наполнялась кашлем, и в ней мало осталось места для сердца. Цепляясь за кусты, он остановился, слабо крикнул:

— Погоди!

Олейник взглянул через плечо:

— Шагай!

— Ты скажи: это правда?

— Шагай! — прикрикнул отделенный.

После этого Ярцев уже не помнил, куда вел его Олейник.

Когда опомнился, увидел, что сидит на земле в густой лесной чаще, а перед ним на гнилой колодине — сержант; сквозь табачный дым блестят его черные, с кошачьей косинкой глаза. Почти задыхаясь, Ярцев прошептал:

— Мы где?

— Вытри рожу-то, — сказал Олейник. — Ободрал всю о кусты. Да, слаба у тебя оказалась жилка! Слаба! Не знал я этого. Знал бы — не связался с такой заячьей душонкой. Вытри вот тут еще!

— Убил ты меня, — прошептал Ярцев.

— И надо бы. Зачем тебе такому жить?

С минуту молчали. Поводя косыми глазами, Олейник прислушивался. Вдалеке били орудия. Поодаль в лесу гомонили солдаты. А вокруг поблизости стояла глухая лесная тишь. Понизив голос, Олейник наконец спросил:

— Ну, товарищ дезертир, влопался?

— Не повезло, — тяжело выдохнул Ярцев.

— Это как же он нашел тебя?

Кузьма Ярцев рассказал, как он, выйдя из санроты, подался в глубину леса, надеясь там переждать день, а ночью уйти с фронта, но на него случайно набрел Андрей Лопухов.

— Не повезло, брат!

Олейник приподнялся и, слегка сводя глаза к переносью, посмотрел на Ярцева в упор.

— Встать!

— Ты... ты что? — Ярцев едва поднялся на ноги. Не трогаясь с места, чуть качнув плечами, сержант Олейник со страшной силой ударил Ярцева по левой скуле. Застонав, тот отлетел под куст крушины, но быстро поднялся и, опираясь на ладони, тихонько

сказал:

— Не бей! — и заплакал.

— Сволочь! — тоже тихонько сказал Олейник и вновь сел на гнилую колодину. — Вытри опять же рожу-то!

Бросив окурок, Олейник свернул новую сигарку.

— Выдаст он?

— Не должен бы, — ответил Ярцев.

— Не должен? А что, струсил, когда позвал к ротному?

— Сердце же! Знаешь, какое? — поморщился Ярцев. — А выдать не должен. Он, может, и почуял, а на факте не докажет. Почему я не мог заблудить? Места не свои...

Но Олейник, видимо, не поверил заверениям Ярцева.

— Дурак! — сказал он погодя. — Ишь ты, убежал! Я же говорил тебе, так и выходит... Не искал тебя человек — и то нашел! А ну, если бы тебя искать стали? Куда бы ты ушел? Куда бы скрылся? Допустим, даже в тыл пробрался. А надолго ли? Любая баба там тебя за горло бы взяла! Или не знаешь, как там на таких вот смотрят?

— У меня документы есть чужие.

— Еще хуже!

— Пока бы пожил в лесах.

— А потом? — ощерился Олейник.

— А там, может, война кончилась бы... Ты же сам говорил, что она может кончиться скоро!

У Олейника все еще не могло утихнуть возбуждение: он часто и колюче вскидывал на Ярцева глаза, нервно мял тонкие губы.

— Да, говорил! — подтвердил он горячим и злым шепотом. — И не раз говорил! Она и на самом деле должна кончиться скоро. Вот они, немцы-то, где уж теперь — под самой Москвой! Кто их повернет отсюда?

— Вот я и толкую.

— Толкует он! — опять злобно ощерился Олейник. — Война-то скоро закончится, а вот вопрос: доживешь ли ты до этого? Второй раз говорю: в тылу тебя каждая баба, как щенка, за загривок схватит! Можешь ты это понять?

— Ну и тут пропадешь!

— Здесь? — От возбуждения на висках Олейника даже вздулись вены. Правильно! Здесь еще скорее пропадешь! В тылу, может, прошатаешься с неделю, а то и две, ну, а тут... Здесь, начнись

бой завтра, и каюк тебе! Ладно еще, если пулю схватишь, а то и требуху развесит на деревьях. Пехота! — Он презрительно пустил сквозь большие желтоватые зубы длинную струю слюны. — В тылу нет спасения, а тут и подавно!

Кузьма Ярцев сидел, ссутулясь, опустив плечи. Неудача с побегом обескуражила его так, что он совсем лишился сил, а мысль о том, что скоро придется быть в бою, душила, давила грудь. Как ему хотелось сейчас услышать хотя бы одно ласковое слово! Но Олейник точил и точил, как червь, и было жутко чувствовать всем сердцем его злобную силу и уверенность в неминуемой гибели. Бледный, подрагивая, Ярцев попросил:

— Яков, не надо, ты лучше молчи!

Олейник слегка повысил голос:

— А спастись можно! Можно!

— Опять ты свое, — сказал Ярцев жалобно.

— Что ж, опять свое!

Олейник поднялся, прислушался, по-кошачьи, настороженно повел глазами по лесной чаще. Ничто не нарушало ее глушь. Олейник сел на прежнее место, вытащил из-за пазухи розовый листок, подал Ярцеву.

— Читай, свежая.

Листовка дрожала в руках Ярцева.

— Видал, что пишут? И на снимке даже показано... — Олейник понизил голос до шепота. — Нам с тобой один выход: туда уйти. Уйдем — живы будем!

Ярцев прикрыл глаза, покачал головой.

— Не могу я. У меня, сам знаешь, жена вся в болезнях и детишек полна печь. Уйду я — что с ними будет?

Взяв листовку обратно, Олейник скомкал ее в кулаке, сунул под колодину, матерно выругался.

— Не человек ты, а слизь поганая! Даже смотреть на тебя противно. Да уж если уходить — с умом надо, а не как ты сегодня. Надо без вести пропасть! Пропал без вести — и весь разговор! Ну, пусть поплачет немного баба.

Разговор о побеге между ними происходил не один раз еще до прибытия на фронт, но Ярцев всегда упорствовал. Теперь он тоже отказался наотрез:

— Не уговаривай, Яков! Не пойду я дальше от дома. Расчету мне нет никакого идти туда. Да и немцы-то мне не кумовья какие.

— Мне они тоже не кумовья, — сказал на это Олейник. — Только и всего, что под одним солнцем портянки сушим. Блинами, понятно, не встретят, не жди.

— Какие там блины! Вздернут еще! Вон что эти рассказывают, что вышли оттуда. Бьют да вешают народ.

— Чепуха! Знаем мы: одна агитация! Кто говорит-то? Одни коммунисты! Небось всех не вздернут! — Опустив голову, Олейник косо взглянул на костлявую фигуру Ярцева, пришибленного думами, и продолжал, уже не спеша, подбирая слова: — Коммунистам, конечно, делать у них нечего. А с тебя что? Горб на них погнешь, это верно. Без этого не обойтись. А вытянешь до конца войны — жить будешь да поживать. Вечно не будут тут немцы. — Он встрепенулся и опять взглянул на Ярцева в упор, чуть сводя глаза у переносья. — Да что тебя, ласкали, что ли, большевики? Сколько за их здоровье отсидел? С год, никак?

— Почти год, — глухо ответил Ярцев.

— Ну, а я не сидел, так должен был сидеть, — сдерживая себя, сказал Олейник. — Не миновать было этого. Отца вон посадили безвинно... Я как вспомню об отце, так и закипит во мне все! Мне никогда не забыть такой обиды.

Совсем рядом что-то прошумело в хвое, а через секунду дрогнула вершинка молоденькой елки, что поднималась у самой колодины. Ярцев разом припал боком к земле, растопырив на ней узловатые пальцы. Но Олейник даже не дрогнул и, язвительно сплюнув сквозь ржавые зубы, спросил:

— Умер? Или нет еще?

— Кто это? — прошептал Ярцев.

— Эх, тонка у тебя жилка, тонка!

— Кто там? — чуть приподнялся Ярцев.

— Дурак, белка это! — И когда Ярцев опять уселся, как старый пес, на тощий зад, Олейник твердо спросил: — Ну? Говори последнее слово.

— Нет, Яков, — ответил Ярцев, — я не пойду.

— Опять побежишь?

— И бежать не побегу.

— Хо! Ср-р-ражаться будешь?

— И тоже нет. Где мне?

— Что же делать будешь?

— Подумаю.

Помолчав, Олейник закончил разговор:

— Ну, думай! А мне нет резону пропадать в такие годы. Не хочешь идти — прощевай. Как будет случай, так и уйду. Не сердись, что по роже-то съездил: за дело. Может, впрок пойдет. Все! — И пригрозил: — Гляди, сдуру-то не выдай! Живо пулю словишь. Так и знай.

И он поднялся с колодины.

XVIII

Обер-лейтенант Рудольф Митман, отправленный вместе со своими солдатами в штаб армии, дал важные сведения о подготовке немцев к новым ударам. Его показания подтверждались: на нескольких участках фронта, в том числе на участке дивизии генерала Бородина, было замечено передвижение немецких войск, переброска танков и артиллерии к передовым позициям. В связи с этим майор Озеров неожиданно получил новый приказ: с наступлением темноты выдвинуть два батальона на передний край не только для работ, но и для одновременного занятия постоянной обороны. Один батальон разрешалось оставить пока в резерве. Кроме этого, предлагалось установить за противником постоянное наблюдение и ночью же захватить пленного: надо было точно узнать, когда немцы наметили нанести новый удар на участке дивизии.

Майор Озеров немедленно вызвал к себе Юргина.

— Вот что, дорогой земляк, — сказал он озабоченно, продолжая делать какие-то отметки на карте. — Надо «языка».

Как всегда, Юргин взглянул на командира полка смело, ответил не спеша:

— Достанем, товарищ майор. Пойду сам.

— Ишь ты, сам! — Озеров оторвался от карты. — А ты думаешь, я сам не достал бы «языка»? Плохой ты будешь командир, если все будешь делать сам. Надо верить не только в себя, но и в людей. Организуй! Подбери надежных бойцов, расскажи, как и что надо сделать, и пусть делают. А подробные указания я дам лично перед отправкой.

— Слушаюсь, товарищ майор! Разрешите выполнять?

— Обожди... — Озеров покопался в планшетке, вытащил небольшую книжечку. — Вот это о разведке. Очень полезная, почитай, а потом и действуй. Нам, дорогой, всем учиться надо...

...В отделении Олейника шел дележ махорки.

Заняться дележом вызвался было всюду поспевающий Петро Семиглаз. Высыпав махорку на плащ-палатку, он пошарил в ней пальцами, радостно раздувая ноздри.

— А мерка е?

Мерки не оказалось. Тогда Умрихин быстро придвинулся к куче махорки.

— Стой! — сказал он, отбрасывая руку Петра. — Раз мерки нет, то и веры тебе нет! Я уж вижу: вон как ноздри заиграли! На чем другом, а на махорке обдуешь, я уж вижу!

— Я? Обдую? — обиделся Петро.

— Именно ты!

— Сдузив! Ей-бо, сдузив!

Но всем почему-то понравилось, что Петру Семиглазу выражено недоверие, и ради озорства все сговоренно поддержали Умрихина:

— Давай другого!

— Отодвиньсь, Петро!

— Ну, погоди ж! — постращал Семиглаз.

Умрихин продолжал верховодить:

— Кто ж разделит? Сурьезное же дело!

Нургалей Хасанов, сверкая глазками, быстро предложил:

— Пускай Андрей-та делит, а?

— Во, это надежно, — поддержал Умрихин.

И все охотно согласились:

— Дели, Андрей!

— Да живее, курить охота!

Андрей разделил махорку на равные кучки по числу людей в отделении. К одной из них сразу же потянулся Петро Семиглаз.

— Погоди, — остановил его Андрей.

— Трошки поколдуешь?

Андрей кивнул Нургалею:

— Отвернись! — И когда Нургалей отвернулся, прикрыл одну кучку махорки рукой. — Кому?

Нургалею очень нравился такой честный солдатский способ дележа. Он ответил бойко:

— Петра Пятиглаз! — И спохватился. — Ой, нет, ошибка давал! Шестиглаз! Ой, нет! Погоди мал-мал, его фамилия считать-та надо!

Все отделение дружно захохотало.

— Тю, бис! — весело выругался Петро. — Еще смеется!
Через минуту все задымили махоркой.

У входа в шалаш показался лейтенант Юргин. Ловко вскочив первым, Олейник подал команду:

— Встать!

— Сидите, сидите! — помахал рукой Юргин и, не входя в шалаш, спросил: — У вас тут... не найдется охотников в разведку?

— В разведку? — Олейник подался вперед и ответил с жаром: — Я желаю, товарищ лейтенант! У меня к разведке большая охота! Давно хочу в разведчики.

— Ага, тогда зайду.

Из угла шалаша вылез Андрей.

— И я пойду, — сказал он просто.

Третьим заявил о своем желании участвовать в ночном поиске Терентий Жигалов.

— Я три года служил в разведке! Я на войне служил... тоже в разведке! — заговорил он горячо и бессвязно. — Мне надо идти! Я знаю этих немцев, этих... У-у, сволочи! — и он неожиданно так ударил в стойку, что над очагом посыпалась высохшая хвоя.

— Отлично, — порадовался Юргин: ему нравились все добровольцы. — Я как раз ищу таких людей. Теперь хватит. В ночном поиске чем ни меньше народу, тем лучше. Тут нужно работать тихо. Тогда собирайтесь, пойдем сейчас со мной.

Оставшиеся часы до вечера Олейник, Андрей и Жигалов просидели на наблюдательном пункте. Они тщательно просматривали местность, выбирая себе путь к немецким позициям.

После полуночи, получив необходимые указания от майора Озерова, разведчики пересекли траншею и осторожно, цепочкой направились на запад по узенькой лощине. На фронте стояла тишина. Землю покрывал туман. Луна выглядывала редко, а если и смотрела — сонно, неохотно, и в небесах было неуютно от ее болезненного света.

У гитлеровцев на участке полка не было плотной обороны. Готовясь к дальнейшему наступлению, они стояли по деревьям и лесам, выдвигая вперед лишь небольшие посты. Один такой пост был обнаружен днем на небольшой высотке, покрытой отдельными кустиками. Туда и направились разведчики.

Но им не пришлось дойти до высоты.

На полпути Терентий Жигалов, идущий впереди, как бывалый разведчик, присел в небольшом кустарничке, чтобы получше прислушаться и обсудить с товарищами дальнейшие планы. Он нетерпеливо пискнул, будто какой-то обиженный в ночи зверек: поторопил Олейника и Андрея. В тот же момент влево от него что-то стукнуло и зашипело злой, рассерженной змеей, — жарко брызгая, над кустарничком взлетела ракета. Землю обдало таким ярким светом, что разведчики оцепенели. А через секунду, точно прошивая строчки, затрещали в разных местах немецкие автоматы.

Ослепленный светом ракеты, Андрей бросился на землю и покатился в яму, — так и оборвалось сердце. Это была воронка от авиабомбы. Сержант Олейник, последний в цепочке, работая всем телом, начал забиваться в кусты. «Убьют! — подумал он. — Пропадешь!» И Андрей и Олейник поняли: они натолкнулись на группу немцев, которая, вероятно, тоже отправилась в ночной поиск.

Терентий Жигалов остался впереди.

Поняв, что поиск провалился, стараясь не выдать себя, он решил без стрельбы отползти обратно, где залегли товарищи. Быстро, как ящерица, он пополз в сырой и погнившей траве. Дрожь автоматов затихла. Терентий Жигалов хотел было приподняться, как два здоровых гитлеровца, выскочив из кустов, навалились на него. Несколько секунд Терентий Жигалов молча, со всей силой отбивался от немцев, и только когда они, заломив ему руки назад, оторвали его от земли, он на мгновение увидел потухающий осколок луны, падающий с небес, и закричал:

— А-а-а-а!... Уда-а!...

Его хриплый, надорванный крик разнесся далеко в ночи. Андрей рванулся из воронки. Он сразу понял, что произошло. Он слышал глухие удары, резкий стон, потом — подальше от себя — безумный, рычащий голос, совсем непохожий на голос Жигалова:

— ...р-р-ра... атцы, бей! Не жалея! Бей!

Андрей понял, что Жигалов просит стрелять. Но как стрелять — ведь он вместе с гитлеровцами убьет и Жигалова? Пот ручьями потек по лицу Андрея. Прошло несколько секунд затишья, а потом впереди раздались прерывистые, раздирающие душу крики Жигалова. Долетали только клочья слов, хрип и стоны. Только одно слово — и уже издалека — вдруг вырвалось и зазвенело, как оно звенит на войне:

— Ого-онь!

И столько в этом слове было обжигающей душу силы, что Андрей понял: он должен стрелять. Это был приказ, который должен выполняться безоговорочно. Застонав, Андрей вскинул автомат и нажал спуск: автомат начал толкать его в плечо, словно хотел вырваться из рук, а впереди — в темноте — зашумели кусты и слышались вопли...

Со стороны, сопя, к Андрею вдруг бросилась человеческая фигура и опрокинула его на землю. Андрей потерял автомат, но тут же вцепился в своего врага. Рыча, они заметались в густой и мокрой траве. Под руки Андрея попало лицо врага; в безумстве, утроившем силы, он начал рвать его нос, глаза, губы... Вспомнив о ноже, Андрей начал поспешно искать его у пояса, но тут же почувствовал, что летит навзничь от сильного удара в грудь. Его спасло чудо. Он вновь успел вцепиться в одежду врага, и они вместе, перевертываясь клубком, покатались на дно воронки. Только здесь Андрею удалось всей грудью навалиться на своего врага и выхватить нож. Он не знал, в какое место ударил его, но отчетливо слышал, как хрустнуло его тело...

Вырвав нож обратно, Андрей брезгливо отбросил его в сторону, второпях почему-то не подумав о том, что он может еще пригодиться для борьбы. Но фашист стал сильно разбрасывать руки и выгибаться. Андрей опять навалился на него, прижал к земле и впервые закричал:

— Сержант, помогай!

У края ямы слышался голос Олейника:

— Ты где? Где?

— Сюда!

Олейник прыгнул в яму, прямо на Андрея.

— Что ж ты? — сказал Андрей, откидывая его плечом.

— Тьфу, черт! — проворчал Олейник. — Тьма какая!

— Помогай! — еще раз выдохнул Андрей.

Гитлеровец снова забился, захрипел, пытаясь закричать. Андрей ударил его по лицу, зажал рот, а затем, торопясь, забил его заранее припасенной тряпицей.

— И откуда его черт нанес? — прошептал он облегченно, чувствуя, что гитлеровец выбился из сил и затих. — Ну, я тащу, а ты — следом. Только живо надо! Захвати мой автомат. Вот здесь где-то...

Не стихая, стучали немецкие пулеметы, над головами

брызгало красным светом от пуль. Олейник сказал тревожно:

— Как пойдешь? Бьют же кругом!

— Утащу! Лощиной!

Взяв гитлеровца за руки, Андрей рванул его от земли, забросил на спину, встряхнул, как привык встряхивать тяжелые ноши, и осторожно полез из ямы.

— Пошли! В случае чего прикрывай огнем!

На передовых немецких постах всполошенно, наперебой стучали пулеметы и дрожали, осыпая цветень, сигнальные ракеты. Струи пуль брызгали над полем. Сгорбясь, Андрей шагал крупно, не оглядываясь; ноги гитлеровца бороздили по земле.

Олейник шел позади. О побеге он думал все время, пока шел в разведку, до той минуты, когда немцы схватили Терентия Жигалова. А потом он так был поражен его требованием и стрельбой Андрея, что как-то незаметно потерял свою тайную мысль. И только теперь, сделав около сотни шагов за Андреем, вспомнил о ней. «Куда уж тут теперь к черту пойдешь? — подумал Олейник, каждую минуту сжимаясь от близкого свиста пуль. — Только высунься из этой лощины — и каюк! И оставаться теперь нельзя. Как встретят — пропал. Сразу поймут, что в разведку ходил...» И он шел и шел за Лопуховым и даже посматривал напряженно, чтобы не потерять его из виду в лощине, залитой туманной мглой.

Когда осталось метров двести до траншеи, сержант Олейник догнал Андрея и, подстроясь под его шаг, спросил:

— Тяжел?

— Тяжел, окаянный! Даже вопрекл я. — Андрей остановился. — Дух от него тяжелый, вроде бы псиной несет...

— Передохни, — предложил Олейник. — Дай я понесу немного. Да жив ли он?

— Еще живой. А крови, видать, много из него ушло.

— Ну, давай я!

Опустив гитлеровца на землю, Андрей сказал горько:

— Терентий-то, а? Умру — не забуду его!!

— Да, пропал парень!

— И как ведь вышло!

Олейник потащил гитлеровца к блиндажу, откуда уходили в поиск. Разведчиков уже поджидали. И поджидали с беспокойством: все понимали, что с ними произошло что-то неладное. Только Олейник уложил пленного на землю, вокруг раздались голоса и

начали вспыхивать фонарики. Первым подскочил лейтенант Юргин.

— Олейник? Ты? Остальные?

Подходя к блиндажу, Андрей услышал чей-то бойкий голосок в траншее:

— Ребята, Олейник-то, сержант-то, а? Вот отличился, ребята! «Языка» припер! Пошли глядеть! Да вон, у блиндажа.

Юргин доложил Озерову по телефону о результатах поиска. Тот приказал Юргину, Лопухову и Олейнику вместе с пленным немедленно прибыть на командный пункт полка.

Пленный гитлеровец оказался обер-ефрейтором. Он умер перед восходом солнца. Но перед смертью он все же успел показать, что немцы нанесут удар на участке дивизии утром 7 ноября...

XIX

Батальон капитана Шаракшанэ стоял в резерве.

Вечером он должен был выступить на передний край.

На восходе солнца, когда Олейник и Андрей еще были на командном пункте полка, Кузьма Ярцев одним из последних вылез к огню. Его била крупная, лошадиная дрожь. Он начал совать руки в огонь. Петро Семиглаз подивился:

— Шо тебя такая трясучка взяла?

— Пр-р-ромерз, — ответил Ярцев.

— А по моей думке, у тебя зараз не так утроба, як душа дрожит. С чего так?

— А душа не мерзнет?

— Яка душа!

Подошла кухня. Все отправились к ней с котелками. Возвратясь в шалаш, Умрихин с недовольством повертел в руках свой котелок, грустно промолвил:

— Что-то нынче скуповат повар.

— Шо, мало?

— Да ты погляди: какая это порция?

— Казенный харч — известный, — поддакнул Петро Семиглаз. — Помереть не помрешь, а до бабы не потяне.

— У нас такой случай был, — заговорил Умрихин, все еще не дотрагиваясь до каши. — Приходит на кухню какой-то приезжий генерал, весь, знаешь ли, в красном да золотом. Это еще на реке Великой было, когда там стояли... Ну, спрашивает солдат: «Как,

товарищи бойцы, хватает харчу?» Все отвечают, конечно, дружно, как полагается: «Хвата-а-ает, товарищ генерал, еще остается!» — «Остается? — это генерал-то. — А куда же вы остатки деваете?» — «Доеда-а-а-ем, товарищ генерал, даже не хватает!»

Когда Умрихин, опередив всех, управился со своей порцией каши, Петр Семиглаз поставил перед ним еще котелок. Желая задобрить Умрихина, чтобы тот доверял ему дележ махорки, Петро заговорщицки подмигнул:

— Крой! Для тебя достав...

Умрихин осмотрел котелок.

— Чей же это?

— Да це... Терехи Жигалова, — ответил Петро. — Повар-то ще не знае об нем, так я и взяв...

— Ну и дурак! Забери обратно!

Медведев и Ковальчук, больше всех горевавшие в это утро, начали рассказывать, как они познакомились с Терентием Жигаловым в госпитале под Москвой, как он, искалеченный в немецком плену и больной, все рвался на фронт, чтобы бить врага.

— Он так и не вылечился, а пошел опять воевать, — сказал Ковальчук. Видели, как било его всегда?

— Огневой был парень, — сказал Медведев. — И какой смертью погибать ему пришлось, только подумать. Он бы, дай только срок, героем бы всего Советского Союза стал! Ведь у него каждая кровинка рвалась в бой!

— Да, тоже был партийный человек, — вздохнул и Умрихин, — как наш Семен Дегтярев, покойничек. Одной масти.

— Он не состоял еще в партии, — заметил Ковальчук. — Он только в комсомоле был...

— Все одно! Он от природы партийный, — возразил Умрихин. — Его же видать было. Да-а, как посмотрю я, так все больше вот такие партийные люди и погибают скорее всех на войне. Вон и комиссар наш, товарищ Яхно, погиб тогда... А какой человек был! Вроде бы весь из ртути! Да, пожалуй, верно, что таких людей каждая кровинка в бой толкает...

Кузьма Ярцев долго смотрел на котелок Жигалова и думал о его неожиданной и трагической гибели. Потом он отставил свой котелок в сторону и, даже позабыв спрятать ложку за обмотку, незаметно вышел из шалаша.

Немецкая минометная батарея была по переднему краю. Лес

шумел: тянул колючий сиверко. Даже в лесу было холодно. Все люди прятались в землянках и шалашах — над ними, едва пробиваясь сквозь хвою, тихонько курились дымки.

Это утро Кузьма Ярцев встретил особенно тревожно. Его взволновала не только гибель Жигалова. Кузьма Ярцев был убежден, что Олейник, отправясь в разведку, перейдет к немцам, и, когда узнал, что он вернулся, испугался, сам не понимая чего. Сколько Ярцев ни старался убедить себя, что его не касается, что Олейник почему-то изменил свое решение, — волнение не утихло. Всей своей беспокойной душой он чувствовал: возвращение Олейника не только разрушало их сговор, но и несло за собой какое-то лихо.

Он припомнил все встречи и разговоры с Олейником. Они были из одного района. Кузьма Ярцев, не пожелав состоять в колхозе, работал в промысловой артели, а Олейник — разъездным заготовителем пушнины. Раньше они встречались редко и мало знали друг друга, а в армии подружился той дружбой, какой дружат земляки на чужбине. Зная, что Ярцев обижен на советскую власть (он сидел перед войной в тюрьме около года за спекуляцию), зная, что он испытывает непреодолимый страх перед смертью, Олейник не спеша, осторожно стал подбивать его на побег. Одиноким в своем страхе, Кузьма Ярцев прочно сблизился с Олейником. Только разговоры с ним утешали Кузьму, поддерживали его слабенькую веру в то, что как-то можно еще спастись от войны и смерти.

Но бежать к немцам Кузьма Ярцев боялся. Дезертировать, переждать войну в тылу — тоже оказалось не легким делом и, главное, тоже опасным. Что же оставалось делать? Как спастись от верной гибели?

Сбитый с толку тревожными думами, Кузьма Ярцев протасился метров двести от расположения батальона и вышел к большой поляне. У восточного края ее круто вздымался пригорок; на вершине его толпились, взмахивая ветвями, кудрявые сосенки. Кузьма Ярцев направился к пригорку, чтобы посидеть там и спокойнее обдумать, что делать, как спастись от гибели. У подножья пригорка зияла большая воронка, отрытая недавно одним рывком авиабомбы. Кузьма Ярцев задержался у воронки и подумал: «Забросают вот в такой яме — и конец!» Закрыв глаза, Ярцев увидел поле боя, какое часто снилось ему, увидел, как оставшиеся в живых солдаты тащат его, окровавленного, вот к такой воронке, — и у него иссякли все силы, чтобы бороться со своим страхом.

Больше он ничего хорошо не помнил. Все перепуталось в его памяти. Кажется, он долго сидел у воронки, не в силах сдержать слезы, потом был в своем шалаше, потом еще где-то бродил, не находя покоя и места.

Около полудня его нашли в стороне от расположения батальона, среди мелкого кустарничка. Он со стоном бился на земле. Запястье его левой руки было раздроблено пулей. Рядом валялась винтовка.

Над поляной, устало хлопая крыльями, летела ворона. Увидев ее, Кузьма Ярцев догадался, что наступает вечер. Низко над лесом, в раздумье, будто потеряв знакомые ориентиры, стояло сказочно-багровое солнце.

Впереди себя — на большом расстоянии — Кузьма Ярцев увидел две шеренги солдат. Над ними сверкали штыки. Лица солдат были неразличимы. Через мгновение шеренги оказались совсем близко, но и после этого Кузьма Ярцев с удивлением заметил, что у всех солдат одинаковые, как у близнецов, лица и одинаковые глаза. «Это какая же рота? Наша? — мелькнула у него мысль. — Зачем она здесь?» Осмотревшись, он понял, что стоит у подножия того пригорка, где был утром, а позади него — свежая воронка от авиабомбы. И ему вспомнилось все, что произошло в этот день.

После полудня состоялся военно-полевой суд. У Ярцева не было и не могло быть никаких оправданий: в припадке страха он даже не подумал о том, что его преступление будет открыто без труда. Поняв, что оправдываться бесполезно, он сразу же признал себя виновным. Пытаясь рассказать судьям, как он совершил преступление, испытывая неожиданное облегчение от раскаяния, Ярцев старался припомнить все, что он делал и о чем думал в это утро. Но судья сердито оборвал его, сказав, что это не имеет отношения к делу. После этого Ярцев отчетливо понял, что его расстреляют и, вероятно, очень скоро. Он не доживет даже до вечера. Смерть стала совершенно неизбежной и очень близкой. Стоя перед судом, Ярцев понял, что смерть сейчас ближе, чем могла бы быть в любом бою. Раньше, подчиняясь своему страху, он беспредельно верил в то, что стоит ему только пойти в бой — и он погибнет. А тут Ярцев внезапно пришел к самой простой мысли, что, пойдя он сейчас в бой, еще неизвестно, убьют его там или нет. Никто этого точно не скажет. Воюют же люди годами, бывают во многих боях — и остаются невредимыми. И Кузьма Ярцев со страстью обреченного

ухватился за мысль, что в бою он может найти свое спасение.

Но было уже поздно.

Увидев себя у свежей воронки и поняв, что его вывели на смертную казнь, Кузьма Ярцев внезапно почувствовал в себе больше сил и жизни, чем в последние дни. Один из членов трибунала, встав перед шеренгами, зачитал приговор военно-полевого суда. Потом командир батальона капитан Шаракшанэ, высокий подвижной бурят, начал о чем-то говорить с солдатами. Кузьма Ярцев расслышал только его вопрос:

— Кто желает расстрелять изменника Родины? Есть такие? Два шага вперед!

Андрей стоял в центре первой шеренги. Весь этот день он жил как во сне. Поступок Терентия Жигалова потряс Андрея и заставил многое передумать. Тем более мерзким показалось ему преступление Ярцева, тягчайшее, какое можно совершить на войне. Но не только это взволновало Андрея. Втайне Андрей считал, что на нем лежит доля вины: встретив Ярцева в лесу, он догадался, что страх начинает толкать того к измене, но не решился рассказать об этом командирам — пожалел Ярцева, который всю дорогу тогда проникновенно говорил о своей семье. Теперь Андрей понял, что на войне нельзя жалеть не только врагов, а если требуется — и своих людей. И поэтому, услышав вопрос комбата, он первым сделал два шага вперед. Он взглянул на Ярцева, как у Сухой Поляны смотрел на гитлеровцев, — в густой черноте его глаз засверкали зрачки.

— Я желаю! — сказал он, сильно дергая губами.

Сержант Олейник понял, что сейчас обе шеренги сделают два шага вперед. Стараясь опередить, он быстро встал рядом с Андреем.

— Я желаю!

Вслед за ним вперед шагнули все солдаты. Андрей и Олейник вновь оказались в центре первой шеренги.

— Надо пять человек, — сказал Шаракшанэ.

Через минуту перед Ярцевым остановились пять человек с винтовками. Все они были одинаковы, как близнецы. Только один, в центре, показался все же более знакомым, чем все остальные. Ярцев пристально всмотрелся в него. Этот знакомый был выше всех ростом, суховатый, чернявый, и на петлицах его шинели горели сержантские знаки.

«Олейник?»

И во время суда и после него Кузьма Ярцев почему-то ни разу

не вспомнил об Олейнике. Теперь, увидев его, Ярцев порывисто вскинул руки вверх и слегка подался грудью вперед, собираясь что-то крикнуть.

Но в эту секунду сухо ударил залп.

Ярцева похоронили в воронке от авиабомбы.

XX

Всю ночь полк Озерова укреплял свой участок обороны. Сотни людей стучали лопатами, углубляя извилистые траншеи, выбрасывая землю в сторону противника. Во многих местах доделывали дзоты и блиндажи. Особые группы солдат таскали сюда из леса по непролазной грязи тяжелые бревна; другие укладывали их внакат над открытыми ямами; третьи маскировали дзоты и блиндажи дерном, ветками и полусгнившей травой. На участках, наиболее доступных для танков, артиллеристы устанавливали противотанковые пушки. На немецкой стороне стояло полное безмолвие. Только около полуночи оттуда, сотрясая гулом небо, прошли к Москве немецкие самолеты. После этого многие солдаты работали, оглядываясь назад, и вскоре увидели: на востоке, куда ушли самолеты, начали вонзаться в черное небо сотни острых клинков-огней. По траншеям послышались голоса:

— Встретили этих бандюг!

— Там встретят! Дадут от ворот поворот!

— Копать! Чего встали?

На рассвете начали возвращаться группы саперов, которые минировали отдельные полосы на подступах к обороне. Одна из групп вышла на участке взвода Матвея Юргина. Саперы притащили с собой на плащ-палатке какого-то солдата. Его осторожно спустили в траншею.

— Что с ним? Подранили? — спросил Юргин. — Это ваш?

Один сапер сообщил кратко:

— Полз.

— Куда?

— Сюда.

— А кто он такой?

— А это только ему, видать, известно.

Матвей Юргин осветил раненого фонариком. Тот лежал без чувств. Лицо и одежда раненого были заляпаны кровавой грязью. Не

верилось, что он мог совсем недавно ползти. Не верилось, что он мог жить.

— Полз? — переспросил Юргин.

— Полз, — сапер вздохнул. — Просто чудо. Стонет и ползет, царапает вот так руками. А когда заговорили с ним, сразу в бесчувствие пришел.

С другой стороны по траншее подошел Андрей. Он присел у головы раненого, при свете фонарика взглянул в лицо и сказал быстро и торопливо:

— Жигалов? — И закричал, не помня себя: — Тереха! Жигалов! Тереха!

Терентий Жигалов очнулся в то время, когда его уложили на носилки, чтобы нести на ближний пункт медицинской помощи, и перед этим решили обмыть лицо. Должно быть, по тому, как осторожно и ласково обтирали ему лицо, он понял, что находится среди своих. Его лицо жалко сморщилось, но и заплакать у него не хватало сил. Он пошевелил губами, и Юргин наклонился над ним, стараясь расслышать, что он хочет сказать. Терентий Жигалов прошептал отчетливо:

— Где... он?

Некоторые подумали, что Жигалов бредит, но Андрей понял, что он хотел бы видеть его, и наклонился над носилками. У Андрея вздрагивали губы и слезами застилало глаза, — целые сутки он втайне больше всего думал о судьбе Жигалова.

— Я здесь, Тереха, здесь! Видишь?

— А-а, — слабо протянул Жигалов и затем отчетливо выговорил: Спасибо, друг...

Когда Жигалова унесли, все солдаты с минуту еще стояли на месте, и Осип Чернышев, покачав головой, сказал:

— Это надо думать: целые сутки полз! Он же весь изошел кровью! И чем жил? И чем только живет еще человек?

— Он и будет жить, — сказал Юргин. — Такому и жить надо.

— Великий рядовой человек!

Принесли завтрак. Бойцы разошлись с котелками по блиндажам.

После завтрака все легли отдыхать, но Андрея не тянуло на нары. Он долго не мог успокоиться. Все учила и учила его жизнь ненависти к врагам, любви к Родине. И Андрей с волнением чувствовал, что эта наука входит в его кровь и плоть, как воздух,

каким он дышит, и, как воздух, дает его сердцу все новые и новые силы, каких он не чувствовал в себе прежде.

Он вылез из блиндажа.

Совсем рассвело. По сторонам начинали гроыхать пушки, а на участке полка все еще держалась тишина. Кое-где по траншеям поблескивали каски наблюдателей. С севера тянуло стужей. Кустарники и травы за траншеей были покрыты пушком инея. По всему чувствовалось — приближается зима.

Взвод Матвея Юргина поставили на ровном открытом месте. От центрального блиндажа взвода, где разместилось отделение Олейника, извилистый ход сообщения уходил в тыл — к небольшой высотке, где находился наблюдательный пункт Шаракшанэ, и дальше — в невысокий, сильно побитый и вырубленный лес. А на запад, в сторону врага, лежало просторное поле с небольшими пригорками и ложбинками; позади него железной ржавой оградой стоял зубчатый еловый лес и виднелись две полуразрушенные избы. На пригорке, в самой середине поля, словно не зная, куда скрыться с опасного места, в раздумье стояла молодая белая береза.

Увидев ее, Андрей почему-то вспомнил о той, которую видел у дороги перед Ольховкой, хотя такие одинокие березы попадались ему и прежде и после много раз за эту осень. И вспомнил он о той ночи, что провел дома, о Марийке, о всех родных и еще о многом, что крепко легло в память после того дня, шумного от ветра и листопада. Все он помнил ярко, но, странное дело, ему казалось, что все это происходило с ним не около месяца назад, а давным-давно — не то в юности, не то в детстве.

В это утро долго не ложился спать еще один человек из отделения сержант Олейник. Вскоре после завтрака он тоже вылез из блиндажа и, увидев Андрея, подошел к нему бесшумной кошачьей походкой, тихонько спросил:

— Смотришь?

Андрей оторвал взгляд от поля.

— Удобное здесь место, — сказал Олейник, вставая рядом. — Вон какой обстрел! Если пехоте — тут не пройти. Покосим из пулеметов. А вон, гляди, вот этот ориентир...

— Где?

— Да вон, на бугре-то!

— Ориентир... — задумчиво промолвил Андрей и, вздохнув, добавил: Березка. Белая березонька, вот что это! Я как взгляну на нее,

так и вижу всю нашу Россию. — Он немного помолчал. — Тяжелая у нее доля — стоять на таком месте...

— Да, среди огня...

Так и встретили они, разговаривая о березке, свое первое утро на переднем крае обороны.

XXI

Второе утро на передовой линии — праздничное утро 7 ноября — полк Озерова встречал тревожно: все знали, что гитлеровцы намереваются в этот день нанести удар на участке дивизии.

Лейтенант Матвей Юргин жил в центральном блиндаже взвода, где размещалось отделение Олейника. Пробудился он, по старой привычке, перед рассветом. Вокруг него на низеньких нарах в полной темноте всхрапывали под шинелями солдаты. С вечера они долго не спали — готовились к бою: чистили оружие, получали патроны, гранаты, бутылки с горючей смесью. Потом пришел политрук роты Гончаров поговорить о наступающем великом празднике. Бойцы долго вспоминали о том, как они хорошо встречали праздник в годы мирной жизни. Все так разволновались, что только к полуночи улеглись на покой.

Среди ночи неожиданно начался снегопад. Больше часа густой снег бил тяжело и косо, как ливень, а потом поднялась и зашумела вьюга. К рассвету она преобразила все подмосковные земли: плотно застелила снегом поля, замела овраги, завалила леса, все деревья с наветренной стороны — от комля до вершин — облепила снегом, как пластырем. Быстро и прочно установилась необычайно ранняя зима.

Боясь разбудить солдат прежде времени, Матвей Юргин сидел на нарах, не трогаясь, перебирая в памяти пережитое за лето. В блиндаже было душно от скопившихся в нем запахов потной одежды, сырой земли, хвои и прелой соломы. В углу блиндажа, в маленькой нише, тихо мерцала коптилка.

«В траншее-то как? — подумал Юргин. — Замело небось?»

Он осторожно выбрался с нар, поправил фитиль в коптилке, разжег дрова в камельке. За плащ-палаткой, которой был прикрыт вход в блиндаж, завьюженной по одному краю, слышался шум и скрип снега. Юргин отогнул немного край палатки и в снежной мгле

увидел фигуру бойца с винтовкой.

— Живы? — спросил часовой. — А я слышу, дымком потянуло...

— Это ты, Медведев? Пуржит еще?

— Пуржит.

— Много намело?

— В траншее? — переспросил Медведев. — Да местами не пролезешь, товарищ лейтенант. Видите, какой я? — Он похлопал рукавицами. — И пуржит, и стужа лютая, сибирская, нагрянула.

— Спокойно?

— Пока спокойно.

Юргин подошел к нарам, потрогал Олейника.

— А? — вскочил тот, встревожась.

— Поднимай ребят! — приказал Юргин. — Надо выходить траншеи чистить, пока совсем не рассвело. Начнется бой — в снегу потонем. Поднимай живо. Я пойду остальные отделения подниму.

Взвод дружно вышел на очистку траншей.

Через полчаса от командира роты пришел посыльный — шустрый молоденький боец ростом не выше винтовки, весь облепленный снегом. Пробравшись в главную траншею, он натолкнулся на Умрихина, — крякая, тот кидал снег далеко за бруствер. Отряхиваясь, посыльный спросил петушиным голосом:

— Чистите?

— Али помогать пришел? — спросил Умрихин, не отрываясь от работы. Вставай тогда рядом. Снегу хватит.

— Я от командира роты, — обиженно, с ребячьей гордостью сообщил посыльный. — Где у вас комвзвода? Мне велено только передать приказ: до света очистить траншеи. А рыть мне тут некогда.

— Мы сами, парень, с усами, — ответил Умрихин. — Зачем нам твой приказ? Мы без приказа знаем. Отойди-ка ты, а то ненароком поддену на лопату да выкину к немцам.

Посыльный обиделся еще сильнее.

— Ты скажи, где комвзвода, а пугать тут нечего!

— Гребись, богатырь, вон туда, — указал Умрихин.

Посыльный передал Юргину еще один приказ: немедленно выслать от взвода одного бойца в штаб полка. Зачем это нужно было, посыльный не знал. Юргин отправил в штаб расторопного в любом деле Петра Семиглаза.

Вернулся Петро Семиглаз в то время, когда взвод закончил

расчистку траншеи и бойцы, распясь на работе, разошлись по своим блиндажам. Вернулся с туго набитым казенным мешком. Матвея Юргина не оказалось в блиндаже, а Петро Семиглаз, втаскивая за собой мешок, сообщил всему отделению:

— Эй, хлопцы, с какой я новостью! Всему взводу наш майор объявив благодарность. Ей-бо, нехай лопнут мои глаза! За що? А за тот самый снег. За то, шо вышли очищать без приказу. Поняв? Одно слово: инициатива!

— Зачем вызывали-то? — спросил Олейник от камелька.

— Обождите трошки, товарищ сержант, зараз сообщу. — Семиглаз подтянул мешок к нарам. — Так и сказав: передай, каже, мою благодарность, а в придачу — во!

На румянном девичьем лице Петра Семиглаза лукаво затрепетали беленькие ресницы. Развязав мешок, но не раскрыв его, он обернулся к столпившимся вокруг солдатам:

— Отгадай — шо?

— Может, добавка к этой, к эн-зе, — высказал предположение Умрихин; вечером был выдан неприкосновенный запас продуктов на двое суток, на случай длительного боя, но Умрихин успел уничтожить его за ночь. — Если добавка, то не вредит, даже неплохо...

— Ни, эн-зе получено, известно!

— Что же еще может быть?

Подняв палец. Семиглаз торжественно объявил:

— Подарки! От це шо!

— Опять ты брехать! Какие подарки?

— На, дывись! — Семиглаз раскрыл мешок. — Шо, бачишь? Подарки, хлопцы, подарки, да еще от самой Москвы! Э, хлопцы, тут и добра! О це праздничек у нас вышел! Ото ж справим мы именины родной нашей власти. Бачишь, яка забота о нас, хлопцы?

И Петро Семиглаз начал проворно выкладывать подарки на нары. Вокруг сбились солдаты. Привлекая внимание друзей к отдельным вещам, Петро то вертел их перед глазами, то встряхивал, как торговец, на ловкой руке, потом бросал в кучу, стараясь показать, что она все растет и растет. А подарков и в самом деле было много: шерстяные свитеры, перчатки, носки и шарфы, шапки и рукавицы, кисеты с табаком, портсигары и зажигалки, кульки с печеньем и конфетами, платочки, любовно расшитые девичьими руками...

Солдаты шумели вокруг:

— Мать честная, вот чудо, а?

— Скажи на милость, чего прислали!

— И все, знаешь ли, к зиме...

— И табачку... Понимают, чего надо!

Зная, что Петро Семиглаз пронырлив и немного плутоват, боец Медведев наклонился позади к Андрею, шепнул в ухо:

— Ей-бо, приласкал мешочек где-то!

Его услышал Петро Семиглаз.

— Приласкав? — крикнул он, оборачиваясь. — Да ты шо, сказывсь? От як отвешу я тебе один хланговой в ухо, шоб из другого брызнуло! Шо ты казав, а? Ему добром кажутъ — подарки! Люди от всей души, може, последнее отдали хронту, а он... Геть отсюда!

Быстро светало. Все еще вьюжило, но уже легко. Пришел Матвей Юргин, каждую минуту он ожидал, что начнется бой. Осмотрев подарки, он разделил их на три кучки — на каждое отделение — и тут же начал раздавать их солдатам.

В блиндаже стало особенно шумно. Взрослые люди в шинелях радовались подаркам, как дети, и без конца рассматривали их, передавая из рук в руки. Олейнику достался свитер и перчатки ручной вязки, Андрею тоже свитер и шарф, Умрихину — шарф и носки, Чернышеву и Семиглазу — теплое белье, Нургалею — носки и перчатки...

Вместе с подарками многим достались письма. Все они были небольшие, но каждое, казалось, было насквозь пропитано неизмеримой человеческой тревогой и светилось надеждой.

Солдаты притихли, читая эти письма.

Разговаривали кратко:

— Тебе о чем?

— О Москве.

— У меня тоже...

— Поздравляют, видишь ли...

— Хочешь? На, почитай.

Только Осип Чернышев долго не мог притихнуть. Всегда степенный и сдержанный, он держался на этот раз беспокойно и шумливо. Он лез ко всем с письмом, написанным на листке из ученической тетради.

— На, погляди! Видишь, кто пишет-то? Совсем ведь малое дите пишет, честное слово! — Он вздыхал и качал головой. — Да ты погляди только! И почерк-то, даю слово, как у моего Семки. Как ведь

выводит-то чисто, а? Сердце у него, должно быть, еще как у воробышка, а уже... болеет, брат! Эх, хорошего обжига парнишка!

— Что он пишет-то? — спросил Умрихин.

— Погоди, не читал еще!

— А ты читай. И не мешай другим. Сурьезный человек, детишек имеешь, а лезешь тут ко всем, как малый.

— Небось полезешь! — Осип Чернышев потрогал грудь. — Мне, может, вот тут все разбередило, ты это знаешь?

Когда были прочитаны письма, в блиндаже установилась непривычная тишина. Все солдаты молча, сосредоточенно дымили махоркой, и некоторые почему-то начали вновь осматривать свое оружие.

XXII

Необычно встретила Москва это праздничное утро — первое утро зимы. Над огромной столицей, раскрашенной пестрыми красками маскировки и густо засыпанной снегом, висело низкое хмурое небо. Ветер повсюду трепал флаги, кружил снег на просторных площадях, разносил его по всем закоулкам города. В пустынных парках, где уже появились стаи краснобрюхих снегирей, девушки в синих комбинезонах озабоченно хлопотали вокруг спущенных серебристых аэростатов. По улицам быстро проносились крытые брезентами военные грузовики, — за ними гналась метель. Простуженно хрипели по скверам репродукторы, тревожно вещая о войне. На окраинах, затянутых белесой дымкой, призывно гудели в морозном воздухе заводские гудки.

Никто в Москве не думал в это утро о торжествах, какими до войны славилась столица. Каждый отмечал великий праздник в душе. Все москвичи с особым чувством брались за труд, укрепляющий силы Москвы, зная, что в этом — ее спасение, ее будущее. В суровой, но вдохновенной работе началось это утро в столице.

Во всех немецких газетах давно уже сообщалось, что 7 ноября, в день рождения советской власти в России, в ее побежденной столице Москве состоится парад немецкой армии.

Но у жизни свои законы.

Утром 7 ноября в Москве, на Красной площади, как было заведено много лет назад, состоялся парад частей Красной Армии.

Майор Озеров стоял в траншейке у входа в свой блиндаж на

наблюдательном пункте; зная, что немцы сегодня начнут бой, он перебрался сюда еще ночью. В траншейках, ведущих в соседние блиндажи, толпились бойцы и командиры, состоящие при штабе полка. А рядом, невысоко, на нижних сучьях лохматой елки, в густой хвое сидел наблюдатель... За темными лесами на западе вдруг ударили немецкие батареи, и Озеров, дрогнув, быстро подал команду:

— По ще-елям!

Все рванулись в блиндажи.

А через несколько мгновений застонало небо, над обороной раздался свист и вой, и земля, брызнув сотнями огней, будто ударилась во что-то со всего своего хода; с деревьев посыпались ветки и хвоя, весь рубеж полка обдало снегом и дымом, и во все стороны рвануло волны раскатистого горного грохота.

Немцы начали артподготовку.

Боец-наблюдатель рухнул с елки. Перевернувшись в снегу, он на четвереньках бросился в траншею и заскочил в блиндаж командира полка. И там, не отряхивая снег, забился в угол и начал звонко икать, хватаясь за грудь и смотря на всех ошалелыми глазами.

— Пройдет! — ободрил его Озеров.

Артподготовка была необычайно напряженной и проводилась на участке всего полка. Отдельные взрывы слышались редко, — над обороной стоял сплошной оглушающий грохот, скрежет, визг и стон. Землю било крупной дрожью.

Стало душно от запахов пороховой гари. Над всем рубежом, не стихая, полыхали огни и клубились ядовитые, угарные дымы, как на лесном пожарище. Потемнело небо. Стало сумеречно и жутко, как при затмении солнца.

В блиндаже Озерова стало пыльно. Казалось, что блиндаж без конца толкало с разных сторон, передвигая с места на место. Между бревен накатника трусилась земля, а от стен — один за другим — откалывались большие комья. Стоило вестовому Пете Уральцу отвести руку от коптилки, ее снесло со стола. Боец-наблюдатель отыскал в темноте коптилку и вновь зажег огонь.

— Держи в руках! — крикнул ему Озеров.

...С большим внутренним напряжением ожидал Озеров этого боя. Озеров понимал: он будет тяжелым и важным испытанием стойкости его полка, всех сокровенных сил, какими полк живёт сейчас, в дни великой битвы под Москвой. Он понимал: от результатов этого боя будет зависеть честь и слава его полка. И

поэтому Озеров все последние дни жил одной думой — как можно лучше подготовить полк к бою. За короткое время он провел множество больших и мелких работ по укреплению рубежа обороны, — сложенные воедино, они должны стать основой будущей победы. Занимаясь этой подготовкой, он всем своим видом и поведением, всей своей жизнью, почти безотчетно для себя самого и незаметно для других, убеждал людей в том, в чем сам был убежден так же твердо, как, скажем, в скором приходе зимы. Озеров беспредельно верил, что его полк выдержит любой натиск врага. А вера командира передается его солдатам, как ток по незримым нитям, и в зависимости от ее силы горят, подобно лампочкам, солдатские сердца: слаба вера — тускло, едва теплясь; сильна вера — весело и ослепительно...

И вот начался бой.

Хотя майор Озеров и твердо верил в победу полка, но в те секунды, когда немцы открыли огонь, у него вдруг больно защемило сердце. Еще раз (который раз!) он ощутил ту ответственность, какая лежит на нем за исход боя, за судьбу сотен людей, подчиненных его воле. Все утро он, поставив себя в положение постороннего и придиричвого человека, проверял в уме, как он подготовил полк к бою. Выходило, что все, что требовалось, было сделано хорошо, хотя и делалось в спешке. Но теперь, вернувшись к прежним мыслям, он почему-то неожиданно начал обнаруживать различные недостатки в подготовке полка к бою: он вспомнил, что одну из пушек так и не поставили в засаду у центра обороны, как он этого хотел, что в батальоны не проложили запасные кабели, а полковой пункт боепитания не передвинули, как намечалось, ближе к передовой линии. И тут Озеров заметил, что он безотчетно делает ненужное: то стряхнул пыль с карты, то заглянул зачем-то в планшет, а теперь вот протирает платком глаза... «Прекратить! — оборвал он себя властно. — Это еще что со мной?» И, зная, как состояние командира передается окружающим, он быстро и озабоченно осмотрел всех, кто находился в его блиндаже.

Здесь были два офицера из штаба, командир взвода связи, наблюдатели, связные, телефонисты. Все они, тесня друг друга, сторонясь дверей, прижимались к стенкам блиндажа, прикрывали ладонями уши, а когда блиндаж сильно встряхивало и со стен обваливались комья земли, суматошно перескакивали с места на место. А в руках наблюдателя вздрагивала и гасла коптилка. Только

Петя Уралец, упрямо наклонив крутой светлый лоб, спокойно сидел на нарах.

Озеров нагнулся к вестовому и крикнул ему на ухо:

— Сыграй!

Накануне в полк была прислана из походного клуба дивизии гармонь-двухрядка. Майор Озеров вручил ее Пете Уральцу, который слыл хорошим гармонистом, и велел всегда держать при себе, — он любил гармонь со дней юности, проведенных в сибирской деревне.

— Какую? — спросил Петя, откидываясь в угол за гармонью.

— О Москве! Знаешь?

И Петя Уралец распахнул на коленях гармонь.

На переднем крае не стихали треск и грохот. Блиндаж встряхивало так, что всем казалось: невидимая бешеная тройка, закусив удила, без памяти несет их в тарантасе по бесконечным ухабам и рытвинам во тьму ночи; того и гляди, ветхий тарантас, хрястнув в последний раз, разлетится на куски... А майор Озеров, покачиваясь на нарах, заваленных землей, подстраивался под гармонь и пел о Москве:

Кипучая,
Могучая,
Нике-ем не по-обе-димая,
Страна моя,
Москва моя,
Ты самая любимая!...

Он не помнил точно слов песни. Он помнил хорошо только ее припев и повторял его несколько раз. Взглянув на часы, он задержался, и, отстав от гармонии, с удивлением заметил: песню поют уже все остальные, кто был в блиндаже:

Страна моя,
Москва моя,
Ты самая любимая!...

XXIII

Заяц беляк в безумстве метался по дымному полю, над которым повсюду, брызгая огнем, рвались снаряды. В одном месте он бросился было под куст шиповника, — его ослепило и рвануло в воздух. Вновь вскочив на ноги, он метнулся из рыхлого снега, пахнувшего гарью, дал резкий прыжок в сторону и свалился в

траншею. Вскочив, он несколько секунд судорожно вертелся и прыгал, царапая лапами отвесные глинистые стены, а затем, осмотревшись, ошалело полетел пустой траншеей, заваленной комьями жженой земли и полной едкого дыма. Его опять ослепило и рвануло. Заяц очутился в каком-то закоулке; обессилев, ничего не слыша, он сжался в комок и замер в ужасе.

...В самом начале артподготовки у сержанта Олейника — он с утра жаловался на боли в желудке — неожиданно начался приступ рвоты. Свалясь у камелька, он рыгал со стоном, встряхиваясь всем телом, хватался за грудь, мотал головой и, обессиленно закрывая глаза, обтирал ладонью мокрые губы.

Матвей Юргин ощупал его в полутьме и, пересиливая грохот, закричал злобно:

— Ты чего нажрался, сукин сын?

— Ой, отойдите! — застонал Олейник. — Что это со мной? С консервов этих, что ли?

— Затихнет, валяй в санчасть, слышишь?

— Я полежу! Может, пройдет...

— Чего тут лежать? Тут, знаешь, что будет?

— Повоюю еще!

— Какой ты, к черту, вояка!

Поняв, что Олейник не может скоро подняться, Матвей Юргин полез в угол, где стояло оружие, — близ выхода из блиндажа. Здесь сидел, прижимаясь плечом к стене, Андрей в шинели и каске. Тронув друга рукой, Юргин крикнул:

— Командуй! Понял?

Андрей блеснул в полутьме белыми зубами:

— Есть!

— Не горячись! — предупредил Юргин. — Понял? Тут спокойно надо, умело! Слышишь?

Над передним краем не стихал грохот. Блиндаж вдруг потрянуло так, что все замерли: оглушило треском железа и дерева, отовсюду посыпались комья земли, звякнули котелки... Снаряд врезался в угол блиндажа, раскидал верхний ряд бревен накатника, а одно, из нижнего ряда, осадил почти до нар; из угла, где показался серый клочок неба, потянуло стужей и горечью дыма. До этого многие солдаты, напрягая всю волю, сдерживали страх. Но теперь, не замечая, как бьет каждого бурный озноб, все сбились в темные углы блиндажа и под нары.

Как и многие солдаты полка, Андрей впервые испытывал все ужасы ожесточенной артподготовки. Каждое мгновение, весь сжимаясь, он ожидал, что в блиндаж ударит еще один снаряд, и тогда... Но о том, что будет тогда, он не хотел думать, — он уже приучил себя не думать о смерти. Пролетала минута за минутой, и все его существо было наполнено одним ожиданием взрыва над головой. «Только бы не ударило!» — изредка восклицал он про себя. Но хотя все его существо и замирало от ожидания, где-то в глубине души, как родничок, все струилась и струилась надежда, что все кончится благополучно, и тогда... И вот о том, что будет тогда, когда все окончится благополучно, он охотно и живо думал в те немногие секунды, когда был способен думать.

Раньше, бывало, Андрей относился к участию в бою, как к суровой необходимости. Но когда возвращался из санбата и увидел, как трудится народ для обороны Москвы, впервые почувствовал щемящее, пощипывающее сердце желание поскорее встретиться с врагом. События последних дней в полку еще более обострили это желание.

Никто из солдат, сколько Они ни ожидали, так и не услышал, когда оборвался грохот артподготовки. Услышал это только Матвей Юргин. Выхватив из ниши две гранаты, он сразу закричал, обращаясь в глубину блиндажа:

— За мной! В траншею!

Многие с удивлением слышали его голос, но никто не понял, что он кричит, и не тронулся с места. Юргин стал хватать рукой в полутьме солдат, отрывать их от земли.

— В траншею! По местам!

Солдаты наконец слышали, что земля не дрожит и над блиндажом прекратился грохот взрывов, и, придя в себя, начали хватать оружие.

Выскочив из блиндажа, Юргин увидел в закоулке белый вздрагивающий комок. «Заяц!» — понял он и присел, осторожно протягивая руки. Он ожидал, что заяц, увидев его, бешено метается из закоулка, но косой только дрожал и сжимался. Матвей Юргин схватил его и, оборачиваясь к бойцам, которые уже выскакивали мимо него в траншею, поторопил:

— Живе-ей!

Не замечая зайца в руках Юргина, солдаты один за другим, с винтовками и гранатами, проскакивали мимо него и, не осматриваясь,

второпях толкаясь о стены, разбежались в обе стороны по траншее. Только Умрихин, выбежав последним, задержался около Юргина и ахнул:

— Косой? Да он как?

Над полем еще несло дым и легко порошило снегом. Высоко над головой со свистом проносились одинокие снаряды и ложились за лесом, — немцы начинали переносить огонь в глубину обороны. На западе гулко рокотали моторы, и брызгали в хмуром небе ракеты.

— Вот варево, а? — кивнул Умрихин на зайца.

— На место! Что сказано? — надвинулся на него Юргин, щуря сверкающие карие глаза. — Я тебе дам «варево»! — И он даже погрозил Умрихину, который, сторбясь, кинулся на свое место.

Юргин увидел, что и другие его отделения уже высыпали в траншею, повсюду замелькали каски. Подняв зайца высоко в руках, словно показав ему ближний лес в восточной стороне, Юргин быстро посадил его на черный снег за траншеей.

— Марш домой! Живо!

Дым совсем разнесло, и открылось все поле до гряды леса, откуда взлетали ракеты. На дальнем краю поля показались немецкие танки. Они с гулом шли к обороне, пыля снегом. Позади них мелькали маленькие фигурки немецких солдат. По всей обороне слышались крикливые голоса и лязг оружия.

Юргин побежал по траншее, крича во весь голос:

— Приготовить гранаты! Бутылки! Не робеть!

Андрей установил на площадке пулемет. Рядом невысокий Нургалей, не сгибаясь в траншее, быстренько поглядывая на своего старшего товарища, начал укладывать диски, гранаты и бутылки с горючей смесью. А с левой стороны, невдалеке, встал Умрихин. Остальные бойцы тоже встали на свои места, и по тому, как они скидывали на бруствер винтовки и перекликались, Андрей понял, что тот страх, который мучил их в полутемном блиндаже, уступил место новому чувству: жить и действовать, как того требует бой. Сам Андрей уже не чувствовал в себе никакой боязни, и только усталость, порожденная долгим ожиданием взрыва в блиндаже, еще держалась во всем теле, да каска казалась такой тяжелой и так она туго сидела на голове, что гудело в ушах. Но в траншее было больше свежего воздуха, и с каждой секундой дышалось легче, и с каждой секундой в душе росло предчувствие того наслаждения, какое он должен испытать сейчас в бою.

Ведущие танки, не отрываясь от пехоты, начали приближаться к пригорку с белой, сверкающей березой. Кое-где из дзотов наши пулеметы открыли огонь по немецкой пехоте, группами бредущей за танками. Вслед за ними сухо захлопали и винтовки. Некоторые танки начали немедленно отвечать из пушек по замеченным дзотам, из пулеметов — по траншее.

— Ребя-ата-а! — закричал Андрей, оглядываясь по сторонам. — По пехо-оте! Бей гадов, чтоб кровью икали!

Выпустив из пулемета диск по пехоте, идущей за танками, Андрей оглянулся на Нургалея, и тот, сверкая черными глазами, закричал:

— Пропал немец! Помирать ложился!

Андрей не слышал, как наши противотанковые пушки, стоявшие в засадах у переднего края, открыли по танкам беглый огонь прямой наводкой. Два танка у пригорка с березой уже густо дымили, и над ними сказочно быстро росли острые, как у ландыша, листья огней. Другие танки прибавили газ и рванулись вперед еще быстрее. В это время в помощь маленьким противотанковым пушечкам ударили с закрытых позиций наши тяжелые батареи. В небе раздался пронзительный свист и вой — и все поле, где шли танки, содрогнулось от гула и грохота.

— Наши бьют, а? — крикнул Умрихин.

— На-аши! — ответил Андрей. — Не видишь?

— Ой-е-е-е-о! — ужаснулся Умрихин и, думая, что Андрей все же расслышит его, закричал, размахивая рукой: — Вот это дают! Это не как у той речки! Помнишь, а? О, батюшки! О, родные! Андрюха! Андрюха! — все кричал он, прижимаясь к стенке траншеи. — Не-е-ет, теперь нас не возьмешь! Андрюха, живе-ом! Теперь не возьмешь!

Наши батареи не стихали. Дымом покрыло все поле перед рубежом полка. Многие танки потерялись из виду. Некоторые метались, плеща огнем. Но два танка вырвались из зоны обстрела и двинулись к траншее — на участок взвода Матвея Юргина. Теперь, без пехоты, им не было никакого смысла идти на траншею, но танкисты шли, обезумев от своей неудачи и ярости.

Наша пушка прямой наводки, стоявшая на участке взвода, успела дать несколько выстрелов по переднему танку, — он завернул и, виляя, скрежеща гусеницами, пошел обратно, волоча за собой павлиний хвост огня и дыма. Но второй танк, шедший позади,

обнаружил пушку и одним метким ударом вывел ее из строя. Расчистив себе путь к траншее, он шел все же тихо, вероятно, опасаясь мин, шел прямо на Андрея и его товарищей.

Все, что произошло дальше, заняло, может быть, не больше трех минут. Но Андрей не замечал, с какой быстротой мыслил и делал необходимые движения, и поэтому считал, что бой с танком занял немало времени.

Это была его вторая встреча с танком. И хотя первая встреча за Вазузой окончилась неудачно, она не прошла для него бесследно. К тому же из бесчисленных разговоров с бойцами, которым пришлось отражать танковые атаки, он незаметно насбирал очень много крупиц различных познаний, необходимых в борьбе с танками врага. Этого было достаточно, чтобы теперь мужественно принять бой с бронированной машиной. И поэтому Андрей не испугался, когда понял, что наши артиллеристы не успеют и не смогут, боясь поразить своих, задержать танк и что его придется бить ручными средствами. Им полностью владело одно желание — то, которое в последние дни настойчиво звало его в бой.

Андрей снял с площадки пулемет и диски, приготовил противотанковую гранату к броску, крикнул Умрихину и Нургалею, чтобы и они были наготове, поправил каску на голове, присел в траншее, пробуя, как будет делать бросок, и потом замер в напряженном ожидании встречи с танком врага. Танк шел, то и дело рубя очередями по траншее. Пули врезались то перед бруствером, то со свистом прошивали снег на его гребне. Из траншеи нельзя было поднять головы, чтобы посмотреть, как близко подходит танк. Надо было напрячь все чувства и вслепую уловить тот момент, когда он подойдет так близко, что не сможет бить по гребню бруствера, а лишь значительно выше его. Упустить этот момент — значит опоздать с броском гранаты: танк успеет пронестись над траншеей. Из всех секунд, которые оставались до встречи с танком, надо было уловить точно эту секунду.

Грохот боя мешал Андрею подстергать нужный для броска момент. Когда не слышно было пуль над головой, он каким-то особенным чутьем определял, что танк еще далеко. И так тяжело было ждать его приближения, что с Андрея градом полил пот. Ему было трудно стоять на ногах от того напряжения, какое скопилось в нем, от той силы, какую он приготовил в себе для встречи танка. Мелькнула мысль, что танк может неожиданно свернуть со своего

прямого пути. Эта мысль испугала Андрея: он знал, что, кроме Умрихина, никто из солдат отделения не встречался с танками, и поэтому при первой встрече каждый из них мог растеряться и пропустить танк за траншеею. «Только бы не свернул! — подумал Андрей горячо. — Только бы на меня!»

Над траншеей легко, свободно свистнула струя пуль. Андрея так и прожгло: вот он, этот момент! С необычайным облегчением, от которого душа будто стала крыла той, Андрей разом выпрямился над бруствером. Танк пересекал как раз ту линию, на которой мечтал поймать его Андрей. И он со всей силой бешенства и торжества всадил гранату под правую гусеницу танка.

Грохнул взрыв.

Над траншеей посыпались комья земли, промело снегом, как в метель, и пронесло клубы дыма. Андрей хотел тут же выглянуть из траншеи, но раздался второй взрыв, за ним третий, четвертый... Это Умрихин, Петро Семиглаз и Осип Чернышев, заранее подбежавшие на помощь к Андрею, побросали в танк свои гранаты. А горячий Нургалей сразу после этих взрывов, как белка, выскочил из траншеи с двумя бутылками горючей смеси. Танк был изранен, но еще жил злой, огнедышащей жизнью и, завернув, пытался уйти обратно. Не думая об опасности, Нургалей бросился к нему и, когда подбежал совсем близко, одну за другой разнес вдребезги на его броне свои бутылки. По танку потекли ручьи огня, и он густо задымил вонючим дымом, пахнущим тухлыми яйцами.

Ничего этого Андрей не видел: ему запорошило землей глаза. Но вскоре он услышал радостные голоса солдат по сторонам, а потом — совсем рядом голос Юргина:

— Ребята, молодцы-ы!

— Мы им дали жизни! Вот дали! — должно быть отвечая ему, заорал Умрихин. — Они навек запомнят! Вот их как надо!

Позади, за лесом, раздался такой шум и свист, точно из недр земли, найдя отдушину, рванулись на волю раскаленные пары.

«Р-р-ры-ык! Ры-ы-ык!»

А через несколько секунд по всему дальнему краю поля, куда уходили немногие уцелевшие немецкие танки и бежали одинокие солдаты, взметнулись и заиграли чубатые волны огня, и весь запад заслонило клубами дыма.

— «Катюша» это! — во весь голос пояснил Юргин.

Очень хотелось Андрею взглянуть в эту минуту на поле боя,

но он все еще не мог протереть запорошенные землей глаза...

XXIV

Вскоре гитлеровцы бросили танки в атаку на другие участки обороны полка, а тем временем несколько немецких батарей, словно в отместку за поражение, обрушили шквальный огонь на участок батальона Шаракшанэ.

За несколько минут до арналета сержанта Олейника отправили в санчасть; отравление оказалось настолько сильным и рвота так измучила его, что ему не скоро предстояло вернуться в строй. А в самом начале налета у Андрея оцарапало осколком шею. Санитар перевязал Андрея в блиндаже. Когда затих грохот взрывов, санитар посоветовал ему тоже уйти в санчасть, но Андрей отмахнулся:

— Заживет! — И выскочил из блиндажа.

По командам и крикам в траншее Андрей сразу понял, что в атаку идет немецкая пехота. Выглянув из траншеи, он увидел: вдали, по снежному полю в черных оспинах воронок, шла огромная серая толпа. Она уже приближалась к пригорку с березой, вокруг которой стояли подбитые и сгоревшие немецкие танки. Значит, немцы вышли из лесу и прошли часть пути в то время, когда над нашей обороной бушевал артиллерийский огонь.

— Диски! — закричал Андрей.

Нургалей сунул ему в руки диск.

Заряжая пулемет, Андрей услышал голос Юргина:

— Подпускай ближе! Бей в упор!

— Этой... «катюшей» бы их! — заголосил Умрихин.

И все бойцы, заряжая винтовки, ждали: вот-вот за лесом рывкнет страшная «катюша», которой они еще ни разу не видели, и всю эту толпу враз захлестнут волны чубатого огня...

На наблюдательном пункте командира полка в это время произошло следующее. Боец-наблюдатель оторвался от бинокля и тревожно доложил командиру полка:

— Товарищ майор, это наши!

— Какие там наши?

— Честное слово, наши! В наших шинелях! И без оружия!

Майор Озеров поднял к глазам бинокль.

По снежному полю не цепями, а огромной толпой шагали,

увязая в снегу и падая, безоружные люди в серых обтрепанных русских шинелях. Хорошо были видны их лица. Не было никакого сомнения, что это были действительно русские, и Озеров мгновенно догадался: немцы гонят перед собой наших пленных.

— А позади? — крикнул Озеров. — Есть там кто позади?

— А позади... Есть позади! Немцы, товарищ майор!

— Ракеты! — крикнул Озеров в блиндаж.

Горячо шипя, белая ракета взлетела в воздух.

— Что такое? — замер Юргин. — Не стрелять? — И он схватил за плечо Андрея, который, не заметив ракет, целился, готовясь дать первую очередь из своего пулемета. — Стой!

Над траншеей полетели команды:

— Отста-а-авить!

— Стой! Не стреляй!

Всюду поднялись каски.

Серая лавина людей, в ширину метров на двести, безостановочно двигалась к обороне. Присмотревшись к ней, Матвей Юргин вдруг тоже с ужасом понял, что затеяли гитлеровцы, и его забило такой крупной дрожью, что он, боясь уронить, положил на край траншеи гранаты, с которыми не расставался с начала боя. Он хотел что-то делать, что-то кричать бойцам своего взвода, но и сил не было, и голоса. Он не растерялся, — этого с ним никогда еще не случалось, но то, что делали гитлеровцы, было так ошеломляюще преступно и бесчеловечно, что Матвей Юргин на несколько секунд совершенно упал духом.

Но когда другие в траншее еще только начинали понимать, что произошло, Матвей Юргин, справясь с собой, уже мыслил отчетливо и быстро. Он понял, что расчет врага прост: русские, увидев своих, не откроют, конечно, огонь и дадут немцам возможность, прячась за толпой пленных, подойти к траншее, а когда толпа схлынет в нее и смешается с солдатами, забросать гранатами и пленных и солдат, а потом ворваться в глубину обороны полка. Юргин понимал, что если толпа пленных хлынет в траншею, то в ней на некоторое время создастся такая толкучка, что наши бойцы не успеют как следует встретить врага. Но что было делать? Летели секунды, такие дорогие в бою. Юргин несколько раз оглядывался назад: никто из старших командиров не подавал никаких новых команд. А толпа пленных все приближалась и приближалась. Надо было принимать решение самостоятельно. И Юргин решил: если

рукопашная схватка неизбежна, то она должна произойти не в траншее — в сутолоке, а за несколько десятков метров перед траншеей, и схватка эта должна быть неожиданной для врага.

Схватив гранаты, Юргин подал команду готовиться к атаке. Его команда от бойца к бойцу полетела по траншее в обе стороны.

— Товарищ лейтенант! — подскочил Андрей. — Это же наши!

— Знаю! А за ними — немцы!

Юргин опять начал кричать, объясняя своим солдатам, что надо проскочить толпу пленных и сойтись с гитлеровцами в штыки. Услышав, что его команда крикливо повторяется по всему участку взвода, Матвей Юргин выпрыгнул из траншеи и, оглядываясь с бруствера по сторонам, закричал протяжно:

— За мно-о-ой!

Повсюду бойцы начали выскакивать из траншеи.

Торопя солдат, Юргин услышал, как на флангах зарокотали моторы. Наши танки «Т-34», по приказу Озерова, рванулись из своих лесных засад в поле. Поднимая снежные метели, они вырвались далеко на открытое место и, почти поравнявшись с толпой, с двух сторон открыли пулеметный огонь. Толпа пленных закричала на сотни голосов, заметалась в смятении по полю, шарахнулась было назад, но тут же, сшибая с ног отдельные фигуры, вновь хлынула вперед — к траншее. А танки все били и били с двух сторон, направляясь ближе к толпе, и Юргин наконец-то понял: они бьют по немцам, отсекая их цепи от толпы пленных и давая пленным путь вперед.

Матвей Юргин обрадованно подумал, что свое решение, первое самостоятельное решение в бою и такое важное, он принял правильно. Его выполнение облегчалось теперь тем, что на поле боя вышли наши танки. Соскакивая с бруствера и бросаясь навстречу толпе, Матвей Юргин в исступлении закричал, размахивая гранатой:

— Сюда-а-а-а, бего-о-ом!...

За ним бросились его бойцы.

Приближаясь к траншее, толпа пленных заметно редела: сильные, поняв, что пришло спасение, вырвались вперед, а ослабевшие и раненые отстали и тащились позади, задыхаясь и падая, волоча по снегу полы своих истрепанных шинелей. Взвод Матвея Юргина врезался в поредевшую толпу пленных.

У взвода была одна цель — как можно скорее, вместе с

танками, ударить по фашистам. Но толпа пленных бросилась к бойцам взвода с гулом радостных криков, со слезами счастья... Изможденные, бородатые люди, полураздетые или в обтрепанной одежде, в грязных бинтах, с непокрытыми головами, задыхаясь от слабости и всхлипывая, задерживали бойцов в своих объятиях, бессвязно выкрикивали им слова благодарности. То счастье, какое неожиданно досталось им сейчас на поле боя, так переполняло их души, что они не способны были что-либо понимать, и ничто, должно быть, не могло унять их крики и слезы.

Прорываясь сквозь толпу, бойцы кричали:

— Пустите, пустите! После!

— О, батюшки! — чаще всех восклицал Умрихин; как самого приметного по росту, его особенно осаждали пленные. — Братцы, дай дорогу! Дай, не держи!

С большим трудом бойцы пробились сквозь толпу и с яростью рванулись вперед, за танками, — и тогда над полем прокатился боевой русский клич:

— У-р-р-р-а-а-аа!...

Из траншеи, на поддержку взвода Юргина, бросилась вся рота. Началась наша контратака.

Вновь заговорили наши батареи. Сплошным воющим потоком пошли снаряды высоко над полем, где бойцы в рукопашной схватке истребляли врага, и над немецкими позициями могучей гривастой волной, не спадая, заиграло пламя. Весь запад заслонило темной ночью.

XXV

За день немцы предприняли несколько ожесточенных атак на полк Озерова, но ни на один шаг не смогли продвинуться к Москве. Десятки немецких танков были разбиты и сожжены за день боя, сотни немцев легли костями перед обороной полка.

К вечеру затих грохот битвы.

На переднем крае опустели траншеи. Бойцы и командиры забились в свои холодные и сырые блиндажи, полные запахов прелой соломы и хвои. На постах остались только часовые. По всему переднему краю быстро крепла по-особому чуткая фронтовая тишина. Лишь изредка раздавались еще по закоулкам траншей голоса бойцов похоронной команды: они отыскивали убитых и подбирали

их оружие. Там и сям из-под земли течением воздуха потянуло дымки продрогшие бойцы разжигали камельки в своих тайных убежищах.

Быстро дожевывая кусок хлеба, Андрей первым из своего отделения, не отдохнув после боя, встал на пост в траншее. Теперь, после многих часов напряженного боя, его трудно было узнать. Это был совсем не тот красивый, задумчивый и тихий парень, каким его знали в Ольховке. Это был человек с огрубевшим, суровым выражением лица и темным, настороженным взглядом, такой бывает у людей, которые видели смерть, но узнали, что не всегда она весильна.

Трудно было Андрею держаться на ногах: ныли все суставы. Но непомерную усталость и тяжкую боль заглушало в нем ощущение какого-то особенного счастья. Андрей не мог понять, когда и почему появилось это ощущение, но точно знал, что он испытывает его впервые в жизни.

Зарядив винтовку и поправив на голове каску, Андрей выпрямился во весь рост и глянул из траншеи вперед — на поле недавнего боя. За гребнем далекого черного леса укладывалась на покой бледная и немощная заря. Отовсюду текли сумерки, но зоркий глаз мог еще видеть далеко. Все поле боя было сплошь изрыто снарядами и минами. Местами первый снег был сметен начисто, словно железной метлой, местами — густо перемешан с землей и покрыт пороховой гарью. Всюду по полю чернели груды металла, совсем недавно обладавшего могучей жизнью и силой, — от иных все еще струился желтоватый чад. И всюду на клочках поля, где остался снег, виднелись темные пятна трупов... А среди этого страшного поля, где целый день с неистовой силой бушевали огонь и железо, где все было помято смертью, на небольшом голом пригорке, как и утром, стояла и тихо светилась в сумерках одинокая белая береза.

— Стоит! — изумленно прошептал Андрей.

И Андрею показалось необычайно значительным, полным глубокого смысла, что вот здесь, на открытом месте, в таком жестоком бою, как святая, выжила эта береза — красивое песенное дерево. Сама природа поставила ее здесь для украшения бедного в убранстве поля, и, значит, сама природа даровала ей бессмертие. И еще сильнее почувствовал Андрей то, что пришло к нему впервые в жизни. Но теперь он знал: это счастье победы. Он был счастлив, что стал солдатом, что вечером стоит на том же самом месте, где утром

начал бой. Несколько секунд Андрей не отрывал от березы очарованного взгляда. Затем, тронув рукой край траншеи, будто клянясь самой земле, сказал с большим торжеством и ликованием в душе:

— И будет стоять!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Зима легла неожиданно и крепко. Ночью прошел снегопад, а на рассвете по всем ржевским землям заметалась волчья вьюга. Сухими, сыпучими снегами она наглухо замела здешнее полесье и холмистые поля с небольшими древними деревеньками; она уничтожила все дороги и тропы, будто хотела, чтобы люди проложили себе какие-то новые пути в заснеженном мире. И в лесах и в полях — всюду установилось, точно на век, печальное, стесняющее грудь зимнее безмолвие. Казалось, неурочная зима похоронила под снегами всякую жизнь на земле.

Но это только на первый взгляд.

Вот среди поля, где особенно вольготно зиме, стоит одинокий заиндевелый куст шиповника. Разгребши под его поникшими ветвями свежий снег — и перед тобой чудо: здесь, как в нише, не только живут, но и цветут разные травы. Зелено блестит, весь в бисерных снежных крупинках, волосистый стебель пастушьей сумки, обвешанный вокруг мелкой и нежной белой цветенью. Рядом — невысокий, но крепкий лядвенец; живые золотистые цветы сбились на нем стайкой. В глубине ниши сверкают хрустальные розетки бесстрашного, цветущего всю зиму морозника...

Эти травы, внезапно захваченные зимой, терпеливо дождутся, когда всепобеждающая весна освободит их, даст им солнце и тепло. И тогда они сделают то, что им положено законом жизни: выносят семена и разбрасают их по земле...

Вой вьюги, то злобный, то жалобный, точно пробудил Анфису Марковну к жизни. Целых две недели после гибели Осипа Михайловича на фашистской виселице она находилась в состоянии тяжкого, мучительного раздумья. Она была нездорова, но не лежала в постели, — она была из той породы людей, которые и умирают стоя;

но и ходила она, и занималась делами, и разговаривала с дочерьми, казалось, вне всякой зависимости от того, о чем думала, в силу одной властной, долголетней привычки к деятельности. А тут вдруг, будто только встряхнув хорошенько плечами, Анфиса Марковна сбросила с себя раздумье — и сразу стала той же, какой была прежде: твердой в разговоре и деле, красивой в своей женской строгости, а по взгляду очень молодой.

Марийке и Фае показалось, что и в избе-то у них посветлело с этой поры. Сестрам очень хотелось, чтобы в этот день у них вновь, как бывало, собрались соседки и подружки, но непогодь держала всех ольховцев по своим домам. Поглядывая сквозь заснеженные стекла на улицу, где плескалась вьюга, сестры досадовали:

— Вот разошлась, удержу нет!

— Несет, как из прорвы!

— Пусть метет, — спокойно сказала на это мать. — Даже хорошо, что так разошлась, «Все дороги замела...» Так ведь говорится в песне?

Анфиса Марковна присела у стола, потрогала суховатыми пальцами скатерть; черные глаза ее заблестели свежо, в чертах слегка побледневшего лица отразилось усилие, и дочери поняли, что она удерживает себя от внезапного желания поведать им что-то необычайно важное.

— Мама, говори! — встревоженно попросила Марийка.

— Сегодня я отца вашего вспомнила, — ответила мать, опуская молодо блестящие черные глаза. — Какой вьюжной породы был человек! И погиб вот в такую же вьюгу, да еще ночью. Шел из Совета, а его вот тут, в переулке, и подкараулило кулачье... Соседи занесли отца в избу, положили вот здесь на лавку, а он еще дышит...

— Мы помним, — сказала Марийка шепотом.

— Должны бы... — Анфиса Марковна вдруг встряхнула головой, будто собираясь, как в молодости, взять на высокой ноте любимую песню. — И вот он открыл глаза, взглянул на меня и говорит: «Убить захотели, Фиса, видишь? Глупые людишки! В землю нас? А мы в ней как зерна!»

Эта простая мудрость отца, убитого в год рождения колхозной жизни в Ольховке, для Марийки и Фаи прозвучала теперь, спустя десять лет, с чудесной силой откровения и завета. Они враз опустили головы, сдерживая слезы, а мать встала, распрямив плечи, и повторила строго и торжественно:

— Как зерна!

...С начала непогоды гитлеровцы перестали рыскать по деревне. За две недели они обобрали деревню начисто: выгребли все зерно, какое ольховцы не успели спрятать, свели со дворов много скота и даже перебили всех кур и гусей. Теперь ольховцы горевали горше прежнего. Как жить? Многие остались без хлеба, мяса и картошки, а впереди вся зима. Было о чем горевать и думать! Особенно жутко было коротать в раздумье длинные ночи: нигде ни огонька, собаки повешены, петухи перебиты, — ни одного живого звука, только вой вьюги, то злобный, то жалобный...

В полдень 8 ноября вьюга улеглась в сугробы на покой. Анфиса Марковна, взглянув на посветлевшие окна, быстро оделась и вышла на крыльцо. С любопытством, какое бывает только у людей, надолго оторванных от мира болезнью, она осмотрела свой двор и деревню.

Что наделала вьюга!

Двор так замело, что можно было шагать через прясло. Где был сарай, там стояла белая гора; где были столбы — торчали сказочной величины грибные шляпы. На огороде, где вьюга била волной, лежали крутые буруны; кое-где между ними торчали верхушки кустов смородины. Березы в переулке стояли тихо, опустив усталые ветви до гребней сугробов, отливающих синевой. Над деревней — низкое, хмурое, еще беспокойное небо.

В углу двора, на молодой рябинке, Анфиса Марковна впервые увидела любимых северных гостей. Стайка сереньких чечеток, в ярких красных шапочках, шныряла по затвердевшим на морозе ветвям, азартно ощипывая последние мерзлые ягоды, и вела шумный разговор:

— Чи-чи-чи! Чёт-чёт!

— Чи-чи-чи! Чёт-чёт!

Не оглядываясь на дочерей, которые тоже вышли на крыльцо, Анфиса Марковна сказала молодым, сочным голосом:

— Вот и зима!

Услышав ее голос, стайка чечеток разом снялась с рябинки и, качаясь на воздушных волнах, понеслась к околице.

— А замело-то как!

Анфисе Марковне внезапно захотелось поработать на морозце: в любом труде, даже в таком, от которого уставала, она всегда находила много чудесно-целебного, без чего невозможна

хорошая человеческая жизнь.

— А ну, доченьки, давайте лопаты!

Дочери возразили:

— Шла бы ты в избу, мама!

— Или сами не управимся?

Но мать потребовала:

— Делайте, что сказано!

Вышли на стежку, ведущую от крыльца до калитки. Работы было много, и Анфиса Марковна принялась за дело с тем большим душевным подъемом, какой всегда сопутствовал ей в любом труде. Она сильно, по-мужски, работала широкой деревянной лопатой, отбрасывая снег в стороны от стежки. Дочери, встав на некотором расстоянии одна за другой, пошли навстречу матери от ворот.

За короткое время Анфиса Марковна разгорелась в работе, зарумянулась, как девушка, и дочери, все время наблюдавшие за ней, окончательно убедились, что она полностью оправилась после потрясения.

Когда закончили работу и Анфиса Марковна стала обметать веником крыльцо, в калитке показалась Лукерья Бояркина, полногрудая, в распахнутой дубленой шубе и серой шали, легонько притрушенной снежком, — проходила, должно быть, под деревом, и дерево нечаянно тряхнуло над ней заснеженной веткой.

Лукерья заговорила еще от калитки:

— Живы?

— Едва вылезли, — ответила Марийка.

— Ой, а у нас по окна! Свету не видно!

С тех пор как Лукерья узнала, что ее Степан где-то поблизости, а не уехал к Москве, она успокоилась и повеселела, словно бы, чем ни ближе был Степан к ней, тем меньше ему грозила опасность. Но муж давно уже не присылал весточек, и Лукерья, ожидая их, чаще других навевывалась в дом Макарихи.

— Ты что это, бабонька, нараспашку бегаешь? — спросила Анфиса Марковна, когда Лукерья поднялась на крыльцо. — Ишь ты, выставила грудь! Еще застудишь и оставишь малого без молока!

— Ему теперь все одно!

— Это как?

— Отнять задумала.

— Не рано?

— Что там рано! Самому уже стыдно!

— А свекровь как? Жива еще?

Лукерья обмела веником валенки, вздохнула:

— Все лежит. Все молит, чтобы прибрал, а он не берет. Велит, видно, наглядеться на эту войну. Ох, и приняла я с ней маяты! Кто хочет умереть не может, а кому не надо — умирает. Что это такое, Анфиса Марковна?

Пока они разговаривали, в калитке показались солдаты Ульяна Шутяева и Паня Горюнова. Они часто бывали вместе: Ульяна — бойкая и острая на язык, а Паня — тихая и молчаливая, и эта разница в характерах, как часто бывает, крепила их дружбу еще до войны. Теперь же, когда их мужья вместе ушли в армию, у них прибавилось еще одно общее, и они стали неразлучны.

Анфиса Марковна любила этих подруг, как дочерей, но встретила их на этот раз нелюбезно.

— Что ж вы ко мне стаями-то ходите? — спросила она, загораживая подругам путь на крыльцо. — Не надо бы так-то. Недолго и до греха. — Но тут же смягчилась и уступила путь. — Ну, проходите, проходите, раз пришли. Что с вами делать!

Много раз открывалась дверь в доме Макарихи в этот предвечерний час. Собрались все соседки. С конца улицы пришла кума Степанида Арефьевна, мать двух сыновей, воевавших в армии. Следом за ней — подружки Марийки: огородница Тоня Петухова, жена танкиста, доярки Катюша Зимина и Вера Дроздова, тоже солдаты. Толпой ввалились подруги Фаи во главе с Ксютой Волковой. В доме стало людно, как бывало всегда осенью.

Долго горевали женщины о том, что впервые за много лет не пришлось, как прежде, отметить Октябрьский праздник. Вновь и вновь вспоминали дни, когда гитлеровцы занимались ограблением деревни.

— Да, начисто ограбили! Начисто! — сказала Степанида Арефьевна. Жила наша деревня, росла, полнела, как вилок капустный. А они, проклятые, напали, как червяки, и весь вилок источили! Всех нищими сделали! Теперь и скажешь про нашу деревню: стоит на горке, а хлеба в ней ни корки.

Женщины зашумели, гадая о будущем:

— И что теперь делать? Подумать страшно!

— К весне начнем с голоду пухнуть.

— Не дотянем и до весны...

Анфиса Марковна все время молчала, а тут не выдержала:

— Стой, бабы, погодите, дайте же и мне сказать... Плохие из вас гадалки — вот мое слово! — Она дождалась полной тишины. — Тоже нагадали: к весне будем пухнуть с голоду! А может, и не будем, а? Прежде смерти не умрешь! До весны еще зима, а зимой...

Анфисе Марковне не удалось досказать. Открылась дверь, и у порога показалась сухонькая, согбенная старушка Фаддеевна, жена деда Силантия, в зимнее время редко выходявшая из дому. Едва переступив порог, Фаддеевна ощупала клюшкой пол впереди себя, сделала еще шаг и, не обращая внимания на женщин, троекратно перекрестилась, глядя в передний угол, где уже много лет не было икон. Затем она поклонилась всем, и женщины тоже ответили ей поклонами. Марийка и Фая подхватили Фаддеевну под руки, провели вперед и усадили на лавку у стола. Здесь она отдышалась немного и, осмотрев женщин, заговорила, будто продолжая давно начатое:

— Лист-то на дереве не чисто опал, видали? Вон, глядите на дубки за нашим двором: все в листьях. Даже на березах и то они есть. Я старая, а все примечаю!

Кто-то спросил:

— К чему это, бабушка?

— Зима будет строгая, — убежденно ответила Фаддеевна. — Послабление в погоде еще будет, не без этого как водится. Сегодня какой у нас день?... Ну вот, выходит, скоро день Кузьмы и Демьяна... По прежним временам считался куриный праздник. А так всегда было: коли Кузьма да Демьян закуют, то архангел Михаил раскует. Выходит, потепление еще будет, это я вам без всякой науки скажу. Но только все одно: немного отпустит, а потом пуще того ударит. Чересчур строгая будет зима!

Многих удивил этот неожиданный приход Фаддеевны. Все было странно: и то, что она в мороз покинула печь и прошла по бездорожью через всю деревню, и то, что сразу же с убежденностью и суровостью провидца выложила свои предсказания о зиме. Все притихли, наблюдая за тяжело вздыхавшей старушкой, а Макариха, чтобы скрасть молчание, сказала ей:

— Уморилась ты, бабушка! И как дошла только? Ты ко мне?

— Ко всем пришла, — ответила Фаддеевна и с необычной для нее суровостью осмотрела женщин и девушек, сидевших вокруг. — Затем и пришла, чтобы сказать о зиме. Вы молодые, примет не знаете, а знать надо.

Все еще более удивились. Заметив это, Фаддеевна вдруг

подняла клюшку, как жезл, сделалась вдохновенно-строгой и объявила раздельно, как жестокий, но справедливый приговор, выношенный в старческом сердце:

— Померзнут они! Все! Как французы! Слыхали?

Объявив это, Фаддеевна тут же засобиралась в обратный путь. Женщины пытались уговорить ее отдохнуть еще немного, но безуспешно.

— Нет, тронусь, — сказала она. — Торопиться надо: на дворе вон вечереет, а мне через всю деревню. Ну, прощайте пока! Что сказала, помните. Каких наши побьют, какие померзнут, а житья им тут не будет!

Проводив Фаддеевну, Анфиса Марковна вернулась на свое место и сказала:

— Ну вот, мне и говорить теперь нечего...

На крыльце послышался хруст снега.

— Еще кто-то! — сказала Ульяна Шутяева. — На самом деле вроде собрания. Разойтись бы, пожалуй, надо.

Открылась дверь, и через порог в белых клубах морозного воздуха ввалился Ефим Чернявкин, в рыжем полушубке, с белой повязкой на левом рукаве и, как всегда, во хмелю. Валенки у него были облеплены снегом.

— Ага, тары-бары, — сказал он, ухмыляясь и подмигивая женщинам. Полный сбор!

— Что ж ты лезешь в избу-то с такими ногами? — спросила Анфиса Марковна, поднимаясь со своего места. — Или залил глаза и не видишь ничего?

— А где он там, веник-то?

— В сенях, где же еще? Смотри лучше!

— Тьфу, черт!

Чернявкин вышел в сени. Анфиса Марковна с укоризной взглянула на женщин и сказала тихонько:

— Видите? Как соберемся, он сюда.

— Разойтись бы, — предложила Лукерья Бояркина.

— Теперь сидите, все равно!

Вошел Чернявкин, сказал хмуро:

— Неласково ты, хозяйка, встречаешь гостей!

— Извини уж, неохота мне с тобой ласкаться, — ответила Макариха. Садись вот тут... Ругаться пришел, что ли? Ругаться, так сразу начинай, а нет — рассказывай, какие новости: ты ведь у власти

и везде бываешь.

— А ничего особого, — ответил Чернявкин неохотно, присаживаясь у стола. — Какой-то дурак в метель эту... ну, значит, под Октябрьский праздник... бывший, понятно... ну, взял да разные бумажонки наклеил везде. Не видали? Даже у меня, сволочь, на ворота приляпал! А что клеить? Что клеить? Москва-то на днях будет взята!

— На днях?

— Конечно!

— А ты же говорил, что ее уже взяли?

— Тогда ошибка вышла.

— Что-то часто ты, Ефим, ошибаться стал!

— Ну, хватит! Опять подковырки! — оборвал Чернявкин, озлобляясь. Надоели! Ишь распустили языки! А ты, Макариха, особо. Нет, ты эти привычки брось, пока не поздно! К ним по делу, а они... В общем, чтобы это в последний раз, вот и все!

Он встал и, не глядя на женщин, сказал тоном приказа:

— Так вот, завтра чуть свет — на большак. Будем расчищать от снега. Приказ самого коменданта. Вся деревня выходит. Там, говорят, ни проехать ни пройти... Выходить всем до единой, слышите?

Ефим Чернявкин был так раздражен неприветливой встречей, что ему хотелось услышать какие-либо возражения и, воспользовавшись этим, покричать на женщин. Но женщины молчали.

— Что ж вы молчите? — спросил Чернявкин, подергивая ноздрями и осматривая самых бойких на язык. — Ну? Выходить рано, чуть свет, взять с собой еды на два дня и лопаты! Смотрите, чтобы без разных там... всяких-яких! Понятно? Чтобы все, а если не пойдет кто, пусть пеняет на себя. Я за вас чистить дорог не буду, так и знайте! Слышите или нет?

Но женщины не отвечали...

II

Армия Гитлера спешно готовилась к новому, «генеральному» наступлению на Восточном фронте с целью окружения и взятия Москвы.

Но прежде чем начать наступление, надо было расчистить все

магистралами, ведущие к линии фронта; по заметенным снегом дорогам нельзя было маневрировать и подбрасывать к фронту резервные части, боеприпасы и продовольствие. Это могло тормозить развитие боевых действий под Москвой.

Как только стихла первая метель, немцы немедленно выгнали на расчистку дорог десятки тысяч людей. Все шоссе и большаки, идущие с запада к линии фронта, запрудили бесконечные вереницы женщин, девушек и подростков с лопатами, волокушами и подводами, нагруженными молодыми елками. Работы продолжались от темна до темна.

...Ольховцы вышли на большак поздно, хотя Лозневой и Чернявкин начали выгонять их с рассвета. Ничего нельзя было сделать с упрямыми и хитрыми женщинами! Зайдут полицаи в дом — женщины покорно и смиренно собираются в путь, а только полицаи за ворота — они кто куда: на чердаки, в подполья, в сараи и погреба... Никого не найдешь! Полицаи выбились из сил, бегая по деревне. Встречаясь где-нибудь на улице, они еще издали сокрушенно махали друг другу руками, а сойдясь, жаловались и негодовали.

— Вот проклятое отродье! — кричал подвыпивший спозаранку Ефим Чернявкин. — Видал такое? Веришь слову, сил не хватает топтать эти сугробы! Весь в мыле!

Лозневой говорил тихо и смущенно:

— Не ожидал... Такое упорство!

— От этих проклятых баб всего жди! — учил Чернявкин. — Я их знаю! Их, окаянных, в ступе не истолчешь, вот они какие! Если, скажем, бить, — опять плохо. Что ж делать, а?

Только когда взялись за дело сами немцы, кое-как удалось согнать в комендатуру толпу женщин. Сложив лопаты и узелки с харчами в сани, у которых хозяйничал хитроватый рыжий мальчуган, они молча вышли из деревни.

Ефим Чернявкин ехал на передних санях — ему приказано было наблюдать за работой ольховцев на большаке. После тяжелой беготни да лишней чарки самогона он внезапно задремал на ворохе ржаной соломы, а когда очнулся и оглянулся, так и обожгло: следом за его санями двигалась толпа женщин вдвое меньше, чем при выходе из Ольховки.

— Ох, твари! — застонал Чернявкин, и его, будто на ухабе, вышвырнуло из саней. — Вы что, твари, а? Что задумали? —

закричал он, поджидая женщин, яростно потрясая в воздухе полосатой разноцветной варежкой. — Бунт задумали? Ну, погодите! Те, что сбежали, еще поплачут, а вы поработаете у меня как надо! Что-о? Что за разговор? А ну, проходи, а то...

— А что? — тут же придралась Ульяна Шутяева, проходившая мимо. — Ишь ты, какой грозный! Эта бы страсть да к ночи.

— А ты, Ульяна, лучше помолчи! — пригрозил Чернявкин. — Я до тебя еще доберусь! Каяться будешь, что язык себе не обрезала!

Ульяна резко обернулась — она была в шапке-ушанке и черном мужнином полушубке — и долго держала на Чернявкине презрительно сощуренные сметливые карие глаза.

— Ты чего так... будто на прицел? — возмутился Чернявкин. — Иди ты, не задерживай! Иди, иди! Ишь прицелилась!

— Эх ты, Ефим! — вдруг вздохнула Ульяна. — Смотрю на тебя — и наглядеться не могу: до чего дерьма в тебе много, на удивление! Каяться будешь ты, балбес несчастный, а не я! Слыхал?

Она вдруг ударила ногой в землю и всего Чернявкина обдала мелкими комьями снега. Охнув, Чернявкян прикрыл цветистой варежкой глаза.

— Ну, погоди, зар-раза!

Пропустив всех женщин, Чернявкин в раздумье потоптался на дороге. «Придется позади идти, — подумал печально. — Вот твари!»

К большаку прибыли, когда солнце поднялось уже высоко. Ольховцам достался для расчистки участок от опушки леса на восток до гребня крутого перевальчика, за которым курились дымки небольшой деревеньки. Весь участок пересекали гребнистые и плотные снежные дюны.

Женщины загоревали:

— Ой, ой! Здесь наломаешь кости!

— Когда ж тут расчистишь? Он очумел?

— Говорит, к вечеру надо...

— Надорваться? Пропади он пропадом!

— Да, дожили: на немцев хребет гнем!

— Не говори: лучше бы в петлю!

В этот день впервые очистилось от хмари небо и заиграло зимнее солнце. Держался ровный, мягкий морозец, каким всегда начинается русская зима. На голых буграх, не решаясь выйти в

открытое поле, по-лисьи поигрывала поземка. Она легонько трогала зачоченевшие стебли бурьяна. Стая тетеревов косачей, все дни непогоды просидевшая в еловой тюремной глухомани, сегодня вылетела на опушку леса, в светлый березняк — поклевать горьких почек и погреться на солнце. Краснобровые красавцы, точно из вороненой стали, и их серенькие скромные подруги облепили со всех сторон высокие заиндевелые березы. Жадно ощипывая пахучие желтоватые почки, они теребили ветви и гулко хлопали крыльями, перелетая с места на место; с берез, облюбленных ими, густо порошило радужно сверкавшей на солнце снежной пылью.

Невдалеке от дороги стоял обгорелый немецкий танк; с наветренной стороны его замело до башни, а с другой — вьюга устроила уютный закуток, где держалось затишье. Опытный глаз Ефима Чернявкина сразу облюбывал это местечко. Он заставил женщин натаскать сюда из леса целый ворох валежника и развел в снежном закутке огонь.

— Давай за дело! — крикнул он женщинам, на минуту задержавшимся у костра. — Стоять пришли?

Женщины двинулись гурьбой к дороге, где некоторые уже разрезали деревянными лопатами плотные гребни снега на куски и относили их далеко за кюветы.

У Ефима Чернявкина с похмелья болела голова, на душе было противно, и поэтому, должно быть, у него появились на редкость грустные мысли. Ну, какая у него, в самом деле, жизнь?

Отец Ефима был не очень богатым, но самым умным и хитрым кулаком в Ольховке. В годы нэпа он даже прослыл одним из передовых людей в деревне, выписывал агрономические журналы, заводил машины, производил разные опытные посеы и даже якобы пытался организовать машинное товарищество. В эти годы незаметно для многих он и разбогател.

Вот тогда-то Ефим — он был еще юношей — и поссорился с отцом. Отец приказал Ефиму вступить в комсомол и разъяснил, что без этого ему «не будет хорошей жизни». А Ефиму не хотелось идти в комсомол. В то время в деревне было только три комсомольца, и все — из вечной бедноты; одевались они плохо, вместо вечеринок проводили какие-то «скучные» собрания, и многие девушки посмеивались над ними и даже складывали про них смешные песни. Когда Ефим рассказал безнадежно любимой Анне, что отец велел ему вступить в комсомол, та заявила:

— И сейчас-то смотреть на тебя не хочу, а вступишь — на шаг не подходи.

И Ефим отказался выполнить отцовский приказ. Отец был самолюбив и суров. Между отцом и сыном разгорелась ссора. Закончилась она тем, что Ефим, избитый отцом за ослушание, бежал из дому.

Три года Ефим прожил в соседней деревне, у дальних родственников, а потом, добившись любви Анны, решил помириться с отцом — без его помощи он не мог завести собственное хозяйство.

Отец выслушал сына и сказал печально:

— И в кого ты, Ефим, уродился такой? Был ты дураком, да им и остался поныне! Нашел время, когда заявиться ко мне!

— А что? — с недоумением спросил Ефим.

— Раскулачить должны, вот что! — ответил отец. — Или не видишь, что делается кругом? Иди-ка ты, пока не поздно, подальше от родного дома. Раз ты давно живешь отдельно, да еще в ссоре с отцом-кулаком, то тебя не должны тронуть. И вот тебе мое последнее слово: хочешь жить — вступай в колхоз! Что глаза таращишь? Вступай, а там смотри сам, как жить надо.

Отца действительно раскулачили и выслали в Сибирь, а Ефима оставили в Ольховке и приняли в колхоз. Вскоре он женился на Анне и начал заводить свое хозяйство. За год до войны отец вернулся из ссылки — старый, худой. Втайне он надеялся увидеть Ольховку разоренной, а тут оказалось, что она живет во много раз богаче, чем раньше. Неожиданно для всех он собрался и уехал обратно в Сибирь.

С той поры Ефим постоянно думал об отце, внутренне казнил перед ним, и это до крайности осложняло его жизнь, и без того, как думалось, канительную и грустную.

...Взглянув на дорогу, Ефим оторопел от негодования: все женщины о чем-то болтали, толпясь вокруг Ульяны Шутяевой. Задыхаясь, как пес на поводке, Чернявкин выбежал к дороге, с криком и руганью разогнал женщин по своим местам:

— Я вам поболтаю! Я вам, твари, покажу!

Женщины больше не собирались толпой, но Чернявкин вскоре заметил: они и не работали как следует. И вновь пришлось бежать к дороге и вновь кричать во все горло на проклятых баб.

Так повторялось несколько раз. Ефим Чернявкин не знал, что делать; для него уже было ясно, что расчистка большака не будет

закончена до вечера. «Вот же какие твари! — с яростью размышлял Чернявкин. — Ведь налетит комендант — что будет? Или побить какую? Надо побить! Надо побить!»

Вдруг издалека донесся рокот мотора.

Все женщины, бросив работу, обернулись на восточный край неба. Фая первой увидела самолет и закричала, запрыгала, как мальчишка, забиваясь до колен в сугроб:

— Вона, вон! Сюда летит! Сюда!

По всему участку дороги, где шла работа, слышались возбуждённые голоса. Ульяна Шутяева, обращаясь к соседкам, сказала серьезно:

— Это наш, честное слово! Его по гулу слышно. Куда же он? Да и вправду, кажись, сюда!

Самолет шел на небольшой высоте. Это был разведчик. После метели наши войска возобновили глубокую воздушную разведку: внимательно следили за тем, как гитлеровцы подтягивают к передовой линии свои резервы, где создают различные базы и склады. Особенно зоркое наблюдение велось за дорогами, ведущими к линии фронта.

Самолет шел вдоль дороги.

Увидев, что летит советский самолет, Ефим Чернявкин ошалело сорвался с места и бросился к лесу. Ульяна Шутяева случайно обернулась в этот момент и гулко, озорно хлопнула кожаными рукавицами:

— Держи его, держи!

Чернявкин с разбегу плюхнулся в снег. На дороге раздался дружный хохот, крики и даже свист.

— Вот до чего дожил! — сказала Ульяна Шутяева. — Трус дурней дурака! Подумал бы своей башкой: ведь около нас ему только и спасенье! Нас-то не будут трогать!

Позади зазвенели девичьи голоса:

— Гляди! Гляди!

— Листовки, вот что!

Женщины зашумели, заметались по дороге. Самолет прошел стороной, а розоватое облачко листовок, отстав, замельтешило в светлой вышине. Внезапно его подхватило воздушной струей, листовки затрепетали сильно, как стая чаек на ветру, направляясь в сторону дороги. Но снижались они медленно. Женщины заволновались:

— Ой, пролетят!

— Несет-то, а? Ой, как несет!

— На лес пойдут, на лес!

И верно: тучку листовок понесло над дорогой в сторону леса. Толпа женщин во главе с Ульяной Шутяевой бросилась с дороги в низину, где листовки уже прибывало к земле.

Толпу встретил Ефим Чернявкин, смущенный и озлобленный смехом женщин. Он молча ударил Ульяну кулаком в грудь, опрокинул в снег.

— Вот тебе, тварь! Накричалась? Еще надо? — И двинулся навстречу женщинам, поднимая руки. — Стой, поганое отродье, а то душу выну! Назад! Назад, а то... Я вам почитаю, твари!

Три листовки все же упали недалеко от толпы. Течением воздуха их потянуло по гладкой низине, прилизанной вьюгой. За одной листовкой бросилась Фая с подружками, но Чернявкин остановил их окриком:

— Стой, поганки! Назад!

Другую листовку в это время придавила ногой и затоптала в снег Марийка. Все, кто заметил это, обрадовались: наконец-то! Все заговорили, стараясь отвлечь Чернявкина, но он, проходя мимо Марийки, вдруг сшиб ее с места, отыскал в снегу измятую листовку и, не читая, зло смял в руке.

— Выкусила?

Он подошел к танку и бросил листовку в огонь. Все тяжело вздохнули, а Марийка, пылая от обиды, сказала:

— Дурак ты, Ефим! Да разве правду сожжешь на огне?

Около часа работали молча.

К Ульяне Шутяевой подошла Паня Горюнова. Взглянув на дымок у танка, сказала шепотком:

— Я поймала одну...

— Спрячь! И никому ни слова!

Ульяна Шутяева понимала: только в Ольховке можно будет узнать, о чем говорится в листовке. Но как ждать этого до ночи? Нет, ждать невозможно. Оставалось одно: поскорее закончить расчистку дороги и вернуться домой. И Ульяна, собрав женщин в минуту передышки, сказала серьезно:

— Вот что, бабы: давайте поработаем!

Женщины перестали грызть краюшки стылого хлеба.

— Что удивились? — спросила Ульяна. — Все равно нам

придется расчищать отведенный участок, как ни вертись! Не сегодня, так завтра. Так лучше давайте поскорее закончим дело — и домой. Ну, как вы?

Никто не заметил, как подошел Ефим Чернявкин. Услышав, что говорит Ульяна Шутяева, он хохотнул и сказал с гордостью победителя:

— Ага, осознала, стоеросовая дура! Давно бы так! — И пошел прочь, победно подняв голову и скрестив на поясице руки.

Работа пошла споро. Вскоре по распоряжению волостного коменданта Гобельмана на участок ольховцев, из-за которого задерживалось движение по дороге, пригнали много народу из ближних деревень. Расчистка большака была закончена до заката солнца.

В это время на опушке леса показалась немецкая колонна. Впереди шли солдаты в тонких длиннополых шинелях, следом двигался обоз: грузные, словно сошедшие с пьедесталов, заиндевелые кони тащили несколько грохотающих повозок, повизгивающих саней и тяжелую полевую кухню, от которой струился дымок.

— Ну вот, расчистили им, — прошептала Марийка.

— Ты уйди-ка отсюда, — сказала Ульяна Шутяева, толкая ее локтем. Уйди подальше, чтоб не видели...

— А что?

— Расцвела на морозе-то. Пылаешь, как маков цвет, честное слово! Гляди, они такие...

Большая толпа колхозниц расступилась по обе стороны дороги. Говор смолк. Хрустя снегом и скрипя сапогами, немецкая колонна вступила в живой коридор. Немцы шли, не обращая никакого внимания на женщин, как не обращали внимания на деревья в лесу, — они изрядно устали за день похода, их занимали лишь немудрые солдатские мысли об еде и близком ночлеге.

Вдруг один солдат, словно почувствовав что-то колючее, близко направленное в спину, взглянул на женщин, за ним взглянул другой, третий... Опираясь на лопаты, женщины стояли, как солдаты в строю, и никто из них не выказывал даже малейшего желания сделать какое-либо движение или промолвить слово. Это было видно хорошо: лица женщин ярко освещались косо падающими лучами предвечернего солнца. Но в их молчании, в их взглядах было что-то такое, что всю колонну немцев вдруг заставило озираться с опаской. В колонне раздались лающие голоса команды, и немецкие солдаты

зашагали быстро, гремя автоматами и амуницией. В движении колонны внезапно почувствовалась такая тревога, какую ощущают солдаты только на незнакомом, опасном ночном марше вблизи передовой линии фронта.

А женщины, опираясь на лопаты, стояли недвижимо и смотрели на немцев молча...

III

В Ольховку вернулись в темноте.

Встреча с гитлеровцами на большаке сильно встревожила Марийку. Эта встреча с новой силой подняла в ней никогда не угасавшую тоску об Андрее и беспокойные думы о нем. Марийка ушла домой с таким чувством, будто увидела дурной и тяжкий сон...

В последнее время Марийке быстро надоедало любое дело. Все дела казались ей никчемными, ничтожными; ни в чем она не находила радости. Только одно никогда не надоедало ей — думать об Андрее. Никогда: ни днем ни ночью.

Почти месяц она думала об Андрее как о погибшем в бою. Но с тех пор, как узнала, что Лозневой обманул ее, новые думы — думы о живом Андрее преобразили всю ее жизнь. Она видела теперь Андрея всегда полным жизни и песенной, ласковой задумчивости, какой много в родной ржевской природе. Он казался ей совершенно неотделимым от всего, что окружало его прежде, — от всего, что видел глаз с Ольховского взгорья, и это делало его сказочно могучим. Иногда он казался ей богатырем, она думала об этом серьезно и в такие минуты удивлялась тому, как могла поверить в его смерть среди всего родного, что жило с ним неразделимой жизнью.

В воображении Марийки часто вставала боевая жизнь Андрея — в том виде, в каком она могла ее себе представить. То она видела Андрея в бою, и всегда он действовал, как богатырь и герой: зажигал танки, стрелял гитлеровцев в упор, колот их штыком, бил гранатами... Иногда видела, как он ночует в землянке, положив голову на вещевой мешок, смешно улыбаясь губами, или как идет с солдатами глухим лесом, сторожко прислушиваясь к близкой стрельбе, или как сидит вечером у костра, курит и думает о ней... И никогда, никогда она не видела его усталым, несчастным, больным, раненым или умирающим, а тем более струсившим в бою.

Но при всем этом тревога за Андрея не стихала. Марийка

почти верила в его бессмертие и все же никак не могла избавиться от своей тревоги...

Теперь, увидев гитлеровцев, идущих на фронт, идущих по дороге, которую сама расчищала. Марийка с особенной тоской и тревогой стала думать об Андрее. Где он? Что с ним? Что с нашей армией? Что там, за линией фронта? И где эта линия? Сегодня был случай, когда наверняка можно было узнать, что происходит там, где находится Андрей. В листовках, которые сбросил самолет, несомненно, что-то говорилось о нашей армии, о войне. Но этот распроклятый Ефим Чернявкин... Убить его мало! Убить и разорвать на куски!

Ужинала Марийка неохотно и молча.

— Ты что такая? — спросила мать. — Устала?

— Зря ты заставила меня пойти на эту дорогу, — ответила Марийка. — Он меня сроду бы не нашел, а ты... — Она подняла голову, заговорила резче. Отчертоломила на них целый день, расчистила дорогу, — идите, воюйте, бейте наших! Хорошо? Еще спрашиваешь, что такая!

— Взрослая, а какая ты еще неразумная! — без обиды ответила Анфиса Марковна. — Да ты подумай-ка лучше... Мы и так на виду стоим, Чернявкин все время присматривает за нашим домом, я это хорошо примечаю. Другие не пошли — не велика беда, а мы... Он нас сразу на заметку!

— Все равно досадно!

— Досадно, это верно...

— Чтоб они подошли все!

Едва сдерживая слезы. Марийка села на свою кровать, прислонилась спиной к печи. И опять полетели думы об Андрее.

Но не только Марийка разволновалась после встречи с гитлеровцами на дороге. Все женщины и девушки невольно вспомнили о своих мужьях, братьях и женихах, воевавших где-то под Москвой, и у каждой защемило сердце. И хотя намаялись за день, и время было позднее, и опасно было собираться в логовском доме, — все равно многие женщины, даже не отдохнув с дороги, пошли посидеть и отвести душу у Макарихи.

Около Марийки собрались подружки-солдатки: Тоня Петухова, Катюша Зимина, Вера Дроздова. Все они вместе с Марийкой испытывали настолько одинаковые чувства тоски, тревоги и горечи, что им не нужно было разговаривать между собой — они понимали

друг друга по коротким взглядам. Они сидели вокруг Марийки и горестно молчали.

Все женщины, собравшиеся в другой половине избы, тоже сидели молча, только Ульяна Шутяева о чем-то шепталась около печи с Анфисой Марковной. Такого унылого безмолвия никогда не было в логовском доме.

Выходя на середину комнаты, Анфиса Марковна спросила удивленно:

— Что это вы, бабоньки, сегодня такие? Хоть бы рассказали, как там на дороге...

— Эх, Марковна! — ответила одна. — И говорить тошно! Все идут немцы, все на наших, все туда...

— Все туда? — раздумчиво переспросила Анфиса Марковна. — Что ж, туда идут, а оттуда не вернуться!

Но даже и эта попытка Анфисы Марковны нарушить тягостное молчание в доме не помогла.

В эту минуту Марийка, смотря куда-то далеко-далеко, словно бы за сотни километров, вдруг начала песню. Она запела очень тихо, почти про себя; она не хотела слышать своего голоса и не хотела, чтобы его слышали другие. Она почти пересказывала песню, и только всем знакомое ее мастерство брало свое, — даже когда она не хотела петь, все же получалась песня.

Что стоишь, качаясь,
Гонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына?

Подруги Марийки не удивились, что она не дает волю своему чудесному голосу, а поет так сдержанно и тихо. Подругам тоже не хотелось петь, но песня была такая, что сразу всех встревожила, и они, выждав время, тихонько повторили:

Головой склоняясь
До самого тына...

Все женщины обернулись к Марийке, прислушиваясь к ее песне. Марийка сидела, не меняя позы, неподвижно смотря в даль, которую не могли заслонить от нее стены избы. Словно бы видя что-то в этой дали, она запела немного погромче, и глубина ее темных глаз наполнилась таким трепещущим блеском, какой можно видеть только на востоке в час рассвета.

Там, через дорогу,

За рекой широкой,
Тоже одиноко
Дуб стоит высокий...

На этот раз не только подруги Марийки, но и все остальные женщины подхватили песню, — и все запели, смотря в какую-то бесконечную даль:

Тоже одиноко
Дуб стоит высокий...

Или оттого, что все женщины, хотя и тихонько, но поддержали песню, или оттого, что сама песня, не считаясь ни с чем, поднялась в душе, Марийка неожиданно возвысила голос, и в нем зазвучали те сильные струны, какие звучали в годы девичества и были памятны всей деревне:

Как бы мне, рябине,
К дубу перебраться?
Я б тогда не стала
Гнуться и качаться...

И вдруг у всех женщин брызнули слезы. И женщины, не скрывая их, все так же смотря в неведомую даль, повторили уже певуче, в полные голоса:

Я б тогда не стала
Гнуться и качаться...

Увидев, что женщины плачут, заплакала и Марийка. С трудом сдерживая рыдания, она едва выговорила:

Тонкими ветвями
Я б к нему прижалась
И с его листвою
День и ночь шепталась...
И все женщины, плача, повторили:
И с его листвою
День и ночь шепталась...

От стола в эту минуту поднялась Анфиса Марковна. И все увидели, что только одна она не плачет — стала суровой и хмурой, как никогда. Марийка уже собралась закончить песню — рассказать, что нельзя рябине к дубу перебраться, но мать глянула на нее сухо сверкающими глазами, крикнула:

— А ну, перестань! Слышишь? — Обернулась к женщинам:
— И вы перестаньте! Довольно!

Затем подошла к стенному шкафчику, отдернула цветистую

занавеску и вытащила из чайника свитый в трубочку розовый листок, густо засеянный строгими рядами типографских букв. Все женщины замерли: в руках Анфисы Марковны была листовка, какие сбрасывал сегодня самолет.

После первых секунд замешательства Марийка разом сорвалась с кровати.

— На, читай! — сказала ей мать, подавая листовку. — Садись к столу и читай для всех... А эту песню чтоб я не слышала больше в доме!

Марийка молча выхватила из рук матери листовку и бросилась к лампе. Торопливо утирая слезы, вокруг стола, плотно окружив Марийку, столпились женщины.

— «Дорогие братья и сестры!» — крикнула Марийка, отрываясь от листовки и обводя всех горячим, блестящим взглядом.

— Тише ты, — сказала мать.

— Ой, мама, и где ты достала?

Женщины тоже зашумели:

— Читай, не тяни!

— Господи, да что вы навалились-то на меня? — зашумела Марийка. — И от света немного...

— Читай дальше, чего тянешь?

— Нет, погоди! — сказала Анфиса Марковна и нашла глазами Фаю. Дверь-то закрыла?

— Нет, ты же не сказала!

— Или сама не знаешь?

Фая выскочила в сени и закрыла на засов наружную дверь. Успокоясь, все вновь потеснее сбились у стола, и в кругу раздался негромкий, но взволнованный голос Марийки.

Вдруг со скрипом распахнулась дверь. Все обмерли: на пороге стоял Ефим Чернявкин. Женщины бросились в стороны от стола, и тогда Марийка, тоже увидев Чернявкина, бледная от предчувствия близкой беды, сунула листовку в руки кому-то за своей спиной.

Но было уже поздно. Ефим Чернявкин успел увидеть листовку в руках Марийки и сразу догадался, что эта листовка из тех, какие сбросил сегодня самолет... Значит, не зря он пробрался в сени к Макарихе еще в то время, когда только собирались к ней бабы, не зря мерз в темном углу, затаив дыхание. Макариха и все ее собеседницы пойманы с поличным! Теперь не отвертеться этой

растреклятой Макарихе и ее бабьей банде! «Вот теперь она поплачет, старая ведьма! — злорадно подумал Ефим Чернявкин. — Я ей отплачу за все! Я ей вспомню, как срамила на колхозном дворе! Я не забыл!» Думая так, Чернявкин шагнул на середину избы, навстречу Макарихе, и сказал, не в силах сдержать улыбку торжества:

— Не ждали?

— Нет, не ждали, — ответила Макариха, к удивлению всех, спокойно, неласково, не проявляя никакого намерения заискивать перед полицаем. — Да ведь тебя, Ефим, если и ждут где, так только, должно быть, на том свете! А на этом — кому ты нужен? Только ты, пожалуй, долго задерживаешься на этом-то свете. Родила тебя мама, что не принимает и яма. Ну, не горюй: примет!

— На том свете я не скоро буду, — ответил Чернявкин. — Скорее ты будешь там!

— Как знать, Ефим!

— Значит, читаете? Обсуждаете?

— Да, читаем... — все так же спокойно, без всяких внешних признаков волнения, ответила Анфиса Марковна. — Обсуждать после, видно, будем, ты помешал. Ну, садись! — Анфиса Марковна кивнула Марийке. — Уйди-ка, освободи гостю место.

Ефим Чернявкин торжествовал и втайне смеялся над Макарихой. Он не спешил принимать какие-либо меры. Зачем спешить? Теперь Макариха и все ее собеседницы в полной его власти, и ничто не может спасти их от суровой кары. Это был первый случай, когда Ефим Чернявкин мог вволю насладиться своей властью, чувством гордости за свой служебный талант, сладостью долгожданного торжества и над своевольной Макарихой и над многими из тех баб, какие открыто выказывали ему свое презрение. Зачем спешить?

Раскинув полы полушубка, Чернявкин сел за стол, положил рядом шапку, — все это означало, что хотя он и не спешит, но и не намерен особо медлить с выполнением служебного долга.

— Значит, поговорим? — спросил он.

— Сейчас поговорим... — Анфиса Марковна присела на табурет против полицая и будто бы участливо заметила: — А ты, Ефим, сегодня что-то и маловато выпил? Что бы это значило?

— Нечего, все вышло...

— Хочешь, я налью? Тогда и разговор пойдет живее. Что молчишь?

Ефим Чернявкин подумал: «Ага, начинает умасливать! Нет, меня не умаслишь, старая ведьма! А водку я, конечно, выпью». Затем сказал, стараясь, чтобы в голосе ясно звучало безразличие:

— Есть разве?

— Тебе хватит.

Все женщины молча, тревожно жались по углам и о недоумении следили за хозяйкой. Третий раз за вечер менялось настроение в этом доме! От унылого молчания — к горькой, слезной песне, от нее — к радостному возбуждению, а теперь — к большой, неумемной тревоге. И эти резкие перемены в равной мере пережили все; только Анфиса Марковна весь вечер, казалось, живет особыми чувствами, не подчиняясь той неустойчивой атмосфере, какая держалась в ее доме.

Увидев перед собой поллитровку водки, Ефим Чернявкин, как ни старался проявить безразличие, не мог сдержать странного кроличьего движения ноздрей.

— Неужели «Московская»?

— Последняя, — сказала Анфиса Марковна. — Все для зятя берегла.

— Вот это зря! — Чернявкин даже хохотнул, хотя это, вероятно, относилось не к тому, о чем он говорил, а скорее было выражением его удовольствия по случаю неожиданной удачи с водкой. — Для зятя зря берегла, да! О нем теперь забудь! Другого ищи!

— Ты лакай, раз дали, а в чужие дела не лезь! — крикнула полицаю Марийка. — Ишь ты, учить взялся! Советы еще дает!

— Поговори, поговори, — проворчал Чернявкин.

— А что? Думаешь, побоюсь?

— Марийка, уйди! — приказала мать и, торопясь прекратить ненужную ссору, налила полный стакан водки. — Пей!

У Ефима Чернявкина лихорадочным блеском осветились большие, с краснинкой, заячьи глаза. Ему давно уже приходилось пить только мутный, вонючий самогон, а тут — полная бутылка настоящей водки, чистой, как слеза! И Чернявкин сразу понял: пока он не выпьет всю водку, у него не хватит духу уйти из дома Макарихи. Да и зачем спешить? При всем желании и изворотливости Макариха не может теперь вырваться из его рук!

Чернявкин выпил, не отрываясь, стакан до дна, крякнул гулко, будто его ударили батоном по спине, покрутил головой и

торопливо бросил в рот большой белый гриб.

Словно печалась о судьбе гостя, Анфиса Марковна подперла рукой подбородок и спросила:

— Что ж ты, Ефим, все пьешь, все заливаешь глаза? Или стыдно смотреть на народ?

— С вами небось запьешь! — совсем мирно ответил Чернявкин. — Ты вот, скажем, как думаешь: должность мне надо выполнять, раз назначен? Надо! А за вами как поносишься по деревне, язык высунешь!

— Да, собачья у тебя должность, Ефим, это верно, — согласилась Анфиса Марковна. — Но ведь и жаловаться, пожалуй, нечего: такая ваша порода, Чернявкиных, — всем известно. Ты в отца, отец во пса...

— Ты что? Опять срамить? — обиделся Чернявкин. — Ты бы лучше помолчала сейчас, а уж если не дурная у тебя башка, по-другому бы говорила...

— И угощала?

— И угощала бы...

— А что ты торопишься? На, пей!

Ефим еще выпил, сказал, заметно хмелея:

— Ты сама знаешь, что тебе прикусить язык сейчас надо: твое дело теперь — самое гиблое, вот что! Ты у меня вот где, вот в этой моей пятерне! Что захочу, то и сделаю. Ишь ты, умная, на старости лет политикой занялась! Беседы ведет, листовочки большевистские читает! Да ты понимаешь своей дурной головой, что ты делаешь?

Анфиса Марковна видела, как у Ефима засоловели глаза, и была уверена: что бы ни говорила она, но пока не будет выпита вся водка, полицай не уйдет из дома.

— Я все, Ефим, понимаю, что делаю, — ответила Макариха. — И никогда я не буду каяться в том, что делала, а только гордиться буду своими делами на старости лет! А вот такие, как ты, Ефим, — те будут каяться, ой, как будут! Ты погоди, ты пей, пей всю, а меня не перебивай! Наливай и пей, а раз так случилось, выслушай все, что скажу, хоть и будет тебе горько!

Марийка и Фая крикнули в один голос:

— Мама!

Все женщины тоже заволновались. Они хорошо знали твердый, независимый характер Макарихи, но им известно было также, что она знает и цену осторожности. И поэтому их не только

удивила, но и серьезно озадачила Анфиса Марковна в такой опасный час. Ее поведение женщины объясняли только тем, что Анфиса Марковна в глубине души испытывала такую тревогу за себя и всех, что потеряла прежнее, привычное самообладание и, не в силах вернуть его, готова была на любое опрометчивое решение. Из разных углов раздались голоса:

— Анфиса Марковна, будет вам!

— Опомнись, кума, что ты дразнишь его?

— Марковна, брось, пожалей всех!

— Нет, бабы, вы мне не мешайте, — твердо и спокойно возразила Анфиса Марковна. — Я в своем уме и знаю, что делаю. Вы сидите спокойно и слушайте, а я поговорю.

— Значит, высказать захотела? — Ефим Чернявкин пьяно захохотал и снова потянулся к бутылке. — Что ж, высказывай! Я послушаю, чтоб не корила потом, что даром водку пил.

— За водку я корить не буду, пей всю!

Чернявкин вылил в стакан остатки водки, но пить не стал, наслаждаясь теплом, охватившим тело, и ожидая разговора.

— Так вот, Ефим, — заговорила Анфиса Марковна, — долго болтать с тобой у меня особого интереса нет. У нас с тобой не любовный разговор за околицей под березками. Я вот что хочу тебе сказать: ты думаешь, я не знаю, отчего ты пьешь, а? Нет, Ефим, знаю, знаю! Ты видишь, ты один в деревне такой оказался, вот и пьешь от страха! Страшно, а? Врешь, страшно! Ты видишь, что весь народ как стоял, так и стоит за свою власть, и никто ничего не сделает с нашим народом. Вот тебе и страшно! Пей, Ефим, заливай глаза, тебе одна дорога!

Точно полностью соглашаясь с Анфисой Марковной, Чернявкин и в самом деле разом вылил остатки водки в зубастый, широкий рот и, не закусывая, почавкал мясистыми губами. Но все лицо его, уши и шея налились кровью. Он сказал хрипло, задыхаясь:

— А ну, дальше!

— А дальше вот что, — спокойно и ровно продолжала Анфиса Марковна в необычайной, мертвой тишине избы. — Вот ты дезертировал из армии, не захотел воевать за народ, смерти испугался, прибежал к бабе... А в народе, Ефим, так говорят: лучше умереть в поле, чем в бабьем подоле.

Ефим Чернявкин вдруг захрипел, со стоном ударил по столу обоими кулаками, сорвался с места; он широко раскрывал рот и

тяжко, часто дышал, остановив на Макарихе налитые кровью глаза. Во всех углах закричали, завыли женщины. Они ожидали, что Чернявкин бросится к Анфисе Марковне и начнет ее бить, но он, не сломив ее смелого взгляда, схватил шапку и, сильно качаясь, вышел из дома. Все женщины завыли в один голос; они понимали: сейчас Чернявкин пойдет к старшему полицаю Лозневому и расскажет ему о разговоре с Анфисой Марковной.

— Бабы, тихо! Не выть! — властно сказала Анфиса Марковна. — У кого листовка?

— У меня, — всхлипывая, ответила Фая.

— Давай сюда!

Анфиса Марковна взяла измятую листовку, бережно разгладила ее на столе, поправила в лампе огонь. Найдя глазами Марийку, позвала:

— Иди сюда! Садись! Читай!

IV

Все время, пока гитлеровцы с помощью Лозневого и Чернявкина грабили деревню, Ерофей Кузьмич валялся в постели. Алевтина Васильевна ежедневно делала ему припарки из отрубей и давала пить всевозможные снадобья из целебных трав. Однажды Ерофей Кузьмич позвал даже бабку Зубачиху, и та, отчитав над ним заговор и опрыснув его «святой» водой, всей деревне затем рассказала, что у старика Лопухова какая-то неведомая алая порча и он, по всем приметам, не дотянет до зимы.

Ерофей Кузьмич вскоре узнал, какой нелепый слух разошелся о нем по деревне. «Вот гнилая коряга! — обругал он Зубачиху. — И дернул меня черт позвать ее! Теперь попрут все горевать надо мной да прощаться, а на кой дьявол мне такая комедия?» Он даже стал нервничать, поджидая обманутых бабкой посетителей.

Но Ерофей Кузьмич ошибся: никто к нему не шел. Он напрасно ждал день, другой, третий... Ему уже захотелось, чтобы кто-нибудь из сельчан пришел проведать его и ободрить словом.

Но никто не шел.

Ерофей Кузьмич понял: разнесись в другое время слух о его болезни и близкой смерти, наверняка бы в его доме было полно людей. А теперь Ерофей Кузьмич с горечью подумал о том, что народ отвернулся от него, что все сельчане относятся к нему недоверчиво и

даже враждебно. «Они ведь не знают, что меня силком на эту проклятую должность поставили, — горевал Ерофей Кузьмич. — И не знают, что я загодя сказал Лукерье о налоге... Им одно понятно: немецкий староста — вот и все! Небось какие даже молятся, чтоб я окошел скорее! Тьфу, пропади ты пропадом, эта растреклятая жизнь! Неужели даже дед Силантий не зайдет? Ведь бывало же наведывал! Нет, и этот не зайдет!» Ерофею Кузьмичу стало обидно и больно. И тут он подумал и ужаснулся своей мысли: а вдруг и в самом деле он отчего-нибудь умрет внезапно (бывают же такие случаи со здоровыми на вид людьми!), умрет, окруженный незаслуженной ненавистью народа? Теперь Ерофею Кузьмичу стало страшно. Нет, нет, так нельзя умереть!

В минуты тяжкого раздумья лицо Ерофея Кузьмича, с помятой, давно не чесанной бородой, принимало страдальческое выражение, какого Алевтина Васильевна не замечала у него никогда прежде, даже в самые трудные годы их совместной жизни. Это выражение, совершенно необычное для Ерофея Кузьмича и даже несвойственное его натуре, очень пугало Алевтину Васильевну. Она тревожно подходила к постели мужа.

— Тебе плохо, Кузьмич?

— Плохо... — искренне отвечал Ерофей Кузьмич.

— А что же... где болит?

— Вот тут, — он трогал грудь. — Вся душа.

О том, что происходит в деревне, Ерофей Кузьмич в первое время узнавал только от Лозневого и Чернявкина. Но старик быстро понял, что полицаи многое от него утаивают, о многом рассказывают неверно, и перестал верить им. Он стал посылать за новостями Алевтину Васильевну, но та стыдилась ходить по деревне, а если когда и ходила к ближним соседям, то, возвращаясь, только плакала да плакала... Ерофей Кузьмич не мог терпеть слез и по этой причине оставил жену в покое. Осталось прибегнуть к помощи Васятки. Васятка очень охотно бродил по всей деревне (школа в эту зиму не работала) и всегда приносил очень много новостей. Но все они были такие, что Ерофей Кузьмич не знал, верить или нет парнишке.

— Чего ты брешешь? — говорил он зачастую после рассказов сына.

— Ничего не брешу, честное пионерское!

— Замолчи, балденыш! Что ты болтаешь! Ты говори толком, чего у Васильевых-то забрали?

— А все, — отвечал Васятка.

— Как это все?

— А так, все и забрали... Я сам видел. Всю рожь из амбарушки, весь горох... Два гуся зарезанных висели — и тех взяли.

— А у Анны Мохинной?

— У тетки Анны тоже все... — рассказывал Васятка. — Даже в подпол лазили, а у нее там в горшке сметана, и сметану взяли и тут же слопали, честное... честное слово! А тетку Анну как саданет один кулачищем в грудь, так она пластом на пол! Мы ее с Фенькой-то, с девчонкой ихней, водой отмачивали!

— Ну, хватит! — сурово говорил Ерофей Кузьмич. — Иди! Тут не переслушаешь твоей болтовни.

— Все истинная правда!

Но через некоторое время, особенно если из дому выходила жена, Ерофей Кузьмич вновь подзывал сынишку. Стараясь быть ласковым, переспрашивал:

— Так ты, что же... значит, ты сам видел?

— Своими глазами!

— И нисколько не приврал?

— Нисколько!

— Да-а... — заключал Ерофей Кузьмич. — Ну, иди, хватит!

После таких разговоров Ерофей Кузьмич обычно подолгу лежал молча, недвижимо, на секунды прикрывая усталые серые глаза, и Васятка, забывая в это время о всех своих обидах на отца, всячески старался создать ему покой.

За дни «болезни» Ерофей Кузьмич многое передумал о войне и своей жизни.

Представления Ерофея Кузьмича о войне были сначала весьма просты. Он думал так: отступят наши, следом за ними пройдут немцы, и судьба войны будет решаться где-то далеко, скажем, в Москве, а то и за Москвой. Но только не в какой-то деревушке Ольховке, заброшенной среди ржевских болотистых лесов. Что тут делать немцам? Ерофей Кузьмич был уверен, что он проживет непогожее время в стороне от всех событий.

Эта мысль не была случайной у Ерофея Кузьмича. У него крепче, чем у других сельчан, особенно молодых, сохранилась привычка жить за своим забором, как в крепости. И он решил, что такое опасное, темное время лучше прожить по старинке, в одиночку: уйти ото всех, скрыться, залечь, как крот... «Хорошо песни петь

вместе, а разговаривать врозь, — рассуждал он. — Так и жить теперь надо». Отчитав вокруг двора заговор, повесив над входной дверью мешочек с петровым крестом, Ерофей Кузьмич твердо уверовал: он проживет войну тихо, мирно, в стороне от всех событий.

Но война, как назло, пошла прямо через его двор, будто у нее не было никаких иных путей. Она захватила с собой сына и, как он думал, погубила его; она привела на двор чужих людей, которые причинили так много хлопот. Наконец и его, Ерофея Кузьмича, война безжалостно потянула в свой кровавый омут...

Одно время Ерофей Кузьмич думал, что это только ему не повезло да еще немногим в деревне — Осипу Михайловичу и Яше Кудрявому, принявшим смерть от вражеских рук, Ульяне Шутяевой, потерявшей дочь, Степану Бояркину, которому пришлось бросить семью и бежать в чужие, далекие края... Но теперь он понимал: война ворвалась в каждый дом в Ольховке, как вихрь! Раньше он думал, что немцы не будут трогать мирный люд. Нет, трогают, да еще как! Так вот и не удалось прожить это непогожее время кротиной жизнью!

Ерофей Кузьмич страдал от одиночества. Ему хотелось быть среди людей, жить с ними одними делами и неизбежными теперь горестями. И он, плюнув на все, поднялся с постели. К тому же ему так осточертело лежать без нужды с припарками и пить снадобья!

За время долгого лежания в доме, без свежего воздуха да от бесконечных тягостных раздумий, Ерофей Кузьмич и в самом деле похудел и состарился. Он скучал без дела и людей, его тянуло в деревню.

— Весь глиной в доме провонял! — пожаловался он жене. — На вольный воздух выйти надо.

— Что ты, Кузьмич! — испуганно воскликнула Алевтина Васильевна. — Да разве можно? То лежал с припарками, а то сразу же на воздух. Тебя же сейчас охватит холодом, и того пуще сляжешь! Тебя же не вылечить так!

— Конечно, где тебе вылечить! — с издевкой сказал Ерофей Кузьмич. Тоже мне, нашлась докторша! Ты даже болезнь мою не можешь определить! Носится тут с припарками! Тут и так жизнь припарила, а она... Чего ты смотришь на меня так? Чего я тебе сказал такого?

В этот же день, когда Ерофей Кузьмич, дымя сигаркой, сидел за столом и обдумывал, как он должен жить среди людей, со двора

вошла с пустым ведром Алевтина Васильевна и, прикрыв дверь, тихонько заплакала.

— Что случилось? — сразу раздражаясь, спросил Ерофей Кузьмич.

— И к нам пришли, — ответила жена.

Не одеваясь в теплое, без шапки, Ерофей Кузьмич вышел на крыльцо. У крыльца стоял комендант Квейс, — вероятно, собирался зайти в дом.

— А-а, старост! — весело сказал комендант. — Старост болен?

— Все хвораю, — ответил Ерофей Кузьмич, быстрым взглядом окидывая двор.

— Старост гут! — похвалил его Квейс. — Старост знает порядок. Надо помогать германска армия. Германска армия скоро будет Москау. О, это большой город!

В этот момент из ворот сарая вышел немецкий солдат; он вел серого коня, того самого, что Ерофей Кузьмич поймал в лесу после отступления наших войск. Следом два солдата выгнали корову. В хлевушке завизжала свинья, и тут же раздался пистолетный выстрел...

У Ерофея Кузьмича помутилось в глазах. Он хотел было рвануться с крыльца, что-то закричать, но не было ни сил, ни голоса, — разом ослабело все тело, и он едва удержался за косяк двери.

— О, старост болен! — сказал Квейс. — Старост надо быть дома.

Комендант поднялся на крыльцо.

— Дома! Дома!

— Я пойду, — ответил Ерофей Кузьмич и, шатаясь, ушел в дом.

Весь день, отказываясь от еды, от припарок и снадобий, Ерофей Кузьмич молча лежал в постели. О чем он думал, трудно было понять, а то, что он думал, думал напряженно, взволнованно, видно было и по выражению его посеревшего лица, и по выражению затуманенного взгляда.

Но утром он встал и вышел из дому. Долго стоял на крыльце, задумчиво осматривая двор и хмурые дали востока. Потом заглянул в пустой амбар, пустой хлев, пустой сарай... Никогда не было такого опустения на его дворе! Даже собаки нет, а уж собака-то у него была всегда! Несколько раз он останавливался, отдыхал, хватался за

сердце...

Возвращаясь в дом, Ерофей Кузьмич едва поднялся на крыльцо. Но здесь он вдруг выпрямился, еще раз осмотрел свой двор и внезапно горячо и зло заспорил с гитлеровцами: «Вот и хорошо! Вот и хорошо, что все забрали! Я теперь со всеми вровень, понимаете вы это? Ничего вы не понимаете! А я понимаю, что это такое, и мне ничего не жалко!» На лбу Ерофея Кузьмича выступила испарина. Случайно заметив над дверью мешочек с петровым крестом, Ерофей Кузьмич яростно сорвал его с гвоздя и забросил в дальний угол двора.

С этого дня Ерофей Кузьмич неожиданно стал ласков с женой и Васяткой. Он не шумел на них, как прежде, не придирался к ним по пустякам, не вмешивался в их дела. Он чаще всего сидел у стола, дымил сигаркой, мирно следил за всем, что происходило в доме, и о чем-то все думал и думал, — и жалко было видеть его стареющим на глазах от своих дум...

Алевтина Васильевна кручинилась:

— Кузьмич, да что с тобой, а?

— А что? Все ничего, мать, ничего...

— Уж больно ты чудной стал, совсем не такой, каким был.

— Все, мать, бывают такие, а потом не такие.

V

В этот вечер Ерофей Кузьмич долго беседовал с Лозневым. Сегодня Лозневой ездил в Болотное, куда зачем-то вызывала его волостная комендатура. Вернулся он усталым, задумчивым и сразу же после ужина хотел отправиться на ночлег. Но хозяин, всегда скуповатый на слово, сегодня разговаривал весьма охотно, и это невольно задержало Лозневого на кухне.

С того самого дня, когда Лозневой появился в доме в чужой одежде, Ерофей Кузьмич стал относиться к нему презрительно. Это презрение росло все больше и больше. Когда же Лозневой стал полицаем и вместе с гитлеровцами занялся ограблением деревни, Ерофей Кузьмич в глубине души возненавидел предателя. Лозневой весьма усердно помогал вести хозяйство. Но и это не смирало ненависть хозяина. Ерофей Кузьмич понимал, что Лозневному не место в его доме. Если бы Ерофей Кузьмич: знал, что Лозневой обманул, сообщив о смерти Андрея, он не потерпел бы его в доме ни

одной секунды! Но Марийка ушла, ничего не сказав о своем разговоре с Лозневым в сарае. Только это и спасло Лозневого от изгнания из лопуховского дома. И еще одно: Лозневой знал, где спрятан хлеб. Стоило ему сказать немцам несколько слов — и Ерофей Кузьмич мог остаться без единого зерна. Это обстоятельство сдерживало Ерофея Кузьмича. Он побаивался открыто выражать свою враждебность к полицаям. Война затягивалась, жизнь становилась все трудней и опасней, а Лозневой все больше и крепче связывался с гитлеровцами. Зачем рисковать? Он, Лозневой, мог теперь отплатить за ненависть и презрение.

...Разговор шел о войне.

— Значит, нахвастались немцы, что закончат войну до зимы? — спросил Ерофей Кузьмич.

— Они не хвастались.

— Как не хвастались? Я сам слышал!

— Предполагали, конечно, — сказал Лозневой. — Война — дело хитрое, Ерофей Кузьмич! Нельзя все учесть заранее. Но такого стремительного продвижения огромных армий по чужой территории, какое провели немцы у нас, не было в истории войн. Значит, у них огромные силы. Да мы видели это сами. Где устоять нам против такой силы? Вся Европа покорилась ей, а Европа — это... Европа! Я думаю, сейчас немецкая армия готовится к последнему прыжку на Москву, и тогда — все!

— А я думаю так: не пришлось бы ей теперь туго, а? — возразил Ерофей Кузьмич. — Армия-то, понятно, сильна, нет спору... Небось перед слабой наши не стали бы отступать, что там и говорить! А все же до Москвы дойти у них ведь не хватило духу! Даже по сухой дороге. А как они пойдут по снегам? Ты знаешь, у нас иной раз так навалит, особо в лесах, что по брюхо коню. Как тут пойдешь на машине? А ударят морозы? Ударят такие, как в прошлом году, — деревья вымерзают. А ведь ты знаешь, какие у них шинели? Это ты в счет берешь?

С первых же дней жизни в Ольховке Лозневой убедил себя в том, что хорошо понимает Ерофея Кузьмича. Отказ старика эвакуироваться Лозневой счел лучшим доказательством того, что он не верит в победу Советского государства. Стремление Ерофея Кузьмича после отступления Красной Армии запасть зерном и натаскать в дом разного добра Лозневой расценил не просто как желание человека, у которого еще сильны чувства собственника,

обеспечить себя на время войны, но и как самый верный признак того, что хозяин готовится к возвращению привычных, старых порядков. А когда наконец Ерофей Кузьмич стал старостой, Лозневой решил, что хозяин не только во власти могучих чувств собственника, которые тянут его к прошлому, но и ярый противник советской власти, хотя об этом и не говорил никогда.

Теперь же Лозневой почувствовал, что рассуждения Ерофея Кузьмича противоречат его впечатлениям. Прежде Ерофей Кузьмич почему-то всегда избегал разговоров о войне. Почему же он сейчас заговорил о ней сам и без всякого повода? И заговорил так странно: в его рассуждениях ясно чувствуется сомнение о дальнейших успехах немецкой армии. «Обиделся, заключил Лозневой. — И зачем им нужно было обижать старика? Не могли обойтись без его коровы! Балбесы, честное слово!»

Ерофей Кузьмич все говорил и говорил о том, что теперь у немецкой армии будут особенно большие трудности: надо воевать не только с нашей армией, но и с нашей зимой. Он не утверждал, что немецкая армия не преодолеет этих трудностей, но давал понять, что преодолеть их ей будет нелегко...

Слушая хозяина, Лозневой мрачнел с каждой минутой.

Теперь он был совсем не тот, каким его видели на лопуховском дворе до назначения полицаем. Где-то в кладовке валялась вся одежда, какую он носил в те дни: потертый армячишко, облезлая шапчонка, залатанные штаны... Теперь он был в новой немецкой солдатской форме, только без погон, с белой повязкой на левом рукаве, на которой чернела крупная буква «Р» — немецкая начальная буква названия его презренной должности. Не носил он и жидкой ржаво-пепельной бородки. Он был чисто выбрит, а отросшие, хотя еще и короткие, волосы на голове старательно зачесаны в косой ряд. И держался Лозневой теперь совсем не так, как прежде. Зная, что опасность миновала, не нуждаясь больше в покровительстве Ерофея Кузьмича, он перестал относиться к нему заискивающе и угодливо. Он держался с хозяином вполне самостоятельно и уверенно, хотя и не позволял себе вспоминать его обиды, время было такое, что нельзя было лишаться даже плохих друзей. На стороне же, как было известно Ерофею Кузьмичу, Лозневой проявлял не только грубость, но и жестокость, и его уже боялись в деревне.

Слушая хозяина, Лозневой криво улыбался левой щекой. Глаза его блестели, как свежие железные осколки. Теперь, когда он

был в немецкой форме змеиного цвета, по-новому освещавшей его сухое, птичье лицо, осколочный блеск его глаз был особенно резок и холоден.

— Да, нелегко, пожалуй, будет немцам на фронте, — заключил Ерофей Кузьмич, выложив все свои соображения о трудностях передвижения машин в морозы и метели, о необеспеченности немецкой армии теплым обмундированием, о том, что наши красноармейцы гораздо привычнее к зиме, чем немцы. — Да и тут, в тылу, пожалуй, не лучше будет, — продолжал он затем. — Мое дело стариковское: поел — да на печь. А с печи много ли видно? Конечно, где мне все знать! Может, я по старости ума, как тот старый кобель: лишь бы побрехать. Вот поднялся на ноги — и разговорился. Две недели, считай, молчком лежал... Ну вот я и говорю: как тут, в тылу, будет, а?

— А что тут? — хмуро спросил Лозневой.

— Э-э, Михайлыч, не знаешь ты народ! — сказал Ерофей Кузьмич. — Опять же мое дело — сторона. А только я тебе скажу: я этот народ знаю. Не терпит он обид никогда! Русский, он терпелив до зачина. Он всегда задора ждет. Это известно со старых времен. А если что... он ни с мечом, ни с калачом не шутит, русский-то народ! Вот я и толкую: как думаешь, не будет ли чего? Послыхать, будто кое-где эти... партизаны объявились, а? Ты слыхал?

— Да что он сделает, твой народ? — вдруг, раздражаясь, сказал Лозневой. — Что он сделает голыми-то руками? Вон какая армия ничего не сделала! Германия захватила всю Европу, все ее фабрики и заводы... Вся Европа теперь двинута против нас! Германия наступила на нас, как сапогом на муравейник! Муравьев много, но что они могут сделать?

— Хо, еще что могут! — возразил Ерофей Кузьмич; он поудобнее расставил локти на столе и, приблизясь к Лозневому, продолжал: — Вот тебе случай. Из моей жизни, истинное слово. Однажды мы поймали змею, бросили на муравейник и прижали рогатиной. — Двумя раздвинутыми пальцами он ткнул в стол. — Одним словом, попала змея, что ни туда и ни сюда, ни взад ни вперед! На другое утро приходим, смотрим: нет змеи, один хребетик!

— Так это вы зажали ее, — сказал Лозневой.

— А немецкую армию не зажали?

— Что ж ты теперь хочешь?

— Я ничего не хочу, упаси меня бог! — ответил Ерофей

Кузьмич. — Я только об народе говорю. А народ...

За стеной послышался хруст снега, затем что-то ударилось о бревна и донеслись стоны. Откинувшись в разные стороны от окна, Ерофей Кузьмич и Лозневой несколько секунд ждали настороженно и тревожно.

— Это кто? — крикнул с печи Васятка.

За стеной вновь послышался человеческий стон. Алевтина Васильевна замахала мужу от печи рукой, давая знак, чтобы тот потушил огонь, — совсем забыла, что окна занавешены дерюгами.

— погоди! — отмахнулся от нее Ерофей Кузьмич и обернулся к Лозневому. — Человек ведь, а? Пойдем, надо же посмотреть!

Ночь стояла пасмурная, без звезд и лунного света. Опять легко вьюжило. Во тьме не видно и не слышно было деревни, точно ее никогда и не существовало на ольховском взгорье, и странным было это впечатление мертвого пространства в том месте, где жили сотни людей.

— Глухо как! — шепнул Лозневой, боязливо выглядывая из ворот с автоматом в руках. — Будто вымерла деревня...

— Деревня никогда не вымрет, — сказал Ерофей Кузьмич, и Лозневому показалось, что это его замечание есть продолжение его недосказанной мысли о народе.

Под окнами кухни они нашли Ефима Чернявкина. Он корчился в сугробе, то свертываясь в комок, то судорожно, со стоном разбрасывая руки и ноги.

Кое-как его втащили в дом.

Через несколько минут Ефим Чернявкин умер у порога, как умирает бездомная, никому не нужная собака...

Перепуганные Алевтина Васильевна и Васятка не выглядывали из горницы. Ерофей Кузьмич и Лозневой сидели на корточках около Чернявкина, рассматривая в полутьме искаженное смертью лицо.

— Опился все же, — сказал наконец Лозневой.

— Нет, не опился, — возразил Ерофей Кузьмич, поднимаясь. — Отравили.

— Отравили?

— Или не видишь?

Лозневой осторожно отошел от Чернявкина.

— Вот тебе и наш спор, — сказал Ерофей Кузьмич.

— Какой спор?

— А насчет голых-то рук, забыл?

— Надо доложить, — мрачно сказал Лозневой.

— Коменданту? Да ты что, очумел? — Ерофей Кузьмич метнул на Лозневого недобрый взгляд. — Не наделай беды, смотри! Еще подумает, что мы его по какой-нибудь злобе отравили. У нас же в доме случилось это! Скажем, опился — вот и все. Всем известно, как он пил.

— Зачем же он подумает, что мы отравили?

— А дьявол его знает, что у него в голове! Ему растолковать к тому же трудно. Не поймет да еще привяжется. А тут просто: опился — и все.

Лозневой сел, задумался, прикрыл ладонью глаза.

— Дойди-ка лучше до Ефимовой жены, — посоветовал Ерофей Кузьмич. Дай знать. Что-то надо же делать! Что он тут будет лежать? Пока теплый, надо бы обрядить — человек ведь! Что ж, раз уж такое дело... Да-а, вот тебе и голые руки! Вот тебе будто вымерла деревня! Фу ты, вроде бы мороз по коже!

Лозневой вспомнил, какая стоит сейчас над землей темная, глухая ночь, и ему стало страшно идти в безлюдное и мертвое пространство, где, по старым приметам, должна находиться деревня, но где теперь только выюжит метелица, заметая последние в жизни следы Чернявкина... Но как не идти? Лозневой стал собираться в путь с чувством тягости на душе и почему-то внезапно поднявшегося озлобления против Ерофея Кузьмича, — все сегодняшние мысли старика о войне действовали теперь на него, как эта темная и выюжная ночь.

Ерофей Кузьмич тем временем стоял над Чернявкиным и, будто только сейчас вспомнив, как полагается вести себя в таком случае, сокрушенно хлопал тяжелыми ладонями по бедрам.

— Ведь вот беда, а? Вот беда! — горевал он над умершим, и казалось, что горюет он искренне. — Жил, ходил, выпивал и вот — на тебе! В один момент!

— А тебе и жалко его? — ядовито спросил Лозневой.

— Понятно, жалко, — словно не замечая язвительности и озлобленности Лозневого, просто ответил Ерофей Кузьмич. — Шуточное дело! Где теперь найдешь такого полицая? Кто пойдет на такую должность? А с меня спрос. Заставят самого бегать!

— Вон что! Пожалел, значит?

Схватив автомат, Лозневой быстро двинулся к двери. Он намеревался обойти Чернявкина справа или слева, но тот лежал у самого порога. Надо было оттащить Чернявкина от порога или шагнуть через него. Оттаскивать неприятно, шагнуть — тоже: у мертвеца еще не остыло тело. А надо спешить. Подумав, Лозневой перешагнул через мертвеца, открыл дверь, и Ерофей Кузьмич, наблюдавший за этой сценой, зябко подернул плечами...

VI

Ночью комендант Квейс по срочному вызову уехал в Болотное. Вернулся он в Ольховку рано утром. От волостного коменданта Гобельмана Квейс получил важный и строгий приказ: немедленно начать сбор для армии теплых зимних вещей.

Этот приказ весьма беспокоил Квейса.

Он знал, что выполнить приказ будет трудно. Во всех деревнях вокруг Ольховки — Квейс чувствовал это отлично — быстро росло противодействие населения всем мероприятиям германских властей. Во многих местах за последнее время было отмечено появление партизан. Совсем недавно недалеко от Болотного подорвалась на mine (конечно, партизанской) грузовая машина с группой солдат, выезжавших в соседнюю деревню. На ближайшей станции Журавлихе — партизаны сожгли продовольственный склад, а недалеко от нее обстреляли из пулеметов воинский поезд. На большаке они убили трех солдат-мотоциклистов из штаба одной тыловой части и захватили важные документы. Не щадили партизаны и местных жителей, помогавших гитлеровцам: только за последние две недели убили семь полицаев и трех старост. Словом, все говорило за то, что и в здешнем крае, как и в ранее захваченных западных районах России, начиналась малая, но опасная и беспощадная война.

Было отчего беспокоиться Квейсу.

Не успел он обогреться с дороги, как явился Лозневой. Он доложил о внезапной смерти Чернявкина.

— О, русский шнапс, да? — переспросил Квейс.

— Да, сам делал, сам пил, — пояснил Лозневой, стараясь подбирать слова попроще, чтобы Квейс понял все, как надо, и не произошло никаких недоразумений.

Квейс сам уже не раз страдал от самогона. Совсем недавно был случай, когда он, выпив лишнего, всерьез думал, что отдаст богу

душу: так измучила рвота! Несколько раз уже Квейс давал себе зарок не пить русский самодельный шнапс, но вин, посылаемых из хозяйственной роты, не хватало, а тут, как назло, всегда было скверное настроение: то из-за плохих вестей из дому и с фронта, то потому, что работа становилась не менее опасной, чем на передовой линии. Волей-неволей приходилось нарушать зарок и обращаться к полицаям с просьбой доставить русский самогон. Но какой он страшный этот русский шнапс! Да, это жидкий и смертный огонь! Зная это, Квейс сразу же, без всяких колебаний, поверил, что Ефим Чернявкин погиб от самогона: комендант хорошо знал, что полицай любил выпить. Из всего этого несчастного дела Квейса заинтересовало только одно обстоятельство: сколько же выпил Чернявкин, что не выдержал и умер?

— Сколько выпил? — Лозневой замаялся, обдумывая ответ. — Больше литра. Немного больше, — ответил он, стараясь выдержать пристальный взгляд коменданта.

— О, немного больше, — застонал Квейс. — О-о!

Ответ полицая окончательно нарушил душевное равновесие Квейса. Недавно, получив известие о том, что его брат и лучший друг погибли под Ленинградом, комендант Квейс сразу выпил полный литр самогона. Значит, выпей он еще немного — и его уже не было бы на этом свете! Расстроившись, Квейс совсем забыл о Чернявкине и предался неприятным воспоминаниям о недавней опасной выпивке.

— Ах, плёхо, плёхо. Я хотел погибал!

Мысль о том, что он только случайно не погиб, очень разволновала Квейса. Несколько минут он ходил по комнате, тучный, багровый от вина, и тревожно поглядывал на стол, где в окружении консервных банок возвышалась темная бутылка с яркой этикеткой.

— Ах, плёхо, плёхо! — повторял он без конца. — Этот самогон! Фу!

Неожиданно Лозневому показалось очень обидным, что коменданта нисколько не тронула смерть Чернявкина. Он не нашел даже ни одного слова жалости, хотя такие слова легко находятся над каждым гробом. А ведь ему стоило бы пожалеть Чернявкина: он был предан и верен своей службе. Нет, судя по всему, Квейс не очень-то ценит их усердие...

Лозневой нахмурился, чего не позволял себе раньше в присутствии коменданта. От обиды у него даже задрожали бледные губы.

— Надо не... как говорит? Не надо!... — Квейс показал, как текут по щекам слезы, думая, что Лозневой готов заплакать от жалости к Чернявкину. — Вы ест солдат. Не надо! Надо работа! Много работа!

Коверкая русские слова, Квейс разъяснил Лозневому, что вместо Чернявкина надо как можно скорее найти нового полицая, а пока Лозневой должен работать за двоих — так требуют интересы германского государства. Затем Квейс объявил, что сегодня же, после похорон Чернявкина, Лозневой совместно с немецкими солдатами должен начать сбор теплых вещей для немецкой армии. Все вещи, найденные у населения, должны быть изъяты безоговорочно, — этого также требуют интересы германского государства.

— Зима! Русский зима! — Словно оправдываясь за свое государство, Квейс поморщил заплывшее лицо и потрянул петушиным гребешком волос на круглой голове. — Мороз! Зима!

Затем он попытался пояснить, какие именно теплые вещи необходимы для германской армии. Не зная русских названий этих вещей, он стал хвататься за все, что носил на себе Лозневой.

— Это... Кто это?

— Шуба.

— Надо, надо! Это?

— Валенки.

— Фалинк... Это надо, надо! Это?

— Варешки.

— Все это! — пояснил Квейс, делая руками такое движение вокруг Лозневого, словно разом снимая с него все одежды. — Весь дом, весь дерефня! А это... не надо это! — Он показал на глаза. — Плакать слезы фу! Надо работа, работа! Много работа! Скоро германска армия будет Москау! О, это большой город!

Из комендатуры Лозневой ушел расстроенным и обиженным.

Лозневой думал, что если гитлеровцы хотят создать новое русское государство по образу и подобию фашистской Германии, то они должны быть заинтересованы в самых добрых отношениях с теми русскими, которые желают оказать им помощь в этом деле. Между тем даже небольшой опыт службы показал, что гитлеровцы не очень-то заботятся об этом. В чужой стране они держатся самоуверенно и нагло, как хозяева. Лозневой объяснял это тем, что еще не закончена война и законы ее требуют от армии, ведущей наступление, быть суровой и беспощадной, а от военных — всем

своим видом, всеми своими поступками доказывать силу и величие своей армии. Но все же Лозневого обижало, что гитлеровцы так наглы, грубы и невнимательны. Вот умер человек, усердно сотрудничавший с ними, а представитель немецкой власти даже не нашел ни одного слова сочувствия и жалости. «Просто дико! рассуждал Лозневой. — Умер человек, а он и бровью не повел! Подлец, только и всего!»

Кладбище находилось в трех километрах на юг от Ольховки, у одиноко стоявшей церкви. Дорогу на кладбище замело, и поэтому решено было хоронить Чернявкина за северной околицей деревни. Здесь недавно был похоронен Осип Михайлович, преданный Чернявкиным, а теперь недалеко от него должен был лежать и сам Чернявкин...

От деревни к новому погосту тянулась свежая стежка: это прошел старик Гурьян Леонтьевич Мещеряков, хворавший всю осень и недавно поднявшийся на ноги, и с ним два подростка. Они пошли рыть могилу для Чернявкина. «Эти тоже подлецы! — подумал Лозневой, выходя за деревню. — Зайду и потороплю... Припугну подлецов! Саботируют, ничего не заставишь сделать!»

За огородами, по склону взгорья, чернел густой заснеженный кустарник. Стая хохлатых северных красавцев свиристелей жадно ощипывала с кустов шиповника мерзлые ягоды. За кустарником виднелась полоса болотистой низины с занесенной снегом гладью озера, а за ним еловое урочище, совсем черное при слабом свете пасмурного зимнего дня. Лозневой невольно вспомнил о Косте, вздрогнул и остановился. Пытаясь избавиться от этого воспоминания, Лозневой два раза хлопнул в ладоши: хотел согнать с куста свиристелей. Но гости севера, поглядев на Лозневого, вновь принялись обшаривать кусты шиповника. «Не боятся», — подумал Лозневой и пошел дальше.

Выйдя на полянку среди кустарника, Лозневой удивился: старик Мещеряков и подростки сидели на высоком бугре глинистой земли и курили, а их ломы и лопаты торчали рядом. Могила была уже готова! Осмотрев ее, Лозневой злобно взглянул на старика и подростков:

— У-у, подлецы!

Он пошел было обратно, но тут же остановился и сказал, глядя себе под ноги:

— Пойдете помогать!

— Помогать, да? — переспросил старик Мещеряков и поднялся. — Это можно. Только ты чудной человек, право слово! Как же на тебя угодить, скажи на милость? То заставлял рыть скорее, а постарались, вырыли ругаешься... Это вместо спасибо-то?

— Я все понимаю! — крикнул Лозневой. — Насквозь я вас вижу, подлецов! Здесь вы рады стараться!

Лозневой побаивался идти в дом Чернявкина. Ночью, узнав о внезапной смерти мужа, Анна Чернявкина, женщина лет тридцати, рыжеватая, с завитушками у висков и зелеными глазами на курносом игривом лице, так заголосила, что тошно было слушать. Она кричала почти всю ночь. Только утром, когда Ефима уложили в гроб, она вдруг перестала выть и реветь, будто ее то и волновало, что он лежал не в гробу, а на лавке. Но Лозневой думал, что сейчас, когда надо прощаться с мужем навсегда, Анна опять заголосит на всю деревню.

Лозневой ошибся: Анна не плакала. Она сидела одна на кухне, кутаясь в шубу; дверь в горницу, где стоял гроб, была плотно закрыта. Анна испуганно взглянула на Лозневого, когда он переступил порог, и сказала шепотом:

— Мне страшно.

— Почему тебе страшно?

— Его же отравили, я вижу, — ответила Анна. — Он почернел весь. И меня... Если не отравят, то убьют!

— Глупости, — хмурясь, сказал Лозневой.

— Нет, это не глупости...

Никто не пришел провожать Ефима Чернявкина. Дед Мещеряков и подростки с помощью Лозневого кое-как вытащили тяжелый гроб из дома и поставили на солому в сани. Маленькая похоронная процессия молча тронулась из деревни.

У околицы Анна Чернявкина все же тихонько заплакала, но не от горечи расставания с мужем, а оттого, что ей стало еще страшнее, когда она увидела малолюдную похоронную процессию. И раньше, бывало, колхозники не баловали их дружбой, но относились к ним по крайней мере просто и беззлобно. Когда же Ефим Чернявкин дезертировал из армии и стал полицаем, все в деревне, без исключения, возненавидели их лютой ненавистью. К ним заходил только Лозневой, да и то исключительно потому, что у него с Ефимом была одна служба, одни дела. Что же будет теперь, когда нет Ефима? Теперь даже Лозневому незачем заходить в их дом. Теперь Анна оставалась в полном и безысходном одиночестве. И Анна

плакала...

...Возвращаясь домой, Анна печально спросила Лозневого:
— Ко мне-то зайдете? Зайдите! Мне страшно.

Анна внезапно поняла: теперь, когда она покинута всеми, Лозневой остался для нее единственным близким человеком в деревне. Ей страшно было оставаться одной, без этого человека...

Но Лозневой не мог зайти: его ждали в комендатуре, чтобы начать сбор теплых вещей. Да и рад был Лозневой, что некогда было заходить: он боялся слез и жалоб Анны...

VII

Еще летом, сразу после начала войны, стало известно, что гитлеровцы занимаются грабежом на захваченных советских землях. Поэтому все колхозники в тех районах, куда врывались немецко-фашистские войска, прятали не только хлеб, но и лучшие вещи, а сами носили обветшалую, обтрепанную одежду. Девушки, к тому же, умышленно, чтобы иметь непривлекательный вид, ходили растрепанными, не умывались, мазались сажей, а иногда едкими травами даже вызывали нарывы на теле. Гитлеровцы заходили в деревни и, видя оборванный, грязный народ, брезгливо говорили:

— Какой Русь бедна! Бр-р!

Были случаи, когда такой колхозный люд, переодевшийся к приходу немцев в отрепья, со всех сторон снимали на киноленты расторопные немецкие операторы, а потом во всех кинотеатрах показывали картины «обнищания» колхозного крестьянства Советской страны.

Но ничто не спасало колхозников от грабежей. Не находя хороших вещей, гитлеровцы отбирали и плохие. Грабежи особенно усилились с наступлением зимы: немецкая армия, не обеспеченная теплым обмундированием, страдала от холодов. Правда, русская крестьянская одежда и разные теплые вещи, особенно потрепанные, не очень-то годились для обмундирования немецкого воинства, в то время еще кичившегося своей боевой славой. Но ничего не поделаешь — приходилось одевать немецких солдат в потертые бабьи шубы, подшитые валенки и шапки с отделкой из барашка и собачьего меха...

...Комендатура Квейса начала сбор Теплых вещей сразу в нескольких деревнях вокруг Ольховки. В самой Ольховке в помощь

Лозневному были оставлены три немецких солдата: двое — собирать вещи, третий — возить и охранять их в санях.

В этот день сбылись предсказания бабки Фаддеевны: началось потепление, обычное в начале зимы. Небо висело пасмурное и влажное, почти без солнечного света, и снег, тоже влажный, приосел и потерял всю прелесть своей белизны. Налетавший временами западный ветер нес над землей морось. Все в деревне — дома, надворные постройки, ограды, колодезные журавли, деревья — все, еще вчера сверкавшее от снега, посерело, потемнело, напиталось сыростью.

Сырая погода всегда знобила, угнетала и раздражала Лозневого. К тому же он отлично понимал, что предстоит нелегкое дело. Поэтому Лозневой приступал к выполнению приказа Квейса, внутренне проклиная все и всех на свете.

Сбор вещей, вопреки ожиданиям Лозневого, начался совершенно необычно. Только что Лозневой и гитлеровцы тронулись от комендатуры, навстречу им из переулка вышла молодая крупная широколицая женщина в пуховой шали, в черненой шубе. Гитлеровцы с двух сторон бросились к ней и стали хватать за рукава.

Женщина отшатнулась назад, закричала:

— А ну, к чертям собачьим, поганые морды! Ишь облапали! А то вот как дам по ноздрям! Отойди, а то!...

Но гитлеровцы опять бросились к ней.

— *Zieh den Pelz aus russisches Schwein!*¹⁰

— *Schneller! Schneller!*¹¹

Вырываясь из рук немецких солдат, женщина взглянула на Лозневого, который стоял поодаль, и крикнула:

— Да что они лезут? Кто я им такая?

— Они требуют шубу, — ответил Лозневой.

— Шубу? Да отойди, а то!... Зачем шубу?

— Требуют, вот и все! Для армии.

Улучив момент, пока женщина говорила с Лозневым, гитлеровцы разом заломили ей руки назад; она вскрикнула, изогнулась и упала на колени. Гитлеровцы тут же стащили с нее шубу и понесли к саням.

¹⁰ Снимай шубу, русская свинья!

¹¹ Быстрее! Быстрее!

Женщина поднялась, молча посмотрела на немецких солдат и Лозневого, затем, не поправляя растрепанных волос, повернулась и быстро пошла по улице в глубину деревни.

«Теперь всем расскажет», — подумал Лозневой.

Так и случилось. Пока гитлеровцы обшаривали первый дом, она прошла до другого конца деревни и всем встречным рассказала, что произошло с ней около комендатуры. За полчаса о новом фашистском разбое узнала вся деревня.

Всюду шумно заговорили:

— Ничего не давать, бабы, ничего!

— Прятать надо! Прятать или портить!

Пока фашисты грабили один край деревни, на другом ольховцы торопливо прятали теплые вещи, где только было можно: в подпольях и на подлавках, в сараях и на сеновалах, в сугробах снега и ометах соломы на огородах... Иные, не найдя надежных мест, портили вещи так, чтобы они не годились для армии, но могли быть использованы хозяевами, — разрезали вдоль или сильно укорачивали голенища валенок, распускали концы варежек, разрывали по швам шубы...

В первых домах Лозневой и гитлеровцы успели отобрать кое-что, но вскоре их поиски стали безрезультатными. Поняв, что население прячет вещи, они стали тщательно обшаривать не только дома, но и дворы, а на это требовалось много времени и сил. За час ругани и криков, слышанных в каждом доме, Лозневой измучился до предела. «Вот сволочи! — ругал он гитлеровцев про себя. — И на какого черта сдались им эти бабьи шубы и валенки? Срамиться? Какая это армия в бабьих шубах? Тьфу, будь вы трижды прокляты! Вот выдумали!»

Особенно сильную нервозность стал проявлять Лозневой, когда оказался недалеко от дома Логовых. После той ночи, когда Марийка внезапно ушла от Лопуховых, он избегал встречаться с ней, хотя и очень хотелось. Избегать встреч с Марийкой было не трудно: если требовалось, Лозневой всегда направлял в дом Макарихи Ефима Чернявкина, а сам никогда не появлялся даже поблизости. Марийка же почти не выходила из дому. Но теперь, когда не было Чернявкина, Лозневому волей-неволей приходилось самому идти в дом Макарихи. Теперь встреча с Марийкой была неизбежна.

Но какая это встреча?

Не о такой встрече мечтал Лозневой! Втайне у него все еще

теплилась надежда, что Марийка, хотя и догадалась об его лжи, но как-нибудь простит его, — известно ведь, как отходчиво женское сердце. Он думал, что если бы произошла встреча наедине и при благоприятных обстоятельствах, ему удалось бы добиться примирения. Но о каком примирении можно думать сейчас, когда он приведет в дом оккупантов, чтобы отобрать теплые вещи у ее семьи?

Лозневой стал искать способ, как ему избежать посещения дома Макарихи. «Притворюсь больным, — подумал Лозневой. — Да тут и притворяться-то нечего: всю голову разломило за этот день!...» Но немецкие солдаты знали только отдельные русские слова, и поэтому с ними приходилось объясняться очень осторожно: могут подумать, что он вообще уклоняется от выполнения приказа коменданта, а это грозит большой неприятностью.

Морщась, Лозневой потер ладонью лоб, покачал головой, сказал:

— Болит! Ох, болит! — и для пущей ясности покрутил пальцем у виска.

Но немцы засмеялись и, щелкая по горлу, загоготали:

— Рус много пил!

— Шернявк помирал! Ты помирал!

Лозневой отвернулся, выругался вслух:

— Тьфу, сволочи!

Близ двора Макарихи Лозневой остановился у саней, перетряхнул кое-что из одежды.

— Хватит! — Он указал на то место в небе, где было побольше солнечного света. — Обедать, кушать надо!

Но гитлеровцы, видимо, получили строгий приказ от коменданта и категорически запротестовали:

— Найд! Найд!

Оставалось одно: идти в дом Логовых.

У самых ворот логовского двора Лозневой пошел на хитрость, которая, по его мнению, могла хоть немного облегчить его трудное положение. Он кое-как растолковал солдатам, что для ускорения дела они должны осмотреть дворовые постройки, а он тем временем осмотрит дом. Солдаты охотно согласились, тем более, что по опыту они уже знали: вещи чаще всего находились не в домах, а на дворе. Оживленно разговаривая, они пересекли логовский двор и вошли в сарай.

Лозневой пошел в дом.

В доме Логовых уже поджидали Лозневого, и, как бывает в таких случаях, пытаясь скрыть волнение, все занимались мелкими, ненужными делами: Анфиса Марковна гремела посудой, Марийка подметала пол, хотя его подмели недавно, Фая распутывала какие-то нитки...

Узнав, что Лозневой пошел с гитлеровцами отбирать теплые вещи, и понимая, что теперь ему не миновать их дома, Марийка сказала матери и сестре:

— Вы не мешайте, я сама поговорю с этой змеей!

— Загорячишься, только и всего, — сказала мать.

— Не буду я горячиться!

Марийка ожидала Лозневого в большом возбуждении. Лицо ее горело сильным румянцем, в глубине черных глаз все сильнее и сильнее разгорался дрожащий блеск, как отражение звезд в ночном пруду. Это были знакомые родным признаки наивысшего проявления ее озлобленности.

...Перешагнув порог, Лозневой первой из всех в доме увидел Марийку. И — удивительное дело — он понял, что у него все еще прочно держится впечатление от первой встречи с ней. Он опять подумал: где-то и когда-то он видел ее, видел задолго до того, как оказался в Ольховке. Но где? Когда? Эта мысль опять пришла, вероятно потому, что Марийка на первый взгляд показалась такой же, какой он впервые увидел ее на лопуховском дворе. Но уже в следующую секунду Лозневой заметил, что у Марийки совсем не так, как тогда, блестят ее прекрасные черные глаза... Она стояла, держа в опущенной руке веник, и с явным чувством превосходства, наслаждаясь своим безмерным презрением, которое сквозило в каждой черточке ее лица, смотрела на Лозневого. У нее раза два безглаголиво подернулись пылающие губы, а затем она спросила:

— Ну что, грабить пришел?

Лозневой понял, что о примирении не может быть и речи — не только сейчас, но и никогда... Он спросил:

— Зачем вы... говорите так?

— А что, не нравится? Грабители, оказывается, любят, чтобы как-нибудь иначе говорили об их ремесле? Зачем же пришел? Может, собирать добровольные пожертвования теплой одежды на немецкую армию?

— Ну, зачем крайности? — кисло морщась, возразил Лозневой. — Я вам обязан жизнью, я не забыл этого... У вас ничего

не возьмем. Я зашел просто поговорить.

Анфиса Марковна не вытерпела.

— Поговорить? — крикнула она. — Да что ты и сейчас-то врешь?

Лозневой обернулся к Макарихе:

— Вы напрасно оскорбляете меня!

— Напрасно? А зачем же тогда немцы на дворе шарят?

Марийка взглянула в окно и, увидев, что гитлеровцы лезут в хлев, вспыхнула еще ярче и подступила к Лозневому, не в силах сдерживать своей ярости.

— Шарить? — крикнула она. — Зачем шарить? У нас ничего не спрятано! Вот оно все!

Она подскочила к вешалке, сорвала с нее две шубы, швырнула их под ноги Лозневому.

— На, бери! Мало?

Затем схватила с печи старые валенки, из печурки — варежки, с гвоздя — шаль и все это тоже бросила к ногам ненавистного предателя.

— На, подлец, давьсь!

Лозневой растерянно молчал, пятясь к двери.

— Еще мало?

Марийка бросилась на лавку, сорвала с ног валенки и, вскочив, один за другим с большой силой бросила их в Лозневого: один валенок пролетел мимо, другой угодил ему в плечо.

— На, подлец, на!

Спасаясь, Лозневой кинулся из дома.

Немецкие солдаты закончили обыск на дворе. Они ничего не нашли. Увидев и Лозневого без вещей, они спросили в один голос:

— Найд?

— Найд! — машинально ответил Лозневой.

— О, Русь, бедна!

Стиснув зубы, Лозневой вышел со двора...

VIII

В этот день Лозневой особенно остро почувствовал, как ненавидят его ольховцы. Ненавидят не меньше, а больше, чем гитлеровцев. В каждом доме его встречали гневными и презрительными взглядами. В каждом доме!

Возвращаясь из комендатуры, после того как было закончено изъятие теплых вещей по всей деревне, Лозневой вспомнил об Ерофее Кузьмиче. Староста оставался теперь единственным в деревне его соучастником по службе у оккупантов. Но последний разговор с Ерофеем Кузьмичом озадачил Лозневого. Не теряет ли он и этого, единственного теперь, соучастника? Конечно, последний разговор не доказывал еще, что Ерофей Кузьмич из-за своей обиды может порвать с немцами, но все же обида его была велика... «А вдруг перевернется? — подумал Лозневой. — Возьмет да и меня еще отравит...» И Лозневой невольно остановился посреди дороги.

Его окликнули из ближнего двора:

— Владимир Михайлович, теперь-то зайдете?

Анна Чернявкина стояла на крыльце в пестром ситцевом платье с непокрытой головой, от легкого ветерка у ее висков шевелились рыжие кудряшки.

— Зайти? — переспросил Лозневой.

Анна сама, хотя и возражал Лозневой, сняла с него шарф, помогла стянуть полушубок, все это повесила на гвоздь, поближе к печи, а варежки расстелила в широкой печурке. Заботливо осматривая Лозневого, сказала:

— Сырость-то сегодня какая! Валенки не промокли?

— Нет, ничего, — Лозневой застеснялся от внимания Анны.
— Сухие.

Но Анна нагнулась перед ним, ощупала валенки.

— Да ты что? Вон как напитались! Снимай!

Она достала с печи сухие, теплые валенки и заставила Лозневого переобуться. Он переобулся и только тут вдруг вспомнил, что ведь это валенки Ефима Чернявкина. Еще вчера Лозневой видел эти валенки с растоптанными и косыми пятками на ногах живого Ефима! Первой мыслью было снять их, но Анна уже потащила Лозневого к столу, и он сел за стол с опущенными глазами.

— Устал? — спросила Анна, накрывая на стол.

— Устал немного.

— Да, трудно одному... — вздохнула Анна. — Ой, как трудно одному, где ни возьми! Вот мое дело. Можно сказать, вы образованный человек, а не поймете, как трудно мне в одиночестве! Ведь здесь-то, в деревне, мне страшнее жить, чем одной в поле, чем в темном лесу! Где угодно! Ведь кругом народ! Вы понимаете, как это страшно?

— Я сам хотел зайти, — сказал Лозневой, — потому и остановился у двора... Только думал: стоит ли, не помешаю ли?

— Ох, ты! — Анна опять вздохнула. — Занялся делом и, видно, мало думаешь о жизни, а и думаешь, так не то... А я вот думаю... — Анна оглянулась на дверь, затем приблизилась к Лозневу и сказала шепотом: — И знаешь, что надумала? Надумала, что жить страшно!

Только теперь Лозневой отчетливо понял, что Анна — единственный в деревне совершенно надежный для него человек. Одна Анна, и никого больше! И еще тяжелее опустились у Лозневого веки...

— Устал ты, устал! — сказала Анна, ставя перед Лозневым большую эмалированную миску дымящихся щей. — И за каким чертом эти шубы да валенки им сдались? Неужели для армии? Придумал же кто-то! А народ, знаешь, какой? Он эти шубы век будет помнить, вот что! Зря они!

— Да, зря, — подтвердил Лозневой.

— Ох, как ты устал! — опять сказала Анна и поставила на стол бутылку самогона. — Выпьем по одной? Помянем Ефима?

Выпили молча, не чокаясь.

— Одному мне невозможно, — сказал затем Лозневой. — Деревня довольно большая. Ерофей Кузьмич совсем ничего не делает. Надо искать другого человека. А где найти?

— Разве найдешь!

После чашки самогона Анна порозовела и помолодела: лицо у нее было нежное, со следами веснушек у вздернутого носа, глаза светились, как зеленое бутылочное стекло на солнце.

Сейчас Анна особенно не понравилась Лозневу: сегодня он видел Марийку, а разве можно после этого так скоро увидеть красоту какой-либо другой женщины? «Она и в подметки не годится Марийке, — думал Лозневой, устало хлебая щи и поглядывая на Анну. — Все в ней вульгарно. Эти глаза, эти кудряшки... И походка какая-то деланная. Ну, зачем так дергает бедрами? И самогон так пьет... Фу!» Он невольно, безотчетно сравнивал все в Анне с достоинствами Марийки, и от этого Анна казалась еще хуже, чем была.

Вскоре Лозневой встал из-за стола.

— Надо идти. Темнеет.

— А куда идти? — спросила Анна.

— Домой.

— Домой? А где у тебя дом?

Лозневой подумал: «И правда, где дом?» Он вспомнил, что идти-то надо, конечно, не домой, а к Ерофею Кузьмичу, к человеку с неясными думами, да еще на окраину деревни. А Лозневой знал: во многих местах вокруг действуют партизаны.

— Переходил бы ты, Михайлович, ко мне, — вдруг серьезно сказала Анна, словно опять отгадала мысли Лозневого. — И мне одной страшно, и тебе, я думаю, не очень-то весело, а вместе нам все, глядишь, полегче будет. Да здесь и комендатура поближе, охрана, а там ты на самом краю. Придут, утащат в овраг, и след твой простыл!

Лозневой ответил глухо, опустив глаза:

— Не боишься греха?

— Какой тут грех, подумаешь! Испугалась я! — цинично ответила Анна и опять приблизилась, почти крикнула: — Я народа боюсь, вот что!

Она сама подала Лозневому его одежду.

— Придешь как квартирант, вот и все! Мой дом, разве я не могу пустить человека на квартиру? Когда придешь?

— Это надо обдумать.

— Тут нечего обдумывать! Как ни думай — не миновать нам с тобой жить вместе.

— Наглая ты, — сказал Лозневой одеваясь.

— Все такие! — убежденно ответила Анна. — Только одни скрывают это, а мне не перед кем скрывать. Что мне перед тобой себя скрывать? Какая ни есть, а лучше меня тебе не найти.

Вместе вышли на крыльцо.

Вечер принес легкий морозец. Пасмурное небо прояснилось, показались звезды. Можно было ожидать, что за ночь зима полностью восстановит свои права и красоты.

— Да, совсем забыл! — сказал Лозневой, собираясь было попрощаться с хозяйкой. — Валенки-то я не снял.

— Не надо, — ответила Анна.

Лозневой опустил голову.

— Ну, ладно! Я все обдумую...

...Поздно вечером Лозневой перешел жить к Анне Чернявкиной. С Ерофеем Кузьмичом он попрощался сухо, но миролюбиво: кто знает, такой человек всегда может пригодиться в тяжелой и опасной жизни. Объясняя свой уход, Лозневой сказал:

— Там ведь ближе к комендатуре, а мне, сам знаешь, часто туда ходить приходится. Удобнее, да... и вам тут... помощи по хозяйству не надо...

— Да, теперь не надо, — грустно согласился Ерофей Кузьмич, и Лозневой пожалел, что сказал лишнее. — Ну, гляди, не забывай добра, — добавил он в заключение. — Не будь, как все прочие...

Тут он вдруг заметил, что Лозневой обут в валенки покойника Чернявкина, два раза кряду легонько кашлянул, прикрыв рот ладонью, и сказал, чтобы сказать что-нибудь:

— Смотри, бабу-то не обижай!

IX

Анфиса Марковна осталась очень недовольной поведением Марийки. Сразу же после того, как она выгнала Лозневого, сказала:

— Ты у меня брось горячиться! — И даже погрозила дочери пальцем. Можно и погорячиться, да знать надо когда... — Тут она вспомнила, что и сама горячилась и оскорбляла полицаю. — И я, дура, тоже хороша!

— Он будет грабить, а мы молчать?

— А что толку от нашего крику?

— Тогда так: надо идти к дяде Степану, — решительно заявила Марийка. — Что это такое делается? Они всех голыми оставляют, а те залезли в лес и молчат. Что они молчат? В Матвеевке вон старосту и полицаю отправили на тот свет, в Черноярке нескольких немцев, говорят, хлопнули. А наши молчат!

В самом деле, по всей ближней округе, там и сям, действовали партизаны: неведомыми путями доносились слухи об их боевых делах. А в Ольховке гитлеровцы жили спокойно, хотя совсем рядом, в ближнем урочище, находился отряд Степана Бояркина. Это было очень странно.

За несколько дней до Октябрьского праздника еще по чернотропу из отряда приходил Серьга Хахай. Он принес свежие листовки; Фая, Ксюта Волкова и их подружки за ночь расклеили эти листовки по деревне. После этого не было ни одной весточки из отряда.

Марийка горячилась.

— Боятся они идти по снегу, что ли?

— Там, видно, глупее тебя, — сказала мать.

— Не глупее, так нечего молчать! — ответила Марийка. — Я вот завтра на рассвете отправлюсь туда и все узнаю.

— Где ты-их найдешь в лесу-то?

— Я же знаю, где они!

— Да и как ты дойдешь туда?

— Очень просто: на лыжах.

— Одна? В лес?

— А кого мне в своем лесу бояться?

— А если здесь узнают, что ушла?

— Скажите, что ушла в Хмелевку, к тетке...

По тому, как мать задавала вопросы. Марийка сразу почувствовала, что она, в сущности, не возражает против ее решения, и еще нетерпеливее засобиралась в отряд.

Перед вечером по деревне разнеслась весть о том, что гитлеровцы избили двух женщин, прятавших теплые вещи.

Марийка загорелась с новой силой.

— Я пойду, вот и все! — сказала она матери и в сердцах даже потрянула в ее сторону полушалком. — И больше не отговаривай меня! Как сказала, так и будет!

Убедившись, что дочь серьезно задумала сходить в отряд Бояркина, в понимая, что теперь это совершенно необходимо, Анфиса Марковна сказала:

— Что же, надо идти, ты права!

Марийка ласково бросилась к матери:

— Мама, ты не бойся!

— Я не боюсь, ступай, только на рассвете. Пока светает, дойдешь до леса, а там при солнце. Да тут и ходьбы-то всего ничего!

— Мама, ты не сердись?

Мать старалась не баловать дочерей нежностями.

— Ладно, ладно, собирайся!

Но тут и Фая заявила, что она тоже хочет пойти в отряд.

— Ты с ума сошла! — ахнула мать.

— Она не сошла, а я сошла?

Фая кивнула на сестру, словно говорила не только от своего, но и от ее имени:

— Ей будет скучно одной!

— Я дойду и одна, — сказала Марийка.

— Ну и ступай! А лыжи я тебе не дам! — с внезапной детской

обидой заявила Фая. — А вместе пойдем — я свои тебе отдам, а себе возьму у Ксюты.

— Да что тебе-то загорелось? — спросила мать.

— Загорелось, и все тут!

— И какие вы обе упрямые, а?

Улучив минуту, когда мать вышла из дому, Фая осторожненько, боком, приблизилась к сестре и сказала тихонько, но настойчиво:

— А я все равно пойду за тобой!

— Да зачем, зачем?

— Надо, — Фая отвернулась. — По личному делу.

— По личному? — Марийка даже отпрянула.

— А что, у меня, по-твоему, не может быть личных дел? — заговорила Фая горячо. — Вы все меня девочкой считаете, а мне уже полных семнадцать, уже восемнадцатый пошел, это забыли?

— Фая, да что ты говоришь?

— А ты слушай, вот и услышишь, что говорю!

Марийка взгляделась в лицо Фаи, словно после долгой разлуки, и вдруг с изумлением увидела: да, она уже не сестренка, а сестра... Как она окрепла и расцвела за это лето! Все была не по-крестьянски худенькой, тонкорукрой и неловкой. А теперь точно налилась: округлились руки и грудь, появилась хорошая стать. А как изменились лицо и глаза! Куда девался беспечный и наивный взгляд? И в выражении смугловатого, густо рдеющего лица и во взгляде больших черных глаз отражалось так много внутренней душевной работы и так много самых разнородных чувств, что на нее нельзя было смотреть спокойно. От всего ее существа веяло и решимостью, и большой верой, и счастьем, и печалью... Марийке вдруг припомнилось многое, чему она в свое время не придавала значения: и то, как Фая старалась одеваться нарядно, и то, как однажды беспричинно плакала среди ночи, и то, что частенько стремилась к уединению, была всегда немного грустной и чем-то смущенной. Да, она вступила в девичество! Да, для нее настала (в такое грозное время!) чудесная пора первой любви!

«Уж не Костя ли у нее на уме?» — подумала Марийка и ласково обняла сестру за плечи.

— Хорошо, пойдем вместе!

...На рассвете Марийка и Фая, встав на лыжи, по овражку спустились от огородов к южному подножию взгорья, сделали

большой крюк по полям, затем пересекли дорогу, ведущую в Болотное, и взяли путь прямо на север, через замерзшее болото и озеро, в Лосиное урочище. Восход солнца они встретили уже в глубине леса.

С вечера крепко подморозило, а затем все притрусилло порошей, и на восходе солнца весь лес опять стоял в нарядном зимнем убранстве. Марийка и Фая одна за другой шли «зимником», на котором нынче, впервые за много лет, не было санного следа. Иногда то справа, то слева от дороги открывались просторные болотистые поляны. Здесь было особенно хорошо: мелкие елки, ольховник, березнячок и высокие сухие травы покрыты порошей; розовый снег всюду так легок, что, казалось, дунь хорошенько — и над лесом заиграет метель. За год до войны в здешних лесах был богатейший урожай еловых шишек, и поэтому в урочище все еще держалось много белок. Морозец был не сильный, и белки, покинув теплые гнезда, сладко завтракали; в лесной тишине хорошо слышалось, как они грызли шишки и роняли объедки; от елей, где они трудились, спокойно, едва колышась, летели легкие крылышки еловых семян.

Марийка, сама не понимая отчего, испытывала в этот час чувство необычайной радости и близости чего-то хорошего, значительного в жизни. Нет, она не забывала и, конечно, никак не могла забыть, что шла в отряд с печальными вестями. И все же, как это ни странно, как ни грешно, но ей легко и приятно было наслаждаться своими чувствами. Как она могла отвергнуть эти чувства? Она была уверена, что сегодня после тяжелых недель страданий и раздумья начиналось что-то новое в ее жизни...

Останавливаясь, Марийка втыкала палки в снег, поправляла пуховый платок, все время прикрывавший горячие щеки, и кричала настигавшей ее сестре:

— Хорошо, а?

Фая была в еще более радостном и возбужденном состоянии, чем сестра. Она тоже чувствовала, что в ее судьбе свершается что-то очень важное и большое.

— Чудесно! — на бегу отвечала она сестре.

Марийка и Фая несли в отряд печальные вести о новом ограблении деревни, но не могли не радоваться своему счастью: они были молоды, они ждали больших перемен в жизни, а вокруг стоял родной зимний лес, и над ним, как в сказке, поднималось нежное,

точно кукушкин цвет, розовое утро...

Х

...Прошло около месяца с тех пор, как Степан Бояркин начал собирать свой отряд в Лосином урочище.

В октябре тыловые немецко-фашистские части, которым предстояло осваивать захваченные земли, проникали в глухие ржевские места очень медленно: мешала распутица. Немецкая оккупационная власть только начинала пускать свои ядовитые черные корни в ржевскую землю.

В некоторых деревнях, как это ни странно, жизнь текла довольно спокойно. Были случаи, когда здесь, не таясь, жили председатели сельских советов и колхозов, коммунисты, комсомольцы и активисты. Открыто жили и «окруженцы» — наши солдаты и офицеры, по разным причинам отставшие от своих частей. Многие из этих людей еще плохо представляли себе, что их ожидает, и не знали, с чего начинать борьбу с врагом, тем более что они и не видели его в своих деревнях. Но жизнь с каждым днем все настойчивее подсказывала, что сейчас нельзя сидеть сложа руки ни одной минуты, и советские люди даже из тех деревень, где еще не появлялись оккупанты, постепенно уходили в леса.

В конце октября в лесах вокруг Ольховки таких людей собралось много. Из них и создался партизанский отряд Степана Бояркина.

В лесной сторожке отряд находился недолго. Для основной стоянки отряда Бояркин отыскал в глубине болотистого Лосиного урочища высокое и сухое место. В сторожке остался передовой пост.

Степан Бояркин лучше многих в отряде понимал, что борьба с врагом предстоит большая, трудная и, вернее всего, займет немало времени. Когда-то он служил в армии, знал основы военного дела, знал, какими качествами должен обладать воин, чтобы быть победителем. С первых же дней Бояркин стал смотреть на войну как на тяжелый и опасный, но совершенно необходимый труд. А Бояркин привык трудиться.

Много энергии затратил отряд на создание своего лагеря на Красной горке. Кроме него, несколько продовольственных баз было создано в разных местах Лосиного урочища. Около них партизаны отрыли на всякий случай и тщательно замаскировали землянки.

Одна группа партизан специально занималась сбором оружия. На нескольких подводах она съездила к Вазузе, где шел бой, и привезла оттуда много винтовок, несколько станковых и ручных пулеметов, ящики гранат, тола, патронов и разного другого военного снаряжения. Затем оттуда привезли даже 45-миллиметровую пушку, которую, по словам мастеров, легко было отремонтировать и пустить в дело.

Боевые дела в октябре отряд Бояркина проводил от случая к случаю. Живо, с успехом велась только разведка: партизаны шныряли всюду, добывая самые различные сведения о враге.

Разведчики Бояркина ежедневно сообщали об активных действиях каких-то партизан в разных местах западнее Болотного. Вскоре разведчики принесли листовку к населению, призывающую бороться с оккупантами. На ней была подпись: «Болотнинский райком ВКП(б)». Увидев листовку, Бояркин воскликнул радостно:

— Это Воронин, честное слово!

Партизаны начали гадать:

— Где он может быть?

— Надо идти в Гнилое урочище!

XI

Утром разведчики собрались идти в Гнилое урочище, как вдруг на стоянке в сопровождении партизан с передового поста появилась конная группа.

Бояркин в это время обтесывал бревно для новой, запасной землянки. Увидев на тропе конных, он воткнул в бревно топор и присмотрелся. Впереди на гнедом тонконогом жеребце ехал плотный усатый мужчина в сером военном плаще и шапке из пыжика. Бояркин резко шагнул через бревно:

— Товарищ Воронин!

Воронин спешился первым.

— Узнал?

— Едва узнал, честное слово! По взгляду да по этой шапке. А усы... Никак не признать!

— Ну, рад видеть!

— Я тоже... Вот не ждал, не гадал!

Вокруг собрались партизаны.

Обращаясь к Бояркину, Воронин пожаловался:

— Едва, брат, добрался до тебя! Ох, и наломало в седле! Нажил дурацкую привычку ездить в машине, а теперь вот... Ну, ничего, скоро поправим дело... Машина-то у меня в отряде, только случилась поломка. Скоро отремонтируем.

— Машину? — переспросил Степан Бояркин. — А зачем?

— Как зачем?! Ездить по району.

— На машине?

— А если я не могу верхом, что поделаешь?

Степан Бояркин, как и раньше, когда был председателем колхоза, прежде всего пригласил Воронина закусить с дороги. А Воронин, как и до войны, когда был только секретарем райкома, сказал на это привычные слова:

— Нет уж, Степан Егорыч, сначала покажи, как живешь...

Бояркин повел гостей по лагерю, а группа партизан осталась на месте, помолчала, а затем один, хмыкнув, раздумчиво сказал:

— Вот-те номер! Машину ремонтирует!

Он обратился к коноводу Воронина:

— Врет ведь, а?

— Честное слово, ремонтирует! — ответил коновод. — Дал задание: пустить машину как можно скорее, а тот копается, даже тошно смотреть!

Гости осмотрели землянки. Они были построены капитально, покрыты дерном, в каждой кирпичная печь с просторной лежанкой, на которой удобно сушить обувь. Нары пахли смолой, на них лежала еще не истертая, свежая солома, кое-какая одежда, вещевые мешки. В двух землянках было пусто, в третьей — спали партизаны.

— Ночью работали, — пояснил Бояркин.

— Тихо, не буди, — сразу задержал его Воронин и, осторожно ступая, пошел обратно.

Рядом среди кудлатых елей несколько человек рыли котлован для четвертой землянки.

— Трех не хватает? — спросил Воронин.

— Нет, пока хватает, — ответил Бояркин. — А все же решил сделать еще одну на всякий случай. Народу может прибавиться, а тут зима...

Кое-кто из партизан в котловане опознал Воронина. Заметив это, Воронин спросил:

— Узнаете, что ли?

— Как вас не узнать, товарищ Воронин! — охотно ответил

пожилой мужчина с рыжеватой бородкой. — Хотя вы и при усах, а обличье никуда не денешь!

— А я тебя, Зеленцов, тоже сразу узнал. Тихон Миронович, да? Не ошибся? Как твоя молотилка?

— Молотилку сгубил, — мрачновато ответил Зеленцов.

— А если потребуется срочно наладить?

— О, только бы потребовалось!

Молодой парень в драповом пальто спросил:

— А меня не узнаете, товарищ Воронин?

— И тебя узнаю. Учитель Кружилин? Из Заозерной?

— Совершенно верно.

Недалеко от жилых землянок находился продовольственный склад; рядом с ним дымилась полевая кухня с помятыми боками. В сотне метров от землянок, в овраге, где журчала ржавая лесная речушка, располагалась хозяйственная часть лагеря: здесь был устроен сарайчик для лошадей, сложено сено в стожок, стояли телеги, на сучьях деревьев висела сбруя...

— Ну, брат, настроил ты! — заметил Воронин.

— Все нужно!

Инструктор райкома Корнилов подивился:

— Не хуже, чем у нас!

— Пожалуй, не хуже, — согласился Воронин, пошевелив отрастающими усами, и Бояркину вдруг показалось, что сделал он это от какого-то внутреннего недовольства. — Да, не хуже, не хуже! — повторил он и еще раз подернул усами. — Но мы начали готовить свой лагерь задолго до отступления нашей армии, а он ведь после отступления... И сделано все капитально, основательно!

— Плохо не умеем, — ответил Бояркин.

— Да, это привычка!

— А теперь, Степан Егорыч, — заключил Воронин, — можно и подкрепиться с дороги. Угощать-то чем будешь? Как в колхозе?

За угощением Воронин ничего не говорил, а только расспрашивал Бояркина, и тот, чувствуя, что лагерь понравился секретарю райкома, оживленно и подробно рассказывал о всех своих делах за три недели.

— Ну, а теперь, брат, я скажу тебе кое-что... — заговорил Воронин, выслушав Бояркина, и выпрямился за маленьким деревянным столом. — Ты, конечно, не знал этого... Ты должен был уехать, и мы тебе поэтому ничего не говорили. Но раз ты остался и

всерьез задумал партизанить, открою все карты...

И Воронин рассказал, как задолго до отступления нашей армии райком получил указание подготовиться на всякий случай к длительной партизанской войне. В Болотном был создан партизанский отряд; за несколько дней до отступления Красной Армии он тайно ушел в лес, где заранее был подготовлен лагерь. Отряд имеет продовольственные базы, много оружия, радиопередатчики, типографию, небольшой двигатель и даже кино. Как только наши войска отступили на восток и появились немцы, районный отряд, не теряя времени, начал энергично действовать. Налеты и диверсии западнее Болотного, по дороге Вязьма — Ржев и на шоссе, идущем к Москве, — его дела.

Бояркин слушал все это, не сводя изумленного взгляда с Воронина, впервые он узнал, как партийная организация широко развернула партизанскую войну в районе.

— Теперь о тебе, — сказал Воронин, закончив рассказ о районном отряде. — Тут, брат, у нас будет серьезный разговор! — Воронин прикрикнул и улыбнулся всеми черточками усталого морщинистого лица, что означало: разговор предстоял действительно серьезный. — Я нисколько не сомневаюсь в том, что ты остался с твердым намерением бить и бить немца-фашиста. Однако вот тут уж я должен тебя огорчить. Долго ли ты был в армии?

— Два года, — ответил Бояркин.

— А на войне?

— На войне? Нисколько!

— А председателем колхоза?

— Ну, это вам известно, товарищ Воронин! Почти десять лет, без перерыва.

— Так вот, — продолжал Воронин, — совершенно понятно и оправдано, что ты хотя и хочешь воевать, но пока не умеешь, а заниматься мирным трудом, разными хозяйственными делами умеешь хорошо, даже отлично!

Бояркин воскликнул с досадой:

— Но ведь все, что сделано, — все необходимо!

— Погоди, брат, выслушай! — Воронин наклонился и ласково потрогал Бояркина за руку, лежавшую на столе. — Я тебя не хочу винить, ты этого не думай. Как все, ты привык к мирной работе. Погоди, погоди! Эта многолетняя привычка к мирной созидательной работе и сейчас, как я подметил, совершенно независимо от твоего

желания, берет над тобой верх. Вот ты создал отряд. Очень хорошо, большое тебе спасибо за это от партии. А зачем ты его создал? Воевать? Конечно.

— Мы кое-что сделали, — возразил Бояркин.

— Знаю, молодцы! — сказал Воронин. — Но все же, Степан Егорыч, как ни обижайся, а хозяйская жилка в тебе говорит сильнее, чем военная. Ты сам, я думаю, не заметил, что чересчур увлекся хозяйственной работой. Я тебе прямо скажу: за короткий срок, только за три недели, ты сделал очень и очень много! Не хуже, чем в нашем отряде, хотя там все и делалось заранее. Ты построил лагерь, заготовил продовольствие и оружие. За три недели все это мог сделать только такой работник, как ты, имеющий большой хозяйственный опыт. Ты прошел десятилетнюю школу в колхозе, и вот она дает свои плоды...

Степан Бояркин, всегда внешне спокойно принимавший критику, не выдержал, встал из-за стола, умоляюще воскликнул:

— Но ведь все надо же, надо! Без этого нельзя, товарищ Воронин, никак нельзя! Если всего этого не делать, мы пропадем зимой!

— Совершенно верно! — охотно согласился Воронин и этим сразу же заставил Бояркина успокоиться и сесть на место. — Абсолютно верно! Но!... погоди, дай же сказать, что ты какой стал, а? Ты ведь помнишь: когда-то мы учились сочетать различные сельскохозяйственные работы, особенно в напряженные страдные дни. Причем говорили: надо сочетать, но не забывать главное из того, что сочетаешь! И здесь так же! И здесь надо сочетать все работы, но не забывать при этом главное. А главное — бить врага!

Выдалась минута молчания.

Снаружи в землянку долетели возбужденные голоса партизан.

Степан Бояркин посмотрел на Корнилова, словно ища у него сочувствия, и сказал:

— Но ведь вы сами сказали, что свой лагерь подготовили заранее, до прихода немцев... Заранее подготовили, а теперь только воюете. А мне как быть?

— Совершенно верно, условия разные, — опять охотно согласился Воронин, и эта его манера внезапно соглашаться там, где, казалось бы, надо спорить, опять озадачила Бояркина. — Мы готовили лагерь и базы в сентябре. Но разве мы могли тогда бить фашистов? Их же не было в наших местах! Тогда... понимаешь, тогда

строительство лагеря и баз было для нас главным делом. А пришли немцы — мы стали бить их, и это стало для нас главным. У нас, как видишь, дело обстояло проще. У тебя гораздо сложнее. Ты начал действовать в такой обстановке, когда надо прежде всего бить немцев и одновременно создавать лагерь и базы. Все, все надо делать и делать обязательно, но прежде всего — бить врага! Я хорошо знаю, что вы кое-что сделали. Но разве твой отряд может делать лишь кое-что? Не сомневаюсь, что он способен на большие дела!

Бояркин долго сидел задумавшись.

В землянку вошла белокурая девушка в легонькой курточке и фартуке убрать со стола. Когда она входила, в открытую дверь опять донеслись возбужденные голоса партизан.

— Что они там кричат? — спросил Бояркин.

— А шут их знает! Известно, горлопаны! — сердито ответила девушка. Заспорили из-за какой-то машины... В ремонте она где-то... И пошло! А теперь и о машине забыли, а спорят о войне. Известно, горлопаны!

Забрав посуду, девушка ушла.

Воронин взглянул на Бояркина.

— Обиделся?

— На правду как обидишься? — ответил Бояркин. — Да, тут я недодумал. По ближним деревням, положим, и немцев-то нет. Но наша задача, конечно, не ждать, когда они придут к нам в лагерь. Надо их искать и бить, это я понимаю.

— А что их искать? Вон рядом, в твоей Ольховке!

— В том-то и дело, что рядом, — сказал Бояркин. — Только поэтому я их пока и не трогал. Думал, пока устраиваемся да укрепнем, не трогать их в Ольховке — боялся, не открыть бы свое место. А теперь, пожалуй, пора! Теперь мы все обдумаем и начнем готовиться к этой операции. Сами понимаете, ведь нельзя с бухты-барахты?

...Через час на поляне у главной землянки были выстроены все партизаны, находившиеся в лагере, и Степан Бояркин зачитал приказ о том, что отныне его отряд является составной частью районного партизанского отряда.

ХII

Через день в лагере отряда на Красной горке появилась

группа наших солдат, — немало таких групп бродило в те дни по ржевским лесам. Солдаты были в обтрепанных, прожженных шинелях, держались молчаливо, сторожко, а когда кто-либо заговаривал с ними, отвечали коротко:

— Вон командир! Обращайтесь к нему.

Командовал группой лейтенант Илья Крылатов. Это был молодой, высокий, чернобровый и черноглазый человек с густой черной щетинкой на смуглых щеках и подбородке — весь точно молодой могучий ворон. По тому, как он двигался, говорил, прикрикивал на солдат, Степан Бояркин сразу понял, что лейтенант властолюбив и своенравен.

Судьба этой группы очень заинтересовала Бояркина, Отряд готовился к боевым делам. Операции предстояли большие, в частности разгром комендатуры в Ольховке. Вот почему у Бояркина сразу же появилась мысль оставить группу в отряде.

За день в землянке, где поселилась эта группа, не однажды побывал Костя, неделю назад назначенный вестовым Степана Бояркина. По поручению командира он присматривался к солдатам-пришельцам...

Костя очень быстро освоился в отряде и стал опять таким же, каким был в армии, — всегда бодрым, расторопным, заботливым; словом, он имел все качества вестового, без которого любому командиру трудно выполнять свои обязанности. В распахнутом рыжеватом полушубке, под которым виднелась гимнастерка, в треухе из серой мерлушки, он с утра и до вечера без усталости носился по всему лагерю: то передавал приказы командира, то вызывал к нему людей, то забегал к своим товарищам-комсомольцам потолковать о делах и раздобыть самосада, то на кухню и прачечную — поболтать с девушками... Большую часть дня он проводил на свежем воздухе и от этого посвежел, порозовел; избавился он и от заикания, что так мучило его и, раздражало. Молодом подвижной парень, белокурый и сероглазый, с пухловатыми свежими губами и веселым, чуть вздернутым носом, с постоянным выражением живости и мальчишеского задора в каждой черточке лица, он был одним из самых приметных парней в отряде.

Под вечер Костя явился к Бояркину с докладом о своих наблюдениях над группой Крылатова.

— Ну, как они там? — нетерпеливо спросил Бояркин.

— Все лежат за смертью, товарищ командир! — ответил Костя.

— Как завалились, так и затряслась землянка от храпа. Чисто военный храп, честное слово!

— Что говорят-то они?

— Они ничего не говорят. За них животы разговаривают, вернее сказать, желудки...

— Брось, расскажи толком!

— Оголодали ребята, товарищ командир! — ответил Костя серьезно и даже грустно. — А у голодного какой разговор? Голодный молчит. У голодного глаза говорят... Очень рады, что наелись да попали в тепло. Впрочем, меня сразу признали, так сказать, за своего человека и спросили, как я попал сюда...

— Это хорошо! — заметил Бояркин. — Значит, есть интерес к отряду, хотя и молчат. Ты с ними потолкуй получше, а когда проснется командир позови к нам.

— Командир у них зубастый...

— Зубастый?

— И зубастый и грамотный, видать, здорово, — сказал Костя. — Он только нынче из училища. Он, товарищ командир, даже по-немецки вовсю лопочет!

— Да что ты?

— Честное слово!

— Да-а, такого бы не мешало иметь, — сказал Бояркин, почесывая пальцем левую щеку, что делал в минуты раздумья. — Как твое мнение: останутся они у нас?

— А куда им деваться?

Вскоре Костя привел лейтенанта Крылатова — вероятно, разбудил раньше срока. Илья Крылатов вошел с заспанным, недовольным выражением лица.

— Чем могу служить?

— Садитесь, — пригласил его Бояркин.

Крылатов сел, осмотрел землянку.

— Хорошо вы здесь обжились!

— Как ваши бойцы? Отдыхают?

— Спасибо, как говорится, за хлеб-соль.

Закурили.

— Мы вас позвали, чтобы получше познакомиться, — сказал Бояркин минуту погодя.

— Очень приятно.

— Откуда идете?

Крылатов неожиданно вздохнул.

— Из Литвы. Там были очень сильные бои.

— Три месяца?

— Да, три месяца. — Крылатов посмотрел на всех, шурясь медленно, по-птичьи. — А что вы хотите? Не на машинах. К тому же все время лесами и болотами.

— Вся ваша группа из одной части?

— Нет, из разных, собрались в пути.

— А как вы оказались командиром группы?

— Я в группе старший по званию.

— Какие же ваши дальнейшие планы?

— Это что — допрос? — Крылатов подумал, усмехнулся каким-то своим мыслям, чуть пошевелив уголками губ. — Впрочем, мне уже приходилось отвечать на такие вопросы. Так вот, уже из одного факта, что мы три месяца, несмотря на различные трудности, пробираемся на восток, вам должна быть понятна наша основная задача. Мы хотим во что бы то ни стало выйти с территории, занятой немцами, и соединиться с Красной Армией.

— Я так понимаю, — заговорил Бояркин, — если вы очень упорно стремитесь пройти через фронт, соединиться с Красной Армией, значит хотите воевать, бить немцев?

— Что за вопрос?

— А вы знаете, что и здесь, в наших местах, их много? — Бояркин приблизил худощавое, бледное лицо к лицу Крылатова. — Почему бы вам не бить тех немецких фашистов, которые здесь? Чем они отличаются от тех, которые сейчас под Москвой? Кстати, через наши места сейчас проходят к Москве как раз те немцы, которые должны сражаться против нашей армии.

— Я понимаю так, что вы предлагаете мне и моим бойцам остаться у вас? — спросил Крылатов.

— Совершенно верно.

— Ничего не выйдет!

— А почему?

Илья Крылатов поднялся с нар.

— Знаете что, — заговорил он, — мне нечего скрывать от вас свои мысли. Конечно, я кое-что знаю о значении партизанской войны. Знаю, как воевал Денис Давыдов, знаю, как воевали партизаны в годы гражданской войны. Но ведь тогда были совсем другие условия! Войска Наполеона шли одной дорогой. По обе

стороны от нее для партизан было полное раздолье. Бей из-за каждого куста! В гражданскую войну не было строгих линий фронтов, тогда тоже действовать было легко. А теперь? В страну нахлынула огромная масса войск, захватила огромное пространство. Где здесь действовать партизанам? Только отсиживаться в лесах? Нет, я хочу быть в рядах армии!

— У вас все так думают? — спросил Бояркин.

— Все!

— Уверены?

— Да, — ответил Крылатов, собираясь уходить. — Если разрешите, мы отдохнем у вас сегодня, а завтра пойдем дальше.

Но утром оказалось, что в группе Крылатова тяжело заболели два бойца. Крылатов попросил разрешения остаться еще ненадолго. А следующей ночью прошел снегопад и забушевала вьюга. Внезапно установилась ранняя зима.

ХШ

В лесу тихо догорало розовое зимнее утро. Лес точно онемел, боясь неосторожным движением одной, хотя бы одной ветки попортить весь свой новый, блистающий, как парча, зимний наряд. Над лагерем тихонько, мирно, как над засыпанной снегом деревенькой, курились утренние дымки. Через весь лагерь тянулись заячьи следы. Но вдруг откуда-то с восточной стороны над лесной тишиной пронесся скрип. Вероятно, скрипнуло дерево. Вот еще, еще и еще... Да, это, конечно, дерево, или старое, или надломленное бурей: скрипнет раз-другой, затем передохнет, справляясь со своей немощью, — и опять летит над затихшим лесом старческий, жалобный скрип, будто кто-то одинокий стонет над одинокой могилой.

Проходивший мимо старик партизан, заметив, что Крылатов заинтересованно прислушивается к странным звукам, долетавшим с востока, остановился и пояснил:

— Ворон кричит.

Спускаясь в землянку командира отряда, Крылатов услышал шумные голоса партизан и неожиданно остановился перед дверью под навесом из еловых веток.

«Что тут случилось?»

Открыв дверь в землянку, Крылатов увидел, что она полна

партизан, и тут же услышал приятный звучный женский голос, каких он не слышал в лагере. В ту же минуту голос смолк и враз наперебой заговорили партизаны. Должно быть, только поэтому никто и не заметил появления Крылатова в землянке. Крылатов тихонько подошел к толпе и заглянул в круг.

За командирским столом, заставленным разной посудой, сидели две девушки. Они были хорошо освещены: из единственного окошечка напротив стола вливался поток утреннего солнечного света. Они были очень похожи друг на друга, несомненно, это были сестры. Младшая, смущенно оглядываясь, рдея, хлебала остывший суп, а старшая разговаривала...

Илью Крылатова поразила ее красота. Но он сразу и не смог бы сказать, в чем именно состояла ее красота, так поразившая его с первого взгляда. По отдельным возгласам партизан Крылатов понял, что женщина рассказывала о чем-то неприятном. Но, странное дело, по ее виду нельзя было определить, что она принесла в отряд неприятные вести. Несомненно, она была возбуждена, но Крылатову показалось, что возбуждена не только своим рассказом, а еще чем-то, что трудно было разгадать. И, может быть, именно эта вторая, непонятная причина ее возбуждения и делала ее необычайно красивой. Каким светом молодости было озарено ее открытое, с тонкими чертами, с чудесной веселинкой в каждой черточке лицо! И как блистали ее глаза!

— И нечего ждать, нечего! — говорила она резко, вероятно чего-то требуя, а сама вся светилась от непонятого возбуждения. — Они будут издеваться над народом, а вы молчать? Просто удивление! Рядом партизаны, а нам житья нет от немцев! Да на что это похоже? Нет, как хотите, Степан Егорыч, а это не дело!

Говоря все это, она поглядывала не только на Бояркина, но и на всех столпившихся вокруг стола партизан. Один раз она взглянула и на Крылатова; должно быть, чем-то он заинтересовал ее, и она, сказав несколько слов, опять посмотрела на него... Поймав ее взгляд, Бояркин оглянулся назад и увидел Крылатова.

— Слушай, товарищ начальник штаба, как у тебя дела? — спросил его Бояркин. — Все у тебя готово?

— Так точно, товарищ командир! — быстро ответил Крылатов.

— Ну, вот, — сказал Бояркин, обращаясь к Марийке. — Довольно горячиться. У нас уже все готово. Понятно?

XIV

Лагерь жил обычной жизнью. Куда-то уходила, растягиваясь цепочкой, группа партизан на лыжах. У продовольственного склада разгружали сани. На хозяйственной базе ширкали пилы и пели девушки. Все это было обычно. Ко всему этому Крылатов уже привык за неделю жизни в отряде. Но все это казалось ему теперь необычайно привлекательным, приятным для глаз и слуха. Он долго внутренне сопротивлялся необычному ощущению, только что властно захватившему все его существо, но в конце концов вынужден был признаться, что весь лагерь кажется ему теперь в другом свете потому, что в центре его стоит она, эта неизвестная ему женщина, и освещает его своей красотой.

Он попытался было разобраться в том, что именно так сразу и глубоко поразило его в незнакомке. Но тут же понял, что это бесцельное занятие, и сказал себе: «Все!» Мало ли женщин с черными глазами? Много. Но таких черных да таких живых и блестящих глаз очень мало. Мало ли красивых лиц? Но таких, как у этой, таких одухотворенных и озаренных светом молодости, с такими горячими, улыбчивыми губами, — таких немного... Большинство женщин нравятся тогда, когда узнаешь их хорошо, привыкнешь к ним, разглядишь их достоинства. Но что это за красота, если ее надо долго рассматривать? Нет, она должна быть видна с первого взгляда...

На главной площадке лагеря показался Костя и вместе с ним две незнакомки. Крылатов остановился и спрятался за молоденькой заснеженной елкой. И то, что увидел, ошеломило! Костя обнял сразу обеих красавиц сестер и что-то шепнул одной, затем другой... И сестры, разом отпрянув от него, захохотали на весь лес, затем бросились к Косте и с визгом начали дубасить его кулаками.

«Вот счастливец, белокурый бес!»

Около полудня Марийка и Фая собрались уходить домой. Узнав об этом, Крылатов отыскал Костю. Теперь Крылатов был очень рад, что судьба свела его в отряде прежде всего с этим «белокурым бесом»: через него можно было познакомиться с Марийкой.

— Уходят?

— Сейчас уходят. А что?

— Я думал, они совсем в отряд пришли...

— Им пока нельзя.

Крылатов потоптался, пощелкивая каблуками.

— Давай закурим, а?

Долго курил молча, затем предложил:

— Пойдем, проводим их, а?

Костя улыбочиво и понимающе посмотрел на Крылатова. Приминая ногой сигарку, спросил:

— Слушай, товарищ начальник штаба, уж не понравилась ли тебе эта, которая постарше?

— А что?

— Тогда я тебе так скажу: лучше бы тебе все-таки уйти отсюда, сказал Костя вполне серьезно. — Попомни мое слово: наживешь себе беды. Если дрогнуло вот тут — лучше скорее уходи. Пропадешь ты пропадом, даю тебе честное комсомольское!

— Почему же это?

— Пропадешь! — Костя с сожалением посмотрел на Крылатова и даже покачал головой. — Она, товарищ лейтенант, замужем, я хорошо знаю ее мужа. Андреем его звать. Хороший парень. Вместе в одном батальоне служили. Сейчас он там, но скоро, конечно, будет здесь. Она его так любит, что тебе лучше и не подходить к ней. Тут, брат, один постарше тебя в звании подбивался к ней, да и получил от ворот поворот.

Крылатов нахмурился.

— Ну, а проводить-то можно?

— Смертник ты, товарищ лейтенант! — сказал на это Костя. — Ну что ж, идем!

XV

Вторую ночь Ерофей Кузьмич проводил в беспокойстве и без сна. Это беспокойство овладело стариком сразу, как только Лозневой покинул его дом. Ерофей Кузьмич все время вспоминал последний разговор с Лозневым о немцах и войне. «Э-э, старый дурак! — ругал он себя. — И дернуло же меня вести с ним такой разговор!» Старик думал, что Лозневой разгадал его до конца и только поэтому так неожиданно ушел из дома. А что таится в его темной душе? Ведь совсем недавно он притеснял Лозневого, выгонял из дома, заставлял батрачить... Разве Лозневой забыл все это? Разве ему трудно теперь, когда он у власти, отплатить старому дураку за все обиды? Вот

сегодня утром, переночевав у Чернявкиной одну ночь, Лозневой неожиданно выехал в Болотное. А зачем? Может, только затем и поехал, чтобы выдать его волостной комендатуре? Думая об этом, Ерофей Кузьмич поминутно переворачивался с боку на бок, томимый предчувствием близкой беды.

Алевтина Васильевна спросила тревожно:

— Кузьмич, что ж ты не спишь?

— Так, не спится...

— А все же с чего? Сказать-то можно!

— Совсем ты меня заела, мать, — устало и горестно ответил Ерофей Кузьмич. — Только ты и знаешь, что пилить меня: «Чего не спишь? Чего вздыхаешь? Чего хвораешь?» Да неужто мне на все это брать у тебя особое разрешение? Ну, не сплю, ну, вздыхаю, ну, хвораю, — так ведь встань на мое место, встань! Ты приглядишься, как меня жизнь-то крутит! Облапила, как медведь, и дерет! Что же мне, по-твоему, улыбаться при этом? Ты вон и сама не спишь, так я ведь не спрашиваю, почему?

— А ты спросил бы...

— Ну, а с чего же тебе-то не спать?

Алевтина Васильевна неожиданно всхлипнула:

— Марийку сегодня видела...

Ерофей Кузьмич долго молчал.

— Где же?

— Мимо шла с Фаей. В Хмелевку, должно быть, к тетке ходила... — Опять всхлипнула. — Вот и не сплю. За все это время первый раз увидела, и то издали! Даже не зайдет, вот до чего ты довел! Своя, родная, а вот видишь, в какой обиде? А мне идти к ним — перед всей деревней стыдно.

Ерофей Кузьмич тяжело засопел, но не возразил жене. Полежав еще немного, поднялся, зажег лампу, сел у стола; при свете лампы было видно, как резко опечалили его постаревшее лицо тяжелые думы.

— Молчишь? — спросила жена.

— Не тронь, — попросил он жалобно.

— Стыдно?

— Не тронь, говорю! — почти закричал Ерофей Кузьмич, чего не случилось с ним в последнее время. — Что ты меня изводишь? Ты видишь, какой я? Ну и не доводи до греха! Не пили! Мне, может быть, и жить-то осталось совсем недолго. Вот он ушел

вчера, а сегодня в Болотное махнул! Возьмет да и наболтает там по злобе чего угодно — и мне каюк... Понятно тебе это или непонятно?

В наружную дверь застучали. Ерофей Кузьмич замер, и серые глаза его потускнели, как серые гальки, высохшие на солнце... Опять раздался стук, и отчетливо послышались отдельные немецкие слова. У Ерофея Кузьмича обмерли все члены. Он сказал шепотом:

— Пришли, мать...

Алевтина Васильевна заревела, закрывая рот углом одеяла и в страхе прижимаясь к стене.

— Ну, всё, — прошептал Ерофей Кузьмич и, точно слепой, пошел в сени.

Пока Ерофей Кузьмич, опираясь рукой о стену, пробирался в темных сенях к двери, на крыльце несколько раз раздавался грубоватый немецкий голос. Да, они торопили. Ерофей Кузьмич вдруг подумал, что надо бы шмыгнуть в кладовку, оттуда — на чердак, а там — в слуховое окно и в сугроб... Глядишь, и спасся бы, если не оцеплен двор. Но было уже поздно. Голос немца, кричавшего за дверь, не был похож на голос коменданта Квейса. «Привез из Болотного», — мельком подумал Ерофей Кузьмич. Стараясь напрячь совсем ослабшие силы, он спросил:

— Кто там, а?

Немец опять крикнул сердито.

Открыв дверь, Ерофей Кузьмич разом отпрянул назад; в глаза ударил резкий свет электрического фонаря. И тут же услышал знакомый голос:

— Спал уже, Кузьмич?

Ничто так не могло сейчас поразить Ерофея Кузьмича, как этот спокойный, мягкий голос, знакомый ему много-много лет! Нет, это были не немцы. С карманным фонарем в руке на пороге стоял (можно ли этому верить?) сам Степан Бояркин, рядом с ним — черный, как ворон, молодой человек в шинели и мерлушковой шапке, а за ними — Костя и Серьга Хахай. Ерофей Кузьмич едва удержался на ногах. Собрав все силы, он откинулся спиной к стене, высокий, бородатый, в одном нижнем белье, и с большим трудом овладел своими губами.

— Только скорее, — сказал он, зачем-то разбрасывая вдоль стены руки. — Раз предателем считаете, бейте, да только не мучьте!

— Ты что, Кузьмич, со сна такой? — сказал Бояркин, входя в сени. Где полицей? Вот кого надо.

Ерофей Кузьмич отпрянул от стены.

— Его здесь нету. Богом клянусь, Степан, нету его в моем доме! Иди смотри сам. Он еще вчера вечером ушел жить к Чернявкиной, а сегодня зачем-то поехал в Болотное...

Уходя на рассвете в отряд, Марийка и Фая не успели узнать, что Лозневой накануне поздним вечером перешел к Чернявкиной, и поэтому не могли предупредить Бояркина. Поняв, почему все так произошло, Бояркин даже крикнул от досады.

— Э-э, черт! Может, вернулся он из Болотного?

— Нет, Степан, не видать было...

— Вот сволочь! — сказал Костя. — И все ему везет!

— Что ж, Кузьмич, веди домой, — сказал Бояркин. — А то ты вон как одет, простудишься еще.

— Мне все одно!

— Или не собираешься жить?

— Где мне теперь?

Вошли в дом. Увидев вместо немцев своих людей, Алевтина Васильевна обрадовалась, понимая, что они не сделают зла, но все же заплакала, прикрывая грудь одеялом:

— Да ты что, Васильевна, испугалась нас? — спросил Бояркин, останавливаясь у кровати хозяйки. — Или не узнаешь меня?

— Нет, узнала...

— А что ж ты плачешь?

— Я и сама, Степа, не знаю отчего...

К кровати подошел Костя:

— И меня узнала, Алевтина Васильевна?

— А как же! Ой, какой ты, Костя, стал!

— Какой же, Алевтина Васильевна?

— Хороший стал, — сказала хозяйка, успокаиваясь — Вроде пополнил, посвежел... В партизанах, что ли?

— Ясное дело!

— Ну и славу богу!

Бояркин отозвал к дверям Костю и Крылатова, о чем-то поговорил с ними тихонько, и они ушли. Ерофей Кузьмич тем временем оделся и зачем-то даже накинул на плечи пиджак.

— Зайдем в горницу, — сказал Бояркин, обращаясь к хозяину и Сергею Хахаю. — Потолковать надо.

В горнице они сели вокруг стола и немного помолчали. Взглянув на часы, Бояркин начал первым:

— Что ж ты, Ерофей Кузьмич, напугался-то так?

Ерофей Кузьмич вздохнул, торопливо подыскивая нужные для ответа слова:

— Сам же знаешь, Степан Егорыч, какие нонче времена! Вот он ушел от меня, а я вторую ночь не сплю, все думаю... А ну как выдаст, наговорит? Тут у нас разговор был один... Да и вообще он в обиде на меня. А тут, слышу, немец кричит.

Серьга Хахай громко захохотал.

Заулыбался и Бояркин.

— А мы так решили: заговорить по-русски — не откроешь, да и полицаи твой перепугаются, сиганет в окно. А по-немецки заговорить — откроете: как ни говори, а ты, Ерофей Кузьмич, их староста, а он полицаи.

В душе Ерофея Кузьмича ныло, болело, левое колено вздрагивало, в голове летали черные, как стая галок, мысли. Как, в самом деле, не бояться ему партизан! Ведь им неизвестно, что он предупредил деревню о предстоящем ограблении, ничего неизвестно и о его тайных думах. Им известно одно: он староста, он служит немцам, а своих людей, бойцов нашей армии, выгоняет из дома. И неспроста, конечно, зашли к нему партизаны...

— Какой я староста! — со стоном ответил Ерофей Кузьмич. — Так пришлось, Степан Егорыч! Жизнь закружила, вот что!

— Слаб, значит, что поддался ей?

— Старость же, сам знаешь!

Бояркин с удивлением увидел, как у гордого и властного Ерофея Кузьмича появилось на лице жалобное выражение.

— Да ты спроси у народа: какой я староста, прости господи! продолжал Ерофей Кузьмич. — Я только значусь старостой, вот что! Весь народ знает: я никакого зла деревне не сделал. А теперь я так решаю: пойду и прямо скажу, что не желаю быть в этих самых старостах, будь они трижды прокляты! Пусть как хотят казнят, а против народа я не пойду, вот и все!

Бледное, худощавое лицо Бояркина опять осветилось мягкой и живой улыбкой.

— Нам все известно, — ответил он. — Все. А старостой тебе, Ерофей Кузьмич, все-таки придется быть!

— Это почему же? — Забываясь, Ерофей Кузьмич сразу повысил голос до той привычной ноты, на которой говорил прежде. — Нет, не желаю! И ничего они со мной не сделают! Я человек

старый и хворый, а на этой должности надо бегать собакой, высунув язык! Ты, Степан Егорыч, не можешь даже понять, какая это трудная должность, хотя ты всегда и был на должности! Э-э, когда народ со всех сторон подпирает тебя, тогда можно сидеть на должности! Ты вот, Степан Егорыч, сколько сидел? То-то! А попробуй-ка сядь старостой! Нет, это не должность, а одно мученье! Откажусь, вот и все! Что они мне сделают? Я человек старый и хворый. А если что и сделают со мной туда мне, дураку, и дорога! Не оставайся тут с немцами, а уезжай, как народ!

— Конечно, должность твоя тяжелая, Ерофей Кузьмич, — согласился Бояркин. — Но пока тебе придется быть на ней.

— Ни за что! — отрезал Ерофей Кузьмич.

— Нет, будешь, — сказал Бояркин. — Я назначаю тебя, Кузьмич, старостой! Здесь мы хозяева, как и прежде, а не эти немцы... Так вот, я назначаю тебя старостой, и будь добр — выполняй мой приказ!

Несколько секунд в горнице стояла тишина.

Послышался шум самовара в кухне.

— Зачем ты надо мной смеешься, Степан Егорыч? — с горечью спросил Ерофей Кузьмич.

— Никакого смеха! — еще более серьезно заговорил Степан Бояркин. — С завтрашнего дня назначаю тебя старостой, понимаешь? И вот, Кузьмич, тебе приказ: оставить все болезни! Обязанности свои должен выполнять как следует. За тобой есть вина, знаешь? Качнулся было в сторону от народа, дал поганому червячку завестись в своем нутре... Теперь, раз понимаешь свою вину, должен искупить ее честной службой народу. А служить народу можно на любом месте, лишь бы служить честно, с открытым сердцем. Я тебе верю и думаю, что ты послужишь народу честно. Точно будешь выполнять все приказы. Конечно, не коменданта, а только мои... Не унывай, с работой справишься, если захочешь!

— Все понятно, Степан Егорыч, — сказал Ерофей Кузьмич тихо и взволнованно. — Все как есть. Ну что ж, спасибо за почет... Ты думаешь, старому дураку не приятно получить от тебя такое доверие? Верно, есть за мной вина, как перед господом говорю... Замутило в дурной башке! Каюсь, прошу простить, с кем чего не бывает, так ведь? Теперь я прямо скажу: постараюсь, все твои приказы выполню в точности! Сил у меня, слава богу, еще хватит! Я же еще не стар совсем и не хворый. Да я сейчас тридцать верст по

морозцу отмахаяю — и хоть бы что!

Серьга Хахай опять громко захохотал.

— Вот здорово, сразу помолодел!

— А чего ты смеешься? Раз такое дело, теперь эта должность для меня самая подходящая. Этого коменданта я могу вот так обвести вокруг пальца. Я ему что угодно наговорю — и глазом не сморгну!

Бояркин еще раз взглянул на часы.

— А кто теперь вместо Чернявкина?

— Никого еще нет. Кто же пойдет?

— Одному Лозневому трудно?

— Что ты, Степан, тут и двум-то нелегко!

— Да, вот и еще одна забота... — сказал Бояркин таким тоном, каким сказал бы, вероятно, волостной староста, опечаленный делами в Ольховке; затем он обернулся к Серьге Хахаю и вздохнул. — Придется, Сергей, тебе быть здесь полицаем.

Хахай даже вскочил со стула:

— Степан Егорыч!

— Какой я тебе Степан Егорыч? Забыл?

— Товарищ командир!

— Садись и слушай: назначаю тебя полицаем в Ольховке.

Серьга Хахай продолжал стоять. Длинная русая прядь, выбившаяся из-под серой мерлушковой шапки, спадала вдоль носа, прикрывая правый глаз с маленькой крапинкой бельма; левый глаз стрелой бил мимо командира.

— Волосы-то подбери, — сказал Бояркин. — Что распустил их? Заставлю вот всех стричь под машинку, как в армии!

Хахай убрал прядь, сказал мрачно:

— Товарищ командир, меня тоже...

— Не отравят, даю слово... Испугался?

— Да меня Ксютка...

— Смотри, ей ни слова! У девок язык длинный.

Степан Бояркин пригласил Серьгу Хахая сесть, и, когда тот, вздохнув со стоном, сел на прежнее место, сказал:

— Ты эвакуировался, но в дороге заболел и застрял где-то недалеко в деревне, а теперь тайно вернулся домой и живешь здесь уже больше недели.

— Товарищ командир! — взмолился Серьга. — Но я же комсомолец! Это все знают!

— Раскаялся, — сказал Бояркин хмуро, словно и в самом деле

был убежден, что Серьга Хахай сделал это. — Вступил в комсомол по молодости, по глупости, а больше потому, что пообещали дать хорошую должность в лавке.

— Это неправда!

— Это правда. Это может подтвердить староста.

— Ага, вот ты какой! — вступил в разговор Ерофей Кузьмич. — То все скалил зубы, а как до самого дошло — на попятную?

— Отвяжись!

— Значит, подтвердишь, Кузьмич?

— Обязательно! — пообещал Ерофей Кузьмич и почему-то даже скинул с плеч пиджак. — Я все сам сделаю, Степан Егорыч, даже не сомневайся! И тебе. Серьга, совсем нечего бояться, что ты в комсомоле! Сегодня как раз они по всей деревне расклеили объявления: зовут всех коммунистов и комсомольцев выходить из лесов, из разных тайных мест и являться на регистрацию. Кто придет за эти две недели, тому все прощается. Вот ты и придешь первым. Первого-то уж, понятно, не тронут ради агитации. А я тут как раз и подскажу: хорош, мол, парень, по глупости спутался с коммунистами, вот бы, мол, кого в полицаи! И сам он, дескать, хочет поработать, искупить свою вину. Я все сделаю.

Серьга Хахай понял, что действительно все можно сделать, и со стоном опустил голову...

— Ничего, Сергей. — Бояркин положил ему руку на согнутую спину. Ничего, ничего! На эту работу посылаю тебя от имени партии, ради народа... Хорошо понимаю, что нелегко тебе быть перед народом в роли предателя, но знай: это недолго! Да и неглуп наш народ, Сергей! Он сам все поймет! Ну, все! Желаю успеха! И тебе, Кузьмич, и тебе, Сергей!

Бояркин встал и еще раз взглянул на часы.

— Самовар, должно быть, готов, — сказал хозяин.

— Нет, не время, Кузьмич!

Только теперь Ерофей Кузьмич подумал: как все странно! В центре деревни — немцы, а у него, на краю, — партизаны. И Бояркин был в доме так долго, не выказывая никакого волнения, словно он зашел к нему, как в былое время, потолковать о колхозных делах. Пришел, потолковал, распорядился, как прежде, и вот идет куда-то дальше, конечно, по другим важным делам, исполнять которые обязывает его высокий общественный пост. «Вот сила! подумалось Ерофею Кузьмичу. — Да, вот она где, власть-то, вот где! Как была,

так и осталась!»

— Ну, я пошел, — сказал Бояркин. — Мне пора. Ты, Сергей, побудь пока здесь, а потом уйдешь домой. Только чтобы никто не видел. А к тебе я, Кузьмич, еще наведаюсь, потолкуем еще...

Над деревней загремели выстрелы.

Бояркин поднял к глазам часы.

— Что за черт! Неужели у меня отстали? — и быстро вышел из дома.

XVI

Схватка у комендатуры продолжалась недолго.

Пока Бояркин, а вслед за ним Костя с партизанами, стоявшими в охране вокруг лопуховского двора, задыхаясь, бежали на подъем, к центру деревни, вокруг комендатуры гремел бой. Группа партизан под командованием Крылатова окружила два дома, занятых комендатурой, и пустила в ход все свое оружие. После партизаны даже жалели, что на сонных и обезумевших гитлеровцев истратили так много патронов и гранат.

На подъем бежать было трудно. Бояркин задыхался, на ходу расстегивая ворот полушубка, в темноте сбивался с узкой тропки в глубокие сугробы и вновь, находя тропку, во всю мочь бежал вперед... Нет, он не боялся, что без него партизаны испортят дело. На него неожиданно возбуждающе подействовали звуки близкого боя; напряглись все нервы, гулко застучало сердце, зазвенело в ушах... У него мелькнула мысль, что, будь он непосредственно в этом первом партизанском бою, он, может быть, испытал бы совсем другие чувства. Но все же он с удовольствием, отметил про себя, что то состояние духа, какое вызвал у него бой, приятно ему тем, что как будто дает ему вместо его маленького — большое сердце...

Выбежав на площадь, где маячили в темноте старые березы, Бояркин понял, что партизаны уже в комендатуре. В разбитых окнах комендатуры за изорванной маскировкой мелькали огни. В соседнем доме, где жили немецкие солдаты, еще раздавались крики и короткие автоматные очереди. Около домов, перекликаясь, носились темные фигуры. Редкая стрельба шла на соседних дворах и огородах. Звуки выстрелов и человеческие голоса гулко разносились с высоты Ольховского взгорья.

— Фу, опоздали! — сказал Бояркин, останавливаясь.

— Шапочный разбор! — подтвердил Костя.

Они пошли к комендатуре шагом.

Встретив Бояркина у двери комендатуры, партизаны заговорили наперебой, крикливо, весело; они были точно в радостном, чудесном хмелю. Бояркин с удовольствием отметил, что даже те из партизан, которые в лагере казались скучноватыми людьми, теперь тоже кричали возбужденно и радостно. «Все ожили! Все другими стали! — подумал Бояркин. — Ну, теперь пойдет дело! Важно выиграть первый бой».

Сопровождаемый партизанами, Бояркин вошел в здание комендатуры хорошо знакомый ему дом правления колхоза. Здесь тоже гремели возбужденные голоса. При слабом свете сальных плашек партизаны обшаривали все углы и закоулки дома. Всюду были видны следы только что произведенного разгрома. Нары и отдельные койки из березовых кругляшей с неободранной берестой были поломаны и раскиданы. На полу среди соломы, одеял, шинелей и разорванных подушек, в пуху и тряпье валялись убитые гитлеровцы. Сильно пахло гарью и кровью.

Встретив Крылатова, Бояркин, показывая на наручные часы, сердито спросил:

— Чьи врут? Твои или мои?

— Выясним.

— Ну, берегись, если твои! — погрозил Бояркин. — А теперь — быстро к Чернявкиной.

...Дом Анны Чернявкиной оказался пустым. Постель хозяйки была измята, подушки раскиданы, посреди кухни опрокинутая лохань и ведро. Партизаны добросовестно обшарили с фонарями весь дом от подполья до чердака, обшарили все закоулки на дворе. Анны Чернявкиной нигде не оказалось. Заметив свежий след, ведущий от сарайчика на огород, партизаны бросились туда. Но след Анны, как говорится, давно простыл; он вел через весь огород, потом вдоль околицы, потом выходил на дорогу, идущую в Болотное.

Ругаясь, партизаны остановились у дороги, пригляделись к тускло сверкающей под бледной луной бесконечной снежной дали.

— Ушла, поганка!

— Да, здорово сиганула!

Возвращаясь обратно, Костя — это уже по своей инициативе — забежал в дом Чернявкиной, написал небольшую записку Лозневому и оставил ее на столе, прижав тяжелой деревянной

солонкой. В записке Костя обещал Лозневому в ближайшее время без всяких задержек отправить его на тот свет, как старого знакомого. Товарищам пояснил:

— Пусть готовится заранее, сволочь!

Шумно разговаривая, из комендатуры валил народ. Многие женщины несли валенки и шубы. Подростки носились, поминутно пересекая дорогу женщинам, и хлопали друг друга меховыми рукавицами. Кое-где слышался даже беззаботный девичий смех. За все время немецкой оккупации это была первая такая шумная и веселая ночь; вот так, бывало, весело расходился народ ополночь из колхозного клуба.

Группа женщин остановила Крылатова и Костю. Должно быть, они знали, что партизаны пошли искать Анну, и догадались, что эти двое — именно те, что искали. Располневшая пожилая женщина, шагавшая впереди, спросила простуженным голосом:

— Не нашли Анну-то?

— Сбежала, стерва! — ответил Костя.

— А-а, значит, в Болотное кинулась! Жаль, ребяташки, жаль! Мы, бабы, сами бы ей косы надрали да настыдили как следует суку поганую! Всех нас, женщин, осрамила!

— Догнать бы надо, — подсказала одна. — Сесть в сани — и за ней. Куда она денется?

В толпе заговорили:

— Ну, теперь жди их из Болотного!

— Да, теперь нагрянут!

В разгромленной комендатуре было пусто. Все партизаны, свободные от караула, сбились в соседнем большом и теплом доме. Степана Бояркина здесь не оказалось — пошел повидаться с семьей.

Крылатов спросил Костю:

— Знаешь, где живет?

— Найдем!

Степан Бояркин, одетый по-домашнему, в кофейной сатиновой рубашке без пояса, сидел в горнице за столом, держал на коленях маленького, около двух лет, белобрысого сынишку и кормил его жидкой пшенной кашей. Ребенок иногда вырывал у отца ложку и бил ею по тарелке или обмазывал кашей и губы, и нос, и щеки. Другой сын, лет пяти, белокурый и вихрастый, сидел рядом с отцом, счастливо поблескивая глазами, тоже ел кашу и иногда, преисполненный счастья, прижимался головой к боку отца. Лукерья

стояла на коленях у открытого сундука и выбирала белье для мужа; изредка, оборачиваясь к столу, она улыбалась, ласково ругала Степана за то, что он плохо смотрит за малым, и, начиная рыться в сундуке, роняла в него и счастливые и горестные слезы — и тех и других в равной доле...

Перед Бояркиным стоял хмурый, дико заросший волосами пожилой человек в распахнутом, заскорузлом полушубке; позади него — двое юношей, которым до призыва оставалось не менее года. Разговаривал с Бояркиным только пожилой; Крылатов и Костя сразу догадались, о чем речь: все трое просились в отряд.

Партизаны решили обождать на кухне.

— Чего же брать нам с собой? — спросил кудлатый мужик.
— Не на один же день, Степан Егорыч, идем!

— Побольше злости, — ответил Бояркин.

— Этого хватит, Степан Егорыч!

— А страх дома в подполье оставьте.

— Это тоже сделаем, — охотно пообещал кудлатый. — А все же, Степан Егорыч, надо по-хозяйски, а?

— Табаку побольше захвати.

— Я же, знаешь, некурящий.

— Другие курить будут. У нас плохо с табаком.

— Так это я найду. — Кудлатый обернулся назад. — У вас небось найдется, ребята?

Ребята в один голос, с двух сторон:

— Есть, найдем!

— Ну что ж, Степан Егорыч, благословясь, в путь?

— Собирайтесь, к рассвету уйдем.

Все трое вышли из горницы.

Надевая шапчонку, кудлатый весело подмигнул партизанам черным глазом под лохматой бровью.

— Принял!

Выслушав рапорт Крылатова, Бояркин сказал с чувством полного безразличия:

— А шут-то с ней! Я всего и хотел-то постыдить ее. Не будешь же руки об нее марать?

Он хотел побыть наедине с семьей.

— Идите пока, — сказал он. — Отдыхайте.

Но тут же остановил партизан:

— Видите, какие у меня сыновья? Этот уже букварь учит, в

профессора пойдет, а этот... видите, как работает ложкой? О-о, этот пойдет еще дальше!

Худое, бледное лицо Степана Бояркина вдруг посветлело, зарозовело, точно слегка тронутое теплой летней зарей.

Крылатов и Костя вышли из дома Бояркина с ощущением необычайной теплоты домашнего уюта, красоты и благородства семейной жизни. Они с удивлением видели, как семья и дети возвысили Степана Бояркина...

XVII

Около полудня в Ольховку прибыл немецко-фашистский карательный отряд. Вместе с гитлеровцами приехал и Лозневой. Но партизаны скрылись из Ольховки еще на рассвете. Каратели кинулись дальше, в деревню Рябинки, куда, по рассказам ольховцев, будто бы ушли партизаны. В Ольховке остался волостной комендант Гобельман с небольшой группой солдат для производства тщательного расследования дела. Остался здесь и Лозневой.

...В разгромленной комендатуре был найден связанный по рукам и ногам староста Ерофей Кузьмич. Связали старика партизаны перед уходом, по его же совету, чтобы ему легче было отвлечь от себя какие-либо подозрения. Но старику пришлось лежать связанным, в неловкой позе, на вонючей соломе несколько часов в томительном ожидании приезда гитлеровцев. В разбитые окна дуло и заносило снег, в комендатуре было холоднее, чем на улице. Партизаны связали на совесть, и Ерофей Кузьмич не мог шевельнуть ни ногой, ни рукой. Хорошо, что догадался одеться потеплее, но даже и в хорошей шубе да в теплых валенках коченело все тело. Как ни побаивался Ерофей Кузьмич встречи с гитлеровцами, но все же, корчась на соломе, ругался про себя: «Какого же они черта задерживаются? Ехали бы скорее, что ли!... Мысленное ли дело лежать столько на холоду?» Да и жутко было лежать в комендатуре. Вокруг — вороха соломы, куриное перо и трупы немцев... Думалось обо всем и казалось разное: один раз — будто пошевелился толстый комендант Квейс, в другой раз — будто застонал солдат у порога. Нелегко было и оттого, что в эти часы мук и волнений Ерофей Кузьмич не мог закурить, хотя, как человек предусмотрительный, захватил с собой полный кисет самосада.

За несколько часов Ерофей Кузьмич так измучился, что ему,

когда появились в комендатуре гитлеровцы, не потребовалось изображать себя несчастным: он и в самом деле имел вид совершенно несчастного, измученного человека. Увидев над собой Лозневого, Ерофей Кузьмич страдальчески сморщил посиневшее морщинистое лицо, будто сдерживал рыдания, и сказал с тяжким стоном:

— Повесить хотели!

В комендатуре шумели гитлеровцы, рассматривая закоченевшие трупы; немецкие голоса слышались и вокруг — на ближних дворах и огородах. Но несколько гитлеровцев (один из них — Гобельман) столпились около Ерофея Кузьмича.

— Кто же был-то? Кто? — спросил Лозневой.

— А кто их знает, кто они, — со слезной нотой в голосе ответил Ерофей Кузьмич. — Известно, бандиты, кто же еще может меня, старого человека, в петлю тянуть? О господи, руки-ноги занемели! Да развяжи ты, чего ты стоишь? Или не видишь, что со мной?

Связан старик был крепко, Лозневой едва распутал на нем многочисленные узлы. Присев на стул, Ерофей Кузьмич долго кряхтел, растирая руки и ноги, и еще раз, казалось, с трудом сдержал рыдание. Когда же он немного пришел в себя и закурил, Лозневой продолжал расспросы:

— Местные были?

— Здешние? Наши? Нет, наших никого не видел. Все больше в шинелях были.

— А Кости не было?

Ерофей Кузьмич понял, что здесь лгать нельзя, и ответил серьезно:

— Костя был, да! Он-то и нашел меня, стервец поганый! — Ерофей Кузьмич почувствовал, что произвел необходимое впечатление, и, смелея, заговорил оживленно: — Как поднялась в деревне стрельба, меня будто по темю кто стукнул: бандиты! На кого же еще подумать? Ведь слышно же, как разбойничают по деревням. Ну, думаю, эти они и есть, пришли из леса... Я той же минутой схватился да в погреб! А он у нас, сам знаешь, в каком закрытом месте, его чужому человеку сразу-то и не найти! Так они, бандиты, два раза приходили, весь дом и двор обыскали, все обнюхали, как псы... Найди они меня сразу, тут бы мне и каюк! А то они нашли-то меня совсем утром. Должно быть, Костя-то, стервец поганый, и вспомнил о погребе. Ну, слышу, опять идут, прямо к погребу, и голос

слышу Кости... Фу, даже вспомнить не могу: мороз по коже! Приволокли сюда, связали, бросили вон тут в угол... Фу, опять же не могу! Вот как было! А морды у всех страшные, черные, волосатые — одним словом, зверье! «Врешь, — говорит Костя, — от нас не уйдешь! Вот рассветет, соберем народ, устроим суд и вешать будем, как предателя». А потом, слышу, зашумели, загалдели на всю деревню. Видать, показалось, что немцы едут, и давай уносить ноги! Тем моментом один мордастый, как рванет дверь да из сенец два раза из пистолета. Прямо огонь в глаза! Даже шубу порвал, сволочь! Видишь?

— Много их было?

— Какое там! Десятка три, не больше!

Лозневой взглянул на Гобельмана.

— Это все они...

— Да, одна банда.

Ерофея Кузьмича отпустили домой.

Лозневой отправился в дом Анны Чернявкиной.

Сегодня перед рассветом Анна Чернявкина вместе с полицаем из соседней деревни приехала в Болотное ни жива ни мертва. Она ничего не могла рассказать толком о том, что случилось в Ольховке; она только догадывалась, что на комендатуру напали партизаны. Анна категорически заявила, что в Ольховку больше не вернется, и долго уговаривала Лозневого тоже покинуть деревню и перевестись на работу в Болотное. Когда Лозневой признался, что ему предложили служить волостным комендантом полиции и теперь все зависит от его желания, Анна настойчиво потребовала, чтобы он немедленно принял это предложение и навсегда распрощался с ненавистной Ольховкой. Но Лозневой выехал из Болотного, не успев решить, что делать: это повышение в должности ему льстило, но и пугало.

Лозневой решил собрать и подготовить к отправке в Болотное вещи Анны. На кухонном столе, под солонкой, он нашел письмо Кости. Несколько секунд Лозневой держал в дрожащих руках листок из маленького блокнота, потом сел у стола, схватился за узкий подбородок и долго недвижимо смотрел на застывшую лужу помоев среди кухни.

Он вспомнил тот день, когда дрался с Костей в кладовке лопуховского дома, когда Костя, уходя к партизанам, дал слово убить его. Раньше Лозневой не придавал большого значения этой, как он

считал, мальчишеской угрозе. Одно время, ничего не слыша о Косте, он решил, что тот ушел куда-нибудь из здешних мест. Но теперь Лозневой понял, что ему грозит большая беда. Теперь было ясно: Костя мог осуществить свою угрозу в любое время.

Надо было спасаться.

И здесь, в доме Чернявкиной, смотря на застывшую грязную лужу, Лозневой твердо и бесповоротно решил принять предложение Гобельмана и уехать в Болотное. «Служить так служить! — подумал он. — На побегушки найдутся поглупее меня!» Однако этого мало. В Болотном, где стоит большой немецкий гарнизон, жить, конечно, безопаснее, но и только. Чтобы жить совсем спокойно, надо уничтожить партизан. И он, Лозневой, ради своей безопасности должен помочь гитлеровцам уничтожить их. Он должен найти партизанское лесное убежище. Медлить нельзя ни одного дня, ни одного часа: за промедление и нерешительность можно поплатиться головой.

Лозневой вспомнил, как Марийка уговаривала его и Костю уйти к партизанам в лес, вспомнил ее слова: «Я не знаю, где они, но я сведу вас к одному человеку, а он — туда, к ним... он оттуда». Связь Марийки с партизанами, может быть и временная, была несомненной. Лозневой помнил об этом всегда, он не хотел выдавать Марийку. А теперь ничего больше не оставалось делать: надо было жить, а жизнь давалась нелегко...

Через полчаса Марийку арестовали и посадили под охрану в летнюю избенку на дворе комендатуры.

XVIII

Вечером в комендатуру пришел Ерофей Кузьмич.

Услышав об аресте Марийки, он сразу догадался, что ее выдал Лозневой, и сразу понял, что она погибла. Первой мыслью старика было: спасти сноху во что бы то ни стало! Но как спасти? Сколько он ни ломал голову, ничего придумать не мог. Жена и Васятка ревели в один голос, требуя от него каких-нибудь действий, а в нем точно исчезло все бывшее умение находить выход из самых трудных положений в жизни. Черная весть о несчастье снохи так ударила старика, что он вдруг растерялся, как мальчишка, и никак не мог обрести вновь прежнее спокойствие: он только теперь понял, что давно любит сноху большой отцовской любовью. Лишь вечером,

кое-как овладев собой, Ерофей Кузьмич решил сходить в комендатуру, чтобы узнать о судьбе Марийки и, может быть, хоть немного облегчить ее участь.

Лозневой и несколько немецких солдат сидели в разгромленной комендатуре. Окна в ней были заложены подушками и занавешены одеялами, нары исправлены и застланы свежей соломой. Плотнo окружив маленький стол, все ужинали, торопливо разрывая на части вареных кур и с треском разгрызая их кости. Узнав старосту, немцы пригласили его к столу, но Ерофей Кузьмич вежливо отказался, стряхнул с шапки снег и присел на корточки у дверей, как любил, бывало, сиживать вечерами в правлении колхоза.

Подошел Лозневой. Он догадался, зачем в позднее время появился в комендатуре Ерофей Кузьмич, и молча присел на нары. Струи табачного дыма застилали его лицо и глаза, но Лозневой почему-то даже не разгонял их перед собой...

Ерофей Кузьмич спросил, с трудом сдерживая кашель:

— Ну, как она, а?

— Ничего не говорит, — сухо ответил Лозневой.

— Так, может, она ничего и не знает?

— Знает она! Помните, Костю отправила?

Ерофею Кузьмичу захотелось выпытать, что делали немцы с Марийкой, и он предумышленно посоветовал:

— Попугали бы, вот и скажет!

— Напугаешь ее! — Дымок от папиросы Лозневого отнесло в сторону, и Ерофей Кузьмич с содроганием увидел, как блестят железные глаза полица. Ее не только пугали! Хоть бы одно слово! Ее даже ставили к стенке и стреляли холостыми. Упала, а все молчит! И зачем ей нужно было связываться с этой шантрапой? Зачем?

У Ерофея Кузьмича показались слезы.

— Как ни говори, а родная, жалко, — сказал он, оправдывая свою слабость.

— Какая может быть жалость? — зло ответил Лозневой. — Все пошло зуб за зуб! Она вас не жалела, когда хотели повесить?

— Все же родная, — повторил Ерофей Кузьмич, смахивая со щек слезы. Я вот о чем хотел посоветоваться с тобой: может, мне ее попытать, а?

— Как же это?

— А вот пойду к ней и поговорю. По добру поговорю, растолкую! — У Ерофея Кузьмича вдруг высохли слезы, около

вспыхнувших глаз точно внезапно уменьшилось число морщин. — Да, да, именно растолкую! Она же знает, что я ей добра желаю. Так и скажу: «Брось ты, мол, Манька, выдай их, стервецов, скажи, где они прячутся, — и дело с концом, сама страдать не будешь!» Ей-богу, я ее по-родственному уговорю!

Лозневому, должно быть, понравилась мысль старика; он поднялся с нар, прошелся мимо стола, за которым все еще молча трудились над разной снедью немецкие солдаты. Поднялся и Ерофей Кузьмич.

— Конечно, как посоветуешь, тебе видней, — продолжал он, когда Лозневой, думая, остановился около нар. — Только, ей-богу, жалко же, вот что! Баба молодая, а от такого допроса все с ней может быть... Она упорная, род у них такой твердый. Уперлась, и теперь ее ничем не возьмешь, верь моему слову! Ее надо только лаской! Вот я поговорю с ней, растолкую все, и она, убей меня бог, все расскажет! Что ей, на самом деле, из-за них погибать? Какая они ей родня?

— Слушай, Ерофей Кузьмич, — сказал Лозневой, — а ведь это у тебя хорошая мысль! В самом деле, почему не попытаться? Может, и скажет, а?

— Обязательно скажет! Уговорю!

Лозневой сходил в соседний дом к волостному коменданту Гобельману и доложил ему о предложении старосты. Гобельману тоже понравилось предложение Ерофея Кузьмича, и его тут же провели в маленькую летнюю избенку, где сидела под стражей Марийка.

...Вернулся Ерофей Кузьмич оттуда очень скоро. С трудом найдя в темноте скобу и открыв дверь, он тяжело, согнувшись, точно под тяжелой ношей, переступил порог. На его глазах сверкали слезы.

— Родная ведь, — ответил он на вопрошающие взгляды, прижимаясь спиной к стене, чтобы удержаться на ногах, и обтирая шапкой страдальческое лицо.

— Что такое? Что случилось? — воскликнул Лозневой.

— Умом тронулась, чего же боле! — прошептал Ерофей Кузьмич, тяжело посапывая. — Молодая же... много ли ей надо? От такого допроса...

Лозневой и Гобельман вышли из комендатуры. Ерофей Кузьмич, выйдя за ними следом, видел, как они опасливо, не переступая порога, заглядывали в избенку, где сидела Марийка. Из плохо освещенной фонарем избенки доносился визг и смех. Лозневой

что-то спросил Марийку, но тут же отпрянул от порога и захлопнул дверь. Невысокий, плотный Гобельман круто обернулся всем корпусом и сказал:

— Убрать этот идиот! Фу!

Он хотел добавить еще, что не будет больше заниматься с этой женщиной, марать о нее своих рук, но не нашел нужных слов и поэтому брезгливо показал, что отряхивает свои пальцы. Буркнув что-то часовому по-немецки, Гобельман быстро пошел в комендатуру.

Вслед за комендантом быстро пошел и Лозневой; проходя мимо Ерофея Кузьмича, он бросил коротко:

— Забери ее!

Лозневой был уверен, что если Марийка знала, где скрываются партизаны, то еще лучше знала это ее мать. Но все же он выдал Марийку, надеясь, что от нее можно легче добыть необходимые сведения. Когда же пришлось отпустить Марийку, Лозневой, догоняя Гобельмана, решил было предложить немедленно арестовать Анфису Марковну, но, пока поднимался на крыльцо комендатуры, передумал: если Марийка ничего не сказала, то от Макарихи тем более нельзя ждать каких-либо признаний. Лозневой уже знал твердость ее характера и поэтому трезво рассудил: трогать Макариху пока нельзя, необходимые сведения от нее надо добыть не силой, а хитростью. До поры до времени Лозневой решил ничего не говорить Гобельману о своих замыслах: борьба с партизанами, как он начинал понимать, дело не одного дня, а потому вести ее надо осмотрительно и безошибочно. Он был уверен, что в ближайшее время сама жизнь подскажет, как обмануть Макариху, и тогда с партизанами будет покончено одним ударом.

Ночь была туманная. Легко метелило. Как всегда в последнее время, деревня казалась опустошенной жестоким мором: всюду тьма и глушь. Только легкая метелица шарила вокруг домов и строений да каталась по сугробам вдоль улиц...

У ворот родного двора Марийка остановилась и, дрожа, потянулась рукой к Ерофею Кузьмичу; запорошенный снежком, он стоял перед снохой, тяжело дыша после быстрой ходьбы.

— Спасибо, папаша! — сказала Марийка быстрым шепотом.
— Не забуду!

— Что ты, родная ведь!

— Вы не ходите к нам, не надо, — продолжала Марийка. —

Так лучше. Я вот что вас попрошу сделать: зайдите к Ульяне Шутяевой и скажите, чтобы она сейчас же бежала к нам, сейчас же! Надо поговорить. Нам ведь оставаться здесь больше нельзя. В любую минуту могут прийти за мамой. Мы сейчас же соберемся и уйдем.

— Туда? — спросил Ерофей Кузьмич.

— Туда.

— Метель, пожалуй, разойдется.

— Это ничего! Все это ничего!

— Ну, с богом, счастливого пути!

Марийка взялась было за скобу калитки, но тут же оторвалась, сказала свекру, с трудом сдерживая голос:

— Я горю вся! Я теперь сама себе страшная!

Сегодня они виделись и разговаривали впервые после того, как Марийка внезапно ушла из лопуховского дома. Около месяца они жили, как чужие, стараясь даже не вспоминать друг друга, но жизнь заставила их встретиться вновь, и эта встреча была началом их новой, большой дружбы.

— Да, вы ведь до сих пор не знаете, что Лозневой обманул? — вдруг вспомнила Марийка, второй раз отрываясь от калитки. — Пойдемте, я все расскажу дома...

XIX

Узнав о том, что Лозневой обманул, рассказав небыль об Андрее, Ерофей Кузьмич со всех ног бросился домой. Почти до рассвета взволнованная лопуховская семья не смыкала глаз; на все лады проклинали Лозневого, вспоминали Андрея, со слезами мечтали о возвращении его с армией в родную деревню.

Утром Ерофей Кузьмич пришел в комендатуру, где вместе с гитлеровцами ночевал и Лозневой. За ночь старик так возненавидел Лозневого, что ему стоило немалых усилий сдержать свою ненависть при этой встрече. Но старик сдержался: теперь он обязан был думать не только о себе и своей семье, но и о том большом деле, которое поручили ему партизаны. Все же, как никогда, его лицо при этой встрече было темным, брови сжаты и опущены, а на скулах нет-нет да и обозначались желваки: любой мог заметить, что у старика мутно на душе.

— О чем задумался так? — спросил его Лозневой.

— Мне есть о чем думать, — не сразу, с необычной

мрачностью ответил Ерофей Кузьмич, присаживаясь у стола, за которым Лозневой что-то писал в блокноте. — Вот теперь, скажем, уедут немцы и ты с ними, раз повышение получил, а мне как быть? Комендатуры не будет, а мне каждую ночь смерти дожидаться?

— Нечего их бояться, этих бандитов! — сказал Лозневой. — Больше они сюда не придут!

— А вдруг опять придут?

— Тебе говорят, не придут! И не ной! Ты вот лучше подумай: кого поставить на мое место? Сегодня же надо найти!

— Кто же это пойдет на твое место? — мрачно, скривив в усмешке губы, ответил Ерофей Кузьмич. — Знаешь ведь, какая бешеная работа! Да и должность опасная, чего там лишнего говорить! Того и гляди окажешься на березе... Вот так, Михайлыч, верь слову, любой и каждый думает! Нет, на такую должность охотников мало! Да и кому у нас в деревне? Сам знаешь, одни старики да малолетки.

— Где же найти? Надо ведь человека!

— Надо-то надо, а где его найдешь?

С минуту Ерофей Кузьмич молчал, искоса, испытующе поглядывая на погруженного в раздумье Лозневого. Точно рассчитав секунды, как при выстреле по летящей птице, он вдруг сообщил тихонько:

— Тут, правда, появился один паренек. Позавчера, как ты уехал в Болотное, мать ко мне присылал: просит, дескать, прощения у новой власти и все прочее...

— Кто он?

Ерофей Кузьмич неторопливо рассказал ту версию о Сергее Хахае, какую придумал Степан Бояркин, но гораздо подробнее и ярче.

— Чего же он боится? — спросил Лозневой.

— А шут его знает! — Ерофей Кузьмич даже махнул рукой, подчеркивая этим, что совершенно безразличен к судьбе Хахая. — Я тоже говорил матери: чего ему бояться? Молодой, дурак был, вот и все... Он, видишь ли, в комсомоле состоял! А какой он там комсомолец? Какая может быть у него идея, раз у него недавно высохло на губах материно молоко? Пообещали должность в лавке — вот и вступил. Потянуло к легкой работе, только и всего...

— О регистрации коммунистов и комсомольцев он знает?

— Вот именно знает, потому и решил объявиться! А еще побаивается: верить или нет? — Ерофей Кузьмич помахал рукой,

разгоняя дым. — С матерью передавал: перевоспитался, дескать, вчистую... А мать христом-богом просит! Конечно, хоть он и глупый парень, а жалко.

— Согласится он? — осторожно спросил Лозневой.

— А куда ему деваться? Его и припугнуть, я думаю, можно. Раз ты перевоспитался, то докажи на деле! Я так понимаю.

Словно раздумывая вслух, Лозневой сказал:

— Это чепуха, что он был в комсомоле. Таким, кто искренне раскаивается в прошлых ошибках, везде дорога.

— Конечно, тебе теперь, в такой-то должности, виднее... — смиренно польстил Ерофей Кузьмич. — Конечно, я понимаю, оно и тут политика... Гляди, гляди, сам соображай, все в твоей власти.

Да, это было теперь в его власти. Теперь он волостной комендант полиции — может назначать и снимать любого полицая по своей воле. Лозневой впервые хорошо почувствовал, как изменилось его положение, и ему понравилась эта коренная перемена в жизни. Втайне сознаваясь себе в том, что ему приятно вот сейчас же попробовать на деле свою власть, он встал и сказал тем тоном, каким разговаривал когда-то в армии:

— Веди его!

...Серьга измучился за сутки.

После того как партизаны покинули деревню, а он остался дома, он никак не мог отбиться от недоуменных расспросов тетки и сестры. Но когда они заподозрили его в дезертирстве из отряда, он понял, что ему не избежать откровенного признания; взяв с родных клятву, он рассказал им о полученном задании. Тетка Серафима Петровна и старшая сестра солдатка Елена вначале перепугались и заохали, но затем, видя, что этим совсем убивают Сергея, стали ободрять его, как могли.

— Вам хорошо подбадривать! Вам что! — заворчал на них Серьга, кося правый глаз и встряхивая свисающий русский чуб. — Вам хорошо рассуждать: иди! Конечно, когда я стану полицаем, тогда я плевал на него! Я им наработаю! Я им такое отмочу, что они кровью рыгать будут! Они еще узнают меня!

Тетка и сестра воскликнули в один голос:

— А что ж ты боишься?

— Я? Боюсь? Испугался я такого выродка, как этот Лозневой. Да и немцев тоже. Не очень-то они храбрые, чтобы их бояться!

— А не боишься, так нечего зря ныть и тоску на себя

нагонять, сказала Серафима Петровна. — Иди — и все, раз велено! Приказ так приказ: что сюда, что в бой...

— Понимаете вы! — Хахай совсем озлобился. — Да я в любой бой пойду и глазом не моргну! А тут... Эх, лучше и не вспоминать! Да вы понимаете, что он может от меня потребовать? А вдруг он скажет: «Отрекись от партии, от комсомола!» Может потребовать, раз явился? Может! А что мне тогда делать? Разве я снесу это? Разве я могу сказать такое? Да у меня язык не повернется даже для обмана сказать такие слова! Лучше я сам в петлю полезу, чем сказать это... — Серьга остановился, казалось, проглотил что-то, и глаза его вдруг налились слезами. — Не сказать мне этого... А потребует — тогда конец: я ему на том же месте всю морду расшибу! Я из него омлет сделаю! Перед таким подлецом, перед таким предателем, пусть и для конспирации, да я буду отречься от партии и комсомола? Никогда!

Но произошло все гораздо проще. Пришел Ерофей Кузьмич, пересказал разговор с Лозневым и предложил Серьге вместе с ним немедленно отправляться в комендатуру. Когда же Хахай высказал предположение, что Лозневой потребует отречения от партии и комсомола, Ерофей Кузьмич даже захохотал.

— Какое отречение? Хэ! Когда ему требовать? Вот удумал! Стой ты, стой и слушай меня! — И он подсел к мрачному, косо поглядывающему Серьге. Пока мы с ним-то, с Лозневым-то этим, вели разговор, подъехали немцы. Целый обоз. Ну, те, что за отрядом гонялись. Приехали, понятно, ни с чем, злые, как черти! Сейчас укладывают на сани всех побитых и торопятся в Болотное. И Лозневой с ними. Когда ему тебя допрашивать? Когда ему требовать от тебя отречения? Только бы скорей унести ноги. Одна минута разговора — и все в порядке, и ты на должности. Держись смелее — вот и все! Он сам боится, что ты откажешься. Никого же нет в деревне, а человека... то есть, сказать вернее, полица, надо, непременно надо! Да не коси ты своим дурным глазом, собирайся живо, и пошли, а то уедут! Возьмут и пришлют чужого, а тебе потом влетит от Степана. Какой же ты дурной, а?

— Ладно, пошли! — согласился наконец Серьга.

Пришел Серьга Хахай в комендатуру бледный и мрачный: он все еще втайне ожидал, что Лозневой потребует от него невозможного. Но этот его вид как нельзя лучше сделал свое дело: Лозневой счел, что парень действительно страдает от искреннего

раскаяния за грех своей молодости. Целясь в Серьгу из-за стола острыми, как осколки, глазами, он спросил:

— Что мрачный?

— Радостей мало... — угрюмо ответил Серьга; чувствуя толчки Ерофея Кузьмича в бедро, он подошел к столу ближе, снял шапку. — Не очень весело...

— Говорил с тобой Ерофеем Кузьмич?

— Говорил...

— Я все обсказал ему, — доложил Ерофей Кузьмич.

— Ну как, будешь служить?

Серьга помедлил с ответом, помедлил лишнего, и Ерофей Кузьмич даже покашлял от досады. За эту секунду промедления Серьга успел увидеть, с какой поспешностью собирались гитлеровцы в путь: одни быстро, жадно жевали куски хлеба и мяса, другие вытаскивали из комендатуры оружие и разные вещи, третьи выводили со двора лошадей, запряженных в сани... Серьга поглядел на немцев-карателей, вздохнул и сказал вдруг независимо:

— Что ж, это можно...

— Он согласен, согласен, — подтвердил Ерофей Кузьмич.

— А зарплата, извиняюсь, какая будет?

— Привык к зарплате? — съязвил Лозневой.

— У меня запасов нет. Чем жить?

— Без куска хлеба сидеть не будешь.

— На этой работе мало одного куска хлеба, — все смелея и наглея, заметил Хахай. — Они вон и мясо едят...

— Все будет, не торгуйся.

— Уговор дороже денег.

— Раньше вот так же нанимался?

— Там была зарплата. Дело точное.

— Расчетлив ты, как американец!

— А как жить без расчета?

Ерофей Кузьмич даже взомлел от этого разговора.

— Брось ты. Серьга, что ты торгуешься? — И добавил, подумав: — И к большевикам пошел за деньги, и тут все тебе дай. И в кого ты уродился такой? Вот хапуга, право слово!

— Всяк живет, как может, — ответил на это Хахай.

— Научили тебя большевики жить! — злобно косясь, сказал Лозневой. Хорошую из тебя сволочь сделали! Видал, Ерофей Кузьмич, как рассуждает? А ведь еще молод! С такими замашками

ты, безусловно, нас переживешь!

— Меня-то точно переживет! — сказал Ерофей Кузьмич.

— Да и меня! — добавил Лозневой.

— Все может быть. — Серьга мирно вздохнул. — Закурить не разрешите?

Комендатура опустела. Выглянув в окно на улицу, где скучился обоз, Лозневой тоже заторопился в путь.

— Так вот, — сказал он Серьге Хахай и Ерофею Кузьмичу, застегивая полушубок, — ваша задача... Впрочем, это известно: точно выполнять все распоряжения волостной комендатуры. Служите... и чтобы в деревне был полный порядок!

— Это можно, — ответил Хахай. — Порядок будет.

— Как положено, — подтвердил Ерофей Кузьмич.

Отряд гитлеровцев тронулся в Болотное. На последних санях, загруженных мерзлыми трупами, кое-как прикрытыми шинелями, в самом задке примостился и волостной комендант полиции Лозневой.

Ерофей Кузьмич и Серьга Хахай, как заставляло их служебное положение, почтительно проводили отряд. Когда отряд скрылся за околицей, они отвернулись от запада и улыбочиво поглядели друг на друга.

— Ну, как дела, господин полицай?

— А твои как, господин староста?

Улыбаясь, они стояли на дороге, а вокруг них, над всей деревней, заваленной сугробами снега, тихо и величаво, как в любое мирное морозное утро, поднимались, точно в чудесном дворце, колонны дыма...

XX

На следующий день, 14 ноября, несколько колхозников, бродя по колено в рыхлом снегу, валили в роще у Болотного молодые прямоствольные березы. Все работали молча и угрюмо: эта светлая, радостная роща была излюбленным местом отдыха и развлечений жителей районного центра. Болотовчане берегли здесь каждое деревце как зеницу ока — и для себя и для потомства... Чернявый быструглазый мальчуган, помогавший взрослым в работе, на комле одной из сваленных берез обнаружил старый, вырезанный ножом и уже заросший, но четкий рисунок сердца. Он с удивлением спросил одного из взрослых:

— Дядя Семен, что это?

Дядя Семен взглянул на рисунок, разом воткнул в свежий пенек топор и почему-то высоко поднял глаза. Осмотрели рисунок и другие колхозники. Все они вдруг увидели любимую рощу, полную тихого света и яркой весенней зелени, и один из них ответил мальчугану ласково и грустно:

— Это, милый, сердце...

Мальчуган хорошо почувствовал в голосе старшего грусть — она была сродни его грусти, и спросил, сдерживая волнение:

— И зачем им сдались эти березы?

— Надо, милый, надо!

— А зачем? — упрямо повторил мальчуган.

— На кресты.

— На какие кресты?

— Для немцев...

— Для убитых? Которых вчера привезли?

— Для них.

— А что ж, тогда надо! — вдруг трезво рассудил мальчуган и посмотрел на взрослых, как равный на равных, хотя это и трудно было делать ему с высоты его роста.

Один из взрослых спросил, смотря в землю:

— Семен, может, хватит?

— Нет, вали еще, — грустно ответил Семен.

— Куда еще? Гляди, сколько навалили!

— Еще надо, — повторил Семен. — Что же, по-твоему, каждый день сюда ездить? Запасти надо.

А еще через день на площади в Болотном, где раньше происходили праздничные митинги, появилось кладбище — новое немецкое кладбище, каких уже были тысячи на нашей земле. Над свежими могилами, припорошенными свежим снежком, ровными рядами стояли березовые кресты...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

В штабе командующего армией генерал-лейтенанта Рокоссовского 11 ноября состоялось совещание командиров

стрелковых дивизий, танковых бригад и других соединений.

На фронте в последние дни стояло затишье.

Немецко-фашистская армия, истощенная и обескровленная за период октябрьского наступления, не проявляла активных действий. Но данные разведки говорили о том, что гитлеровское верховное командование усиленно готовится к новому наступлению. В потрепанные гитлеровские дивизии ежедневно прибывало пополнение. Одновременно появлялись и новые части. Только накануне совещания в район села Каменка прибыла 5-я танковая дивизия, недавно воевавшая в Африке и все еще не успевшая переокрасить свои танки: в отличие от танков других дивизий они были выкрашены в желтый, песочный цвет пустыни. Все это означало, что второе немецкое наступление на Москву может начаться в ближайшие дни.

Надо было готовиться к отражению нового натиска врага. Наступали дни, когда решалась судьба Москвы.

На совещании у Рокоссовского стоял вопрос об улучшении оборонительных позиций армии. Линия ее обороны на 11 ноября проходила северо-восточнее Волоколамска, недавно занятого немцами, пересекала Ржевскую железную дорогу у разъезда Дубосеково, а затем, извиваясь, уходила на юго-восток, но вдруг круто заворачивала на север — к Волоколамскому шоссе. Здесь противник вбил клин в левый фланг армии. Деревня Скирманово находилась на острие, этого клина. Отсюда гитлеровцы из дальнобойных орудий обстреливали даже Волоколамское шоссе. Отсюда им легче всего было вырваться на шоссе в районе поселка Ново-Петровское, выйти в тыл основным силам армии Рокоссовского и двинуться к Москве. Здесь, в районе Скирманова, гитлеровцы сосредоточили до пятидесяти танков, много артиллерии и пехоты. Поэтому ликвидация немецкого клина у Скирманова являлась очень важной и неотложной задачей армии.

Выполнение этой задачи возлагалось в основном на 4-ю танковую бригаду полковника Батюкова и стрелковую дивизию Бородин. Утром Бородин и Батюков провели рекогносцировку в районе Скирманова, где должен был произойти бой, и теперь могли предложить свое решение этого боя.

Рекогносцировка, быстрая езда по заснеженным подмосковным полям и лесам, мысли о предстоящем бое — все это сильно волновало молодого, энергичного Батюкова. Когда же

Батюков появился в штабе армии, ему сообщили, что Советское правительство присвоило ему звание генерал-майора и за образцовое выполнение заданий командования наградило орденом Ленина. Это сообщение еще больше взволновало командира танковой бригады.

Он докладывал горячо, убежденно; вдохновенно приподнятое лицо молодого генерала густо рдело, подвижные брови часто взлетали, точно он все время пытался заглянуть куда-то далеко вперед...

Многие командиры познакомились с Батюковым только в конце октября, когда он со своей бригадой прибыл в армию Рокоссовского из-под Орла. Всем командирам очень нравился молодой генерал, обнаруживавший хорошее знание военного искусства, живость и сдержанную горячность, которые, безусловно, необходимы на войне.

Особенно приятные чувства, смотря на Батюкова, испытывал самый пожилой на совещании человек — генерал Бородин. Это происходило не только потому, что он, Бородин, встретил на войне еще одного талантливый командира и хорошего человека, каких встречал много, и не только потому, что завтра предстояло воевать вместе с Батюковым и, следовательно, узнать его в бою. Приятные, приподнятые чувства генерал Бородин испытывал главным образом потому, что был значительно старше всех по возрасту и с вершины своих лет лучше других видел, какие командиры рождались в Советской стране, — не только нового душевного склада, нового мировоззрения, но и совершенно новой военной науки — необычайно мудрой, смелой и вдохновенной. И генерал Бородин, держа в руках газету, где сразу были помещены два правительственных документа о Батюкове, с восхищением слушал молодого командира и думал о том, что вот такие молодые советские военачальники уже успешно бьют гитлеровцев и, несомненно, будут победителями в этой войне.

Выслушав Батюкова, Рокоссовский неожиданно занялся бумагами, которые положил перед ним начальник штаба армии Малинин. Генералы сочли это передышкой в совещании. Бородин, Панфилов и Доватор, со всех сторон склоняясь к Батюкову, шепотком заговорили о его докладе.

Отвечая тоже шепотком на замечания, волнуясь, Батюков, сам того не желая, потянул из рук Бородина газету, где были напечатаны о нем правительственные документы.

— Да, да, возьмите, — тихонько сказал Бородин.

Батюков увидел, что вытащил из рук Бородина газету, и тут же вернул ее обратно.

— Нет, это ваша, Михаил Ефимович, вы возьмите, не стесняйтесь, просто и ласково сказал Бородин. — Знаете, память... Получить звание генерала сейчас, вот в эти дни под Москвой, большая честь! Большое доверие!

Рокоссовский оторвался от бумаг.

Совещание продолжалось.

Выслушав Бородина и начальника штаба армии Малинина, Рокоссовский нагнулся над картой, разостланной на столе, взялся за карандаш и по привычке задумался, прежде чем сказать свое слово.

Пока Рокоссовский думал, все сидели в молчаливом и напряженном ожидании, почему-то следя не за выражением лица командующего, а за направлением его остро зачиненного карандаша. За окнами большого каменного дома, в котором проходило совещание, косо проносило крупные снежинки; ими засеивало стекла и ветви молодых елок во дворе.

— Итак, всем ясна основная задача боя за Скирманово, — заговорил Рокоссовский, бросая карандаш на карту и быстро вскидывая светлый, но утомленный взгляд. — Мы должны улучшить свои позиции и нанести противнику такой удар, чтобы предупредить его активные действия на этом участке фронта. Повторяю: это основная задача. Но это не все, что может дать нам завтрашний бой. Далеко не все! Проводя вот такие бои, какой задуман нами на завтра, мы учимся наступать, товарищи! Учимся все — от солдата до командарма. Такой наступательный бой — университет наступления. Не сомневаюсь, что недалеко то время, когда мы должны будем опрокинуть врага. И поэтому уже сейчас, обороняясь, мы должны практически готовиться к наступлению...

Неожиданно Рокоссовского пригласили в аппаратную: на проводе Москва. Рокоссовский быстро поднялся и вышел из кабинета.

Через полчаса он вернулся, обвел всех разгоряченным взглядом, два раза молча раскинул руки, видимо до предела пораженный тем, что произошло, и взволнованно воскликнул:

— Какой день! Великий день!

Он быстро подошел к Батюкову, обнял его и трижды поцеловал, как солдат солдата в час победы.

— Еще раз, второй раз за один день, поздравляю тебя,

дорогой Михаил Ефимович! — сказал он растерянному Батюкову и обратился ко всем: — И вас всех, дорогие друзья, тоже поздравляю! Сегодня свершилось историческое событие: положено начало созданию советской гвардии! Михаил Ефимович, ты и твои танкисты — первые наши гвардейцы!

II

Гитлеровцы, занятые подготовкой к новому наступлению, лишь изредка на утренних и вечерних зорях — бросали на наш передний край да в тылы несколько снарядов и мин, но словно бы только затем, чтобы напомнить: наступило затишье, а не конец войне. Наши батареи отвечали редко — берегли боеприпасы. Все эти дни дивизия Бородина занималась перегруппировкой частей и подразделений, укреплением позиций, наблюдением за противником, ремонтом оружия, подвозкой боеприпасов и продовольствия — словом, множеством самых различных дел, необходимых для того, чтобы в конечном счете успешно вести главное дело — уничтожение врага. На переднем крае активно действовали только снайперы. Из невидимых засад то и дело раздавались их меткие выстрелы.

В эти дни затишья майор Озеров очень тосковал о семье и родной Сибири. Как раз в это время он получил от жены сразу два письма.

Жена работала учительницей в Новосибирске, где Озеров служил в армии до поступления в академию. Она была весьма энергичной женщиной, способной и без мужа управиться с семьей, но Озеров понимал, конечно, что сейчас семье жить стало трудно, и, как ни утешал себя, беспокоился о ее судьбе.

Он писал жене пространный ответ. Теплые, ласковые слова лились и лились из-под пера, и не было им конца. Он писал — и перед его глазами стояла, как живая, вся семья: старая, но еще бодрая мать, жена с ребятами — Таней и Володькой. И будто бы стояли они на лесистом берегу широкой весенней Оби, а вокруг, куда хватал глаз, расстилались родные, любимые сибирские просторы.

Как долго он не видал семьи!

Как долго не был в Сибири!

Майор Озеров прожил там почти всю жизнь. Озеровы — старожилы Сибири. Их род раскинул могучие ветви по многим селам, расположенным у Касмалинского бора. Отец Озерова возвратился с

первой мировой войны большевиком, создал и возглавил в родном селе Совет, а когда летом восемнадцатого года белогвардейцы захватили власть, — стал командиром партизанского отряда в знаменитой партизанской армии своего друга-однополчанина Ефима Мамонтова. Через год отец, раненный в ногу, попал в руки белых карателей. На глазах односельчан белогвардейцы исхлестали его шомполами до потери сознания, а затем пристрелили. На другой день четырнадцатилетний Сережа Озеров был в отряде партизан. До зимы он носился по алтайским степям, участвовал в разгроме нескольких карательных экспедиций Колчака, а зимой, когда подошли части Красной Армии, вернулся домой.

После двухлетнего перерыва вместе с другими переростками Сережа вновь взялся за учебу, проявил в ней завидное упорство и в 1925 году окончил среднюю школу. После этого можно было жить и работать спокойно в родном селе, но Сергей Озеров долго метался, не находя себе дела по душе. Он работал то избачом, то учителем, то в волостном комитете комсомола — и везде был недоволен своей работой. Наконец, к удивлению родных, он пошел в военкомат, отказался от льготы и попросил отправить его в армию.

Так закончились его поиски любимого дела.

В армии он прошел путь от рядового до офицера, командира роты. Все это время он провел в Сибири. Только последние годы, когда учился в Военной академии, пришлось жить в Москве. Сразу после окончания академии он надеялся вернуться в родную Сибирь, где безвыездно жила его семья, но началась война, и его немедленно отправили на запад.

...Подробно описав, как полк встречал праздник 7 ноября на фронте, майор Озеров вдруг отложил письмо, позвал Петю Уральца.

— Дописали, товарищ майор? — радостно спросил Петя, выглядывая из своего отделения блиндажа, где он подогревал для командира полка обед. Если дописали, то надо обедать. Давно пора!

— Обедать? Можно и обедать.

Петя стал собирать на стол.

— Вот что, Петя, — сказал Озеров, — сейчас же узнай, приехал ли начпрод. Если приехал — немедленно ко мне.

Пришел начпрод Рубин.

Он был молод, чернобров и, как девушка, румян от мороза. Явился он в чистеньком беленом полушубке; поверх него ярко поблескивала новенькая портупея и кобура. Вскинув вытянутую

ладонь к шапке, отделанной красивым голубым мехом, Рубин отрапортовал мягким веселым баском — такой бывает у баловней судьбы.

— Ты все полнеешь? — спросил его Озеров.

Рубин ответил улыбкой.

— У нас в роду все такие, товарищ майор!

— Дело не в этом, я думаю, — заметил Озеров тихонько, перебирая на столике карты и бумаги. — Гляди, Рубин, как бы после войны не пришлось ехать на курорт. Ожирение — скверная болезнь.

— Товарищ майор! — заметно встревожился Рубин, понимая, куда поворачивает дело, начатое так спокойно. — Честное слово, я даже сам не знаю, с чего меня дуть так стало!

— А я знаю, — сказал на это Озеров. — От излишнего употребления весьма питательных веществ. Ведь ты, конечно, питаешься неплохо?

Рубин невольно взглянул на алюминиевую миску с остатками пшенного супа, стоявшую на краешке стола, и ему вдруг показалось, что он понял, зачем его вызвал командир полка. Обругав себя в душе за неосмотрительность по службе, он сказал:

— Извините, товарищ майор, но я не знал, что вас так плохо кормят. Я сегодня же отправлю для вас добавочные продукты.

— Отправишь?

— Так точно!

Озеров отодвинул бумаги.

— Если ты это сделаешь, — сказал он, скосив глаза на Рубина, — я тебя тоже отправлю... Понял? На передовую! Да, погоди-ка, любезный, ты не строевик?

— Никак нет, товарищ майор! — испугался Рубин.

— А по-моему, ты вполне бы мог командовать взводом: молод, силен, хорошо упитан. А на твое бы место постарше человека, а?

— Товарищ майор, я не могу, у меня звание...

— Интендантское? — Озеров прищурился почти ласково. — Это ничего! На войне важны не звания.

Начпроду Рубину стало нестерпимо душно в шубе. Его румяное лицо сплошь покрылось бисеринками пота.

— Ну, ладно, работай пока, — сказал Озеров. — Сам можешь кушать вволю, если не боишься потерять здоровье. Ну, а если узнаю, что промотал хотя бы кусок сала, — пеняй на себя. Разговор будет

короткий.

— Слушаюсь, товарищ майор!

— А вызвал я тебя по важному делу, — продолжал Озеров. — Сам-то кушаешь хорошо, а вот солдат кормишь неважно! Так вот, с сегодняшнего дня — строгое правило: ежедневно лично мне давать на подпись меню для всего полка! Без моей подписи не смей готовить пищу! А ты лично следи, чтобы в котлы закладывалась полная норма. Сам проверяй, доходят ли продукты, какие отпускаешь, до солдат, не растаскивают ли их по дороге двуногие крысы. Не сиди на месте, а носись, как говорится, колбасой по кухням и складам!

— Есть, товарищ майор!

Отпустив Рубина, Озеров взялся за письмо, но тут же оторвался и приказал Пете Уральцу:

— Позови Вознякова.

Пока не было комиссара, майор Озеров выполнял и его обязанности и уделял им не меньше внимания, чем своей непосредственной работе.

Секретарь партбюро Возняков сильно изменился за дни-выхода с территории, занятой оккупантами, а особенно за последние дни, когда полк Озерова встал на линии фронта под Москвой. Он как-то подтянулся, стал подбористей, строже — военная служба быстро обтачивала его со всех сторон, точно хороший гранильщик угловатый камень. Озеров заметил это и всеми мерами старался помочь Вознякову освоиться с трудными условиями партийной работы на фронте — он надеялся, что из Вознякова выйдет хороший секретарь партбюро: относился он к своему делу искренне и с большой любовью.

Озеров встретил Вознякова приветливо.

— Садись. Куда собрался?

— В первый батальон, товарищ майор.

— Очень хорошо, что стал частенько ходить к солдатам, — сказал Озеров, откладывая недописанное письмо и осматривая усталое, с усталыми серыми глазами и опавшими щеками лицо секретаря партбюро. — А то у нас некоторые политработники во время боя говорят: «Какую политработу можно проводить среди солдат, когда своего голоса не слышно?» А затихнет — опять стараются отсидеться на командных пунктах. Дескать, солдатам нужен отдых после боя, до бесед ли им? О чем же думаешь

беседовать с солдатами?

Возняков собирался провести беседы с агитаторами и помочь им советом в их работе.

— Очень хорошо! — одобрил Озеров и горячо, обстоятельно заговорил о том, как надо, по его мнению, проводить беседы, чтобы до каждого солдатского сердца доходило большевистское слово.

— Теперь вот что, Тихон Матвеич, — сказал в заключение Озеров, — я считаю, что мы плохо ведем прием в партию. Да, это я знаю. Только примешь человека, а его убило... Это я все знаю! Но все же, к сожалению, мы принимали далеко не всех, кто стремится в партию. Ты знал минометчика Свиридова? В кармане у него нашли заявление, написанное перед последним боем. Так вот, почему этот Свиридов, коммунист в душе, не успел оформиться в партию? Только по нашей вине. Надо больше думать о таких людях. Дай сегодня задание всем коммунистам — пусть помогут таким, как Свиридов, вступить в наши ряды. Война, дорогой Тихон Матвеич, особенно крепко породнила народ с партией!

Только Озеров отпустил Вознякова, настойчиво позвонил телефон. Звонили из штадива: в 16.00 майор Озеров должен быть на совещании у генерала Бородина. «Да, завтра бой...» — подумал Озеров. Он немедленно отправил Петю сказать коноводу, чтобы запрягал лошадей, а сам сел дописывать письмо Танюшке.

Озеров писал дочурке крупными печатными буквами. В письме содержались главным образом советы и наказы отлично учиться, слушаться маму и бабушку, не обижать маленького Володю и не отмораживать нос и щеки по дороге в школу или из школы домой.

Запечатав наконец письмо, Озеров долго сидел в глубоком молчании, опустив лоб на подставленную ладонь, и сосредоточенно всматривался в ровные сохнувшие строки далекого родного адреса...

III

Батальон капитана Владимира Шаракшанэ второй день стоял на отдыхе в большом селе, где размещались все тыловые подразделения полка. Солдаты батальона помылись в крестьянских банях, получили свежее белье, выспались за всю последнюю неделю и теперь занимались самыми различными делами: ремонтировали и чистили оружие, приводили в порядок обмундирование, слушали

беседы политруков и агитаторов, читали газеты и книги, писали письма, учились проводить дневные и ночные поиски, изучали снайперское дело, подвозили боеприпасы, знакомили новичков из пополнения с тяжелым искусством войны. Как всегда, еще больше было дел у офицеров. Словом, жизнь в резерве все называли отдыхом только потому, что так называлась она официально, в приказах штаба полка.

...В жизни человека бывают крутые, переломные моменты, — они занимают иногда только часы, а то и минуты. Таким переломным моментом в жизни Андрея был день 7 ноября, когда он почувствовал, что стал солдатом, и познал счастье победы над врагом. Волшебное, окрыляющее чувство воинского успеха в бою раскрыло в нем новые силы и новые способности. Раньше он и думать не ошел, что может командовать отделением, да к тому же во время войны. После 7 ноября он понял, что может командовать, и поэтому спокойно принял новое назначение. Через два дня генерал Бородин присвоил ему звание сержанта.

Командуя стрелковым отделением, Андрей Лопухов изменился еще более, чем в знаменательный день 7 ноября. Чувство ответственности за свое дело, за подчиненных людей вдруг пробудило в нем новый поток энергии. Он зорко следил за тем, чтобы все солдаты его отделения были примерными во всех отношениях: честно несли службу, стойко переносили все ее тяготы, берегли оружие и держали его всегда готовым к бою, были сыты, бодры и сражались с врагом, не щадя своей жизни. Дни и ночи, недосыпая и недоедая, он был поглощен выполнением своих новых воинских обязанностей: командовать отделением, да еще во время войны, совсем не легкое дело, как могут думать несведущие люди.

Но Андрей Лопухов быстро накапливал не только военные знания и военный опыт. Постоянное общение с людьми разных профессий и разного культурного кругозора, частые беседы с ними о событиях, потрясавших мир, желание как можно глубже разобраться во всех сложных процессах жизни, взбудораженной войной, — все это оказывало огромное влияние на его духовный рост: звало на беседы политруков и агитаторов, заставляло брать в руки газету, жадно слушать рассказы бывалых людей, самому вступать в частые солдатские споры. Служба в армии оказалась для Андрея необычайно суровой, но чудесной школой жизни.

В последние дни недавно назначенный помощник командира

взвода старший сержант Дубровка, белокурый крепыш, еще бледный после недавнего ранения, аккуратно, утром и вечером, проводил во взводе различные беседы и читки газет. Андрей всегда садился поближе к Дубровке и слушал его, стараясь не проронить ни слова. Особенно жадно слушал он все статьи и заметки, в которых рассказывалось о жизни на захваченной оккупантами территории. Когда в сводках Совинформбюро или в газетных корреспонденциях говорилось о действиях калининских партизан, Андрей отчетливо, как живого, видел перед собой худощавого, с горящими глазами Степана Бояркина и вспоминал его гневный голос при последней встрече. Если же в газетах описывалось, как колхозники оказывают сопротивление врагу, Андрей видел перед собой всех родных — отца, мать, Марийку — и представлял их участниками описанных событий. В такие минуты Андрей то шумно вздыхал, то в радостном или тревожном волнении сжимал кулаки и просил у Дубровки газету, чтобы увидеть напечатанное своими глазами.

Интерес к событиям в родных местах был трепетен и горяч, и это объяснялось легко: Андрей все больше и больше тосковал и тревожился об Ольховке, о родителях, о Марийке и Васятке... Но он, этот интерес, никак не мешал Андрею горячо интересоваться и тем, что происходило во всех других местах, где были оккупанты, и тем, что происходило в тылу — в Москве, на Волге и Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке... То чувство, которое он испытал при отступлении в октябре, поднявшись на ольховское взгорье, когда, казалось, перед его взглядом на мгновение открылись необозримые, лежащие за горизонтом просторы родины, — он испытывал в эти дни очень часто. Что делало с Андреем это чудесное чувство связи и общности со всем зримым и незримым, что вмещалось в пределы родины!

Вчера агитатор Дубровка заболел — от простуды перехватило горло. Встретив Андрея, он подал ему свежую армейскую газету, хрипя, сказал:

— Прочитай ребятам. Сначала сводку, а потом вот эти заметки. И потолкуйте потом, если что... Я в санроту пошел — видишь, как давит? Просто беда!

Андрей посмотрел в карие, лукавые глаза Дубровки, вздохнул и взял газету...

Читал Андрей хорошо, и солдаты слушали его внимательно. Но Андрей волновался, как в бою. Особенно разволновался он, когда

читал маленькую заметку о том, как немецкие оккупанты грабят и притесняют колхозников какой-то деревни О. в Калининской области. Деревень, названия которых начинаются с буквы «О», в Калининской области десятки. Андрей знал это. Описанные в газете события могли происходить и не в Ольховке, как и было в действительности. Но Андрей сразу, без всяких сомнений, решил, что все описанное произошло именно в его родной Ольховке, и с большим трудом, едва сдерживая себя, закончил чтение газеты.

— Что с тобой? — спросил его Умрихин. — Тоже захворал?

Весь вечер Андрей молча лежал в своем углу на соломе, отвернувшись к стене. Когда батальон стоял на передовой, Андрею некогда было часто вспоминать об Ольховке и родных: мелькнет какая-нибудь картина из прежней мирной жизни — и сразу погаснет, точно вспышка при взрыве снаряда. А соберется Андрей вечером, после боя, припомнить прошлое, подумать о родных, но только свалится на нары — и от усталости сразу точно падает в омут... Но теперь ничто не мешало, и Андрей дал полную волю своим думам.

Прошло немногим больше месяца, как Андрей покинул родной дом. И срок-то небольшой, а сколько уложилось в него жизни! Да какой! За все годы молодости не было прожито столько! Даже иногда думалось: не сбился ли со счета? Может, прошли не дни, а годы? Андрею часто вспоминалось то первое утро на передовой линии, когда он вместе с Олейником смотрел из траншеи на одинокую березу среди «ничейной» полосы и думал о доме. Тогда ему показалось, что все, что он запомнил о дне расставания с домом, происходило давным-давно: не то в юности, не то в детстве... Он и сейчас не мог избавиться от этого странного впечатления, — так перегружена была его память всем, что произошло за короткое время, когда он ушел из Ольховки. И Андрею невольно казалось, что если он пережил так много событий, то и все его родные пережили их не меньше. Но как они пережили их?

Ночью Андрей видел Марийку во сне.

Это был чудесный сон. Чудесен он был тем, что в нем не было никакой выдумки воображения, а с исключительной точностью воспроизводился один случай из недолгой его жизни с Марийкой. И ничего особенного не происходило ни тогда, когда они были вместе, ни сейчас, во сне. Была весна. Они шли извилистой дорожкой вдвоем с полевой работы в деревню. Шли в обнимку; Андрей молчал, а Марийка пела песню. Вся прелесть этого их возвращения с работы

заклучалась именно в том, что они шли вдвоем, обнимая друг друга, а вокруг простирался высокий полуденный мир, полный ласкового солнца. Андрей увидел все, что видел когда-то наяву: и веселую рябь тронутых ветерком хлебов, и скользящие по ним тени грачей, и яркую, ласковую зелень перелесков в стороне от дороги, и сверкающее небо... И очень хорошо он слышал голос Марийки. Она пела о любви, и песня ее так сливалась со всем миром, сквозь который они шли, что у Андрея стесняло грудь от восторга жизнью. И Андрею хотелось, как и тогда, наяву, без усталости шагать рядом с Марийкой, рядом с ее песней...

IV

Андрей вышел на крыльцо.

На соседнем дворе, вдоль всей изгороди, на подстилке из гнилой соломы лежала разношерстная собачья стая. Ее привела вчера группа девушек-санитарок, прибывших в полк для пополнения санроты. У каждой девушки — упряжка из четырех собак; упряжка таскает за собой легкие белые лодочки для вывозки раненых с поля боя. Осматривая эти лодочки, солдаты вчера невесело шутили:

— Покатаемся, а? Кто хочет?

— А вот пойдем в бой — накатаемся!

Увидев собак, Андрей вспомнил о Черне, вспомнил о том, как он провожал его из Ольховки, и подошел к изгороди.

Лежавшие у изгороди собаки встревоженно поднялись, ощетинились и зарычали. Облокотясь о верхнюю жердь, Андрей посмотрел на них спокойно и ласково. Собаки сразу же приветливо повиляли хвостами и улеглись на свои места.

Вдруг со стороны — чистый девичий голос:

— Товарищ сержант!

Андрей с удивлением повернулся на этот приятный голос — давно не слышал такого... Повернулся — и остолбенел: перед ним стояла девушка в беленом полушубке и шапке-ушанке, темноволосая, темноглазая, с полными румяными губами, как две капли воды Марийка! Это было чудо. Несколько секунд Андрей смотрел на нее не отрываясь, удивленно и растерянно. Девушка никак не могла понять, чем вызвала изумление Андрея, и, пока пыталась понять, выражение ее лица и глаз менялось с поразительной быстротой; когда же наконец она догадалась, в чем дело, выражение недоумения,

растерянности и испуга — и на лице и в глазах — вдруг заслонила лукавая и озорная улыбка.

— Обознались, товарищ сержант?

— Обознался, — приходя в себя, ответил Андрей.

— Так похожа?

— Очень!

— На жену?

— Да.

Лена Малышева с интересом поглядела на Андрея.

— Вот не ожидала, что на кого-то так сильно похожа, — сказала она с улыбкой. — Я думала, что я — одна такая... А может, вам, товарищ сержант, только показалось, что я так похожа на вашу жену?

Андрей опять взглянул на девушку: да, она похожа, конечно, на Марийку, но и в самом деле не так сильно, как показалось при первом взгляде. Она пониже Марийки, лицо у нее круглее и щекастее, а чернявой и черноглазой она только кажется, потому что вся в белом да в изморози, а на самом деле — русая, с карими глазами. И голос у нее не такой, как у Марийки, — более низкий и грудной...

— Нет, вы не отвечайте, — спохватилась Лена, поняв, что задает неуместные вопросы. — У меня к вам дело, товарищ сержант. — Она подошла к изгороди. — Право, и не знаю, как вас просить. Вчера утром, на последней стоянке, у меня сбежала одна собачка. Такая была неуживчивая, просто беда. Я измучилась с ней! Не хочет идти — и все. Рычит, бывало, того и гляди укусит.

Андрею вдруг стало весело с этой девушкой.

— В общем, дезертировала собака, — сказал он, впервые улыбаясь за последние сутки. — Значит, испугалась фронта?

— Да, дезертировала, — совершенно серьезно согласилась Лена. — И теперь у меня в упряжке осталось только три собачки. Вон моя упряжка, вон она, около сарайчика!

— Две белых, одна рыжая?

— Да, да!

— А сбежала рыжая?

— Совершенно верно. Откуда вы знаете?

— Сбежать могла только рыжая, — пошутил Андрей, все более и более чувствуя, как ему приятно разговаривать с красивой девушкой, чем-то напоминающей Марийку. — Рыжие, они такие, ненадежные... Но чем я помочь могу?

Лена тоже облокотилась на изгородь, и тут Андрей окончательно убедился, как ошибочно было его первое впечатление. В самом деле, почему ему показалось, что эта девушка похожа на Марийку? Вот она, солдатская тоска! «Эх, Мариюшка-Марийка, ласточка моя! — вздохнул Андрей про себя. Встала бы ты вот сейчас на ее место, постояла бы немного, поглядела на меня...»

— Помочь вы можете, товарищ сержант, и только вы! — сказала Лена. Сейчас я стояла на посту, караулила этих собачек. Девушки все отдыхают, устали на марше. И вот я увидела, как вы подошли сюда. Собачки поднялись, зарычали; я думала, они бросятся на вас: вы же чужой человек! А вы как-то взглянули на них... взглянули — и они сразу успокоились, легли... Ведь так же было, товарищ сержант?

— Опять непонятно, — подивился Андрей. — Ну, хорошо, собаки не бросились на меня, так в чем же дело? Видят, свой человек, фронтовик, вот и все!

— Вот в том-то и дело, — сказала Лена и приблизилась к Андрею, заговорила потише, быстро озираясь по сторонам: — Вот здесь, на соседнем дворе, все время бродит какая-то собачка. Я думаю, она местная, из этого села; хозяева эвакуировались, а ее бросили. А может быть, просто бродячая, из других мест. Она такая, знаете ли, худая, дикая и, вероятно, была ошпарена кипятком: у нее вот тут и вот тут — голая кожа. Я ей и хлеб носила, и суп свой отдала, а никак подманить не могу! Только протяну к ней руку, она — шась в сторону! Ужасно одичала! Я уже звала и нашего командира и много бойцов... Никто не может поймать!

— Она рыжая, эта собака?

— Совершенно верно! Откуда вы знаете?

Андрей не выдержал и захохотал.

— Да разве рыжую поймашь?

— Нет, я серьезно, — сказала Лена и с укоризной посмотрела на Андрея. — Шутить и я люблю, но сейчас мне не до шуток. Вы понимаете, все идут ловить ее охотно, а как посмотрят на нее — и боятся подходить. Честное слово! Я даже не ожидала... — Лена вдруг смело и порывисто дотронулась до руки Андрея. — Поймите ее, товарищ сержант! Поймите! Мне бы ее только на ремешок, а там... там все будет в порядке, честное слово!

— А если укусит?

— Вас не укусит, — заявила Лена совершенно убежденно,

точно имела на это заявление полномочия от самой собаки. — Я же видела, как собачки легли перед вами! Господи! — вдруг воскликнула она, словно верующая перед образами. — Да вы понимаете, что может случиться? А вдруг завтра бой? Все пойдут вывозить раненых, а я что буду делать? Вы это понимаете?

Андрей пристально посмотрел на Лену. Как она была красива, говоря эти слова! Андрею стало стыдно оттого, что он так долго, изводил девушку своими глупыми шутками. Потупясь, он спросил:

— Где она, эта собака?

Захватив кусок хлеба, они пошли на соседний двор.

Собаку нашли в маленьком, полуобвалившемся сарайчике. Увидев людей, она попятилась в угол и, поняв, что путь в ворота отрезан, подняла на загривке шерсть. Взгляд ее был насторожен и тревожен.

— Да, одичала, — сказал Андрей.

Он присел на корточки перед собакой и строго, чуть сдвинув брови, посмотрел ей в темные, тревожные глаза. Собака ощетинилась еще сильнее и слегка молчком оскалила зубы. Андрей не дрогнул, не оторвал от собачьей морды своего взгляда. Стоявшая позади Лена вздохнула от нетерпения и предчувствия нового разочарования. Неожиданно Андрей хлопнул ладонью по колену, сказал негромко, но властно:

— Сюда!

Собака съежилась и присела на задние лапы.

— Сюда!

Собака вдруг опустилась на все лапы, тихонько заскулила и ползком приблизилась к ногам Андрея. Тогда он смело и ласково погладил ее по спине, затем поднес к ноздрям кусок пахучего ржаного хлеба.

— Кушай, Найда!

— Почему Найда? — спросила Лена в восторге от того, что произошло на ее глазах.

— Найденная, вот и Найда! Вот вам собака, а заодно и кличка ей. Давайте ошейник!

Не поднимаясь, собака жадно жевала хлеб и не сопротивлялась ласкам. Ошейник она приняла без всякого протеста. И не покорно, а скорее охотно встала, когда Лена, тронув поводок, сказала счастливым голосом:

— Пойдем, Найда! Пойдем, милая!

У ворот двора, где лежала собачья стая, Андрей и Лена остановились; Найда доверчиво посмотрела на них и опасливо — на собак, соображая, что ожидает ее дальше. Мимо ехал в санках майор Озеров. Андрей вытянулся и отдал ему честь. Ездовой вдруг осадил коня, и Озеров, повернувшись в задке санок, потеснив сидевшего рядом Петю Уральца, поднял руку и крикнул Андрею:

— Как живем, Лопухов?

Андрей в несколько прыжков оказался у санок.

— Все в порядке, товарищ майор!

— Ребята хорошо отдохнули?

— Очень хорошо!

— Водку все получили? А махорку?

— С махоркой задержка бывает.

— Ладно, учту и все сделаю.

— Ждем приказа, товарищ майор!

— Скоро будет! Ну, бывай здоров!

Лена дождалась Андрея, с интересом спросила:

— Кто это?

— Это командир полка. В штадив поехал.

— Командир полка? Он вас знает?

Только что Лена была поражена необыкновенной властью, проявленной Андреем над одичалой собакой, и смотрела на него с удивлением и интересом, как на обладателя какой-то волшебной силы. Теперь ее поразило, с какой простотой и дружелюбием разговаривал с ним сам командир полка. Подумать только: командир полка! Лене по-девичьи нестерпимо захотелось как можно лучше узнать этого молодого сержанта с обветренным, но красивым лицом, немножко суровым, но в то же время лучистым взглядом, и она засыпала его вопросами:

— И давно вы знакомы? Кем же вы служите? А раньше? И много раз бывали в боях? И танки поджигали, да?

Андрей отвечал улыбаясь.

Лена спохватилась, воскликнула виновато:

— Ой, и какая я болтушка! Надо же девчонок будить! Иду! Спасибо вам, товарищ сержант! Буду вспоминать, как вы меня выручили. — Постояв перед Андреем, добавила: — Зовут меня Леной, а фамилия Малышева.

— Запомню, — сказал Андрей.

Лене было очень приятно это неожиданное знакомство. Она только что прибыла на фронт — и сразу встретила сильного, храброго человека, именно такого, какими ей казались сейчас все фронтовики...

V

Весть о присвоении батюковской бригаде гвардейского звания быстро облетела весь фронт под Москвой.

Комбат Шаракшанэ решил поздравить танкистов. Собрав из рот группу солдат и офицеров, он отправился на окраину села, где стояло несколько танков из батюковской бригады. С некоторыми танкистами озеровцы познакомились еще в бою 7 ноября, с другими — в последние дни; между пехотинцами и танкистами уже завязалась боевая дружба.

Но озеровцев многие опередили. В двух домах, занимаемых танкистами, было уже полно гостей: артиллеристы, полковые разведчики, связисты, саперы... Шаракшанэ и другие командиры стали пробираться в гудящий дом, где жил командир роты тяжелых танков, а бойцы в нерешительности остановились у крыльца.

— Битком набито, — с сожалением сказал Андрей.

— Вот гудят! — воскликнул Умрихин. — Ну, ясно, тут загудишь! Словом, без нас там полно, как правильно сказал наш товарищ сержант, и без нас там обойдутся. Пускай там командиры побеседуют, на радостях по чарке пропустят. Конечно, дело такое... Зачем им мешать? Оно, может, и нам лишняя стопка перепадет по этому случаю, но только вижу — не сейчас. Ох, и что это я вспомнил об этом?

— А ты завсегда вот так! — заворчал Петро Семиглаз. — Наговорит, чертов бис, всякой чепухи, а потом и хворай! Пошли до танкистов; вон там, за сараем, их танки.

Посреди двора с озеровцами повстречался командир 45-миллиметровой пушки старший сержант Вася Петрищев из отдельного противотанкового артдивизиона; за три дня, пока он стоял на рубеже взвода Юргина, многие пехотинцы узнали этого молоденького и худенького паренька, всегда неутомимого и бесстрашного в бою, как и огонь его маленькой пушки. За ним шли солдаты-артиллеристы.

Андрей остановил Петрищева.

— Привет «апостолам»!

— «Кочколазам» тоже!

— Ну, как ваш «бог войны» поживает? Помалкивает?

— Наш «бог» болтать зря не любит, — подмигивая друзьям, ответил Вася Петрищев. — А уж если заговорит — прощайся с белым светом!

— У танкистов были?

— Заходили поболтать...

Андрей съязвил:

— Выходит, ваш «бог» зря болтать не любит, а вы его «апостолы», не прочь?

— Нам это можно!

— Кто там из танкистов? Случайно, не Борисов?

— Он самый...

— Пошли, ребята!

У восточной стены сарая, прижавшись к ней почти вплотную, стояли два танка: «КВ» и «Т-34». Воентехники и танкисты в засаленных ватниках осматривали танки; один танкист заново красил башню «КВ» белой краской.

Озеровцы шумно и весело приветствовали первых гвардейцев. Здоровались, крепко встряхивая руки. Как водится, все было приправлено доброй, сердечной шуткой.

— Зазнались уже или нет?

— Не успели еще! Некогда!

Увидев бойцов взвода Юргина, с которыми приходилось встречаться на переднем крае, гвардии старший сержант Борисов подошел к ним:

— О, соседи! Привет!

В новом, пухлом ватнике и ватных брюках, в шлеме и валенках, Борисов казался толстым и неуклюжим; лицо его, в жирных пятнах масла, улыбалось.

— Что ж ты ушел с передовой? — спросил его Андрей. — Скучно без нас?

— Поцарапали немного. Вот сейчас закончу ремонт, а завтра — опять туда. А вы?

— Пожалуй, тоже...

— Слышать что-нибудь?

— По всем приметам, должны пойти.

Подошла еще группа солдат, а за ними несмело — санитарки

в беленьких, чистеньких полушубках, еще не побывавших в траншеях и блиндажах. Среди девушек Андрей сразу заметил Лену; их взгляды встретились, и Андрею показалось неудобным промолчать; смущаясь, он спросил девушку издали:

— Ну, как Найда? Не сбежала?

— Это он, — сказала Лена подругам и смело направилась к Андрею. Нет, не сбежала! Вы понимаете, она уже привыкла ко мне. Честное слово!

— А как с собаками?

— Мои на нее ворчат.

— Ничего, поладят!

Стараясь не мешать общему разговору около танков, Андрей и Лена отступили в сторону, к стене сарая, и тут, несмотря на короткое знакомство, с удивительной обоюдной легкостью и живостью заговорили о разных разностях, что приходило каждому на ум: о собаках, о боях, о Москве, о прежней и будущей жизни... Лене было приятно разговаривать с Андреем потому, что он — настоящий фронтовик, хорошо знающий войну, а Андрею — потому, что давно уже не видел перед собой так близко румяного девичьего лица и улыбающихся глаз, не слышал девичьего голоса... Они так увлеклись своим разговором, путаным, но, казалось, необычайно важным и интересным, что даже не слышали, о чем говорили около танков.

Вначале разговор у танков шел вразнобой, но вскоре Иван Умрихин занял в нем ведущую роль. Присев на порожнюю бочку из-под бензина, он в удобный момент пустил в дело свой хрипловатый голос, всегда чем-то покорявший людей.

— Ну, хорошо, товарищи танкисты, — сказал он, — вот вам дали гвардейское звание. Это, скажу я вам, не шутка! Прямо скажу: большой почет! Выходит, сегодняшней день у вас настоящий праздник. А почему же вы не гуляете, водку не пьете, а возитесь здесь в разном мазуте, как черти?

— Гулять, возможно, завтра будем, — ответил Борисов.

— Завтра? А нас позовете?

— Обязательно. Без вас нельзя.

— Вот это разговор! А где же устроите застолье?

— В чистом поле, на раздолье, — ответил, улыбаясь, Борисов. — Там веселее, чем в этой деревне.

— О-о, нашли место! — с неудовольствием протянул Умрихин, подняв и отводя в сторону от Борисова посиневший

утиный нос. — Дрожь берет на таком раздолье!

— Зато там с музыкой!

— От той музыки икать охота.

Танк «КВ» загудел и внезапно дернулся на месте. Все невольно дрогнули и отшатнулись от него; в кронах старых черных ветел у соседнего двора заметались, загалдели галки, собравшиеся на ночлег. Когда танк замолк, Умрихин продолжал:

— Нет, как ни говори, а невеселый вы народ, танкисты! У вас такой праздник, а все вы — серьезные, хмурые, даже виду не хотите показать, что рады. А ведь рады так, что в пляс бы только. Я же вижу, у меня глаз верный. Скажем, вон тот, который малярит. Да у него все печенки поют от радости!

Маленький танкист, красивший башню «КВ», яростно покрутил кистью в заляпанном белилами ведре и огрызнулся:

— Ну и что же? Что ты прилип? Зависть тебя берет, вот что, любезный ты мой папаша! Если хочешь, я тебе прямо скажу: да, рад; да, все печенки поют от радости!

— Вот видите, я же угадал, — мирно заметил Умрихин, раскидывая в стороны руки и этим жестом как бы приглашая всех присутствующих в свидетели его правоты.

— Да, рад, рад, вот и все тут! — разгорячился маленький танкист, бросил работу и замахал в воздухе белой кистью. — А ты мне, папаша-умница, скажи: какой же дурак не будет радоваться такому званию, а? Я как узнал про это, во мне, и верно, все запело!

— Ну, будет, будет, Кривцов! — сказал Борисов, смущенный бахвальством маленького танкиста. — Малярь знай, торопиться надо.

— Конечно, я замолчу, — сразу стихая, ответил Кривцов. — Только напоследок я скажу одно: вредный же он, этот папаша, или не видите? Все молчат, а он все с подковыркой да подковыркой!

— Хватит, Кривцов! Не обижай гостей!

— Он сам обижает!

— Вот и видать тебя сразу насквозь, как стеклышко! — сказал Умрихин. — Не успел, стало быть, получить гвардейское звание, а уже зазнался. А что из тебя будет, если орден дадут или медаль из чистого серебра?

— Дадут разве? — спросил кто-то из солдат.

— Понятно, дадут, в приказе так и сказано, — со свойственной ему мирной манерой ответил Умрихин и похлопал подзастывшими валенками нога об ногу. — Не обязательно, понятно,

ему вот, товарищу маляру, дадут, а вообще многим из их бригады.

Всех развеселило, что Умрихин удачно уколол обидчивого танкиста, и все весело, беззлобным смехом поддержали шутника. Умрихин затем обратился к Борису, который, по молчаливому сговору занятых работой танкистов, принимал гостей:

— А насчет других разных отличий, товарищ гвардии старший сержант, не слышать еще?

— Каких еще отличий?

— Ордена и медали у всех одинаковые, а для вас должны быть особые отличия, — знающе заявил Умрихин. — Какую-нибудь особую форму надо или, допустим, особые знаки на груди.

— Можно и без отличий.

— Нет, нельзя, — возразил Умрихин. — Раз вы гвардия — у вас все особое должно быть: и форма, и знаки, и даже, я думаю, харч особый...

Замечание Умрихина об отличиях понравилось всем: и танкистам и пехотинцам, и все разом заговорили о том, установят ли в самом деле отличия для гвардейцев и если установят, то какие именно...

— В царское время разные были, — сказал Умрихин.

— То в царское! — крикнул Кривцов с танка, надеясь, видимо, этим замечанием как-то отплатить Умрихину за его обидные шутки.

— А почему сейчас не сделать? — сразу прицепился Умрихин и даже спустился с бочки. — Ну, скажи, почему? Раз гвардия, стало быть, лучшее войско, а лучшее войско издали должно быть видно. Взглянул и видишь: гвардия! У меня, сказать откровенно, дед раньше служил в гвардии. Раньше ведь как брали в гвардию? По росту. Как взглянула комиссия на деда, так в один голос: в гвардию! Он даже повыше меня был, вот как! А служил он у генерала Скобелева... Вот был, братцы, генерал так генерал: осанка — во какая, взгляд — орлиный, борода — надвое, а под ней вся грудь в орденах! Дед с этим Скобелевым ходил турок бить, а потом и привез домой его портрет. Настоящая картина, вся в красках! И вот, бывало, как взглянет дед на тот портрет, так в нем будто пружина ударит! Головой до потолка, руки по швам. Ох, и выправка была! Не только в гвардии служил, а и правофланговым в роте ходил.

— Подумаешь, трясется со своим дедом! — крикнул Кривцов, искренне страдая от того, что ему никак не удастся

отплатить Умрихину за обиды.

— Насчет деда, товарищ танкист-маляр, я совсем не зря затеял разговор, — сказал Умрихин и обратился к Борису: — Я вот что хотел узнать: как насчет роста будет, а? Определен рост для гвардии или нет еще?

— Я думаю, что дело не в росте, — ответил Борисов. — Гвардейское звание должно даваться за геройство, а рост тут ни при чем...

— Как ни при чем? — удивился Умрихин. — Гвардия во всем должна быть отличной от остального войска, я так понимаю. Скажем, ваш рост можно еще считать подходящим для гвардии. Ну, а вот тот ваш товарищ, который малярит, он же совсем мал! Нет, пусть он не обижается на меня, я это к слову, а все же, по правде сказать, какой у него рост?

В толпе раздался дружный хохот.

— Нет, я не в обиду сказал, — продолжал Умрихин, когда хохот подзатих. — Я только диву даюсь: мелковат же он для гвардии! Я так думаю: тех, которые не вышли ростом, должны бы из вашей гвардейской бригады отсеять, а набрать рослых.

Кривцов не мог больше сносить обиды.

— Вроде тебя? — крикнул он и пролил белила. — Не ты ли хочешь на мое место?

— А что ты думаешь? — спокойно, как ни в чем не бывало ответил Умрихин. — Если будут подбирать в гвардию по росту, то как раз я первый и попаду на твое место!

Солдатская толпа, охочая до шуток, грохнула что есть мочи; на ближних ветлах опять встревожились галки, но уже за вечерело, и они, погалдев, похлопав крыльями в ветвях, быстро затихли.

— Генералы приехали! — крикнул кто-то.

Толпа у танков сразу приумолкла.

Голоса стали сдержанны и строги:

— Какие генералы?

— И ваш и наш...

— У вас тоже теперь генерал?

— А как же? С сегодняшнего дня!

— Еще кто? Видал?

— Там полно наехало!

Помолчали. Потом Умрихин заключил:

— Так и есть, завтра нагуляемся вволю!

В эту минуту Андрей, увлеченный разговором с Леной, вдруг услышал голос Юргина. Лейтенант стоял рядом. Он внимательно поглядел на Лену и сказал, сдерживая раздражение:

— Собирай ребят!

Батальон Шаракшанэ получил приказ перед рассветом выдвинуться на передовую. Начались сборы.

Подойдя к дому, где размещался взвод, Матвей Юргин остановился и, будто между прочим, спросил:

— С кем это разговаривал-то? Знакомая?

— Познакомились... — смутился Андрей. — А что?

— Как тетерев на току. Звал, звал, а он и ухом не ведет! Не знал я, что ты такой дотошный.

На соседнем дворе слышались отрывистые девичьи голоса; всполошились, залаяли собаки.

— Да-а... — задумчиво сказал Юргин и вздохнул. — Да, девчонки... Закурить есть?

— Познакомить с ней, а? — вдруг спросил Лопухов. — Хорошая девушка! Хочешь, а?

VI

За полчаса до восхода солнца батальон Шаракшанэ сосредоточился в густом еловом лесу южнее деревни Ново-Рождествено. До нашего переднего края отсюда оставалось не более километра, — повсюду, извиваясь, тянулись туда солдатские стежки.

Весь батальон уже знал о боевом приказе. Перед выходом на передовую не только командиры и политруки, но и многие коммунисты провели с солдатами беседы о предстоящем бое. Солдаты хорошо понимали его значение в огромном сражении на подступах к Москве. Это подняло у всех чувство воинского долга.

Но минуты перед боем — особые минуты... Все солдаты разговаривали только при крайней необходимости, а больше молчали, вслушивались в себя и были очень недовольны, если что-либо мешало этой важной и нужной человеческой потребности. Многие с трудом сдерживали и скрывали от товарищей озноб, боясь, что его сочтут за выражение страха, но делали это напрасно: это был не страх, а то особое солдатское волнение перед боем, когда из-за недостатка времени враз обдумывается и решается многое из того,

что должно бы обдумываться и решаться в течение всей жизни. Особенно волновало всех то обстоятельство, что батальону впервые приходилось вести большой наступательный бой.

Вместе с пехотинцами в лесу стояли и танки из батюковской бригады. Из открытого люка «КВ» выглянул танкист и крикнул в сторону озеровцев:

— Эй, пехота, гляди не подводи!

— Мы-то не подведем! — ответили ему из ближней группы.

— А гвардия никогда не подведет!

— Занозистый парень! — сказал Умрихин о танкисте. — Вот тебе и мал золотник! Видите, как идет в бой? Это же вчерашний маляр Кривцов, или по голосу не узнали?

Этот разговор немного оживил солдат. Среди озеровцев, отдохавших после марша кто как мог, в лесной тишине слышались более звучные, чем прежде, голоса.

— И гвардия, братцы, в бой идет!

— Эти на радостях дадут им жизни!

— Да, многонько народу подвалило.

— Скажи на милость: нас бьют, а нас все больше!

— И откуда столько берется?

— Известно, солдат солдата рождает...

— Мы их даванем сегодня так, что взвоют!

— Сегодня многие из них последний раз завтракают!

— Вот насчет завтрака — это верные слова... — сказал Умрихин, выходя из-за кустов, и все поняли, что он ослышался. — Позавтракать перед боем надо бы, да только где же кухня? Не пахивает дымком?

Некоторые солдаты неохотно захохотали.

— А чего тут смешного? — сказал Умрихин. — Пора бы ей и подойти. Еще в той деревне, откуда ушли, я видел, как повар разжигал огонь. Сегодня гороховый суп с мясными консервами, это я точно знаю: сам старшина говорил. Стой, братцы, а это не она? Вон, у деревни! Она! Спорю! Кто желает? На пайку хлеба, а?

В самом деле, показалась кухня.

Она остановилась на опушке леса.

...Когда помкомвзвода Дубровка выстраивал взвод, лейтенант Юргин окликнул подбегавшего к строю Андрея:

— Сержант Лопухов, ко мне!

Проводив взвод, Юргин сказал:

— Слушай, Андрей, так и быть: познакомь!

— А далеко они?

— Да сейчас тоже будут у кухни. — Юргин посмотрел в сторону деревушки, откуда вдруг долетел собачий лай. — Вон они, уже идут! Только смотри, как-нибудь... осторожнее... — Он даже вздохнул от смущения и досады. — И до этого ли сейчас, подумай-ка, а что сделаешь? Один раз взглянул — и вот, видишь, какая напасть! Ты только, смотри, как-нибудь незаметно... Тьфу, начисто одурел, честное слово!

— Ничего, все обойдется как надо!

Получив от Дубровки котелок горохового супа на себя и на командира взвода, Андрей привел Юргина к тропе, по которой только что прошли девушки к кухне. Поставив на пень котелок, Андрей стал ломать еловые ветки. Смеясь, сказал:

— Здесь будет засада.

В ответ Юргин только махнул рукой: дескать, делай что хочешь, я в твоей власти...

Незаметно, но быстро посветлело. Тихий фронтовой лес, как оказалось, был полон жизни. Повсюду, прячась под черными, в снежных узорах, шатрами елей, на кучах свежих веток завтракали и отдыхали солдаты; повсюду на нижних сучьях деревьев висело снаряжение и оружие. Из деревушки в лес, к передовой линии, и обратно быстро пробегали связные. Кое-где над сугробами едва заметно тянулись, не поднимаясь выше подлеска, слабенькие дымки: с наступлением утра во фронтовых землянках угасали очаги. Как всегда перед боем, на передней линии с каждой минутой крепла особая, чуткая и тревожная тишина. За шоссе быстро и густо розовело высокое, заснеженное чернолесье: всходило солнце.

— Восемь ноль две минуты, — сказал Юргин, взглянув на часы с тем особым чувством, с каким посматривали на них десятки командиров в это утро.

— Еще полтора часа, — отозвался Андрей.

На тропе показались девушки.

Заметив Андрея, Лена Малышева задержалась и радостно воскликнула:

— А-а, и вы здесь?

Андрей поднялся с ветвей.

— Доброе утро! Как Найда?

Чтобы не задерживать подруг, Лена сошла с тропы.

— Ничего, спасибо, только мои неприветливы.

— Обижают Найдю?

— Обижают.

— А вы знаете, что надо сделать?

— Нет, не знаю, а что?

Увидев, что проходит последняя подруга с котелком, Лена сказала ей:

— Вера, передай Машеньке, что я сейчас!

— Ты недолго, а то суп остынет, — строго сказала высокая, худошавая Вера, бросив на Лену осуждающий взгляд: ей не нравилось, что Лена, не успев прибыть на фронт, уже завела знакомых; ей казалось невероятно странным такое легкомыслие девушки, носящей звание бойца.

— Скажи, что я сейчас же! — заверила Лена.

Навстречу Лене поднялся Юргик.

— Знакомьтесь, — сказал Андрей, немного припрятывая глаза, — это командир нашего взвода.

— Очень приятно, — сказала Лена гораздо тише, чем только что говорила, и у нее густо зарделось лицо; она второпях не могла решить, как должна держаться при этом неожиданном знакомстве.

Юргин подал ей руку и назвал свое имя.

— Лена Малышева... — почти прошептала в ответ Лена, не в силах побороть свое смущение. — Право, как здесь все странно. — Она взглянула на восток. — Я еще никогда не знакоилась на восходе солнца.

— Только при заходе? — пошутил Юргин.

— Ой, ну что вы говорите, товарищ лейтенант! Какие вы все здесь шутники, честное слово!

Юргин указал на пень.

— А вы поставьте-ка сюда котелок.

Лена молча выполнила совет.

— Садитесь, посидите с нами.

Лена молча села на ветки.

— Ложка есть?

— Есть.

— А хлеб?

— И хлеб есть.

— Так начинайте, кушайте!

Лена сказала на все это одно слово:

— Удивительно!

Юргин и Андрей поставили свой котелок против Лены и взялись за ложки. Лена подумала и тоже вытащила ложку из кармана полушубка.

— И никогда, — сказала она таким тоном, словно боялась, что ей не поверят, — честное слово, никогда я не завтракала в лесу, зимой, при восходе солнца! И суп очень вкусный, честное слово!

Матвей Юргин сразу понравился Лене, и она поняла: понравился совсем не так, как вчера Андрей, но в чем здесь была разница, невозможно было разобраться в первые минуты знакомства. Лейтенант Юргин, смуглый, с худощавым лицом, на вид казался угрюмым человеком, выросшим в одиночестве, и жестоким в жизни; но в его глазах стоял мягкий, очень приятный зеленоватый лесной свет, какой наполняет густые заросли в знойный полдень. Лена смутилась перед Юргиним, но не растерялась, что случилось с ней при встречах с командирами: она всегда боялась каких-либо замечаний по службе. Но Лена чувствовала, что и смущение у нее быстро проходит, — с угрюмым лейтенантом ей хотелось говорить откровенно, много, обо всем, что волнует. И она, отвечая на какой-то вопрос Юргина, вдруг стала рассказывать о своей жизни в Москве; об учебе в строительном техникуме, о вступлении отца в народное ополчение, о больной матери, которая, наверное, часто плачет, вспоминая о ней, о том, как в день начала войны она гуляла с подругами за городом...

Так Матвей Юргин и Лена Малышева, встретясь на восходе солнца, увлеченные узнаванием друг друга, совсем не чувствовали тяжелой власти тех минут перед боем, каких никто не любит на войне.

Старая ель внезапно уронила на них комок снега; не менее доброй горсти его попало в котелок девушки.

— Ой, да что я делаю? — с ужасом воскликнула Лена, заглядывая в котелок.

— А что? — спросил Юргин. — Не оставили подруге?

— Господи, что вы говорите, да я почти не ела! — Лена выгребла ложкой снег из котелка. — Машенька, милая, убей меня! Суп-то ледком подернуло! Вот болтушка, вот болтушка! Бегу, бегу, бегу! Может, успею разогреть, а?

— Успеете, успеете, время еще есть, — успокоил девушку Юргин и, взяв ветку, предложил: — Разрешите, я отряхну с вас снег?

Лена посмотрела на Юргина с удивлением.

— Я сама, сама!

— А вот здесь, со спины?

— Со спины отряхните.

Собираясь уходить, Лена вдруг спохватилась:

— Да, о собаках-то! Товарищ сержант, что же с ними надо делать? Говорите скорее, и я бегу! Они же обижают Найдю!

— А с ними один разговор, раз они не понимают военной дисциплины... зачищая котелок, ответил Андрей. — Дать им выговор перед всем собачьим строем, и вся недолга!

— Ну, погодите, товарищ сержант, погодите! — пригрозила Лена и, не прощаясь, быстро пошла тропой к деревне...

VII

Через весь еловый лес, где сосредоточились наши танки и пехота, с севера на юг идет извилистый овраг; дойдя до южной опушки леса, он разбивается на два рукава: левый, идущий к шоссе, короткий, а правый тянется далеко, постепенно обнимая с запада высоту 264,3. По этому оврагу, похожему на противотанковый ров, глубиной до трех метров, густо заросшему по бровкам серой ольхой, и проходил наш передний край.

Оттуда, где овраг разбивается на два рукава, строго на юг — триста восемьдесят метров до вершины высоты 264,3, прозванной в народе Барсушней. Из оврага высота кажется небольшой; на вершине ее — несколько старых берез, под ними — одинокие кресты, по склонам — молодой в свежем инее липняк...

Наши наблюдатели редко видели вражеских солдат на Барсушне. Считалось, что на ее вершине — только наблюдательный артиллерийский пункт и боевое охранение. Но это была грубая ошибка нашей разведки. Высоту Барсушни гитлеровцы сделали своим опорным пунктом на Скирмановском рубеже. Долгие осенние ночи укреплялись гитлеровцы на Барсушне. Они перерыли все кладбище: всюду устроили дзоты и блиндажи, установили противотанковые орудия, зарыли в землю танки, оставив снаружи только замаскированные башни...

Гитлеровцы осквернили и потревожили на Барсушне большинство могил. Они выбросили с кладбища десятки гробов, крестов и груды костей. И все же им пришлось жить среди останков

тех, кто когда-то дал название этому взгорью, пахал вокруг него землю, убирал хлеба, собирал в ближних лесах ягоды и пел песни: всюду из стен дзотов, блиндажей и ходов сообщения торчали углы гробов и гнилые доски, показывались желтые кости и черепа. Гитлеровцы жили там, где каждая горсть песка была пропитана смертным ядом, где было душно от тяжкого запаха векового тлена.

Но гитлеровцы не зря облюбовали вершину Барсушни. С северной стороны подъем на нее спокойный, незаметный, прикрытый лесами; только с нашего переднего края, из оврага, и заметишь, что перед тобой высота. Но когда поднимешься на вершину Барсушни — не веришь своим глазам. На восток, юг и запад с нее открываются необозримые, чудесные просторы подмосковной земли; десятки сел и деревень, купола четырнадцати церквей, огромное Тростенское озеро, лесное половодье до горизонта...

На 9.30 была назначена получасовая артподготовка. Затем наши войска должны были атаковать немецкие позиции в районе Марьино — Скирманово Горки и, разгромив здесь врага, занять Козлово, выйти на рубеж речушки Гряда. Основной удар намечался непосредственно на Скирманово. Нанести этот удар Батюков поручил танковому батальону Руденко в сопровождении мотострелкового батальона своей бригады, а Бородин — двум батальонам Озерова и двум батальонам Уварова, которые занимали в эти дни оборону в районе предполагаемых боевых действий.

Штаб бригады Батюкова утвердил следующий план танковой атаки Скирманово. После артподготовки первым на Скирманово должен выйти взвод Лаврушенко (три «Т-34») с целью выявить расположение действующих огневых точек врага, вслед за ними — два «КВ» с задачей подавить эти точки, затем — первый эшелон из шести «тридцатьчетверок» в сопровождении пехоты для полного овладения деревней Скирманово и, наконец, второй эшелон, тоже из шести «тридцатьчетверок» с пехотой, для дальнейшего развития успеха.

...Десятки командиров поминутно глядели на часы.

...Сотни людей с напряжением ожидали начала боя.

За несколько минут до артподготовки Батюков неожиданно появился на НП Бородина в деревне Рождествено; с высокой рождественской церкви наблюдатели Бородина хорошо видели за лесом просторное скирмановское поле с высотой 264,3 в центре. В теплом блиндаже комдива находились только его адъютант и

связисты: старый генерал не любил держать около себя во время боя лишних людей. Генерал Бородин, указав глазами на свободное место рядом с собой, продолжал говорить в телефонную трубку непривычно высоким, напряженным голосом:

— Нет, ты мне прямо скажи: почему это получается? Да. Так. Так. Хорошо! Делай!

Положив трубку, он взглянул на часы, покосился на связистов, сидевших в закоулке, по левую сторону от входа в блиндаж, и тихонько спросил:

— Волнуетесь?

— Волнуюсь... Да и можно ли не волноваться, Николай Семенович? ответил Батюков и вздохнул. — Есть ли такие командиры, которые не волнуются, когда посылают людей в бой? Может быть, в некоторых романах? А я не скрою: волнуюсь всегда, а сегодня — особенно. В оборонительных боях наши танкисты действовали умело: и разведку вели, и устраивали засады, и контратаковали противника, когда надо было... Но ведь теперь — большой наступательный бой. Это совсем другое дело. Меня очень тревожит одно обстоятельство: хорошо ли мы знаем, что представляет собой эта скирмановская высота? Ведь мы пришли сюда только позавчера. Что мы могли узнать о противнике за один день? Но хорошо ли разведала его оборону на высоте ваша разведка?

— Возможно, и не совсем хорошо, — тихонько, кося глаза на связистов, ответил Бородин. — Разведка — наше слабое место, как и взаимодействие... Да, но теперь... я вас не понимаю, Михаил Ефимович!

— Нет, это не колебания! — твердо сказал Батюков. — Но что это — я сам не понимаю... Вот берешь трубку, кричишь одно слово «огонь» — и сотни, тысячи людей идут в бой, и многие из них... Да-да, на войне это совершенно неизбежно! Но разве это сознание может в какой-либо степени уменьшить ответственность командира за судьбы людей, которые безоговорочно выполняют его приказ?

У Бородина дрогнули брови.

— Это очень хорошо, Михаил Ефимович, — сказал комдив в большом волнении, — очень хорошо, что вы с такими мыслями первый раз начинаете бой в звании генерала. Хорошо, что вы так любите людей. Только с такими мыслями и можно побеждать. Да, что же это мы?

Генералы враз взглянули на часы и одновременно встали. А через минуту прозвенело самое звонкое и властное на войне слово:

— Огонь!

Десятки людей на наших артиллерийских и минометных батареях повторили:

— Огонь!

Яростный шквал металла с воем и грохотом обрушился над полосой передовых вражеских позиций. На линии Марьино — Скирманово — Горки поднялась расцвеченная огнями завеса темного дыма.

Под гул артподготовки танки гвардейской бригады двинулись на рубеж атаки — к южной опушке леса. За ними, в белых масках, с автоматами у груди, быстро пошли бойцы мотострелкового батальона, — пошли, невольно сгибаясь от свиста снарядов над головой, иные по следам гусениц, иные целиной, топча в сугробах крохотные заснеженные елочки.

Гвардейцы были радостно изумлены, когда, выйдя на рубеж атаки, увидели, что вся вражеская сторона в дыму и огне. Нисколько не сомневаясь в уничтожающей силе нашей артиллерии, гвардейцы втайне даже с некоторой досадой подумали, что напрасно так излишне много тратится снарядов и мин: враг давно повержен в прах...

Но это было горькой ошибкой.

Артподготовка велась горячо, сильно, но давала, к сожалению, ничтожные результаты. Весь северный склон Барсушни стал черным от пороховой гари, но на ее вершине, где как раз и были немецкие огневые точки, не упал ни один снаряд. В глубоком лесистом овраге на южном склоне Барсушни, где особенно много было вражеских блиндажей, гитлеровцы отсиживались совершенно спокойно. Огонь сильно захлестывал только северную окраину Скирманова. Но и здесь он был бессилён разметать хорошо укрытые в земле вражеские танки и пушки...

...В 10.00 наша артиллерия перенесла огонь в глубину обороны противника. Над опушкой леса взлетела красная ракета.

— Вперед!

Первым бросился в атаку взвод Лаврушенко. Три могучие «тридцатьчетверки», с треском ломая кустарник, высоко вскидывая, комья снега, на третьей скорости вырвались из леса и бросились вдоль шоссе на Скирманово.

Но только они выскочили на открытое поле, противник открыл огонь. Один танк, сразу же получив тяжелые раны, остановился, задергался на одном месте, а остальные заметались по полю, вступив в неравную схватку с немецкой противотанковой артиллерией. Особенно ожесточенно били гитлеровцы с высоты 264,3, и всем наблюдавшим за атакой стало ясно: Барсушня — это и есть главный опорный пункт врага на скирмановском рубеже.

Надо было немедленно ввести в бой «КВ».

Получив по радио приказ, огромные машины Солянского и Загрядько, взревев моторами на весь лес, разбрасывая с бортов березки и елки, рванулись из своих засад. Танк Солянского пошел левее шоссе на Скирманово, намереваясь срочно оказать помощь взводу Лаврушенко, а танк Загрядько прямо на Барсушню.

Немецкая артиллерия встретила гигантский танк Загрядько мощной лавиной свирепого бронебойного металла. Не успел танк пройти от леса и сотни метров, несколько вражеских снарядов, один за другим, врезались в его броню. Танк наполнился шумом, треском, визгом — это была его страшная смертная кончина...

Несколько секунд металл рвал металл, как рвут друг друга разъяренные звери. Танк Загрядько, весь избитый и почерневший, потерявший способность сопротивляться, вдруг задымил густо, как лесная смолокурня...

...Через несколько минут в овраге, над которым проносились в глубину леса вражеские снаряды и пощелкивали, как стаи птиц, разрывные пули, сидел на снегу стрелок-радист Кривцов. Из всего экипажа сгоревшего «КВ» удалось спастись только ему; остальные погибли в танке и около него — от огня и вражеских пуль. Бойцы торопливо стаскивали с Кривцова тлеющую одежду и валенки, а он все время порывался встать перед командиром батальона и, может быть, даже не понимая, как обожгло ему лицо, настойчиво просил:

— Товарищ капитан!... Товарищ капитан, разрешите мне пойти в бой на другом танке! Я прошу вас!... Разрешите, я отомщу за них... Отомщу за всех! Товарищ капитан, вы разрешите, а?

Третий час шел бой за Барсушню.

Вскоре после гибели «КВ» Загрядько в атаку бросились шесть «тридцатьчетверок» в сопровождении мотострелкового батальона. Но высота оставалась неприступной. Еще три танка бригады вышли из строя, остальные, израсходовав боезапас, постепенно возвращались в лес. Мотострелковый батальон тоже

понес немалые потери и под огнем вражеских пулеметов отходил на исходные позиции.

Гибель танков у Барсушни была таким неожиданным ударом для гвардии майора Руденко, что он растерялся: батальон никогда прежде не имел подобных потерь в одном бою. Когда Руденко доложили о гибели «КВ» и экипажа Загрядько, у него на глазах выступили слезы.

В эти минуты Озеров встретил гвардии майора Руденко, с которым он познакомился позавчера, когда тот привел свой батальон на участок дивизии Бородина. Командир танкового батальона был молод, высок, подборист, с русым чубом, — он больше походил на кавалериста, чем на танкиста.

— Пять танков! — горестно воскликнул он. — Знаешь? Слышал?

За лесом, у Барсушни, били орудия и пулеметы; грохот боя доносился также и справа — от деревни Горки и слева — от Марьино. По всему лесу тянуло горьким дымом. Точно с грустью наблюдая за боем, невеселое солнце низко стояло над самой Барсушной. Поблизости вокруг кипела штабная работа: шумно разговаривали офицеры в блиндажах и около них, носились связные, кричали радисты у раций...

— А все дело в разведке! — почти закричал Руденко. — Чья пехота сидела здесь в обороне? Майора Уварова? Чьи артиллеристы? Муравьева? Они сидели здесь, черт их побери, как слепые котята, а мы теперь отвечаем танками, кровью!

— А что же смотрела ваша разведка? — спросил Озеров.

— Мы здесь стоим всего один день!

— Ну, а Муравьева и Уварова перебросили сюда тоже только три дня назад, — сказал Озеров. — Конечно, и за это время можно было многое узнать о противнике, но для этого нужно иметь большой опыт вести разведку, а у нас его, к сожалению, еще мало. Да и положение такое, что без конца приходится заниматься перегруппировкой, прикрытием дыр на фронте. Не успеешь оглядеться — надо переходить на другое место.

Подскочил молоденький адъютант в полушубке.

— Товарищ гвардии майор, разрешите доложить? — обратился он к Руденко. — Вернулся танк Пояркова.

— Что с танком?

— Сбиты все приборы наблюдения.

— Экипаж?

— Ранен сам Поярков.

Отпустив адъютанта, Руденко крикнул:

— Видишь? Мы отвечаем кровью!

Лицо Руденко пылало.

— Учеба всегда нелегка, всегда дорого стоит, — грустно сказал Озеров. — Ведь для всех нас это первый наступательный бой. Почти невероятно, чтобы он мог пройти без ошибок, неудач, лишних потерь... Но при известных условиях он мог бы, конечно, стоять нам дешевле. Да, разведка подвела, это верно. Не сомневаюсь, что, если бы штаб армии располагал точными данными о состоянии обороны противника в этом районе, он дал бы авиацию. Без нее взять высоту нелегко! Даже умеючи! Но дело не только в разведке... Как бы хорошо ни велась разведка до боя, все равно наступающий не будет знать о противнике всего того, что хотел бы знать. Во время боя атакующего всегда ждут разные неожиданности. Дело, повторяю, не только в разведке...

— А в чем же? — нервно спросил Руденко.

— Прежде всего в отсутствии хорошего взаимодействия между танками, пехотой и артиллерией, — ответил Озеров. — И затем в отсутствии маневра.

— Ты считаешь, что мы напрасно бьем в лоб?

— Да, напрасно!

— Может быть, ты об этом хочешь доложить генералам?

— Да, непременно! А ты думаешь, я побоюсь высказать старшим командирам свое мнение о бое?

Вновь подбежал адъютант. Он сообщил, что противник полностью отбил атаку наших танков и мотострелкового батальона. Не прощаясь с Озеровым, Руденко бросился к рации — докладывать командиру бригады о положении у Барсушни.

На 14.00 была назначена новая атака.

В бой вводились, хотя и преждевременно из-за постигшей неудачи, два батальона из полка Озерова: батальону Головки предстояло наступать в направлении деревни Горки, батальону Шаракшанэ — атаковать Барсушню с северо-запада и прорваться в Скирманово.

Времени для подготовки к атаке было мало, приходилось дорожить каждой минутой, и поэтому все делалось с той предельной напряженностью, какую выносят люди только в боевой обстановке.

По всему лесу в разных направлениях, где быстрым шагом, а где и бегом, двигались цепочки пехотинцев; обливаясь потом, минометчики тащили на себе тяжелые трубы и плиты; пулеметчики волокли целиной станковые пулеметы на лыжах; ездовые, покрякивая вполголоса, помогали своим коням вытаскивать из сугробов сани, груженные боеприпасами...

Гитлеровцы, конечно, хорошо видели с Барсушни, что наши части не успокоились, а готовятся к новой атаке. С целью маскировки и, видимо, сохранения боеприпасов вся их артиллерия, стоявшая на переднем крае, молчала. Активно действовала дивизионная артиллерия: над лесом, в глубину нашей обороны, на позиции наших батарей с тяжким стоном и воем проносились тяжелые снаряды. По лесу, где скапливалась наша пехота, били главным образом минометные батареи, стоявшие в глубокой низине за Скирмановом. Заметив где-нибудь в лесу группу наших бойцов, они немедленно открывали огонь. В такие минуты лес наполнялся грохотом, треском, свистом, снежной метелью, будто врывался в него ураган.

Петя Уралец осторожно приблизился к майору Озерову и со стороны посмотрел на него просительным и одновременно осуждающим взглядом.

— Что ты на меня смотришь так? — не вытерпев, закричал на него Озеров. — Что ты на меня уставился?

— Уйдите в блиндаж, товарищ майор, — очень серьезно сказал Петя Уралец. — Я там все прибрал... Да и закусить пора.

— Вот репей, а? — воскликнул Озеров, обращаясь к Шаракшанэ. — Уйди, Петро, не доводи до греха! Что ты мне не даешь подышать свежим воздухом?

Петя вздохнул и отошел прочь.

Майор Озеров поудобнее уселся на еловом лапнике и некоторое время, согнувшись, изучал карту, развернутую на коленях. Комбат капитан Шаракшанэ сидел перед ним, по-восточному подвернув ноги, и поглядывал то на Озерова, то по сторонам быстрым взглядом, как, бывало, оглядывал с седла родную бурятскую степь. Они сидели вблизи блиндажа, врезанного в скат заросшего ольшаником оврага, — в нем находилась рация и сидели связисты.

Озеров оторвался от карты.

— О чем я говорил?

— О разведке.

— Да, о разведке, — заговорил Озеров с живостью, делавшей его лицо, особенно на морозе, очень молодым. — Конечно, только по ее вине и могло быть принято решение бить в лоб, без всякого маневра, на Скирманово, не придавая особого значения этой высоте... И вот — всем наука! Да, наука тяжелая, как все науки. Но теперь мы должны доказать, что можем исправлять свои ошибки непосредственно в бою. Немедленно! И генерал Бородин и генерал Батюков уже приняли все меры, чтобы танки не вырывались вперед, а шли вместе с пехотой, чтобы артиллерия сопровождала их огнем и колесами. Гвардейцы будут штурмовать высоту теперь с северо-востока, а мы, Володенька, вот здесь!

Озеров опять нагнулся над картой и, точно колдуя, пошевелил над ней пальцами.

— Трудный нам достался участок, — сказал Шаракшанэ.

— Не достался, а я сам его предложил...

На смуглом, худощаво-скуластом лице капитана Шаракшанэ отразилось усилие мысли...

— Удивляешься? — спросил Озеров. — Кстати, он совсем не трудный, этот участок...

Из блиндажа выскочил телефонист: на проводе — начштаба полка капитан Смольянинов. Кое-как, согнувшись, могучий Озеров залез в блиндаж. Через три минуты он вылез обратно, хватаясь руками за края траншеи, и тут же услышал свист мины над головой.

Мина ударилась в вершину елки на другой стороне оврага — брызнул огонь, за клубился дым, и в воздухе стонуше пропели осколки. Проходившие по дну оврага стрелки заметались в поисках укрытия.

— Вперед! — закричал на них Озеров во всю мощь своего голоса. — Живо вперед! Не прятаться! Не стоять на месте!

Стрелки бросились по оврагу дальше.

— Звонил от Головки, он там... — сообщил Озеров о Смольянинове, вновь усаживаясь на свое место.

— Как там дела, товарищ майор?

— Вышли на рубеж. Связного к ним послал?

— Полчаса назад. Связь будет.

— Так вот, Володя, если хочешь знать, взять высоту легче всего именно вот с этой, с нашей стороны... — продолжал Озеров. — Здесь самое слабое место в их обороне. С севера и востока подходы к высоте совершенно ровные и чистые — негде голову укрыть. Только

там, конечно, и есть танкопроходимая полоса на Скирманово. Немцы это отчетливо понимают и поэтому поставили там так много противотанковой артиллерии, да и для пехоты приготовили немало огневых средств... Там нужен страшный удар, чтобы разгромить оборону! А вот здесь, где мы... здесь совершенно непроходимое для танков место: тут глубокий овраг, а за высотой, перед самой деревней, овраг еще больше. Немцы знают, что здесь не могут и не пойдут наши танки! Вот поэтому здесь, с нашей стороны, у них и нет артиллерии. Здесь, кажется, только один большой дзот и открытые площадки для пулеметов. Так вот скажи, откуда же легче взять высоту?

— Да, но дзот... — Шаракшанэ почему-то опустил и полуприкрыл глаза. Ведь наша артиллерия, товарищ майор, может и не разбить его во время артподготовки. Тогда что?

— Это верно, может и не разбить, — согласился Озеров. — Дзот есть дзот... Но если даже его не разобьют, мы его возьмем! Ты хорошо осмотрел подходы к высоте?

— Хорошо, товарищ майор...

— Видел взлобок вроде вала на склоне?

— Его хорошо видно.

— Теперь слушай и мотай на ус! — продолжал Озеров, сделав порывистое движение всем корпусом вперед. — Одной ротой ты должен ударить на рожицу... Вот эту, видишь? Другой ротой — на высоту. От нашего оврага до высоты примерно триста метров. Если после артподготовки подниматься в атаку отсюда, мы не успеем дойти — немцы очухаются и пустят в ход пулеметы, особенно в дзоте, если он уцелеет...

— Нет, не успеем, — согласился Шаракшанэ. — Бежать в гору, да и снег глубок...

— Но мы перехитрим немцев! — со стиснутыми зубами, сдерживая голос, сказал Озеров. — Сколько будет до того взлобка на скате высоты? Метров сто или побольше? Так вот, не дожидаясь конца артподготовки, одна твоя рота должна достигнуть взлобка и приготовиться там для атаки. Таким образом, останется преодолеть только около двухсот метров до дзота.

— Побить могут, — вздохнув, заметил Шаракшанэ.

— Кто? Кого?

— Своя своих.

— Чепуха! Убежден, что ни один снаряд, ни одна мина не

упадут ближе этого взлобка! Наши артиллеристы ошибаются, но это отличные артиллеристы! Надо им верить! И надо учить солдат без всякой боязни прижиматься к своему огню!

Опять переждали грохот взрывов за оврагом.

— А дальше все дело в быстроте и натиске нашей атаки, — продолжал Озеров. — Пока немцы, побитые и оглушенные, успеют схватиться за оружие, наши солдаты должны быть на высоте! Надо идти в атаку от взлобка со всей силой, со всей яростью! Меньше двухсот метров! Меньше двухсот! Да неужели мы упустим одну-две минуты и дадим немцам возможность взяться за оружие? Не дадим!

Озеров быстро поднялся.

— Все ясно? Действуй!

Боевой приказ майора Озерова, как только он был произнесен, немедленно стал приказом родины и с необычайной быстротой совершил путь через комбата, командиров рот, взводов и отделений к солдатам... Стоило Озерову произнести несколько слов приказа — и сложный, хорошо сработанный командно-политический аппарат полка мгновенно пришел в привычное рабочее движение, направленное к одной цели. Через полчаса боевая задача была известна каждому солдату, где бы он ни находился в это время: на батарее, в пути, в цепи под любым кустом...

Солдаты лежали в овраге на истоптанном снегу, среди помятого кустарничка. Они истомились, ожидая, когда придется идти в бой, озябли и проголодались. Готовясь к атаке и не надеясь на обещанный старшинами горячий обед, они с жадностью уничтожали НЗ, то есть неприкосновенный запас, который расходуется в исключительных случаях. Грызая мерзлые куски хлеба и сухари, прожевывая мясные консервы с ледком, они разговаривали негромко, с тем спокойствием и бесшабашностью, которые известны только солдатам — и то в особые минуты.

— Чем все это нести на себе, так лучше в себе!

— Ешь, покамест живот свеж!

— А если ранят в живот? Ты об этом подумал?

— Видать, ты за меня об этом подумал... За это тебе большое спасибо. Может, консервы-то мне отдашь, а?

— Одинаково хорошо: что в пустой попадет, что в полный...

— Нашли о чем говорить!... Тут о деле надо...

— Главное, братцы, вовремя добежать до дзота!

— В бою, брат, все главное...

— Да, дзот у них здесь, говорят, здоров!

— Знаешь, всякая коза на горе выше коровы в поле.

...Лейтенант Матвей Юргин лежал под кустом крушины и, вопреки всегдашней привычке в бою, неохотно прислушивался к разговорам солдат, совсем другое занимало сейчас его ум и сердце. Странное ощущение не покидало Юргина: ему казалось, что над землей все еще держится легкая морозная заря, которая поднялась сегодня в час его знакомства с Леной. Да, это было очень удивительно. До 14.00 оставались считанные минуты, солнце уже обходило Барсушню стороной, точно зная, что над ней скоро вновь загрохочет бой, серенькой дымной мутью замутился короткий день, потух искристый иней на деревьях, а Юргину, несмотря на все это, казалось, что утренняя заря все еще наполняет мир розовым светом... Никогда Юргин не ощущал такой странной остановки времени, никогда! Но как Юргин ни любил всякое движение, означавшее жизнь, он был приятно взволнован такой остановкой. Это помогало ему и сейчас хорошо видеть то, что происходило сегодня несколько часов назад. Он видел, как торопливо говорит Лена, вскидывая заиндевелые брови и ресницы, как по-ребячьи обкусывает краюшку хлеба и орудует в котелке ложкой... Ощущение непрекращающейся утренней зари сливалось у Юргина с ощущением неутихающей утренней свежести и бодрости во всем теле. Он чувствовал себя таким, точно в первые минуты после пробудки, когда человек, сроднившийся с солдатской службой, во многом схож со стальной пружиной.

Подошел политрук роты Гончаров — веселый курносый человек с живыми серыми глазами, о котором говорили, что его кашей не корми — дай только побольше фронтовых хлопот и забот. Аккуратно подвернув полы полушубка, он лег на снег рядом с Юргиним и положил перед собой резиновый кисет.

— Закуривай!

— А-а, это вы, товарищ политрук? — Юргин едва оторвался от заполнивших его видений. — Закурить надо! Скоро ведь артподготовка? Сколько осталось?

Отрывая клочок газеты на сигарку, Гончаров сбоку присмотрелся к Юргину и с удивлением заметил:

— Ты сегодня какой-то... другой, а?

— А какой? — отчего-то веселея, переспросил Юргин.

— Никогда не видел тебя таким: вроде помолодел, вроде

взгляд стал светлее... — ответил Гончаров. — Или письмо из дому получил? Нет? Мне, конечно, приятно видеть сейчас тебя таким, а все же интересно: что с тобой случилось? Не утаю, всегда ты был мрачноват немного, а вот теперь вижу вроде клад нашел.

— И нашел! Да еще какой!

— Нет, Юргин, серьезно?

— Серьезно, нашел!

— Брось чудить! Да-а, странно... Ну, а солдаты как? Говорил с ними?

Опираясь на левый локоть, Юргин полулежал и торопливо дожигал сигарку, точно курение мешало ему наслаждаться чем-то другим и он только в силу крайней необходимости отдавал долг давнишней привычке. При этом выражение всего лица у него было таким, что любому бы при первом взгляде стало ясно: у человека, как ни скрывай, большое счастье...

— За наш взвод, товарищ политрук, не беспокойтесь! — энергично и приподнято ответил Юргин. — С бойцами и я говорил, и Дубровка мой, и командиры отделений... А коммунистов собирали особо. Наши коммунисты, товарищ политрук, как всегда, будут впереди! Вы ведь знаете Осипа Иваныча Чернышева? Он ведь у нас во взводе самый старый по стажу коммунист, самый уважаемый. Так вот, собрались, а он и говорит... Э-э, да что там повторять, товарищ политрук! Даю слово: наша будет высота! Возьмем! Вот посмотрите, как пойдут наши ребята! Мы что хочешь сегодня возьмем!

— Это хорошо, что такое у всех настроение, очень хорошо, — сказал Гончаров. — Я так и знал, что твой взвод не подведет. Только вот слушай... Что ты, в самом деле, какой сегодня, а? Горишь весь... Ты смотри, Юргин, не горячись в бою, не теряй выдержки. Это самое главное. Загорячишься, а это знаешь...

— Меня сегодня не убьют! — убежденно и весело сказал Юргин. — Ни за что! Нет такого закона в жизни!

— Слушай, Юргин, ты не глотнул?

— Глотнул немного, да не водки...

Из-за леса вдруг налетела мощная раскатистая волна моторного гула. Наши штурмовики пронесли над оврагом и с хода атаковали Барсушню...

Над высотой вновь грохотало...

Через несколько минут после начала артподготовки бойцы взвода Юргина вылезли из оврага и быстро достигли взлобка, о

котором говорил Озеров комбату Шаракшанэ. Здесь они залегли и окопались по ложбинам в глубоком снегу.

Это был рубеж атаки.

Жутко было лежать здесь озеровцам. До вершины высоты — рукой подать, и вся она в огне... Артиллеристы и минометчики в самом деле, как и предполагал Озеров, стреляли точно, но все же, в силу законов рассеивания, снаряды и мины падали не только у вершины высоты, но и поблизости от взлобка. Солдаты лежали, сдерживая свистящее от волнения дыхание, стараясь всем существом, каждой клеткой тела врасти в землю. Дым стлался по земле, как в бане, которая топится по-черному, и вокруг, шипя, врезались в снег осколки. Каждый чувствовал, что сразу за взлобком — огненное пекло...

Матвей Юргин взглянул на часы: до штурма высоты оставалось пять минут. Лейтенант Юргин хорошо знал, что такое атака, и понимал, что сегодня атака предстоит особенно тяжелая: враг — на высоте. До дзота больше двухсот шагов, бежать в гору по глубокому снегу; как ни считай, бросок к вершине высоты займет не меньше трех-четырёх минут. Но Юргину было известно, как дорого время в атаке. За три-четыре минуты гитлеровцы, несомненно, успеют опомниться после бомбежки и артподготовки, встать у пулеметов и в упор, кинжальным огнем, встретить атакующих на открытом месте.

Что тогда? И подумать страшно...

Но даже и теперь, сделав точные расчеты и поняв, что взвод вряд ли успеет вовремя уничтожить вражеский дзот, Матвей Юргин не пал духом; его не покидало странное, неугасимое ощущение утренней свежести и бодрости, какое он носил в себе весь этот день, ощущение необычной внутренней собранности, прочности и скрытой в себе силы... Наоборот, это ощущение даже окрепло на рубеже атаки и дополнилось неизбежной в такие минуты особой взволнованностью, которая и есть начало воинской доблести. И потому Юргин находился, как никогда прежде, в состоянии необычайного душевного подъема, — в таком состоянии, вероятно, бывает зорянка, когда она, захваченная весенней страстью пения и жизнелюбия, иногда внезапно замертво падает с ветки... Но и понимая, что атака будет очень тяжелой, и не зная еще, как провести ее, чтобы добиться победы, Юргин ни на одно мгновение не сомневался в успехе. То состояние, в каком он находился на рубеже

атаки, наделяло его сказочной силы верой в торжество всего хорошего, красивого и справедливого, что есть в мире... Он вспомнил, что дал слово политруку роты Гончарову взять дзот, и неожиданно для себя ударил кулаком в землю:

«И возьмем! Непременно возьмем!»

Вновь взглянув на часы, Юргин вдруг быстро сбросил с себя полушубок, снял шапку, а из нагрудного кармана гимнастерки вытащил карандаш и маленький блокнот. К Юргину торопливо подполз Дубровка. Увидев своего помощника, Юргин сунул ему в руку листок из блокнота. На листке было написано:

«Как только дадут ракеты, немедленно поднимай взвод. Я пошел вперед. За последнюю минуту артподготовки я продвинулся еще метров на 50 — 70, как выйдет, и тогда мы дзот возьмем. Здесь без риска нельзя, а рисковать можно только мне. Сбереги полушубок и шапку. Еще раз требую: не теряй ни одной секунды!»

Прочитав записку, Дубровка болезненно сморщился я, что-то крича, отрицательно замахал в воздухе рукой. Не обращая внимания на Дубровку, Юргин с лихорадочной быстротой рассовал по карманам гранаты, схватив автомат, быстро выбрался на взлобок и сильными рывками пополз вперед — в огонь и дым, в адское пекло.

...Через минуту над склоном Барсушни одна за другой взлетели две зеленые ракеты.

Матвей Юргин, весь в грязном снегу, с черным от пороховой гари лицом и золотистыми от ярости глазами, немедленно вскочил на ноги. Ему некогда было оглядываться назад, чтобы смерить глазом пройденный сквозь огонь путь. Он поэтому и не видел, что вместе с ним — по сторонам — вскочили на ноги, тоже только в одних гимнастерках, Осип Чернышев, Андрей Лопухов и Нургалей Хасанов... Матвей Юргин быстро взглянул вперед и, хотя еще не рассеялся дым, сразу же увидел на склоне высоты огромный сугроб, испятнанный черными воронками. Да, это был дзот, очень большой, вероятно, не с одной амбразурой... Стиснув зубы и ощерясь, Матвей Юргин рванулся вперед — рванулся такими порывистыми бросками, что мгновенно захрипело в горле...

У него хватило сил добежать до дзота, но, добежав, он тут же грохнулся, как загнанный лось. Через несколько секунд он очнулся — и сразу услышал, что из дзота, на котором он лежит, отчетливо доносятся немецкие голоса. Почему их так хорошо слышно? Осматриваясь, Юргин вдруг заметил, что он упал рядом с какой-то

черной дырой, вроде отдушины в медвежьей берлоге, и мгновенно догадался: это был дымоход от очага в дзоте. Не раздумывая ни одной секунды, Юргин вскочил на колени, выхватил из кармана гранату, взвел ее и со всей силой, какую дает только радость победы над врагом, кинул ее в дымоход.

«На, гады, лови!»

В дзоте грохнул взрыв, а вслед за ним в дымоход вырвался дикий вой: в могучем дзоте, спасаясь от нашего огня, собралось немало гитлеровских солдат. Их вой только подхлестнул Юргина. В дымоход полетела вторая граната.

«Лови, гады, еще!»

Вскочив на ноги, Юргин увидел около дзота Андрея, а затем Чернышева и Хасанова. Юргин не удивился, что они оказались вместе с ним, по той простой причине, что ему некогда было удивляться, а только сразу закричал:

— Бей по амбразурам! Захватывай выход!

Потом он увидел, что весь взвод во главе с Дубровкой уже совсем близко, и закричал, надрывая голос:

— Бей блиндажи! По траншеям! Вперед!

И только после этого Юргин увидел, что он стоит на такой высоте, с которой открываются широчайшие просторы подмосковной земли. Давно Юргину не случалось одним взглядом охватывать такое огромное пространство. Да какое! Бесконечно дорогое и несказанно милое русской душе: холмистые поля с колхозными токами, извилистые долинки речек с деревнями под ивами, зубчатые стены еловых лесов, светлые березовые рощи, все в сверкающей белизне зимы... И Юргину невольно, с волнением до дрожи, подумалось: за один единственный взгляд на этот родной мир можно сложить свою голову в бою! И Юргин вновь закричал что было силы в его голосе:

— За родину, вперед!

С северо-восточной стороны на вершину Барсушни в это время ворвались танки и бойцы мотострелкового батальона гвардейской бригады. Танки бросались то в одну, то в другую сторону, оседая на месте раздавленных блиндажей, а стрелки с гамом и пальбой рассыпались по траншеям...

...Смотря на высоту, Шаракшанэ восхищенно воскликнул:

— Герои! Лихие герои!

Майор Озеров не ответил. Устало опираясь левым плечом на ствол ольхи, коротко поглядывая на вершину Барсушни, он хватал с

ближней елочки комья снега и глотал их торопливо, жадно: в груди его пылало...

VIII

Лена Малышева, вступая добровольно в армию, много думала о том, как будет участвовать в первом бою. Ее нисколько не пугало боевое крещение. У Лены никогда даже и не появлялась мысль, что идти в бой — страшно и опасно: так велико и властно было в ее душе ощущение безмерной потребности быть сейчас на войне, благородства и красоты воинского труда советских людей. Готовясь к боевому крещению, Лена думала только о том, как ей лучше выполнить свои обязанности на поле боя, и была счастлива, что ее воображение всегда милостиво и щедро рисовало перед ней те картины, какие отвечали большой потребности ее души.

Но ни одной картины, созданной воображением до боя, Лена не увидела в бою. Все здесь до обидного противоречило тому, к чему привыкла Лена прежде за долгие часы раздумья, — и звуки, и краски, и чувства...

...Лену измучили собаки. От свиста пуль они припадали к земле и даже зарывались в снег, — не хватало никаких сил сорвать их с места. Если разрывался вблизи снаряд, они с визгом бросались куда попало и тащили Лену за собой на поводке волоком. Они боялись огня и дыма. Но самое главное они боялись раненых. Услышав стон раненого, они ни за что не подходили к нему — упирались, рвались в стороны, рычали и скалили зубы. Всему виной была Найда. Должно быть, она уже побывала, и не совсем благополучно, под огнем; она так боялась свиста и грохота, так металась, визжала и влаивала, что всей упряжке было жутко... «Да разнеси вас на клочья, будь вы трижды прокляты! — сквозь слезы кричала Лена на ошалелых собак, сдерживая их и смахивая с лица снег. — И кто только выдумал эти упряжки! Да я бы без вас... я бы больше вынесла раненых! Пропадите вы пропадом, дурные морды!» И опять падала в снег, тащилась волоком за упряжкой...

С большим трудом, со слезами удалось Лене вывезти двух тяжелораненых с Барсушни, когда наши пехотинцы и танкисты сбросили оттуда противника.

В третий раз упряжка шла на высоту послушнее — проторенной тропой. Но на Барсушне уже не осталось

тяжелораненых, а легкораненые категорически отказывались от помощи:

— Вперед, сестрица, вперед! Сами доползем!

С высоты хорошо было видно все поле боя.

В левой стороне, за шоссе, по всему огромному покатоному полю рвались снаряды и, точно из земли, выплескивало языки огня; там в дыму мелькали наши танки...

В правой стороне, за мысом слового леса, тоже стоял сплошной орудийный грохот; у деревни Горки слышались особенно сильные взрывы и поднимались клубы густого, черного дыма...

Только в центре, у большого, заросшего чернолесьем оврага, который выходил непосредственно к западной окраине Скирманова, было значительно тише, чем вокруг.

Лена не могла понять, что происходило здесь. Два наших танка то подходили к оврагу и крутились там по мелкому кустарнику, то выходили в поле и, постояв, двигались в сторону рощицы, охранявшей склон высоты с запада. У оврага и рощицы мелькали фигуры солдат. Солдаты не бежали вперед, в атаку, что нужно было, по мнению Лены, делать сейчас, тем более, что деревня близко, а сходились кучками, затем разбежались в разные стороны, зачем-то без конца металась по полю, падали, ползли... «Да что они топчутся на одном месте? — удивилась Лена. — Какая-то суматоха, честное слово!» С минуту Лена стояла на высоте, соображая, куда лучше пойти. Ей стало очень досадно, что она попала не на один из тех участков, где идет настоящий бой. Ей казалось, что она необходима сейчас где угодно и меньше всего вот здесь, у оврага, где даже и не поймешь, что происходит...

Между тем на южном скате высоты, на поле между оврагом и рощицей, шел жестокий бой. Наши танки не могли здесь прорваться в Скирманово и гусеницами уничтожали вдоль оврага вражеские блиндажи. Здесь наши солдаты дрались всем, чем можно драться в тяжелый час: штыками, прикладами, саперными лопатками, касками, ножами, камнями... Здесь в смертной ярости катались противники по земле, грызя друг друга зубами...

Рядом раздался сильный мужской голос:

— Страшно, а?

Это был командир полка Озеров.

— Страшно? — переспросила Лена. — Отчего?

Лена решила, что командир полка смеется над ней; резко

дергая за поводок своих собак из траншейки, где они сбились в кучу, она крикнула высоким от обиды голосом:

— Вперед!

Она каялась, что задержалась лишнюю минуту на высоте.

— Девушка, обождите! — остановил ее Озеров. —
Перевяжите вот здесь одного раненого.

Лена привязала собак за комель ивки у бруствера траншейки и открыла сумку с красным крестом. Раненым оказался какой-то лейтенант, вероятно из штаба полка; у него легко оцарапало осколком щеку.

— Так он же перевязан! — воскликнула Лена.

— Перевяжите получше...

Перевязывая лейтенанта, Лена с интересом наблюдала за всем, что происходило в эти минуты на высоте. Здесь быстро копился военный люд. Лена поняла, что на высоте уже обосновались наблюдательные пункты различных частей. Офицеры осматривали в бинокли поле боя и выкрикивали какие-то команды; связисты, надрываясь, кричали в телефонные трубки; солдаты тащили какие-то ящики, углубляли траншеи, осматривали блиндажи... Все спешили, волновались, кричали друг на друга, бегали туда-сюда. Все это интересно было наблюдать впервые, но Лена внутренне никак не могла согласиться, что у людей на высоте, в стороне от настоящего боя, есть достаточно серьезные причины вести себя так суматошно и крикливо. Она даже спросила раненого:

— Что они мечутся так?

Раненый замигал, разглядывая ее лицо.

Лена особенно утвердилась в своих мыслях с той минуты, когда обратила внимание на Озерова. Командир полка, не в пример другим, был очень спокоен. Он не суетился, а стоял в маленькой, до колен, траншейке и неторопливо осматривал в бинокль поле боя. Закончив осмотр, он заговорил с комбатом Шаракшанэ; да, он говорил отрывисто, резко и громко, но иначе и нельзя было говорить: часто мешали близкие разрывы снарядов — противник начал обстрел потерянной высоты.

Указывая вправо, в сторону продолговатой рощицы, Озеров сказал Шаракшанэ:

— За правым флангом смотри в оба!

— Вот этот лесок тоже подозрителен...

— Да, туда выдвинуть две пушки... А здесь?

— Подождем немного!

К Озеру подошел красный, разомлевший, словно только что из бани, коренастый капитан средних лет — это был начальник артиллерии полка.

— Где твои пушки? — резко спросил его Озеров.

— Сейчас будут, товарищ майор!

— Смотри, не зевай! — погрозил Озеров.

— Да вон они, идут!

— Занимай позиции! Быстро!

Тут же подошел гвардии майор Руденко.

— Ну как? — спросил он. — Воюем?

— Видишь, овраг мешает!

— Ничего, возьмем! Теперь возьмем! — горячо воскликнул Руденко. — Да, брат, на этот раз здорово вышло! Ты был прав, совершенно прав!

— Гляди, как бы из этой рощицы не ударили, — предупредил Озеров. Очень подозрительна.

— Учтем, товарищ майор, учтем!

— Где твой эн-пе?

— Вон у той березы! Ну, я пошел!

Оставшись один, Озеров расстегнул ворот полушубка, обтер вспотевшее лицо платком и, к удивлению Лены, попросил у молоденького солдата с автоматом и вещевым мешком за спиной чаю. Петя Уралец достал термос. Обжигаясь, поглядывая на поле боя, Озеров жадно начал пить из кружки густой, как деготь, чай. И Лена окончательно убедилась, что Озеров ведет себя благоразумнее всех на высоте.

— Не больно? — спросила она раненого, закончив перевязку.

— Значит, зря мечутся? — спросил раненый в свою очередь.

— Да, конечно! Вон майор, видите какой?

Майор Озеров вдруг швырнул кружку с чаем в сторону, вскочил на бруствер траншейки и, оборачиваясь назад, закричал во весь голос:

— Володя, сюда! Живо!

Шаракшанэ рядом перемахнул траншею.

— Видишь? Давай к Юргину еще взвод! Живо!

Кое-как вытащив упрямых собак и лодочку из траншеи, Лена увидела, что с левого склона высоты к оврагу, перегоняя друг друга, с криками бегут наши стрелки, — и вдруг почувствовала озноб во всем

теле. Ее испугала не столько внезапная перемена в поведении Озерова, сколько его приказ дать Юргину подкрепление. «Юргин? Он здесь?» — с тревогой подумала Лена. Только теперь, узнав, что Юргин у оврага, она отчетливо поняла, что там идет тяжелый бой, — почему-то ей казалось, что тот Юргин, которого она узнала сегодня на заре, может быть только там, где сражаться особенно тяжело.

Увидев лицо Лены, Озеров сказал:

— Вот теперь идите.

— Только осторожнее, — посоветовал ей Шаракшанэ.

— Теперь ей не надо этого говорить, — заметил Озеров, а когда Лена сбежала с высоты, волоча за собой на поводке собак, со вздохом добавил: Бежать бы ей сейчас в университет, а тут — в бой...

Пока Лена спускалась с высоты, волоча за собой упирающихся собак, наша пехота, получив подкрепление, прорвалась до устья оврага и здесь штыками стала сбрасывать гитлеровцев под обрыв, в низину, за которой — в сотне метров — стояли на пригорке крайние дома Скирманова.

На полпути к той черте, где шел рукопашный бой, в кустиках близ оврага, Лена увидела первых раненых, — все они, кто как мог, пробирались к высоте. Но раненые, один за другим, отказались от ее помощи; один солдат средних лет, поддерживая окровавленную левую руку, сказал почти то же, что она недавно слышала на высоте:

— Ты иди, сестрица, дальше, там есть тяжелые, а мы отдохнем немного и сами... Собаки-то, видать, побаиваются, а?

Вскоре Лена попала в расположение немецких блиндажей, но в это время началась немецкая контратака.

Два немецких танка с пехотой до роты вышли из продолговатой рощицы, на которую Озеров обращал внимание Шаракшанэ, и над полем боя загрохотала оружейная пальба.

Не успела Лена понять, что произошло, собаки сшибли ее с ног и потащили вдоль оврага.

...Когда Лена поднялась, собак не было. Но совсем близко от себя она увидела немецкие танки: один горел, уже зажженный нашими пушками, другой стрелял по высоте. Лена в ужасе прижалась к земле и почувствовала, что ее пальцы вцепились в дерево: она лежала над входом в немецкий блиндаж.

Собственно, это был не блиндаж, а небольшая, низкая и грязная землянка, покрытая в один накат тонкими бревнами, — обыкновенная немецкая землянка, какие делались в расчете на

недолгое служение. В землянке валялись одеяла, ранцы, котелки и прочее, пыльное и вонючее, перемешанное с истертой, соломой, солдатское барахлишко.

Но здесь Лене почему-то стало страшнее, чем на воле. Совсем близко, оглушая, ревел мотор танка, скрежетали гусеницы, рвала воздух пушка; вокруг гремела ружейная пальба и людская разноголосица; десятки ног, то в валенках, то в сапогах, мелькали мимо узкого, открытого входа в землянку, схожего с волчьей норой.

Лена не знала, как долго продолжалось все это. Не до того ей было, чтобы вести счет времени. Она в отчаянии металась по землянке, прижималась щеками к холодным, вздрагивающим стенам своего случайного убежища и замирала, ожидая смертной минуты.

Внезапно заметив, что в землянке потемнело, она резко обернулась в сторону входа: хрипя, судорожно царапая руками ступеньки, в землянку лез немец. Лена вскрикнула в беспомощности и отпрянула к задней стене — она не сомневалась, что немец хочет убить ее.

Но она ошиблась, конечно. Немец только что, около землянки, был смертельно ранен: его насквозь в грудь пробило пулей. Он успел увидеть черную нору и успел подумать, что может спастись в землянке. Он тут же грохнулся наземь и пополз в землянку, но через несколько секунд потерял сознание: из горла ручьем хлынула кровь.

А Лена, не понимая, что немец умирает, в ужасе хватала и бросала в него все, что попадало под руку: обоймы патронов, котелки, кружки, консервные банки, пустые бутылки...

IX

Только к полуночи наши части заняли Скирманово.

Четырнадцать часов шел бой. Все наши бойцы сильно устали, но от необычайного возбуждения почти не замечали усталости: так были счастливы, что хотя и с большим трудом, но все же выиграли первый наступательный бой, освободили от врага первую деревню, первый клочок родной земли... С разноголосицей бойцы тушили горевшие дома, при свете огней пожара осматривали подбитые немецкие танки и орудия, стаскивали в центр деревни трофейное стрелковое оружие и боеприпасы, обыскивали немецкие блиндажи и землянки...

Один Юргин был молчалив и мрачен.

Андрей успокаивал его:

— Может, ты ошибся?

— Нет, точно, это были ее собаки...

— Где ж ты их видел?

— У самого оврага. Носились как бешеные.

— Может, сходить в санвзвод?

— Сейчас пойду. Не знаешь, где он?

После короткой встречи с командиром роты Кудрявцевым Юргин отдал Дубровке приказ собрать бойцов и занять блиндажи для ночевки, а сам отправился к большому дому в центре деревни, где временно разместился санвзвод. Он пошел туда с чувством безмерной тоски и тревоги.

В санвзводе никто не знал, что случилось с Леной. Собаки ее пришли в деревню, хотя одна из них, Найда, была тяжело ранена. Лену уже пошли искать ее подруги.

— А куда пошли? — мрачно спросил Юргин.

— В овраг пошли, — тоже мрачно ответила Вера Уханова, та, что утром осталась недовольна поведением Лены.

— Потери есть у вас?

— Одна убита, две ранены, а вот Лена — без вести...

— Я тоже пойду искать! — сказал Юргин с волнением и с такой страстной верой в необходимость своего решения, что Вера Уханова впервые взглянула на странного лейтенанта примирительным взглядом.

Захватив с собой Андрея и еще двух бойцов, Матвей Юргин отправился к оврагу — на южный склон Барсушни.

У западной околицы деревни Юргин повстречался с девушками из санвзвода. Побаиваясь бродить ночью в незнакомом месте и опасаясь, что часовые могут обстрелять без предупреждения, девушки разговаривали излишне громко. Юргин вдруг решил: девушки возбуждены потому, что несут Лену, и бросился к ним навстречу, скользя перед собой по снегу лучом фонарика.

Но девушки возвращались без Лены.

На вопрос Юргина они отвечали наперебой:

— Весь овраг обыскали, весь овраг!

— Каждый куст осмотрели!

— И блиндажи все... Нигде нет!

Юргин спросил сдавленным голосом:

— С ранеными не увезли?

— Нет, мы сами всех отправляли, — ответила одна из девушек, присматриваясь к Юргину и стараясь определить, кто интересуется судьбой их подруги.

— К танкистам не попала?

— Уже спрашивали.

— Убитых всех собрали?

— Всех.

Юргин с ужасом подумал: «Неужели прямое попадание?» (Однажды в полсотне метров впереди Юргина шел солдат, вдруг — взрыв, блеск огня... Вскочив, Юргин бросился туда, где находился солдат, а там — только опаленная и задымленная трава...) Но Юргин, внезапно обозлясь на девушек, сказал:

— Плохо искали! И не стыдно?

Девушки испуганно притихли.

Матвей Юргин и его бойцы пошли к оврагу, а девушки сбились в кучу и долго смотрели в ту сторону, куда ушел странный незнакомый командир, встревоженный судьбой Лены Малышевой и верящий в чудо. И вдруг все они разом, молча, толкая друг друга, рванулись за ним...

Более часа лейтенант Юргин, его бойцы и девушки из санвзвода обшаривали овраг. Перекликаясь, светя фонариками, вся группа медленно пробиралась к его вершине, тщательно осматривая каждый метр земли.

...В детстве с Матвейкой Юргиним произошла немалая беда. Он долго мечтал побывать на одной горе у Енисея, чтобы узнать, далеко ли видны с нее земные просторы и что делается в необозримых далях. И вот наконец сбылась его мечта. Забрался он однажды с дружками-приятелями на ту гору, забрался — и обомлел от восторга! Какое необозримое, блистающее, ласково поющее неведомую песнь пространство развернулось перед его изумленным взором! У Матвейки с жутким и радостным замиранием, как у воробышка в первом полете, забилося сердце. И Матвейке вдруг показалось, что он стал за несколько секунд — совершенно взрослым человеком, что он познал пока еще неизвестное многим, особое, таинственное счастье...

Но один дружок-забияка, не познав этого счастья, хотя и стоял рядом, взял и толкнул зачарованного Матвейку в плечо, толкнул из озорства и, должно быть, из зависти. У Матвейки неловко

подвернулась на камне нога, он неожиданно упал и, к ужасу всех ребят, покатился, перевертываясь, по склону горы. Пролетел он, правда, немного, увечий не получил, но избит был так, что дружки принесли его домой на руках, с ног до головы в крови.

Что-то подобное случилось и сегодня.

Познакомясь с Леной, поговорив с ней, Матвей Юргин испытал чувства, чем-то похожие на те, какие испытал на горе у Енисея, но, увидев мечущихся по полю боя одиноких собак Лены, он вдруг почувствовал себя избитым, измятым, в крови, — точно так же, как в детстве на той горе.

Все это было так жестоко и несправедливо, что Юргину хотелось лечь грудью на землю и умереть...

Но все же он всеми силами сберегал в себе надежду найти и увидеть Лену живой. И потому он был неутомим и даже яростен в своих поисках. Он все требовал и требовал:

— Ищите, друзья! Ищите лучше!

Голос его охрип от горя.

— Она здесь! Надо искать!

Андрей тихонько утешал друга:

— Ты крепись, мы ее найдем...

— Да? Правильно, Андрей, правильно...

И Матвей Юргин вновь шел вперед. Ему светили под ноги фонариками, а он сам, никому не доверяя, обшаривал все кусты, разрывая руками сугробы снега и разбитые, полузаваленные блиндажи...

X

Тем временем Лена сидела у крыльца дома, занятого санвзводом, и плакала над издыхающей Найдой. Подруги настойчиво упрасивали:

— Лена, перестань, нехорошо!

— Собака и есть собака...

Лена попыталась объяснить свои слезы:

— Вы понимаете, ей было очень страшно. А я, дура, ее еще ругала...

Не поняв ничего из объяснений Лены, подруги силой взяли ее под руки и увели в дом.

...После небольшого отдыха наши части двинулись в сторону

деревни Козлово, до которой от Скирманова три километра лесистой долиной. В 6.00, еще в темноте, начался бой за Козлово.

Лену не пустили в этот бой.

Она долго отказывалась рассказать, что произошло с ней у Барсушни. Утром она не дотронулась до котелка с кашей. Она одиноко сидела в блиндаже рядом с домом санвзвода, тревожно прислушиваясь к грохоту боя; если кто-нибудь неожиданно спускался в блиндаж, она вздрагивала, а один раз даже вскрикнула.

Командир санвзвода Пересветов, встретив Веру Уханову, спросил:

— Придется эвакуировать ее, а? Как думаешь?

— Зачем? — удивилась Вера. — У нее же нет никаких ранений. Одни переживания...

— А переживания, по-твоему, легче ранений? За ней такого... особого... не заметно? — Пересветов пошевелил пальцами у правого виска.

— Ничего не замечала!

— А ты посмотри за ней, посмотри!

Вера Уханова вновь заглянула в блиндаж, где находилась Лена, и вновь поставила перед ней котелок с кашей. И сурово потребовала:

— Ешь!

— Не хочу, Вера...

— Ешь и не разговаривай!

Лена взялась было за ложку но тут же опустила ее в котелок. Брезгливо передернув плечами, спросила:

— Бой все идет?

— Идет. Ужасный бой!

— Много раненых?

— Больше, чем вчера.

— Зря вы не пустили меня...

— Куда тебя пускать? — возмутилась Вера. — Всю ночь бредила, металась, плакала...

— Не сочиняй! — осуждающе сказала Лена.

— Ты лучше расскажи все, что было, — носоватовала Вера. — Давай-ка выкладывай... Расскажешь — и сразу легче станет. А то и смотреть-то на тебя страшно: за один бой совсем другая стала!

Немецкие минометные батареи открыли беглый огонь по Скирманову. Налет продолжался больше минуты. Два раза блиндаж

встряхивало так сильно, что трофейную сальную плошку с огнем засыпало землей. Девушки забились в один угол и замерли.

— Вот бьют! — прошептала Лена, когда затихло.

Вера вытащила из кармана новую плошку, зажгла огонь и опять продолжала:

— Говори, я жду...

— А дашь слово, что никому ничего не расскажешь?

— Даю! Не тyani, выкладывай!

— Честное слово?

— Честное слово! Вот прицепа!

И только после этого Лена рассказала, что произошло с ней в землянке у оврага. Когда к ней вернулось сознание, была уже ночь и по полю боя, осматривая трупы, ходили бойцы похоронной команды; они услышали ее крик, вытащили из землянки мертвого немецкого солдата, а затем вытащили ее...

Открыв свою тайну, Лена прижалась к Вере и немного поплакала; впрочем, вскоре ей в самом деле стало легче, и она сама подтащила к себе котелок с остывшей кашей.

— Вкусно? — невесело улыбаясь, спросила Вера.

— Очень!

Было что-то ребяческое в манере Лены есть; она так смешно орудовала ложкой в котелке, так смешно облизывала ее, что Вера не вытерпела и сказала:

— Дуреха ты! Но счастливая...

— Ты о чем?

— Сама знаешь!

— А-а! — протянула Лена неуверенно.

— Какой он был, когда пошел искать тебя!

— А-а! — протянула Лена совсем другим тоном и, потупясь, добавила: Не сочиняй!

— Такую любовь, дуреха, трудно сочинить, — сказала Вера очень серьезно. — Разве только писатели могут... Да и то: куда им!

— Дай покушать, не мешай!

— В такое время, как сейчас, по-моему, самая крепкая любовь бывает, убежденно продолжала Вера. — Кругом война, кровь да смерть... И если в это время полюбил человек — значит, настоящая у него...

— Он меня совсем не знает! — перебила Лена.

— Значит, узнал с одного взгляда!

Вера посмотрела на Лену с завистью.

— Да, счастливая ты! — повторила она со вздохом. — Девчата все блиндажи обыскали, пока нашли его ночью. И нашли-то за несколько минут до того, как идти ему в Козлово. Ну, рассказали, конечно, что ты жива-здорова...

Не успев второпях скрыть заинтересованности, Лена живо переспросила:

— Рассказали? А он что?

— От радости целоваться полез!

— Да? Может, он... такой?

— Ага, уже ревнуешь?

...После полудня Лена пошла в бой.

Это был один из жесточайших боев в Подмосковье. Без малейшей передышки он продолжался весь день, всю ночь и закончился только после полудня 14 ноября. Более тридцати часов шла смертная, тягостно туманящая воображение борьба за каждый клочок земли.

Все это время Лена вместе со всеми работала с тем необычайно возвышенным напряжением, с той нежнейшей силой милосердия, с какой поет струна... Она бесстрашно шла в самые опасные места. Она выносила раненых, оказывала им помощь, попутно доставляла боеприпасы, помогала собирать павших на поле боя и их оружие... Она делала все, что заставлял делать бой, и на все дела была беспредельна ее святая девичья щедрость.

Лена очень быстро оправилась от тех потрясений, какие доставило ей боевое крещение, — новый бой за один день отбросил все пережитое далеко назад. Но он не в силах был отбросить то, что связывалось для нее с именем Юргина. Все, что касалось этого человека, крепко легло в память. Даже в бою находились секунды, когда Лена вспоминала встречу с Юргиним на восходе солнца. Вспоминала и то, как испугалась, когда узнала, что Юргину требуется помощь в бою. Вспоминала, с каким изумлением, самой непонятным испугом, едва сдерживая слезы, она слушала рассказ подруг о том, как Юргин искал ее в овраге... Все эти события соединились для Лены в одно целое, точно цветы в один букет, и от этого букета так пахло солнцем и жизнью, что легко, радостно, как в лугах, кружилась и звенела голова...

Приказ о разгроме противника в районе Скирманово — Козлово был выполнен, хотя наши войска и затратили для этого значительно больше, чем предполагалось, времени и усилий. Не дешево досталась им эта победа, но и противник понес большие потери. За три дня боев он потерял тридцать четыре танка, двадцать противотанковых и пять тяжелых орудий, двадцать шесть минометов и много другого вооружения; немало полегло костями и гитлеровцев в здешних снегах...

За час до освобождения Козлова стало известно, что Советское правительство наградило орденами и медалями большую группу солдат и офицеров полка. Майор Озеров и — посмертно — комиссар Яхно были награждены орденами Ленина; несколько офицеров, в том числе лейтенант Юргин, орденами Красного Знамени; среди двадцати трех бойцов полка славную солдатскую медаль «За отвагу» получили Андрей Лопухов, Осип Чернышев, Иван Умрихин и Нургалей Хасанов.

Озеровцы узнали о наградах еще во время боя.

Полк поздравил своих героев с победой в Козлове.

Вскоре после того как противник был выбит из последних домов на западной окраине Козлова и бежал в леса, майор Озеров получил сразу две телеграммы от командующего армией генерал-лейтенанта Рокоссовского. В одной из них командующий поздравил бойцов и командиров полка с получением высоких правительственных наград; во второй объявил Озерову и всему полку благодарность за успешные действия в последних боях. «Особо отмечаю, писал командарм Озерову, — вашу смелую инициативу в боях за высоту 264,3».

Присев на крыльце крестьянской избы, занятой связистами, Озеров прочитал телеграммы и затем, думая о чем-то или пытаясь думать, долго держал их в правой, устало опущенной руке. С той минуты, как начался бой за Барсушню, он забыл об отдыхе, и теперь усталость брала свое, казалось, Озерову трудно держать в руке даже небольшие листки бумаги. За три дня, проведенных все время на морозе, лицо Озерова побагровело и задубело, а глаза опухли и налились кровью, — посторонний мог принять его сейчас за непомерно пьяного человека, хотя он никогда не позволял себе в бою ни одного глотка водки.

Гитлеровцы повсеместно прекратили огонь, — скрепя сердце

они вынуждены были смириться с тяжелой потерей очень важных скирмановских и Козловских позиций. На фронте установилась тишина.

В Козлове догорали подожженные гитлеровцами крестьянские дома. Группы солдат шумно растаскивали пылающие бревна, забрасывали снегом пожарища: к ночи нигде не должно остаться и маленького огонька. Другие группы торопливо шли на западную окраину деревни — закрепляться на занятом рубеже, осматривали подбитые немецкие танки и орудия, собирали в штабеля закоченевшие трупы гитлеровцев, разбросанное всюду трофейное оружие и боеприпасы. Повсюду гудели танки, направляясь за Козлово в лесные засады. Главной улицей, по дороге на Скирманово, тягачи с трудом волокли две наши поврежденные машины «Т-34». За околицей, громко крича, артиллеристы оборудовали новые огневые позиции.

Все эти картины, порожденные первой большой победой, были долгожданны и приятны, но Озеров почему-то вдруг потерял к ним тот возбужденный интерес, какой только что испытывал... Озеров еще и сам не понимал, отчего это произошло, и поэтому ему особенно трудно было разобраться в своих мыслях.

На крыльцо выскочил Петя Уралец и доложил, что Озерова вызывает к телефону командир дивизии. Озеров порывисто встал на ноги, точно и не было никакой усталости, взглянул на вершину Барсушни, где сейчас находился НП генерала Бородин, и вдруг понял, что внезапно изменило его отношение к картинам победы.

— Телеграммы получил? — спросил Бородин.

— Да, получил... — обычным тоном ответил Озеров.

— Что у тебя голос такой? — удивился Бородин. — Устал? Или не рад?

— Признаться, не совсем... — откровенно сознался Озеров. — Да дело в том, что мою инициативу, по-моему, нельзя называть смелой. Самая обычная инициатива. Только теперь вот я вижу многие наши ошибки.

— Завтра соберемся, — сказал Бородин, давая понять, что хочет устроить разбор проведенного боя. — А теперь слушай «третьего»...

Это был начальник политотдела дивизии полковой комиссар Михайловский.

— Прибыл тот, кого ждешь, — сказал он кратко.

— Да? — Озеров понял, что речь идет о приезде нового комиссара полка. — Где он сейчас?

— В твоём «хозяйстве».

— Я сейчас еду туда.

Озеров быстро собрался и выехал в штаб своего полка, который находился теперь в Скирманове.

...Майор Озеров поджидал нового комиссара уже с неделю. Почему-то Озерову казалось, что он непременно должен быть похожим во всем на погибшего Яхно: ничто не могло затмить его образ перед взором Озерова — ни огонь, ни дым войны. Но вскоре ему пришлось с досадой убедиться, что он ошибся в своем ожидании.

Новый комиссар, Иван Иванович Брянцев, был человеком совсем другого склада. Если Озерову казалось, что Яхно всегда лучился, как хорошо отграненный алмаз, то этот был темен, словно кусок антрацита. Он казался таким еще и потому, что все в нем было темным от природы: и худощавое, губастое лицо, и волосы, так плотно свитые на широкой голове, что можно было ходить без шапки, и хмурые, должно быть, не любящие яркого света глаза. И даже голос, казалось, был у него темноватый, подземный, разговаривал он, особенно в первое время, коротко и мрачновато.

Как следует разговор начался только за обедом. Ради знакомства майор Озеров налил комиссару стопку водки.

— А себе? — сразу спросил Брянцев.

— Я ее редко употребляю.

— Это очень опасно.

— Опасно? Почему же?

— К старости начнете пить запоем, — объяснил Брянцев мрачновато и убежденно. — Сегодня выпейте, — добавил он проще. — Это даже необходимо.

— Да, я налью, пожалуй, — вдруг согласился Озеров.

Не чокаясь, Брянцев поднял стакан.

— С высокой наградой и замечательной победой.

Выпил он смело, но потом долго отдувался, смешно оттопыривая мясистые губы, и торопливо обнюхивал кусочек свежего ржаного хлеба, — ясно было, что он тоже выпить не большой мастак, как показалось вначале. Именно это сразу же навело Озерова на мысль, что новый комиссар, видимо, относится к числу тех людей, каких очень трудно разгадать с первого взгляда: у них особая, настороженная манера знакомства.

— Поздравляю и завидую, — продолжал Брянцев, закусив колбасой, — это ни с чем не сравнимо — испытывать чувство победы над врагом.

— А я вас ожидал раньше, — сказал Озеров.

— Задержали в политотделе армии, — ответил Брянцев, все еще пряча от света тяжеловатые глаза. — Вернее, пришлось заходить в госпиталь. Рановато уехал из Москвы.

— Вы москвич? Значит, были дома?

— Был, да... Но дом пуст.

— А семья?

— Семья там! — Брянцев указал ложкой в сторону запада. — Я был у границы. Когда это случилось, стало не до личных дел. А у жены — близнецы. В двух колясках.

Туго и медленно, как осторожный цветок на заре, раскрывалась перед Озеровым душа нового комиссара, и Озеров начинал видеть, что в ней полным-полно огненно-красного цвета, словно в бутоне махрового мака. «Кажется, подходящ», — с осторожностью отметил Озеров про себя и вновь взялся за флягу с водкой. Но Брянцев решительно отказался от второй стопки.

— Завидую, завидую! — сказал он, повеселев, и даже впервые внимательно посмотрел на Озерова. — Очень сожалею, что не принял участия в этом наступательном бою. Я большой неудачник в обороне. Уже два раза с начала войны выходил из строя. Знаете, я, видимо, похож на механизм без заднего хода: двигаешь вперед — идет, работает; чуть подал назад авария...

— В войне необходимы всякие механизмы, — сказал Озеров.

— Теперь я знаю это, — ответил Брянцев. — Но вначале не знал. Видите ли, полезным движением, а значит и жизнью, я привык считать только один процесс — когда идешь лицом вперед. Всякие иные манипуляции — балет... Вот такие взгляды, видимо, и губили меня в бою.

— Горячились?

— Вероятно, — просто сознался Брянцев.

— Да, это упрощенство. — Озеров уже с удовольствием чувствовал, что беседа с комиссаром пошла на лад. — Этак, дорогой Иван Иванович, можно дойти до отрицания маневра в войне. А война не есть движение только по прямой.

— Теперь я знаю. Но больно было!

— Значит, ваша стихия — наступление?

— Возможно.

Разговор все больше и больше радовал Озерова. Новый комиссар все еще казался ему черным куском антрацита, но теперь Озеров чувствовал, что он не холоден, а раскален, будто недавно вынут из горнила, и, значит, только брось его опять в горнило — он сразу засверкает огнем...

После обеда, хитря, Озеров спросил:

— Так что ж, Иван Иванович, будете отдыхать с дороги?

— Да, мне отдохнуть надо, — ответил Брянцев с иронией. — У меня так получилось. Два месяца я отдыхал в госпитале и, признаться, даже устал от отдыха. Ведь отдыхать — тоже устаешь. Так что теперь, конечно, мне вновь нужен отдых.

— Отлично, — сказал Озеров, — такой отдых, при желании, можно устроить очень быстро. Я вас познакомлю с нашими делами.

Майор Озеров знал, что любой комиссар прежде всего интересуется моральным состоянием личного состава части и тем, как поставлена в ней политическая работа. С этого и начал было Озеров свой рассказ о полке, но Брянцев попросил прежде всего показать, где занял полк позиции после боя, рассказать о командном составе, о боеспособности различных подразделений. А затем, быстро освоившись с обстановкой в полку, он расспросил, в каком состоянии орудия и пулеметы, достаточно ли зимней смазки, как работают ремонтники, какой имеется транспорт, сколько запасного телефонного кабеля, где можно достать лыжи... Причем, разговаривая о чисто военных делах, он проявлял во всем отличные знания. Сразу чувствовалось, что он не только хорошо знает Полевой устав пехоты и множество различных наставлений, но имеет немало своих, иногда оригинальных мыслей о военном искусстве. Озеров был окончательно изумлен, когда Брянцев, заговорив об инженерных работах, развязал свой вещевой мешок и вытащил пачку книг и брошюр по различным вопросам военного дела.

— Послушайте-ка, Иван Иванович, — сказал Озеров, рассматривая книги, — да вы случайно не были раньше строевым командиром?

— К сожалению, не пришлось.

— А из вас бы, пожалуй, мог выйти строевой командир. Вы это знаете?

— Возможно, — смело ответил Брянцев.

Наконец наступила очередь знакомить комиссара с делами,

которые касались его непосредственно. Озеров умышленно начал рассказывать о них подробнее, чем думал рассказать прежде, — этим он хотел подчеркнуть, что вот, мол, дорогой комиссар, где твоя настоящая область работы. Озеров очень подробно рассказал о политическом составе полка, о том, как он выполнял свои обязанности в боях, чего не хватает некоторым политработникам, чтобы полностью оправдать свою роль в армии. Он рассказал о работе партийной организации, о ее влиянии в полку, об отдельных коммунистах, ставших вожаками солдат в бою.

Брянцев слушал его рассказ весьма внимательно и даже удивленно, изредка записывая что-то в своем блокноте.

— Сергей Михайлович, послушайте, — сказал он, когда рассказ был закончен, — а ведь мне, в свою очередь, приходится спросить: вы раньше не были, случайно, комиссаром, а?

— Никогда.

— А из вас бы, мне кажется, неплохой вышел комиссар!

— Возможно! — со смехом ответил Озеров.

XII

Поздно вечером в небольшом доме, на окраине деревни Козлово, собрались озеровцы, получившие правительственные награды. От усталости все едва держались на ногах, и поэтому Озеров и Брянцев, поздравив награжденных, тут же приказали им отправляться на покой.

Близ дома, где проходил коротенький митинг, столпились награжденные из батальона Шаракшанэ. Им нужно было идти на другой конец деревни, и они собирались отправиться туда вместе: в одиночку ходить ночью по местам, где только что находился противник, было рискованно. Друзья-сослуживцы закурили, пряча огни сигарок в рукава шинелей, потолковали о новом комиссаре в том смысле, что тоже человек, вроде Яхно, умный и душевный, поговорили о его коротеньком, но горячем выступлении на митинге, а потом о сердечном ответном слове лейтенанта Юргина...

Кто-то при этом спросил:

— А где же лейтенант? Все уже в сборе.

— Он сейчас подойдет, — ответил Андрей.

— Где же он? Пора бы идти!

— У майора он, что ли?

- Да нет, тут одно особое дело.
- А-а, понятно! Видал я те глаза!
- Значит, встретились они?
- Встретились...
- Тогда, может, пойдём тихонько, а?

Но всем почему-то не хотелось идти. Все вдруг замолчали и задумались: одни вспомнили матерей, другие — жен, третьи — невест... И все, вспомнив о близких, невольно вспомнили родные места.

В темной, звездной вышине послышался гул самолета. Он шел с востока на запад, и озеровцы, только что вспоминая родные места, все вместе невольно подумали теперь о великих просторах родной земли, и всем внезапно стало легко и радостно, точно и не были почти трое суток в тяжелом бою...

Большой, тяжелый самолет шел от Москвы на запад, за линию фронта. Он был загружен мешками из прочного брезента; в мешках — разные грузы, необходимые для войны. Всюду на мешках сидели десантники, — все как один в теплых ватных куртках защитного цвета, в серых валенках и пушистых меховых шапках-ушанках; за плечами у всех — парашюты.

Десантная группа капитана Румянцева отправлялась в тыл врага для выполнения ответственных заданий командования нашей армии.

Моторы самолета гудели мощно и ровно.

Все десантники коротали время молча. Впрочем, о чем было говорить? За время подготовки к вылету они успели наговориться обо всем вдоволь. Теперь хотелось помолчать. Некоторые делали вид, что дремлют. Но никто, конечно, не дремал, — как дремать в такие минуты?

Спокойно прошли линию фронта.

Вскоре дверь кабины пилотов открылась, и показался борттехник. В ту же минуту из угла поднялся высокий и широкоплечий капитан Румянцев; в отличие от других он был в меховой куртке.

— Приготовиться! — скомандовал борттехник.

Румянцев круто обернулся к парашютистам, вскинул руку, повторил:

— Приготовиться!

Десантники быстро поднялись со своих мест и начали

поправлять лямки парашютов. При общем молчании только боец Алеша Самохвалов громко спросил командира:

— Разве мы уже подходим к цели?

— Да-да!... — сдерживая волнение, ответил капитан Румянцев.

— Занять места!

Гул моторов заметно стих. В раскрытых дверях пилотской кабины вновь показался борттехник; взгляд его был встревожен и горяч:

— Сигналы!

Сильные руки бойцов разом открыли дверь; внутрь самолета ворвался ветер, снег, брызги, ночная мгла... Раздалась команда:

— Пошел!

Самохвалов смело бросился в бездну ночи.

Вторым должен был прыгать боец Терещенко. Проводив взглядом товарища, он шагнул к двери, но в это мгновение его сильно ударило по лицу ледяшкой. Он схватился за левую окровавленную щеку и задержался у двери.

— Пошел! — закричал Румянцев яростно.

— Стой! Отставить! — вдруг долетело из дверей пилотской кабины.

Оказалось, что произошла ошибка.

В те дни по всем ржевским лесам горели сотни костров: около них обогревались группы наших бойцов, пробиравшихся к линии фронта, отряды партизан, колхозники, бежавшие из деревень от лютого врага. Москва только что начинала устанавливать с партизанами воздушную связь, сигнализация применялась самая простая, и поэтому не так-то легко было найти именно те костры, какие нужны. А пилоты к тому же впервые летели в тыл врага.

...Через несколько минут самолет вышел на сигнальные огни отряда Воронина близ деревни Грибки. Десант высадился быстро и благополучно.

ХШ

Весть о том, что советский самолет высадил десант, с необъяснимой, молниеносной быстротой облетела многие деревни. Как часто бывает в таких случаях, к истине прибавлялось лишнее: всюду говорили, что прилетали несколько самолетов и сбросили не

то сотню парашютистов, не то две...

Рано утром полицаи сообщили по телефону волостному коменданту полиции Лозневому о высадке советского десанта. Лозневой немедленно доложил об этом военному коменданту Гобельману. Тот отнесся к сообщению недоверчиво, но все же предложил Лозневому лично выехать с группой полицаев для проверки слухов и, если потребуется, для вылавливания десантников в деревнях.

В Болотном находилась группа полицаев, собранная из разного сброда: бывших кулаков и их сынков, воров и бандитов, выпущенных гитлеровцами из тюрем, и другого отребья, считавшего себя обиженным советской властью. Почти все полицаи прибыли сюда вслед за немецко-фашистской армией, надеясь поживиться за счет народа и отплатить ему за свои обиды. Подобрал из этого сброда самых отчаянных на вид, Лозневой поехал в предполагаемый район высадки десанта.

С тревожным чувством выезжал он из Болотного. Не очень-то весело начиналась его служба на посту волостного коменданта полиции! Сегодняшнее задание — не конфискация имущества у беззащитных граждан, а серьезное, боевое дело. Полицаи шумно судили-рядили о десанте, а Лозневой, пряча нос в лохматом вороте полушубка, молча и угрюмо поглядывал по сторонам. Черт возьми, что же он выгадал, дезертировав из армии? Здесь же хуже, чем на фронте: там противник почти всегда только спереди, здесь — со всех сторон...

Побывав в двух деревнях к северу от Ольховки и не получив никаких новых сведений о десанте, Лозневой отправился в третью деревню, Семенкино, что стояла близ Лосиног урочища. На полпути к ней, в лесистом овраге, неожиданно повстречался полицай из Семенкино — Трифон Сысоев; в его санях, связанный по рукам и ногам, лежал десантник Алеша Самохвалов. Он лежал на левом боку, устало прижимаясь щекой к соломе; он был очень молод и синеглаз, нос и щеки обморожены минувшей ночью. Правая рука, затянутая веревкой назад, — голая, красная от холода; военная шерстяная варежка с отделением для указательного пальца валялась у ног...

Полицаи разом окружили встречные сани. Молча осмотрели они Самохвалова со всех сторон, и затем один из них, шумно очистив нос, закричал:

— Допрыгался, сосунок!

— Наденьте варежку! — вдруг звонким голосом сказал Алеша Самохвалов. — Слышите или нет?

— Смотрите-ка на него! — подивился другой полицай. — Он еще руку бережет! А голову, милоч, не бережешь?

— Головы вы берегите!

— Вот сволочь! — воскликнул полицай, но все же, к удивлению других, натянул варежку на руку десантника.

Только Лозневой не смотрел на Самохвалова.

Отойдя с Сысоевым в сторону, хмурясь, спросил:

— Где поймал?

Полицай Сысоев, кудлатый рыжий мужик, бывший вор, недавно приехавший в Семенкино, закуривая, ответил со смешком:

— На ловца и зверь бежит! Сам пришел!

— Прямо к тебе?

— Прямо ко мне. — Лицо Сысоева с выпуклыми, подкрашенными краснинкой рыбьими глазами сияло от счастья. — Избенка-то у меня с краю деревни, от леса. А он, видать, отбилась ночью от своих и заплутался. Бродил, бродил, а куда деваться на таком холоду? Давай утречком к деревеньке. Вышел и, понятно, ко мне — избенка с краю, на курьих ножках... А как зашел, так и грохнулся у порога! А ночью-то я слышал самолет, да и по одежде его видно...

— Допрашивал?

— Пробовал! — Сысоев построжел. — Пробовал и вам не советую! Даже укусил, сволочь. — Он сдернул с левой руки варежку. — Видишь, какие отметины?

— А где высадились? Не говорит?

— Ничего не говорит!

— И сколько их — тоже молчит?

— Также молчит!

— Ничего, у нас заговорит!

— Вряд ли, — усомнился Сысоев. — Скажу без всякого хвастовства: если захочу, у меня любой немой начнет доклады делать, а этот... Словом, не советую!

Подошли к саням Сысоева.

Лозневой взглянул на Самохвалова быстрым, тревожным взглядом и, не разглядев даже его лица, опустил глаза. Заговорил тоже торопливо, отрывисто:

— Какой сброшен десант? Где? С какой целью?

— Опять допрос? — спросил Самохвалов.

— Да, опять, но на этот раз заставим говорить!

Самохвалов долго молчал, одним глазом осматривая Лозневого. Для Алеша ясно было: Лозневой — старший среди всей этой банды, окружавшей сани. Кроме того, по каким-то неуловимым приметам Самохвалов догадался, что Лозневой — из военных; стало быть, дезертир из армии. Грудь Самохвалова точно опалило зноем изнутри. Зная, что смерть неминуема, он вдруг решил хотя бы чем-нибудь уколоть этого мерзкого подлеца, не поднимавшего взгляда.

— Будете бить? — спросил Алеша.

— Безусловно.

Помолчав, Алеша ответил:

— Тогда скажу... — Он даже приподнял голову. — Самолетов было семь, а людей — больше сотни... Хорошее вооружение, разные грузы... Где сбросили, я не знаю: нам не говорили... Вот и все! И больше ни одного слова, хоть сейчас же под пулю!

Среди полицаев вокруг саней — шепот...

— Больше сотни? — переспросил Лозневой.

— Много больше, — подтвердил Самохвалов.

Дернув Сысоева за рукав, Лозневой отошел от саней. К ним подошли еще два полица. Все поговорили недолго о чем-то шепотом, а потом Сысоев вернулся к саням и неожиданно для всех начал развязывать Самохвалову руки. Развязав, прикрикнул:

— А ну, раздевайся!

Алеша Самохвалов, хватаясь за передок саней, поднялся на ноги. Увидев позади толпы полицаев Лозневого, крикнул:

— Значит, решил убить, подлый ты предатель советской власти? Убивай, поганая ты тварь, убивай! Меня убьешь, но и тебе, сволочь, не уйти от пули! Нас тут много, так и знай!

Сысоев молча ткнул Алешу кулачищем в бок. Он опрокинулся головой в передок саней; перед глазами закачалось серое, с голубыми разводами зимнее небо.

— Сейчас, — сказал он тихо.

Алеша Самохвалов поднялся и разделся, оставив на себе только нижнее белье; Сысоев сразу же собрал его одежду и понес к саням Лозневого. В нижнем белье Алеша показался всем очень худеньким и маленьким мальчиком. Поеживаясь от холода, засунув в

солону босые ноги, он быстро огляделся вокруг, будто соображая: где же привелось сложить свою наголо остриженную солдатскую голову? Нет слов, место было хорошее: широкий овраг, заросший по отлогим склонам орешником и ольхой, а по руслу, где, должно быть, жил ручей, — густой вербой. Все здесь было так свежо и нетронуто, точно в первый день зимы. Да, место было хорошее, но только для жизни, а не для смерти, — для неожиданной смерти нет лучшего места, чем поле боя. Об этом и подумал Алеша Самохвалов в минуту, когда надо было думать о самом главном...

— Только не тяните, — сказал затем Алеша сурово, как может сказать только много поживший на свете человек.

Опять подошел Сысоев. Он бросил в сани старые валенки, шапку, брюки, пиджак и дубленый заношенный полушубок. Смерив глазами фигуру Алеши, точно соображая, подойдет ли для него вся принесенная им одежда, сказал:

— Надевай все, что есть! Живо!

Алеша поглядел на полицая с удивлением.

— Надевай, тебе говорят! — закричал Сысоев. — Сколько с тобой разговору вести надо?

Алеша Самохвалов не мог понять, что хотят делать с ним полицайи. Сильно вздрагивая, больше от волнения, чем от озноба, он начал одеваться в чужую одежду, и ему было жутко от мысли, что вся она — с одного из окружавших его предателей.

Подошел Лозневой.

— Я хотел пожалеть тебя, — сказал он Алеше, отводя в сторону глаза. Хотел отвести в кустики... и все! А раз ты начал здесь... такие речи, то жалеть не буду: сейчас отвезут тебя в немецкую комендатуру, в Болотное. Там ты узнаешь, что это такое! Сысоев, свяжи и вези!

В новой одежде Алеша Самохвалов — он сам это увидел — сразу стал похож на тех, кто толпился вокруг. Это так оскорбило Алешу, так сделало больно его душе, что он, не выдержав, со стоном, ничком грохнулся в передок саней. Ему опять связали за спиной руки. Только когда сани тронулись обочиной по глубокому снегу, Алеша повернулся на бок; он тут же увидел на дороге одного полицая в своей одежде и спросил Сысоева, шагавшего рядом:

— Привычная работа, да?

— Какая работа? — не понял Сысоев.

— Да грабить-то, обдирать людей!

— Ты замолчи, гаденыш! — зарычал Сысоев. — Моли бога, что пока цел... Я бы из тебя сейчас же за твои сволочные речи все жилы вытянул!

Проводив Сысоева, все полицаи, не понимая затеи Лозневого, с интересом сгрудились вокруг своего дружка в одежде десантника. Это был Афанасий Шошин из деревни Заболотье, служивший ранее лесником, а три дня назад добровольно поступивший в полицию.

Афанасию Шошину — не больше тридцати, но лицо у него землистого цвета, в мелких морщинках. Осмотрев его, Лозневой спросил своего помощника Живцова:

— Как на вид? Не староват?

— Ничего, сойдет!

Лозневому не хотелось рассказывать полицаям о своем замысле, но скрыть его не было никакой возможности. Коротенько рассказав о задуманном, Лозневой приказал связать Шошина и двигаться в Ольховку, хотя она и не лежала на пути в Болотное.

Под вечер были в Ольховке.

Здесь уже все знали не только о высадке десанта, но и о том, что вылавливать его выехали полицаи из Болотного. Весь день взволнованные ольховцы только и говорили о десанте. И вдруг они увидели полицаев в деревне...

Афанасий Шошин, со связанными назад руками, стоял на коленях в передних санях. Он делал вид, что порывается что-то кричать людям, выходящим навстречу из всех домов, но опасается конвоя. Один раз он успел крикнуть: «Товарищи!», но тут же получил удар кулаком в спину и едва удержался на коленях. А полицаи, встречая ольховцев, кричали:

— Парашютиста поймали!

— Вот он, краснорожий, допрыгался!

У нового пятистенного дома Ульяны Шутяевой стояли колхозницы. Они выбежали на улицу второпях: кто в накинутой на плечи шубенке, кто прикрываясь шалью, а иные в одних платьях, хотя и крепко морозило перед заходом солнца. Лозневой легонько тронул Шошина сзади за связанные руки, шепнул:

— Вот здесь, где женщины... Запомнишь?

— Запомню, — ответил Шошин.

Ехали медленно, и Шошин запомнил не только дом Ульяны Шутяевой, но и все постройки, все приметное, что было у нее на дворе.

На ночевку полицаи остановились в доме Анны Чернявкиной.

Вскоре сюда пришли Ерофей Кузьмич и Серьга Хахай. Лозневой коротенько рассказал им о том, как был пойман десантник, и осведомился, что говорят о десанте в Ольховке. Афанасия Шошина на всякий случай он не показал — тот лежал «под охраной» в горнице. Гораздо больше Лозневой интересовался обстоятельствами бегства из деревни семьи Логовых, о котором он узнал вчера по телефону от Серьги Хахая. Лозневой догадывался, что Логовы бежали в партизанский отряд. Но старик Лопухов и Серьга Хахай на все вопросы Лозневого только пожимали плечами да сокрушенно разводили руками: история бегства Логовых, по их мнению, была темная, как и ночь, когда она произошла...

Вечером около дома Анны Чернявкиной слышались крики и выстрелы. Затем около часа полицаи носились по деревне, осматривая дома, дворы, огороды, бани. Трое полицаев побывали и в доме Ульяны Шутяевой. Та перепугалась, спросила:

— Что случилось-то? Кого ищите?

Один полицай ответил ей с досадой:

— Десантник сбежал, сволочь!

— Сбежал? — ахнула Ульяна.

Осмотрев дом, полицаи ушли, но Ульяна долго не могла лечь в постель. Все думалось и думалось: «Сбежал! Все-таки сбежал! Вот молодец! Погибать бы парню!»

И она то сидела у печи, то ходила по кухне, не зная, как успокоиться от внезапной радости.

Она не знала, сколько времени провела в таком состоянии, как вдруг у окна, выходящего во двор, послышался скрип снега. Сердце Ульяны ударило шумно и тревожно. Сколько раз зарекалась не ночевать одна дома — и опять ночевала одна! В окно постучали. Ульяна замерла у печи. Опять легкий стук в заледенелое окно, а через несколько секунд — шаги на крыльце. Постучали в наружную дверь. «Не из отряда ли от Анфисы Марковны?» — беспокойно подумала Ульяна и торопливо приоткрыла дверь в сени.

— Кто здесь?

— Отвори, хозяйюшка, свой человек!

— Кто — свой?

— Открой, увидишь! Окоченел я весь!

В ушах Ульяны зашумело от прилива крови: «Не десантник ли?» Кое-как она открыла дверь, а когда взглянула на незнакомца в

избе при свете лампы, оторопела: действительно, перед ней стоял тот самый десантник, которого везли сегодня полицаи по деревне...

— Господи! — прошептала Ульяна. — Да как же ты?

— Повели по нужде в сарай, я и сбежал...

...Вчера Гобельман приказал Лозневому оказать немецким властям самое энергичное содействие в уничтожении партизан, действовавших вокруг Болотного, а для этого — узнать, где их лагерь, и послать к ним в отряд своего разведчика. Увидев Алешу Самохвалова, Лозневой понял: сама судьба помогала ему выполнить весьма трудный приказ немецкого коменданта. Лозневой знал, что Ульяна Шутяева была близким человеком Анфисы Марковны, и поэтому решил, что она должна бы знать, где скрываются партизаны.

Предположение Лозневого оправдалось.

Ульяна Шутяева указала полицаяу Шошину путь к лесной избушке, где находился передовой пост отряда Бояркина (точного местонахождения его основного лагеря она и сама не знала). Ночью Шошин ушел от Шутяевой в соседнюю деревню, где в доме местного полицая его поджидал Лозневой. Здесь он снял с себя одежду десантника, оделся во что попало и стал опять лесником из деревни Заболотье.

— Найдешь эту избушку? — спросил его Лозневой.

— Мне леса знакомы!

— Скажешь, что тебя три дня назад вызвали в Болотное и приказали быть полицаем, — продолжал Лозневой. — Приказали! Не скрывай, так и скажи. Ну, а ты, как сознательный, не захотел служить полицаем и сбежал из Болотного. А как нашел избушку — сам придумай... Скажешь, например, что как лесник...

— Я найду чего сказать!

— Тогда слушай, что делать надо...

На рассвете Шошин вышел в Лосиное урочище.

XIV

Степан Бояркин, после встречи десанта, возвращался из штаба районного отряда. Только там, встретясь с товарищами по общему делу из разных мест, послушав их доклады на заседании райкома, он понял, какой огромный размах приняло партизанское движение по всей округе: оно уже полыхает, как огонь по лесным чащобам в сухое лето. Теперь же, когда пришла помощь из Москвы,

оно могло принять еще больший размах.

Степан Бояркин ходил на лыжах плохо; он едва поспевал за партизанами. На коротких передышках в пути партизаны несколько раз заговаривали с ним о боевых планах на будущее: они чувствовали, что эти планы были намечены сегодня в Гнилом урочище. Но Бояркин упорно отмалчивался, хотя его так и подмывало поделиться с партизанами своими мыслями — и о том, какие предстоят боевые дела, и о том, какие радостные перемены ожидают район в ближайшее время: тяжело носить грустные тайны, но еще тяжелее радостные...

Увидев, что партизаны вновь остановились впереди и что-то рассматривают на снегу, Степан Бояркин прибавил шаг.

— Что здесь такое?

— А вот погляди, Егорыч, — ответил пожилой рыжеватый партизан Тихон Зеленцов. — Приходилось видать?

У комля толстой ели, на взрыхленном снегу, — мусор, звериные следы и застывшие капли крови.

— Куница? — догадался Бояркин.

— Она!

Перед Бояркиным вдруг встала картина жестокой ночной схватки... Ловкая и хищная куница быстро, но осторожно обшаривает еловый лес; она знает: белок много и у нее сегодня опять должна быть вкусная, любимая еда. Вот она подбежала к этой старой ели, и в ноздри ей ударил приятный запах свежего, жилого беличьего гнезда. Она знает: днем белка наелась еловых семян и сушеных грибов и теперь спит крепким, безмятежным сном, надеясь, что вход в ее дупло надежно закрыт мхом. Быстро прикинув, с какой стороны вход в дупло, куница бросается на ель, и через несколько секунд в дупле начинается смертная борьба. Но заканчивается она, по всем приметам, только на земле...

— Пропала белка! — сожалеюще сказал Зеленцов. — Она ведь как делает, эта куница? — продолжал он, приметив, что некоторые молодые партизаны не знают повадок хищного зверька. — Задушила белочку вот тут... Видите, как возились они на снегу? Задушила и волоком... Вот он, след, видите? И волоком ее обратно в дупло. Нажралась и завалилась спать в чужой квартире. Подойди мы сюда потише, я бы ее сейчас же ухлопал, даю слово!

Этот случай внезапно испортил у Бояркина радостное настроение и спутал приятные мысли. Весь остаток пути до избушки

лесника, где находился сторожевой пост отряда и предстояла передышка, он прошел в угрюмом молчании, не в силах отделаться от навязчивой картины ночной кровавой схватки у старой ели.

В избушке лесника оказалось много незнакомых людей: все шли в отряд. Как они находили путь к избушке лесника в Лосином урочище, не совсем было понятно. «Слухами земля полнится, — объясняли иные. — В народе говорят, куда идти надо...» В другое время Степан Бояркин обрадовался бы всем этим людям, но теперь, оставшись наедине с начальником поста Пятышевым, бывшим работником кооперации, спросил сурово и подозрительно:

— Кто они... все эти люди? Знаешь?

Оказалось, что Пятышев мало интересовался тем, откуда и кто шел в отряд, — он сгорал от восторга за славу отряда и искренне наслаждался мыслью, что в этой славе есть и его доля.

— Идут! Все идут! — восторгался он, считая, что Бояркин напрасно отвлекает его от главной темы их разговора. — Ежедневно до десяти человек! Это же удивительно! Значит, народ знает об отряде. Совершенно правильно говорится в пословице: худая слава лежит, а хорошая бежит! Если ежедневно будет такой наплыв, то за месяц...

— Возьми счеты, легче будет считать, — оборвал Бояркин бывшего кооператора. — Заведи тут дебит, кредит...

— А что? — обиделся Пятышев. — Чем плохо счет вести?

Маленький, подвижной, с круглым брюшком, подтянутым военным ремнем, он заметался по боковушке, сверкая внезапно вспотевшей плешинкой.

— Не кипятись, остынь! — угрюмо и строго сказал Бояркин. — Нам нужно завести теперь такой порядок в отряде: лучше меньше людей, да лучше! Сколько учили нас партия бдительности, забыл?

— О бдительности я не забываю...

— А по-моему, уже забыл!

Пятышев с обиженным видом сел на свое место.

— Вот тебе приказ, — сказал Бояркин, — строжайший приказ: ни одного человека без моего разрешения не отправлять в отряд! О каждом новом человеке будешь давать сведения, кто и откуда... Прикажу отправить на Красную Горку — только тогда и отправляй. Не забывай, есть еще на свете гады! Один проберется в отряд — и то хлебнешь беды.

Этот разговор происходил за несколько часов до появления в

избушке лесника Афанасия Шошина.

Добравшись до Красной Горки, Степан Бояркин прежде всего спустился в землянку, где жили Логовы. Увидев в дверях командира отряда, Марийка рванулась с нар. Все остальные обитательницы землянки тоже побросали свои немудрые вечерние дела.

Бояркин поздоровался с женщинами и присел у стола; неторопливо достав из кармана полушубка газету «Правда», подал Марийке.

— На, читай! Свежая, из Москвы...

Женщины подступили к столу со всех сторон.

Марийка спросила растерянно:

— Где читать? Что читать?

— Вот здесь читай!

Неожиданно Марийка уловила в голосе Степана Егорыча непривычные, взволнованные тона и, не понимая, что означают они, растерялась еще больше. Она быстро, тревожно следила за движениями пальца Степана Егорыча, но никак не могла остановить взгляд на нужном месте.

— Да ты что? — подивился Бояркин. — Не спросонья?

Перед глазами Марийки вдруг остановилась и замерла строка, набранная жирным шрифтом:

«Лопухова Андрея Ерофеича...»

Марийка вскрикнула, как вскрикивают у гроба...

Ее уложили на нары и кое-как растолковали, что Андрей награжден медалью «За отвагу»; поняв наконец, почему значится имя Андрея в газете, она внезапно расплакалась навзрыд, и сколько затем ни успокаивали ее женщины, не могла остановить своих рыданий.

— Пусть плачет, — рассудила Анфиса Марковна, одним жестом руки отстраняя всех от дочери. — Не все плакать от горя. Счастливые слезы не во вред!

— Молодец Андрей! — сказал Бояркин, с облегчением подумав, что своим решением Анфиса Марковна дает оправдание его неосторожности. — Я так и знал, что он отличится на войне. Смирные да мирные люди, они как раз и бывают храбрыми. А иной где не надо — лихой, а где надо — трус. Да, и у смирного парня закипела душа!

Марийка вдруг замолкла, поднялась на нарах, энергично обтерла платком мокрое лицо.

— Степан Егорыч, — сказала она сдержанно, — больше я не

могу сидеть в этой землянке. Довольно! И мне пора!

— Понимаю, — отозвался Бояркин. — В добрый час!

И все, кто был в землянке, подумали, что Марийка в самом деле приняла свое решение в добрый час...

XV

В этот вечер в Красном бору близ Смоленска произошло событие, которое немецкие фашисты считали решающим для войны на Востоке.

Вечер в Красном бору был тих, морозен и наряден. Запад блистал багрянцем. Густо запорошенные снегом кроны сосен были полны розового света; казалось, этот свет течет густыми струями по стволам сосен с западной стороны. А на земле снег — словно из голубого плюша. Все в лесу было необычайно цветисто, как на рисунке, сделанном смелой и веселой детской рукой. И в то же время не было ничего неожиданного для глаза в красках этого вечера, — зима очень часто раскрашивает так цветисто свои тихие вечера.

И вдруг в этом сказочном мире зимнего русского леса раздались резкие звуки автомобильной сирены. На пустынном шоссе показались три больших черных лимузина; они шли на предельной скорости. Высоко над лесом пролетали истребители.

Во второй по счету машине, на заднем сиденье, легко покачивало человека в шапочке с козырьком и в меховом пальто; у него было усталое лицо с маленькими усиками под носом и быстрыми, тревожными в глубине зрачков глазами...

Это был Гитлер.

Еще на аэродроме командующий группой «Центр» генерал Боок предложил обожаемому фюреру остановиться на своей даче. Но Гитлер промолчал, и Боок не понял: или это означало отказ фюрера посетить его резиденцию, или он, занятый своими мыслями, просто не слышал обращенных к нему слов, что с ним, по слухам, случалось все чаще и чаще. Поэтому Боок решил набраться смелости и еще раз повторить свое предложение, тем более, что был уверен Гитлеру понравится на его даче: там полный комфорт, уют и покой.

— Мой фюрер, — сказал Боок, — я буду счастлив, если...

— Нет, нет! — быстро перебил его Гитлер, и стало ясно, что он слышал предложение командующего еще на аэродроме.

Черные комфортабельные лимузины свернули с шоссе на

узкую дорожку, ведущую в лес, и вскоре остановились; у всех машин одновременно лязгнули с обеих сторон дверцы; из всех машин высыпали люди в темных шинелях, с автоматами.

Гитлер вылез из машины последним.

— Прошу сюда, мой фюрер! — сказал Боок.

Гитлер торопливо, как все делал, осмотрелся вокруг. Да, доложили точно: место тихое и красивое. А вечер... Какой вечер! Гитлер впервые видел вечер морозной русской зимы. И ему, у которого все еще теплилась страсть к живописи, подумалось: так и просится этот вечер на полотно!

Осторожно наблюдая за выражением лица Гитлера, генерал Боок немедленно уловил его мимолетную мысль.

— Какой вечер, мой фюрер! — воскликнул он счастливым голосом, зная наверное, что на этот раз не делает промаха в разговоре. — Чудесно! Эти краски...

Но Гитлер, услышав Боока, сорвался с места...

В лесу, недалеко от шоссе, специально для Гитлера (его приезд ожидался давно) заранее был приготовлен маленький, узенький блиндаж из железобетона; толщина его стен — два метра, потолка — того больше, а единственное круглое окно защищено решеткой из рельсов.

У входа в блиндаж стояли часовые.

Гитлер вдруг нервно остановился и прислушался, приподняв правое ухо. Да, он не ошибся!

— Это что скрипит? — спросил он, не оборачиваясь к свите.

Все замерли, прислушиваясь к лесной тишине. В самом деле, недалеко в лесу что-то поскрипывало — тягуче, нудно...

Уловив торопливый шепот адъютанта, Боок подвинулся к Гитлеру, виновато ответил:

— Мой фюрер, это скрипит дерево.

— Дерево? Без ветра?

— Да, но это, конечно, сухостойное дерево...

В маленьком блиндаже, похожем на могильный склеп, Гитлер словно бы выпрямился — стал казаться выше ростом, у него появилась спокойная, властная осанка, во взгляде — привычная самоуверенность.

Гитлер приехал в Смоленск, чтобы лично руководить вторым, «генеральным» наступлением на Москву, назначенным на следующее утро. В своем блиндаже он выслушал доклады о готовности армии к

этому наступлению и, как всегда разгораясь, произнес слова, которые вошли в приказ по группе «Центр» и 16 ноября, когда началось наступление, стали известны во всем мире.

— Я приказываю, — прокричал Гитлер, — любой ценой рассчитаться со столицей Москвой!

...Между тем среди высших офицеров ставки шел горячий спор о сухостойной сосне, оказавшейся невдалеке от блиндажа Гитлера. Все, кто руководил строительством блиндажа, уверяли, что они никогда, даже в ветреные дни, не слышали поблизости скрипа дерева. Встал вопрос: что делать с сухостойной сосной? Одни предлагали: свалить ее немедленно! Другие спрашивали: а нужно ли это делать? Да, фюрер услышал и обратил внимание на скрип дерева, но ведь он ничем, ни единым словом, ни единой черточкой своего лица не выразил в связи с этим своего недовольства. А не потревожит ли фюрера, спрашивали они, треск и грохот падающей в молодняк огромной сухостойной сосны? Не лучше ли, говорили они, подождать немного; ведь у сухостойных деревьев часто бывает так: поскрипит, поскрипит без всякой видимой причины и вдруг, даже при ветреной погоде, замолкнет, точно окаменеет...

После долгих споров решили подождать.

Наступила ночь, на земле по-прежнему было тихо, но сухостойная сосна — нет да нет — все поскрипывала и поскрипывала уныло, нудно и жалобно: с болезненной навязчивостью твердила всему лесу о своей старческой немощи...

XVI

В тот час, когда Гитлер поселился в железобетонном блиндаже под Смоленском, в частях немецко-фашистской армии, действующей на Центральном фронте, состоялись полевые богослужения: пасторы читали проповеди и благословляли солдат на новые воинские подвиги.

Вся подготовка к наступлению была закончена. Солдаты Гитлера видели, какая огромная сила сосредоточена для разгрома Москвы, и верили в успех своей армии.

Но вскоре после богослужения в полку старого и незадачливого полковника фон Гротта произошло чрезвычайное происшествие, о котором немедленно стало известно даже в ставке Гитлера. Происшествие было необычным для немецко-фашистской

армии тех дней.

...Старший солдат Отто Кугель, линотипист из Лейпцига, вернулся с богослужения молчаливым и угрюмым. Никто из взвода, даже обер-сержант Иоганн Брюгман, ярый наци, строго следивший за состоянием духа солдат, и тайный агент гестапо солдат Генрих Эльман не обратили внимания на это обстоятельство. Все были возбуждены страстной проповедью пастора, шумно мечтали о предстоящей победе, наградах, трофеях и веселой московской жизни. Когда же было обращать внимание на Кугеля? К тому же всем было известно, что Кугель в последние дни часто жаловался на головные боли и недомогание.

После ужина, почистив оружие и приготовив боеприпасы, все солдаты принялись писать письма и дневники. Один Брюгман, выпив лишнего, никак не мог успокоиться — все болтал и болтал о новом наступлении. Он то ложился на нары и всхрапывал, как лошадь, то вскакивал, должно быть пробуждаясь от своего храпа, ошалело осматривал подполье крестьянского дома, заселенное солдатами, и кричал:

— Ага, молчите? Да, да, пусть кто-нибудь скажет, что наша авиация не сделает завтра отбивную из Москвы, и я тому подлецу выбью все зубы! А ну, кто может доставить мне такое удовольствие? Ха-ха! Может быть, кто-нибудь думает, что менее сотни километров, которые остались до Москвы, мы не пройдем за неделю? Любопытно бы знать, у кого ослабли ноги? Ха-ха! Нет, через неделю мы будем гулять, черт возьми, в московских кабаках, как гуляли в Париже! Помните? Да, да, черт возьми, на каждого будет девушка!

Никто не слушал болтовню пьяного Брюгмана. О предстоящем наступлении солдаты уже наговорились вволю. Теперь они сидели вокруг железной печки, раскаленной докрасна, около вонючих сальных плашек, едва освещавших подполье, и сосредоточенно занимались своими делами. Лишь Отто Кугель иногда слушал Брюгмана, мрачно сдвигая черные брови и вонзая в обер-сержанта темный взгляд...

У Отто Кугеля жила в Лейпциге только мать; отец, рабочий типографии коммунистической газеты, после прихода Гитлера к власти умер в концентрационном лагере, старший брат совсем недавно погиб под Ленинградом. Отто Кугель беспокоился о несчастной матери и писал ей часто. Но сегодня письмо к ней никак не получалось: вместо ласковых слов к матери на бумагу ложились

резкие, гневные слова о проповеди пастора. «Вы, немецкие солдаты, — говорил пастор, — избраны богом на тяжелый путь войны и должны, если это будет нужно, дойти до горького конца...» Экий мерзавец! Отто Кугелю хотелось ударить Брюгмана по пьяной морде, а всем сказать несколько крепких слов о гнусной проповеди пастора.

Отто Кугель решил сделать сначала очередную запись в дневнике, а потом, когда успокоится, соберется с мыслями и вспомнит все ласковые слова, возьмется за письмо к матери.

Но и запись в дневнике делать не хотелось. О чем писать? Самое большое событие сегодня — проповедь пастора. Но разве можно писать о том, как именем бога пастор посылает на смерть? Самая большая весть сегодня весть о новом наступлении. Но разве можно высказывать какие-либо мысли по этому поводу в дневнике? Отто Кугель всегда вел записи очень осторожно, стараясь собрать в дневнике, как в копилке, больше фактов и меньше мыслей.

Не зная, как сделать запись, Отто Кугель начал бесцельно перелистывать дневник. Взгляд его схватывал отдельные фразы и слова. Летние записи были большие — в них встречалось много такого о войне, что сейчас бы Отто Кугель не пожелал держать в своей копилке. Странно, каким он был наивным в начале похода в Россию. Осенние записи становились все короче и короче: оказывается, в последнее время требовалось совсем немного бумаги, чтобы описывать жизнь немецкого солдата на войне.

Незаметно Отто Кугель стал перечитывать свои записи полностью...

«...23 о к т я б р я.

Сегодня исполнилось двадцать дней, как началось наступление. Сначала дело шло так хорошо, что мы думали быть в Москве к ноябрю, а 7 ноября маршировать там на самой красивой площади. Когда шли разговоры о Москве, у многих текли слюнки... Черта с два! Не дошли!

Русские все больше и больше удивляют нас: они проявляют невиданное, неслыханное, дьявольское (нет слов!) упорство. Несколько дней подряд наш батальон дрался за небольшую деревню. Результат: похоронная команда сделала в России еще одно немецкое кладбище.

Для всех ясно, что дальше мы не можем идти. Говорят, что до Москвы осталось меньше ста километров. Осталось!

Грязь. Холод. Неужели скоро зима?

25 октября.

Какое счастье! Наш полк отвели в тыл, на отдых. Заняли деревню. Всех жителей выгнали. При этом наш обер-сержант Брюгман действовал беспощадно: застрелил старика, который отказался покинуть родной дом. Да, у него не дрожит рука...

За двадцать дней все мы так обовшивели, так обросли грязью, что описать невозможно. Целый день мылись в маленьких черных русских банях и в домах. В колодцах не хватало воды. Наконец-то получили чистое белье, но зимнего обмундирования все нет и нет! После бани стало особенно холодно в шинели. Так бы и сидел всю жизнь у огня!

На нашем участке фронта затишье, а где-то севернее не стихает грохот артиллерии. Впрочем, может быть, и стихает иногда, но в ушах всегда гудит, как гудело двадцать дней.

26 октября.

Получил письмо от мамы.

Она пишет: «Мы здесь чувствуем войну с русскими, как не чувствовали никакой другой. У нас только одно желание: кончилась бы она скорее... В городе появилось много калек. Представь себе, им даже завидуют...»

Бедная мама! Зачем она пишет такие письма?

29 октября.

Сегодня ночью около соседней деревни взорвался артиллерийский склад. Жуткое зрелище! Говорят, что склад взорвала какая-то банда. След ее найден. На уничтожение банды брошена третья рота обер-лейтенанта Митмана.

1 ноября.

Точно известно: рота Митмана погибла. Еще кладбище. Впрочем, найдены не все: несколько солдат, во главе с Митманом, пропали без вести... Неужели у бандитов?

Где же фронт?

2 ноября.

Отдых закончен. На войне не разжиреешь!

Нас перебрасывают в другое место. Пишу на привале. Идем пешком. Грязь, холод, тоска!

...Вечер. Нашей роте отвели, вероятно, самый страшный участок на фронте. Мы — на вершине большой высоты, на русском кладбище.

Высоко и жутко.

6 н о я б р я.

Четыре ночи мы работали на кладбище: рыли ходы сообщения, делали дзоты, блиндажи и огневые позиции для противотанковых пушек, зарывали в землю танки...

Наши муки неопишуты. Я готов бы проработать год на каторге, чем несколько ночей на этом кладбище.

Кладбище старое — вся вершина высоты набита трупами. Нам приходилось вытаскивать десятки гробов, груды костей, и все это — темными, дождливыми ночами...

Мы выбросили вон мертвецов и залезли в их могилы. И живем в могилах. В нашем блиндаже сегодня осыпалась стена (здесь песок) и оказался угол гроба. Вытаскивать гроб нельзя — испортишь весь блиндаж. Мы закрыли эту стену плащ-палаткой. Мое место у самого гроба.

Не могу писать: дрожат руки...

7 н о я б р я.

Сегодня был бой. На соседних участках наши несколько раз ходили в атаку под прикрытием танков, но бесполезно: русские стоят, как стальные.

Ночью выпал глубокий снег. Вероятно, зима. Неужели так рано? Я всегда с ужасом думал о русских снегах. Но сегодня я рад зиме: она покрыла все наши дела. Теперь не будем ходить по костям, и это уже хорошо.

Но гроб в блиндаже... Господи, хоть бы освободилось для меня другое место!

9 н о я б р я.

Я жестоко наказан за свои грешные мысли. Под Ленинградом погиб Эрих. Дорогой брат! Милый брат! Письмо пришло от соседки; мать лежит... Бедная мама!

10 н о я б р я.

Невероятно! Потрясающе! Сегодня русская радиоустановка передавала... Нет, верить ли? Да, приходится верить... Сегодня мы слышали голос Ганса Лангута, солдата из роты Митмана. Оказывается, несколько солдат, да и сам Митман, в плену у русских! Как они оказались там — непонятно. Ганс Лангут говорил, что русские... (далее тщательно затушевано чернилами).

11 н о я б р я.

Нас спасает разведка. Только что стало известно: завтра утром русские думают атаковать наши рубежи. Странная новость!

Мы готовимся к отражению атаки. Работы много, а сил нет...

Говорят, я сегодня ночью бредил...

12 н о я б р я.

Уходят последние минуты этого ужасного дня. Был невероятно жестокий бой. Мы бежали с кладбища. Не все. Многие остались в чужих могилах... Час назад командир батальона майор Брейт расстрелял перед строем двух солдат из нашей роты за трусость в бою. Мне кажется, все наши ребята дрались как львы.

Думы, думы!...

14 н о я б р я.

Нет, теперь мне не страшен ад.

Более тридцати часов — без перерыва — шел бой за деревню, до которой мне нет никакого дела. Мы опять бежали. Устал так, что нет сил жевать хлеб...

Я еще жив, но счастье ли это?»

...Все прочитано. Остается сделать новую запись, может быть последнюю в жизни. Но о чем, в самом деле, писать? Нет, для дневника даже перед таким грозным событием, как новое наступление, Отто Кугель не имеет слов. Написать матери? Но матери нельзя писать, когда в голове такие черные мысли...

Отто Кугель поднялся со своего места и взялся за шинель. Один из солдат спросил:

— Ты хочешь, отнести письмо?

— Да, — угрюмо ответил Кугель.

— Захвати и мое!...

Несколько солдат, услышав этот разговор, обступили Кугеля с письмами.

— Отто, сделай одолжение!

— Я тоже боюсь выйти на мороз...

— Только захвати автомат, Отто...

Собрав письма, Отто Кугель взял автомат и вылез из душного убежища.

В этот момент над деревней догорала зеленая ракета. Свет ее был бессилен перед густой морозной мглой — он быстро ослаб, и Отто Кугель не успел разглядеть даже лес, стоявший за околицей деревни. А когда ракета погасла, вокруг стало так темно, хоть глаз коли...

В полдень около солнца, как часовые, стояли два светящихся столба, временами тянуло прожигающим до костей ветерком, а на полях с застывшими гребешками снежных волн играла поземка. К вечеру солнце осталось без присмотра и стало гаснуть раньше времени, — над землей появилась морозная мгла. Иней всюду был густ и пушист, точно песцовый мех.

По поручению командира полка лейтенант Юргин проводил в этот день недалеко от Скирманово полевые занятия с бойцами, которые хотели стать снайперами: надо было отобрать лучших из лучших стрелков, способных быстро изучить сложное снайперское искусство.

Закончив занятия, названные бойцами экзаменом, лейтенант Юргин провел коротенькую беседу, объявил, кого зачисляет в группу снайперов полка, и немедленно отпустил всех по своим подразделениям. Оставил он около себя только Андрея, который помогал ему проводить испытания кандидатов в снайперы.

— Пусть идут, — сказал Юргин, кивая на удаляющихся по дороге солдат. — Пойдем следом, поболтаем...

...За сутки после боя, по наблюдениям Андрея, Юргин изменился до неузнаваемости. Похоже было, что Юргин с привычной твердостью и убежденностью в своей правоте решил: за один вечер, когда искал Лену, он отстрадал столько, сколько положено ему судьбой на всю жизнь, и теперь на его долю осталась только радость. Андрей с трудом верил, что человек может измениться так за один день.

Раньше Юргин был нетороплив, угрюм и суров; глядя на него, многие почему-то именно такими и представляли себе всех жителей глухой сибирской тайги. Солдаты знали командира взвода как заботливого, умного и бесстрашного командира, но больше побаивались его, чем любили. Андрей видел Юргина таким, каким видели его все, хотя, по разным причинам, и был к нему ближе всех солдат. Получалось так, будто война освещала Юргина холодным зеленым светом ракет, в котором весь его внешний облик был далек от реального, а тут вдруг только две встречи с Леной осветили его обычным светом весеннего солнца, и он стал тем, чем был всегда. Встречи с Леной ничего еще не обещали, но Юргину и не надо было никаких обещаний; ему достаточно было того, что они произошли, хотя и случайно. К тому же радость последней встречи соединялась с

другими радостями, которые принесла победа в последних боях, и от этого Юргин вспыхнул, точно алмаз от солнечного луча... Для всех солдат Юргин неожиданно стал проще, понятнее, ближе; все увидели его не только командиром, омраченным неудачами войны, но и человеком, наделенным простой, открытой и чистой, как родник, душой.

Для Андрея лейтенант Юргин всегда был командиром и другом, теперь стал другом и командиром. Андрей с восхищением, какое трудно скрыть, наблюдал в этот день за Юргиним. Тот все делал теперь с шуткой да улыбочкой; с бойцами разговаривал необычно много и весело. Эти перемены в поведении Юргина восхитили Андрея так, как если бы на его глазах, по чудесному велению природы, внезапно раскрылся бутон никогда прежде не виданного цветка. Но Андрей, бессознательно подчиняясь простой человеческой зависти, немного и взгрустнул, глядя на Юргина, — вспомнилась Марийка и свое счастье.

...Они шли тихонько лесной дорогой.

Взглянув искоса через поднятый, в густом инее, воротник полушубка на Андрея, Юргин сразу отгадал его грустные мысли.

— О жене думаешь?

— О ней, — со вздохом ответил Андрей. — Старики, слышал, так говорят: воин воюет, а жена дома горюет. Как не думать? Но дело не только в этом...

— Боишься, чего бы не случилось с ней?

— Понятно. Жена без мужа — вдовы хуже.

Андрею было приятно, что Юргин завел разговор о Марийке. Но Андрей понимал: Юргин завел этот разговор не только потому, что сочувствует ему в разлуке с женой, но и потому, что самому хочется поговорить сегодня о женах, о верной любви...

— Видал я ее, когда уходили из Ольховки, — сказал Юргин. — С одного взгляда ясно — верная жена. О такой затоскуешь!

Под валенками звучно поскрипывал сухой снег.

— Легко с ней жить было... — тихонько, будто для себя только, сказал Андрей и, отвернувшись от Юргина, без всякой надобности стал осматривать на своей стороне дороги закуржавелый лес и сказочные терема, понастроенные в нем снежной и метельной зимой.

— Легко? — живо переспросил Юргин: его теперь интересовало все, что касалось семейной жизни.

— Очень! — с порывом ответил Андрей, поправляя на плече автомат. Бывало, смотришь на нее и кажется, что тысячу лет проживешь на этом свете! До того легко... Нет, не спрашивай!

Юргину подумалось что сейчас он счастливее Андрея, ему стало почему-то неловко от такой мысли, и он решил утешить друга:

— Ничего, Андрей, потерпи немного! Видал, сколько было здесь у них сил? А что вышло? Как дали — от них только ключья во все стороны! Конечно, не все шло гладко... Так ведь это только вроде пробы, вроде репетиции. А вот подойдут к нам на подмогу свежие войска, и тогда мы их так трахнем, что весь мир вытаращит глаза! Ты слушай партию. Раз наша партия говорит, что враг будет побежден, значит, так и будет!

— Да, у ребят теперь здорово поднялся дух, — сказал Андрей, оживляясь. — Вчера весь вечер гудели, как шмели. И взяли-то две пустые деревни и прошли-то на запад всего-навсего пять километров, а что с ребятами сделалось! Дай команду идти дальше — бросятся в любой огонь! Да, всем обидно, что столько земли захватил этот проклятый вражина, у каждого вот тут муторно... Все только и ждут, когда пойдём на запад. Эх, пойти бы, да скорей! Только скорей!

Вышли из леса. В низине показалось Козлово; в центре деревни, среди покореженных вязов и тополей, на месте взорванной гитлеровцами церкви огромный холм красного кирпича; всюду черные, еще не запорошенные снегом пепелища, над которыми возвышаются могучие русские печи. На открытом месте стало особенно заметно, как сгущается над землей морозная мгла.

Андрей чувствовал, что Юргину будет очень приятно, если теперь, поговорив о Марийке, они заговорят о Лене, и он спросил:

— Ну, как вчера? Поговорили?

— С Леной-то? — Юргин переспросил с таким оживлением и благодарным взглядом, что стало ясно: он едва дождался, когда начнется разговор о Лене Малышевой. — Да, поболтали о том о сем... Недолго, конечно, сам знаешь, надо было идти...

— Хорошая девушка!

— Первую такую встретил!... — помедлив, со смущением сказал Юргин, но было видно, что ему очень хотелось, хотя бы пока Андрею, сделать такое признание.

От крайних домов долетел собачий лай. Юргин в волнении призадержал шаг. И здесь Андрей вдруг понял, почему Юргин отправил солдат вперед, а его оставил при себе; Андрею были

приятны тайные помыслы друга, и поэтому он охотно предложил:

— Может, зайдём к ним на минутку?

Юргин отвернул в сторону пылающее лицо.

— Да, морозец знатный... А удобно ли?

— А чего тут особого?

— Разве ненадолго?

— Понятно, ненадолго, а то дела...

— Тогда зайдём!

Юргин вдруг остановил Андрея и, прижимая ладонь к груди, признался со свойственной ему прямоотой:

— Врезалась она вот сюда, как горячий осколок!

— Первое тяжелое ранение? — с улыбкой спросил Андрей.

— Первое в жизни! Что делать, а?

XVIII

Взвод заканчивал ужин.

Дубровка спросил Петра Семиглаза:

— На всех, кого нет, оставил? Не забыл?

— Что вы, товарищ старший сержант! — даже обиделся Семиглаз и указал на котелки, стоявшие на столе. — Вот, глядите! Только что же они так долго? Даже Умрихин запоздал, а уж он-то никогда не опаздывал!

Один солдат из третьего отделения, которое расположилось у русской печи, спросил:

— Что у вас с Умрихиным-то случилось?

— Вчера-то? — переспросил Тихон Кудеяров, солдат из-под Владимира, лет тридцати, круглолицый, с яркими пятнами румянца на припухлых щеках, с остренькими, небольшими глазами неопределенного цвета. — Да, было дело! Не слышали разве?

— Расскажи толком-то...

— Значит, как вчера заняли мы это самое Козлово, — начал Кудеяров, присев среди бойцов третьего отделения, — то сразу же, понятно, пошли осматривать блиндажи... И вот находим в одном бутылку с какой-то светлой жидкостью. Бутылка полная, а чуть-чуть прикрыта пробкой. Это нас и навело на сомнение. На наклейке, конечно, есть надпись, но читать никто не может, вот и стали гадать: что такое в бутылке? Большинство, конечно, за то, что, кроме вина, ничего быть не может. Умрихин как раз подоспел к этому моменту и

говорит: «Сомнительно, чтобы это было вино, очень сомнительно! Если вино, то почему же немцы откупорили его и не распочали? Скорее всего это жидкость от «автоматчиков», то есть, сами понимаете, от насекомых...» Ребята призадумались было, но тут один все же прочитал наклейку и говорит: «В переводе на русский язык — вино, даю слово!» А Умрихин повертел в руках бутылку, понюхал жидкость и покачал головой. «Вино-то, может, и в самом деле вино, говорит, но какое оно, это вам известно? А может, оно отравленное? Гитлеровцы — народ зловредный, пришлось бежать, вот и взяли открыли бутылку вина, а в нее — порошок: нате, мол, пейте и подышайте!» Ребята так и сели, а Умрихин и говорит: «Тут, братцы, выход один: бутылку надо разбить! А если желаете, я могу попробовать эту жидкость, я все на свете перепробовал, мне не страшно!» Погалдели, погалдели ребята и решили: раз не боится, пусть пробует! Налил он полный стакан, отхлебнул раз, почмокал губами, отхлебнул побольше, опять чмокает... «Что такое? пожимает плечами. — Никак не пойму!» И затем третьим глотком — стакан до дна! Покрутил потом головой, подергал ноздрями... «Никак, говорит, понять невозможно! Никаких градусов нет, малость горьковато, а больше — с дурмяным запахом, вроде настой белены... Сколько разных жидкостей ни пробовал, а такой не приходилось! Не ружейная ли это жидкость какая, братцы, а?» И наливает другой стакан. Ну, тут, конечно, все в один голос: «Брось, не пей, лей ее к чертям!» Но Умрихин — свое: «Как это, говорит, вылью я ее и не узнаю, что пил? Теперь мне все одно!» Не успел он допить второй стакан, его и...

— Вырвало?! — не вытерпев, перебил один из солдат.

— С ног сшибло! Наповал! Пьяный в дым! Обманул, сукин сын! Крепкое вино попало! Кинулись мы к бутылке, а там на доньшке...

Дверь открылась, и Семиглаз объявил:

— Вот он, легок на помине!

В дом вошел Иван Умрихин, за ним — еще трое солдат. От них веяло стужей. Все они — в белых маскхалатах, у каждого — снайперская винтовка с оптическим прицелом в мягком кожаном чехле...

Молча поставив в угол винтовку и скинув шинель, Умрихин, не глядя на товарищей, подошел к Семиглазу, спросил:

— Где мой котелок?

— Вот он, сидай сюда, товарищ снайпер, — ответил

Семиглаз. — Я для тебя у повара, брехать не буду, полчерпака лишку добыв! Бачишь? Так и кажу: добавь, кажу, для нашего снайпера, он у нас сегодня тяжелый экзамен проходит, а потом, кажу, даст жизни этим хрицам! Ну, он и зачерпнул!

— Зря выпросил, — мрачно сказал Умрихин.

— Як зря?

— Не выходит из меня снайпера.

Все, кто сидел поближе, перестали скрести ложками в котелках. При всеобщем внимании Умрихин опрокинул в рот стопку водки.

— Промерз, как собака, а все зря!

— Рассказал бы, в чем дело? — сухогато спросил Дубровка.

— И потом, где лейтенант? Где сержант?

— Они скоро придут, товарищ старший сержант; заговорили о своих делах и малость приотстали, — сообщил Умрихин. — А о своем деле я расскажу, понятно. Только разрешите дохлебать?

Он быстро опорожнил свой котелок.

С удивлением указывая глазами на ложку, которую Умрихин старательно облизывал. Осип Чернышев заметил:

— Ну и миномет у тебя, Иван!

— Работает без осечки, — ответил Умрихин.

Солдаты укладывались один к другому на полу и свертывали сигарки...

— А дело, братцы, вот как было, — начал Умрихин. — Закончился этот самый экзамен, нас и созывает товарищ лейтенант и объявляет: все годятся в снайперы, один я — нет! Можете вы это понять? Вы же сами, братцы, знаете, как я стреляю. Помните, когда еще стояли на реке Великой, как я отличился на стрельбище? Мне же тогда была объявлена благодарность от самого комбата! Нет, хвастаться не буду, а стрелять-то я умею! Глаз-то у меня, будьте покойны, верней некуда! Я как стреляю! Мигнет молния, я ее р-раз! и готова!

— Вот и хвастнул трохи, — сказал Семиглаз.

— Давай дальше! — попросил Дубровка.

— Так вот, — продолжал Умрихин, — пришли мы на место. Это, значит, правее Скирманово. Там разных немецких траншей и блиндажей — черт ногу свихнет! И вот наш товарищ лейтенант указал каждому место, свои сектора, и говорит: «Следить за

блиндажами, за дзотами — глазом не моргать! Как появится где цель — бей без промаха!» А в тех траншеях да блиндажах засели наши же ребята, и дан был им наказ: то шапку на палке на самое малое время показать, то щиток из фанеры с фашистской мордой... Ну вот, выбрали мы позиции, наблюдаем... Лежу я полчаса — нет цели в моем секторе! Нет и нет! В стороне кто-то уже хлопнул разок, а я лежу... Проходит еще полчаса. У меня уже и ноги заоченели, но я не отрываю глаз от своего сектора. А цели нет! Что за чертовщина, думаю? В чем дело? В стороне опять хлопают, а я лежи, стало быть, без движения, коченей заживо! А тут к тому же как потянет поземку и прямо, поверите ли, в глаза! За несколько минут замело всего до горба. Но я лежу, коченею, а наблюдаю. Только когда утихла поземка, меня сомнение взяло: не просмотрел ли, думаю, цель, когда меня снегом заметало? Но все же опять лежу. Окоченел до самого сердца, курить до смерти охота, а цели все нет и нет! Тьфу, пропасть, думаю, хоть лопни! И тут у меня такая мысль мелькнула; а не забыл ли, думаю, товарищ лейтенант посадить человека в мой сектор с шапкой на палке или фанеркой, иначе говоря, с целью? Дай, думаю, схожу разузнаю, в чем дело? Пришел к товарищу лейтенанту, а он говорит: «Сиди жди остальных, будет беседа». А потом и говорит: не гожусь! Видали, что вышло?

— Все ясно, — сказал Дубровка. — Нет выдержки! Хорошо стрелять — это совсем мало для снайпера! Снайпер должен прежде всего обладать большим спокойствием, большой выдержкой. Без этого он не может вести наблюдение, подкарауливать врага и, наконец, стрелять метко... А какая у тебя выдержка? Полежал три часа в снегу при довольно благоприятной погоде, и все терпение лопнуло? Что тебе сказал лейтенант?

— Вот это же и сказал, — уныло ответил Умрихин.

Солдаты были в добром, благодушном настроении после сытного ужина и поэтому дружно взялись шутить над Умрихиным — представился редкий и удобный случай дать ему сдачу за его постоянные шутки.

— Какое у него терпение? Откуда взялось?

— Он терпелив с ложкой в руках!

— Эх, Иван, Иван! — вздохнул Петро, и все замолчали, ожидая особенно крупной сдачи. — И правда, зря я выпросил у повара ту добавку. Ну, ничего! Завтра як буду получать обед, то и скажу повару: «Забери, дядько, из его котелка назад полчерпака;

сознаюсь, дядько, зря выпросил вчера!»

Иван Умрихин, молча сносивший все уколы, выжидая удобного случая для контратаки, вдруг посмотрел на Семиглаза и сказал серьезно:

— Ты, смотри, дурная голова, на самом деле не сделай так! У тебя ума хватит!

Изба дрогнула от хохота.

XIX

Как горные ручьи, то шумя, то стихая, без конца меняя путь, весь вечер текли солдатские разговоры. В одной группе говорили о том, как бы теперь, не будь войны, хорошо жилось и работалось; в другой — о том, что делается сейчас в тылу для победы над врагом; в третьей — о том, что происходит сейчас в родных краях, где хозяйничают ненавистные захватчики... Там и сям слышались тяжелые вздохи. Из рук в руки переходили фотографии и письма.

В эти минуты один солдат из второго отделения, вытянувшись на соломе у печки и смотря уныло в потолок, внезапно запел, переделав на свой лад старинную грустную песню. Он пел тихо, не спеша, будто стараясь, чтобы каждое слово песни унесло из его души как можно больше горечи и тоски:

Прощай, ра-а-адость, жизнь моя,

Ты осталась без меня-я-я...

Но горечи и тоски, должно быть, слишком много было в его душе. Он не выдержал и заговорил быстро, строго:

Знать, один должен скитаться,

Тебя мне больше не вида-а-ать!

И вдруг, передохнув, со всей силой бросил вверх слова:

Тем-на... но-о-оченька-а-а!...

И тут же откровенно пожаловался однополчанам:

Ой, да не спи-ится,

Ой, да не спи-ится мне!

Петро Семиглаз наклонился к Кудеярову.

— Хм, спивае... Голосист!

— А шо?

— Убьют его...

— Як убьют?

— Боится, а такие недолго воюют...

Умрихин подошел к Андрею, зашептал:

— Завтра, пожалуй, опять бой...

— Почему так думаешь?

— А вон, видишь, как предчувствует...

Солдат лежал молча, с закрытыми глазами, будто прислушиваясь, куда уносит его песню. Многие уже решили было, что солдат забыл ее продолжение, но он вновь запел:

Эх, тала-ан, мой тала-ан,
Участь горь-кая моя-я-а...

Уроди-илось мое го-оре,
Полынь-горькою траво-о-ой...

И опять точно застонало сердце:

Темна... ноченька-а-а!...

Ой, да не спится-а,

Ух, да не спится мне!

Андрей приподнялся на лавке, крикнул:

— Эй ты, соловей залетный, поешь ты здорово, а когда молчишь — того лучше. Что ты на всех нагоняешь тоску? Что ты, в самом деле, нюни распустил?

— На это моя воля, — ответил солдат.

— Твоя? — Андрей сорвался с лавки, внезапно по-отцовски раздражаясь, что случилось с ним теперь частенько. — А нашу знаешь?

Он оглядел солдат быстрым недовольным взглядом, густо румянея от раздражения и порыва, вскинул руку и сразу запел, удивляя всех могучей силой своего голоса:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Это была одна из самых любимых и волнующих песен нашего народа в дни войны. Властная сила этой песни заставила солдат вновь и вновь испытать ощущение величия всего, что они делали на фронте, ощущение взлета своей душевной мощи... Сразу же забывая обо всем, что занимало думы, солдаты, как по команде к бою, сорвались со своих мест и дружно, слитно, могуче подхватили песню:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!

Идет война народная,
Священная война!
Песня понеслась, как горный поток...
У всех солдат ярко загорелись глаза...

В тот момент, когда запевала заканчивал второй куплет, в избу вошли Озеров и Брянцев, — весь день они были вместе: комиссар знакомился с офицерами и солдатами полка, делая обход всех занятых полком домов и блиндажей. Старший сержант Дубровка подал команду «смирно» и шагнул вперед, чтобы отдать командиру полка рапорт, но Озеров и Брянцев одновременно замахали на него руками и, порывисто обнимая оказавшихся рядом солдат, тоже с чувством могучего порыва душевной силы первыми начали припев:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война!

...На этом и оборвалась песня. Приоткрылась дверь, и какой-то солдат, заиндеветый так, что остались видны только сторожкие глаза, крикнул в избу:

— Говорят, товарищ майор сюда зашел?
— Здесь я, здесь. А что? — спросил Озеров.

Солдат открыл дверь настежь, и тогда на порог боязливо вступил тоже весь заиндеветый, мрачно поглядывающий человек в немецкой шинели. Это был Отто Кугель — первый немецкий перебежчик на подмосковном фронте...

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

Тихо занималось морозное лесное утро. На кромке старой гари, заваленной колодинами и густо заросшей подлеском, появилось лосиное стадо. Выйдя первым на гать, старый лось-вожак остановился и высоко поднял могучие рога. Несколько минут лось стоял с оцепеневшими мускулами, как изваяние, чуть поводя ушами, напряженно прислушиваясь к чуткой зимней тишине. Все стадо тоже высоко и сторожко держало горбоносые морды. Над дальней кромкой гари взмыл тяжелый краснобровый глухарь. По ворсистым,

заиндевелым спинам лосей прокатилась дрожь. Но лоси тут же успокоились: вокруг стояла такая крепкая тишина, что ни одно дерево не решалось шевельнуть веткой, чтобы сбросить лишней иней. Старый лось смело шагнул вперед и одним поворотом сухой, губастой головы забрал в пасть вершину молодой осинки. За ним двинулось на гать все стадо, жадно хрустя промерзлыми ветками сочного подлеска.

Около часа стадо медленно бродило по раздолью гари. Затем старый лось остановился на маленькой полянке, оглянулся вокруг, шумно потянул ноздрями морозный воздух и, помедлив еще немного, тяжело опустился в снег. Рядом легла его любимая лосиха, за чью любовь он смертельно бился в сентябре. Поодаль, среди мелкого березняка, опустились остальные лоси.

Утро разгоралось над всем лесом.

Отдохнув, старый лось встал на ноги и пошел на кромку гари, за которой черной зубчатой стеной поднимался нетронутый еловый лес. За ним двинулось все стадо. Вдруг лось-вожак дрогнул всем телом и замер в ужасе: в лесной тишине хрустнула сухая ветка.

В ту же секунду грохнул выстрел...

Старый лось разом взлетел на воздух и с шумом врезался в густой ельник. За ним в беспамятстве метнулось все стадо...

Стрелял Афанасий Шошин, неделю назад по заданию Лозневого появившийся в лесной партизанской избушке. После выстрела он, не торопясь, открыл затвор винтовки и выбросил гильзу. Повернув на солнце землистое, прежде времени постаревшее лицо в густой сетке морщин, он весело подмигнул Васе Сойкину:

— Ловко, а?

Молоденький Вася был изумлен и испуган.

— Ты кого же бил? Рогача?

— Нет, лосиху, которая рядом была...

— Лосиху? Да разве можно?

— Ну и что же? Подумаешь!

Афанасий Шошин даже хохотнул всем нутром.

— Видишь ли, — сказал он затем, — бык, нет спору, здоров был, прямо сказать — бычище. Но знаешь ли, дружок любезный, он уже в годах, этот бык! Стало быть, мясо у него постное, сухое. Другое дело — у коровы. Как ни говори, она завсегда жирнее быка, мясо у нее мягче, сочнее. Да ты возьми любую живность женского пола — что курицу, что утку, что свинью... У женского пола,

сердешный ты мой, всегда мясо слаще! Так и запомни!

Вася Сойкин посмотрел в ту сторону, куда умчалось подброшенное выстрелом лосиное стадо, и жалобно поморщился.

— Может, не убил все же?

— Тоже скажет! — Шошин презрительно засмеялся. — Да я ей, если хочешь знать, под самую лопатку ударил!

— Но она же ушла!

— Далеко не уйдет. Это она сгоряча.

Направились к месту, где стояли лоси. Вася Сойкин, обогнав Шошина, нетерпеливо окинул взглядом маленькую полянку, на которой лось и лосиха, делая первые после выстрела прыжки, глубоко взрыхлили снег. Не увидев пятен крови, Вася Сойкин торжественно воскликнул:

— Промазал!

— Нет, сердешный мой, промаха я не даю! — возразил Шошин, подходя. погоди меня срамить. Пойдем дальше.

Он взглянул на след лосихи, чуть заметно усмехнулся тонкими губами и направился в ельник. Пройдя круговинку ельника, остановился у другой полянки.

— Видишь? А ты срамить меня!

След лосихи был густо забрызган кровью.

— Да, убил! — прошептал Вася Сойкин. — Эх, ты!

— Что ты меня коришь? — заговорил Афанасий Шошин. — Что тут такого убил? А ты знаешь, как все партизаны будут рады? В ней пудов пятнадцать чистого мяса, вот что! Соображаешь, какая это добавка к питанию! А питание у нас, сам знаешь, не ахти какое, не курортное! Вот и суди-ряди!

Мертвая лосиха лежала в густом еловом лесу, лежала на левом боку, откинув голову так, словно подставляя горло под нож, а весь правый бок ее был в крови. Осмотрев лосиху, Шошин весело похлопал ее по ляжке.

— Хороша!

Присев на зад лосихи, предложил:

— Закурим, а? Жаль, некогда, а то бы горячую освежевать!... Ничего! Сделаем перекур, забросаем ее снежком — и живо к избушке. А потом разрубим на части и унесем. Дело привычное, случалось!

Курили молча.

За неделю, прожитую в лесной партизанской избушке,

Афанасий Шошин не смог выполнить задания Лозневого: никаких важных сведений о партизанском отряде достать не удавалось. Сначала Шошин думал, что лесная избушка — это и есть основная база отряда, но вскоре понял, что ошибся. Никто из новичков тоже не знал, где основная база, а со старыми партизанами Шошин побаивался пока разговаривать, чтобы не вызвать у них подозрений. На основную базу новичков почему-то не отправляли. Приходилось спокойно выжидать.

Чтобы не терять зря времени, Шошин решил снискать доверие у начальника передового поста Пятышева, человека, по всем приметам, снисходительно относившегося к лести. Афанасий Шошин пустил в ход все свои недюжинные способности в этой области и быстро достиг успеха: вчера вечером он получил от Пятышева первое задание — побывать в ближайшей деревеньке Горбушка и распространить там среди колхозников свежие листовки подпольного райкома партии. Задание было выполнено за ночь отлично. Теперь же, убив лосиху, Шошин считал, что своей заботой о благополучии партизан он окончательно покорит податливое сердце начальника поста.

Так и вышло.

Узнав о том, что Шошин убил лосиху, Пятышев даже не расспросил его, как он выполнил боевое задание, а полностью отдался власти долголетней профессиональной привычки снабженца.

— Что ты говоришь? Пятнадцать пудов? — закричал он. — Не может быть!

— Совершенно верно, товарищ командир! У меня глаз наметан, — ответил Шошин.

— Вот это здорово! Вот это да! — Восторгу Пятышева не было предела. Ну, братец, молодчина! Вот это выручил! Вот это сделал одолжение! Да ты знаешь, что значит для нас пятнадцать пудов мяса? Общественное питание великое дело! Что скрывать, сидим иногда на сухой корке да на пустой пшенной похлебке! Разве такое питание соответствует нашим задачам? А пятнадцать пудов... Стоп, сейчас подсчитаю. Итак, это будет двести сорок килограммов... Если мы будем расходовать по десять кило в день, а этого вполне достаточно, нам хватит мяса на двадцать четыре дня. Почти на месяц! Вот что это значит, дружище Шошин! Стоп, слушай: а нельзя ли еще одну такую подшибить, а?

— Это можно, — с достоинством и благосклонно согласился

Шошин, внутренне сгорая от радостного ощущения большого успеха в своей трудной миссии. — Лосей здесь найдем. Недаром этот лес зовется Лосиное урочище. Когда надо, я всегда ухлопаю, только прикажите!

— Хорошо! Значит, будешь у нас заготовителем. Проблема мяса, так сказать, полностью разрешена! — Видимо, от избытка благодарного чувства за помощь в решении этой проблемы Пятышев ласково потряс Шошина за плечи. — А теперь, дружище, организуй доставку! Бери людей, сколько надо, и живо туда! Чтобы на обед было мясо. Жду начальство. Ты как думаешь ее доставить?

— Очень просто. Разрубим на части — и в мешки.

— Верно! Давай, брат, двигай!

Выйдя от Пятышева из боковушки в просторную кухню, полную партизан, Шошин скосил правый глаз в сторону Васи Сойкина.

— Видал, как рад? А ты... За мясом-то пойдешь?

— Народу много, набирай!

— Как хочешь, дело твое.

Охотников идти за мясом нашлось много. Раздавая своим помощникам мешки и топоры, Шошин вдруг увидел у печи молодого парня в черном бобриковом пиджаке — полицаю Усачева, прибывшего из-под Смоленска и в один день вместе с ним поступившего на службу в полицию. «Зачем же он здесь?» встревожился Шошин и вдруг закричал на обступивших его партизан:

— Что вы лезете? Что вы на горло наступаете? Кого надо, того и возьму!

Партизаны расступились, и тогда перед Шошиным в покорной позе предстал полицай Усачев; его правая бровь легонько дрогнула.

— А ты куда? — крикнул на него Шошин.

— Возьмите и меня, — скромно попросил Усачев.

— Обожди-ка... — Шошин оторвался от мешков. — Что-то я тебя, брат, впервой вижу. Ты, что же, новичок? Когда же прибыл?

— Вчера вечером.

— Ага, вечером... — Словно убедившись, что стаж прибывшего новичка в избушке вполне достаточен, Шошин охотно принял его под свое начало. Хорошо, получай мешок!

Разрубали лосиху в два топора.

Набивая мешки кусками мяса, Шошин отправлял с ними партизан одного за другим. При этом кричал:

— Что тут стоять? Нагрузился и шагай!

Как бы случайно оставив при себе последним Усачева, Шошин прокричал партизанам, уходившим цепочкой через гарь:

— Шагайте, шагайте! Мы все остальное заберем!

Покуривая, Шошин терпеливо ждал, пока партизаны, разбрасывая подлесок, пересекали гарь. Усачев подбирал и складывал в мешок вываленные в снегу куски мяса.

Солнце проходило низко над лесом, — наступали самые короткие дни зимы. В лесной тишине мороз был полным и жестоким властелином: коченели руки, ноги, остро покалывало в ноздрях, вздымало жгучим воздухом грудь.

— Жжет, а? — похлопав рукавицами, спросил Шошин.

— Говори! — негромко приказал Усачев, не отрываясь от работы. Быстро! И надо догонять.

— От него? — спросил Шошин, намекая на Лозневого.

— Не теряй времени! Я ненадолго. Я завтра должен уйти обратно, сказал Усачев. — Ты поглядываешь по сторонам? Смотри и говори. Лозневой этот злой сейчас, как дьявол! Мне приказал взять у тебя все сведения и скрыться отсюда. Я должен быть у него завтра.

— А что говорить-то?

— Как что? Все сведения, какие нужно. Где у них главная база? Кто командир? Какие налеты задумали?

— Эх вы, чудаки-люди! — вздохнул Шошин. — Думаешь, легко все это узнать? Нет, сердешный мой, они не развешивают зря губы. Ты собирай, собирай, знай свое дело. Я вот неделю прожил здесь, а что узнал? Ничего! Где база, и то не знаю. Вот они какие!

— Они умные, а ты дурак, — сказал Усачев. — Вернешься в Болотное тебе надают по шее, так и знай! Может, ты продался им? Очень уж ты лебезишь перед ними!

— Вот теперь и ты дурак, — без злобы заметил Шошин. — Давай сюда мешок. А ну, помоги вскинуть. Не забудь топор. Пошли!

Кряхтя, Усачев потащился следом.

— Смотри, Шошин, за невыполнение приказа...

— Ты меня не пугай! Я лучше вас знаю свое дело. — Изредка оборачиваясь, Шошин бросал назад по одной фразе. — Так и скажи ему: знаю свое дело! Задумали учить ученого! Об избушке передай все, что сам видел. Остальное все разузнаю на днях. Как разузнаю —

немедленно прибуду.

— Сообщишь, а не прибудешь...

Шошин остановился.

— Как так? Мне приказ был вернуться.

— А теперь есть другой приказ! — Усачев оглянулся, поудобнее устроил мешок на плече. — Приказ такой: собрать все сведения, передать через полицая в Горбушке, а самому оставаться в отряде. До особых указаний.

Шошин шумно и обидчиво вздохнул.

— Выходит, на смерть обрекли?

Не слушая Усачева, он тяжело побрел дальше, покачиваясь под мешком, часто сбиваясь с проложенной партизанами тропы.

Пока Шошин и его помощники ходили за мясом, с главной базы в лесную избушку Прибыла большая группа партизан во главе с Бояркиным. Все в избушке догадались: ночью будут проводиться широкие боевые операции.

Подходя к избушке, Шошин увидел на крыльце Пятышева, а около него знакомых и незнакомых партизан. «Меня ждут, — подумалось Шошину. — Теперь мои дела пойдут!» У крыльца Шошин с облегчением и в самом приятном настроении бросил наземь мешок; отдуваясь, устало сказал:

— Фу, едва донес! Думал, немного осталось, а как стал сгребать — о батюшки! — Обернулся к Усачеву: — Бросай здесь. Сейчас уберем.

Незнакомый худощавый человек в белом мерлушковом треухе и в беленом военном полушубке с пистолетом на поясе — это был Степан Бояркин, — кивнув на Шошина, спросил кратко:

— Этот?

— Он... — уныло ответил Пятышев.

Шошину показалось, что кто-то холодной ладонью коснулся его горячей спины.

Бояркин спустился с крыльца.

— А ну, охотничек, отвечай: кто же это тебе разрешил стрелять лосей? Кто тебе разрешил нарушать государственные законы?

Шошин мгновенно догадался, что с ним разговаривает сам командир партизанского отряда. В эти секунды он испытал такие ощущения, какие испытывал только во сне, когда, бывало, падал в пропасти.

— Какие законы? — в замешательстве переспросил Шошин, хотя и отчетливо понял вопрос Бояркина. — Это насчет лосей? — И он оторопело развел руками. — Господи, да какие же теперь законы? Тут война, а тут законы...

— А по-твоему, раз война, раз наши места временно захватили немцы, то и кончились советские государственные законы? — Худощавое, серое от недуга лицо Бояркина стало суровым. — Нет, охотничек, наше государство как стояло, так и стоит, и никто не отменял и не будет отменять его законы! Так рассуждать, как ты, может только тот, кто не верит в нашу победу, не заботится о нашем будущем. Мы как были, так и будем хозяевами всех наших богатств — и на земле и в воде. И мы должны по-хозяйски беречь их для нашей будущей жизни. Понял? Ничего, подумаешь на досуге — поймешь!

Бояркин взглянул на унылого Пятышева.

— Этого охотничка — на десять суток под арест. Под строгий! Мяса не давать. Пусть на досуге подумает о законах Советского государства!

У Шошина упали руки...

II

Это был первый случай, когда Марийка пошла на боевое дело.

Всю неделю после прибытия десанта она с упоением изучала оружие. Она без конца разбирала и собирала винтовку, автомат и пистолет и вместе с другими, не знавшими стрелкового дела, ежедневно училась стрелять по мишеням. (Гранат она почему-то боялась, и, как ни пыталась побороть свой страх к «карманной артиллерии», ничего не вышло.) Учиться пришлось немного, но все же Марийка могла уже обращаться с оружием и вести из него огонь. Ей выдали автомат.

Илья Крылатов отговаривал Марийку от участия в боевых делах отряда только потому, что боялся за нее: война есть война. Но когда понял, что она непреклонна в своем решении, немедленно постарался стать самым полезным для нее человеком. Он надеялся, что своим вниманием к ее учебе сможет завоевать немалое расположение к себе Марийки — расположение, которого только и не хватало ему в теперешней жизни. Каждую свободную минуту он

старался побыть около Марийки. Он сторожил каждое ее желание.

Увлечшись учебой. Марийка не замечала, что Крылатов пользуется случаем и старается примелькаться с ее глазах. Марийке приятно было, что сам начальник штаба помогает ей в занятиях, и она быстро привыкла к тому, что он очень часто бывает около нее. Илья Крылатов всегда был добрым, внимательным, заботливым, любезным, как никто в отряде. Марийка не могла быть неблагодарной и поэтому относилась к Илье Крылатову с той сердечностью, какой немало было в ее натуре.

— Ой, товарищ Крылатов! — часто восклицала она. — Без вас мне ничего бы не заучить! И как мне только благодарить вас?

— Мне не благодарность нужна...

— А что же?

Крылатов делал вид, что отвечает шуткой:

— Ласковый взгляд.

— Ну, что вы говорите!...

Но такие разговоры Илья Крылатов допускал очень редко: он был осторожен, он боялся нарушить те добрые чувства, какие питала в эти дни к нему Марийка. Он рассуждал: добрые чувства — соседи любви.

Теперь Илья Крылатов был даже рад, что Марийка решила стать настоящей партизанкой. Если сейчас она постоянно нуждается в его помощи, то в будущем, когда примет участие в боевых делах, и подавно будет нуждаться. Во многих операциях им придется, конечно, участвовать вместе, а ничто не сближает так, как бой. Он станет ее другом и помощником в боевых делах, он блеснет перед ней своим мужеством и воинской доблестью.

...Первый выход на боевое задание очень взволновал Марийку. В ту минуту, когда партизанская цепочка двинулась с Красной Горки к лесной избушке, Марийка поняла, что в ее жизни началось новое. В пути она старалась быть сдержанной, чтобы партизаны не заметили ее душевного восторга, вызванного новизной ее положения в отряде, и не зубоскалили над ней; она всячески старалась принять тот обычный вид, какой был у всех партизан. Но все же любой внимательный взгляд мог видеть ее волнение и восторг.

Марийке все нравилось сегодня. Нравилось, что она в непривычной одежде. Она была в черном полушубке, шапке-ушанке, в лыжных брюках. И главное — за плечом был настоящий автомат, из которого она уже стреляла довольно метко. Нравилось Марийке, что

она, как и все, идет на лыжах и, если требуется, покрикивает, как это делают все: «Ты что — заснул? Шагай, не задерживай!» Все это помогало Марийке светло и радостно думать о своей новой боевой жизни.

Понравился Марийке и первый привал в лесной избушке. Очень приятно было сидеть на полу, прислонясь ноющей от ходьбы спиной к стене, слушать разговоры партизан, их безудержный хохот, а потом вместе обедать, наслаждаясь свежей лосятиной... Все здесь было ново, необычно, интересно, значительно, и Марийке даже казалось, что только одна она понимает высокое значение мельчайших событий партизанского привала. Все, что было обычным для большинства, трогало и волновало Марийку, как музыка...

После обеда Степан Бояркин отправил половину новичков на Красную Горку. (Афанасий Шошин, сидевший под арестом в бане, увидел уходивших в глубь урочища новичков и застонал так, что в дверь испуганно заглянул часовой.) Потом партизаны, группа за группой, стали отправляться в разные стороны от избушки. Никто из партизан еще не знал о замыслах начальника районного отряда Воронина, кроме Бояркина, но все чувствовали: с каждым днем боевые операции проводятся все шире, смелее и решительнее, и все они — только начало одной большой, хорошо продуманной операции. Это чувствовалось и по характеру боевых заданий, и по тому, что для их выполнения давалось ограниченное время.

Марийка оказалась в группе Крылатова.

Близился вечер. И днем-то стоял крепкий мороз, а к вечеру так ударил люто, что даже затуманило от него в лесу. Все живое пряталось на ночь в укромные места: белки покрепче забивали мхом выходы из гнезд, тетерева глубоко зарывались в снег, малые птицы прятались в непролазном ельнике...

Партизаны шли сутулясь, пряча носы и уши, проклиная мороз... Но ни мороз, ни тяжелая ходьба не могли понизить необычайной приподнятости Марийки. Ей все труднее и труднее было казаться сдержанной, обычной, какими были все партизаны.

У небольшой речушки Марийка остановилась и, пропустив несколько партизан, дождалась Крылатова. Он шел последним. Крылатов едва не задохнулся, увидев Марийку, — так она была красива в этот миг! На шапке, на полушубке — снег, на бровях и ресницах — иней, а в черных-пречерных глазах такое одухотворение, такой блеск, с какими идут люди только на святое дело.

— Товарищ лейтенант! — сказала Марийка, уже не скрывая своего волнения и восторга новым, что началось для нее сегодня. — Нет, вам этого не понять! Для вас это обычно, а для меня ново. Как хорошо чувствовать и знать, что ты вместе со всеми! Нет, мне трудно рассказать об этом... Понимаете, как приятно держать в руках боевое оружие, когда это нужно! Я непонятно говорю?

Марийка была такой красивой, говоря все это, какой Илья Крылатов не видел ее прежде. Крылатову хотелось броситься к ней, обнять ее и целовать, целовать без конца, — какой-то бес так и толкал его к Марийке! Но он вовремя сдержался. Он понимал, что нельзя сделать это сейчас, когда вся душа Марийки захвачена новым счастьем...

III

Перед рассветом группа Крылатова пришла в Ольховку. Для большей безопасности Ерофей Кузьмич устроил партизан на дневку у деда Силантия. Сухонькая, согбенная, но очень хлопотливая хозяйка Фаддеевна, та, что предсказала в доме Макарихи суровую зиму, сварила партизанам огромный чугунок картошки в «мундире» и щедро выставила на стол свои соленья. Партизаны позавтракали, хорошо обогрелись с дороги и, застелив пол горницы сухой соломой, на восходе солнца завалились спать. Вечером им предстояло идти на боевую операцию.

Одна Марийка осталась у Лопуховых.

Это было ее возвращение в дом мужа.

Она покинула этот дом совершенно внезапно не только для лопуховской семьи, но и для себя. В горячке раздражения против свекра и Лозневого Марийка тогда даже и не обдумала хорошенько, насколько правильно и необходимо ее решение покинуть дом, где все дышало жизнью Андрея. Только позднее она убедилась, что это решение, несмотря на свою горячность, все же приняла правильно: она не могла оставаться в доме, над которым витала народная ненависть... Но Марийка и не подозревала, что это совершенно правильное решение окажется для нее таким тяжелым и угнетающим. Думы о разрыве с домом Лопуховых никогда не давали ей покоя. Неприятна и тягостна была мысль, что Андрей, вспоминая ее, видит ее всегда в родном доме, тогда как она давно покинула его. Получалось так, будто она жестоко обманывала Андрея, а

обманывать его Марийка не могла, и ей было стыдно до слез...

Марийка была необычайно рада примирению со свекром. После той ночи, когда Ерофей Кузьмич вызволил ее из беды, она постоянно думала о возвращении в лопуховский дом и с трудом дождалась, когда выдался случай переступить его порог.

Вся лопуховская семья тоже была безмерно рада возвращению Марийки. На русской печи, куда вместе с Марийкой забралась Алевтина Васильевна и Васятка, начался шумливый, сбивчивый семейный разговор сразу обо всем, что занимало и волновало всех во время разлуки. Пока Ерофей Кузьмич был занят с партизанами, этот разговор не стихал ни на одну секунду: оказалось, что за месяц разлуки в жизни только одной семьи произошло немало событий...

Проводив партизан к деду Силантию, Ерофей Кузьмич вернулся домой оживленным и счастливым: отныне все в его жизни стало на свое место. Подойдя к печи, слабо освещенной маленькой лампешкой, он ласково спросил сноху:

— Ну как, обогрелась?

— Согреваюсь, — отозвалась Марийка.

— Самовар бы надо... — сказала Алевтина Васильевна.

— А что ж, сейчас будет самовар!

Он сам поставил самовар и, вновь подойдя к печи, спросил:

— О чем же толкуете?

— Все об Андрюше, — ответила Алевтина Васильевна.

— И о медали, — добавил Васятка.

— Этой газеты случайно не прихватила с собой? — спросил Ерофей Кузьмич. — Зря! Да, награжден, значит... Признаться, не приходилось еще видеть этой медали. Тоже не видала?

— Только на снимке, — ответила Марийка.

— Да, медаль хороша, — гордясь за сына, рассудил Ерофей Кузьмич. Главное, с надписью. Взглянешь — и видишь, за что дана! Самое милое дело. Только у меня вот какой вопрос: как думаешь, на фронте получит он ее или в Кремле? Как пить дать, могут вызвать и в Кремль. Кхм, кхм!... Да, большой почет! Теперь дело за орденом. Лиха беда — начало.

И старик неожиданно размечтался:

— Погодите, он еще получает этих наград! Раз есть в нем отвага, она еще покажет себя! Солдат не может скрывать свою отвагу за пазухой! Вот вернется домой, переступит порог — и мы ахнем: вся

грудь в золоте и серебре!

Всхлипывая, Алевтина Васильевна прошептала:

— Живой бы только пришел...

— Придет, ничего с нам не случится! Не всех убивают на войне. Его уж раз похоронили, значит долго будет жить!

— Придет, мама, не волнуйтесь, придет живой-здоровый, — Марийка прижалась щекой к плечу свекрови. — Сердце меня не обманет.

— Нет, он не придет, а прилетит, — авторитетно заявил Васятка. Прилетит и спрыгнет на парашюте, как эти... десантники... Раз у него будет много наград, почему он не может прилететь?

— Да, Василий вот напомнил... — спохватился Ерофей Кузьмич. Добрался до вас этот десантник, который сбежал?

— Нет, не добрался, — ответила Марийка.

— Куда же он делся? Где-нибудь замерз?

— Нет, оказалось, что его той же ночью опять поймали полицаи и увезли в Болотное. Теперь точно известно: сидит в немецкой комендатуре.

— Жаль парня! Погиб!

Закипел самовар.

Марийка соскочила с печи и сказала свекрови:

— Мама, я сама!

Она поставила самовар на стол, нашла в шкафчике и заварила чай, подала всем любимые чашки... Ей очень приятно было хозяйничать, как прежде, у стола, создавать за ним свой порядок чаепития, держать в руках знакомую посуду, резать мягкий ржаной хлеб, испеченный в лопуховском доме... Самое обычное занятие казалось теперь Марийке радостным, праздничным и значительным. Она видела, что семья взволнована ее хлопотами у стола, и оттого в ее душе точно струился горячий родничок...

— Значит, сватья-то теперь за главную хозяйку в отряде? — спросил Ерофей Кузьмич, когда и Марийка села на свое привычное место за столом.

— Да, все время на кухне...

— С питанием-то небось плохо у вас?

— Нет, ничего, жить можно...

— А что же ваши ребята жалуются?

— Какие ребята? Где?

Ерофей Кузьмич рассказал, как позавчера ночью четверо

партизан приехали на двух санях в деревню Заболотье, жаловались на голодное житье в лесу, каялись, что начали партизанить, и, наконец, ограбили три дома... Слух об этом бесчинстве партизан, по словам Ерофея Кузьмича, вызвал у народа недоумение и возмущение.

— Не может этого быть! — воскликнула Марийка, пораженная рассказом свекра. — Партизаны будут голодными, а этого не сделают! За такие дела никому не сносить головы. У Степана Егорыча не дрогнет рука. Нет, это не партизаны!

— Все говорят, что они...

— Неправда! Не верю!

— А кто ж тогда, по-твоему?

Не допив чашку чаю, Марийка встала из-за стола и, думая, прошлась туда-сюда по кухне... Вдруг она остановилась, круто обернулась, посмотрела на свекра расширенными, испуганными глазами и сказала негромко:

— Это он!... Это Лозневой!...

— Лозневой? Да неужто он?

— Ох, подлец! Ох, какой подлец!

Внезапно осененный какой-то мыслью, Ерофей Кузьмич поднялся и воскликнул:

— Если он, то его песня спета! Так и знай! Он сегодня же ночью будет в ваших руках! погоди, я вас научу, что делать... Что ты дрожишь вся? Не дрожи! Садись и слушай мое слово...

IV

С первого дня службы на посту волостного коменданта полиции Лозневой энергично занялся подготовкой к разгрому партизан. От этого теперь зависела его судьба. Но, чтобы серьезно думать о разгроме партизан, надо было отыскать их лесные убежища. Эти поиски, к огорчению Лозневого, продвигались очень медленно.

В комендатуру между тем ежедневно поступали донесения о партизанских налетах в разных концах волости. Партизаны не давали житья старостам и полицаям в деревнях, очень часто обстреливали из засад машины на большаке, сожгли на станции Журавлиха армейский продовольственный склад и спустили с рельсов воинский поезд, направлявшийся в Ржев...

Военный комендант Гобельман метал громы и молнии. Карательный отряд немецкой комендатуры носился по волости

безрезультатно: партизаны были неуловимы. Вместо них немцы-каратели хватали и везли в Болотное, в концлагерь, ни в чем не повинных мирных жителей. Гобельман понимал, что толку от этого мало. Надо было узнать, где скрываются партизаны, обложить их стан и покончить с ними за один раз и навсегда. Поэтому Гобельман ежедневно требовал от Лозневого ускорить розыски партизанского убежища. Лозневой клялся, что еще несколько дней, и он выполнит трудное задание...

Но однажды Лозневой внезапно пришел к мысли, что, если даже уничтожить поголовно всех партизан, какие действуют сейчас в волости, с партизанским движением все же не будет покончено. Лозневой видел: идея партизанской борьбы с немецкими оккупантами, вопреки его ожиданиям и предсказаниям, пустила глубокие корни в народе. Отовсюду поступали сведения, что мирные жители всячески поддерживают народных мстителей, что из деревень все время бегут в леса те, кто может носить оружие... Лозневой понял, что теперь уже мало истребить партизан, надо убить самую идею партизанской борьбы. Но сделать это — нелегкая задача. Для этого надо добиться, чтобы народ резко изменил свое отношение к партизанам, отшатнулся от них...

У Лозневого созрел план провокации.

Этой провокацией, горячо одобренной Гобельманом, Лозневой занялся лично и в строжайшей тайне от всей комендатуры. В соучастники Лозневой подобрал трех полицаев, на которых можно было вполне положиться. Темными ночами Лозневой и его помощники стали появляться в деревнях вокруг Болотного под видом партизан. После двух таких ночей по деревням заговорили о том, что партизаны оголодали в лесах, забыли о своих высоких целях, потеряли веру в победу над врагом и начинают не хуже гитлеровцев заниматься грабежами...

...Вчера вечером в Болотное вернулся Усачев, побывавший в лесной партизанской избушке. Он сообщил об аресте Шошина и о том, что пробраться в партизанский лагерь пока невозможно. Приходилось оставить мысль об облаве, и Лозневой решил в ожидании донесений Шошина более энергично заняться своей провокацией.

...В этот вечер Лозневой вновь, в четвертый раз, молча собирался в путь. Анна Чернявкина, подавая ему варежки, спросила недовольным голосом:

— Опять едешь?

— А в чем дело?

— Интересно знать, — заговорила Анна, встряхнув кудряшками, — куда это стал носить тебя дьявол по ночам? Что косишь глаза? Нельзя сказать?

— Это — секретное дело, Анна...

— Может, другую где-нибудь завел?

— Слушай, Анна, — заговорил Лозневой, начиная сердиться, — прекрати эти разговоры! Надоело! Ложись и спи, я вернусь на рассвете...

В комендатуре Лозневого уже поджидал полицай Трифон Сысоев, переведенный недавно из Семенкина в Болотное. Он сидел в кабинете коменданта полиции как свой человек, пил самогон и трудился над жаровней с бараниной.

— Как дела? — спросил его Лозневой.

Сысоев обтер жирные пальцы о кудлатые рыжие волосы и, подмигивая, ответил:

— Дела на мази!

— Ярыгин и Чикин готовы?

— А как же? Ждут свистка...

— Лошадей хорошо накормили?

— Хорошо. Садись, выпей на дорогу...

Лозневой охотно выпил стакан самогона-первача. Закусывая, спросил:

— Никто не звонил?

— Звонили из деревни Сохнино.

— Еремин? Что он сказал?

— Сказал, что тебя надо...

Лозневой вызвал Сохнино. Полицай Еремин оказался у телефона. Он доложил, что в полдень побывал в соседней деревне Ивановково и узнал, что прошлой ночью там появились партизаны. Они ограбили два дома: забрали у крестьян все зерно, муку, несколько овец, валенки и шубы...

— Эти бандиты, — ответил Лозневой, — теперь повсюду начали заниматься грабежами. За прошлую ночь они, оказывается, побывали в трех деревнях. У вас в деревне об этом всем известно?

— Да, об этом все знают, — ответил Еремин.

— Ну, а что говорит народ по этому поводу?

— Народ говорит разное...

— А все же?

— Сами знаете, господин комендант, какой у нас народ... — Еремин замялся, вздохнул с досадой. — Многие, сказать откровенно, даже не верят этим слухам. Не может, говорят, быть, чтобы партизаны занялись грабежом. Видите, какой народ?

— Слушай, Еремин, обожди одну минуту... — Лозневой прикрыл ладонью микрофон и обернулся к Сысоеву. — Далеко до Сохнино, а? Съездим? — Сысоев согласно кивнул, и Лозневой открыл микрофон. — Еремин, ты слушаешь? Значит, не верят, что партизаны занимаются грабежом? Ничего, сегодня не верят, так завтра поверят!

...В комнате вокруг полицая Еремина сидели Ерофей Кузьмич, Хахай, Крылатов, Марийка и еще несколько партизан. Все они напряженно прислушивались к дребезжанию мембраны. С особенным волнением следила за разговором Еремина с Лозневым Марийка. Она несколько раз даже подставляла ухо к трубке. Она была уверена, что партизанам удастся заманить Лозневого в Сохнино, и едва сдерживала лихорадочную дрожь от предчувствия близкой расплаты...

Положив трубку на рычаг, Еремин обтер рукавом пиджака взмлевшее щекастое лицо и точно передал то, что говорил ему волостной комендант полиции.

— Есть! — крикнула Марийка. — Едут!

V

Снег косо бил в землю. Лошади с трудом волокли сани по слабо накатанной дороге. По расчетам Лозневого, давно пора бы появиться деревне Сохнино, но впереди никаких признаков близкого жилья...

С напряжением вглядываясь в белесую темь над холмистым полем, Лозневой спросил:

— Может, заблудились, а?

— Нет, здесь дорога одна, — ответил Сысоев. — Вон они, телеграфные столбы-то...

— Где столбы?

— А вон, гляди правее!...

— Да, скверная ночь! — проворчал Лозневой, прячась от снега за спину Сысоева. — Гляди-ка, валит все гуще и гуще...

Метели не будет?

— Дьявол ее знает!

— Может, вернемся?

— Нет, надо доехать, раз поехали...

— Может, в другую деревню завернем?

— А куда? Теперь скоро Сохнино.

— Да, сегодня зря поехали...

— Не вздыхай, скоро доедем!

Впереди показались силуэты высоких деревьев и строений.

— Вот и Сохнино. Видишь?

Лозневой вскочил на колени.

— Далеко не поедем?

— Нет, надо опять с краю.

— Да, надо с краю — больше веры...

Деревня спала в сугробах. Въехав в улицу, полицейские остановились у нового дома с хорошими дворовыми постройками и молодыми липами в палисаднике, — по всему чувствовалось, что до войны в этом доме жили зажиточно. Полицейские в запорошенных снегом полушубках, с винтовками столпились у передних саней.

Невдалеке звонким голосом, явно радуясь редкому случаю показать свою бдительность, залаяла молодая дворняжка.

— Ну, медлить нечего, быстро за дело! — скомандовал Лозневой. — Я с Сысоевым в дом, а вы в хлеб...

Хозяева долго не отзывались, стучать пришлось и в окно, выходящее на двор, и в дверь. Наконец в сенях послышались шаги.

— Хозяева, откройте! — негромко произнес Лозневой.

Кто-то осторожно подошел к двери.

— А кто здесь? — спросил женский голос.

— Свои, из леса...

— А-а-а!... — раздумчиво протянула женщина. — Сейчас!

Хозяйка, открывшая дверь, оказалась пожилой, высокой, крупной женщиной; у нее, вероятно, только в последнее время опали, одрябли прежде полные щеки и под печальными серыми глазами легла синева. Кроме нее, в доме оказалась еще женщина, лет тридцати, полногрудая, пышущая здоровьем и молодостью. Ее дети, оба мальчонки, хныкали на печи, опасливо поглядывая на незнакомых людей. Стоя на лавке у печи, мать полными розовыми руками укладывала ребят, прикрывала их одеялом и уговаривала не плакать:

- Ну, будет, будет, никто вас не тронет...
- Это, детки, свои люди, — сказала бабушка.
- Какие свои? — донеслось из-под одеяла.
- Это партизаны, Петюша...

Белобрысый Петя проворно вскочил на колени и вытаращил на незнакомых посетителей смышленные синие глаза.

- Партизаны? Из лесу? Взаправду?
- Точно, из леса, — подтвердил Сысоев.

Петя сразу же ткнул кулаком брата, всхлипывающего под одеялом, и прикрикнул на него:

- Сенька, перестань! Свои люди, партизаны!

Отряхнув с шапок и полушубков снег у порога, Лозневой и Сысоев, не дожидаясь приглашения, прошли в передний угол, где стоял обеденный стол, сели по обе стороны его на лавки и поставили около себя винтовки. Лозневой спросил:

- Больше никого у вас дома нет?
- А кому быть? — ответила хозяйка. — Все здесь...
- А где мужики?
- Хозяин помер, сын на войне...

Старая хозяйка, накинув на плечи темную шаль ручной вязки, тоже встала у печи, поближе к снохе и разговаривающим шепотком внукам, точно готовясь защищать свою семью. Она, конечно, верила, что в дом пришли партизаны, но не могла скрыть волнения и тревоги, — ее длинные сухие пальцы все время теребили шаль на груди. Глуховатым, печальным голосом она спросила:

- Вы ведь на двух санях подъехали?
- Да, на двух, — ответил Лозневой, поняв, что хозяйка, прежде чем открыть дверь, оглядела улицу в окно.
- А что же остальные не заходят?
- Всем нельзя.
- А-а, понятно... Может, самовар поставить?
- Нет, хозяйка, нам не до чаю... — суховато заговорил

Лозневой, приступая к делу, и невольно подумал, что каждый раз ему приходится начинать разговор именно с отказа от угощений. — У нас срочный приказ. Мы должны выполнить его и немедленно вернуться в отряд. У нас в отряде, хозяйка, плохие дела...

Со двора вдруг донесся визг свиньи.

Хозяйка встрепенулась, бросилась к окну и откинула край полога маскировки.

— Что там такое? Это ваши?

— Да, наши, — спокойно ответил Лозневой.

— А что они делают?

— Они, кажется, нашли у вас свинью...

— Свинью? — вскрикнула хозяйка. — Зачем свинью?

Молодая хозяйка сказала испуганно:

— Мама, это те...

— Значит, это вы ездите по деревням и грабите народ? — заговорила старая хозяйка вдруг сурово, встав перед Лозневым. — Вот вы до чего дошли, товарищи партизаны? Вы должны защищать нас от грабителей, а вы сами начинаете грабить?

— А что же, по-вашему, нам подыхать с голоду? — зло ответил Лозневой. — Обожди, старая, не кричи, это не поможет! Вы еще вон как живете! Даже свинья есть. Вы сыты и поэтому голодных не разумеете. Партизаны, по-вашему, могут бродить по лесам, как голодное зверье?

— Надо добром просить, а не грабить!

— Выпросишь у вас! Знаем мы!... — Лозневой поднялся с лавки. — Что у вас еще есть?

— Ничего у нас больше нет, — мрачно ответила хозяйка.

— А в подполье? А ну, Трифон, действуй!

Сысоев бросился открывать люк в подполье; теперь колхозники чаще всего именно здесь, поближе к себе, держали свои съестные запасы. Хозяйка хотела оттолкнуть Сысоева от люка, но, встретив его злобный взгляд, отшатнулась и громко заплакала. С печи немедленно отозвались ее внучата.

— А-а, значит, есть кое-что? — сказал Сысоев, опускаясь в подполье.

— Что там есть! Что там есть! — закричала хозяйка, опять порываясь к люку. — Что там осталось? Или души у вас нет? Видите, малые дети!... Какие же вы после этого партизаны?

Лозневой толкнул старуху в плечо:

— А ну, отойди!

— Мама, отойди! — испуганно крикнула сноха.

Старуха отошла к печи и, закрывая лицо руками, со стоном выговорила:

— Пропадите вы, бандиты, пропадом!

— Замолчи, старая ведьма!

Из подпола долетел голос Сысоева:

— Есть, нашел!
— Что нашел? Не медли!
— Вот она, мука! Держи!

Лозневой принял и вытащил из люка неполный мешок с мукой. Хозяйки и ребяташки заревели в один голос...

Вдруг на улице раздались крики, выстрелы.

У Лозневого кольнуло в сердце. Он бросился к окну, откинул полог, увидел, что вокруг саней мечутся люди, и рванулся к дверям.

— Сысоев, за мной!

На крыльце кто-то сильным ударом в ухо сшиб его с ног; он вскрикнул от боли, выронил винтовку и слетел в снег... Кто-то навалился на него, стал душить, ошалело крича:

— Сюда! Вот он, гад!

Лозневой узнал голос Сергея Хахая и, вырываясь, захрипел:

— Стой, не души, это я!

— Тебя-то, гадина, и надо!

Подбежала Марийка и, осветив лицо Лозневого фонариком, крикнула в сторону:

— Давайте сюда!

У Лозневого мгновенно потемнело в глазах...

VI

Ярко, необычно для ноября, светило солнце. В лесу было тихо и светло. Изредка деревья отряхивали со своих ветвей лишний снег. Стаи тетеревов-косачей летели кормиться на опушки и поляны, где всегда больше березняка.

Лозневой сидел на пне и глотал снег...

Позади, на большой, сломанной ветром сухостойной сосне, видели партизаны. Они курили и негромко разговаривали:

— А куда этого? Зачем ведем?

— Командиры знают, что делать надо...

— Ну, а потом, конечно, тоже под пулю?

— Нет, расстреливать не будем...

— Значит, повесим?

— Нет, и вешать не будем...

— Куда же его, в засол?

— Живьем в землю, вот и все!

— Нет, братец, это негоже!

— А почему? Чем плохо?

— Не примет его земля живым!

С той самой минуты, когда партизаны схватили Лозневого, он все время находился в состоянии полной опустошенности, безразличия ко всему, что происходило с ним и вокруг него всю ночь и все утро... Ссутулясь, он недвижимо сидел на полу в темном углу кухни, смотрел на толпившихся вокруг партизан и точно не видел их, слушал и не слышал, о чем шумно рассказывала им старая хозяйка. Рано утром в центре деревни собрался народ. Илья Крылатов рассказал колхозникам, с какой подлой целью Лозневой занимался грабежом, и просил, чтобы обо всем, что произошло в Сохнине, немедленно стало известно в соседних деревнях. Потом Ерофей Кузьмич и Марийка рассказали, как он стал предателем... Но Лозневой все это время стоял спокойно, смотрел на всех отсутствующим взглядом и слушал партизан с таким видом, будто они говорили не о нем, а о каком-то неизвестном ему человеке... Лозневой равнодушно наблюдал и за расстрелом Сысоева и Ярыгина (Чикин был убит ночью при схватке). Ничто не изменилось в лице Лозневого и в ту минуту, когда объявили, что его оставляют пока в живых для обстоятельного допроса в отряде. И теперь вот, сидя на пне у тропы, ведущей к лесной партизанской избушке, Лозневой с полным безразличием слушал разговор партизан о своей близкой смерти.

Все утро Лозневому даже и не думалось о себе, точно он уже не ощущал себя реально существующим в мире. Он вообще находился в состоянии того странного бездумья, от которого любой живой человек с содроганием чувствует себя находящимся в пустоте. Если же ему и думалось, то о пустяках и мелочах, никогда прежде не заслуживавших его внимания, да и то как-то неопределенно, смутно... «Станный этот снег, — думал он сейчас, слушая разговор партизан. — Ведь сейчас зима, очень холодно, а он так быстро тает в руке... И уже не снег, а вода... А отряхнешь руку — и нет ничего... Странно!»

Подошли на лыжах приотставшие в пути Крылатов и Марийка. Вероятно, они только что говорили о чем-то интересном для них: их молодые лица озаряло веселое возбуждение.

— Почему сидите? — живо спросил Крылатов.

Партизаны ответили не спеша:

— Не идет, сволочь!

— Едва ноги переставляет.

Лозневой обернулся на голоса и встретился взглядом с Марийкой. И здесь Лозневой вдруг вспомнил, как осенью, избитый гитлеровцами, он появился с колонной пленных в Ольховке, как сидел в пыли у колодца, ожидая смерти, а Марийка с горячей и бесстрашной решимостью просила начальника конвойной команды:

— Оставь его! Отпусти!

Теперь она молчала. Лозневой ждал, что она, не вытерпев, все же заговорит с ним и скажет, может быть, слова гнева и презрения. «Пусть говорит, — подумал он, — я все выслушаю». Но Марийка, посмотрев на него с таким выражением, точно в пустое пространство, медленно отвела взгляд... И оттого, что Марийка не нашла для него в эту минуту даже гневного слова, Лозневой неожиданно почувствовал большую, ноющую боль в душе. Он внезапно вернулся к действительности; впервые услышал, как надо было слышать раньше, давно произнесенные партизанами слова о его смерти, и ему стало вдруг так страшно, что он вскрикнул и свалился в снег...

— Не задерживайтесь, — приказал Крылатов.

Пройдя около сотни метров вслед за размашисто шагавшей на лыжах Марийкой, Крылатов окликнул ее, догнал и осторожно спросил:

— И он еще ухаживал, а?

Марийка вспыхнула, взглянула на Крылатова оскорбленно и быстро пошла дальше... «Да разве она могла полюбить такого? — подумал Крылатов, любуясь легкостью и красотой ее движений на лыжах, всей ее устремленной вперед фигурой. — Ничтожество! Мразь! И еще осмелился, поганец, думать, что он чета этой красавице?» Марийка скрылась в мелком ельнике. «Нет, у меня другое дело, — не совсем уверенно подумал Крылатов, не торопясь догонять Марийку. — Впрочем, чем же лучше-то? Пока ничего хорошего не видно!» Не однажды Илья Крылатов пытался заговаривать с Марийкой о своей любви. Но Марийка очень холодно, а то и враждебно встречала его самые осторожные намеки. Сегодня близость Марийки, ее приподнятое душевное состояние, вызванное первой боевой удачей, больше обычного взволновали Илью Крылатова. И он почел бы за неизмеримое счастье, если бы Марийка позволила ему сказать только одно слово из тех тысяч слов, какие припас он для нее за дни своей неожиданной любви. Но каждый раз, встретясь со взглядом Марийки, он мгновенно лишался дара речи...

«Неправда, полюбит!» — упрямо сказал себе Крылатов и даже ударил кулаком по стволу сосны. Но пошел он по следу Марийки все же с поникшей головой...

Партизаны кое-как подняли Лозневого на ноги. Мертвенно-бледный, он сделал несколько шагов вперед, остановился, взглянул на хрустально сверкающий лес, на ясное зимнее небо и грохнулся грудью в куст багульника, сильно исцарапав лицо.

Когда его подняли, он увидел на своих руках кровь и потерял сознание...

До избушки партизаны вели его под руки.

Как следует Лозневой пришел в себя только в бане, куда втащили его волоком. Увидев Шошина, он порывисто поднялся с холодного, щелястого пола, и внезапная трезвая мысль мгновенно вернула ему потерянные силы.

— Это ты? — спросил он, сдерживая шумное, воспаленное дыхание.

— Тихо! Тихо! — откидываясь в угол, прошептал Шошин стонуще, сквозь стиснутые зубы; он был потрясен внезапным появлением в бане волостного коменданта полиции.

— Спасай! — сдерживая голос, потребовал Лозневой. — Выручи!

— Как я могу? Ты что?...

— Спасай как хочешь!

— Да как спасти? Как?

— Думай! Спасай!

В приливе яростной решимости бороться со своей судьбой он скреб ногтями доски. Он хотел жить, жить и жить... Глаза его горели жаждой жизни и свободы.

— погоди! — прошептал Шошин. — Потерпи!

Афанасия Шошина трясло как в лихорадке. Он подошел к двери и начал бить в нее кулаками. Часовой услышал не сразу: он бродил около бани, на солнышке. Не открывая двери, он недовольным голосом крикнул с порога предбанника:

— Кто там ломится? В чем дело?

— Вызови Пятышева! — крикнул Шошин.

— А-а, это ты... А зачем он тебе?

— Не хочу я сидеть с этой сволочью!

Часовой вышел из предбанника и несколько раз свистнул, заложив в рот пальцы.

— Есть, хорошо придумано! — задыхаясь от радостной надежды, прошептал Лозневой. — Настаивай! Требуй! А как выпустят, выручай. Придумаешь что-нибудь, а?

— Там-то я придумаю...

— Зажги дом! Устрой панику!

— Молчи, там мое дело...

Пришел Пятышев. Кряхтя, он пролез в низкую дверь, выпрямился и прежде всего посмотрел на Лозневого. Тот сидел на полу, на сене, вытянув ноги в черных валенках, прилягиваясь боком к лавке у каменки; его исцарапанное лицо было потно, крылья висячего птичьего носа раздувались от порывистого дыхания, расширенные глаза ярко блестели...

— Что он тут? — спросил Пятышев, переводя взгляд на Шошина.

— Известно, гадина! — крикливо, запальчиво ответил Шошин. — Чует, что подошел конец, вот и взбесился, как зверюга! Видишь, как блестят глазищи? Он же, сволочь, хотел меня силком в полицаи назначить, да не вышло! А вот увидел в отряде и давай брызгать слюной! Известно, гадина!

— Это ты гадина! — взвизгнул Лозневой.

— Замолчь! — крикнул на него Пятышев.

— Он все время, гад, вот так! — У Шошина нервно дергалось землистое, не по годам старое лицо. — Он все время гавкает тут. Мне, говорит, конец, да и вам всем крышка! И разное подобное. Теперь вот скажи: могу я после этого сидеть с ним, а? Не могу! Нет моего терпения! Ни одной минуты не могу я сидеть рядом с этой сволочью!

— Обожди, не кричи! — остановил его Пятышев. — Ты же знаешь, что посадил тебя командир отряда. Как я могу отменить его приказ?

— А как мне сидеть здесь? Где такой закон: партизану сидеть под арестом вместе с предателем? Нет такого закона! Освободится место, тогда и отсижу. Куда я денусь?

— Нет, Шошин, не кричи, это бесполезно!

— Тогда посадите меня в другое место!

— А куда? К себе в карман?

— Значит, мне терпеть, да?

— Ну и терпи, не сдохнешь за ночь!

Пятышев повернулся и вылез из бани.

— У-у, ид-диот! — яростно прошептал Лозневой.

Шошин присел на лавку у каменки. У него вздрагивали почти черные губы.

— За что?

— Не сумел! Не добился!

— Я сделал все, что мог...

— Врешь, не все! Думай!

— Да что я могу сделать?

— Думай! Не выручишь, тебя выдам!

— Меня? — вздрогнув, переспросил Шошин.

— Погибать, так вместе!

Шошин с ужасом понял, что ему тоже пришел конец, и пришел так нежданно-негаданно. «Да, выдаст! Выдаст! — решил он, леденея от ужаса. Теперь ему все равно...» Опасливо озираясь на дверь, он попросил почти беззвучно и слезно:

— Не губи! Какая тебе выгода!

— Спасай! Спасай, а то выдам!

Застонав от горя, Шошин свалился на каменку и в ту же секунду неожиданно для себя принял единственно возможное теперь решение. Нашупав под своей грудью камень-голыш, он вдруг круто обернулся и, не успев Лозневой отшатнуться, с диким воплем ударил его по голове, вложив всю силу в этот удар, суливший спасение от верной гибели.

VII

Неожиданно для многих Степан Бояркин, появившись на следующее утро в избушке лесника, проявил очень большой интерес к обстоятельствам убийства Лозневого. Командир отряда даже не скрывал своего гнева в отношении тех, кто не принял необходимых мер для его охраны. Больше всего он кричал, конечно, на Пятышева и в заключение сместил его с должности командира сторожевого поста. Все поняли: волостной комендант полиции нужен был Степану Бояркину, вероятно, в связи с боевыми планами на ближайшее время.

С Афанасием Шошиным беседа длилась долго.

Посадив три дня назад Шошина под арест за браконьерство, Степан Бояркин послал надежного человека в Заболотье с задачей разузнать о бывшем леснике все, что можно. Оказалось, что Шошин, присланный в Заболотье из лесничества, несколько последних лет

одиноким жил в лесу, колхозники встречались с ним редко и ничего плохого сказать о нем не могли. Колхозникам известно было, что Шошин отказался служить в полиции и, боясь преследования, решил уйти к партизанам... Все это полностью подтверждало рассказ Шошина о себе. Кстати, таких случаев, когда наши люди, отказавшись служить в полиции и боясь расправы, бежали в леса, было немало. Таким людям никто не отказывал в доверии. Какие же были особые основания не доверять Шошину?

Степану Бояркину показалось странным, что бывший лесник легко забыл и нарушил широко известный государственный закон, охраняющий лосей. Но и это не давало еще права заключить, что Шошин — чужой человек... Он осознал свою вину и просил простить его, — ведь он убил лосиху только потому, что всей душой болеет за партизан... Почему же не могло быть именно так?

Шошин утверждал, что Лозневого он убил в большой горячке. Ведь он требовал, чтобы его не оставляли наедине с предателем и врагом народа. Это всем известно. Когда Пятышев отказал ему в просьбе и оставил в бане, Лозневой стал говорить разные подлые слова о партизанах, о том, что все равно их уничтожат немцы, и даже плюнул ему в лицо. Тогда он не выдержал: у него очень плохие нервы. Он даже не помнит, как в горячке схватил камень и ударил предателя... В самом деле, какой партизан мог спокойно снести плевков предателя в лицо?

Народ справедливо говорит: на бедного Макара все шишки валятся. Все эти события могли действительно одно за другим свалиться на Шошина.

И все же происшествия с Шошиным очень насторожили и озадачили Степана Бояркина. Что было делать с ним? Еще раз наказать? Но как? И что скажут партизаны, если Шошин пострадает за предателя, которого все равно не сегодня, так завтра надо было расстрелять? Не так-то легко давалось решение. Бояркин решил посоветоваться по этому вопросу с Ворониным, а пока не спускать глаз с Шошина...

Злясь на Шошина, не зная, как наказать его, Бояркин охотно принял совет заставить его одного выдолбить в окаменелой от стужи земле могилу и зарыть Лозневого. Это было все же каким-то наказанием: и землю долбить тяжело, и возиться с мертвецом неприятно... Но Афанасий Шошин с радостью пошел рыть могилу, хотя и знал, что придется поработать до седьмого пота. Он правильно

рассудил: побыстрее похоронить Лозневого — и концы в воду. Все очень скоро забудут о предателе.

...Когда могила была вырыта, к Шошину подошел Костя и, постояв минутку, неожиданно предложил:

— Помочь?

— Помоги, если хочешь...

Они приволокли застывший окровавленный труп Лозневого и сбросили в могилу, — он лег носом в землю, взяв в руки лопату. Костя остановился у края могилы, подержал взгляд на Лозневом, — видно, только затем и пришел, чтобы посмотреть, как он будет валяться в безвестной могиле... Потом сказал задумчиво:

— У любой собаки — собачья смерть.

— Да, это так, — невнятно пробормотал в ответ Шошин, думая, что промолчать нельзя было.

— Жаль, не мне довелось его хлопнуть!

— Тоже бы не стерпел? Вот я и говорю...

— Ну, начали!

Ночью свежим снегом замела могилу вьюга, и с той поры навсегда пропал след предателя на земле...

VIII

...Дивизия Бородина бесстрашно встретила врага на скирмановских рубежах. Немецко-фашистские войска атаковали ее яростно и злобно. Но они не могли опрокинуть ее и перерезать Волоколамское шоссе. Дивизия Бородина точно вросла в землю, и любой огонь был бессилён выжечь ее с занимаемых позиций.

Утром 18 ноября стало известно, что Советское правительство присвоило дивизии Бородина, в числе других, звание гвардейской. После этого дивизия Бородина еще два дня стойко, беззаветно отражала удары врага на скирмановских рубежах. Только в ночь на 20 ноября, по приказу Рокоссовского, она оставила свои позиции.

Через день дивизия находилась уже близ Истры.

Здесь, на новом рубеже, дивизии Бородина было вручено алое, расшитое золотом, отороченное пышной бахромой гвардейское знамя.

Бой за Истру, в котором участвовало несколько различных соединений и частей, продолжался пять суток. В дивизии Бородина,

как и в других, ежедневно происходила убыль людей и оружия, но это не снижало ее стойкости в бою: среди гвардейцев существовал неписанный закон — сражаться не только за себя, но и за выбывших из строя товарищей. Все потеряли счет времени. Все позабыли об отдыхе. Иные так уставали за день боя, что под вечер едва открывали затворы винтовок.

Но 27 ноября враг все же ворвался в Истру.

И снова дивизии Бородина пришлось отступать...

Стояла метельная и морозная погода. Трудно было всем: и командирам и солдатам. С утра до вечера — бой. Целый день в снегу, на морозе, зачастую без горячей пищи, на одних сухарях или мерзлом хлебе. Хуже того: не всегда хватало боеприпасов; были случаи, когда на строгом счету держали даже винтовочные патроны. А наступала ночь — вновь отходить, вытаскивая из сугробов машины, орудия и повозки, вновь готовиться к отражению атак врага...

Безмерны были трудности отступления и страдания наших доблестных воинов, оборонявших подступы к Москве. Мысль, что столица с каждым днем становилась все ближе, была для всех фронтовиков несносной. Особенно тяжело было тем, кто отступал не глухими проселками, а по Волоколамскому шоссе: им приходилось часто видеть путевые, с черными двузначными цифрами, столбы...

IX

В ночь на 30 ноября, через две недели после начала наступления немецко-фашистских войск, дивизия Бородина, отступавшая от Истры по Волоколамскому шоссе, оставила рубежи в районе крупного заводского поселка с поэтическим названием — Снегири.

Последним отступал батальон Шаракшанэ.

Он покинул Снегири на рассвете.

От поселка Снегири резко изменился пейзаж Подмосковья. Там и сям виднелись заводские трубы, большие каменные здания, водонапорные башни, мачты высоковольтных электропередач, легкие, железнодорожные платформы, всевозможные дорожные знаки на шоссе, красивые дачи по лесам... По всему чувствовалась близость большого города. Начинались ближние подступы к Москве.

Солдаты шли, разговаривая угрюмо и печально:

— Далеко ли теперь до Москвы?

- Кому как: нам близко, немцам — далеко.
- Тоже, разъясняет! Я тебя как человека спрашиваю.
- Остается чуть больше сорока...
- Да, близко, близко! По местам видно.
- Теперь скоро Нахабино, а там Павшино и Тушино...
- И когда только повернем обратно, а?
- Народу бы подбросили свежего...
- А ты разве тухлый?
- Народу и так много! Не в этом дело!

На восходе солнца батальон остановился в деревеньке Садки, от которой до Москвы осталось ровно сорок километров. Солдаты быстро разожгли в пустых домах огни.

Садки — небольшая деревенька. Она стоит на высоком лесистом взгорье, по обе стороны Волоколамского шоссе. Если смотреть на запад, то по правую сторону шоссе — десяток крестьянских изб под липами и ветлами, небольшой искусственный пруд и густое мелколесье, в котором виднеются зеленые крыши каких-то строений; по левую сторону — огромный старый парк с двухэтажным каменным домом в центре, заброшенная церковь с высокой колокольней, маленькие домики около нее, низина и железная дорога у подножья соседнего лесистого взгорья...

Здесь прекрасное место для обороны.

У западной околицы — большая канава: она могла служить траншеей для боевого охранения. Вправо от шоссе, на огородах, и влево, на окраине парка, — прекрасные позиции для пушек прямой наводки. Наблюдение удобно вести с любой точки взгорья. До деревни Ленино, в которой скоро должен был появиться противник, прямо по шоссе — больше километра чистой ровной низины о извилистым руслом высохшего ручья посередине: совершенно немыслимо преодолеть эту низину под огнем ни танкам, ни пехоте...

...На западном склоне взгорья, на шоссе, у столба с крупной надписью «Садки», собралась большая группа солдат. Смотря на запад, они разговаривали шумно и взволнованно. Только что опустевшую деревню Ленино ярко освещало утреннее солнце. В поселке Снегири, правее высоких заводских труб, что-то горело: там поднимался ядовито-желтый дым. В северной стороне от шоссе гремела артиллерия. Невдалеке, на кустах орешника, сидели стайки снегирей. Красавцы северяне, прилетевшие погостить в Подмосковье, сидели молчаливо, неподвижно и, казалось, смотрели вокруг с

непомерной людской грустью.

К группе солдат у дорожного столба направился гвардии лейтенант Юргин, с неделю назад, после тяжелого ранения Кудрявцева, назначенный командиром роты. Он еще издали услышал голос Андрея Лопухова, — с каждым днем тот говорил все более шумно и ворчливо, чем очень сильно стал походить на отца.

— Оборона тут, само собой, хороша! Тут и говорить нечего! — шумел он, хотя и не было на это особой причины. — Ты о наступлении думай! Отсюда вот, понятно, не пойдешь на Ленино! Тут покосят из пулеметов! А вот гляди сюда!... Разве вот по этому лесу нельзя зайти к Ленино с левого фланга? Из леса — к железной дороге... По железной дороге рубеж для атаки. Видишь? И прямо в деревню! А правый фланг должен бить не на Ленино, а выйти по той вон опушке леса западнее деревни и отрезать дорогу на Снегири! Тут им и будет баня! И с паром и с угаром!

Кто-то в толпе негромко сообщил:

— Ребята, гвардии лейтенант...

Несколько секунд солдаты молча, угрюмо, но с надеждой смотрели на командира. Не выдержав, Андрей Лопухов выступил вперед, мрачно опустил глаза. И сам не заметил, как в большом внутреннем напряжении, с болью в горле, повторил вопрос, какой задавал Матвею Юргину еще перед Ольховкой, у одинокой молодой березы:

— До каких же пор? До каких мест?

Все вздохнули тяжело и горестно.

— Вот до этих мест, — ответил Юргин, разводя руки в стороны.

Андрей быстро поднял на него глаза.

— Больше ни шагу назад! — резко сказал Юргин и солдатам и себе. — Мы должны сейчас же закрепиться в этой деревне и остановить врага! Умереть, но остановить!

Х

Полк Озерова занял новый рубеж обороны: батальон Шаракшанэ — по западной окраине деревни Садки; батальон Журавского — правее шоссе, по лесу, где были здания детского дома и пионерского лагеря, оседлав дорогу в Нефедьево; батальон Головки — левее шоссе, от железной дороги на юг, включая деревню

Рождественно. Штаб полка гвардии майора Озерова остановился в полутора километрах от переднего края — в деревне Талица, на Волоколамском шоссе. По всему рубежу встали также артиллерийские и танковые части. Роте гвардии лейтенанта Юргина достался участок от шоссе влево, по канаве вдоль огородов и парка; для жилья — дом близ церкви, сторожка и бывшее овощехранилище, все у самой передней линии. Бойцы роты с жаром принялись укреплять рубеж обороны; одни очищали канаву от снега, делая траншею, и поливали ее бруствер водой, другие устраивали дзот в подвале дома и готовили открытые площадки для пулеметов, третьи оборудовали жилье...

По всему рубежу — и вправо и влево — тоже горячо кипела работа. Противник еще не появлялся в Ленино, и все торопились до его подхода укрепить позиции: танкисты ставили свои машины в засады, артиллеристы оборудовали наблюдательные пункты и выдвигали пушки к передней линии для стрельбы прямой наводкой, минометчики занимали удобные места в низине за деревней, ездové подвозили на санях боеприпасы, связисты тянули провода...

Солнце поднялось уже высоко и светило, как могло только светить в последний день ноября, но стужа крепла. Низовой сиверко прожигал насквозь, хотя был так легок, что не трогал на деревьях инея. Не видно было ни одной местной птицы. Лишь снегири, нахохлясь, сидели на заснеженных кустах, изредка пиликаая задумчиво и грустно... Андрей Лопухов руководил оборудованием овощехранилища под жилье, устройством в нем очага и заготовкой дров: солдаты нуждались в тепле больше, чем в хлебе. Когда очаг был готов, Андрей отправил солдат добывать доски и солому, а сам разжег огонь и, пользуясь свободной минутой, вытащил из кармана газету «Правда».

Три дня назад, 27 ноября, когда наши войска оставили Истру, в «Правде» появилась передовая статья «Под Москвой должен начаться разгром врага!». Этот номер газеты дошел до частей передовой линии только сегодня утром (в те дни часто запаздывали газеты), и тут же новый командир взвода, старший сержант Дубровка, поручил Андрею прочитать статью солдатам во время обеда. Чтобы не осрамиться с читкой важной статьи, надо было самому прочитать ее заранее и продумать в ней каждое слово. Впрочем, даже и без поручения Дубровки Андрею не терпелось прочитать эту статью: хотелось как можно скорее узнать, что говорит Москва о

предстоящем разгроме врага.

Андрей читал не отрываясь: каждое слово в статье было значительным, волнующим и обнадеживающим. Газета шуршала в его подрагивающих руках. Взволнованный статьей, Андрей даже не заметил, как начал дочитывать ее вслух.

— «...Здесь, под Москвой, — читал он сильным голосом, как привык читать солдатам, — надо положить начало разгрома немецких оккупантов. Пусть здесь, под Москвой, начнется кровавая расплата разбойничьего гитлеровского фашизма за все его преступления!»

От двери раздался знакомый хрипловатый голос:

— Гвардии сержант Лопухов здесь?

— О, Иван Андреич, шагай сюда!

Андрей и Умрихин долго трясли друг другу руки, радуясь встрече. Не видались они почти две недели: еще в Козлове Умрихин был ранен и находился в санбате, а две недели на войне — большой срок... Потом сели у огня рядом и, как водится при хорошей встрече, свернули сигарки.

— Выходит, ты один тут? — спросил Умрихин.

— Один. Сейчас ребята принесут солому...

— А что ж ты читал так громко?

— Эту статью, Иван Андреич, только во весь голос и надо читать! Андрей показал газету. — Видишь, о чем написано? Если бы хватило у меня голосу, я бы прочитал ее на весь мир! Москва зря говорить не любит. Чует мое сердце: скоро повернем обратно!

— Да, вроде к этому клонится дело, — согласился Умрихин.

— Вон как шуганули их из Ростова! Черед, я думаю, за нами!

— За нами, Иван Андреевич, за нами! Ты когда из санбата?

— А только вот сегодня...

— Слыхал, какие у нас дела?

— Слыхал! — Умрихин вздохнул, часто-часто поморгал и отвернулся от огня, будто уберегая лицо от жара. — И Кочеткова как убило в Истре, и как поранило Ковальчука... А Нургалея я в санбате видел. Здорово его поранило, а по всем приметам — должен выжить... Он горячий, а сгоряча можно все сделать, даже выжить, верное слово! Да, много погибло, ой, много! Понасмотрелся я в санбате. Там, брат, больше крови повидаете, чем на передовой.

Помолчали, точно стояли у братской могилы.

— Значит, зажил палец-то? — спросил затем Андрей.

— Палец зажил! Завязываю пока временно.

— Как же теперь твои дела?

— Все дела, Андрей, из-за этого пальца пошли теперь у меня наперекосяк, — ответил Умрихин, вздохнув, и тут же хрипловато засмеялся. Хочешь, расскажу все по порядку?

— Расскажи.

— А ты подкинь дровец.

За две недели, проведенные в санбате, Умрихин пополнел, посвежел; гладко побритое лицо лоснилось, глаза смотрели весело, бойко.

— Смотришь, какое обличье в санбате нажил? — спросил Умрихин и опять захохотал. — Там, брат, можно нажать жирок! Сам знаешь, ранение у меня пустяковое, для организма, можно сказать, никакого ущерба не произошло, так мне вышло не лечение, а отдых! Палец мне обрезало осколком, как ножичком, честное слово! Так аккуратно, что и врачу не было никаких хлопот. Помазали мне чем-то обрубком, подзашили малость, завязали, и на том закончилось мое лечение. Эх, брат, и пожил я эти две недели! Весь обленился, честное слово! Лежу под одеялом, на чистых простынях и думаю: «Вот это война! Вот это довелось повоевать!» А то, знаешь ли, был у меня такой случай... Повстречал я однажды солдата. Идет из госпиталя, фотография пошире моей. Вижу, по всем приметам — артиллерист: здоров и нос держит высоко. Сели мы с ним закурить, а он меня и спрашивает: «Ну, как служба?» — «У нас в пехоте, отвечаю, служба известна со старых времен! Тяжелая служба! Все время на передовой, в земле, под огнем... Бывает, ни еды, ни воды. В пехоте и потерь завсегда много: то убьют, то ранят. Вот у вас, говорю, в артиллерии — другое дело. На передовой бываете редко, все больше позади, а какие на корпусных и армейских действуют — те и совсем далеко в тылу. Там не житье, а малина!» И тут мне этот мордастый говорит: «Ничего ты в военном деле не смыслишь, хотя человек и в годах! Я сам, говорит, чистокровный пехотинец, стрелок, и могу заявить с точностью: самое милое дело — служить в пехоте! Очень легкая, говорит, и приятная служба! Убивают редко, только разговору об этом больше, а вот ранят частенько, это верно. С этим в точности согласен. Вот меня, говорит, с начала войны ранило уже два раза. Так что же, говорит, выходит? Я побуду на передовой два-три дня, посижу в земле, получу рану — и пошел в госпиталь! У меня и вышло, что я на передовой был с неделю, а все остальное время — в

госпиталях! Светлые комнатки! Чистые простынки! И девушки за тобой ухаживают: где подушечку поправят, где одеяльце подоткнут, водицы подадут и поговорят ласково... Вот это, говорит, действительно не служба, а малина!» Говорит он это, а сам, дьявол толсторожий, хохочет во все горло! Веселый такой, шутейный парень! «А как, говорит, достается артиллеристам, хотя бы и в тяжелой артиллерии, которая стоит далеко от передовой? Убивают их мало, а ранят — того меньше. Вот по этой самой причине они и сидят все время на фронте. Хотя и не всегда на передовой, но и не на чистеньких простынках! И у них всяко бывает: и в земле так же сидят, и харчей не всегда хватает, и командиры ругают... А работы сколько? Одной земли сколько роют! И орудия приходится на себе таскать. Словом, служба известна... Теперь, говорит, сравни: кому легче?» И опять, дьявол, хохочет во все горло! Я, конечно, посмеялся над ним: озорник, говорю, ты, только и всего! А вот теперь я в точности согласен с ним! Как попал в санбат, отдохнул и твердо решил: ни за что не уйду теперь из пехоты!

— Ближе к берегу, — сказал Андрей.

— Сейчас будем у берега, — пообещал Умрихин и продолжал: — Лежу я, значит, под одеялом, на чистой простынке и думаю: «Отдохну и опять в пехоту, в родной свой взвод!» И вот однажды не стерпел я и заговорил с врачом о дальнейшей моей службе в пехоте. А врач и говорит мне на это: «Нет, браток, хотя нехватка у тебя в организме и небольшая, всего только отшибло половину указательного пальца — люди приучаются и средним пальцем стрелять, — а только нет закону пускать тебя с таким браком в военный строй». Вот-те, думаю, новость! Сам посуди, куда мне идти сейчас из армии? Домой? А дом-то мой, сам знаешь, под Великими Луками! Мне один расчет быть в армии, тогда скорее всего и попаду домой. «Что ж, — говорит тогда врач, — если не хочешь уходить, то мы можем оставить тебя только где-нибудь в тылах или при штабе...» Вот теперь и рассуди: куда мне было деваться?

— Кем же назначили? — спросил Андрей.

— Совсем, брат, не ожидал, что дальше вышло! — продолжал Умрихин. Не поверишь: ответственный пост дали! Теперь я, брат, на большой высоте! Не хвастаюсь, а может случиться, что еще полезным буду при случае...

— Все же какой пост? — Андрей засмеялся беззвучно. — Не адъютантом ли у командира полка? У него ведь нет адъютанта...

— Какая это должность — адъютант! Что ты, господь с тобой! Бумажки подносить?

— Может, помначштаба?

— Нет, Андрей, смеяться нечего, а раз ты интересуешься — скажу откровенно: назначили по старой моей специальности.

— По какой же это?

— По конской части.

— По конской?!

— Да. Ездовым у самого гвардии майора!

Умрихин терпеливо переждал хохот Андрея.

— А дело вот как вышло, — продолжал он как ни в чем не бывало. Через денек после того приходит в санбат какой-то лейтенант и спрашивает: «Здесь гвардии рядовой Умрихин?» А я действительно лежу под одеялом, закрылся до губ — ну, начисто обленился! А все же отвечаю: «Так точно, здесь!» — «Какой, говорит, у тебя палец отшибло?» — «Указательный, отвечаю, на правой руке». — «Демобилизоваться не желаешь?» — «Не желаю!» «Сколько конюхом в колхозе работал?» — «Десять лет». — «Тогда, говорит, поступишь в мое распоряжение, будешь коноводом у самого командира полка. Твой палец, говорит, значения в этом деле не имеет. Если бы не было указательного на левой, тогда другое дело: без него трудно править лошадьми. А на правой он не нужен: кони сытые, погонять не надо». Вот так, браток, и оказался я на этой должности! Конечно, сначала не хотелось уходить от легкой жизни в пехоте, а что поделаешь? Да и так потом рассудил: надо идти, должность серьезная! Ты думаешь, шуточное дело возить командира полка? О, тут большое умение надо! И лошадей содержать в теле, и подать их вовремя, и довезти командира в срок куда следует, и не вытряхнуть его на ухабе, и побеседовать в дороге, чтобы не скучно ему было. А ездит он часто: то туда, то сюда. Вот теперь и скажи: с кем он, майор-то, чаще беседовать будет? С начальником штаба, адъютантом или со мной? И с кем задушевнее? С начштабом да адъютантом у командиров полков только одна ругань, это известно... А что нашему майору ругаться со мной? Ну, ругнет когда, если тряхну на ухабе... А так особо какая ругань может быть со мной? Я свое дело знаю в точности. А вот как поедет он, оторвется от дел, посмотрит спокойненько на леса и поля, что-нибудь вспомнит хорошее — и размякнет душой, и захочется ему поговорить без ругани... Ну, а я с любым человеком могу поговорить! Вот и суди:

кто с ним может поговорить по душам — начальник штаба или коновод? Вот сейчас мы ехали сюда...

Поблизости ударила пушка. Андрей и Умрихин, один за другим, выскочили из овощехранилища, глянули на запад. Над деревней Ленино курились дымки.

— Пришли, — сказал Андрей. — Скоро бой.

— Разведку небось пустили?

— Стой, видишь танк? Начали!

Противотанковые пушки, стоявшие правее шоссе, открыли прямой наводкой огонь по немецкому танку...

XI

Две недели гвардии майор Озеров горел в боях, как горит на ветру зажженное молнией дерево. С каждым днем, по мере отступления к Москве, у него все росло и росло, занимая и потрясая сознание, чувство величайшей ответственности перед родиной за каждый свой шаг, за каждое свое слово, он сознавал, что любое его действие всегда и полностью должно соответствовать устремлениям и боевым задачам сотен людей, поставленных страной под его начало и верящих в его умение побеждать врага. Гвардии майор Озеров понимал, что теперь, в грозный час войны, он не просто некий Сергей Михайлович Озеров, но прежде всего и, может быть, только всего командир Красной Армии. Правда, он хорошо понимал это и раньше, но теперь это понимание так овладело всем его разумом, что стало основным и всеобъемлющим содержанием его жизни. И это не было тягостным для Озерова как человека. День и ночь живя неизмеримым чувством ответственности, которое возлагалось на него званием командира полка, он не испытывал усталости и растерянности от этого чувства...

Но в это утро, получив приказ остановить врага на Волоколамском шоссе у деревни Садки, гвардии майор Озеров впервые почти физически ощутил, как непомерно тяжела его ответственность перед страной. Наблюдательный глаз ближнего мог бы сразу заметить, как выражение замешательства проступило во всех чертах его внезапно побледневшего лица, — такое выражение бывает у грузчика, когда он вдруг на ходу почувствует, что поднял на плечи непосильную ношу, что один неосторожный шаг — и она придавит его к земле. Для занятия полком обороны в районе деревни

Садки нужно было делать все то же, что делалось всегда при занятии новых оборонительных рубежей, но теперь привычное дело показалось необычайно сложным. Озеров немедленно выехал из штаба дивизии в Садки, где решил устроить свой наблюдательный пункт. Выехал он туда в чрезмерно возбужденном состоянии: по дороге несколько раз заставлял Умрихина останавливать коня, разглядывал карту, что-то шептал, прикрываясь от ветра воротником тулупа, то и дело бросал в разные стороны недокуренные папиросы...

Иван Умрихин сразу заметил, что гвардии майора Озерова очень взволновало посещение штаба дивизии. Острое солдатское чутье помогло Умрихину понять, что происходит в душе командира полка. Перед деревней Талица, соскочив с облучка и поддерживая на выбоинах санки, он сделал попытку затеять разговор с Озеровым.

— Тьфу, вот дорога! — проворчал он. — Вроде бабьей.

Озеров отвернул воротник тулупа.

— Как это — бабьей?

— А очень просто, товарищ гвардии майор, — ответил Умрихин, продолжая шагать рядом с санками и держась за них рукой. — Получил у нас во взводе один солдат — Голубцов по фамилии, может, знаете?... — получил он от сына письмо. Семья-то его живет поблизости от Ульяновска, у самой, сказывают, Волги. А тому сыну годов тринадцать, и остался он в семье вроде за хозяина. И вот пишет он отцу про разные колхозные дела, а больше всего ругает женщин. «Дорогой папаша, совершенно невозможно, — пишет этот Васька, — совладать с нашими бабами. Езды много, надо возить то хлеб, то мясо для армии, а они попортили все дороги. Мужик, он завсегда усмотрит, где надо поддержать сани, чтобы они не делали раскаты, а бабы этого, дорогой папаша, не понимают: закутаются в шали и сидят на санях или идут позади, а за дорогой не смотрят. По этой самой причине все дороги у нас теперь так разбиты, что ездить одна маята и себе и коню. И никакая метель не может заровнять эти бабьи дороги!» Вот я и вспомнил, товарищ гвардии майор, про этого Ваську Голубцова, который, может, мучается сейчас где-нибудь на «бабьей дороге»...

Озеров ясно представил себе разбитую, ухабистую тыловую дорогу с медленно ползущим по ней обозом, увидел запорошенных снегом, обмороженных женщин, стоящих вокруг разбитых саней и сваленных в кювет мешков с зерном, увидел даже Ваську Голубцова: задиристый парнишка в полушубке с отцовского плеча, едва вылезая

из сугроба, подходил к нерасторопным женщинам и сердито кричал, потрясая кнутом...

— Садись! — вдруг скомандовал Озеров. — Троган!

У дома, занятого штабом полка, Озеров, не вылезая из санок, отдал распоряжения капитану Смольянинову и велел ехать дальше полной рысью.

В Садки Озеров приехал в том обычном состоянии, в каком всегда готовился к бою, только, может быть, с более горячим взглядом. На своем наблюдательном пункте в заброшенной церкви он выслушал рапорт Шаракшанэ, поговорил по телефону с комбатами Журавским и Головко, начальником артиллерии полка и командиром роты связи, представителями танкового полка и отдельного противотанкового артдивизиона. Быстро ознакомясь с боевой обстановкой, Озеров убедился, что необходимо срочно внести некоторые коррективы в приказ штаба о занятии полком обороны на новом рубеже. Он тут же присел на какой-то ящик и, вытащив планшет, начал торопливо делать пометки на своей карте. Но в это время начался бой.

Очень досадуя, что не удалось вовремя доделать начатое дело, Озеров выскочил из церкви. Наши пушки торопливо вели огонь по всей западной окраине деревни. В широкой низине, между Садками и Ленино, уже горел немецкий танк, — черный дым, гонимый ветром, вился по земле волнистой конской гривой. От церкви плохо было видно, что происходит за парком, на линии железной дороги, и поэтому Озеров решил пройти к соседнему дому, но не успел он сделать и десяти шагов от церковной ограды — впереди с оглушительным треском рванул мерзлую землю тяжелый немецкий снаряд.

Озеров разом опрокинулся навзничь.

Очнулся он в своих санках, стоявших у большого каменного дома в глубине парка. Озерова ошеломило, что он не идет к соседнему с церковью дому, куда надо было идти, а почему-то лежит на тулупе в санках, и вокруг него толкуются разные люди с испуганными лицами и беззвучно, точно в немом кино, шевелят губами. Озеров сделал усилие подняться, но несколько рук, быстро протянутых с разных сторон, удержали его на месте...

Через несколько минут в Садки приехал комиссар полка Брянцев, весь в снегу, продрогший до костей, почерневший от мороза. Мрачный Шаракшанэ, не зная, как сообщить комиссару о несчастье, положил перед ним планшет и карту Озерова. Лицо Брянцева перекошилось от испуга.

— Ранен? Как ранен? Куда?

— Ран не нашли...

— Контузия? Тяжелая?

— Увезли без сознания.

Осмотрев карту Озерова и увидав на ней торопливые пометки, Брянцев продолжал расспросы:

— Что он делал до боя?

— Сидел над картой, думал...

— Что-нибудь говорил?

— Сказал, что закрепились еще плохо.

— А что именно сказал?

— Ничего конкретного.

Все утро Брянцев провел в разных тыловых подразделениях полка, размещая их в новых пунктах, а затем, точно чуя беду, быстро направился в Садки. Ехал он сюда лесной дорогой, минуя штаб полка, и поэтому не встретил контуженного Озерова на Волоколамском шоссе.

Две недели назад, приехав в полк Озерова, комиссар Брянцев твердо решил избавиться от главного своего порока — горячности в бою. Не без труда, но он все же добился своей цели. Старые друзья, с которыми Брянцев отступал от границы, немало подивились бы теперь, увидев его в боевой обстановке. Правда, и теперь еще были случаи, когда Брянцев, находясь на НП, вдруг беспричинно сбрасывал полушубок и шапку, порываясь, видимо, рвануться в бой, к солдатам, и начинал отдавать приказы резко, крикливо, чужим голосом. На его смуглом, худощавом лице в эти минуты особенно выделялись скулы и мясистые губы, а под сдвинутыми густыми черными бровями ослепительно сверкали зрачки. Но такое случалось очень редко. Обычно же Брянцев держался теперь в бою ровно и в меру напряженно.

Но этому, безусловно, немало способствовало одно важное обстоятельство. Брянцев всегда знал, что рядом с ним или позади него гвардии майор Озеров, что его неусыпное око строго следит за действиями всего полка.

Теперь Озерова не было. Перед Брянцевым только его карта, на которой сделаны торопливые, непонятные пометки... Что они означают? Какие меры хотел принять Озеров для улучшения обороноспособности полка? Разгадать мысли, которые тревожили Озерова, трудно, да и времени для размышлений нет: надо немедленно принимать командование полком и совершенно самостоятельно вести бой. Вот теперь-то было от чего потерять спокойствие, но Брянцев неожиданно почувствовал, что вся его душа леденеет от непривычно ровной и трезвой работы мысли.

— Где сейчас Смольянинов? — спросил он Шаракшанэ.

— Скоро приедет сюда.

— Я пошел к рации!

Так он принял командование полком.

Бой гремел на всем рубеже. Атака немецких танков на Садки была уже отбита: две вражеские машины догорали в низине, остальные повернули обратно и скрылись в Ленино. Но в низине, по обе стороны шоссе, крепко прижатая нашим огнем, не успевшая спастись бегством, залегла немецкая пехота. Батальон Шаракшанэ уничтожал ее беспощадно. Со всех точек взгорья, с чердаков крестьянских изб беспрерывно раздавались пулеметные очереди. Отовсюду били стрелки и снайперы, — по каждой сделавшей движение вражеской голове. Минометные батареи, одна за другой, открывали позади деревни беглый огонь. По всей низине из огня и дыма неслись дикие вопли. Тяжелая артиллерия тем временем посылала свои воюющие снаряды гораздо дальше, вплоть до поселка Снегири. Туда же, по обе стороны шоссе, на бреющем полете проносились, звено за звеном, наши могучие штурмовики, уже прозванные гитлеровцами «черной смертью».

...Капитан Смольянинов нашел Брянцева и Шаракшанэ на совместном наблюдательном пункте — в старой, с чудовищно толстыми стенами, давно заброшенной церкви. В предвоенные годы церковь использовалась под колхозный склад: у входных дверей, открывающихся на запад, лежал большой ворох каменного угля, а в центре — железный лом, дрова, разные ящики и бочки... Брянцев и Шаракшанэ, встав на ящики, переговариваясь, наблюдали за полем боя в разбитое окно, загороженное ржавой решеткой. Во всех углах отдыхали и грызли сухари связные, а телефонисты настойчиво твердили названия цветов, словно почему-то боялись забыть их навсегда:

— Роза! Роза! Я — Тюльпан.

— Астра! Астра! Астра!

К приезду Смольянинова комиссар Брянцев успел ознакомиться с боевой обстановкой во всех батальонах и сумел разгадать многие пометки Озерова на карте, его мысли перед боем. Утащив начальника штаба полка в алтарь, где находились только радисты, Брянцев развернул на подоконнике карту и, пересиливая звуки близкой оружейной стрельбы, закричал счастливым голосом:

— Врут, гады, не обманут! Они сначала пошли на Шаракшанэ, а им как дали здесь... Два танка долой! А от пехоты — ключья! Но они только делают вид, что хотят опрокинуть нас на шоссе! Да, это точно! А на самом деле хотят пробиться вот где, на правом фланге! Вот здесь они уже бросают танки на Журавского, и значительно больше, чем бросали на Садки! Видишь, как обмануть задумали? А майор сразу догадался, что они не полезут на Садки, а постараются обойти нас справа! Вот он на правом фланге и делал разные пометки... Видишь?

Крупное продолговатое лицо капитана Смольянинова казалось суровым от необычайной сосредоточенности. Срывая сосульки с пышных мужицких усов, начальник штаба спросил:

— Как теперь у Журавского?

— Хорошо! Крепко стоит! Подбросили туда противотанковой артиллерии, пулеметный взвод и два стрелковых... И наши танки туда вышли! Устоит!

— А у Головки как?

— Тоже отвлекают! Одна морока!

В последние дни все в полку обратили внимание на то, что на левом фланге — к югу от шоссе — артиллерия грохочет все тише и реже, а на правом — значительно севернее шоссе — с рассвета до темноты, постепенно откатываясь назад... Никто не знал точно, где именно идут там бои, но многие догадывались, что группировки немецко-фашистских войск, наступавшие вдоль Волоколамского и Ленинградского шоссе, уже соединились где-то в районе Крюково и оттуда стремятся наикратчайшим путем прорваться к Москве.

— Главные силы они бросают сейчас правее шоссе, это ясно! — свертывая карту, сказал Брянцев. — Конечно, они и здесь еще могут ударить. От этих гадов всего жди! Но только одно мне ясно: они уже не могут идти широким фронтом, они мечутся, выискивая наши слабые места, они лезут из последних сил! Они уже вот так

лезут!... — Брянцев показал, как гребут руками землю. — Лезут и захлебываются своей кровью!

Старый штабист капитан Смольянинов втайне всегда относился с недоверием к военным знаниям политработников армии. В этом его убедило, в частности, знакомство с Яхно. Смольянинов думал, что такими, как Яхно, и должны быть все политработники армии; их сила главным образом в умении владеть большевистским словом, умении сливаться душой с солдатской массой и личным примером воодушевлять ее на подвиги... Он не знал, что за несколько месяцев войны комиссары и политруки, воюя рядом с опытными командирами, приобрели немало военных знаний, что многие из них уже могут самостоятельно вести большие бои.

Теперь Смольянинов видел, что перед ним комиссар совсем другого типа. Смольянинов слушал Брянцева и с удивлением смотрел на его живое, счастливое лицо, осененное вдохновенной мыслью. Когда же Брянцев предложил осмотреть поле боя с колокольни, Смольянинов неожиданно схватил его руки и потряс, что позволял только в отношении друзей, по случаю неожиданной радости:

— Пошли!

ХШ

В дороге, не доехав до деревни Талица, гвардии майор Озеров вновь приподнялся в санках, с изумлением огляделся по сторонам и потребовал везти его обратно в Садки. Но сопровождавший его военфельдшер, маленький, рыженький и сердитый, неожиданно проявил такую суровую власть, данную ему законами медицины, что волей-неволей пришлось смириться. «Губами-то как быстро перебирает, а голосу нет», — внутренне посмеиваясь над военфельдшером, подумал Озеров, чувствуя сонливость и вялость во всем теле.

Озерова привезли в санроту, которая стояла на восточной окраине деревни. Увидев в окно полулежавшего в санках Озерова, военврач Ольга Николаевна Елецкая, молодая, стройная, сероглазая блондинка, мгновенно побледнела и выскочила на крыльцо.

— Что случилось? Что такое? Что с вами?

Из ушей Озерова точно вылилась вода, и он услышал испуганный голос врача.

— Ничего страшного, Ольга Николаевна, — улыбаясь,

ответил он, немало удивив этим Умрихина и военфельдшера. — Немного оглушило, только и всего... Зря привезли!

— Санитаров! — распорядилась Ольга Николаевна.

Но Озеров, отстранив санитаров, сам вылез из санок, поднялся на крыльцо и вошел в дом.

— Стало быть, немало чудес на войне, — заговорил Умрихин с одним из санитаров. — Мне один танкист еще в Козлове рассказывал такой случай. Угодил немецкий снаряд в башню танка и заклинил ее: ни туда ни сюда! Как стрелять? Хоть вой на все поле! Не знаю, сколько прошло времени, а только вдруг — второй снаряд, обратно в башню! И не поверишь — расклинило! И здесь так же: ударил снаряд — заложило уши, ударил...

— Эх ты, лошадиное ботало! — проворчал санитар.

Озерова поместили в теплой горнице. Осмотр показал, что отправлять его в санбат нет никакой необходимости. Порозовевшая Ольга Николаевна, распрямляясь над кроватью Озерова, спросила:

— Голова немного болит, да?

— Да, немного.

— Я дам вам сейчас таблетку.

— От головной боли?

— Да, да!

— Но вы скоро меня отпустите?

— Очень скоро! Не волнуйтесь!

Он быстро уснул, а когда проснулся, уже вечерело и повсюду затих грохот артиллерии. Озеров вскочил на постели и, еще не видя никого около себя, закричал:

— В чем дело? Уже вечер? Почему я спал?

— Спали, и очень хорошо, — весело отозвалась Ольга Николаевна, подходя к Озерову и не чувствуя перед ним никакой вины.

Озеров спросил очень тихо:

— Значит, вы меня обманули? Да?

— Это было совершенно необходимо.

— Обманывать? Необходимо?

— Врачу иногда можно и нужно...

— А по-моему, это никому не делает чести, — все еще тихо, но не скрывая желаний обидеть врача, сказал Озеров. — Вы хорошо понимаете, что сделали? Такой ответственный бой, а вы не дали мне возможности даже сообщить письмом свои соображения комиссару

полка или начальнику штаба!

Ольга Николаевна едва сдерживала слезы.

— Товарищ гвардии майор, он здесь...

— Кто? Начштаба? — крикнул Озеров.

— Да, он ждет вас.

— Ждет? Давно? Зовите!

Вошел Смольянинов. Волнуясь, все время порываясь соскочить с кровати, Озеров подряд выпалил столько вопросов о бое, что начальник штаба и не знал, с чего начать свой доклад.

— Сергей Михайлович, да что вы так волнуетесь? — спросил наконец Смольянинов. — У нас все в полном порядке. Все атаки отбиты.

— Обманываешь?

— Что вы, да разве можно!

— А вот тут говорят, что иногда можно, — сказал Озеров, кивнув на закрытую дверь горницы. — Ты мне толком расскажи: как на правом фланге, у Журавского? Удержались? Нигде не отошли?

Капитан Смольянинов присел на табурет у кровати и подробно рассказал, как Брянцев, приняв командование полком, изучил пометки Озерова на карте, быстро разгадал замысел противника и вовремя успел подбросить подкрепление батальону Журавского. Это решило исход боя: потеряв несколько танков и до роты пехоты, противник задолго до вечера прекратил атаки и отошел в Ленино.

Успокоясь, Озеров откинулся на подушки.

— Молодец! — сказал он, думая о Брянцеве; помедлив, добавил: Молодцы!

Вошла Ольга Николаевна и объявила Смольянинову, что командиру полка необходимо провести в спокойной обстановке еще ночь. К удивлению Ольги Николаевны, Озеров не стал возражать против этого, а когда начальник штаба ушел, сказал смущенно:

— Простите меня, Ольга Николаевна!

— Что вы, я не обижена...

— Нет, я обидел вас, а заодно с вами, хотя и заочно, еще многих, сказал Озеров и приподнялся на локоть. — Да, сознаюсь, я очень испугался, когда понял, что проспал весь день. Очень! Ведь сегодня — такой бой... И все же я не должен был так волноваться: ведь это мое волнение — от недоверия к людям. Да, значит, плохо я еще верю в людей, очень плохо! А верить, Ольга Николаевна, надо в

каждого настоящего советского человека. Какие у нас талантливые, всемогущие люди!

Озеров лег, затих, прикрыл глаза: перед ним замелькали десятки знакомых лиц — командиров и солдат полка. Он видел их на учениях близ Великих Лук, на привалах по ржевским лесным дорогам, в бою у Вазузы, в походе по оккупированной врагом родной земле, при штурме Барсушни, при обороне Истры...

XIV

В сумерках, как только затих грохот артиллерии, осторожно вышла на поля легкая метелица. Ей надо было трудиться всю ночь, чтобы уничтожить следы жестоких боев на подмосковной земле: похоронить в сугробах трупы и разбросанное, разбитое оружие, замести воронки от снарядов и лужи крови, хотя бы легонько запорошить снежком сгоревшие танки и пепелища в деревнях... И метелица, тихонько жалуясь на свою судьбу, неохотно принялась за скорбное дело.

Лена остановилась около большого каменного дома в старинном парке. Здесь находился командный пункт батальона Шаракшанэ и пункт первой медицинской помощи. Лене нужно было дожидаться подруг, чтобы всем вместе идти в санвзвод, стоявший в деревне Талица. Лена привязала собак у куста желтой акации. Собаки жалобно повизгивали, поджимали хвосты, горбились, приседали, спасаясь от жгучей поземки. Лена стала ласково трепать их за уши.

— И шубы не греют? Ну, ну, не скулите!

На низенькое крыльцо вышел Юргин.

— Лена, ты куда?

...Девятнадцать дней прошло после их первой встречи у Барсушни. Это очень малый срок в мирной жизни и очень большой — на войне: Юргину и Лене уже казалось, что их знакомство произошло давным-давно.

За дни отступления из Козлова Матвей Юргин видел Лену много раз, но чаще всего — мельком, случайно: то в бою, то на коротком привале, то в пути... Лишь раза три и пришлось поговорить наедине. Но, как назло, находясь во власти своего нежданно-негаданного счастья, Юргин всегда начинал разговор в необычной для себя шутливой форме, а потом, как ни старался, не мог уловить момент, чтобы заговорить серьезно... «Ей-богу, вроде

дурачка стал, — внутренне бранил себя Юргин. — И чего болтаю? Ладно еще, что не смеюсь без всякой причины!» И Юргин иногда втайне побаивался, что это не доведет его до добра: того и гляди Лена сочтет его за пустобая, у которого не было и нет ничего серьезного на уме. Но пустые, никчемные разговоры приходилось вести иногда и не по своей воле. Лена всегда была оживленна и весела, когда он говорил о пустяках, но стоило ему замолчать перед тем, как сменить тон и заговорить серьезно, она мгновенно становилась сдержанной и торопилась уйти. Это пугало Юргина. «Почему она боится, что я заговорю о чем-нибудь серьезном? — размышлял он. — В чем дело? Не нравлюсь?»

И только вчера, в поселке Снегири, произошло то, что было неизбежным, и произошло так просто, как они и не ожидали...

Они встретились после боя, на вечерней заре, в развалинах каменного здания, где Лена искала раненых. Отослав куда-то связного, Юргин бегом, прыгая по грудам кирпичей, бросился в развалины, — это был четвертый случай, когда можно было поговорить наедине. «Ну, как говорится, до четырех раз, — с надеждой подумал Юргин. — Значит, теперь решающий...» Увидев Лену, он так и замер на месте: на щеках у девушки ярко выделялись белые пятна.

— Лена, да ты же обморозилась!

— А где? Где? — испуганно воскликнула Лена. — Щеки теплые... Нос? Да?

— Вот именно — щеки!

Лена сопротивлялась и уверяла, что сама примет необходимые меры, но Юргин, понимая, что действовать надо немедленно, прижимал Лену к себе и крепко растирал снегом ее щеки. И когда лицо ее разгорелось, будто от огня, он вдруг неожиданно решил, что наступила долгожданная минута. Заметив перемену во взгляде Юргина, Лена не выдержала и тревожно предупредила:

— Нет, нет! Молчи!

— Тогда и ты молчи! — сказал Юргин и, вновь прижав Лену к себе, поцеловал в пылающие губы...

...Юргин привел Лену в маленькую комнату на нижнем этаже, где собирался провести ночь. Половина комнатки была завалена сухой ржаной соломой; ближе к двери стояли тумбочка и два табурета, какие можно видеть обычно в общежитиях.

— Разденься, — предложил Юргин.

Лена расстегнула полушубок, но вдруг вспомнила, что она в стеганых ватных брюках, над которыми при случае смеются все девушки, и решительно возразила:

— Нет, здесь холодно. Да и зачем? Мне скоро надо идти...

— Разденься, — попросил Юргин.

— Ой, ну зачем?

— Сейчас мы будем ужинать.

— Ужинать? Нет, мы в Талице...

— Поужинаешь здесь, а потом там.

— Подряд два раза?

— Это совсем не плохо на войне!

— А знаешь что, Матвей? — спросила Лена. — Пожалуй, и верно. Я так сегодня проголодалась! — она засмеялась и сбросила полушубок. — Ох, и дуреха я, а? И все у меня вот так!

Молоденький боец, вестовой Юргина, принес котелок подогретого на плите мясного супа с вермишелью, выложил из вещевого мешка на тумбочку кусок ржаного хлеба. Сообразив, что ему лучше уйти на время, спросил:

— Не забудете, товарищ гвардий лейтенант?

— О собрании? Нет, я помню.

— Какое у вас собрание? — поинтересовалась Лена.

— Партийное. В семь ноль-ноль.

— А у нас комсомольского еще не было после того, как ушли из Козлова. Да и когда ему быть? Хоть бы денек отдыха... Ой, с вермишелью, да?

— Любишь?

— Самый любимый суп. Бывало, мама... — Лена запнулась, вздохнула и села на табурет. — Мама, мама! — прошептала она и сокрушенно покачала головой. — Она и не знает, что я так близко от нее, и значит — очень далеко до нашей встречи! Ты знаешь, Матвей, она почему-то часто плачет. Отчего это, а?

— Значит, твоя мать умная и душевная женщина, — ответил Юргин. — У каждого солдата ложка с собой, конечно? Доставай и действуй. Бери хлеб.

Несколько минут, обжигаясь, Лена ела любимый суп, казавшийся необыкновенно вкусным, и все ее внимание было сосредоточено лишь на котелке. Воспользовавшись этим, Матвей Юргин несколько раз задерживал на ней свой взгляд. Да, война

заставила ее сменить легкое платье и туфли на солдатское обмундирование — гимнастерку, ватные брюки и валенки; война заставила жить тяжелой фронтовой жизнью — недосыпать, недоедать, с утра до ночи слушать стоны раненых, видеть кровь дорогих сердцу людей, часто встречаться со смертью... Но даже и теперь, несмотря ни на что, Лена оставалась на удивление непосредственной, — именно это, вероятно, и делало ее необыкновенно красивой среди тех людей, которых Юргин видел вокруг себя за дни войны.

Вдруг Лена спохватилась и замерла с ложкой над котелком; ее темно-карие с золотинкой глаза настороженно округлились, как у испуганного молодого совенка.

— Ты что не ешь? — спросила она Матвея.

— Смотрю на тебя...

— Но ведь суп остынет!

— А помнишь, как мы завтракали с тобой в лесу, на утренней заре? Счастливо прищуриваясь, Юргин отчетливо увидел памятную картину зари у Барсушни. — Не забыла? Мы сидели тоже друг перед другом, только на еловых ветках, а вокруг — розовый лес, розовый снег. Помнишь? Только тогда мы ели каждый из своего котелка.

Лена озорно усмехнулась.

— Из одного лучше, вкуснее.

— Да? Серьезно? И я так думаю.

— Тогда и ты ешь, — сказала на это Лена.

— Нет, мне так сейчас хорошо, что не до еды, — серьезно сказал Юргин. — Хотя хорошо-то мне, конечно, как раз оттого, что мы едим из одного котелка... Хорошо бы всегда так, а?

Но Лена не согласилась:

— Нет, Матвей, тогда бы ты всегда оставался голодным...

— Нет, Лена, я бы привык, конечно. Ведь сейчас я не ем потому, что это случилось в первый раз...

— А если привыкнешь, если это будет случаться часто, то и не будет так хорошо...

— Перестань, Лена, не говори глупости! — воскликнул Юргин с некоторой обидой. — Мне с тобой всегда будет хорошо. Всегда и везде. Ты вот кусаешь хлеб, а я смотрю и смотрю...

— Смотришь? А как я кусаю?

— Очень смешно, по-ребячьи...

— Не сочиняй, Матвей! Ешь!

— Да, а я смотрю и смотрю на твое лицо, на твои губы и зубы. — Юргин вздохнул и сказал с улыбкой: — Хочешь, я еще принесу полный котелок твоего любимого супа? Ты ешь всю ночь, а я всю ночь буду смотреть на тебя. Смеешься? У-у, озорные твои глаза!

Заглядывая в глаза Лены, Юргин вдруг тихонько, но вдохновенно заговорил о том, что ждет их после войны. Прежде Юргин видел свое будущее почему-то неясно, в отдельных деталях, как если бы смотрел на картину, написанную маслом, при сумеречном свете; теперь, освещенное любовью к Лене, будущее сверкало всеми красками, и он мог говорить о нем без конца, как это могут делать знатоки живописи о любимой картине. Да, после войны они, конечно, вместе приедут в Москву и начнут учиться: Лена станет строительным техником, а он получит военное образование, чтобы навсегда остаться в армии; они побывают на Енисее и вместе постоит на той горе, откуда перед ним открылся в детстве большой, неизведанный мир... Присмирив, не скрывая восхищения и счастья, Лена слушала Юргина и втайне поражалась тому, как он хорошо видит будущее, как смело, красиво мечтает о своей и ее жизни.

В комнату, приоткрыв дверь, заглянул в осыпанной снегом шапке политрук Гончаров.

— Ты еще здесь? — спросил он. — Не забыл?

— Я помню, помню! — воскликнул Юргин и, поднимаясь, взглянул на часы. — В моем распоряжении еще одна минута. А ведь тебе известно, товарищ политрук, что значит даже одна минута на войне!

Когда дверь закрылась, Матвей Юргин прижал руки Лены к своей груди и сказал тихонько:

— Я хочу, чтобы ты всю эту минуту смотрела на меня, а я буду смотреть на тебя... И больше — ни одного слова!

Они действительно целую минуту, не отрываясь, молча смотрели друг другу в глаза, но когда пришла пора расстаться, Лена вдруг порывисто, подавшись вперед, прижалась головой к груди Юргина...

XV

Со всего рубежа батальона, из всех подразделений коммунисты дружно сходились к большому каменному дому в парке. Собрание было назначено в одной из восточных комнат на нижнем

этаже. Одни задерживались на некоторое время в коридоре — отряхнуть с себя снег, покурить, обменяться с товарищами новостями. Другие, особенно командиры, сразу же проходили в комнату, отведенную для собрания, и направлялись к столу, за которым сильно похудевший в последнее время секретарь партбюро полка Возняков перебирал содержимое своей полевой сумки. Он проводил собрание вместо секретаря партбюро батальона, который два дня назад выбыл из строя. Отодвигая бумаги, Возняков встречал входивших настороженным взглядом, а когда те молча, с угрюмым видом открывали планшеты, он поднимался на ноги и спрашивал глуховатым от горечи голосом:

— Кто?

Получив партийные документы погибших коммунистов, Возняков внимательно разглядывал их и складывал в одну стопку перед собой. Потом он подробно расспрашивал, при каких обстоятельствах вышли из строя те, кто еще сегодня утром согревал эти документы теплом своего сердца. Все рассказы о погибших коммунистах полка Возняков записывал в особую тетрадь в черной коленкоровой обложке.

За два месяца в этой тетради собралось немало простых и точных описаний воинской доблести коммунистов, до последнего дыхания сражавшихся с врагом за счастье родной земли. Из коротких записей Вознякова день за днем слагалась летопись партийной организации полка за самый тяжелый период войны. Это была печальная тетрадь. На каждой ее странице рассказывалось о смерти. И все же любой человек, прочитав ее, подумал бы не о торжестве смерти, а о торжестве и всемогущей силе жизни, — в любой скупой записи о гибели коммуниста всегда было нечто такое, что заставляло думать о величии и бессмертии партии. Поэтому Возняков не боялся перечитывать свою тетрадь даже в самые тяжелые минуты.

Сделав очередную запись в своей тетради, Возняков обычно спрашивал:

— Заявления есть?

— Есть, вот они...

Около стопки партийных документов Возняков аккуратно складывал заявления тех, кто вступал в ряды партии на место погибших в бою...

Точно в 7.00 Возняков поднялся за столом. Комната освещалась плохо двумя обыкновенными фронтовыми коптилками, и

секретарь партбюро, может быть, именно поэтому очень медленно обвел ее взглядом. В отблеске красноватых огней коптилок он показался многим совершенно рыжим, хотя был только слегка рыжеват, и до крайности худым, усталым и печальным. Объявив наконец собрание открытым, Возняков протянул и задержал руку на стопке партийных документов.

— Товарищи, сегодня в батальоне погибло девять коммунистов, — сказал он тихим голосом. Он назвал имена погибших и продолжал, безуспешно стараясь сдержать дрожь в голосе: — Все эти товарищи погибли сегодня на поле боя смертью храбрых, погибли за знамя нашей великой большевистской партии, за наше правое дело. Вечная память верным и храбрым сынам нашего народа! Не пропадет даром их кровь, пролитая на подмосковной земле!... Товарищи, почтим их память...

Все разом поднялись, застучав скамьями, табуретами, ящиками, досками... Встали, загородив окна и двери.

Секретарю партбюро Вознякову вдруг показалось, что в комнате гораздо больше коммунистов, чем он думал минуту назад, когда они сидели. Это странное впечатление не оставляло его все то время, пока он стоял, опустив голову, и он решил обязательно проверить его, когда станет возможным. Но такое впечатление создалось не только у одного Вознякова. Всем присутствующим коммунистам казалось, что когда они сидели, их было не так уж много, а когда поднялись на ноги — в комнате стало очень и очень тесно...

Кончилась минута скорби. Секретарь партбюро Возняков быстро поднял взгляд — и удивился еще больше: склоненные головы коммунистов, казалось, виднелись далеко-далеко в полутьме, словно собрание шло не в комнате, а на открытом, широком просторе...

XVI

На партийном собрании, как нигде, коммунисты познают многое, что в одиночку познать иногда не легко. Слушая товарищей, Матвей Юргин с особенной остротой, как никогда еще до этого, всем существом своим ощутил, что настал самый грозный час войны. Кажется, ничего нового не прибавили речи товарищей к тому, что он знал о положении на фронте, о последнем боевом приказе. Но сама атмосфера собрания, содержащая в себе нечто властное, заставила

гораздо сильнее, чем в обычной обстановке, почувствовать опасность, грозящую Москве. И личное счастье, которое час назад казалось всесильным, захватившим всю душу Юргина, немедленно отступило перед сознанием этой опасности.

Сразу же после собрания, с чувством необычайной тревоги за судьбу Москвы, Матвей Юргин побывал во всех взводах своей роты, проверил их готовность к бою, проверил, как несет службу боевое охранение, поговорил со многими солдатами, стараясь, чтобы и они всей душой почувствовали приближение часа, которого еще не приходилось им пережить на войне.

Только далеко за полночь, твердо убедившись, что рота отлично подготовлена к бою и завтра будет сражаться беззаветно, Матвей Юргин немного успокоился и вновь ощутил тепло того счастья, какое он познал совсем недавно. Он уснул, думая уже только о Лене, и долго-долго улыбался во сне...

Выскочив из гудящего дома (в нем гулко хлопали все двери, по всем комнатам и коридорам раздавались крики), Матвей Юргин услышал, что ружейно-пулеметная стрельба идет на разных участках оборонительного рубежа батальона, но особенно сильная — на участке его роты. Как и вчера на партийном собрании, Юргина мгновенно охватило необычайное чувство тревоги за судьбу Москвы — и он тут же услышал в себе толчки той знакомой силы, которая всегда заставляла его быть злым, бесстрашным и дерзким в бою. Кое-как попав правой рукой в рукав полушубка, не застегиваясь, Юргин бросился к западной границе парка. Только на бегу, сначала ударившись о толстый, запорошенный снегом ствол вяза, а потом наскочив на куст акации, Матвей Юргин сообразил, что гитлеровцы начали бой раньше обычного, — над землей чуть брезжил рассвет. В парке тянуло сквознячком и порошило; чувствовалось, что в полях, на просторе, все еще трудится метель. И Юргин понял, что произошло: гитлеровцы решили захватить Садки внезапно, без артподготовки, одной пехотой. Пользуясь метелью, они незаметно сосредоточились по обе стороны шоссе, в низине, по руслу ручья, поросшего низкорослым кустарничком, и теперь атакуют, стремясь прорваться на правом фланге в лес, где стояли дома пионерского лагеря, а на левом — вдоль железной дороги в парк, чтобы с двух сторон обойти Садки и соединиться на шоссе. «Не-ет, гады, не выйдет!» — мысленно закричал Юргин, видя, что и вправо и влево от него, по всему парку, навстречу звукам стрельбы, перекликаясь,

увязая в снегу, несутся солдаты его роты.

Выбежав к сторожке в углу парка, где находилось боевое охранение, Юргин прежде всего увидел, что в поле действительно все еще метет и кружит метель. В сумраке рассвета, сквозь мглу снежного буса, поднятого метелью, не видно было ни полотна железной дороги, ни лесистого взгорья за ним, ни деревни Ленино... Всюду вправо и влево от сторожки, по неглубокой, полузасыпанной снегом канаве, являвшейся западной границей парка, виднелись солдаты. «В кого же они стреляют?» — подумал Юргин и только после этого разглядел, что сквозь метель из низины к парку движутся немецкие цепи. Юргин бросился мимо сторожки, понимая, что теперь никого в ней нет, свалился в канаву и здесь услышал крики солдат:

— «Психической» хотят взять, сволочи!

— А-а, гады, психуете?

— Готовь гранаты!

— Дай диски!

Вскочив на ноги, Юргин увидел, что в разных местах в канаву с разбегу бросаются бойцы, и закричал высоким, обычным в бою голосом:

— Товарищи, стоять! Ни шагу назад!

Но кричал он это, вероятно, только для того, чтобы солдаты узнали: командир роты вместе с ними в первой цепи...

Матвеем Юргину хотелось многое сделать в эти секунды; узнать, где политрук Гончаров, ночевавший в овощехранилище, во взводе Дубровки, узнать, почему молчит станковый пулемет, стоявший против центра парка, послушать, не выходят ли на помощь танки... Но делать можно и нужно было сейчас только одно: хватать любое оружие и стрелять, стрелять, стрелять огромная толпа гитлеровцев двигалась по полю уже с диким ревом и пальбой из автоматов, двигалась навстречу нашему огню, затаптывая в снег убитых и раненых... Рядом смолк ручной пулемет. Оборачиваясь к Юргину, пулеметчик крикнул:

— Пьяные, сволочи! Берите пулемет, товарищ командир, я ранен, в глазах темнеет...

Юргин лег за пулемет и начал менять диск.

Огромная, быстро редущая толпа гитлеровцев уже выбилась из сил на снежной целине, но шла и шла, стараясь кричать и стрелять, шла, как безумная и обреченная, навстречу неизбежной гибели. Она и была обреченной, эта толпа. Ей нельзя было ни остановиться, ни

повернуть обратно: позади, на рубеже атаки, стояли немецкие пулеметы, готовые расстрелять ее за это без всякой пощады.

Пулемет хорошо, удобно лежал на бруствере. Крепко опираясь на локти, Юргин взял его в руки, быстро прицелился и собрался было нажать на спуск, но в этот миг немецкая пуля перебила ему левую ключицу и пронзила легкое. Юргин дернулся, но в ту же секунду потерял сознание и уронил голову между рук, в которых крепко сжимал пулемет. Через секунду палец умирающего Юргина, застывший на спуске, сильно свело судорогой; и пулемет вдруг задрожал, сверкая огнем...

— Лейтенанта убило!

— Убило лейтенанта!

Эти выкрики, несмотря на звуки шумной ружейно-пулеметной стрельбы, с необычайной быстротой понеслись над рубежом роты. Затрачивая все свое внимание и напряжение на стрельбу по отдельным фигурам немецких солдат, метавшихся по полю в вихрях метели, Андрей тоже крикнул, поворачиваясь вправо, в сторону ближайшего бойца:

— Лейтенанта убило!

И, только выкрикнув эти слова, Андрей с содроганием подумал: «Какого лейтенанта?» Быстро встав на колени, он взглянул по канаве влево, откуда долетели безотчетно повторенные им слова, думая у кого-нибудь спросить, кто же именно погиб в бою, но тут же с ужасом понял, что спрашивать не надо: в роте только один лейтенант — Матвей Юргин, а взводами командовали два младших лейтенанта и старший сержант Дубровка. Андрею вдруг показалось, что в руках у него не автомат, а раскаленный многопудовый камень.

Несколько секунд Андрей стоял на коленях в канаве, ничего не слыша, точно окаменев, стоял, расширив глаза, хотя в лицо и порошило снегом... Он не слышал даже, как дал залп дивизион «катюш», и только когда перед Ленино что-то рухнуло с треском и грохотом, будто обвалился в низину тяжелый небесный свод, Андрей опомнился и увидел, что впереди — не мутная снежная метель, а огненно-дымная, высокая, заслонившая весь запад.

Увидев бушующее в низине пламя, Андрей вскочил на ноги, не зная, что делать, но чувствуя, что горе властно толкает его вперед и велит ему что-то делать, делать до последнего вздоха, до тех пор, пока видят глаза...

Позади послышался гул мощного мотора. Подминая

кустарник, взвихривая снежные сугробы, танк «Т-34» вышел к канаве и распластал над ней широкие гусеницы. Танкист в ватнике и шлеме, поднявшись над люком, крикнул:

— Эй, пехота, садись!

Это был гвардии старший сержант Борисов. Андрей понял, что начинается наша контратака. Быстро и ловко взобравшись на правый борт танка, он схватился за скобу у люка и закричал солдатам, вскидывая автомат:

— За мной! Разом! Быстро!

— Это ты, Лопухов? — Борисов пригляделся к Андрею. — Не узнал! Голос не тот. Ты не ранен? Тогда держись крепче! Указывай цели! Слышишь?

— Есть, буду смотреть!

— А то метет, наблюдать плохо...

— Есть, двигай!

Дивизион «катюш» дал еще один залп, и тогда наши танки, облепленные пехотинцами, рванулись в низину, над которой бушевала черная, дымная метель...

...За два месяца отступления ненависть Андрея к фашистским захватчикам выросла в огромное и властное чувство. Но никогда еще, кажется, это чувство не давало так себя знать, как теперь, когда Андрей услышал о гибели друга-командира. Раньше ненависть к гитлеровцам не заглушала в Андрее другие чувства, тоже властные, такие, как любовь к Марийке, но теперь осталась одним-единственным властелином в его душе. Андрей не понимал, конечно, что произошло с ним несколько минут назад. Он лишь чувствовал: теперь, как никогда прежде, у него так много горячих сил и так хочется идти с ними в бой, что он, ради такого случая, мог бы поступиться всем дорогим в жизни. К тому же Андрей чувствовал: теперь ему почему-то особенно легко быть в бою, он может, не задумываясь, броситься в любой огонь, наверное зная, что не погибнет...

Большая часть гитлеровцев, атаковавших Садки, к моменту начала нашей контратаки уже полегла на ровном, слегка покатым поле; те, что еще каким-то чудом были живы, безумно металась по низине, не зная, куда деваться, с воплями ползали и прятались среди трупов, быстро заметаемых метелью...

Наши танки на третьей скорости, вздымая снег, понеслись низиной к Ленино, расстреливая еще метавшихся здесь, обезумевших

гитлеровцев из пулеметов. Танкистам помогали пехотинцы: они били из винтовок и автоматов в разные стороны, по каждой фигуре в немецкой шинели. Прошло не больше пятнадцати минут после начала боя, а поле было завалено сотнями трупов и залито кровью...

Светало медленно. Метель не стихала. На восточной окраине Ленино, где особенно много разорвалось снарядов, выпущенных дивизионом «катюш», жарко горели дом и сарай: дым крутило, завивало, поднимало и разносило по всей деревне. Наши танки, быстро проскочив до окраины Ленино, задержались здесь, и с них враз посыпались на землю в запорошенных снегом шинелях пехотинцы. Только Андрей остался на танке.

— Командуй! — крикнул ему Борисов.

Андрей подозвал Кудеярова, приказал ему вести отделение за танком, затем повернулся к люку, крикнул:

— Есть, давай вперед!

Когда влетели в улицу и проскочили полосу, где крутило и завивало дым, Андрей увидел, как из ближайшего слева переулочка выползает немецкий танк. Был такой удачный момент уничтожить его, ударив по борту, что у Андрея даже дыхание стеснило от предчувствия близкой боевой удачи и боязни упустить ее.

— Влево! Бей!

В открытом люке вражеского танка внезапно показалась фигура немца. Борисов еще не увидел противника, но остановил танк, готовый к бою, и Андрей, моментально воспользовавшись этим, вскинул автомат и дал очередь по гитлеровцу, который, хотя и заметил опасность, но не успел скрыться в люке. Он рухнул в люк с пробитой головой. Это и решило дело. Увидев теперь немецкий танк, Борисов выпустил в него, один за другим, три бронебойных снаряда...

...Около часа продолжалась эта контратака. Наши танки изутожили всю восточную половину деревни, нанесли противнику большой урон и обратили его в паническое бегство. Только на восходе солнца, израсходовав весь боезапас, они возвратились в Садки.

Все это время Андрей находился на танке.

XVII

Рассвет 2 декабря полк Озерова встретил, как привык

встречать все рассветы за две недели последнего немецкого наступления. Быстро опорожнив котелки, солдаты осмотрели оружие, запаслись патронами и гранатами, поправили бинты на ранах: скоро должны были загрохотать немецкие батареи. Но прошло положенное время — гитлеровцы молчали. Прошел еще час — не ударило ни одно орудие. Далеко на север артиллерия уже вела огонь, а вокруг, поблизости, — на всем участке дивизии — утро поднималось в полной тишине.

Это очень удивило солдат. Из домов, подвалов, погребов, из всех мест, облюбованных для жилья, они стали выбираться на волю. Что за чудо? Солдаты хорошо знали ту тишину, какая устанавливается перед боем: тревожная она, темная и душная; она гнетет, прижимает к земле... Нет, над всем участком дивизии стояла совсем другая тишина — светлая, легкая, окрыляющая сердце... Утро было ясное и морозное. За ночь выпала густая пороша. Она обновила снега, прикрыла следы вчерашнего боя. И все солдаты, необычайно чуткие на ухо, сразу поняли: наконец-то наступила тишина, какой они не слышали давно. Взглянув на куст белой ивы, где мирно, наслаждаясь тишиной, сидели снегири, Андрей почему-то сорвал шапку, точно внезапно оказался в сверкающем дворце, и его темное, задубелое от морозов лицо засияло от восторга.

— Конец, ребята! — сказал он, сдерживая голос, словно боясь помешать веселой тишине окончательно утвердиться над полем битвы. — Отгремели, гады!

...В это утро гвардии майор Озеров спал дольше обычного. Он понял это сразу, даже не успев открыть глаза, по одному ощущению той легкости в себе, какая — он помнил — дается только после долгого и спокойного сна. Озерова так удивило это ощущение, что он в один прием перевернулся с левого бока на правый, и, отбросив шинель, приподнялся на кровати.

В окно пробивалось зимнее солнце. У стола сидел Петя Уралец и сосредоточенно чистил пистолет.

— Петя, я что... проспал, а? — встревожась, спросил Озеров.

— Да нет, что вы, товарищ гвардии майор!

— Не учись обманывать! Что ты меня не будил?

— Не было приказа, товарищ гвардии майор, — лукаво улыбнулся Петя.

— Ишь ты, не было! — торопясь, Озеров начал натягивать поданные Петей валенки. — Знаю, ты только и рад, когда я просплю!

Погоди, ты от меня еще получишь за это! Я доберусь до тебя!

— Товарищ гвардии майор, да и зачем вас будить-то было? — сказал на это Петя. — Если бы, скажем, бой начался — тут другое дело, я сам понимаю, а то ведь тихо кругом.

— Как тихо? — Озеров даже опешил от изумления. — Совсем тихо?

Только теперь Озеров услышал, что над рубежом обороны в самом деле не раздаётся привычного грохота боя, и всерьез разозлился на своего вестового.

— Да какого же ты черта меня не будил? Да ты знаешь, несчастный, что это значит?

Он бросился к телефону. Все командиры батальонов доложили, что гитлеровцы будто вымерли за ночь на ближних участках; на вражеских рубежах — никаких признаков жизни. Озеров знал, что в тех случаях, когда враг уходит из поля зрения наблюдателей, когда становятся неизвестными его замыслы, все командиры и бойцы обычно ведут себя беспокойно: людей тревожит всякая тайна. В такие моменты от врага ожидают любого коварства. Но на этот раз все комбаты докладывали весело, и никто из них не высказывал никаких тревожных предположений. На вопрос о том, что же все-таки означает молчание противника, гвардии капитан Шаракшанэ ответил просто:

— А вы, товарищ «пятый», выйдите из дома да послушайте!

— Что слушать-то?

— А вы услышите.

Гвардии майор Озеров выскочил из дома без полушубка и шапки. В соседних домах, занятых штабистами, комендантским взводом, саперами и воздушной охраной, слышались голоса и смех, около кухни солдаты выгружали из саней тяжелые ящики и мешки, в березнячке кто-то тюкал топором... Но все эти звуки легко и быстро поглощались той властной тишиной, какая торжествовала вокруг. И Озеров тоже понял, что произошло.

— Петя! — позвал он, не оглядываясь назад.

— Я здесь, товарищ гвардии майор!

— Запомни это утро, Петя! — воскликнул Озеров.

— А что, товарищ гвардии майор?

— Это утро нашей победы!

Вместе со всеми Озеров бурно радовался победе, — он только и жил мечтою о дне, когда враг, истекая кровью, прекратит атаки. Но

у Озерова была одна строгая привычка, от которой он, без всякого насилия над собой, не отступал никогда в жизни. Радуюсь достигнутому успеху в каком-нибудь деле, он тут же начинал думать о новых делах, которые могут принести новые успехи. Это была привычка деловой неутомимости, неудовлетворенности одной только радостью, пусть даже большой, и постоянное желание дополнить ее думами о завтрашнем дне. Поэтому, как только на фронте дивизии установилась тишина, Озеров немедленно, не ожидая приказа, начал готовить свой полк к наступательным боям.

В полдень Озерова вызвали на КП дивизии.

Генерал Бородин встретил его вопросом:

— Уверен, что выдохлись? — Генерал был серьезно болен и лежал с грелкой, подтянув угол шубы до подбородка. — Ручаешься? А если пойдут?

— Ручаюсь, не пойдут, — твердо ответил Озеров, присаживаясь на стул у кровати генерала.

— Все уверены, — проговорил Бородин, смотря в потолок, словно в даль. — Впрочем, кому же и знать, что немцы выдохлись? — Генерал долго кашлял, весь вздрагивая под шубой. — Какой великий день наступил, а? Встать бы мне...

— Нельзя, товарищ генерал!

— Все можно, — возразил Бородин. — Ах, солдаты наши! — добавил он тихо и восхищенно. — Святые люди! Всем им, и мертвым и живым, надо ставить памятники. Всем!

Помолчав, генерал спросил:

— А ты, Сергей Михайлович, как мне доложили, уже готовишься наступать?

— Так точно, товарищ генерал!

— Одобряю, что не ждешь приказов, — сказал Бородин. — Да, как мы ни отступали, а мысль о наступлении всегда жила в наших сердцах. Всегда! А если так, то морально мы давно готовы к контрнаступлению. Материальная же подготовка не займет у нас много времени. О новых частях и говорить нечего: они могут вступить в бой с марша. А вот немецкие стратеги всего этого и не знают. Они заучили одно: переход от обороны к контрнаступлению — трудное, сложное дело. Но они скоро узнают, что нам под силу любые трудные дела. И они еще будут проклипать свое чванство!

Бородин замолчал скорее всего от слабости, но нетерпение Озерова было так велико, что он все же не удержался и вскоре

напомнил:

— Вы упомянули о новых частях, товарищ генерал...

— Да, да, именно об этом я и хотел говорить, — ответил Бородин и, притянув к себе Озерова за рукав, прошептал: — Знаешь, сколько войск подошло? Как в сказке: видимо-невидимо!

— Да где же они, товарищ генерал?

— По всем тыловым деревням и лесам.

— Когда же подошли?

— Сосредоточиваются уже больше недели.

Озеров разгорячился, вскочил с места.

— Сейчас пойдешь в штаб, — сказал Бородин. — Там тебя ждут представители одной свежей дивизии, которой ты должен уступить часть своих позиций. Говорят, солдаты у них — залюбуешься, как от одной матери! Твои земляки.

— Товарищ генерал, это правда? Разрешите идти?

— погоди, — остановил его Бородин и вдруг приподнялся на локте. — Вот что, у них в дивизии вдвое больше, чем у нас, людей, и это может вызвать у некоторых наших командиров неверные выводы для нашей дивизии... Чепуха! Сущая чепуха! Их не били, а нас били! А, как известно, за битого двух небитых дают. Простая арифметика. Выходит, количество личного состава в наших дивизиях можно считать абсолютно равным. Но у них нет боевого опыта, у нас он довольно большой. Мы гвардия! Так-то!

Но тут же Бородин опять лег, попросил Озерова на минутку присесть у кровати и некоторое время смотрел мимо командира полка с неожиданной грустной сосредоточенностью. Озеров понял: комдив думает о чем-то таком, что никогда прежде не занимало его думы.

— Хвораю я, — сказал Бородин вдруг таким тоном, каким мог бы сказать жене, и даже не постеснялся жалобно поморщиться. — Креплюсь, а толку мало. Тяжеловато мне стало в строю. Очень хочется хотя бы немного пройти на запад, да видно не смогу...

В тягостном смущении Озеров опустил голову.

— Еще поправитесь, товарищ генерал...

— Теперь иди, — сказал Бородин. — И знай, скоро тебя вызовут в штаб армии. Я хочу передать дивизию в твои руки.

XVIII

Под вечер в полк неожиданно вернулся сержант Олейник.

Двадцать дней провалялся он в полевом госпитале, лечась от разных недугов. За это время он многое передумал о превратностях человеческой судьбы.

В госпитале раненые солдаты рассказывали множество случаев из боевой жизни. Почти все они утверждали, что в бою не думают о смерти. Один даже сказал совсем серьезно:

— Хочешь жить — воюй без страха!

— А как же ранило? — спрашивал Олейник каждого рассказчика.

— А это случайно вышло, — отвечал почти каждый.

И действительно, из рассказов солдат выходило, что все они получили ранения случайно. Но тут Олейник задавал каверзный вопрос:

— А убитые были?

— Были и убитые...

Из дальнейших рассказов выходило, что и погибали люди случайно, а не потому, что нельзя было не погибнуть: то из-за своей неосторожности, то из-за боязни, то из-за ребяческого бахвальства удалью...

Такие рассказы Олейник считал глупыми.

Из всех разговоров с ранеными, после долгих размышлений, он сделал только один грустный вывод: все зависит от судьбы, что положено ею — то и будет... «Э-э, да дьявол-то с ним! — как-то вдруг подумал он в госпитале. — Не буду я больше спасаться! Будь что будет!»

Успокаивала еще одна мысль: по расчетам Олейника, и воевать-то оставалось совсем недолго. Правда, в ноябре немцы двигались гораздо медленнее, чем в октябре, чем все лето. Все раненые, прибывшие с передовой, уверяли, что наши войска успешно отбивают вражеские атаки, что немцам приходится туго. Но Олейника не могли смутить, как он считал, такие хвастливые разговоры. Он чувствовал, что нашим тоже приходится не легко, все везут и везут с фронта раненых. А мало ли убитых остается на полях боев? Из коротеньких военных сводок трудно было понять, где сейчас проходит линия фронта под Москвой, но Олейник догадывался, что немцы подходят к столице с трех сторон. Олейник не верил, что наши войска смогут выдержать. Он считал: еще немного, и наша оборона лопнет, и немецкие войска хлынут к Москве. И тогда, конечно, закончится война. Значит, недолго и

ждать, что скажет судьба... С такими мыслями Олейник и отправился на передовую.

Тишина на фронте была разгадана Олейником совсем не так, как всеми солдатами на передовой. «Значит, подтягивают силы, — подумал Олейник о немцах. — Скоро решится дело». И Олейник невольно попытался представить себе невеселую картину жизни своего взвода. Все солдаты обессилели от бесконечных боев, одичали от страха; грязные, унылые, пропахшие потом, землей, кровью и разной гнилью, ползают они по своим темным норам, что-то делают по привычке, не понимая существа дела, и с ужасом прислушиваются к тишине, каждую секунду ожидая гула и грохота над собой...

В штабе дивизии, куда Олейник прибыл с группой выздоровевших бойцов, его без всяких возражений вернули в полк Озерова. В полк он отправился со случайным попутчиком — солдатом из батальона Шаракшанэ, который оказался по каким-то делам в штабе дивизии. На восточной окраине деревни Талица, где находился командный пункт полка, попутчик остановился, потер варежкой правое ухо, спросил:

— Вам в штаб надо, товарищ сержант? Или завернем на минуту к бане?

— Почему к бане?

— А тут сейчас много людей из нашего батальона, — пояснил попутчик. Моются. Может, и ваши друзья есть... Вон она, баня! — Попутчик махнул варежкой на север от дороги, в просторную низину, где за тонким кружевом заиндевелых ив виднелся угол дома и голые стропила полуразрушенных надворных построек. — Здесь у нас хозрота стоит. Когда я уходил, наши уже потянулись сюда.

— Давай завернем, — решил Олейник.

Дорожка стекала в низину, повиливая среди кустарничка. Выйдя на открытую поляну, Олейник увидел впереди себя человека в белом, но изрядно загрязненном полушубке, с пистолетом у пояса. Он, должно быть, только что вылез на дорожку. Он смотрел в южную сторону и молча взмахивал шапкой.

— Вот это и есть Дубровка, командир вашего взвода, — сказал попутчик; за дорогу он успел рассказать о переменах в роте, где служил Олейник. Хороший парень. Храбрец и умница.

Вся низина, на которую вышел Олейник, была истоптана множеством ног. Вдали по ней ползла группа солдат, оставляя позади

себя в снегу глубокие, извилистые борозды. Давая им какой-то знак, гвардии старший сержант Дубровка еще раз помахал шапкой. От цепи солдат долетело:

— Впере-е-од!

Солдаты почти разом поднялись и, не скупиваясь, быстрым шагом пошли по низине, в сторону командира взвода, на ходу вскидывая винтовки.

— Живе-ей! — закричал Дубровка.

Солдаты прибавили шаг, а затем дружно бросились вперед, и над низиной загремели их голоса, сливаясь воедино:

— Ура-а... ра-а-а!

Это был случай, когда самое понятное, что делали солдаты, оказалось для Олейника совершенно непонятным...

Олейник подошел к Дубровке и доложил о себе.

— Знаю, знаю, — сказал Дубровка. — Слышал о тебе. Хорошо, что вернулся в свой полк. Только теперь называй себя не сержант, а гвардии сержант! Заслужил! А мы вот... видишь, что делаем?

Пока они разговаривали, солдаты выбежали к дороге. От них отделился один, высокий, могучий, и бросился к Дубровке.

— Вот и гвардии сержант Лопухов, — сказал Дубровка. — Знаешь?

— Андрей? Как же, друзья, вместе воевали!...

Подбежал разопревший, потный Андрей Лопухов. Доложив о выполнении его группой боевой задачи, он остановил на Дубровке вопросительный взгляд.

— Неплохо, товарищ гвардии сержант! — со сдержанной лаской ответил на его взгляд Дубровка. — Но имей в виду, что и не совсем хорошо. Разве так надо идти в атаку? Надо идти так, чтобы не только немцам, но и самому вроде бы делалось страшно от своей силы, от напора и лихости! Вот как надо ходить! Мало стремительности, а это самое главное в атаке. И стреляли не все.

— Глубоко, товарищ гвардии старший сержант, — виновато ответил Лопухов и показал на свои ноги: голенища его валенок были плотно забиты снегом.

— Разуйся и вытряхни!

Андрей встретил Олейника, как старого друга. Торопясь, он задал Олейнику подряд с десятков вопросов, но, не выслушав и небольшой части ответов, заговорил сам:

— Видал, как бежали? Чувствуется сила, напор, а? Пока одни моются, мы решили немного потренироваться...

Олейник окинул глазом низину до речки.

— Да, истоптали...

Шумно разговаривая, отряхиваясь от снега, дымя махоркой, подходили солдаты. Все они только что побрились, их задубелые, бурые от морозов лица были разгорячены.

— Ты, Кудеяров, несешься, как лось! И глаза на лоб!

— А ты не лезь под ноги!

— Эх, снежку б поменьше!

— По асфальтовым дорожкам? Ишь ты, умный!

— А тебе легко? Паром вон исходишь!

От бани подали голос. Дубровка скомандовал солдатам:

— Кругом, в баню! — и обернулся к Андрею. — А веничка так и нет?

— Везде обшарили, — ответил Андрей.

— Ну, без веничка — не баня!

— Погодите, товарищ гвардии старший сержант, будет веник!

— Андрей огляделся по сторонам. — Есть! Идите раздевайтесь, а я живо. — Он обратился к Олейнику: — Идем с нами, а? Тогда давай сделаем пару веников!

Андрей сошел с дороги и побрел на пригорок, где одиноко стояли старые, черные деревья, закиданные хлопьями снега.

— Ты куда же бредешь? — поинтересовался Олейник.

— А вон, видишь, снарядом срезало у дуба вершину? А на ней, видишь, сколько еще листьев повялых держится? Это «зимний» дуб зовется. Веники, конечно, неважные будут, листья облетают быстро, а все же при нужде похлестаться можно. Я тоже, признаться, не прочь...

Пока лазили вокруг суковатой вершины дуба, обрывая короткие, корявые веточки с жухлыми, грязно-желтыми листьями, Андрей рассказал Олейнику разные полковые новости — хорошие и печальные. О Юргине он сказал несколько слов и замолк: сорвался голос, задрожали губы...

— Мы за этот месяц здорово обвыкли в огне, — продолжал он немного погодя, справясь с собой. — Теперь уж отошла та пора, когда, бывало, побаивались ребята. А немецких танков совсем перестали бояться. Я уже четыре танка угробил. Один раз, правда, перетрусил было. И, скажи, как получилось! Лежу в маленькой

воронке, весь наруже, а он идет. Ладно, жду, прикидываю глазом. Жду спокойно. И вот подходит он совсем близко. Но только я начал было подыматься, а он, полосатый черт, как газанет вдруг назад, — и встал метров за пятьдесят. Вот тут я так и обмер! Ну, думаю, прощай, Россия! Гранату мне не добросить, ползти вперед по чистому нельзя. А он, думаю, заметил меня и сейчас как полоснет очередью! Но, гляжу, опять двинулся, опять на меня! Ну, думаю, слава богу, теперь буду жив! И трахнул его, конечно... И вообще все ребята так... Каждый здорово обвык в бою.

Бросая ветки на снег, Олейник спросил:

— А все же... трудно было, а?

— Еще бы! — Андрей даже оторвался от дела. — Иной раз, бывало, так накрутишься за день, что, когда свалишься на ночь, кажется, больше и не встанешь! Вот как бывало. А наступит утро — опять на ногах. Вчера вот тоже здорово досталось... А как сегодня поднялись да поняли, что немец выдохся, — и у каждого в десять раз прибавилось сил! Видал, какие все?

Оторвался от дела и Олейник.

— Выдохлись? Немцы?

— Точно, выдохлись!

— Точно ли?

— А вот увидишь! — пообещал Андрей и вновь начал ломать ветки, собирая их в пучок. — Нам это хорошо известно! Мы уже несколько дней чуяли, что они лезут из последних сил. А вчера мы как дали им по ноздрям они и совсем изошли кровью. Видишь, как тихо?

— Что же теперь?

Андрей осмотрелся, ответил тихонько:

— Наступать будем.

— Наступать?!

— Обязательно! Теперь самое время.

Андрей присел на дерево, оперся рукой о сук.

— Теперь все у нас только и ждут этого! — сказал он мечтательно. Теперь, как пойдём обратно, — ну, плохо им будет! Доведись до меня, я... Он встал и одним резким рывком за сук так потрянул вершину, что на ней сухо зашуршали листья. — Я дам себе волю!

Связав шнурком веник, он сказал задумчиво:

— Может, скоро и дома побываю...

Он отчетливо вспомнил тот вечер, когда со своим батальоном пришел в Ольховку. Он вспомнил, как они с Марийкой топили баню и ломали на веник желтенькие березки в овраге. Его лицо, обожженное морозами, густо побурело от прилившей крови.

— Буду, сволочи! — Он взмахнул веником. — Буду!
Олейник даже вздрогнул от его голоса.

XIX

С вечера завьюжило. Многие ожидали, что ночью вьюга разгуляется, но она все время играла ровно, без азарта, даже не подсвистывая себе, отряхивала лишний снег с деревьев, поплотнее засыпала им мелкие кусты, переделывала закутки в оврагах, пересыпала дорожки и тропы, заметала следы зверей... Стужа крепла всю ночь. Во всех солдатских жилищах пришлось поддерживать хороший огонь, — дым несло по всей обороне. На немецкой стороне изредка стучали пулеметы, да в беспокойной мгле ночи слабо, немощно вспыхивали и угасали ракеты.

Все солдаты из взвода Дубровки в эту ночь крепко и спокойно спали в бывшем овощехранилище. Долго не спал лишь Яков Олейник. До полуночи он часто и заботливо подживлял огонь в широкой нише, выдолбленной в стене овощехранилища; тепло здесь могло быть только от углей, как в камине; солдаты шутили, что, пока не нагреешь весь земной шар, в их случайном жилище будет холодно.

Когда смотришь на огонь, думы летят легко, как стружки от рубанка. А Якову Олейнику вновь приходилось думать о многом. Подкладывая в очаг поленья, он все смотрел и смотрел на огонь...

В очаге рождались чудесные картины. Иногда казалось, что из поленьев, из мертвого дерева, расщепленного топором, начинают вдруг прорастать светло-зеленые, синеватые, фиолетовые и малиновые листья; они шевелятся под струей воздуха, вылетающей в дымоход, они живут, они меняют окраску, как и листья на живых деревьях. Но стоит отвернуться на секунду — в очаге совсем другое... На груды поленьев уже слетелись разноцветные птички, какие приходилось видеть на картинках, изображающих жаркие страны, и вот они щебечут, резвятся, встряхивая радужными крылышками, прыгают с места на место, и нет конца их беспечному веселью... А когда обгорят все дрова опять новая картина. Очаг кажется уголком волшебного сада, где густо цветут, обжигая друг

друга, самой яркой, неземной окраски пышные цветы, и ветерок легонько отряхивает с них золотые, багряные, оранжевые лепестки...

До 7 ноября Олейнику казалось, что он не одинок в своем неверии. Но только теперь Олейник, оказавшись в среде солдат, всей душой ощутил свое одиночество. За время, пока он валялся в госпитале, вопреки всяким его ожиданиям, у солдат, несмотря на тяжесть борьбы, так окрепла вера в свои силы и в свою победу, что они, пожалуй, могли бы жить без хлеба — только одной этой живительной верой. «Или они все с ума спятили, — думал Олейник, — или я один одурел?» Но делать было нечего — приходилось верить в то, во что Олейник не верил с начала войны. «Наступить-то, конечно, начнут, раз такое дело, — думал Олейник, туго сдаваясь перед тем, что пришлось увидеть сегодня на передовой. — Да выйдет ли что?»

Только после полуночи, проведив очередную смену часовых и подложив в очаг побольше дров, Олейник прилег с краю на нары. Еще с полчаса мучили его думы, а потом внезапно навалился дурной и тяжкий, как угар, сон...

И приснилось Олейнику, что лежит он в полуразрушенном блиндаже один, а вокруг гремит бой. Вдруг в блиндаж, где он намеревался остаться, если полк отступит, заскакивает немец, тяжело хрипя, раздувая широкие ноздри...

Олейник вздрогнул, открыл глаза и в страхе замер. Что за блажь? В открытую дверь овощехранилища в самом деле лез немецкий солдат в серой шинели, весь заляпанный снегом. Олейник мгновенно соскочил с нар и бросился к оружию.

Из-за двери долетели голоса:

— Лезь, лезь, чего уперся?

— Вы обогрейтесь, а я доложу...

— Есть, товарищ лейтенант!

Подрагивая, Олейник сунул автомат на место. Это вернулись из ночного поиска полковые разведчики, которые действовали на участке их батальона, и, значит, вернулись с «языком».

Вслед за немцем в блиндаж пролезли три разведчика в белых маскхалатах, с красными и мокрыми от снега лицами. Один из них, должно быть старший группы, широколицый, успел заметить, что Олейник только что оторвался от оружия.

— Со сна-то перепугался, товарищ гвардии сержант? — спросил он весело и начал обтирать лицо. — Гляди, как могло выйти?

Еще ухлопали бы нашего «языка»! А он, видишь, едва жив, вот мы и толкнули его скорей в тепло. Фу, а здоровая стужа на улице, только теперь вот чую!

Начали просыпаться солдаты. Кое-кто тревожно приподнимался на нарах, оглядывая чужих людей.

— Ну, ребята, вставайте! — сказал старший разведчик, присаживаясь на край нар, в то время как его товарищи разместились на корточках у свободной стенки. — Вставайте, полюбуйте немцем. Видите, какие они теперь под матушкой Москвой? Хороши?

Олейник вспомнил того гитлеровца, которого когда-то захватил в плен Андрей Лопухов. Тот был здоров и силен, а этот... У этого был такой вид, что Олейник не сразу поверил своим глазам. Пленный сидел в углу, вытянув и беспомощно разбросав ноги в ботинках. Его хорошо освещало огнем очага. Шинель у гитлеровца была измята и обмызгана, как половая тряпица, а голова поверх пилотки повязана обрывком шарфа и портянкой. Давно уже пленный был обморожен: на грязных, зарастающих рыжей щетиной скулах виднелись коросты, замазанные какой-то мазью. На пленном всюду быстро оттаивал снег. Но он даже не пытался отряхнуть с себя сырость. Он горбился и держал у груди руки в обледенелых перчатках.

— Да немец ли это? — спросил пораженный Олейник.

— Ха-ха! А кто ж, по-твоему? — ответил широколицый разведчик. — Фриц чистой породы! Эй ты, дружок закадычный! — крикнул он пленному. — Вытри морду-то! — И пояснил жестом. — Морду вытри, а то не узнают тебя наши ребята!

Пленный взглянул на разведчика, промолчал и тут же вновь поднял к груди опущенные на время руки; с его перчаток уже капало.

— Руки, видать, отморозил, — пояснил разведчик. — Выходит, чахлый народ эти немцы. Не будет, пожалуй, и двадцати градусов, а уж они стынут на улице... Ну, так, ребяташки, у кого же найдется табачок?

Олейника удивило, что солдаты, поднимаясь на нарах, не проявили к пленному особого интереса и явно жалели, что их оторвали от спокойного сна. Закуривая с разведчиками, они ограничивались небольшими замечаниями по адресу пленного или короткими вопросами о том, как прошел поиск.

— Тьфу, даже глядеть на него противно!

— Далеко ли взяли? Не у этого вот леска?

И только Тихон Кудеяров, очень румяный со сна, позевывая, слез с нар, сел на корточки перед пленным и спросил, дотрагиваясь пальцем до его подрагивающей коленки:

— Эй ты, требуха вонючая, ты куда ж так вырядился? Что молчишь, а? В Москву на парад?

Пленный приподнял бессмысленные глаза.

— Капут... — выговорил он, едва шевеля мокрыми губами.

— Что, что? — придвинулся к нему Кудеяров.

— Гитлер капут... — с усилием повторил пленный.

— А-а, капут? — и Кудеяров заорал, обращаясь к солдатам: — Эй, ребята, да вы слышали, что он говорит? Ох, черт возьми, вот грамотный стал! Ты гляди, как поумнел! Ну-ка, ну-ка, повтори еще разок: «капут»? Ох ты, требуха вонючая, какой ты ученый стал! Ну вот, слава богу, теперь между нами, можно сказать, начался деловой разговор! Так, что ли? Значит, капут?

В это время разбуженный голосом Кудеярова поднялся на нарах и Андрей. Вся левая щека его была в рубцах: что-то жесткое попало под нее во время крепкого сна. Коротко взглянув на пленного, Андрей заговорил с разведчиками весьма недружелюбно:

— Это вы притащили сюда такую падаль? Зря тащили! Что он может сказать? Он небось забыл теперь, как и мать-то свою звать-величать! Что от него добьешься? И так, без него, все ясно!

Пленный зябко ворохнул плечами.

— Да и зачем, спрашивается, притащили сюда? — вдруг еще более разошелся Андрей. — Что вам здесь — свалка нечистот?

— Что ты взъелся-то? — спросил старший разведчик. — Спать помешали? Или сон плохой видел?

— А то, что нечего тащить сюда к нам разную заразу! Если уж обзарились на такую падаль, тащи, куда следует, а нечего тут!... А ну, выбрасывай его к черту! Не хочешь? Тогда я выброшу!

Соскочив с нар, Андрей схватил пленного за ворот шинели и волоком потащил к двери. Солдаты закричали на него с разных сторон:

— Андрей, не дури!

— Что ты делаешь?!

— Эту сволочь!... Эту тварь!... — кричал в ответ Андрей, не в силах в ярости договорить фразу. — Может, эта вот сволочь нашего лейтенанта убила, понятно вам, а?

Пленный закричал, точно во сне.

Опомнясь, Андрей бросил его на пол и, подняв взгляд, неожиданно увидел в дверях овощехранилища командира полка; автоматчики позади него стряхивали с шапок снег...

На рассвете Андрей был на наблюдательном пункте командира полка — в просторном кирпичном погребе у самого переднего края. В погребе было душно от пылавшей всю ночь железной печки. Андрей сидел на табурете у стола с полевыми телефонами; часть его лица освещалась красноватым светом коптилки. Гвардии майор Озеров то стоял перед ним, то ходил по погребу, и в каждом его жесте, в каждой нотке его голоса отражались самые разнородные чувства: недоумение, досада, гнев...

— Так вот, дорогой ты мой, — говорил Озеров, — ненависть бывает разная. Мы за ненависть к врагу, за суровую ненависть, без которой нельзя идти в бой и побеждать. Наша ненависть — естественная необходимость. Это чувство к врагу должно всегда жить в душе каждого нашего человека и, если нужно, в любую минуту должно стать самой страшной, уничтожающей силой. Но наша ненависть — не слепая, она разумная, человеческая, ей чужды всякие звериные оттенки.

— Товарищ гвардии майор! — задыхаясь, воскликнул Андрей; его взгляд, тревожный, порывистый, был полон страдания и мольбы.

— Обожди, не обижайся и не волнуйся! — Движением руки удержав Андрея на месте, Озеров продолжал: — Война, конечно, жестокое дело. Несколько месяцев мы живем, охваченные жгучим чувством ненависти. Живем ненавистью день и ночь! Да, это совершенно необходимо, но так же необходимо при этом, несмотря ни на что, сохранять одно из самых больших национальных достояний нашего народа — добрые, сердечные, миролюбивые чувства. Что вот, скажем, получилось с армией Гитлера? У нее воспитали и развили звериные инстинкты. Она потеряла облик нормальной, собранной из людей армии, она стала армией диких зверей. И поэтому ее гибель неизбежна! А наша армия, сильная своей суровой, но справедливой ненавистью к врагу, в любых обстоятельствах не теряет и не потеряет других высоких человеческих чувств. И в этом ее сила!

— Выходит, я лютый зверь? — угрюмо, с обидой выговорил Андрей.

— С лютым зверем я бы не остался здесь, — ответил Озеров.

— Лютого зверя из тебя никогда не выйдет: не так ты воспитан и находишься в Красной Армии. Но и нашей ненавистью мы должны пользоваться разумно: где дать ей волю, где и сдержать ее немного... Мне уже известен случай, когда ты порывался расстрелять одного пленного офицера-фашиста. Да, он был большой гадиной и сказал тебе обидные слова. Это я знаю. Но даже и в этом случае не надо было забывать, что ты — красноармеец. И вот сегодня... — Озеров остановился перед Андреем, возвысил голос. — Как ты его тащил! Как дергались у тебя губы! Какие были у тебя глаза! Ты помнишь себя в эти минуты?

Андрей медленно опустил голову.

— Забудем эти секунды, — сказал Озеров, ласково касаясь его плеча. Это были только секунды...

— Мне все ясно, — вдруг поднявшись, сказал Андрей и, встретясь со взглядом Озерова, спросил: — Только скажите, товарищ гвардии майор, не таитесь, вы же знаете меня... Скажите только, скоро?

— Успокойся, очень скоро! — ответил Озеров.

— Хорошо, я все ваши слова запомню, — пообещал Андрей, собираясь уходить. — Но все равно пощады им от меня не будет!

— В бою, — подсказал Озеров.

— Да, в бою!

— Кстати... — Озеров опять задержал Андрея. — Этот «язык», которого достали сегодня, рассказал мне, что в немецких частях распространился любопытный слух. Он будто бы передается из уст в уста, и ему все верят. Это вполне возможно. Ведь немецкие солдаты — очень суеверные люди, да и войной уже здорово напуганы... Так вот, они уверяют, что под Москвой появился один бессмертный русский солдат. Говорят, он носится на танке и творит в бою чудеса. Его нельзя ни убить, ни остановить...

— Легенда, — хмуро возразил Андрей.

— Но пленный заявляет, что видел его своими глазами...

— Все равно — легенда.

— Да, конечно, хотя она и похожа на быль, — сказал Озеров. — Но вот что важно... Разве могла эта легенда появиться в немецкой армии в первые месяцы войны? Или, скажем, когда мы отступали к Вазузе? Нет, она появилась только вот здесь, под Москвой. Вот что замечательно! И эту легенду нельзя считать былью только потому, что в ней говорится об одном солдате. На самом деле бессмертных

солдат у нас сейчас тысячи!

Они вышли из погребя.

Утро пробуждалось в густом морозном тумане. На запад, где стояла непроглядная темь и мертвая тишина, уходили цепочкой вдоль шоссе, будто разведчики в маскхалатах, густо заиндевелые березы. С полей тянуло лютой стужей. Крылатыми семенами быстро и тревожно носились в воздухе одинокие снежинки.

— Вьюга будет, — сказал Озеров.

Андрей оглянулся по сторонам и с невольной дрожью ощутил: да, так и есть, над всей подмосковной землей вот-вот одним разом встанет до неба и зашумит, засвистит на весь свет неудержимая, могучая русская вьюга.

* * *

Ранним майским утром 1949 года в Трептов-парке, где было еще безлюдно, появилась темноглазая женщина, очень молодая лицом и статью, но с белой от преждевременной седины головой. Она вела за руку худенького, белокурого мальчика лет семи; его живые, умные глаза что-то быстро искали по сторонам.

Молодая мать и ее сынишка остановились перед фигурой пожилой женщины, высеченной из серого, мрамора. Эта женщина в строгом одеянии, с тяжелыми косами, уложенными венком на горестно склоненной голове, сидела в усталой, скорбной позе, вроде бы на придорожном камне, опираясь на него правой рукой. Левая рука женщины, вместе с шалью, которую она держала за край, была прижата к груди, у самого сердца, — доброе, отзывчивое, многострадальное, оно болело безмерной и безысходной болью. Казалось, эта великомученица, отрешившись от всего земного, лишь чутко слушает свою боль и смотрит не себе под ноги, а в свое недавнее прошлое, опаленное до черноты огнем войны. Она, видать, так измучилась в дальней дороге, так истомилась, исстрадалась всей душой, что не может сейчас же вот, не переведя дух, дойти даже до могил своих сыновей, хотя до них уже рукой подать. Ей надо передохнуть и собраться с силами перед той страшной минутой, когда ее глазам откроются их могилы. Она уже выплакала все слезы, все — до самой малой слезинки. Но душа ее плачет, плачет горько и безутешно...

Прижимаясь к руке матери, мальчик вдруг поторопил ее шепотом:

— Пойдем же!

Медленно, шаг за шагом, они стали подниматься на пологий пригорок, начинавшийся невдалеке от «Скорбящей». На всем их пути — по обе руки горюнились небольшие, недавно высаженные березки, у которых густые вершинки раскинулись так, что тонкие ветви в свеженьких листочках свисали вокруг стволов почти до самой земли. Этим березкам-сиротинкам уже никогда не поднять своих плакучих ветвей в небо, никогда не расти ввысь — им вечно печалиться вместе с людьми. А позади несчастных березок в два ряда молодые пирамидальные тополя в новеньких, ярко-зеленых шинелях; они вытянулись, как по команде, и замерли, будто в почетном карауле.

Совсем и не труден подъем на гребень пригорка, но молодой матери казалось, что ей впервые в жизни пришлось одолевать такой тяжкий путь. С замирающим сердцем она всматривалась в гранитные знамена, приспущенные над гребнем пригорка, в фигуры коленопреклоненных воинов, в монумент воина, который виднелся вдали, в конце парка, в широком просвете между знаменами...

А мальчик все торопил свою мать:

— Пойдем же скорее!

Когда они наконец-то поднялись к воинам и знаменам, их глазам внезапно открылась длинная, выложенная плитами из камня площадь в парке с пятью большими, слегка холмистыми, зеленеющими могилами. Вечным сном спали здесь, в чужой земле, тысячи советских героев, как спали миллионы их товарищей по оружию в других могилах, известных и неизвестных, и над ними бесшумно витала уже четвертая мирная весна. Вокруг братского кладбища кольцо молодых лип, а выше, вольготно раскидывая узловатые ветви, вздымаются могучие платаны. Казалось, все кладбище обрамлено одним огромным венком из весенней зелени: от всех благодарных людей, оставшихся в живых, от самой благодарной природы.

Увидев могилы, каких никогда не приходилось видеть, молодая женщина чуть не вскрикнула, и у нее на миг даже потемнело в глазах.

— Вот они, наши березки! — вдруг закричал мальчик. — Вот они где!

За гранитными знаменами, если спуститься с пригорка, по обе

стороны от центральной лестницы, ведущей на площадь с могилами, стояли две молоденькие белые березки. Они одного роста, похожи друг на друга, как близнецы, с нежнейшей атласной кожицей, с кудрявыми и задорными ветвями, устремленными ввысь.

— Да, это они, — отозвалась мать.

— Я их сразу узнал! — сказал мальчик. — Пойдем к ним!

...Это случилось ранней весной.

К их деревне на светлом взгорье, заново строящейся после войны, по дороге со стороны ближнего военного аэродрома подошли две грузовые машины с солдатами, а следом — машина с хищным клювом крана над кабиной. Грузовики остановились у крайнего дома, и со всей деревни к ним тут же бросились по лужам ребятишки в лохмотьях, потянулись женщины и старики.

Молодой лейтенант, открыв дверцу кабины, поздоровался с людьми и, немного смущаясь, сказал:

— Мы ищем молоденькие березки.

— А вон, за околицей, сколько угодно, — ответили ему из толпы.

— Нужны такие, у которых красивая крона, — пояснил лейтенант. Которые выросли на просторе.

— Наши березки — одно загляденье!

— Тогда покажите...

— А зачем они вам? Куда повезете?

— Далеко, в Берлин.

Встретив недоверчивые взгляды жителей деревни, молодой лейтенант вылез из машины и поведал им историю, которая всех поразила и тронула до слез. Оказалось, что ваятель, создавший памятник советским воинам в Берлине, настоял, чтобы у священных могил с Трептов-парке были высажены не какие-нибудь, а именно русские березки.

Одна из женщин в толпе вдруг зарыдала. Ее подхватили под руки, и седой дед, горестно вздохнув, пояснил лейтенанту:

— У нее муж там...

Всей деревней выбирали березки для кладбища в Трептов-парке и выбрали, по общему согласию, двух таких красавиц, какие встречаются только на русской земле! Крепкие, стройные, словно бы поющие о торжестве и величии жизни...

Да, это правда, теперь они в Берлине.

Мальчик еще не понимал, что такое смерть, и радость встречи

с родными березками на время оказалась сильнее всех других его чувств и желаний. Только покружась вокруг березок, вдоволь налюбовавшись цыплячьей желтизной их недавно распустившейся листвы, он внезапно спохватился и с растерянным, виноватым видом вернулся к матери. Потупясь, тихонько спросил:

— А где же папа?

Мать кивнула в сторону могил.

Некоторое время мальчик хмуро, недоверчиво смотрел на ряд просторных лужаек, совсем не похожих на те могилки, какие он видел на деревенском кладбище. Потом перевел взгляд на монумент, вздымающийся до небес в конце парка на высокой и круглой горوشке, и, чем-то пораженный, стал всматриваться в него во все глаза.

Советский воин на кургане был молод, красив и могуч. У него мужественное, доброе лицо, волнистые волосы, зачесанные назад, спокойный, прозорливый взгляд. Под его сильными ногами в сапогах — раздавленная фашистская свастика. Закончив великий воинский поход, он уже мирно опустил свой тяжелый меч. На левой руке он держит маленькую девочку; она вцепилась ручонками в своего спасителя и доверчиво прижимается к его груди.

Во всем облике воина-богатыря чудилось много знакомого, даже родного, и вдруг мальчика с горячим воображением осенила и взволновала догадка, о которой он тут же хотел сообщить матери. Но что-то удержало его, хотя он и знал, что одни умершие лежат в могилах, а другие стоят на площадях городов, в парках, у дорог...

Молодая женщина и мальчик спустились на площадь и подошли к первой братской могиле. Слезы застилали глаза матери, и она, не видя света белого, передала здесь сынишке небольшой мешочек с землей, привезенной из родной деревни. Все было оговорено заранее, и мальчик, не теряя времени, не тревожа мать лишними расспросами, начал молча зачерпывать рукой землю из мешочка и осторожно трусить ею по травке. Он хмурился от жалости к плачущей матери, но никак не мог поверить, что его геройский отец, прославленный воин, лежит вот здесь, под лужайкой с такой веселой, сверкающей на солнце травкой. Ему вообще не верилось, что чудесные лужайки в парке — и есть солдатские могилы...

Конец

О РОМАНЕ МИХАИЛА БУБЕННОВА «БЕЛАЯ БЕРЕЗА»

Не всякая книга живет долго.

Не о каждой можно сказать — она неувядаема. Но есть и такие, которым суждена долгая жизнь. И определяется она взглядом автора на мир, его талантом, умением увидеть в человеке самое сокровенное.

Среди книг о великом подвиге нашего народа в минувшую войну «Белая береза» Михаила Бубеннова занимает видное место. Роман увидел свет тогда, когда страна набирала силы для того, чтобы после жестоких битв вернуться снова к созиданию. Война еще жила почти в каждом доме, но на нее уже хотелось взглянуть как на прошедшее. В войне еще видели современность, а она уже становилась историей.

Литературе и искусству предстояло сказать о войне и то пылкое слово, что рождается при виде сию минуту происходящего, и то обобщенное, итоговое, что возможно только тогда, когда события отдалятся во времени. Предстояло увидеть и понять, донести до читателя в образах и картинах то, что составляло душу событий, постичь их исторический смысл, их значение для советских людей и для всего мира.

Это была задача многих. Тотчас же после войны появились «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, обошедшие, кажется, все страны мира. В конце сороковых годов наряду с другими произведениями о войне читатель узнал и «Белую березу» Михаила Бубеннова.

С тех пор прошло много времени. У книги сложилась своя жизнь. Она выдержала много изданий. Как всякий настоящий художник, Бубеннов совершенствовал книгу, перед каждым изданием заново ее пересматривая и внося изменения.

В новом, доработанном варианте романа усилены важные акценты. Писатель смотрит на события двадцатилетней давности с позиций нашей современности. И он видит самое коренное, самое значительное: великий подвиг героического советского народа в минувшей войне.

В последнем варианте романа автор безжалостно отбросил все лишнее, действие сконцентрировалось в едином тугом узле, исчезли «не работавшие» на сюжет персонажи и сцены. Теперь уже немногие

помнят, что «Белая береза» выходила двумя книгами. Если в свое время критика писала о недоработанности второй книги романа, где, действительно, можно было обнаружить следы спешки, то теперь все части романа, включая и эпилог, выстроились в единый сюжетный строй, со сквозной судьбой героев, со сквозным действием.

Логическое завершение романа — эпилог, в котором снова художественно подкреплена мысль о непобедимости народа-героя, ведомого партией коммунистов.

М. С. Бубеннов родился в 1909 году в крестьянской семье на Алтае. Там же началась его трудовая жизнь, там он стал сельским учителем. В начале 30-х годов Бубеннов переезжает в Казань, становится журналистом, сотрудником газеты «Красная Татария». И уже в 1932 году всесоюзный читатель узнает новое писательское имя, познакомившись с первой повестью Михаила Бубеннова «Гремящий год».

30-е годы были весьма плодотворными для писателя. Напечатанные в газете рассказы он объединил в сборник «Половодье» (1940) и в том же году выпустил в свет повесть «Бессмертие», где отчетливо проступили основные черты образного мира писателя: первые проявления романтического и эпического таланта — пристрастие к сильным, самобытным народным характерам, тяга к сюжету героическому, способному отразить вершинные события в жизни народа. Это была повесть о гражданской войне, о деревне, которую раскололи грозные события; они разделили семьи, оттолкнув тянущихся к революции детей от собственнически, кулацки настроенных отцов.

Война 1941-1945 годов была для писателя, как и для всего народа, школой мужества, университетом познания души советского человека.

На фронтовых дорогах, в перерывах между работой в армейской печати Бубеннов собирает материал для будущего романа. Но для задуманного, для произведения масштабного нужно было время. Роман «Белая береза» был издан уже после победы (первая книга — в 1947 году, вторая — в 1952).

Мастер всегда ощущается по завершенности, законченности и необходимой взаимосвязанности частей произведения. Неувядаемая красота книги — в ее народности и коммунистической партийности. Война предстает здесь как героическая эпопея. В огне войны выковываются крепкие волевые характеры, проявляются

титанические силы народа, отстаивающего свое социалистическое отечество от нашествия хищного и жестокого врага.

Мысль о том, что в минувшей войне победа была одержана народом, выражена в романе не риторически, не декларативно, а в конкретных образах советских людей: бойцов Андрея Лопухова, Матвея Юргина, офицеров Озерова и Яхно, колхозников Осипа Михайловича, Степана Бояркина, Анфисы Марковны, Марийки.

Народное начало романа проявляется в картинах деревенских, с глубокой любовью нарисованных Бубенновым. Главное, что удалось передать писателю, люди крепко верят в незыблемость советского строя. Им тяжело: они хоронят своих близких, они уходят в леса, они зарываются в землянки, но не сдаются, но побеждают. Роман Бубеннова был одним из первых в нашей литературе, со всей наглядностью показавший, кто был истинным хозяином оккупированных земель.

Нет, советская земля принадлежала не гитлеровцам. Хозяевами ее оставались воины полка Озерова, прошедшие через захваченную фашистами территорию и соединившиеся с Советской Армией; настоящие хозяева — мирные жители, помогавшие своей армии и партизанам; настоящие хозяева — жители деревни Ольховки, мстящие гитлеровцам за каждое их преступление.

В «Белой березе» со всей очевидностью проявилось мастерство автора в создании характера, умение показать его развитие, отразить внутреннюю динамику этого развития. Андрей Лопухов — тихий, скромный парень, с родниковым светом глаз — не только накапливает воинский опыт, но мужает духом, у него крепнет характер, выявляются ранее дремавшие недюжинные силы. Не утрачивая лирического обаяния, пронося через все испытания светлую свою любовь к Марийке, Андрей испытывает и другие сильные чувства: мы видим его во гневе, в ненависти к врагам, в глубоком горе, пришедшем с потерей друга, во все большей углубленности в себя, когда непосредственные впечатления отливаются в ясные, стройные мысли. Андрей начинает склоняться к раздумьям, его занимают проблемы социальные, он размышляет о судьбе Родины.

Образ главного героя постоянно соотносится с тихим и ясным обликом березы. После жестокой битвы, в которой как бы принимает участие и песенное деревце, изменяется Андрей — изменяется и березка. «Это был совсем не тот красивый, задумчивый и тихий

парень, каким его знали в Ольховке. Это был человек с огрубевшим, суровым выражением лица и темным настороженным взглядом». Выстоял воин в этом страшном бою, не допустил врага к Москве. Выстояла и береза. «А среди этого страшного поля... где все было помято смертью, на небольшом голом пригорке, как и утром, стояла и тихо светилась в сумерках одинокая белая береза».

Сильнейшую идейную и художественную сторону романа составляют образы коммунистов, даже шире — образ партийного коллектива. Бубеннов нашел простые, точные и художественно выразительные приемы, чтобы показать могущество партийной организации и дисциплины, их значение для дела победы.

Стрелковый полк, ратные подвиги которого описываются в романе, смог собрать свои силы после поражения, пробиться с боями из окружения к линии фронта и соединиться с советскими войсками потому, что в нем был крепкий костяк коммунистов. Большевикское мужество, выдержку, способность к всесторонней ориентировке проявляют в тяжелых условиях отступления, а затем при выходе из окружения коммунисты полка — капитан Озеров, комиссар Яхно, сержант Матвей Юргин, солдат Семен Дегтярев и другие.

Описание партийного собрания полка после его поражения в бою — одна из самых сильных сцен романа. Это партийное собрание необычно. Никто его не открывает, не объявляет повестки дня, никто не пишет протокола. Непроизвольно возникает беседа двух командиров, Озерова и Яхно, с коммунистами. Несокрушимая вера этих людей в советских солдат передается всем коммунистам полка, а значит — и всем участникам похода.

Кто же они, эти два сильных человека, которые смогли укрепить у измученных, растерявшихся солдат веру в победу над врагом? Один из них капитан Озеров. Твердая воля, мужество большевика, огромная духовная сила, большие знания, острое чувство нового сочетаются у Озерова с любовью к жизни, к людям, к Родине. Чем труднее задача, которая стоит перед этим человеком, тем с большей энергией борется он за ее выполнение.

Через весь роман проходит этот обаятельный, согретый любовным отношением автора, овеянный революционной романтикой образ верного солдата большевистской партии.

Эта линия находит свое развитие и в героическом образе комиссара Яхно, опытного пропагандиста, сумевшего сразу найти свое место в непривычной для него боевой обстановке. Он недавно в

полку, но его знают и любят солдаты. Автору удалось показать скромность, простоту, настойчивость этого человека. С большим тактом, умело он воспитывает в бойцах мужество и стойкость.

Там, где появляется Яхно, укрепляется вера солдат в свои силы, вера в победу. Он учит и капитана Озерова «чувствовать запах победы». Наблюдая Яхно в его повседневных делах, Озеров понимает, почему солдаты так любят комиссара: «...в его чудесной вере, которую он рассеивал щедро, было необычайно много юношеского задора и светлого поэтического чувства».

Комиссар всегда впереди. Когда же ему приходится идти замыкающим — а он принимает это как должное, — ему нестерпимо трудно. Он просит Озерова: «Знаешь, дорогой, я не могу тащиться позади!... Я понимаю, что иногда это, как вот сегодня, тоже очень важно. И все же не могу. У меня изныла душа. Как это трудно — тащиться позади всех!» В этих словах — весь Яхно, с его душой и мышлением большевика, всегда идущего впереди и ведущего за собой людей.

Комиссар Яхно героически гибнет в тот момент, когда полк подходит к линии фронта, когда он уже слышит грохот советских орудий. С возгласом: «Наши! Наши! Дошли!» — он упал и, улыбаясь, прикрыл глаза». В беседе со связным Петей Уральцем Озеров как бы подводит итог жизни Яхно:

«Это был настоящий большевик, Петя... Великой веры человек! С такой верой в наше дело, как у него, и жить, Петя, легко, и умереть легко! Только вот расставаться с такими людьми трудно...»

Михаил Бубеннов — писатель-романтик. Героико-романтические характеры — основные в его творчестве. И это не только черта художественного дарования писателя, но и выражение его идейной позиции. Он пришел в литературу воспеть прекрасное в советском человеке. Но писатель не соблазнился облегченным решением своих задач. Одним из первых в нашей литературе Бубеннов воссоздал горькую, драматическую атмосферу первых месяцев войны, выразил боль отступления, невыносимо жгущий стыд, который испытывали советские солдаты, оставляя гитлеровцам родную землю...

И эти правдивые черты, искреннее выражение всей боли и тревог, испытанных главным героем, придают его романтическому облику особую достоверность, иначе последняя символическая картина была бы не более, чем плакатом. Вспомним жаркий огонь

боя, взбешенного Андрея, который, стоя на танке, не пригибаясь под огнем противника, нес смерть фашистам. И они создали легенду о бессмертном русском солдате. Здесь образ Андрея вбирает в себя черты национального характера русского советского воина.

При всем тяготении к романтическому подвигу, к возвышенному герою Бубеннов остается верен школе русского реализма. С большим мастерством рисует он самые различные, очень сложные характеры. Ерофей Кузьмич, отец Андрея, с типично крестьянскими чертами собственника, чем-то напоминающий Пантелея Прокофьевича Мелехова, в час испытания переживает полную и всестороннюю эволюцию. Сначала он помалкивает, отсиживается. «Представления Ерофея Кузьмича о войне были сначала весьма просты, говорит автор. — Он думал так: отступят наши, следом за ними пройдут немцы, и судьба войны будет решаться где-то далеко, скажем, в Москве, а то и за Москвой...

Но война, как назло, пошла прямо через его двор, будто у нее не было никаких иных путей... война ворвалась в каждый дом в Ольховке, как вихрь!» И тогда Лопухов-старший растерялся, заметался; увидев страшное лицо войны, он понял, что война — дело всенародное: «Пусть как хотят казнят, а против народа я не ходок». По поручению Степана Бояркина он остается старостой и выполняет поручения партизанского штаба.

Герой Бубеннова — человек-труженик, человек прочных моральных устоев. Он умеет трудиться до седьмого пота, умеет сражаться за Родину, умеет радоваться жизни. Бубеннов — однолюб в теме, Как не изменяет он героическому характеру, так верен он и теме чистой, действенной, верной любви. Родниковая чистота человеческих отношений — вот что утверждает писатель всеми своими книгами и прежде всего «Белой березой».

Сильны душою и красивы героини романа. Чем-то они близки образу женщины-крестьянки, созданному М. А. Шолоховым. Однако женщины села Ольховки живут в другое время, им ведомы другие радости, до которых не дожила Аксинья Астахова. Женщина-крестьянка в расцвете своих творческих сил — таковы героини «Белой березы». Ими движет любовь, она руководит ими и в грозный час опасности.

Марийка, жена Андрея Лопухова, — сильный, цельный человек. Ей свойственны большие, целиком захватывающие ее чувства. И если в начале романа образ Марийки предстает только в

лирическом плане — она расцветает перед нами в своей прекрасной, сильной любви, — то позднее Марийка, движимая все той же любовью, вырастает в героиню, в народную мстительницу. Приняв решение уйти к партизанам, она испытывает ни с чем не сравнимое чувство: «Марийка, сама не понимая отчего, испытывала в этот час чувство необычайной радости и близости чего-то хорошего, значительного в жизни. Нет, она не забывала и, конечно, никак не могла забыть, что шла в отряд с печальными вестями. И все же, как это ни странно, как ни грешно, но ей легко и приятно было наслаждаться своими чувствами. Как она могла отвергнуть эти чувства? Она была уверена, что сегодня после тяжелых недель страданий и раздумья начиналось что-то новое в ее жизни».

Поэтический образ любящей женщины становится еще более художественно впечатляющим в соотнесении его с картинами природы. Большому подъему чувств женщины соответствует ясный зимний пейзаж: «...а вокруг стоял родной зимний лес, и над ними, как в сказке, поднималось нежное, точно кукушкин цвет, розовое утро...»

Добрая настроенность, возвышенность мысли о красоте советского человека не размягчают сердца писателя-настолько, чтобы он не видел, не замечал зла.

Гнев писателя обрушивается на предателей. Сурово и по всей строгости судит он и дезертира Ярцева, и труса Олейника, и продажные души Чернявкина и Шошина. Гневная мощь самого сильного удара приходится на Лозневого, продавшего гитлеровцам свою честь, свою душу. Со свойственной ему обстоятельностью автор следит за ступенями падения Лозневого. Идейная и нравственная неустойчивость, а главное — себялюбие и трусость, жажда жить во что бы то ни стало, жить, хотя бы на коленях, хотя бы ползком, но жить — все это приводит Лозневого к окончательному нравственному падению, к преступлению перед народом и Родиной.

Народному содержанию романа соответствует и художественная форма. Эпический характер повествования диктует свои художественные законы. В романе возникает символика. Вырастает в символ непобедимости и бесстрашия образ Макарихи. Не дрогнув, она предает огню плоды неустанных трудов колхозный хлеб; ни один колосок не должен достаться врагу! Символичны картины природы, которая торжествует и печалится, радуется и грустит вместе с героями. Символично русское песенное дерево —

береза. В начале романа светлая и восторженная, позднее она становится ориентиром в бою, и о ней говорится: «Тяжелая у ней доля — стоять на таком месте. Да, среди огня».

Хорош, сочен и выразителен язык романа. Это — подлинно народный язык. И в речи персонажей, и в авторском тексте проявляется мастерство писателя: он внимателен к слову, он тщательно взвешивает фразу, он стремится к простому, емкому выражению мысли.

В романе много чудесных, навеянных любовью к русской природе образов. Природа у Бубеннова живет, чувствует. Автор часто прибегает к поэтическому олицетворению: березка у него «по-детски радостно встряхивала ветвями, точно восторженно приветствуя солнце. Играя, ветер весело пересчитывал на ней звонкое червонное золото листвы».

Пленительна прелесть поэтического русского языка в описании картин природы, связанных с изображением чувств и переживаний героев. Исконный прием русской поэзии — параллелизм — широко использован автором в романе. И это тоже требование жанра. Всего более он распространен в произведениях эпического склада.

Вот пример параллелизма, соотнесения с природой больших человеческих чувств, раздумий:

«Казалось, неурочная зима похоронила под снегом всякую жизнь на земле.

Но это только на первый взгляд.

Вот среди поля, где особенно вольготно зиме, стоит одинокий заиндевелый куст шиповника. Разгребши под его поникшими ветвями свежий снег — и перед тобой чудо: здесь, как в нише, не только живут, но и цветут разные травы...

Эти травы, внезапно захваченные зимой, терпеливо дождутся, когда всепобеждающая весна освободит их, даст им солнце и тепло. И тогда они сделают то, что им положено законом жизни: выносят семена и разбросают их по земле».

Развернутая эта метафора символизирует многое: и жизненную силу народа, застигнутого бурей исторических событий, и накапливание мощи для жестокой схватки с врагом. Писатель создает образ приближающейся весны победы.

Поэтические краски в романе самые различные, однако они не создают впечатления пестроты, но отражают лишь многообразие

жизни. Лирическая взволнованность чередуется с глубоко драматическими и трагическими сценами; их сменяют юмор, меткая шутка.

Колоритен в романе солдатский быт. Душа советского воина раскрывается в самых различных обстоятельствах: на марше, в бою, в свершении подвига, на отдыхе, в будничных делах, в задушевных беседах. Люди делятся друг с другом радостями и горестями, спорят, печалются, веселятся. В духе русской народной традиции написан образ солдата Ивана Умрихина. Это храбрый воин, сочетающий в себе бесстрашие, мужество и лукавый народный юмор балагура и ротного заводилы.

М. Бубеннов придает большое значение композиции своих произведений. «Создание романа — нелегкое дело, — говорит он. — Высотное здание возводит огромный коллектив людей. Роман — это высотное здание литературы создается одним человеком. Пока пишет, он сам себе судья и творец. Композиция, зависящая от развития характеров героев, самая тяжелая часть этой работы. Но как бы ни трудна была работа над композицией, все же самое ответственное и радостное для художника — сделать героя. Некоторые из них сами врываются в роман. Ты их только наметил, а они вошли, вошли властно и зашагали, и ты уже не властен остановить их движение».

«Сделать героя», создать такой образ, какого ждет читатель, видящий в литературе своего друга и наставника, — задача нелегкая. И Бубеннову уже сопутствовала удача в этом трудном деле.

Взыскательность художника, строгость к самому себе, стремление познать жизнь книги, которую ты написал шестнадцать лет назад, — все это дает прекрасный результат. Новые поколения читателей, те, кто не видел в лицо войну, из таких правдивых и горячих книг, как «Белая береза», узнают, как и кем была добыта победа.

В яростной схватке с жестоким врагом победил советский человек, великий народ — эта мысль стержневая в романе Михаила Бубеннова «Белая береза».

Лидия Фоменко